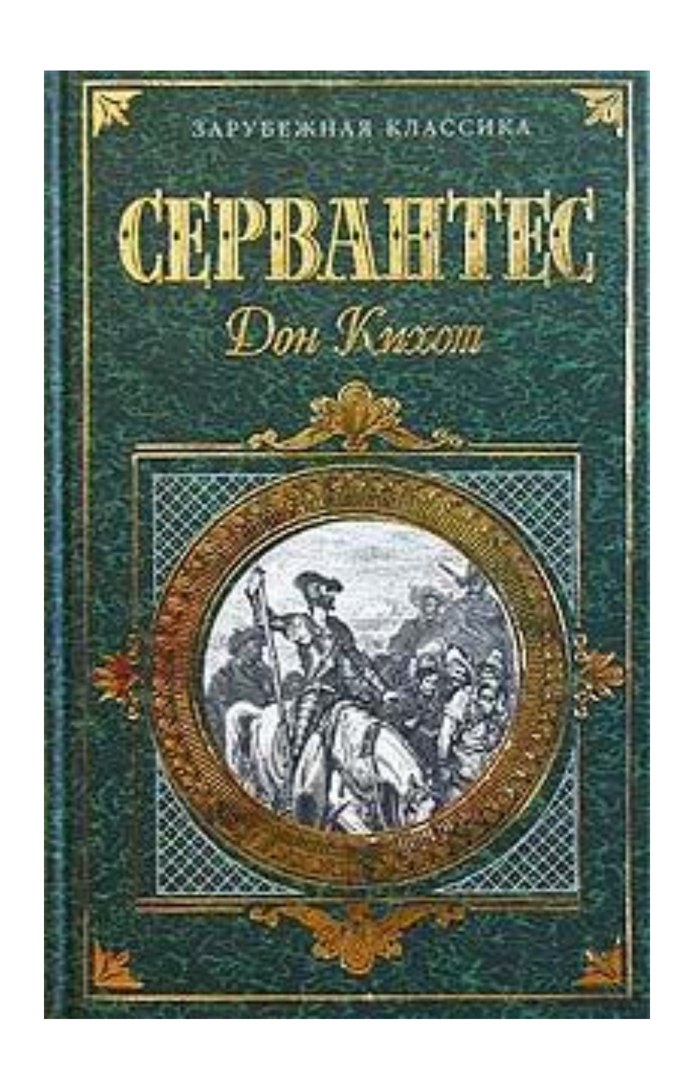
Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 2



Часть вторая

Посвящение



Графу Лемосскому[1]

Посылая на днях Вашему сиятельству мои комедии, вышедшие из печати до представления на сцене,[2] я, если не ошибаюсь, писал, что Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к Вашему сиятельству и облобызать Вам руки. А теперь я уже могу сказать, что он их надел и отправился в путь, и если он доедет, то, мне думается, я окажу этим Вашему сиятельству некоторую услугу, ибо меня со всех сторон торопят как можно скорее его прислать, дабы прошли тошнота и оскомина, вызванные другим Дон Кихотом,[3] который надел на себя личину второй части и пустился гулять по свету. Но кто особенно, по-видимому, ждет моего Дон Кихота, так это великий император китайский,[4] ибо он месяц тому назад прислал мне с нарочным на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать умоляет, прислать ему мою книгу: он-де намерен учредить коллегию[5] для изучения испанского языка и желает, чтобы оный язык изучался по истории Дон Кихота. Тут же он мне предлагает быть ректором помянутой коллегии. Я спросил посланца, не оказало ли мне его величество какой-либо денежной помощи. Тот ответил, что у его величества и в мыслях этого не было.

«В таком случае, братец, – объявил я, – вы можете возвращаться к себе в Китай со скоростью десяти, а то и двадцати миль в день, словом, с любой скоростью, мне же не позволяет здоровье в столь длительное пускаться путешествие, и мало того, что я болен, но еще и сижу без гроша; однако же что мне императоры и монархи, когда в Неаполе есть у меня великий граф Лемосский, который без всяких этих затей с коллегией и ректорством поддерживает меня, покровительствует мне и оказывает столько милостей, что большего и желать невозможно».

На этом я с посланцем простился, и на этом я прощаюсь и с Вашим сиятельством, давая обещание преподнести Вам Странствия Персилеса и Сихизмунды,[6] книгу, которую я Deo volente[7] спустя несколько месяцев закончу, каковая книга, должно полагать, будет самой плохой или же, наоборот, самой лучшей из всех на нашем языке писанных (я разумею книги,

писанные для развлечения); впрочем, я напрасно сказал: самой плохой, ибо, по мнению моих друзей, книге моей суждено наивозможного достигнуть совершенства. Возвращайтесь же, Ваше сиятельство, в желанном здравии, и к тому времени Переилес будет уже готов облобызать Вам руки, я же, слуга Вашего сиятельства, припаду к Вашим стопам. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Слуга Вашего сиятельства

Мигель де Сервантес Сааведра

Пролог

к читателю

Господи боже мой! С каким, должно полагать, нетерпением ожидаешь ты, знатный, а может статься, и худородный, читатель этого пролога, думая, что найдешь в нем угрозы, хулу и порицания автору второго *Дон Кихота,* который, как слышно, зачат был в Тордесильясе, а родился в Таррагоне![8] Но, право же, я тебе этого удовольствия не доставлю, ибо хотя обиды и пробуждают гнев в самых смиренных сердцах, однако ж мое сердце составляет исключение из этого правила. Тебе бы хотелось, чтобы я обозвал автора ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу: он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет. Единственно, что не могло не задеть меня за живое, это что он назвал меня стариком и безруким, как будто в моей власти удержать время, чтобы оно нарочно для меня остановилось, и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий,[9] какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произойдут в век грядущий. Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то, во всяком случае, возвышают меня во мнении тех, кто знает, где я их получил, ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством, и я так в этом убежден, что, если бы мне теперь предложили воротить прошедшее, я все равно предпочел бы участвовать в славном этом походе, нежели остаться невредимым, но зато и не быть его участником. Шрамы на лице и на груди солдата – это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись на небо почета и похвал заслуженных; также объявляю во всеобщее сведение, что сочиняют не седины, а разум, который обыкновенно с годами мужает. Еще мне было неприятно, что автор называет меня завистником и, словно неучу, объясняет мне, что такое зависть; однако ж, положа руку на сердце, могу сказать, что из двух существующих видов зависти мне знакома лишь зависть святая, благородная и ко благу устремленная, а значит, и не могу я преследовать духовную особу,[10] да еще такую, которая состоит при священном трибунале; и если автор в самом деле говорит о лице, которое имею в виду я, то он жестоко ошибается, ибо я преклоняюсь перед дарованием этого человека и восхищаюсь его творениями, равно как и той добродетельной жизнью, какую он ведет неукоснительно. Впрочем, я признателен господину автору за его суждение о моих новеллах: хотя они, мол, не столь назидательны, сколь сатиричны, однако же хороши, а ведь их нельзя было бы назвать хорошими, когда бы им чего-нибудь недоставало.

Пожалуй, ты скажешь, читатель, что я чересчур мягок и уж очень крепко держу себя в границах присущей мне скромности, но я знаю, что не должно огорчать и без того уже огорченного, огорчения же этого господина, без сомнения, велики, коли он не осмеливается появиться в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, как будто бы он был повинен в оскорблении величества. Если случайно, читатель, ты с ним знаком, то передай ему от моего имени, что я не почитаю себя оскорбленным: я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения и что одно из самых больших искушений – это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы; и мне бы хотелось, чтобы в доказательство ты, как только можешь весело и забавно, рассказал ему такую историйку.

Был в Севилье сумасшедший, который помешался на самой забавной чепухе и на самой навязчивой мысли, на какой только может помешаться человек, а именно: смастерив из

остроконечной тростинки трубку, он ловил на улице или же где-нибудь еще собаку, наступал ей на одну заднюю лапу, другую лапу приподнимал кверху, а засим с крайним тщанием вставлял ей трубку в некоторую часть тела и дул до тех пор, пока собака не становилась круглой, как мяч; доведя же ее до такого состояния, он дважды хлопал ее по животу и, отпустив, обращался к зевакам, коих всегда при этом собиралось немало: «Что вы скажете, ваши милости: легкое это дело – надуть собаку?» – Что вы скажете, ваша милость: легкое это дело – написать книгу?

Если же, друг читатель, сия историйка не придется автору по сердцу, то расскажи ему другую, тоже про сумасшедшего и про собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, который имел обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или же просто не весьма легкий камень; высмотрев зазевавшуюся собаку, он к ней подкрадывался, а затем что было силы сбрасывал на нее свой груз, после чего разобиженная собака с воем и визгом убегала за три улицы. Но вот как-то раз случилось ему сбросить камень на собаку шапочника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову, ушибленная собака завыла, хозяин, увидев и услышав это, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и не оставил на нем живого места; и при каждом ударе он еще приговаривал: «Вор-собака! Это ты так мою гончую? Не видишь, подлец, что моя собака – гончая?» И, раз двадцать повторив слово *гончая* и сделав из сумасшедшего котлету, он наконец отпустил его. Получив хороший урок, сумасшедший скрылся и больше месяца на людных местах не показывался, но потом, однако ж, возвратился все с тою же выдумкою и с еще более тяжелым грузом. Он подходил к собаке, нацеливался, но, так и не решившись и не осмелившись сбросить на нее камень, говорил: «Это гончая, воздержимся!» И про всякую собаку, какая бы ему ни попадалась, будь то дог или же шавка, он говорил, что это гончая, и не сбрасывал на нее камня. Нечто вроде этого, должно полагать, случится и с нашим сочинителем, и он не отважится более сбрасывать на бумагу твердые, как камень, плоды своего гения, ибо кому охота стараться разгрызть плохую книгу!

Скажи ему еще, что его угроза лишить меня дохода изданием книги своей не стоит медного гроша, и, применяя к себе славную интермедию *Перенденга,* я могу ему ответить, что, мол, бог не без милости, и да здравствует, мне на радость, сеньор мой Двадцать Четыре.[11] Да здравствует граф Лемосский, коего христианские чувства и хорошо известная щедрость ограждают меня от всех ударов злой судьбы, и да здравствует, на радость мне, добросердечнейший дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ Толедский, а там пусть хоть не останется на свете ни одной печатни, и пусть против меня печатают больше книг, нежели в строфах Минго Ревульго[12] содержится букв. Эти двое владык без малейшего с моей стороны искательства или же раболепства, единственно по доброте своей, взялись мне покровительствовать и оказывать милости, и поэтому я почитаю себя счастливее и богаче, чем если бы Фортуна вознесла меня путем обычным. Честь может быть и у бедняка, но только не у человека порочного: нищета может омрачить благородство, но не затемнить его совершенно, а как добродетель излучает свой свет даже сквозь щели горькой бедности, то ей удается заслужить уважение умов возвышенных и благородных, а с тем вместе и их благорасположение. И больше, читатель, не говори автору ничего, а я ничего больше не скажу тебе, – прими только в соображение, что предлагаемая вторая часть *Дон Кихота* скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая, и в ней я довожу Дон Кихота до конца, до самой его кончины и погребения, дабы никто уже более не заводил о нем речи, ибо довольно и того, что уже сказано, довольно и того, что свидетельствует о разумных его безумствах человек честный, и нечего сызнова к ним возвращаться: ведь когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену, а когда чего-нибудь недостает, хотя бы даже плохого, то оно как-то все-таки ценится. Забыл тебе сказать, чтобы ты ожидал *Персилеса,* которого я теперь оканчиваю, а также вторую часть *Галатеи*.



Глава I

О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни



Во второй части этой истории, повествующей о третьем выезде Дон Кихота, Сид Ахмет Бен-инхали рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц у него не бывали, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины объявили, что они так и делают и будут делать с крайним тщанием и

готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали – привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству положили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке; и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные – осуждали, одни обычаи исправляли, другие – упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом[13] или же новоиспеченным Солоном;[14] и так они все государство переиначили, что казалось, будто они его бросили в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот же обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих испытателей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море,[15] но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится – этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. Дон Кихот же на это сказал:

– Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Выслушав его, священник сказал себе: «Да хранит тебя господь, бедный Дон Кихот! Сдается мне, что ты низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия!» Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять: может статься, они-де относятся к разряду тех многочисленных нелепых предложений, какие обыкновенно делаются государям.

– Мое предложение, господин брадобрей, вовсе не нелепо, а очень даже лепо, – сказал Дон Кихот.

– Да я ничего и не говорю, – отозвался цирюльник, – но только ведь опыт показывает, что все или же большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля, и для королевства.

– Ну, а мой проект не неосуществим и не бессмыслен, – возразил Дон Кихот, – напротив того: никакому изобретателю не изобрести столь удобоисполнимого, целесообразного, остроумного и краткого проекта.

– Так поделитесь же им, сеньор Дон Кихот, – молвил священник.

– Мне бы не хотелось излагать его сейчас, – признался Дон Кихот, – иначе он завтра же достигнет ушей господ советников, и благодарность и награду за труд получу не я, а кто-нибудь другой.

– Что до меня, – сказал цирюльник, – то вот вам крест, ваша милость, я никому не скажу: ни королю, ни ладье[16] и ни одному живому человеку, – эту клятву я взял из романса об одном священнике, который в начале мессы указал королю на вора, укравшего у того священника сто дублонов и быстроногого мула.

– Историй этих я не знаю, – сказал Дон Кихот, – однако ж полагаю, что клятва верная, ибо сеньор цирюльник – человек честный.

– Даже если б он и не был таковым, – вмешался священник, – я за него ручаюсь и даю гарантию, что в сем случае он будет нем, как могила, иначе с него будут взысканы пеня и неустойка.

– А за вашу милость, сеньор священник, кто поручится? – осведомился Дон Кихот.

– Мой сан, обязывающий меня хранить тайны, – отвечал священник.

– Ах ты, господи! – вскричал тут Дон Кихот. – Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один-единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло, или же если б они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение, свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном, – скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня разумеет, а я умолкаю.

– Ах! – воскликнула тут племянница. – Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом, – повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

– Будьте добры, ваши милости, дозвольте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье: она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

– В севильском сумасшедшем доме находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне,[17] но, получи он ее даже в Саламанке, это ему все равно бы не помогло, как уверяли многие. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности

его и благоразумии, в конце концов послал капеллана узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет лиценциат, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает, как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несуразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того, он такую выказал рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клевещет, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда – это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников – своекорыстными и бессовестными, а себя самого столь благоразумным, что капеллан в конце концов решился взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив лиценциату на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; смотритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо лиценциат, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако ж, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увезти лиценциата с собой; смотритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа;[18] на лиценциата надели его собственное платье, новое и приличное, и когда лиценциат увидел, что он одет, как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро лиценциат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель: не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухожу домой, – господу богу по бесконечному его милосердию и человеколюбию угодно было возвратить мне, недостойному, разум; теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господа: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, – только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастье, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи лиценциата слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Лиценциат ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, лиценциат, что вы говорите! Как бы над вами лукавый не подшутил, – сказал сумасшедший, – торопиться вам некуда, сидите-ка себе смирнехонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров, – настаивал лиценциат, – мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? – сказал сумасшедший. – Ну что ж, поживем – увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Или ты не знаешь, жалкий лиценциатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я – Юпитер-громовержец, который держит в руках всеопаляющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его? Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я невменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошлю дождь!»

Присутствующие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг лиценциат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он – Юпитер, и он не станет кропить вас дождем, то я – Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашею милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; лиценциата раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

– Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? – спросил Дон Кихот. – Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудовольствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь, это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда ратоборствовало странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостоин наслаждаться тем великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевства, охрану девственниц, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство же рыцарей, подвизающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и неспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успевает он оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чужедальнюю землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью и

мудрствования над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее Тиранта Белого? Кто обходительнее Лизуарта Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто неустрашимее Периона Галльского, кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Гирканский, и кто прямодушнее Эспландиана? Кто удалее дона Сиронхила Фракийского? Кто смелее Родомонта?[19] Кто предусмотрительнее царя Собрина? Кто дерзновенней Ринальда? Кто непобедимей Роланда? И кто, наконец, любезнее и учтивее Руджера, от коего, как указывает Турпин в своей *Космографии,* ведут свой род герцоги Феррарские? Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были, сеньор священник, рыцарями странствующими, красою и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду: они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, да еще избавили бы его от больших расходов, султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капеллан меня с собой не берет. Если же Юпитер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Таз-для-бритья знал, что я его понял.

– Право, сеньор Дон Кихот, у меня было совсем другое на уме, – возразил цирюльник, – намерения у меня были добрые, истинный бог, так что ваша милость напрасно сердится.

– Напрасно или не напрасно – это уж дело мое, – отрезал Дон Кихот.

Но тут вмешался священник:

– До сих пор я не сказал и двух слов, но мне все же хотелось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу, а возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот.

– За чем же дело стало? – молвил Дон Кихот. – Пожалуйста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением, – нехорошо, когда на душе что-то есть.

– Так вот, с вашего дозволения, – начал священник, – сомнение мое заключается в следующем: я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей, коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди, – напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают, пробудившись или, вернее сказать, в полусне.

– Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари, – возразил Дон Кихот, – я же многократно, в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах, старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесивши ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия непреложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами и что он был высок ростом, лицом бел, с красивою, хотя и черною бородою, с полуласковым, полусуровым взглядом, скуп на слова, гневался не вдруг и легко остывал. И так же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается мне, изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире странствовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост.

– Сеньор Дон Кихот! А как высок был, по-вашему, великан Моргант? – спросил цирюльник.

– Касательно великанов существуют разные мнения, – отвечал Дон Кихот, – кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако ж в Священном писании, где все до последнего слова совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина Голиафа, который был семи с половиною локтей росту, то есть величины непомерной. Затем на острове Сицилии были

найдены берцовые и плечевые кости, и по размерам их видно, что они принадлежали великанам ростом с высокую башню – геометрия доказывает это неопровержимо. Однако ж со всем тем я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок; пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, подвигам его посвященную, в коей особо подчеркивается то обстоятельство, что он часто ночевал под кровлею, а коли находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна.

– Вот оно что! – молвил священник.

Ему доставляла удовольствие великая эта нелепица, и для того он спросил, как представляет себе Дон Кихот наружность Ринальда Монтальванского, Роланда и прочих пэров Франции, ибо все они были странствующими рыцарями.

– Осмеливаюсь утверждать, – отвечал Дон Кихот, – что Ринальд был широколиц, румян, с бегающими глазами немного навыкате, самолюбив и вспыльчив донельзя, водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда, или Ротоландо, или Орландо, – в романах его называют и так и этак, – то я полагаю и утверждаю, что росту он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжебород, телом волосат, со взглядом грозным, скуп на слова, однако ж весьма учтив и благовоспитан.

– Если Роланд был столь неказист, как ваша милость его описывает, – заметил священник, – то не удивительно, что Анджелика Прекрасная его отвергла ради миловидности, изящества и прелести этого мавра с первым пухом на подбородке, каковому мавру она и отдалась. И это было с ее стороны вполне разумно – предпочесть нежность Медора колючести Роландовой.

– Эта Анджелика, сеньор священник, – возразил Дон Кихот, – была девица ветреная, непоседливая и слегка взбалмошная, и молва о ее сумасбродствах идет по свету не менее громкая, нежели слава о ее красоте. Она отвергла многое множество вельмож, многое множество отважных и умных людей и остановила свой выбор на смазливом молокососе-паже без роду без племени: у него не было другого прозвища, кроме «Преданный», которое он получил в награду за верность своему другу. Великий певец ее красоты, славный Ариосто, не дерзнув или не пожелав воспеть то, что с этою госпожою случилось после ее постыдного падения, – а случилось с нею, должно думать, нечто в высшей степени неблагопристойное, – при расставании с нею сказал следующее:

И как достался ей катайский трон,

Пускай поет певец иных времен.

И разумеется, что это было как бы пророчеством: ведь недаром поэтов называют также *votes*, что значит прорицатели. Сбылось же оно в полной мере, о чем свидетельствует то обстоятельство, что впоследствии один славный андалусский поэт[20] оплакал и воспел ее слезы, а другой славный и несравненный кастильский поэт[21] воспел ее красоту.

– Скажите, сеньор Дон Кихот, – спросил тут цирюльник, – неужели среди стольких поэтов, восхвалявших эту самую госпожу Анджелику, не нашлось такого, кто бы написал на нее сатиру?

– Я совершенно уверен, – отвечал Дон Кихот, – что если бы Сакрипант[22] или Роланд были поэтами, то они бы эту девицу по головке не погладили, ибо поэтам, которыми пренебрегли и которых отвергли их дамы, как воображаемые, так равно и не воображаемые, словом, те, кого они избрали владычицами мечтаний своих, свойственно и присуще мстить за себя сатирами и пасквилями, – месть, разумеется, недостойная сердец благородных, но пока что до меня не дошло ни одного стихотворения, позорящего госпожу Анджелику, а между тем она взбудоражила весь мир.

– Чудеса! – воскликнул священник.

Но тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.



Глава II,

повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницею и ключницею Дон-Кихотовыми, равно как и о других забавных вещах



В истории сказано, что Дон Кихот, священник и цирюльник услыхали голоса ключницы и племянницы, кричавших на Санчо Пансу; Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон Кихоту, а они ему преграждали вход.

– Что этому бродяге здесь нужно? Проваливай-ка, братец, подобру-поздорову: ведь это ты, а не кто другой, совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям.

Санчо же на это ответил так:

– Чертова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина: это он потащил меня мыкаться по белу свету, – так что вы обе попали пальцем в небо, – это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь.

– Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо! – вмешалась племянница. – И что это еще за острова? Что, ты их есть будешь, лакомка, обжора ты этакий?

– Да не есть, а ведать ими и править, – возразил Санчо, – и еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов.[23]

– А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства, сюда не войдешь, – объявила ключница. – Иди управляй своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертострова на свете.

Священника и цирюльника немало потешило это словопрение, однако ж Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попрощались с Дон Кихотом, на выздоровление коего они теперь утратили всякую надежду: так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так простодушно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику:

– Вот увидите, любезный друг, в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу.

– Не сомневаюсь, – отозвался цирюльник, – однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько простодушие оруженосца: он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы.

– Да поможет им бог, – сказал священник, – а мы будем на страже: посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца, – право, их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумства господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша.

– Ваша правда, – заметил цирюльник, – любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют.

– Я уверен, – сказал священник, – что племянница или же ключница нам потом расскажут: ведь у них такой обычай – все подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил:

– Меня весьма огорчает, Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко, но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте: отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали, и та же участь и та же судьба постигли нас обоих: если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили, вот и все мое перед тобой преимущество.

– Да ведь это в порядке вещей, – возразил Санчо, – сами же вы, ваша милость, говорите, что злоключения – это скорей по части странствующих рыцарей, нежели оруженосцев.

– Ты ошибаешься, – заметил Дон Кихот, – не зря говорится, что когда *caput dolet...* и так далее.

– Я разумею только мой родной язык, – объявил Санчо.

– Я хочу сказать, – пояснил Дон Кихот, – что когда *болит голова,* то болит и все тело, а как я есмь твой господин и сеньор, то я – голова, ты же – часть моего тела, коль скоро ты мой слуга, потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя.

– Так-то оно так, – сказал Санчо, – однако ж когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пребывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головою, то и голова обязана болеть вместе с телом.

– Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно, когда тебя подбрасывали на одеяле? – спросил Дон Кихот. – Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. Однако ж оставим до времени этот разговор, потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? Какого мнения обо мне простонародье, идальго и кавальеро? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании – возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю, как есть, правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санчо, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает.

– Я это сделаю весьма охотно, государь мой, – сказал Санчо, – с условием, однако ж, что ваша милость на мои слова не разгневается, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облекая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня.

– И не подумаю даже гневаться, – сказал Дон Кихот. – Можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей.

– Ну так, во-первых, я вам скажу, – начал Санчо, – что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего, а я, мол, тоже с придурью. Идальго говорят, что звания идальго вашей милости показалось мало и вы приставили к своему имени *дон* и, хотя у вас всего две-три виноградные лозы, землицы – волу развернуться негде, а прикрыт только зад да перед, произвели себя в кавальеро. Кавальеро говорят, что они не любят, когда с ними тягаются идальго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком.

– Это ко мне не относится, – сказал Дон Кихот, – одет я всегда прилично, чиненого не ношу. Рваное – это другое дело, да и то это больше от доспехов, нежели от времени.

– Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинания вашей милости, – продолжал Санчо, – то на сей предмет существуют разные мнения. Одни говорят: «Сумасшедший, но забавный», другие: «Смельчак, но неудачник», третьи: «Учтивый, но блажной», и уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне все косточки перемоют.

– Прими вот что в соображение, Санчо, – заговорил Дон Кихот, – стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и в некоторой нечистоплотности, – как в смысле одежды, так и в смысле нравов.

Об Александре,[24] подвигами своими стяжавшем себе название «великого», говорят, будто бы он запивал. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою и распутником. Про дона Галаора, брата Амадиса Галльского, ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат – будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен о людях выдающихся сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаил.

– В том-то вся и загвоздка, не видать отцу моему царствия небесного! – воскликнул Санчо.

– Значит, это еще не все? – спросил Дон Кихот.

– Ягодки еще впереди, – отвечал Санчо, – а пока что это были всего только цветочки. Коли милости вашей угодно знать клеветы, про вас распространяемые, то я мигом приведу одного человека, и он вам их выложит все до единой, вот чего не упустит: ведь вчера вечером приехал сын Бартоломе Карраско, тот, что учился в Саламанке и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский,* и еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем – Санчо Пансы, и сеньору Дульсинею Тобосскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я от ужаса начал креститься – откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю?

– Уверяю тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что наш летописец – это, уж верно, какой-нибудь мудрый кудесник: от таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется.

– Какой там мудрый, да еще и кудесник, – воскликнул Санчо, – когда, по словам бакалавра Самсона Карраско (так зовут того, о ком я говорю), автор этой книги прозывается *Сид Ахмет Бен-нахали!*

– Это мавританское имя, – сказал Дон Кихот.

– Вернее всего, – подхватил Санчо, – мне от многих приходилось слышать, что мавры преизрядные нахалы.

– По-видимому, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты перепутал прозвание этого *Сида,* что, кстати сказать, по-арабски означает «господин».

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Так вот, коли вашей милости желательно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю.

– Я буду тебе очень признателен, друг мой, – сказал Дон Кихот. – Ты мне загадал загадку, – я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведаю.

– Ну так я за ним схожу, – повторил Санчо.

И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя презабавное началось собеседование.



Глава III

Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско



Дон Кихот в ожидании бакалавра Карраско, от которого он надеялся услышать, что именно о нем говорится в книге, о коей ему толковал Санчо, погрузился в глубокую задумчивость; он никак не мог поверить, что такая книга существует в действительности: ведь на острие его меча еще не успела высохнуть кровь убитых им врагов, а тут говорят, будто история высоких его рыцарских подвигов уже вышла в свет. Со всем тем он решил, что какой-

нибудь мудрец, не то друг, не то недруг, силою своего волшебства ее напечатал, – коли друг, то дабы возвеличить и вознести его подвиги над самыми славными деяниями странствующих рыцарей, а коли недруг, то дабы умалить их и поставить ниже самых гнусных поступков гнуснейшего из оруженосцев, какой когда-либо был описан в книге; впрочем, возражал он себе, дела оруженосцев никто никогда не описывал, если же такая книга подлинно существует, то, коль скоро это книга о странствующем рыцаре, она по необходимости долженствует быть красноречивою, возвышенною, изрядною, великолепною и правдивою. Соображения эти несколько его успокоили, однако он снова забеспокоился, когда вспомнил, что автор книги – мавр, о чем свидетельствовало слово *Сид,* от мавров же ожидать правды не следует, ибо все они обманщики, врали и выдумщики. Он со страхом думал: а вдруг мавр описывает сердечные его обстоятельства без надлежащей благопристойности и тем самым порочит и пятнает честь сеньоры Дульсинеи Тобосской? Ему же хотелось, чтобы в книге было засвидетельствовано, как он был верен ей и как высоко всегда ее ставил, как отвергал королев, императриц и всякого звания дев и умерял естественные движения сердца; и он все еще думал, гадал, судил и рядил, когда вошли Санчо и Карраско, и Дон Кихот встретил бакалавра с отменною учтивостью.

Бакалавр хотя и звался Самсоном,[25] однако ж росту был небольшого, зато был пребольшущий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он и выказал, едва увидевши Дон Кихота, ибо тот же час опустился перед ним на колени и сказал:

– Ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Пожалуйте мне ваши руки, ибо, клянусь одеянием апостола Петра,[26] которое на мне (хотя я достигнул только первых четырех степеней), что ваша милость – один из наиславнейших странствующих рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности. Да будет благословен Сид Ахмет Бен-инхали за то, что он написал историю великих ваших деяний, и да преблагословен будет тот любознательный человек, который взял на себя труд перевести ее с арабского на наш обиходный кастильский язык для всеобщего увеселения.

Дон Кихот попросил его встать и сказал:

– Итак, моя история, и правда, написана, и составил ее некий мудрый мавр?

– Сущая правда, сеньор, – отвечал Самсон, – и я даже ручаюсь, что в настоящее время она отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг. Коли не верите, запросите Португалию, Барселону и Валенсию, где она печаталась, и еще ходят слухи, будто бы ее сейчас печатают в Антверпене, – мне сдается, что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке.

– Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения, – сказал на это Дон Кихот, – как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов. Я говорю: добрая молва, ибо если наоборот, то с этим никакая смерть не сравнится.

– Что касается доброй славы и доброго имени, – подхватил бакалавр, – то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях, и, наконец, чистоту и сдержанность платонического увлечения вашей милости сеньорою доньей Дульсинеей Тобосской.

– Я никогда не слыхал, чтобы сеньору Дульсинею звали *донья,*– вмешался тут Санчо, – ее зовут просто *сеньора Дульсинея Тобосская,* так что в этом сочинитель ошибается.

– Твое возражение несущественно, – заметил Карраско.

– Разумеется, что нет, – отозвался Дон Кихот, – однако ж скажите мне, сеньор бакалавр: какие из подвигов моих наипаче восславляются в этой истории?

– На сей предмет, – отвечал бакалавр, – существуют разные мнения, ибо разные у людей вкусы: одни питают пристрастие к приключению с ветряными мельницами, которые ваша милость приняла за Бриареев и великанов, другие – к приключению с сукновальнями, кто – к описанию двух ратей, которые потом оказались стадами баранов, иной восторгается приключением с мертвым телом, которое везли хоронить в Сеговию, один говорит, что лучше нет приключения с освобождением каторжников, другой – что надо всем возвышаются приключения с двумя великанами-бенедиктинцами и схватка с доблестным бискайцем.

– А скажите, сеньор бакалавр, – снова вмешался Санчо, – вошло в книгу приключение с янгуасцами, когда добрый наш Росинант отправился искать на дне морском груш?

– Мудрец ничего не оставил на дне чернильницы, – отвечал Самсон, – он всего коснулся и обо всем рассказал, даже о том, как добрый Санчо кувыркался на одеяле.

– Ни на каком одеяле я не кувыркался, – возразил Санчо, – в воздухе, правда, кувыркался, и даже слишком, я бы сказал, долго.

– По моему разумению, – заговорил Дон Кихот, – во всякой светской истории долженствуют быть свои коловратности, особливо в такой, в которой речь идет о рыцарских подвигах, – не может же она описывать одни только удачи.

– Как бы то ни было, – сказал бакалавр, – некоторые читатели говорят, что им больше понравилось бы, когда бы авторы сократили бесконечное количество ударов, которые во время разных стычек сыпались на сеньора Дон Кихота.

– История должна быть правдивой, – заметил Санчо.

– И все же они могли бы умолчать об этом из чувства справедливости, – возразил Дон Кихот, – не к чему описывать происшествия, – которые хотя и не нарушают и не искажают правды исторической, однако ж могут унизить героя. Сказать по совести, Эней не был столь благочестивым, как его изобразил Вергилий, а Одиссей столь хитроумным, как его представил Гомер.

– Так, – согласился Самсон, – но одно дело – поэт, а другое – историк: поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действительности, а такими, какими они долженствовали быть, историку же надлежит описывать их не такими, какими они долженствовали быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не присочиняя.

– Коли уж сеньор мавр выложил всю правду, – заметил Санчо, – стало быть, среди ударов, которые получал мой господин, наверняка значатся и те, что получал я, потому не было еще такого случая, чтобы, снимая мерку со спины моего господина, не сняли заодно и со всего моего тела. Впрочем, тут нет ничего удивительного: мой господин сам же говорит, что головная боль отдается во всех членах.

– Ну и плут же вы, Санчо, – молвил Дон Кихот. – На что, на что, а на то, что вам выгодно, у вас, право, недурная память.

– Да если б я и хотел позабыть про дубинки, которые по мне прошлись, – возразил Санчо, – так все равно не мог бы из-за синяков: ведь до ребер-то у меня до сих пор не дотронешься.

– Помолчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – не прерывай сеньора бакалавра, я же, со своей стороны, прошу его продолжать и рассказать все, что в упомянутой истории обо мне говорится.

– И обо мне, – ввернул Санчо, – ведь, говорят, я один из ее главных пресонажей.

– *Персонажей,* а не *пресонажей,* друг Санчо, – поправил Самсон.

– Еще один строгий учитель нашелся! – сказал Санчо. – Если мы будем за каждое слово цепляться, то ни в жизнь не кончим.

– Пусть моя жизнь будет несчастной, если ты, Санчо, не являешься в этой истории вторым лицом, – объявил бакалавр, – и находятся даже такие читатели, которым ты доставляешь

больше удовольствия своими речами, нежели самое значительное лицо во всей этой истории, хотя, впрочем, кое-кто говорит, что ты обнаружил излишнюю доверчивость, поверив в возможность стать губернатором на острове, который был тебе обещан присутствующим здесь сеньором Дон Кихотом.

– Время еще терпит, – заметил Дон Кихот, – и чем более будет Санчо входить в возраст, чем более с годами у него накопится опыта, тем более способным и искусным окажется он губернатором.

– Ей-богу, сеньор, – сказал Санчо, – не губернаторствовал я на острове в том возрасте, в коем нахожусь ныне, и не губернаторствовать мне там и в возрасте Мафусаиловом.[27] Не то беда, что у меня недостает сметки, чтобы управлять островом, а то, что самый этот остров неведомо куда запропастился.

– Положись на бога, Санчо, – молвил Дон Кихот, – и все будет хорошо, и, может быть, даже еще лучше, чем ты ожидаешь, ибо без воли божией и лист на дереве не шелохнется.

– Совершенная правда, – заметил Самсон, – если бог захочет, то к услугам Санчо будет не то что один, а целая тысяча островов.

– Навидался я этих самых губернаторов, – сказал Санчо, – по-моему, они мне в подметки не годятся, а все-таки их величают *ваше превосходительство* и кушают они на серебре.

– Это не губернаторы островов, – возразил Самсон, – у них другие области, попроще, – губернаторы островов должны знать, по крайности, грамматику и арифметику.

– С *орехами-то* я в ладах, – сказал Санчо, – а вот что такое *метика* – тут уж я ни в зуб толкнуть, не понимаю, что это может значить. Предадим, однако ж, судьбы островов в руци божии, и да пошлет меня господь бог туда, где я больше всего могу пригодиться, я же вам вот что скажу, сеньор бакалавр Самсон Карраско: я страх как доволен, что автор этой истории, рассказывая про мои похождения, не говорит обо мне никаких неприятных вещей, потому, честное слово оруженосца, расскажи он обо мне что-нибудь такое, что не пристало столь чистокровному христианину, каков я, то мой голос услышали бы и глухие.

– Это было бы чудо, – заметил Самсон.

– Чудо – не чудо, – отрезал Санчо, – а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет о *персонах,* а не ляпать без разбора все, что взбредет на ум.

– Одним из недостатков этой истории, – продолжал бакалавр, – считается то, что автор вставил в нее повесть под названием *Безрассудно-любопытный,* – и не потому, чтобы она была плоха сама по себе или же плохо написана, а потому, что она здесь неуместна и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота.

– Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, – что у этого сукина сына получилась каша.

– В таком случае я скажу, – заговорил Дон Кихот, – что автор книги обо мне – не мудрец, а какой-нибудь невежественный болтун, и взялся он написать ее наудачу и как попало – что выйдет, то, мол, и выйдет, точь-в-точь как Орбанеха, живописец из Убеды, который, когда его спрашивали, что он пишет, отвечал: «Что выйдет». Нарисовал он однажды петуха, да так скверно и до того непохоже, что пришлось написать под ним крупными буквами: «Это петух». Так, очевидно, обстоит дело и с моей историей, и чтобы понять ее, понадобится комментарий.

– Ну нет, – возразил Самсон, – она совершенно ясна и никаких трудностей не представляет: детей от нее не оторвешь, юноши ее читают, взрослые понимают, а старики хвалят. Словом, люди всякого чина и звания зачитывают ее до дыр и знают наизусть, так что чуть только увидят какого-нибудь одра, сейчас же говорят: «Вон Росинант!» Но особенно увлекаются ею слуги – нет такой господской передней, где бы не нашлось *Дон Кихота:* стоит кому-нибудь выпустить его из рук, как другой уж подхватывает, одни за него дерутся, другие выпрашивают. Коротко говоря, чтение помянутой истории есть наименее вредное и самое

приятное времяпрепровождение, какое я только знаю, ибо во всей этой книге нет ни одного мало-мальски неприличного выражения и ни одной не вполне католической мысли.

– Писать иначе – это значит писать не правду, а ложь, – заметил Дон Кихот, – историков же, которые не гнушаются ложью, должно сжигать наравне с фальшивомонетчиками. Вот только я не понимаю, зачем понадобилось автору прибегать к повестям и рассказам про других, когда он мог столько написать обо мне, – по-видимому, он руководствовался пословицей; «Хоть солому ешь, хоть жито, лишь бы брюхо было сыто». В самом деле, одних моих размышлений, вздохов, слез, добрых намерений и сражений могло бы хватить ему на еще более или уж, по крайности, на такой же толстый том, какой составляют сочинения Тостадо.[28] Откровенно говоря, сеньор бакалавр, я полагаю, что для того, чтобы писать истории или же вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения и зрелость мысли. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих: самое умное лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и бог, ибо бог и есть правда, и все же находятся люди, которые пекут книги, как оладьи.

– Нет такой дурной книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего, – вставил бакалавр.

– Без сомнения, – согласился Дон Кихот, – однако ж часто бывает так, что люди заслуженно достигают и добиваются своими рукописаниями великой славы, но коль скоро творения их выходят из печати, то слава им изменяет совершенно или, во всяком случае, несколько меркнет.

– Суть дела вот в чем, – сказал Карраско. – Произведения напечатанные просматриваются исподволь, а потому и недостатки таковых легко обнаруживаются, и чем громче слава сочинителя, тем внимательнее творения его изучаются. Людям, прославившимся своими дарованиями, великим поэтам, знаменитым историкам всегда или же большею частью завидуют те, которые с особым удовольствием и увлечением вершат суд над произведениями чужими, хотя сами не выдали в свет ни единого.

– Удивляться этому не приходится, – заметил Дон Кихот, – сколькие богословы сами не годятся в проповедники, но зато отличнейшим образом подметят, чего вот в такой-то проповеди недостает и что в ней лишнее.

– Все это так, сеньор Дон Кихот, – возразил Карраско, – однако ж я бы предпочел, чтобы подобного рода судьи были более снисходительны и менее придирчивы и чтобы они не считали пятен на ярком солнце того творения, которое они хулят, ибо если *aliquando bonus dormitat Homerus*,[29] то пусть они примут в рассуждение, сколько пришлось ему бодрствовать, дабы на светлое его творение падало как можно меньше тени, и притом, может статься, те пятна, которые им не понравились, – это пятна родимые, иной раз придающие человеческому лицу особую прелесть. Коротко говоря, кто отдает свое произведение в печать, тот величайшему подвергается риску, ибо совершенно невозможно сочинить такую книгу, которая удовлетворила бы всех.

– Книга, написанная обо мне, удовлетворит немногих, – вставил Дон Кихот.

– Как раз наоборот: ведь *stultorum infinitus est numerus*,[30] а посему ваша история пришлась по вкусу неисчислимому множеству читателей, однако ж некоторые полагают, что память у автора худая и слабая, ибо он забыл сообщить, кто украл у Санчо его серого: вор не назван, ясно только одно, что осла похитили, а немного погодя мы снова видим Санчо верхом на том же самом осле, который неизвестно откуда взялся. Еще говорят, будто автор забыл упомянуть, что сделал Санчо на ту сотню эскудо, которую он нашел в чемодане в Сьерре Морене: автор об этом умалчивает, а между тем многим хотелось бы знать, что Санчо на них сделал и как он ими распорядился, – вот этой существенной подробности в книге и недостает.

Санчо на это ответил так:

– Мне, сеньор Самсон, сейчас не до счетов и не до отчетов, – у меня такая слабость в желудке, что ежели я не глотну для бодрости крепкого вина, то высохну, как щепка. Дома у меня есть вино, моя дражайшая половина меня поджидает, я только поем, а потом вернусь и удовлетворю вашу милость и всякого, кто только ни пожелает меня спросить касательно пропажи осла и на что я израсходовал сто эскудо.

И, не дожидаясь ответа и ни слова более не сказав, Санчо ушел домой.

Дон Кихот стал просить и уговаривать бакалавра остаться и закусить с ним чем бог послал. Бакалавр принял приглашение и остался; в виде добавочного блюда была подана пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско поддакивал хозяину; пиршество кончилось, все легли соснуть. Санчо возвратился, и прерванная беседа возобновилась.



Глава IV,

в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать



Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал:

– Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, кто, как и когда похитил у меня серого, на каковой его запрос отвечаю нижеследующее. В ту же ночь, когда мы, спасаясь бегством от Святого братства, очутились в Сьерре Морене после злоключений, то бишь приключений, с каторжниками и с покойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я спрятались в чаще леса, и тут мы оба, мой господин – опершись на копье, а я – верхом на своем сером, избитые и уставшие от перепалок, заснули как все равно на пуховиках. Особливо я заснул таким крепким сном, что кто-то ко мне подкрался, со всех четырех сторон подставил под седло по палке и неприметно вытащил из-под меня осла, я же так и остался в седле.

– Это дело пустячное, да и не новое, то же самое приключилось с Сакрипантом во время осады Альбраки: таким же хитроумным способом вытащил из-под него коня знаменитый разбойник Брунел.[31]

– Рассвело, – продолжал Санчо, – и чуть только я пошевелился, как палки полетели и я со всего размаху шлепнулся. Поглядел, где мой серый, ан серого-то и нет. Заплакал я в три ручья и таково жалобно запричитал, что ежели тот, кто написал про нас книгу, не вставил в нее моих причитаний, значит, можно сказать с уверенностью, что он ничего хорошего в нее не вставил. Сколько дней прошло с тех пор – не помню, только еду я с сеньорой принцессой Микомиконой, гляжу: осел-то мой вот он, а на нем одетый по-цыгански Хинес де Пасамонте, сей плут и преизрядный мерзавец, коего мой господин и я избавили от цепей.

– Ошибка не в этом, – заметил Самсон, – а в том, что прежде, нежели осел нашелся, автор обмолвился, что Санчо ехал верхом на том же самом сером.

– На это я не знаю, что вам ответить, – сказал Санчо, – видно, сочинитель ошибся, а может, это небрежность наборщика.

– По всей вероятности, так оно и есть, – сказал Самсон. – Ну, а что же сталось с сотней эскудо? Их не стало в живых?

Санчо ответил:

– Я истратил их на себя лично, на жену и на детей, и только благодаря им я не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути-дорожки, а то если б я через столько времени заявился домой без осла и с пустыми руками, меня бы ожидала незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, перед собственной его *персоной,* да и никого не касается – привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мараведи за каждую, так не то что ста, а и двухсот эскудо не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называет черным, а черное – белым: ведь все мы таковы, какими нас господь бог сотворил, а бывает, что и того хуже.

– Я попрошу автора, – сказал Карраско, – чтобы он во втором издании своей книги не забыл вставить то, что сейчас сказал добрый Санчо, – это к вящему послужило бы ей украшению.

– А еще какие-нибудь исправления требуются в этой книге, сеньор бакалавр? – осведомился Дон Кихот.

– Вероятно, какие-нибудь требуются, – отвечал тот, – но уже не столь существенные.

– А не собирается ли, чего доброго, автор выдать в свет вторую часть? – спросил Дон Кихот.

– Как же, собирается, – отвечал Самсон, – только он говорит, что еще не разыскал ее и не знает, у кого она хранится, так что это еще под сомнением, выйдет она или нет, да и потом некоторые говорят: «Вторая часть никогда не бывает удачной», а другие: «О Дон Кихоте написано уже довольно», вот и берет сомнение, будет ли вторая часть. Впрочем, люди не

угрюмые, а жизнерадостные просят: «Давайте нам еще Дон-Кихотовых похождений, пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно – мы всем будем довольны».

– К чему же склоняется автор?

– А вот к чему, – отвечал Самсон. – Он с крайним тщанием историю эту разыскивает, и коль скоро она найдется, он сей же час предаст ее тиснению: ведь он не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью.

На это Санчо ему сказал:

– Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой, – произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый сеньор мавр, или кто он там такой, постарается, а уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди, думает про нас: дескать, как сыр в масле катаются, а поглядел бы, как мы тут благоденствуем, – пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу: послушайся меня мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей.

Не успел Санчо вымолвить это, как их слуха достигло ржание Росинанта, каковое ржание Дон Кихот почел за весьма добрый знак и положил дня через три, через четыре снова отправиться в поход; и, поделившись намерением своим с бакалавром, он спросил, куда тот посоветует ему путь держать; бакалавр отвечал, что, по его разумению, в королевство Арагонское, в город Сарагосу, где в ближайшее время, в Георгиев день, надлежит быть наиторжественнейшим состязаниям[32] и где Дон Кихот может превзойти всех рыцарей арагонских, а это все равно, что превзойти всех рыцарей на свете. Засим бакалавр похвалил Дон Кихота за его чрезвычайно благородное и смелое начинание, но предуведомил, чтобы он не играл с опасностью по той причине, что его жизнь, мол, принадлежит не ему, а всем несчастным, которые в помощи его и покровительстве нуждаются.

– Насчет состязания, сеньор Самсон, я не согласен, – вмешался Санчо, – ведь мой господин набрасывается на сотню вооруженных людей, как все равно лакомка-мальчишка на полдесятка спелых дынь. Да, черт побери, сеньор бакалавр, всему свое время: когда напасть, а когда и отступить можно, а издавать то и знай воинственные кличи – это не дело. Притом я слыхал, и как будто бы, если память мне не изменяет, от моего же собственного господина, что посредине между двумя крайностями, трусостью и безрассудством, находится храбрость, а коли так, то не должно удирать неизвестно из-за чего, а равно и нападать на превосходящие силы противника. Но главное вот насчет чего я хочу упредить моего господина: коли он намерен взять меня с собой, то я, со своей стороны, ставлю непременным условием, что драться будет он один, мне же только вменяется в обязанность следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен, – тут уж я в лепешку расшибусь, – но чтобы я когда-нибудь поднял меч не то что на великана, а хотя бы на разбойника с большой дороги, это вещь невозможная. Я, сеньор Самсон, рассчитываю добыть себе славу не храбреца, а самого лучшего и самого верного оруженосца, какой когда-либо служил странствующему рыцарю. И если моему господину Дон Кихоту в награду за многочисленные мои и важные услуги благоугодно будет пожаловать мне один из тех многочисленных островов, которые, как я слыхал от его милости, в здешних краях водятся, то он меня премного тем одолжит, а не пожалует то, для чего-то я все-таки родился на свет, а ведь всякому человеку должно уповать ни на кого другого, а только на бога, и притом может статься, что безгубернаторский кусок хлеба такой же вкусный, а то, глядишь, еще и повкуснее, нежели губернаторский, да и откуда я знаю: не ровен час, на этих самых островах черт собирается подставить мне ножку, чтобы я споткнулся, упал и вышиб себе зубы. Как был я Санчо, так Санчо и умру, однако ежели без особого с моей стороны риска и

хлопот ни оттуда ни отсюда свалится мне с неба какой-нибудь остров или же еще что-нибудь в этом роде, то я не такой дурак, чтоб от него отказаться, не зря же говорит пословица: «Дали коровку – беги скорей за веревкой», а то еще: «Привалило добро – тащи прямо в дом».

– Ты, братец Санчо, – молвил Карраско, – говорил как настоящий профессор, однако ж со всем тем положись на бога и на сеньора Дон Кихота, и сеньор Дон Кихот пожалует тебе не только что остров, а и целое королевство.

– Половинку бы – и то хорошо, – заметил Санчо, – только смею вас уверить, сеньор Карраско, что королевство, которое моему господину угодно будет мне пожаловать, со мной не пропадет: я щупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы править королевствами и островами, – я уж сколько раз говорил моему господину.

– Смотри, Санчо, – сказал Самсон, – от должностей меняется нрав; может случиться, что, ставши губернатором, ты от родной матери отвернешься.

– Так можно сказать про басурмана, – возразил Санчо, – а у меня в жилах течет чистая-расчистая христианская кровь. Да нет, вы только присмотритесь ко мне: разве я способен отплатить кому-либо неблагодарностью?

– Дай-то бог, – молвил Дон Кихот, – посмотрим, что будет, когда ему вручат бразды правления, а мне сдается, что час тот недалек.

Затем Дон Кихот попросил бакалавра, если только он поэт, сделать ему одолжение – сочинить на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской такое стихотворение, где бы каждый стих начинался с одной из букв ее имени, так что в конце концов, если соединить начальные буквы, можно было бы прочитать: *Дульсинея из Тобосо.* Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, всего-навсего три с половиной, однако ж не преминет-де сочинить помянутые вирши, нужды нет, что сочинение таковых представляет для него трудность немалую по той причине, что заданное имя состоит из семнадцати букв, и вот если, мол, написать четыре четверостишия, то одна буква будет лишняя, если же четыре пятистишия, четыре так называемые *десимы*[33] или *редондильи,* то трех букв не хватит, однако ж со всем тем он, дескать, постарается как-нибудь проглотить одну букву и в четыре четверостишия втиснуть имя Дульсинеи из Тобосо.

– Добейтесь этого во что бы то ни стало, – сказал Дон Кихот, – ни одна женщина не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не обозначено в них ясно и отчетливо.

На том они и порешили, а также на том, что Дон Кихот выедет через неделю. Дон Кихот взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности от священника и маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, чтобы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Карраско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах; и тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.



Глава V

Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем



Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная, ибо в ней Санчо Панса изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны; однако ж, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее; итак, он продолжает.

Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена учуяла это веселье на расстоянии арбалетного выстрела и принуждена была спросить:

– Что с тобой, друг Санчо? Отчего ты такой веселый?

А Санчо ей на это ответил:

– Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.

– Я тебя не понимаю, муженек, – сказала жена, – не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался, – я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.

– Слушай, Тереса, – сказал Санчо, – я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним – меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перепутьям, – а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть, – веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.

– Послушай, Санчо, – сказала Тереса, – с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять.

– Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает, – возразил Санчо. – Ну, ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности – ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами и заколдованными маврами.

– Да уж я вижу, муженек, – сказала Тереса, – что хлеб странствующих оруженосцев – это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.

– Я тебе прямо говорю, жена, – сказал Санчо, – не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.

– Ну нет, муженечек, – возразила Тереса, – живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы – и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа – это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчико уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора, настоятель, который ему дядюшкой приходится, обещался направить его по духовной части. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча,[34] совсем даже не прочь выйти замуж, – мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве, да ведь и то сказать: для девушки лучше плохой муженек, нежели хороший дружок.

– Клянусь честью, – молвил Санчо, – коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе как *ваше сиятельство.*

– Ну нет, Санчо, – возразила Тереса, – выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевенького

платьишка – в шелковое, да с фижмами, и вместо *Марика, ты,* все станут называть ее *донья такая-то* и *ваше сиятельство,* так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.

– Молчи, дура, – сказал Санчо, – годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся – что за беда? Только бы ей стать *вашим сиятельством,* а все остальное вздор.

– Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием, – сказала Тереса, – не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятья». Подумаешь, какое счастье – выдать Марию за какого-нибудь графчонка или там дворянинишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, привози-ка скорей деньжат, а выдать ее замуж – это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась: вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятья и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец: там и люди ее не поймут, и она никого не поймет.

– Ах ты дурища, Вараввина жена! – вскричал Санчо. – Ну какая тебе корысть – не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали *ваше сиятельство?* Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный – пускай же он нас и несет.

Подобные обороты речи, а также иные из тех выражений, которые Санчо употребит ниже, и вынудили переводчика этой истории объявить, что он признаёт эту главу за вымышленную.

– Говори, тварь неразумная, – продолжал Санчо, – чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и через то мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать *доньей Тересой Панса,* и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров, – как ты себе хочешь, Санчика будет графиней.

– Ты соображаешь, что говоришь, муженек? – воскликнула Тереса. – Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай, как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда здорово живешь начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, штуковин и финтифлюшек – всяких там *донов* да *распродонов,* отец мой – по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса (хотя, по правилам, меня бы следовало звать Тересой Каскахо, ну да одно дело – закон, а другое – король), и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой *доньи,* а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша, – ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче, ишь ты, – фижмы да застежки, и нос дерет, как будто она знать нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств, – одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, – я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я – клянусь памятью моей матери – никуда из нашего села не двинемся: женщине честной – за прялкою место, а девушке скромной своя

лачуга – хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злоключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится, а вот откуда у твоего господина появился *дон* – это мне, ей-ей, чудно, потому ни отцы его, ни деды *донами* не были.

– Нет, в тебя просто бес вселился, – объявил Санчо. – Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застежками, финтифлюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай, ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья): если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету наподобие инфанты не то доньи Собаки, не то доньи Урраки,[35] – я уж позабыл, как ее звали, – вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришпилю ей *донью* и *ваше сиятельство* и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?

– Знаешь, муженек, отчего я не согласна? – отвечала Тереса. – Оттого, что, как говорится, «платье тебя одевает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами – и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе – куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.

– Постой, Тереса, – прервал ее Санчо, – слушай, что я тебе сейчас скажу, – такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то.

Вышеприведенные речи Санчо составляют вторую причину, по которой переводчик признаёт эту главу за вымышленную, ибо они превосходят понятие Санчо. А Санчо между тем продолжал:

– Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаемся к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицезрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением, – коли он уже в прошлом, – не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.

– Не понимаю я тебя, муженек, – сказала Тереса, – поступай, как знаешь, и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось...

– *Заблагорассудилось* должно говорить, жена, а не *забезрассудилось,* – поправил Санчо.

– Не спорь со мной, муженек, – возразила Тереса, – я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губернаторство, то возьми с собой своего сына Санчо и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать – ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.

– Когда я буду губернатором, – объявил Санчо, – я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить

губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он таков, а было видно, каким ему надлежит быть.

– Пришли только денег, – молвила Тереса, – а уж он у меня будет разодет в пух и прах.

– Ну, словом, – заключил Санчо, – мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней.

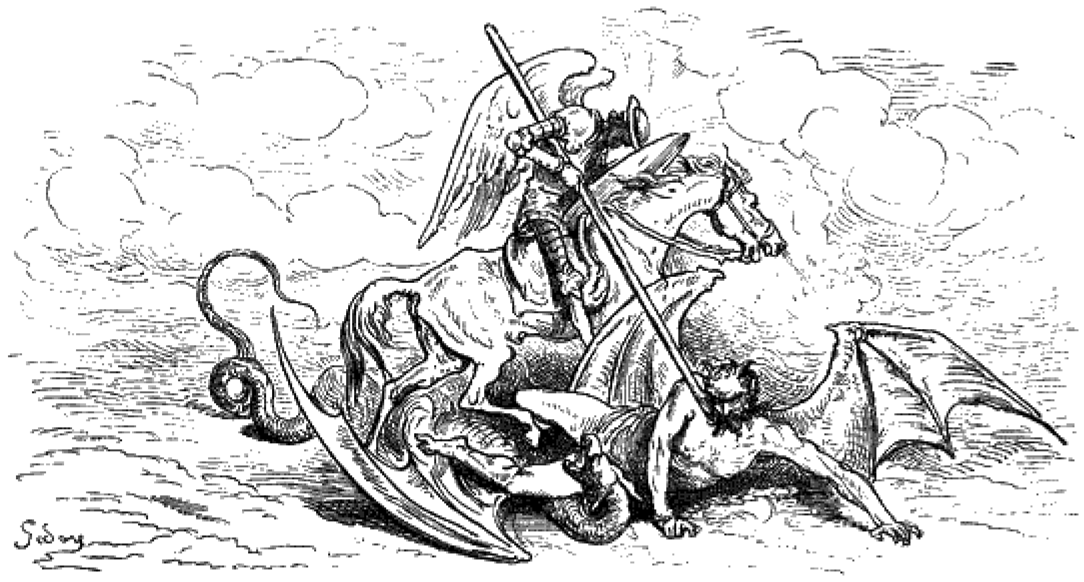
– В тот день, когда она станет графиней, – возразила Тереса, – я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля – во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.

И тут она залилась такими горькими слезами, точно Санчика и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.



Глава VI

О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницею и ключницею, и это одна из самых важных глав во всей истории



Пока Санчо Панса и его супруга Тереса Каскахо вели между собой вышеприведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными: по многим признакам догадавшись, что дядя их и господин, томимый жаждой рыцарских, как

они полагали, *заблуждений,* а не похождений, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Со всем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим сказала ему:

– Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, *облегчений,* а я их называю *огорчениями,* то я пожалуюсь богу и королю и буду кричать на крик и не своим голосом, чтобы они вам не позволили.

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Ключница! Мне неизвестно, что господь бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит его величество, знаю только, что, будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений, ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на его величестве, самая тяжелая – это всех выслушивать и всем отвечать, вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами.

Ключница же на это сказала:

– А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари?

– Есть, – отвечал Дон Кихот, – и даже много, и на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и усугубляют величие королевского престола.

– Так почему бы и вам, ваша милость, не послужить королю, своему господину, сидя смирно при дворе?

– Вот что, дорогая моя, – отвечал Дон Кихот, – не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и долженствуют быть странствующими рыцарями: в жизни бывают нужны и те и другие. И хоть и все мы – рыцари, однако ж есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша, и они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные из конца в конец самолично обходим дозором землю, и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и со всякими пустяками, например: не короче ли у одного из противников копье или шпага, и что у недруга спрятано на груди – реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет,[36] и прочими тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. И еще тебе надобно знать вот что: добрый странствующий рыцарь при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними, и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза как мельничные жернова и горят, как стеклоплавильные печи, отнюдь не устрашается, – напротив того, приосанившись, с душою, полною отваги, он бросается на них, бьется с ними, а буде окажется возможным, то в мгновение ока одолевает и разбивает наголову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы – чешую, говорят, будто бы тверже алмаза, – а вместо шпаг вооружены острыми дамасской стали саблями или железными палицами с наконечниками также из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. Все это, любезная моя ключница, я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости государи должны были бы больше ценить второй, вернее первый, разряд – разряд рыцарей странствующих, среди коих, гласит история, мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств.

– Ах, сеньор! – воскликнула тут племянница. – Да поймите же вы наконец, ваша милость: все, что рассказывают о странствующих рыцарях, это сплошные враки и побасенки, а книги про них следовало бы сжечь или уж, по крайности, накинуть на них санбенито,[37] а еще можно ставить на них особые знаки, чтоб всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики.

– Клянусь создателем, – воскликнул Дон Кихот, – что, не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет как должно обращаться, осмеливалась трепать языком и бранить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если б услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо, ибо не все рыцари равно учтивы и обходительны, есть среди них невежи и грубияны. Ведь не все именующие себя рыцарями являются таковыми в полной мере: иные сделаны из настоящего золота, иные – из поддельного. С виду все как будто бы рыцари, однако ж не все выдерживают испытание пробным камнем истины. Есть люди низкого звания, которые из кожи вон лезут, чтобы сойти за рыцарей, есть и родовитые рыцари, которые готовы наизнанку вывернуться, чтобы сойти за простолюдинов: первые стремятся вверх то ли из честолюбия, то ли из добрых побуждений, вторые стремятся вниз то ли по слабости, то ли по своей порочности, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий.

– Боже ты мой! – воскликнула племянница. – Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе – будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы – рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идальго и могут стать кавальеро, но ведь не бедные же!..

– В твоих словах, племянница, есть большая доля правды, – заметил Дон Кихот, – касательно же родословных я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты далась бы диву, но, дабы не мешать божеского с человеческим, я обойду их молчанием. Вот что, дорогие мои: все существующие в мире родословные можно свести (слушайте меня со вниманием) к четырем видам, а именно: есть роды, у которых начало было скромное, но мало-помалу они ширятся и распространяются и, наконец, достигают величия наивысшего; у других начало было высокое, и они его блюли неукоснительно, и продолжают блюсти, и удерживаются и поныне на той высоте, с которой начали; у третьих начало было столь же высокое, однако же впоследствии они сузились наподобие пирамиды, – они постепенно оскудевали, впадали в ничтожество, а затем и вовсе сходили на нет, подобно вершине пирамиды, ибо по отношению к своему фундаменту, или же основанию, она есть ничто; и есть роды (таких, должно заметить, большинство), которые не могут похвалиться ни счастливым началом, ни приличной серединой, и конец их будет столь же бесславен, – это конец всех плебеев и людей обыкновенных. Примером первого вида, то есть скромного начала и неуклонного возвышения, служит Дом Оттоманов:[38] основание ему положил скромный, простой пастух, а ныне мы видим, какой высоты достигла эта династия. Примером второго вида, то есть высокого начала и сохранения его без приумножения, могут служить многие государи, к которым престол перешел по наследству и которые свято охраняют его, не расширяя, но и не уменьшая своих владений и по миролюбию своему оставаясь в раз навсегда установленных пределах. Примеры высокого начала и постепенного оскудевания суть многочисленны, ибо все фараоны и Птолемеи египетские, цезари римские и вся прорва (если можно так выразиться) бесчисленных государей, монархов и владетельных князей мидийских, ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти царские и княжеские роды впали в ничтожество и сошли на нет – как сами

эти роды, так и родоначальники, – потомков их ныне сыскать уже невозможно, а если кого и сыщешь, так тот, уж верно, пребывает в низком и жалком состоянии. О родах плебейских я могу сказать одно: единственное их назначение – увеличивать собою число живущих на свете, и многочисленность их не стоит ни славы, ни похвал. Из всего сказанного, дурочки вы мои, вам надлежит сделать тот вывод, что с этими родами путаницы не оберешься и что только те роды истинно велики и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю: добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель – это все равно что властительный злочестивец, а нещедрый богач – это все равно что нищий скупец: ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели, а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, не высокомерным, не заносчивым и не клеветником, главное же – ему надлежит быть сострадательным, ибо, с веселым сердцем подав бедному два мараведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола, и коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то, кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служит неизменною наградою добродетели, и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету: один из них – поприще ученое, другой – военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса, так что я уже как бы по необходимости следую этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился, и убеждать меня, чтобы я не желал того, чего возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности, с подвигом странствующего рыцарства сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые через него достаются; и еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка, а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различны, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели, тесный и утомительный, кончается жизнью, но не тою жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а тою, которой не будет конца; и еще я знаю, что, по выражению знаменитого нашего кастильского стихотворца:[39]

По этим скалам можешь ты взойти

К обители бессмертия высокой,

Куда иного не сыскать пути.

– Что же я за несчастная! – воскликнула племянница. – Мой дядя к довершению всего еще и поэт! Все-то вы знаете, все-то вы постигли, – ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смастерить клетку.

– Уверяю тебя, племянница, – сказал Дон Кихот, – что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку, как, например, клетки или зубочистки.[40]

В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он; и, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть, – так он был ей несносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница, сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями, потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.



Глава VII

О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях



Ключница как увидела, что Дон Кихот заперся с Санчо Пансою, так в ту же секунду смекнула, о чем они могут вести переговоры; и, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, она схватила свою накидку и, полная печали и беспокойства, побежала к бакалавру Самсону Карраско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился, сможет уговорить

его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его, ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Карраско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил:

– Что с вами, сеньора ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается.

– Со мной-то ничего, голубчик мой, сеньор Самсон, а вот господин мой утекать собирается, непременно утечет!

– Откуда же у него течет? – спросил Самсон. – Что, он разбился, что ли?

– Он сам утечет через ворота своего сумасшествия, – отвечала ключница. – Я хочу сказать, милейший сеньор бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз, постранствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, *облегчений,* – не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на волах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала: бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен с лишком в него всадила, – беру во свидетели господа бога, весь наш околоток да еще моих кур: мои куры могут это подтвердить.

– В этом я совершенно уверен, – заметил бакалавр, – они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорей лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора ключница, все дело и вся беда в том, что замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь?

– Именно этого, сеньор, – подтвердила ключница.

– В таком случае не беспокойтесь, – объявил бакалавр, – ступайте с богом домой и приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Аполлинарии, если вы ее знаете, я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится.

– Ах ты, какая досада! – вскричала ключница. – Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполлинарии прочесть? Да ведь это если б у моего господина зубы болели, а у него голова не работает.

– Я знаю, что говорю, сеньора ключница. Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать, – примолвил Карраско.

После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано.

Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину:

– Сеньор! Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

– *Просветил* должно говорить, Санчо, а не *засветил,* – заметил Дон Кихот.

– Раза два, если не ошибаюсь, – сказал Санчо, – я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли, если вам понятно, что я хочу сказать, а если не понимаете, скажите только: «Санчо, или там черт, дьявол, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте: ведь я человек поладистый...

– Я тебя не понимаю, Санчо, – прервал его тут Дон Кихот, – я не знаю, что значит: я человек *поладистый.*

– *Поладистый* – это значит: *какой уж я есть,* – пояснил Санчо.

– Сейчас я тебя еще меньше понимаю, – признался Дон Кихот.

– Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать, не знаю – и дело с концом, – отрезал Санчо.

– Стой, стой, я уже догадался, – молвил Дон Кихот, – ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый,* мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что вы еще попервоначалу поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще невесть какой чуши напорол.

– Возможно, – сказал Дон Кихот. – Ну, так что же все-таки говорит Тереса?

– Тереса говорит, – отвечал Санчо, – чтобы я охулки на руку не клал, уговор, мол, дороже денег, а после, мол, снявши голову, по волосам не плачут, и лучше, дескать, синица в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.

– И я то же говорю, – согласился Дон Кихот. – Ну, друг Санчо, дальше: нынче у тебя что ни слово – то перл.

– Дело состоит вот в чем, – продолжал Санчо. – Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны, сегодня мы живы, а завтра померли, и так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый, и никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от бога, потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится, и не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою, – такая о ней, по крайности, молва и слава, и так нам говорят с амвона.

– Все это справедливо, – заметил Дон Кихот, – только я не понимаю, к чему ты клонишь.

– Клоню я к тому, – отвечал Санчо, – чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалованья, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалованье выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен, потому они или поздно приходят, или не в пору, или вовсе не приходят, а со своими кровными я кум королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю: курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает, а потом: немножко да еще немножко, ан, глядь, и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится (хоть я уже не верю и не надеюсь), что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребущие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать.

– Разумеется, друг Санчо, *придержать* для себя всегда выгоднее, чем *удержать* в пользу кого-нибудь другого, – заметил Дон Кихот.

– Ах да, – сказал Санчо, – конечно, мне надлежало сказать: *удержать,* а не *придержать,* ну, ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли.

– Понял, понял, – сказал Дон Кихот, – все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в чей огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо, я с удовольствием положил бы тебе жалованье, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который, как в щелочку, дал бы мне подглядеть и показал, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы и не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье, – я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом, или же чем-либо равноценным, или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовольствуетесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим, а чтобы я стал нарушать и ломать древний обычай странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении, и если и она и вы согласитесь служить мне за награды, то *bene quidem*,[41] если же нет, то мы расстанемся друзьями: было бы зерно на голубятне, а голуби-то

найдутся. И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого именья и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам, что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с богом, но уж потом пеняйте на себя, я же сыщу себе оруженосца послушнее и усерднее вас и не такого нескладного и не такого болтливого, как вы.

Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах и крылья его храбрости опустились, ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире; и он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон Карраско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом:

– О цвет странствующего рыцарства! О лучезарное светило воинства! О честь и зерцало народа испанского! Молю всемогущего бога, как если б он стоял предо мною, чтобы тот или те, кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается.

Затем он обратился к ключнице:

– Сеньора ключница смело может не молиться более святой Аполлинарии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер, чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и бесподобные замыслы, и меня бы замучила совесть, когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать наконец бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирым, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорою замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша и ваше величие отправится в путь не завтра, а сегодня же, и если вам чего-либо для этого недостает, то к вашим услугам я сам и мое достояние, и если ваше великолепие нуждается в оруженосце, то я, со своей стороны, почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

– Не говорил ли я тебе, Санчо, что в оруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги: не кто иной, как несравненный бакалавр Самсон Карраско, первый забавник и шалун среди саламанкских школяров, здоровый телом, быстрый в движениях, не болтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие от оруженосца странствующего рыцаря требуются. Однако ж небеса не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столп учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей своих, я же любым удовольствуюсь оруженосцем, коли Санчо не соблаговолит меня сопровождать.

– Нет, соблаговолю, – растроганный, весь в слезах, объявил Санчо, а засим продолжал: – Обо мне никто не скажет, государь мой: «Поел-попил – и дружба врозь», в моем роду неблагодарных не было, все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были Панса, от коих я происхожу, да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я пустился в вычисления касательно жалованья, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится,

то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однако ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине – женщиной, и коли по таким признакам, которых я не могу отрицать, я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома, как она там себе хочет, а потому вашей милости требуется только составить завещание с опиской, так чтобы его нельзя было оспорить, – и скорее в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние: ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость, – или как это говорится: подвигнет, что ли? – в третий раз постранствовать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой, ничуть не хуже, а пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их ни есть теперь.

Подивился бакалавр выражениям и оборотам речи Санчо Пансы, ибо хотя он и прочел первую историю его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают; когда же Санчо вместо: *завещание с припиской* сказал: *завещание с опиской,* то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господин и слуга, еще не видывал свет. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и с благословения высокоумного Карраско, на которого они смотрели теперь, как на оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня, в течение каковых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его – он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но, напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятиям, коими ключница и племянница осыпали бакалавра, не было конца; обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица и, как заправские плакальщицы, оплакивали отъезд Дон Кихота, словно то был не отъезд, но кончина. О цели же, которую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше, – так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого.

Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым; и после того как Санчо успокоил свою супругу, а Дон Кихот – племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком от всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо: Дон Кихот – на добром своем Росинанте, а Санчо – все на том же осле, причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился. Дон Кихот обещал; Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.



Глава VIII,

в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской



«Благословен всемогущий аллах!» – восклицает Ахмет Бен-инхали в начале этой восьмой главы. «Благословен аллах!» – троекратно повторяет он; произносит же он эти благословения, мол, потому, что Дон Кихот и Санчо давно уже выехали за деревню и что читатели приятной этой истории могут считать, что с этого самого мгновения начинаются деяния Дон Кихота и прибаутки его оруженосца; он советует читателям забыть прежние рыцарские подвиги хитроумного идальго и приковать внимание к будущим, каковые ныне, по дороге в Тобосо, начинаются, подобно как прежние начались в полях Монтьеля, и не так, мол, уже велика просьба автора по сравнению с тем, что он сулит; итак, он продолжает.

Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон скрыться из виду, как Росинант начал ржать, а осел реветь, что было принято обоими, и рыцарем, и оруженосцем, за добрый знак и счастливейшее предзнаменование, хотя, по правде сказать, стенания и крики осла взяли

верх над ржанием клячи, из чего Санчо вывел заключение, что его счастливая доля превзойдет и оставит далеко позади счастливую долю его господина; должно думать, что Санчо в сем случае основывался на своих познаниях в области астрологии, хотя, впрочем, история об этом умалчивает; известно только, что когда он спотыкался или падал, то неукоснительно говорил себе, что лучше было бы сидеть дома, ибо от спотыкания и падения ничего иного, кроме порчи обуви и перелома ребер, произойти не может; и хотя оруженосец наш умом не отличался, однако ж в сем случае был довольно близок к истине; Дон Кихот же ему сказал:

– Друг Санчо! Ночь застигла нас в пути, и стало так темно, что мы, пожалуй, не успеем на рассвете попасть в город Тобосо, который я положил посетить до того, как отправлюсь на поиски других приключений, и где я получу благословение и милостивое соизволение несравненной Дульсинеи, а я полагаю и совершенно уверен, что с таковым соизволением я доведу до победного конца любое опасное приключение, ибо ничто в этой жизни не придает странствующим рыцарям такой отваги, как благоволение их дам.

– Я тоже так думаю, – отозвался Санчо, – только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать или же свидеться в таком, к примеру сказать, месте, где бы вы могли получить от нее благословение, разве через изгородь скотного двора, через которую я с нею в прошлый раз и виделся, когда отвозил письмо с вестями о том, как ваша милость дурачится и безумствует в самом сердце Сьерры Морены.

– Так тебе, Санчо, на том месте, где, или, вернее, через которое ты виделся с этою прелестью и красотою, что выше всяких похвал, привиделась изгородь скотного двора? – молвил Дон Кихот. – Нет, то была, верно, галерея, балкон или, как это называется, портик роскошного королевского дворца.

– Все может быть, – согласился Санчо, – однако ж мне это показалось изгородью, если только мне не изменяет память.

– Как бы то ни было, едем туда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – мне совершенно все равно, как мне доведется увидеться с нею: через изгородь ли скотного двора, через окно ли, через щель или же через садовую ограду, ибо всякий луч солнца ее красоты, достигнувший моих очей, озарит мой разум и укрепит мой дух, и тогда в целом свете не найдется равных мне по уму и отваге.

– Сказать по совести, сеньор, – возразил Санчо, – когда я видел это самое солнце, то бить сеньору Дульсинею Тобосскую, оно было не такое уж яркое и никаких лучей не посылало, верно, потому, что ее милость, как я вам уже докладывал, просеивала тогда зерно и густая пыль облаком стояла вокруг нее и застилала ее лицо.

– Так ты, Санчо, все еще продолжаешь утверждать, думать, верить и стоять на том, что сеньора Дульсинея просеивала зерно, – спросил Дон Кихот, – хотя эта работа и занятие нимало не соответствуют тому, что обыкновенно делают и долженствуют делать особы знатные, созданные и предназначенные для иных занятий и развлечений, по которым их знатность угадывается на расстоянии арбалетного выстрела?.. Плохо же ты помнишь, Санчо, те стихи нашего поэта,[42] в коих он описывает, чем занимались там, в хрустальных своих чертогах, четыре нимфы: как они вышли из вод любимого Тахо и, усевшись на зеленой лужайке, принялись расшивать драгоценные ткани, которые, по словам хитроумного поэта, были сработаны и сотканы из золота, жемчуга и шелка. И тем же, должно думать, была занята и моя госпожа, когда ты ее увидел, если только какой-нибудь злой волшебник, завидующий моим подвигам, не подменил ее и не преобразил, как и все, что мне доставляет отраду, в нечто совершенно иное, – я даже боюсь, как бы в истории моих деяний, будто бы вышедшей из печати, автор ее, в случае, если это враждебный мне кудесник, не подтасовал событий, не примешал к правде уйму небылиц и не увлекся рассказом о других происшествиях, к продолжению этой правдивой истории не относящихся. О зависть, корень неисчислимых зол,

червь, подтачивающий добродетель! Всякий порок, Санчо, таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы.

– Я тоже это всегда говорю, – подхватил Санчо, – и сдается мне, что в этой самой книжке или истории, которая, если верить бакалавру Карраско, будто бы про нас написана, чести моей, уж верно, достается, словно иному упрямому борову, который не хочет идти, а ему и справа и слева, как говорится, наподдают ногами, так что пыль столбом. А между тем, верное слово, я ни про одного волшебника ничего худого не говорил, да и добра у меня не так много, чтоб мне можно было завидовать. Правда, я немножко себе на уме и не прочь иной раз сплутовать, но хоть я и плутоват, да зато простоват, и простота моя – от природы, а вовсе не напоказ, и когда б у меня не было ничего за душой, кроме веры, а я всю свою жизнь искренне и твердо верю в бога и во все, чему учит и во что верует святая римско-католическая церковь, и являюсь заклятым врагом евреев, то из-за одного этого сочинителям следовало бы отнестись ко мне снисходительно и в своих писаниях выставить меня в выгодном свете. А впрочем, пусть себе говорят, что хотят, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, и что про меня пишут в книгах и теперь будут по всему свету трепать мое имя – на это мне наплевать: пусть говорят все, что им заблагорассудится.

– Это мне приводит на память, Санчо, случай с одним знаменитым поэтом нашего времени, – сказал Дон Кихот, – он сочинил колкую сатиру на всех куртизанок, но одну из них не упомянул и не назвал, так что закрадывалось сомнение, куртизанка она или нет; она же, обнаружив, что не попала в список, стала пенять стихотворцу и спросила, что-де он в ней такое нашел, из-за чего ее имени не оказалось в перечне, а затем потребовала, чтобы он дополнил сатиру и приписал что-нибудь о ней, иначе, мол, лучше бы ему на свет не родиться. Поэт так и сделал и уж расписал ее в лучшем виде, а она осталась довольна: хоть и бесславная, а все-таки, мол, слава. И еще здесь уместно вспомнить рассказ о пастухе, который поджег и спалил знаменитый храм Дианы, почитавшийся за одно из семи чудес света, единственно для того, чтобы сохранить имя свое для потомков, и хотя было повелено не упоминать и не называть его имени ни устно, ни письменно, дабы цели своей он не достигнул, все же стало известно, что звали его Герострат. Еще сюда подходит то, что произошло между великим императором Карлом Пятым и одним римским дворянином. Император пожелал увидеть знаменитый храм Ротонду,[43] который в древние времена именовался храмом всех богов, а ныне с большим правом именуется храмом всех святых, и среди прочих зданий, воздвигнутых римскими язычниками, он особенно хорошо сохранился и особенно наглядно свидетельствует о том, что у его строителей был вкус ко всему пышному и величественному: по форме он напоминает половинку апельсина, велик он необычайно и весьма светел, хотя свет проникает в него через одно-единственное окно, или, вернее, через круглое отверстие на самом верху, и вот через него-то император и смотрел на здание, а рядом с ним стоял некий римский дворянин и пояснял красоты и тонкости громадного этого сооружения и достопримечательной его архитектуры. Когда же они от упомянутого отверстия отошли, дворянин сказал императору: «Ваше императорское величество! У меня тысячу раз являлось желание обнять ваше величество и броситься вместе с вами вниз, дабы оставить по себе в мире вечную память». – «Благодарю вас, – отвечал император, – за то, что вы столь дурное желание не исполнили, и впредь вам уже не представится случая испытывать вашу верность, ибо я повелеваю вам ни о чем со мною больше не говорить и не бывать там, где буду бывать я». И вслед за тем он щедро его наградил. Я хочу этим сказать, Санчо, что желание прославиться сильно в нас до невероятия. Что, по-твоему, принудило Горация[44] в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Что принудило Муция[45] сжечь себе руку? Что побудило Курция[46] кинуться в бездонную огненную пропасть, разверзшуюся посреди Рима? Что подвигнуло Юлия Цезаря наперекор всевозможным дурным предзнаменованиям перейти Рубикон? А если обратиться к примерам более современным, то что принудило доблестных испанцев, предводителем которых был обходительнейший Кортес,[47] затопить в Новом Свете свои корабли и остаться на

пустынном бреге? Все эти и прочие великие и разнообразные подвиги были, есть и будут деяниями славы, слава же представляется смертным как своего рода бессмертие, и они чают ее как достойной награды за свои славные подвиги, хотя, впрочем, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, надлежит более радеть о славе будущего века там, в небесных эфирных пространствах, ибо это слава вечная, нежели о той суетной славе, которую возможно стяжать в земном и преходящем веке и которая, как бы долго она ни длилась, непременно окончится вместе с дольним миром, коего конец предуказан, – вот почему, Санчо, дела наши не должны выходить за пределы, положенные христианскою верою, которую мы исповедуем. Наш долг в лице великанов сокрушать гордыню, зависть побеждать великодушием и добросердечием, гнев – невозмутимостью и спокойствием душевным, чревоугодие и сонливость – малоядением и многободрствованием, любострастие и похотливость – верностью, которую мы храним по отношению к тем, кого мы избрали владычицами наших помыслов, леность же – скитаниями по всем странам света в поисках случаев, благодаря которым мы можем стать и подлинно становимся не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы, Санчо, средства заслужить наивысшие похвалы, которые всегда несет с собой добрая слава.

– Все, что ваша милость мне сейчас растолковала, я очень даже хорошо понял, – объявил Санчо, – однако ж, со всем тем, я бы хотел, чтобы вы, ваша милость, посеяли во мне одно сомнение.

– Ты хочешь сказать *рассеял,* Санчо, – поправил его Дон Кихот. – Пожалуй, говори, я тебе отвечу, как сумею.

– Скажите мне, сеньор, – продолжал Санчо, – все эти Июлии, – или как их там: Августы, что ли? – и все эти смельчаки рыцари, которых вы называли и которые уже давно померли, где они сейчас?

– Язычники, без сомнения, в аду, – отвечал Дон Кихот, – христиане же, если только они были добрыми христианами, или в чистилище, или в раю.

– Хорошо, – сказал Санчо, – а теперь мне вот что еще любопытно знать: горят ли перед гробницами, где покоятся останки этих распресеньоров, серебряные лампады и украшены ли стены их часовен костылями, саванами, прядями волос, восковыми ногами и глазами? А если нет, так чем же они украшены?

На это Дон Кихот ответил так:

– Усыпальницы язычников большею частью представляли собою великолепные храмы: прах Юлия Цезаря был замурован в невероятной величины каменной пирамиде, которую теперь называют в Риме *Иглой святого Петра*;[48] императору Адриану служит гробницею целый замок величиною с добрую деревню, – прежде он назывался *Moles Hadriani*,[49] а теперь это замок святого Ангела в Риме; царица Артемисия похоронила своего супруга Мавзола[50] в усыпальнице, почитавшейся за одно из семи чудес света, но ни одна из этих гробниц, равно как и все прочие, воздвигнутые язычниками, не была украшена ни саванами, ни какими-либо другими дарами и эмблемами, которые показывали бы, что здесь покоятся святые.

– Я к тому и вел, – молвил Санчо. – А теперь скажите, что доблестнее: воскресить мертвого или же убить великана?

– Ответ напрашивается сам собой, – отвечал Дон Кихот, – доблестнее воскресить мертвого.

– Вот я вас и поймал, – подхватил Санчо. – Стало быть, тот, кто воскрешает мертвых, возвращает зрение слепым, выпрямляет хромых и исцеляет недужных, тот, перед чьей гробницей горят лампады и у кого в часовне полно молящихся, которые поклоняются его мощам, тот, стало быть, заслужил и в этом, и в будущем веке получше славу, нежели какую оставили и оставляют по себе все языческие императоры и странствующие рыцари, сколько их ни было на свете.

– Я с этим вполне согласен, – сказал Дон Кихот.

– Значит, такова слава, благодатная сила и, как это еще говорят, прерогатива тела и мощей святого, – продолжал Санчо, – что с дозволения и одобрения святой нашей матери-церкви в часовне у него и лампады, и свечи, и саваны, и костыли, и картины, и пряди волос, и глаза, и ноги, – и все это для усиления набожности и для упрочения христианской его славы. Короли на своих плечах переносят тело, то есть мощи, святого, лобызают кусочки его костей, украшают и обогащают ими свои молельни и наиболее чтимые алтари.

– Какой же вывод из всего тобою сказанного, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Вывод такой, – отвечал Санчо, – что нам с вами надобно сделаться святыми, тогда мы скорей достигнем доброй славы, к которой мы так стремимся. И знаете что, сеньор: вчера, не то третьего дня (одним словом, на днях) причислили к лику святых двух босых монашков, и вот теперь за великое почитается счастье приложиться или прикоснуться к железным цепям, коими они ради умерщвления плоти препоясывались, и нынче цепи эти, сколько мне известно, в большем почете, нежели Роландов меч, что хранится в арсенале короля, богохранимого нашего государя. Так что, сеньор, лучше быть смиренным монашком какого ни на есть ордена, нежели храбрым, да еще и странствующим рыцарем, и ежели раз двадцать хлестнуть себя бичом, то это лучше до бога доходит, нежели двадцать тысяч раз хватить копьем все равно кого: великана, чудовище или же андриака.

– Все это справедливо, – заметил Дон Кихот, – но не все же могут быть монахами, да и пути, по которым господь приводит верных в рай, суть многоразличны. Рыцарство – тот же монашеский орден: среди рыцарей есть святые, вечного сподобившиеся блаженства.

– Так, – молвил Санчо, – но только я слыхал, будто в раю больше монахов, нежели рыцарей.

– Это объясняется тем, что иноков вообще больше, нежели рыцарей, – сказал Дон Кихот.

– Странствующих тоже много, – возразил Санчо.

– Много, – подтвердил Дон Кихот, – однако ж немногие достойны именоваться рыцарями.

В таких и тому подобных разговорах прошли у них ночь и следующий день, без каких-либо внимания достойных происшествий, что весьма Дон Кихота опечалило. Наконец, на другой день к вечеру, их взорам открылся великий город Тобосо, при виде коего Дон Кихот взыграл духом, Санчо же духом пал, ибо он не имел понятия, где живет Дульсинея, и ни разу в жизни ее не видел, как не видел ее, впрочем, и его господин; таким образом, оба они пребывали в волнении: один – от того, что стремился ее увидеть, а другой – от того, что ни разу не видел ее, и никак не мог Санчо придумать, что ему предпринять, когда сеньор пошлет его в Тобосо. В конце концов Дон Кихот положил не вступать в город до наступления ночи, и временно они расположились в дубраве близ Тобосо, а когда положенный срок пришел, то вступили в город, и тут с ними случилось то, что непременно должно было случиться.



Глава IX,

в коей рассказывается о том, что из нее будет видно



В самую глухую полночь,[51] а может быть, и не в самую, Дон Кихот и Санчо покинули рощу и вступили в Тобосо. Мирная тишина царила в городке, оттого что все жители отдыхали и, как говорится, спали без задних ног. Ночь выдалась довольно светлая, однако же Санчо предпочел бы, чтоб она была темная-претемная, ибо темнота могла послужить оправданием его тупоумия. Во всем городе слышался только собачий лай, несносный для ушей Дон Кихота и действовавший устрашающе на душу Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, и в ночной тишине все эти по-разному звучавшие голоса казались еще громче, каковое обстоятельство влюбленный рыцарь почел за дурное предзнаменование; однако ж со всем тем он сказал Санчо:

– Сын мой Санчо! Указывай мне путь во дворец Дульсинеи, – может статься, она уже пробудилась.

– Кой черт во дворец, когда я виделся с ее величием в маленьком домишке? – воскликнул Санчо.

– Должно полагать, – заметил Дон Кихот, – что на ту пору она вместе со своими придворными дамами удалилась в малые покои своего замка, как это принято и как это водится у всех знатных сеньор и принцесс.

– Сеньор! – сказал Санчо. – Уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим. Что мы, по-вашему, к девкам будем стучаться, словно ихние полюбовники, которые во всякое время заявляются, стучатся, и, как бы поздно ни было, их все-таки впускают?

– Лиха беда – отыскать замок, – возразил Дон Кихот, – а там я тебе скажу, Санчо, как нам надлежит поступить. Да ты смотри, Санчо: или я плохо вижу, или же вон та темная громада и есть дворец Дульсинеи.

– Ну так вы и поезжайте вперед, ваша милость, – подхватил Санчо, – может, это и так, но если даже я увижу этот дворец своими глазами и ощупаю собственными руками, все-таки я поверю в него не больше, чем тому, что сейчас белый день.

Дон Кихот двинулся первый и, проехав шагов двести, приблизился вплотную к темневшей громаде и увидел высокую башню, и тут только уразумел он, что это не замок, а собор. И тогда он сказал:

– Мы наткнулись на церковь, Санчо.

– Уж я вижу, – отозвался Санчо. – И дай-то бог, чтобы мы не наткнулись на нашу могилу, а то ведь это примета неважная – в такое время скитаться по кладбищам, да и потом, если память мне не изменяет, я вашей милости сказывал, что дом этой сеньоры находится в тупике.

– Побойся ты бога, глупец! – воскликнул Дон Кихот. – Где ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в тупиках?

– Сеньор! – возразил Санчо. – В каждой стране свой обычай: видно, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках, а потому будьте добры, ваша милость, пустите меня поездить по ближайшим улицам и переулкам, – может случиться, что в каком-нибудь закоулке я и наткнусь на этот дворец, чтоб его собаки съели, до того он нас закружил и загонял.

– Выражайся почтительнее, Санчо, обо всем, что касается моей госпожи, – сказал Дон Кихот, – не будем кипятиться и не будем терять последний разум.

– Постараюсь держать себя в руках, – объявил Санчо, – но только какое же надобно иметь терпение, коли ваша милость требует, чтобы я с одного раза на всю жизнь запомнил дом нашей хозяйки и отыскал его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его отыскать, а уж вы-то его, наверно, тысячу раз видели?

– Ты приводишь меня в отчаяние, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Послушай, еретик: не говорил ли я тебе много раз, что я никогда не видел несравненную Дульсинею и не переступал порога ее дворца и что я влюбился в нее только по слухам, ибо до меня дошла громкая слава о красоте ее и уме?

– Теперь я все понял, – молвил Санчо, – и должен признаться: коли ваша милость никогда ее не видала, то я и подавно.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот, – по крайней мере, ты сам мне говорил, что видел, как она просеивала зерно, и привез мне ответ на письмо, которое я посылал ей с тобой.

– На это вы особенно не напирайте, сеньор, – объявил Санчо, – потому надобно вам знать, что я видел ее и ответ привез тоже по слухам, и какая она из себя, сеньора Дульсинея, это мне так же легко сказать, как попасть пальцем в небо.

– Санчо, Санчо! – молвил Дон Кихот. – Иногда и пошутить можно, а иногда всякая шутка становится нехорошей и неуместной. И если я сказал, что никогда не виделся и не беседовал с владычицей моей души, то это не значит, что и ты должен говорить, будто никогда не беседовал с ней и не виделся, – ты же сам знаешь, что это не так.

В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек, и по скрежету плуга, тащившегося по земле, Дон Кихот и Санчо заключили, что это хлебопашец, который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле. Хлебопашец шел и пел песню:

Худо вам пришлось, французы,
На охоте в Ронсевале.[52]

– Пусть меня уложат на месте, – послушав его, сказал Дон Кихот, – если нынче же с нами не случится чего-нибудь доброго. Слышишь, что поет этот селянин?

– Слышать-то я слышу, – отвечал Санчо, – но только какое отношение имеет к нашим поискам ронсевальская охота? С таким же успехом он мог бы петь и про Калаиноса,[53] – от этого в нашем деле ничего доброго и ничего худого произойти не может.

Тем временем хлебопашец приблизился, и Дон Кихот окликнул его:

– Бог в помощь, любезный друг! Не можете ли вы мне сказать, где здесь дворец несравненной принцессы доньи Дульсинеи Тобосской?

– Сеньор! – отвечал парень. – Я нездешний, я тут всего несколько дней, нанялся на полевые работы к одному богатому землевладельцу, а вот в доме напротив живут священник и пономарь; кто-нибудь из них, а то и оба, дадут вам справку насчет этой принцессы, потому

у них записаны все жители Тобосо, хотя мне сдается, что во всем Тобосо ни одной принцессы не сыщешь. Барынь, правда, много, да еще и важных: ведь у себя дома все принцессы.

– Так вот, друг мой, – подхватил Дон Кихот, – среди них и должна быть та, про которую я спрашиваю.

– Все может быть, – молвил парень, – а затем прощайте, уже светает.

И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он погнал своих мулов. Санчо, видя, что его господин озадачен и весьма недоволен, сказал:

– Сеньор! Вот уж и день настает, – нехорошо, если солнце застигнет нас на улице, лучше было бы нам выехать из города: вы, ваша милость, укрылись бы в ближнем лесу, а я деньком возвращусь в город и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду не то дом, не то замок, не то дворец моей госпожи, и уж это особая будет неудача, коли я его не найду, а коли найду, так я поговорю с ее милостью и скажу, где и в каком расположении духа ваша милость дожидается повеления ее и указания, как бы это свидеться с нею, не повредив ее чести и доброму имени.

– Ты ухитрился, Санчо, замкнуть множество мыслей в круг небольшого количества слов, – заметил Дон Кихот. – Я с превеликою охотою принимаю твой совет и горю желанием последовать ему. Итак, сын мой, поедем в лес, и там я и побуду, ты же, как обещал, возвратишься в город, разыщешь мою госпожу, повидаешься и побеседуешь с нею, а при ее уме и любезности нам сверхъестественных милостей от нее ожидать должно.

Санчо, дабы не всплыл обман с мнимым ответом Дульсинеи, который он якобы доставил в Сьерру Морену, жаждал увезти из Тобосо своего господина и потому постарался ускорить отъезд, каковой и в самом деле последовал весьма скоро, и вот в двух милях от городка сыскали они лес, или, вернее, рощу, где Дон Кихот и остался на то время, пока Санчо съездит в город поговорить с Дульсинеей, – с посланцем же нашим произошли дорогою события, требующие особого внимания и особого доверия.



Глава X,

в коей рассказывается о том, как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею, а равно и о других событиях, столь же смешных, сколь и подлинных



Автор великой этой истории, подойдя к рассказу о том, что в этой главе рассказывается, говорит, что, боясь потерять доверие читателей, он предпочел бы обойти это молчанием, ибо сумасбродства Дон-Кихотовы достигают здесь пределов невероятных и даже на два арбалетных выстрела оказываются впереди величайших из всех сумасбродств на свете. В конце концов со страхом и трепетом он все же описал их так, как они имели место в действительности, ничего не прибавив от себя и ни единой крупицы правды не убавив и не обращая внимания на то, что этак его могут обвинить во лжи; и в сем случае он прав, оттого что истина иной раз истончается, но никогда не рвется и всегда оказывается поверх лжи, как масло поверх воды. Итак, продолжая свою историю, он говорит, что как скоро Дон Кихот укрылся не то в роще, не то в дубраве, не то в лесу, близ великого Тобосо, то велел Санчо возвратиться в город и не показываться ему на глаза, пока тот не переговорит от его имени с его госпожою и не добьется милостивого ее согласия повидаться с преданным ей рыцарем и благословить его, дабы на будущее время он мог ожидать наисчастливейшего исхода всех своих битв и трудных начинаний. Санчо обещал исполнить все, что ему велено, и привезти столь же благоприятный ответ, как и в прошлый раз.

– Поезжай же, сын мой, – молвил Дон Кихот, – и не смущайся, когда предстанешь пред светозарною красотою, к которой я посылаю тебя. О блаженнейший из всех оруженосцев на свете! Напряги свою память, и да не изгладится из нее, как моя госпожа тебя примет: изменится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу; встревожится ли и смутится, услышав мое имя; откинется ли на подушки в случае, если она сообразно с высоким своим положением будет восседать на богато убранном возвышении; если же примет тебя стоя, то понаблюдай, не будет ли переступать с ноги на ногу; не повторит ли свой ответ дважды или трижды; не превратится ли из ласковой в суровую или же, напротив того, из угрюмой в приветливую; поднимет ли руку, чтобы поправить волосы, хотя бы они и были у нее в полном порядке; одним словом, сын мой, наблюдай за всеми действиями ее и движениями, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие в глубине души питает она ко мне чувства; должно тебе знать, Санчо, если только ты этого еще не знаешь, что действия и внешние движения влюбленных, когда речь идет об их сердечных делах, являют собою самых верных гонцов, которые доставляют вести о том, что происходит в тайниках их души. Итак, друг мой,

да будет звезда твоя счастливее моей, поезжай же и добейся больших успехов, нежели каких я в горестном моем одиночестве, снедаемый тревогою, могу ожидать.

– Ну, я поеду и скоро вернусь, – объявил Санчо, – а вы, государь мой, постарайтесь расширить ваше сердечко, а то оно сейчас, уж верно, не больше орешка, и вспомните, как это говорится: храброе сердце злую судьбу ломает, а бодливой корове бог рог не дает, и еще говорят: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говорю я это к тому, что ночью мы так и не нашли ни дворцов, ни замков моей госпожи, зато теперь, среди бела дня, я думаю, что как раз совсем невзначай я их и найду, и дайте мне только найти, а уж поговорю я с ней – лучше не надо.

– Право, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты всегда необыкновенно удачно вставляешь свои пословицы, дай бог и мне такую же удачу в моих предприятиях.

При этих словах Санчо поворотил и погнал своего серого, а Дон Кихот, верхом на коне, вдев ноги в стремена и опершись на копье, предался грустным и неясным мечтаниям; и тут мы его и оставим и последуем за Санчо Пансою, который, покидая своего господина, также пребывал в смятении и задумчивости, – настолько, что как скоро он выехал из лесу, то, оглянувшись и удостоверившись, что Дон Кихота не видно, спрыгнул с осла, уселся под деревом и заговорил сам с собой:

– Скажите-ка, брат Санчо, куда это милость ваша изволит путь держать? Может статься, вы потеряли осла и теперь его ищете? – Разумеется, что нет. – Так куда же вы едете? – Я еду не более не менее как к принцессе, а принцесса эта есть солнце красоты и все небо вместе взятое. – А где же, Санчо, все это, по-вашему, находится? – Где? В великом городе Тобосо. – Добро! А кто вас туда послал? – Меня послал доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, тот самый, который выпрямляет кривду, кормит жаждущих и поит голодных. – Очень хорошо. А вы знаете, Санчо, где она живет? – Мой господин говорит, что она живет не то в королевском дворце, не то в пышном замке. – А вы ее когда-нибудь видели? – Нет, ни я, ни мой господин ни разу ее не видали. – А не кажется ли вам, что когда жители Тобосо прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс и беспокоить их дам, то с их стороны будет вполне благоразумно и справедливо, ежели они сбегутся, отлупят вас палками и не оставят живого места? – Признаться сказать, они будут совершенно правы, если только не примут в рассуждение, что я посланец, а коли так, то

Вы – посол, мой друг любезный,[54]

Значит, нет на вас вины.

– Не полагайтесь на это, Санчо, – ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут, когда их затрагивают. Крест истинный: коли выведут они вас на чистую воду, то вам худо придется. – Отвяжись, сатана! Наше место свято! И что это меня понесла нелегкая, ради чужого удовольствия, за птичьим молоком? Искать Дульсинею в Тобосо – ведь это все равно, что в Равенне искать Марию или же бакалавра в Саламанке. Лукавый, лукавый впутал меня в это дело – не кто другой!

Вот как рассуждал сам с собой Санчо; вывод же он сделал из этого следующий:

– Ну ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти, – хочешь не хочешь, а в ярмо смерти всем нам в конце жизни предстоит впрячься. Мой господин по всем признакам самый настоящий сумасшедший, ну да и я ему тоже не уступлю, у меня, знать, этой самой придури еще побольше, чем у него, коли я за ним следую и служу ему, а ведь не зря говорится: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты», и еще есть другая пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». И вот как он есть сумасшедший, то и судит он о вещах большею частью вкривь и вкось и белое принимает за черное, а черное за белое, и так это с ним и бывало, когда он говорил, что ветряные мельницы – это великаны, мулы монахов – верблюды, стада баранов – вражьи полчища и прочее тому подобное, а стало быть, не велик труд внушить ему, что первая попавшаяся поселянка и есть сеньора Дульсинея, а коли он не

поверит, я поклянусь, а коли и он поклянется, я опять поклянусь, а коли он упрется, то я еще пуще, а как у меня такое правило, лишь бы сказать последним, то еще неизвестно, чем это дело кончится. Может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями: увидит, что гонец из меня неважный, а может, подумает, – и, пожалуй, так оно и будет, – что один из этих злых волшебников, которые якобы его ненавидят, нарочно попортил личность его возлюбленной, чтобы досадить ему и причинить неприятность.

Мысль сия придала Санчо Пансе бодрости, и, решив, что он свое дело сделал, просидел он тут до вечера, чтобы у Дон Кихота были все основания полагать, будто у Санчо было время съездить в Тобосо и вернуться обратно; и Санчо так повезло, что не успел он встать и взобраться на серого, как увидел, что из Тобосо навстречу ему едут три крестьянки не то на ослах, не то на ослицах, – автор этого не разъясняет, однако ж, вернее всего, то были ослицы, обыкновенно заменяющие сельчанкам верховых лошадей, но как это не столь существенно, то и незачем нам на этом останавливаться и заниматься исследованием этого предмета. Итак, увидев крестьянок, Санчо быстрым шагом направился к господину своему Дон Кихоту, а тот в это время вздыхал и изливал душу в любовных жалобах. Увидев Санчо, он спросил:

– Ну что, друг Санчо? Каким камушком отметить мне этот день: белым или же черным?

– Лучше всего, ваша милость, красным, – отвечал Санчо, – каким пишут о профессорах,[55] чтобы надписи издали были видны.

– Значит, ты с добрыми вестями, – заключил Дон Кихот.

– С такими добрыми, – подхватил Санчо, – что вашей милости остается только дать шпоры Росинанту и выехать навстречу сеньоре Дульсинее Тобосской, которая с двумя своими придворными дамами едет к вам на свидание.

– Господи помилуй! Что ты говоришь, друг Санчо? – вскричал Дон Кихот. – Смотри только, не обманывай меня и не пытайся мнимою радостью рассеять непритворную мою печаль.

– Какая мне корысть обманывать вашу милость, тем более что вам ничего не стоит удостовериться самому! – возразил Санчо. – Пришпорьте Росинанта, сеньор, и едемте, – сейчас вы увидите нашу принцессу, разодетую и разубранную, как ей, одним словом, положено. И она сама, и ее придворные дамы в золоте, как жар горят, унизаны жемчугом, осыпаны алмазами да рубинами, все на них из парчи больше чем в десять нитей толщины, волосы – по плечам, ветерок с ними играет, все равно как с солнечными лучами, а самое главное, едут они на чубарых свиноходцах – таких, что просто загляденье.

– Ты хочешь сказать – *иноходцах,* Санчо.

– Что свиноходцы, что иноходцы – разница невелика, – возразил Санчо, – словом, на чем бы они ни ехали, а только едут самые нарядные дамы, каких только можно себе вообразить, особливо моя госпожа Дульсинея Тобосская – обомлеть впору.

– Едем, друг Санчо, – объявил Дон Кихот, – и в награду за столь же неожиданные, сколь и добрые вести я отдам тебе лучший трофей, какой мне удастся захватить при первом же приключении, а если ты этим не удовольствуешься, то я отдам тебе жеребят, которых нынешний год мне принесут три мои кобылы, – ты же знаешь, что они в нашем селе на общественном выгоне и скоро должны ожеребиться.

– Мне больше улыбается получить жеребят, – сказал Санчо, – потому я не вполне уверен, что трофеи первого приключения будут стоящие.

Тут они выехали из лесу и увидели вблизи трех сельчанок. Дон Кихот пробежал глазами по всей Тобосской дороге и, не обнаружив никого, кроме трех крестьянок, весьма смутился и спросил Санчо, точно ли Дульсинея и ее придворные дамы выехали из города.

– Как же не выехали? – воскликнул Санчо. – Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Разве вы не видите: ведь это же они и есть – те, что едут навстречу и сияют, ровно солнце в полдень?

– Я никого не вижу, Санчо, кроме трех поселянок на ослах, – молвил Дон Кихот.

– Аминь, рассыпься! – воскликнул Санчо. – Статочное ли это дело, чтобы трех иноходцев – или как их там, – белых, как снег, ваша милость принимала за ослов? Свят, свят, свят, да я готов бороду себе вырвать, коли это и правда ослы!

– Ну так я должен тебе сказать, друг Санчо, – объявил Дон Кихот, – что это подлинно ослы или ослицы и что это такая же правда, как то, что я – Дон Кихот, а ты – Санчо Панса, – по крайней мере, таковыми они мне представляются.

– Помолчите, сеньор, – сказал Санчо, – не говорите таких слов, а лучше протрите глаза и отправляйтесь свидетельствовать почтение владычице ваших помыслов – вон она уж как близко.

И, сказавши это, Санчо выехал навстречу крестьянкам, затем спешился, взял осла одной из них за недоуздок, пал на оба колена и молвил:

– Королева, и принцесса, и герцогиня красоты! Да соблаговолит ваше высокомерие и величие милостиво и благодушно встретить преданного вам рыцаря – вон он стоит, как столб, сам не свой: это он замер пред лицом великолепия вашего. Я – его оруженосец Санчо Панса, а он сам – блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, иначе – Рыцарь Печального Образа.

Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо и, широко раскрыв глаза, устремил смятенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогинею; и как Дон Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглолицую и курносую, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова. Крестьянки также диву дались, видя, что два человека, нимало не похожие друг на друга, стоят на коленях перед одной из них и загораживают ей дорогу; однако попавшая в засаду в конце концов не выдержала и грубым и сердитым голосом крикнула:

– Прочь с дороги, такие-сякие, дайте-ка проехать, нам недосуг!

На это Санчо ответил так:

– О принцесса и всеобщая тобосская владычица! Ужели благородное сердце ваше не смягчится при виде сего столпа и утверждения странствующего рыцарства, преклонившего колена пред высокопоставленным вашим образом?

Послушав такие речи, другая сельчанка сказала:

– А да ну вас, чихать мы на вас хотели! Поглядите на этих господчиков: вздумали над крестьянками насмехаться, – шалишь, мы тоже за словом в карман не полезем. Поезжайте своей дорогой, а к нам не приставайте, и будьте здоровы.

– Встань, Санчо, – сказал тут Дон Кихот, – я вижу, что *вновь жаждет горестей моих судьбина*[56] и что она отрезала все пути, по которым какая-либо отрада могла бы проникнуть в наболевшую эту душу, в моем теле заключенную. А ты, высочайшая доблесть, о какой только можно мечтать, предел благородства человеческого, единственное утешение истерзанного моего сердца, тебя обожающего, внемли моему гласу: коварный волшебник, преследующий меня, затуманил и застлал мне очи, и лишь для меня одного померкнул твой несравненной красоты облик и превратился в облик бедной поселянки, но если только меня не преобразили в какое-нибудь чудище, дабы я стал несносен для очей твоих, то взгляни на меня нежно и ласково, и по этому моему смиренному коленопреклонению пред искаженною твоею красотою ты поймешь, сколь покорно душа моя тебя обожает.

– Вот еще наказанье! – отрезала крестьянка. – Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами заводить! Говорят вам по-хорошему: дайте дорогу, пропустите нас!

Санчо дал дорогу и пропустил ее, весьма довольный, что не ему пришлось расхлебывать кашу, которую он заварил. Сельчанка, принимаемая за Дульсинею, видя, что путь свободен, в ту же минуту кольнула своего *свинаходца* острым концом палки, которая была у нее в руках, и погнала его вперед. Однако ж укол этот был, должно полагать, чувствительнее

обыкновенного, оттого что ослица стала вскидывать задние ноги и наконец сбросила сеньору Дульсинею наземь; увидевши это, Дон Кихот кинулся ее поднять, а Санчо – поправить и подтянуть седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда же седло было приведено в надлежащий порядок, Дон Кихот вознамерился поднять очарованную свою сеньору на руки и посадить на ослицу, однако сеньора избавила его от этого труда: она поднялась самостоятельно, отошла немного назад и, взявши недурной разбег, обеими руками уперлась в круп ослицы, а затем легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски; и тут Санчо сказал:

– Клянусь святым Роке, наша госпожа легче ястреба, она еще самого ловкого кордованца или же мексиканца может поучить верховой езде! Одним махом перелетела через заднюю луку седла, а теперь без шпор гонит своего иноходца, как все равно зебру. И придворные дамы от нее не отстают: мчатся вихрем.

И точно: увидев, что Дульсинея уже в седле, подруги ее погнали своих ослиц следом за ней, и они скакали с полмили, ни разу не оглянувшись. Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись из виду, то обратился к Санчо и сказал:

– Санчо! Что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходят их коварство и злоба: ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою Дульсинею и изменить ее облик, – нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность этой сельчанки и одновременно отняли у нее то, что столь свойственно знатным сеньорам, которые живут среди цветов и благовоний, а именно приятный запах. Между тем должен сознаться, Санчо, что когда я приблизился к Дульсинее, дабы подсадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя мне он представляется просто ослицей, то от нее так пахнуло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота и мне едва не сделалось дурно.

– Ах, мошенники! – вскричал тут Санчо. – Ах, волшебники вы несчастные, зловредные, поддеть бы вас всех, как сардинок, под жабры да нанизать на тростинку! Много вы знаете, много можете и много зла делаете. Довольно с вас, мерзавцы, что вы превратили жемчужные очи моей госпожи в чернильные орешки, волосы ее чистейшего золота – в рыжий бычачий хвост и, наконец, красивые черты лица ее – в уродливые, так хоть бы запаха-то не трогали: ведь по одному этому мы могли бы догадаться, что скрывается под этой грубой корой, хотя, признаться сказать, я никакой уродливости в ней не заметил, – я видел одну только красоту, и высшею точкой и пробой ее красоты служит родимое пятно, вроде уса, справа, над верхней губой, не то с семью, не то с восемью светлыми волосками больше пяди длиною – точь-в-точь золотые ниточки.

– Этому пятну, – заметил Дон Кихот, – принимая в рассуждение соответствие, существующее между нашим лицом и телом, должно соответствовать у Дульсинеи другое пятно, на ляжке, с той же стороны, что и на лице, однако ж длина волосков, которую ты назвал, слишком велика для родимых пятен.

– Осмелюсь доложить, ваша милость, – возразил Санчо, – эти самые волоски ей очень даже к лицу.

– Я верю тебе, друг мой, – молвил Дон Кихот, – природа не наделила Дульсинею ни одной чертой, которая не была бы законченной и совершенной, а потому, будь у Дульсинеи не одно, а сто пять таких пятен, это были бы не сто пять пятен, а сто пять лун и сияющих звезд. А скажи мне, Санчо: то самое, что я принял за вьючное седло и что ты прилаживал, – что это такое: простое седло или же дамское?

– Нет, нет, – отвечал Санчо, – это седло с короткими стременами и с такой важной попоной, которая стоит никак не меньше полцарства.

– А я всего этого не видел, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Повторяю и еще тысячу раз буду повторять, что я самый несчастный человек на свете.

Хитрец Санчо, слушая, какие глупости болтает его господин, столь ловко обведенный им вокруг пальца, едва мог удержаться от смеха. Наконец, после долгих разговоров, оба воссели на своих четвероногих и поехали в Сарагосу, с тем чтобы попасть к началу пышных празднеств, которые в знаменитом этом городе устраиваются ежегодно. Однако ж, прежде чем они его достигли, с ними случилось столько великих и неслыханных событий, что об этом стоит написать и стоит прочитать, как то будет видно из дальнейшего.



Глава XI

О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти



Дон Кихот, погруженный в глубокое раздумье, ехал дальше, вспоминая злую шутку, какую с ним сыграли волшебники, превратившие сеньору Дульсинею в безобразную сельчанку, и все не мог придумать, как бы возвратить ей первоначальный облик; и до того он был этими мыслями занят, что не заметил, как бросил поводья, а Росинант, почуяв свободу, ежеминутно останавливался и щипал зеленую травку, коей окрестные поля были обильны. Из этого самозабвения вывел Дон Кихота Санчо Панса, который обратился к нему с такими словами:

– Сеньор! Печали созданы не для животных, а для людей, но только если люди чересчур печалятся, то превращаются в животных. А ну-ка, ваша милость, совладайте с собой, возьмите себя в руки, подберите Росинантовы поводья, приободритесь, встряхнитесь и будьте молодцом, как подобает странствующему рыцарю. Что это еще за чертовщина? Почто такое

уныние? Где мы: во Франции или же у себя дома? Да черт их возьми, всех Дульсиней на свете, – здоровье одного странствующего рыцаря стоит дороже, чем все волшебства и превращения, какие только есть на земле.

– Замолчи, Санчо, – довольно твердо проговорил Дон Кихот, – замолчи, говорят тебе, и не произноси кощунственных слов о зачарованной нашей сеньоре: в ее несчастии и напасти повинен я, а не кто другой, ибо злоключения ее вызваны той завистью, которую питают ко мне злодеи.

– Я тоже так думаю, – молвил Санчо, – у кого бы сердце не упало, кто видал, какой она была и какою стала?

– Ты можешь так говорить, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты созерцал ее красоту во всей ее целокупности, действие чар на тебя не распространилось: они не затуманили твоего взора и не сокрыли от тебя ее пригожества, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз. Однако ж со всем тем вот что я подозреваю, Санчо: верно, ты плохо описал мне ее красоту, – если не ошибаюсь, ты сказал, что очи у нее, как жемчуг, между тем глаза, напоминающие жемчужины, скорее бывают у рыб, чем у женщин, а у Дульсинеи, сколько я себе представляю, должен быть красивый разрез глаз, самые же глаза – точно зеленые изумруды под радугами вместо бровей, – так что эти самые жемчужины ты у глаз отними и передай зубам, – по всей вероятности, ты перепутал, Санчо, и глаза принял за зубы.

– Все может быть, – согласился Санчо, – потому меня так же поразила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Будемте же уповать на бога: ему одному известно все, что случится в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Одно, государь мой, меня беспокоит больше, чем что бы то ни было, а именно: что делать, если ваша милость одолеет какого-нибудь великана или же рыцаря и велит ему явиться пред светлые очи сеньоры Дульсинеи? Где этот бедняга великан или же бедняга и горемыка побежденный рыцарь станут ее искать? Я их отсюда вижу: слоняются, как дураки, по всему Тобосо и всё ищут сеньору Дульсинею, и если даже они ее прямо на улице встретят, все равно это будет для них что Дульсинея, что мой родной папаша.

– Может статься, Санчо, – заметил Дон Кихот, – чародейство с неузнаванием Дульсинеи не распространяется на побеждаемых мною и представляющихся Дульсинее великанов и рыцарей, а потому с одним или с двумя из тех, кого я в первую очередь покорю и отошлю к Дульсинее, мы проделаем опыт: увидят они ее или нет, и я прикажу им возвратиться и доложить мне, как у них с этим обстояло.

– Мне ваша мысль, скажу я вам, сеньор, нравится, – молвил Санчо. – Коли пуститься на такую хитрость, то все, что нам желательно знать, мы узнаем, и если окажется, что сеньора Дульсинея всем видна, кроме вас, то это уж беда не столько ее, сколько вашей милости. Лишь бы сеньора Дульсинея была жива-здорова, а уж мы тут как-нибудь приспособимся и потерпим, будем себе искать приключений, а все остальное предоставим течению времени: время – лучший врач, оно более опасные болезни излечивает, а уж про эту и говорить не приходится.

Дон Кихот хотел было ответить Санчо Пансе, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера и погонял мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первою фигурою, представившеюся глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; рядом с ней ехал Ангел с большими раскрашенными крыльями; с другого боку стоял Император в короне, по виду золотой; у ног Смерти примостился божок, так называемый Купидон, – без повязки на глазах, но зато с луком, колчаном и стрелами; тут же ехал Рыцарь, вооруженный с головы до ног, только вместо шишака или шлема на нем была с разноцветными перьями шляпа, и еще тут ехало много всяких существ в разнообразном одеянии и разного обличья. Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устрашило Санчо, но Дон Кихот

тотчас же возвеселился сердцем; он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этою мыслью, с душою, готовою к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил:

– Кто бы ты ни был: возница, кучер или сам дьявол! Сей же час доложи мне: кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладью Харона,[57] нежели на обыкновенную повозку?

Тут дьявол натянул вожжи и кротко ответил:

– Сеньор! Мы актеры из труппы Ангуло Дурного, нынче утром, на восьмой день после праздника Тела Христова, мы играли в селе, что вон за тем холмом, *Действо о Судилище Смерти,* а вечером нам предстоит играть вот в этом селе – его видно отсюда. Нам тут близко, и, чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем. Этот юноша изображает Смерть, тот – Ангела, эта женщина, жена хозяина, – Королеву, вон тот – Солдата, этот – Императора, а я – Дьявола, одно из главных действующих лиц: я в нашей труппе на первых ролях. Если же вашей милости нужны еще какие-либо о нас сведения, то обратитесь ко мне, и я дам вам самый точный ответ: я же Дьявол, я все могу.

– Клянусь честью странствующего рыцаря, – заговорил Дон Кихот, – когда я увидел вашу повозку, то подумал, что мне предстоит какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что стоит лишь коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается. Поезжайте с богом, добрые люди, давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен: я весьма охотно и с полною готовностью сослужу вам службу, ибо лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра.

Во время этого разговора по прихоти судьбы выступил вперед один из комедиантов, одетый в шутовской наряд со множеством бубенчиков и державший в руках палку с тремя надутыми бычачьими пузырями на конце; этот самый шут, приблизившись к Дон Кихоту, начал размахивать палкой, хлопать по земле пузырями и, звеня бубенцами, высоко подпрыгивать, каковое ужасное зрелище так испугало Росинанта, что, сколько ни старался Дон Кихот удержать его, он закусил удила и помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Санчо, смекнув, что его господину грозит опасность быть низвергнутым, соскочил с осла и со всех ног бросился ему на помощь, но, когда он примчался, тот лежал уже на земле, а рядом с ним растянулся Росинант: обычный конец и предел Росинантовой удали и своевольства.

Не успел Санчо оставить своего серого и подбежать к Дон Кихоту, как плясавший с пузырями Черт вскочил на осла и стал колотить его пузырями по спине, осел же, подгоняемый не столько болью, сколько страхом, который наводило на него это хлопанье, припустился в сторону села, где надлежало быть представлению. Санчо смотрел на удиравшего осла и на поверженного господина и не знал, какому горю пособить прежде; но как он был верный оруженосец и верный слуга, то любовь к своему господину возобладала в нем над привязанностью к серому, хотя всякий раз, как пузыри поднимались и опускались на круп осла, он испытывал смертный страх и смертную муку; он предпочел бы, чтоб его самого отхлопали так по глазам, чем дотронулись до кончиков волос на хвосте его серого. В состоянии мучительной растерянности приблизился Санчо к Дон Кихоту, являвшему собою более жалкое зрелище, чем он сам предполагал, и, подсаживая его на Росинанта, молвил:

– Сеньор! Черт угнал серого.

– Какой черт? – осведомился Дон Кихот.

– С пузырями, – отвечал Санчо.

– Ничего, я у него отобью, – молвил Дон Кихот, – хотя бы он укрылся с ним в самых глубоких и мрачных узилищах ада. Следуй за мной, Санчо, телега едет медленно, и утрату серого я возмещу тебе мулами.

– Вам не из чего хлопотать столько, сеньор, – возразил Санчо, – умерьте гнев, ваша милость: мне сдается, что Черт уже оставил серого и он идет обратно.

И точно: по примеру Дон Кихота и Росинанта Черт уже грянулся оземь и побрел в село пешком, а серый возвратился к своему хозяину.

– Со всем тем, – объявил Дон Кихот, – за наглость этого беса следовало бы проучить кого-либо из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

– Выкиньте это из головы, – возразил Санчо, – и послушайтесь моего совета: никогда не следует связываться с комедиантами, потому как они на особом положении. Знавал я одного такого: его было посадили в тюрьму за то, что он двоих укокошил, но тут же выпустили безо всякого даже денежного взыскания. Было бы вам известно, ваша милость, что как они весельчаки и забавники, то все им покровительствуют, все им помогают, все за них заступаются и все их ублажают, особливо тех, которые из королевских либо из княжеских трупп, – этих всех или почти всех по одежде и по осанке можно принять за принцев.

– Что бы там ни было, – заключил Дон Кихот, – лицедейный Черт так легко от меня не отделается, хотя бы весь род людской ему покровительствовал.

И, сказавши это, он нагнал телегу, которая уже почти подъехала к селу, и крикнул:

– Стойте, погодите, сонмище весельчаков и затейников! Я хочу научить вас, как должно обходиться с ослами и прочими скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей.

Дон Кихот кричал так громко, что ехавшие в телеге расслышали и уловили его слова; и стоило им постигнуть их смысл, как тот же час с телеги спрыгнула Смерть, а за нею Император, возница-Черт и Ангел, не усидели и Королева с божком Купидоном – все, как один, вооружились камнями, построились в одну шеренгу и изготовились встретить Дон Кихота пальбою булыжниками. Дон Кихот, видя, как они в полном боевом порядке подняли руки, с тем чтобы запустить в него камнями, натянул поводья и стал думать, как бы это повести наступление с наименьшим для себя риском. А пока он раздумывал, к нему присоединился Санчо и, видя, что он собирается напасть на этот выстроившийся по всем правилам военного искусства отряд, сказал:

– Нужно совсем с ума сойти, чтобы затевать такое дело. Примите в соображение, государь мой: против таких увесистых камушков нет иного оборонительного средства, кроме как пригнуться и накрыться медным колоколом. А потом вот еще что сообразить должно: нападать одному на целое войско, в котором находится сама Смерть, в котором собственной персоной сражаются императоры и которому помогают добрые и злые ангелы, – это не столь смело, сколь безрассудно. Если же эти соображения вас не останавливают, то пусть вас остановит одно достоверное сведение, а именно: кем только эти люди не представляются – и королями, и принцами, и императорами, – а странствующего рыцаря среди них ни одного нет.

– Вот теперь, Санчо, ты попал в самую точку, – объявил Дон Кихот, – и это может и должно заставить меня отказаться от твердого моего намерения. Как я уже не раз тебе говорил, я не могу и не должен обнажать меч супротив тех, кто не посвящен в рыцари. Это тебе, Санчо, если ты желаешь отомстить за обиду, причиненную твоему серому, надлежит с ними схватиться, я же буду издали помогать тебе словами ободрения и спасительными предостережениями.

– Мстить никому не следует, сеньор, – возразил Санчо, – доброму христианину не подобает мстить за обиды, тем более что я уговорю моего осла предать его обиду моей доброй воле, а моя добрая воля – мирно прожить дни, положенные мне всевышним.

– Ну, Санчо добрый, Санчо благоразумный, Санчо-христианин, Санчо простосердечный, – молвил Дон Кихот, – коли таково твое решение, то оставим в покое эти пугала и поищем лучших и более достойных приключений, множество каковых, и притом самых что ни на есть чудесных, судя по всему, именно здесь-то нас и ожидает.

С этими словами он поворотил коня, Санчо взобрался на своего серого, Смерть и весь ее летучий отряд снова разместились в повозке и поехали дальше, и таким образом страшное это приключение с колесницею Смерти окончилось благополучно только благодаря спасительному совету, преподанному Санчо Пансою своему господину, которому на другой день предстояло новое приключение с неким влюбленным странствующим рыцарем, не менее потрясающее, нежели предыдущее.



Глава XII

О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал



Ночь после встречи со Смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, где, сдавшись на уговоры Санчо, Дон Кихот прежде всего вкусил той снеди, которою был нагружен осел; и за ужином Санчо сказал своему господину:

– Сеньор! В каких бы я остался дураках, когда бы выбрал себе в награду трофеи первого приключения вашей милости, а не жеребят от трех ваших кобыл! Вот уж, что называется: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

– Однако, Санчо, – возразил Дон Кихот, – если б ты дал мне сразиться, как я хотел, то в виде трофея тебе достались бы, по малой мере, золотая корона Императрицы и раскрашенные крылья Купидона. Я задал бы этой компании порядочную трепку, и все их пожитки перешли бы к тебе.

– Скипетры и короны императоров лицедейных никогда не бывают из чистого золота, а либо из мишуры, либо из жести, – заметил Санчо Панса.

– Справедливо, – отозвался Дон Кихот, – театральным украшениям не подобает быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия, и все же мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию, а следственно и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они суть орудия, приносящие государству великую пользу: они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам различия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Нет, правда, скажи мне: разве ты не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой – плута, третий – купца, четвертый – солдата, пятый – сметливого простака, шестой – простодушного влюбленного, но, едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собой равны.

– Как же, видел, – отвечал Санчо.

– То же самое происходит и в комедии, которую представляет собою круговорот нашей жизни, – продолжал Дон Кихот, – и здесь одни играют роль императоров, другие – пап, словом, всех действующих лиц, какие только в комедии выводятся, а когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они друг от друга отличались, и в могиле все становятся между собою равны.

– Превосходное сравнение, – заметил Санчо, – только уже не новое, мне не однажды и по разным поводам приходилось слышать его, как и сравнение нашей жизни с игрою в шахматы: пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются, перетасовываются, ссыпаются в кучу и попадают в один мешок, подобно как все живое сходит в могилу.

– С каждым днем, Санчо, ты становишься все менее простоватым и все более разумным, – заметил Дон Кихот.

– Да ведь что-нибудь да должно же пристать ко мне от вашей премудрости, – сказал Санчо, – земля сама по себе может быть бесплодною и сухою, но если ее удобрить и обработать, она начинает давать хороший урожай. Я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем удобрением, которое пало на бесплодную почву сухого моего разума, а все то время, что я у вас служил и с вами общался, было для него обработкой, благодаря чему я надеюсь обильный принести урожай, и урожай этот не сойдет и не уклонится с тропинок благого воспитания, которые милость ваша проложила на высохшей ниве моего понятия.

Посмеялся Дон Кихот велеречию Санчо, однако ж не мог не признать, что тот в самом деле подает надежды, ибо своей манерой выражаться частенько приводил его теперь в изумление; впрочем, всякий или почти всякий раз, как Санчо начинал изъясняться на ученый или на столичный лад, речь его в конце концов низвергалась с высот простодушия в пучину невежества; особливая же изысканность его речи и изрядная память сказывались в том, как он, кстати и некстати, применял пословицы, что на протяжении всей нашей истории читатель, по всей вероятности, видел и замечал неоднократно.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи, и наконец Санчо припала охота отправиться на боковую, как он выражался, когда его клонило ко сну, и, расседлав серого, он дал ему полную волю наслаждаться обильным травою пастбищем. С Росинанта же он не снял седла по особому распоряжению Дон Кихота, не велевшего расседлывать коня, пока они ведут походную жизнь и ночуют под открытым небом; старинный обычай, установленный и неуклонно соблюдавшийся странствующими рыцарями, дозволял снимать уздечку и привязывать ее к седельной луке, но снимать седло – ни в коем случае! Санчо так и сделал и предоставил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, а между осликом и Росинантом существовала дружба тесная и беспримерная, так что из поколения в поколение шла молва, будто автор правдивой этой истории первоначально посвятил ей даже целые главы, но, дабы не выходить из границ приличия и благопристойности, столь

героической истории подобающей, таковые главы в нее не вставил, хотя, впрочем, в иных случаях он этого правила не придерживается и пишет, например, что едва лишь оба четвероногих сходились вместе, то начинали друг друга почесывать, а затем усталый и довольный Росинант клал свою шею на шею усталого и довольного серого (при этом с другой стороны она выступала более чем на пол-локтя), и оба, задумчиво глядя в землю, обыкновенно простаивали так дня по три, во всяком случае, все то время, каким они для этой цели располагали, а также когда голод не понуждал их искать пропитания. Говорят еще, будто в одном сочинении помянутого автора дружба эта сравнивается с дружбою Ниса и Эвриала,[58] Пилада и Ореста,[59] а когда так, то из этого, всем людям на удивление, явствует, сколь прочною, верно, была дружеская привязанность двух этих мирных животных, и не только на удивление, но и к стыду, ибо люди совершенно не умеют хранить дружеские чувства. Недаром говорится:

Трости копьями стальными,[60]

А друзья врагами стали.

И еще:

Куму кум подставить ножку[61]

Втихомолку норовит.

И пусть не думают, что автор несколько преувеличил, сравнив дружбу этих животных с дружбою человеческою, ибо от животных люди получили много уроков[62] и узнали много важных вещей: так, например, аисты научили нас пользоваться клистиром, собаки – блеванию и благодарности, журавли – бдительности, муравьи – предусмотрительности, слоны – стыдливости, а конь – верности.

Наконец Санчо уснул у подножия пробкового дуба, Дон Кихот же задремал под дубом обыкновенным, но могучим; однако малое время спустя его разбудил шум, послышавшийся у него за спиной, и, тут же вскочив, он начал вглядываться и вслушиваться, силясь определить, что это за шум, и увидел двух всадников, один из которых спрыгнул наземь и сказал своему спутнику:

– Слезай, приятель, и разнуздай коней, мне сдается, что травы здесь для них будет вдоволь, а для любовных моих дум – вдоволь тишины и уединения.

Произнеся эти слова, незнакомец в один миг растянулся на траве; когда же он повалился на землю, послышался звон доспехов, и для Дон Кихота то был явный знак, что пред ним странствующий рыцарь; по сему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо, потянул его за руку и, с немалым трудом добудившись, сказал ему на ухо:

– Брат Санчо! Приключение!

– Дай бог, чтоб удачное, – отозвался Санчо. – А где же оно, государь мой, это самое многоуважаемое приключение?

– Где приключение, Санчо? – переспросил Дон Кихот. – Поверни голову и погляди: вон там лежит странствующий рыцарь, и, сколько я понимаю, он не чрезмерно весел, – я видел, как он соскочил с коня и, словно в отчаянии, повалился на землю, и в это время зазвенели его доспехи.

– Почему же ваша милость думает, что это приключение? – осведомился Санчо.

– Я не хочу сказать, что это уже и есть приключение, это только его начало, ибо приключения начинаются именно так, – отвечал Дон Кихот. – Но чу: кажется, он настраивает не то лютню, не то гитару, откашливается, прочищает горло – видно, собирается петь.

– Честное слово, так оно и есть, – сказал Санчо, – должно полагать, это влюбленный рыцарь.

– Странствующий рыцарь не может не быть влюблен, – заметил Дон Кихот. – Послушаем же его и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов, ибо *уста глаголют от полноты сердца.*

Санчо хотел было возразить своему господину, но ему помешал голос Рыцаря Леса, голос не слишком дурной, но и не весьма приятный, и, прислушавшись, Дон Кихот и Санчо уловили, что поет он вот этот самый сонет:

Сеньора! Я на все готов для вас.

Извольте лишь отдать распоряженье,

И ваш любой приказ без возраженья

Я в точности исполню сей же час.

Угодно вам, чтоб молча я угас, —И с жизнью я прощусь в одно мгновенье;Узнать хотите про мои мученья —Самой любви велю сложить рассказ. Противоречий странных сочетанье —Как воск, мягка и, как алмаз, тверда, —Моя душа по вас тоскует страстно. Вдавите или врежьте по желаньюВ нее ваш дивный образ навсегда.Стереть его уже ничто не властно.

Тут Рыцарь Леса, вздохнув, казалось, из глубины души, кончил свою песню, а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным:

– О прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире! Ужели, светлейшая Касильдея Вандальская,[63] ты допустишь, чтобы преданный тебе рыцарь зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях? Ужели тебе не довольно того, что благодаря мне тебя признали первою красавицею в мире все рыцари Наварры, Леона, Тартесии,[64] Кастилии и, наконец, Ламанчи?

– Ну уж нет, – молвил тут Дон Кихот, – я сам рыцарь Ламанчский, но никогда ничего подобного не признавал, да и не мог и не должен был признавать ничего, столь принижающего красоту моей госпожи, – теперь ты видишь, Санчо, что рыцарь этот бредит. Впрочем, послушаем еще: уж верно, он выскажется полнее.

– Еще как выскажется, – подхватил Санчо, – он, по видимости, приготовился целый месяц выть без передышки.

Случилось, однако ж, не так: услышав, что кто-то поблизости разговаривает, Рыцарь Леса прекратил свои песни, стал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес:

– Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих?

– Скорбящих, – отозвался Дон Кихот.

– В таком случае приблизьтесь ко мне, – молвил Рыцарь Леса, – и знайте, что вы приближаетесь к воплощенной печали и скорби.

Услышав столь трогательный и учтивый ответ, Дон Кихот приблизился к рыцарю, а за Дон Кихотом проследовал и Санчо.

Сетовавший рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал:

– Садитесь, сеньор рыцарь, – чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих, мне довольно было встретить вас в этом месте, где с вами делят досуг лишь уединение да вечерняя роса – обычный приют и естественное ложе странствующих рыцарей.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Я – рыцарь и как раз этого самого ордена, и хотя печали, бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо, однако ж от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим. Из песни вашей я сделал вывод, что ваши несчастья – любовного характера, то есть что они

вызваны вашею любовною страстью к неблагодарной красавице, имя которой вы упоминали в жалобах ваших.

Так, в мире и согласии, вели они между собой беседу, сидя на голой земле, и кто бы мог подумать, что не успеет заняться день, как они уже займутся друг дружкой на поле сражения!

– Уж не влюблены ли, часом, и вы, сеньор рыцарь? – спросил Дон Кихота Рыцарь Леса.

– К несчастью, да, – отвечал Дон Кихот, – впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не за напасть.

– Ваша правда, – заметил Рыцарь Леса, – но только презрение наших повелительниц, от которого мы теряем рассудок и здравый смысл, так велико, что скорее напоминает месть.

– Моя госпожа никогда меня не презирала, – возразил Дон Кихот.

– Разумеется, что нет, – подхватил находившийся поблизости Санчо, – моя госпожа кроткая, как овечка, и мягкая, как масло.

– Это ваш оруженосец? – спросил Рыцарь Леса.

– Да, оруженосец, – отвечал Дон Кихот.

– В первый раз вижу, чтобы оруженосец смел перебивать своего господина, – заметил Рыцарь Леса, – по крайней мере, мой оруженосец, – вон он стоит, – хоть и будет ростом со своего собственного отца, однако ж, когда говорю я, он как воды в рот наберет.

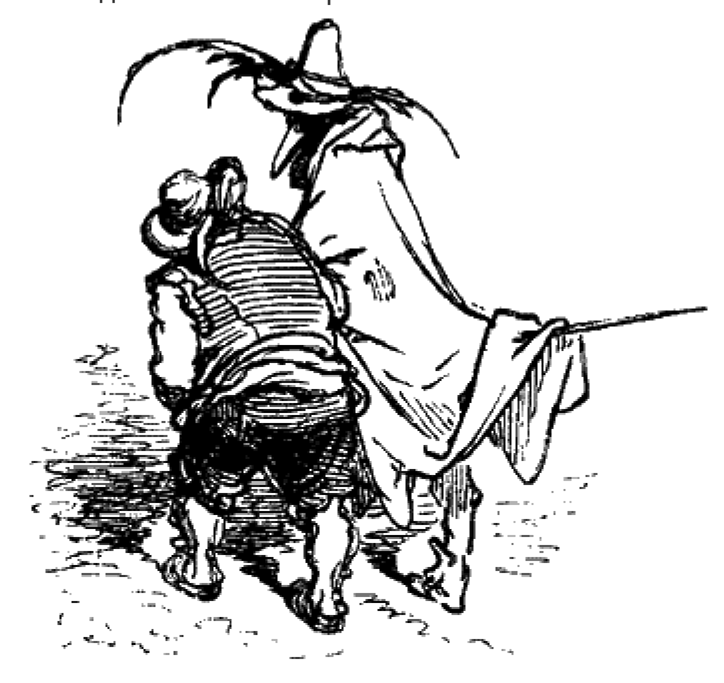
– Ну, а я, коли на то пошло, – вмешался Санчо, – говорю и имею полное право говорить при таком... ладно уж, не стану трогать лихо.

Тут оруженосец Рыцаря Леса взял Санчо за руку и сказал:

– Отойдем-ка в сторонку и поговорим по душам как оруженосец с оруженосцем, а наши господа пусть себе препираются и рассказывают друг другу о сердечных своих обстоятельствах, – ручаюсь головой, что они еще и дня прихватят, да и то, пожалуй, не кончат.

– Пусть себе на здоровье, – согласился Санчо, – а я расскажу вашей милости, кто я таков, и вы увидите, что меня нельзя ставить на одну доску с другими болтливыми оруженосцами.

Оба оруженосца удалились, и между ними началось собеседование столь же забавное, сколь важным было собеседование их сеньоров.



Глава XIII,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Леса и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев



Как скоро оруженосцы отделились от рыцарей, то первые стали рассказывать друг другу о своей жизни, а вторые – о сердечных своих делах, однако ж в истории сначала приводится беседа слуг, а затем уже беседа господ; итак, в истории сказано, что, отойдя немного в сторону, слуга Рыцаря Леса обратился к Санчо с такими словами:

– Тяжело и несладко живется нам, то есть оруженосцам странствующих рыцарей, государь мой; вот уж истинно в поте лица нашего едим мы хлеб, а ведь это одно из проклятий, коим господь бог предал наших прародителей.

– С таким же успехом можно сказать, – подхватил Санчо, – что мы едим его в хладе нашего тела, ибо кто больше злосчастных оруженосцев странствующего рыцарства страдает от зноя и стужи? И не так было бы обидно, ежели б мы этот хлеб ели, потому с хлебом и горе не беда, а то ведь иной раз дня по два пробавляемся одним только перелетным ветром.

– Все это еще можно снести и перенести в ожидании наград, – заметил другой слуга, – ведь если только странствующий рыцарь, у которого служит оруженосец, не из самых незадачливых, то немного спустя он ему уж непременно пожалует губернаторство на каком-нибудь разлюбезном острове или же какое-нибудь хорошенькое графство.

– Я уже говорил моему господину, что с меня и губернаторства на острове довольно, – объявил Санчо, – и он был так благороден и так щедр, что неоднократно и по разным поводам давал обещание пожаловать меня островом.

– А я был бы доволен, если б за непорочную мою службу меня сделали каноником, – сказал другой слуга, – и мой господин мне уже обещал приход, да еще какой!

– Ваш господин, как видно, рыцарь по церковной части и имеет право оказывать подобного рода милости верным своим оруженосцам, – заметил Санчо, – ну, а мой – самый обыкновенный светский, хотя, впрочем, я припоминаю, что одни умные люди, коих я, правда, почитал за вероломцев, пытались уговорить его стать архиепископом, однако ж он, кроме императора, ни о чем слышать не хотел, а я тогда боялся: ну как ему припадет охота пойти по духовной части, ведь я управлять церковным приходом не гожусь, – надобно вам знать, ваша милость, что хотя я и похож на человека, но только церкви что от меня, что от кота – один прок.

– Право, ваша милость, вы ошибаетесь, ведь не все острова ладно скроены, – возразил другой слуга. – Попадаются среди них и кривые, и бедные, и унылые, и даже с самым из них ровным и стройным тот несчастный, которому он достанется, забот и неприятностей не оберется. На что бы лучше нам бросить эту проклятую службу и разойтись по домам, а уж дома мы бы занялись более приятными делами, скажем, охотой или рыбной ловлей, потому у какого самого что ни на есть бедного оруженосца нет своей лошаденки, пары борзых и удочки, чтоб было чем занять себя в деревне?

– У меня все это есть, – объявил Санчо, – лошадки, правда, нет, но зато есть осел – вдвое лучше, чем конь моего господина. Не встретить мне в радости Пасху, ближайшую, какая должна быть, если я когда-нибудь обменяю моего осла на этого коня, хотя бы в придачу мне дали не одну фанегу овса. Вы не поверите, ваша милость, какой у меня замечательный серый, – он у меня серый, осел-то. Ну а за собаками дело не станет: собак у нас в деревне сколько хочешь, а ведь лучше всего охотиться на чужой счет.

– Признаться сказать, сеньор оруженосец, – молвил другой слуга, – я вознамерился и решился бросить всю эту рыцарскую чушь, возвратиться к себе в деревню и растить детишек: у меня их трое, и все – будто перлы Востока.

– А у меня двое, – сказал Санчо, – да такие, что подноси их на блюде хоть самому римскому папе, особливо девчонка, я ее с божьей помощью прочу в графини, хотя и наперекор матери.

– А сколько же лет этой сеньоре, которая должна стать графиней? – полюбопытствовал другой слуга.

– Около пятнадцати, – отвечал Санчо, – но ростом она с копье, свежа, как апрельское утро, а сильна, как все равно поденщик.

– С такими качествами ей впору быть не то что графиней, а и нимфой зеленой рощи, – заметил другой слуга. – Ах ты, распотаскушка и распотаскушкина дочка, уж и здорова же, верно, чертовка!

На это Санчо с некоторою досадою ответил так:

– Ни она, ни ее мать никогда потаскушками не были и, бог даст, покуда я жив, никогда и не будут. А вашу милость я попрошу: нельзя ли повежливее, вы все время вращались среди странствующих рыцарей, а ведь они – сама учтивость, между тем слова, которые вы употребляете, что-то с этим не вяжутся.

– Плохо же вы, ваша милость, сеньор оруженосец, соображаете насчет похвал! – воскликнул другой слуга. – Разве вы не знаете, что когда какой-нибудь кавальеро копьем пронзает быка на арене или же когда кто-нибудь ловко делает свое дело, то народ обыкновенно кричит: «Ах ты, потаскун и потаскушкин сын, как здорово это у него вышло!»? Так вот то, что в этом выражении кажется ругательным, есть на самом деле особая похвала, а от сыновей или же дочерей, которые не совершили ничего такого, за что родителям их надлежит воздавать подобную честь, я бы на вашем месте, сеньор, отрекся.

– Я и отрекаюсь, – подхватил Санчо, – так что по сему обстоятельству вы, ваша милость, вольны потаскушить и меня, и моих детей, и мою жену, ибо все их поступки и слова в высшей степени достойны подобных похвал, и я молю бога, чтоб он привел меня свидеться с ними и избавил от смертного греха, то есть от опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично, оттого что меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, который я однажды нашел в самом сердце Сьерры Морены, а теперь черт то и дело машет у меня перед глазами мешком с дублонами, – то здесь, то там, ан глядь, не там, а вон где, – и мне все чудится: вот я его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, сдаю ее в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом подумать, как мне уже кажутся легкими и выносимыми те муки, что мне приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я почитаю не столько за рыцаря, сколько за сумасброда.

– Вот потому-то и говорят, что от зависти глаза разбегаются, – заметил другой слуга. – Но коли уж речь зашла о сумасбродах, то большего сумасброда, чем мой господин, еще не видывал свет, – это про таких, как он, говорится: «Чужие заботы и осла погубят». Ведь для того, чтобы другой рыцарь образумился, он сам стал сумасшедшим и теперь разъезжает в поисках того, что при встрече может ему еще выйти боком.

– А он, часом, не влюблен?

– Влюблен, – отвечал другой слуга, – в какую-то Касильдею Вандальскую, такую крутую и непромешанную особу, каких свет не производил, но только крутым нравом его не проймешь, в животе у него бурчат еще почище каверзы, и в недалеком будущем это обнаружится.

– На самой ровной дороге попадаются бугорки да рытвины, – заметил Санчо, – у людей еще только варят бобы, а у меня их полны котлы, у сумасшествия, знать, больше спутников да прислужников, нежели у мудрости. Однако ж, если недаром говорится, что легче на свете жить, когда у тебя есть товарищ по несчастью, значит, и мне ваша милость будет утешением: ведь ваш господин такой же глупец, как и мой.

– Глупец, да зато удалец, – возразил другой слуга, – и не так он глуп и удал, как хитер.

– А мой не таков, – объявил Санчо, – я хочу сказать, что у моего хитрости вот на столько нет, душа у него нараспашку, он никому не способен причинить зло, он делает только добро, коварства этого самого в нем ни на волос нет, всякий ребенок уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень, и вот за это простодушие я и люблю его больше жизни и, несмотря ни на какие его дурачества, при всем желании не могу от него уйти.

– Как бы то ни было, друг и государь мой, – сказал слуга Рыцаря Леса, – если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Лучше было бы нам – бодрым шагом в родные края, а то ведь приключения не всегда бывают приятные.

Санчо ежеминутно сплевывал слюну, на вид липкую и довольно густую, и, заметив это, сострадательный лесной оруженосец молвил:

– По-моему, мы так много говорили, что у нас в горле пересохло, ну да у меня привязано к луке седла такое хорошее промачивающее средство – просто прелесть!

Сказавши это, он встал и не в долгом времени возвратился с большим бурдюком вина и пирогом длиною в пол-локтя, и это не преувеличение, ибо то был пирог с кроликом такой величины, что Санчо, дотронувшись до него и решив, что это даже и не козленок, а целый козел, обратился к другому оруженосцу с вопросом:

– И вы эдакое возите с собой, сеньор?

– А вы что же думали? – отозвался тот. – Или, по-вашему, я уж такой захудалый оруженосишка? На крупе моего коня больше запасов довольствия, нежели у генерала, когда он отправляется в поход.

Не заставив себя долго упрашивать, Санчо принялся за еду и, второпях глотая куски величиною с мельничный жернов, сказал:

– Ваша милость – вот уж истинно верный и преданный оруженосец, всамделишный и взаправдашный, роскошный и богатый, как показывает этот пир, который вы задали чисто по волшебству, – не то что я, оруженосец жалкий и незадачливый, у которого в переметных сумках только и есть что немного сыру, такого твердого, что им ничего не стоит размозжить голову великану, да сверх того полсотни сладких стручков, да столько же лесных и грецких орехов, а все потому, что мой господин беден, и еще потому, что он держится того мнения и следует тому правилу, будто странствующим рыцарям надлежит подкрепляться и пробавляться одними лишь сухими плодами да полевыми травами.

– По чести, братец, – объявил другой слуга, – мой желудок не способен переваривать чертополох, дикие груши и древесные корни. Ну их ко всем чертям, наших господ, со всеми их мнениями и рыцарскими законами, пусть себе едят, что хотят, – я везу с собой холодное мясо,

а к луке седла у меня на всякий случай привязан вот этот бурдюк, и я его так люблю и боготворю – ну прямо минутки не могу пробыть, чтобы не обнять его и не прильнуть к нему устами.

Сказавши это, он сунул бурдюк в руки Санчо, и тот, накренив его и потягивая из горлышка, с четверть часа рассматривал звезды, а когда перестал пить, то склонил голову набок и с глубоким вздохом проговорил:

– Ах ты, распотаскушкино отродье, до чего ж ты, подлое, пользительно!

– Вот видите, – услышав, что и Санчо поминает *распотаскушкино отродье,* молвил другой слуга, – ведь вы тоже в похвалу моему вину назвали его *распотаскушкиным отродьем?*

– Признаюсь, теперь я понимаю, – отвечал Санчо, – что ничего обидного нет назвать кого-нибудь потаскушкиным сыном, если это говорят в виде похвалы. А скажите, сеньор, ради всего святого, это вино не из Сьюдад Реаля?

– Вот это знаток! – воскликнул другой слуга. – В самом деле, оно именно оттуда и притом уже не молодое.

– Еще бы не знаток! – воскликнул Санчо. – Вы думаете, это для меня такая трудная задача – распознать ваше вино? Так вот, было бы вам известно, сеньор оруженосец, у меня к распознаванию вин большие природные способности: дайте мне разок понюхать – и я вам угадаю и откуда оно, и какого сорта, и букет, и крепость, и какие перемены могут с ним произойти, и все, что к вину относится. Впрочем, тут нет ничего удивительного: у меня в роду со стороны отца было два таких отменных знатока вин, какие не часто встречаются в Ламанче, а в доказательство я расскажу вам один случай. Дали им как-то попробовать из одной бочки и попросили произнести свое суждение касательно состояния и качества вина, достоинств его и недостатков. Один лизнул, другой только к носу поднес. Первый сказал, что вино отзывает железом, другой сказал, что скорее кожей. Владелец сказал, что бочка чистая и что негде было ему пропахнуть кожей. Однако два славных знатока стояли на своем. Прошло некоторое время, вино было продано, стали выливать из бочки, глядь – на самом дне маленький ключик на кожаном ремешке. После этого судите сами, ваша милость, может ли человек моего роду-племени насчет таких вещей сказать свое веское слово.

– Потому-то я и говорю, что нам надобно бросить поиски приключений, – сказал другой слуга, – от добра добра не ищут, разойдемся-ка лучше по своим лачугам, а коли господу будет угодно, то он нас и там не оставит.

– Пока мой господин не доедет до Сарагосы, я буду ему служить, а там видно будет.

Долго еще два славных оруженосца беседовали и выпивали, пока наконец сон не связал им языки и не умерил их жажду, утолить же ее было немыслимо: так они и заснули, держась за почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками пирога во рту, и теперь мы их на время оставим, чтобы рассказать, о чем говорили между собою Рыцарь Леса и Рыцарь Печального Образа.



Глава XIV,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Леса



В истории сказано, что после долгой беседы с Дон Кихотом Рыцарь Дремучего Леса обратился к нему с такими словами:

– А теперь, сеньор рыцарь, да будет вам известно, что не столько по велению судьбы, сколько по своей доброй воле меня угораздило влюбиться в несравненную Касильдею Вандальскую. Я именую ее несравненной, оттого что никто не может с ней сравниться ни по величественности телосложения, ни по родовитости, ни по красоте. И вот эта Касильдея, о которой я держу речь, за все мои честные намерения и благородные чувства отплатила тем, что по примеру мачехи Геркулеса повелела мне многоразличные выдержать испытания, и в конце каждого она давала мне слово, что в конце следующего наступит конец моим ожиданиям, а между тем мытарства мои нанизываются одно на другое, и нет им числа, а теперь уж я не знаю, какое из них будет последним и положит начало исполнению благих моих желаний. Однажды она приказала мне вызвать на поединок знаменитую севильскую великаншу Хиральду,[65] рыжую и здоровенную, точно отлитую из меди, и, хотя она всегда на одном месте, самую изменчивую и непостоянную женщину в мире. Я пришел, увидел, победил ее, велел стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера. Еще как-то приказала мне моя владычица взвесить древних каменных Быков Гисандо,[66] а ведь

они такие тяжеленные, что это скорей подошло бы грузчикам, нежели рыцарям. Еще как-то приказала она мне низринуться и низвергнуться в пропасть Кабра,[67] – дело страшное и неслыханное, – а затем подробно доложить ей о том, что в мрачной той бездне таится. Я остановил вращение Хиральды, взвесил Быков Гисандо, бросился в пропасть и исследовал таимое на ее дне, а надежды мои как не сбывались, так и не сбываются, приказы же ее и пренебрежение – это все своим чередом. Ведь вот уж совсем недавно приказала она мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я – самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, по каковому распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить. Но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея Вандальская прекраснее его Дульсинеи, и полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил помянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил, то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу,

И чем славнее тот, кто был разбит,

Тем больше победитель знаменит, —

так что неисчислимые подвиги названного мною Дон Кихота теперь уже приписываются мне и становятся моими.

С изумлением внимал Дон Кихот речам Рыцаря Леса и не раз готов был сказать ему, что он лжет; слово «ложь» так и вертелось у него на языке, однако ж он, сколько мог, сдерживал себя, чтобы тот окончательно запутался в собственной лжи, и потому хладнокровно заметил:

– Что ваша милость, сеньор рыцарь, победила чуть ли не всех странствующих рыцарей Испании, и даже всего мира, – тут я ничего не могу возразить, но что вы победили Дон Кихота Ламанчского – это я ставлю под сомнение. Может статься, то был кто-нибудь другой, на него похожий, хотя, впрочем, мало кто на него походит.

– Как так другой? – вскричал Рыцарь Леса. – Клянусь небом, раскинувшимся над нами, что я схватился с Дон Кихотом, одолел его и принудил сдаться, и это человек высокого роста, долговязый и сухопарый, лицом худощавый, волосы у него с проседью, нос орлиный, с чуть заметной горбинкой, усы большие, черные, книзу опущенные. Воюет он под именем Рыцаря Печального Образа, а в оруженосцах у него состоит некий хлебопашец Санчо Панса, ездит и гарцует он на славном коне, именуемом Росинантом, и вот еще что: повелительницею его является некая Дульсинея Тобосская, прежде именовавшаяся Альдонсою Лоренсо, подобно как мою владычицу зовут на самом деле Касильдою и родом она из Андалусии, а я ее на этом основании величаю Касильдеей Вандальскою. Если же всех этих примет не довольно, дабы вы уверились в моей правоте, то при мне мой меч, а он и само недоверие принудит уверовать.

– Успокойтесь, сеньор рыцарь, и выслушайте меня, – сказал Дон Кихот. – Надобно вам знать, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, – мой самый лучший друг, и у нас с ним такая тесная дружба, что мы как бы составляем одно целое, приметы же, которые вы мне сообщили, столь верны и бесспорны, что я не могу не признать, что вы победили именно его. С другой стороны, мое собственное зрение и осязание доказывают мне всю невозможность того, чтобы это был он, если только кто-нибудь из многочисленных враждебных ему волшебников (вернее всего тот, кто постоянно его преследует) не принял его облика и не дал себя одолеть, дабы лишить его славы, которую он высокими своими рыцарскими подвигами во всех известных нам странах заслужил и стяжал. И для вящей убедительности я хочу еще довести до вашего сведения, что помянутые волшебники, его недоброжелатели, назад тому дня два преобразили и обратили прекрасную Дульсинею Тобосскую в простую и грубую сельчанку, и, должно полагать, так же они изменили наружность и самого Дон Кихота. Если же всего этого не довольно, дабы вы удостоверились в правоте слов моих, то перед вами сам

Дон Кихот, который свою правоту будет отстаивать с оружием в руках, то ли на коне, то ли спешившись, то ли как вам заблагорассудится.

Сказавши это, он встал и в ожидании, что предпримет Рыцарь Леса, взялся за меч, а тот не менее спокойно обратился к нему с такими словами:

– Исправному плательщику залог не страшен. Кому однажды, сеньор Дон Кихот, удалось победить вас, превращенного, тот имеет основание надеяться одолеть вас и в вашем настоящем виде. Однако ж рыцарям не подобает совершать ратные подвиги впотьмах, мы не разбойники и не лиходеи, подождем до рассвета, и да будет солнце свидетелем наших деяний. Условием же нашего поединка я ставлю следующее: побежденный сдается на милость победителя, и тот волен поступить с ним как угодно, с тем, однако же, чтобы повеления его не были для побежденного унизительны.

– Подобное условие и соглашение меня совершенно удовлетворяет, – объявил Дон Кихот.

Засим оба рыцаря направились к своим оруженосцам и застали их похрапывающими в тех самых позах, в каких они были застигнуты сном. Рыцари их разбудили и велели снаряжать коней, ибо на восходе солнца между ними-де должно состояться кровопролитное, бесподобное и беспримерное единоборство, при каковом известии Санчо обмер и оторопел, ибо от оруженосца Рыцаря Леса он много наслышался об удальстве рыцаря и теперь опасался за жизнь своего господина; как бы то ни было, оруженосцы, ни слова не говоря, направились к своему табуну – надобно заметить, что все три коня и осел успели обнюхать друг дружку и уже не расставались.

Дорогою оруженосец Рыцаря Леса сказал Санчо:

– Было бы вам известно, приятель, что у андалусских драчунов такой обычай: коли попал в свидетели, то не сиди сложа руки, покуда дерутся спорщики. Теперь, стало быть, вы предуведомлены, что коли хозяева наши дерутся, то и нам надлежит биться так, чтобы клочья летели.

– Пускай себе, сеньор оруженосец, держатся этого обычая и соблюдают его подстрекатели и драчуны, а чтобы оруженосцы странствующих рыцарей – это уж дудки, – возразил Санчо. – Я, по крайности, не слыхал от моего господина о подобном обычае, а он все установления странствующего рыцарства назубок знает. И пусть даже это правда и в самом деле существует такое правило, чтобы оруженосцы дрались, когда дерутся их господа, я все равно не стану его исполнять, а лучше уплачу пеню, налагаемую на таких смирных оруженосцев, каков я, – ручаюсь, что это, наверно, от силы два фунта воску,[68] и я предпочитаю отдать эти два фунта: это мне наверняка станет дешевле корпии на лечение головы, а ведь я уверен, что в драке мне ее непременно разрубят и рассекут пополам. И еще потому не могу я драться, что у меня нет меча, да я его и в руки-то отродясь не брал.

– Это уладить легко, – молвил другой оруженосец, – у меня с собой два одинаковых полотняных мешка, вы возьмете один, я – другой, и мы на равных условиях станем друг друга охаживать мешками.

– Это пожалуйста, – сказал Санчо, – такая драка ранить нас не ранит, а пыль повыбьет.

– Нет, так не годится, – возразил другой оруженосец. – Чтобы ветер не унес мешков, нужно положить в них по полдюжине хорошеньких гладеньких голышей, по весу одинаковых, вот мы и начнем мешковать друг дружку без особого вреда и ущерба для обоих.

– Ах ты, нелегкая его побери! – воскликнул Санчо. – Нечего сказать, хорошенькие собольи меха и волокна хлопка желает он наложить в мешки, чтоб не раскроить друг другу череп и чтоб из наших костей не получилось каши! Да хоть бы вы, государь мой, шелковичными коконами их набили, все равно, было бы вам известно, я не стану драться, пусть дерутся наши господа, ну их к богу, а мы будем жить-поживать да винцо попивать, время и так постарается нас уморить, а нам самим не стоит хлопотать, чтобы век наш кончился до поры и до срока: созреем, тогда и упадем.

– И все же нам хоть с полчасика, а придется подраться, – возразил другой оруженосец.

– Никак нет, – отрезал Санчо, – я не такой невежа и не такой неблагодарный, чтоб затевать хотя бы легкую ссору с человеком, с которым мы вместе ели и пили. Тем более он меня ничем не разгневал и не обозлил, так какого же черта я ни с того ни с сего сунусь в драку?

– Я и это берусь уладить, – сказал другой оруженосец, – и вот каким образом: перед началом стычки я преспокойно подойду к вашей милости и дам вам две-три затрещины, так что вы полетите с ног, и этим я пробужу в душе вашей гнев, даже если вы сонливее сурка.

– Против этого выпада у меня найдется другой, нисколько не хуже, – объявил Санчо. – Я схвачу дубину и, прежде нежели ваша милость начнет пробуждать мой гнев, так усыплю ваш, что пробудится он разве на том свете, а на том свете, поди, известно, что наступать себе на ногу я никому не позволю. И всем нам нужно держать ухо востро, а главное не будить чужой гнев, пусть он себе спит, потому чужая душа – потемки: пойдешь за шерстью – ан глядь, самого обстригли, да ведь и господь благословил мир, а свары проклял. И то сказать: затравленный, загнанный, прижатый к стене кот превращается в льва, ну, а я-то человек, так я бог знает в кого могу превратиться, а потому я вас, сеньор оруженосец, предуведомляю: за весь вред и ущерб от нашей драки в ответе вы, и никто другой.

– Добро, – молвил другой оруженосец. – Утро вечера мудренее.

Между тем на деревьях уже защебетали хоры птичек радужного оперения; в своих многоголосых и веселых песнях они величали и приветствовали прохладную зарю, чей прекрасный лик уже показался во вратах и окнах востока и которая уже начала отряхать со своих волос бесчисленное множество влажных перлов, и омытые приятною этою влагою травы были словно покрыты и осыпаны тончайшим белым бисером; ивы источали сладостную манну, смеялись родники, журчали ручьи, ликовали дубравы, и в самый дорогой свой наряд убрались луга на заре. Когда же рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, то первым предметом, бросившимся в глаза Санчо Пансы, был нос оруженосца Рыцаря Леса, такой громадный, что казалось, будто он отбрасывает тень на все оруженосцево тело. В истории и в самом деле сказано, что нос был величины невероятной, с горбинкою посредине, усеянный бородавками, лиловый, как баклажан, и свисал ниже рта на целых два пальца, каковые величина, цвет, бородавки и кривизна до того оруженосца безобразили, что Санчо при виде вышеописанного носа заболтал ногами и руками, как ребенок, с которым случился родимчик, и дал себе слово получить лучше две сотни оплеух, нежели пробуждать гнев такого страшилища, а потом с ним драться. Тем временем Дон Кихот устремил взор на своего противника, но тот уже надел шлем и опустил забрало, так что лица его нельзя было разглядеть; Дон Кихот, однако же, заметил, что это человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был камзол, сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун, что придавало его наряду необычайную пышность и великолепие; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; его копье, прислоненное к дереву, было преогромное и толстое, с железным наконечником величиною в пядь.

Дон Кихот все это рассмотрел и заметил и из всего виденного и замеченного вывел заключение, что упомянутый рыцарь, верно, изрядный силач, однако это не привело его в ужас, как Санчо Пансу, – нет, он обратился к Рыцарю Зеркал с хладнокровною и смелою речью:

– Если боевой пыл не взял верх над вашею, сеньор рыцарь, учтивостью, то я взываю к ней и прошу вас поднять немного забрало, дабы я уверился, что мужественность лица вашего соответствует мужественности вашего телосложения.

– Выйдете ли вы, сеньор рыцарь, из этого испытания победителем или же будете побеждены, – возразил Рыцарь Зеркал, – у вас еще будет досуг и время меня разглядеть, а сейчас я не могу исполнить ваше желание единственно потому, что, думается мне, я нанесу

явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, меж тем как мне надлежит вынудить у вас признание, коего, как вам известно, я от вас добиваюсь.

– Как бы то ни было, – возразил Дон Кихот, – пока мы будем садиться на коней, вы успеете мне сказать, подлинно ли я тот самый Дон Кихот, которого вы будто бы победили.

– На каковой ваш запрос отвечаем, – молвил Рыцарь Зеркал, – что вы как две капли воды похожи на побежденного мною рыцаря, но вы же сами говорите, что волшебники строят ему козни, а потому я не осмеливаюсь утверждать положительно, являетесь вы данным подследственным лицом или нет.

– Теперь для меня совершенно ясно, что вы заблуждаетесь, – заметил Дон Кихот, – однако ж, дабы вы разуверились совершенно, пусть подадут нам коней, – с помощью господа бога, моей госпожи и собственной моей длани я увижу ваше лицо скорее, чем если бы вы стали поднимать забрало, вы же увидите, что я не тот побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

Тут, прервав разговор, сели они на коней, и Дон Кихот поворотил Росинанта, чтобы сначала разогнать его, а затем ринуться на своего неприятеля, и так же точно поступил Рыцарь Зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать и на двадцать шагов, как Рыцарь Зеркал, также на полпути, остановился и крикнул ему:

– Помните же, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, еще раз повторяю, сдается на милость победителя.

– Я знаю, – отозвался Дон Кихот, – с тою, однако же, оговоркою, что побежденному не будет предъявлено требований и дано приказаний, находящихся в противоречии с рыцарским уставом.

– Само собою разумеется, – молвил Рыцарь Зеркал.

Тут Дон Кихот обратил внимание на из ряду вон выходящий нос оруженосца и не менее Санчо ему подивился, настолько, что даже почел этого оруженосца за некое чудище, за человека другой породы, доселе не встречавшейся на земле. Санчо, видя, что его господин намеревается взять разбег, не пожелал остаться наедине с носатым: он боялся, что если тот хоть раз щелкнет его своим носом по носу, то этим все их сражение и кончится, ибо от силы удара, а то и со страху, он непременно растянется, – поэтому-то, ухватившись за Росинантово стремя, он двинулся следом за своим господином; когда же, по его соображениям, настала пора поворотить обратно, он сказал:

– Будьте так добры, государь мой, пока вы еще с неприятелем не схватились, подсобите мне влезть на этот дуб, – там мне будет удобнее, нежели на земле, наблюдать за той жаркой схваткой, которая сейчас начнется между вашей милостью и вон тем рыцарем.

– По-моему, Санчо, – возразил Дон Кихот, – ты просто хочешь подняться и взобраться на подмостки, чтобы смотреть на бой быков, находясь в полной безопасности.

– Сказать по правде, – признался Санчо, – меня ошеломил и устрашил громадный нос этого оруженосца, и я боюсь с ним оставаться.

– Нос у него в самом деле таков, что, будь я другим человеком, он бы и меня привел в трепет, – сказал Дон Кихот. – Ну что ж, полезай, я тебя подсажу.

Пока Дон Кихот возился, помогая Санчо взгромоздиться на дуб, Рыцарь Зеркал взял какой ему хотелось разбег и, полагая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, и не дожидаясь ни звука трубы, ни какого-либо другого знака, поворотил своего коня, столь же знатного и ретивого, как Росинант, и во всю его прыть, то есть мелкой рысцой, двинулся на сближение с неприятелем; видя, однако ж, что Дон Кихот замешкался с подсаживанием Санчо, Рыцарь Зеркал натянул поводья и на полпути остановился, за что конь был ему весьма признателен, ибо он уже выдохся. Дон Кихоту меж тем почудилось, будто неприятель уже на него

налетает, – он с силою вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, так его этим расшевелив, что, по свидетельству автора, Росинант впервые перешел на крупную рысь (а то ведь обыкновенно он только трусил рысцой) и с невиданною быстротою помчал своего седока прямо на Рыцаря Зеркал. Рыцарь же в это время всаживал своему коню шпоры по самый каблук, но конь и на палец не сдвинулся с того места, где его бег был остановлен. При таких благоприятных обстоятельствах и до такой степени вовремя напал Дон Кихот на своего противника, возившегося с конем и то ли не сумевшего, то ли не успевшего взять копье наперевес. Не обращая внимания на эти его затруднения, Дон Кихот без малейшего для себя риска и вполне безнаказанно так хватил Рыцаря Зеркал, что тому волей-неволей пришлось скатиться по крупу коня на землю, и до того лихо он при этом шлепнулся, что, словно мертвый, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Как увидел Санчо, что рыцарь свергнулся, так сейчас же спустился с дуба и с великим проворством направился к своему господину, тот же, спешившись, поспешил к Рыцарю Зеркал и, развязав ему ленты от шлема, чтобы удостовериться, жив он или мертв, и чтобы ему легче было дышать в случае, если жив, увидел... Но как сказать, кого он увидел, не приведя при этом в изумление, не поразив и не ужаснув читателей? Он увидел, гласит история, лицо, облик, наружность, черты, образ и обличье самого бакалавра Самсона Карраско, и как скоро увидел, то возопил громким голосом:

– Сюда, Санчо! Сейчас ты увидишь то, чему ты не должен верить! Торопись же, сын мой, и удостоверься, на что способно волшебство, на что способны колдуны и чародеи!

Санчо приблизился и, увидев лицо бакалавра Карраско, начал усердно креститься и не менее усердно призывать имя господне. Все это время потерпевший рыцарь не подавал признаков жизни, а потому Санчо сказал Дон Кихоту:

– По мне, государь мой, вашей милости на всякий случай следовало бы вогнать и всунуть меч в пасть вот этого, который прикинулся бакалавром Самсоном Карраско: может статься, вы таким образом прикончите одного из враждебных вам чародеев.

– Ты дело говоришь, – заметил Дон Кихот, – чем меньше врагов, тем лучше.

И он уж обнажил меч, чтобы последовать совету и наставлению Санчо, но тут к нему подскочил оруженосец Рыцаря Зеркал, уже без этого безобразного носа, и громко воскликнул:

– Подумайте, сеньор Дон Кихот, что вы делаете! Ведь у ваших ног бакалавр Самсон Карраско, ваш приятель, а я его оруженосец.

Санчо, видя, что он не такой урод, как прежде, спросил:

– А где же нос?

На что тот ответил:

– Он у меня здесь, в кармане.

С этими словами он сунул руку в правый карман и вытащил поддельный, из лакированного картона, нос вышеописанного образца. Санчо долго к оруженосцу приглядывался и наконец громко и с изумлением воскликнул:

– Пресвятая богородица, спаси нас! Да ведь это же Томе Сесьяль, сосед мой и кум!

– А то кто же! – подхватил обезносевший оруженосец. – Да, я – Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и я тебе потом расскажу про все пакости, плутни и каверзы, через которые я здесь очутился. А сейчас проси и умоляй своего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал Рыцаря Зеркал, что лежит у его ног, – вне всякого сомнения, это дерзкий и легкомысленный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Тем временем Рыцарь Зеркал пришел в себя; тогда Дон Кихот приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

– Смерть вам, рыцарь, если вы не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская выше по красоте вашей Касильдеи Вандальской, а кроме того, вы должны мне обещать (если

только после этой ошибки и падения вы останетесь живы), что отправитесь в город Тобосо, явитесь к Дульсинее и скажете, что вы от меня, а уж как она с вами поступит – на то ее полная воля; если же она полную волю предоставит вам, то вам все же придется меня разыскать (вожатаем послужит вам след от моих деяний, и он приведет вас к месту моего пребывания) и поведать, о чем вы с нею беседовали; таковы мои условия, и они находятся в согласии с нашим уговором перед битвою и не противоречат уставу странствующего рыцарства.

– Признаю, – сказал поверженный рыцарь, – что всклокоченные, хотя и чистые, волосы Касильдеи не стоят рваных и грязных башмаков сеньоры Дульсинеи Тобосской, и обещаю съездить к ней, вернуться от нее к вам и дать вам полный и подробный отчет, какого только вы от меня потребуете.

– Еще вам надлежит признать и поверить, – примолвил Дон Кихот, – что тот рыцарь, которого вы одолели, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанчским, что это был кто-то другой, на него похожий, я же, со своей стороны, признаю и верю, что хотя вы и похожи на бакалавра Самсона Карраско, однако ж вы не он, а кто-то другой, на него похожий, и что недруги мои придали вам его обличье, дабы я сдержал и усмирил порыв ярости, меня охватившей, и дабы я с кротостью пожинал плоды победы.

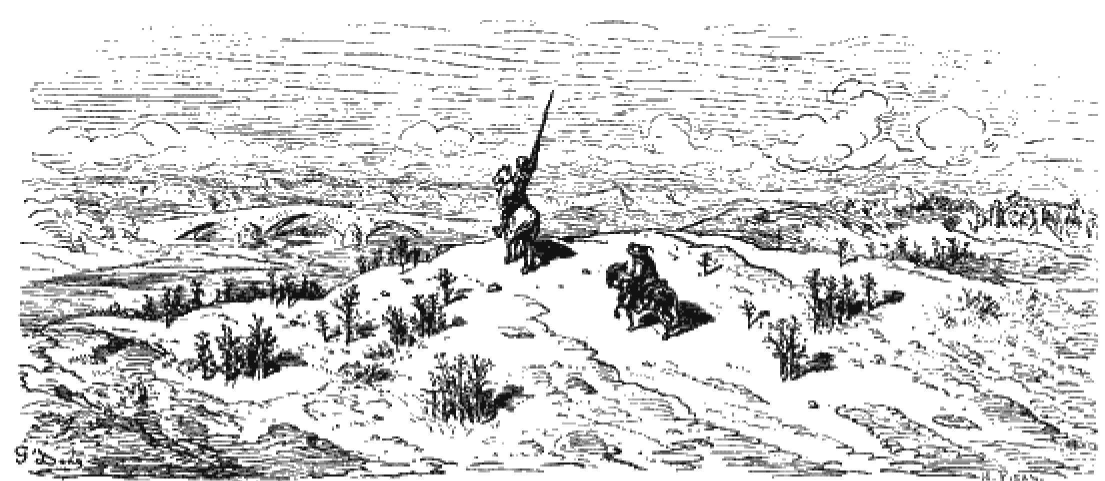
– Все это я признаю, принимаю в рассуждение и сознаю, равно как и вы этому верите, принимаете это в рассуждение и сознаете, – отвечал вышибленный из седла рыцарь. – А теперь будьте любезны, позвольте мне встать, – впрочем, не знаю, смогу ли: я основательно расшибся, когда падал.

Дон Кихот и оруженосец Томе Сесьяль стали поднимать его, а Санчо глаз не сводил со своего земляка и забрасывал его вопросами, из ответов на которые явствовало, что это и точно Томе Сесьяль; однако же слова Дон Кихота о том, что волшебники заменили облик Рыцаря Зеркал обликом бакалавра Карраско, запали в душу Санчо, и он не решался признать за истину то, в чем его убеждало его же собственное зрение. В конце концов господин и его слуга так и не разуверились, а Рыцарь Зеркал и его оруженосец, недовольные и понурые, расстались с Дон Кихотом и Санчо и отправились искать место, где бы можно было вправить и перевязать ребра потерпевшему рыцарю. Дон Кихот и Санчо снова двинулись по дороге к Сарагосе, и тут история их и оставляет, чтобы сообщить, кто такие Рыцарь Зеркал и носовитейший его оруженосец.



Глава XV,

в коей рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец



Дон Кихот был чрезвычайно доволен, горд и упоен своею победою над столь отважным рыцарем, каким ему представлялся Рыцарь Зеркал, и, поверив его честному рыцарскому слову, он надеялся узнать от него в точности, все ли еще заворожена сеньора Дульсинея, ибо такой побежденный рыцарь, по мнению Дон Кихота, не мог не довести до его сведения, как он с нею встретится, иначе это не был бы рыцарь. Но так думал Дон Кихот, да не так думал Рыцарь Зеркал, – как уже было сказано, все помыслы его были теперь устремлены к тому, где бы полечиться. Далее из истории нашей выясняется, что бакалавр Самсон Карраско, прежде чем подвигнуть Дон Кихота возобновить прерванные его рыцарские похождения, совещался со священником и цирюльником по поводу того, какие надлежит принять меры, чтобы Дон Кихот тихо и спокойно сидел дома и чтобы злополучные поиски приключений более его не соблазняли; на этом совещании было единодушно решено, и, в частности, таково было мнение самого Карраско, что Дон Кихота должно отпустить, ибо удержать его все равно невозможно,

а что Самсон под видом странствующего рыцаря его нагонит, завяжет с ним бой, повод для которого всегда найдется, и одержит над ним победу (каковая победа представлялась участникам совещания делом нетрудным); между бойцами же должны, мол, существовать предварительный уговор и соглашение, по которым побежденный обязан сдаться на милость победителя; и вот на этом основании переодетый рыцарем бакалавр велит побежденному Дон Кихоту возвратиться в родное село и в родной дом и никуда не выезжать в течение двух лет или же впредь до особого его распоряжения, причем все, кто держал совет, были совершенно уверены, что Дон Кихот не преминет это повеление исполнить, дабы не идти против законов рыцарства и не нарушать их, и может статься, что в заточении он, дескать, позабудет свои сумасбродства или же сыщется какое-либо подходящее средство от его безумия.

Карраско все это одобрил, а в оруженосцы к нему напросился Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Пансы, весельчак и пустельга. Выше было сказано, как снарядился Самсон, а Томе Сесьяль приладил к натуральному своему носу уже упоминавшийся искусственный и поддельный, чтобы куманек не узнал его при встрече, и поехали Карраско с Сесьялем по той же самой дороге, что и Дон Кихот, совсем было нагнали его во время приключения с колесницею Смерти и в конце концов столкнулись с ним в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательному читателю уже известно; и если бы не необычайное течение мыслей Дон Кихота, благодаря которому он себя уверил, что бакалавр – не бакалавр, то сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лиценциата: ведь пошел-то он за одним, а нашел совсем другое. Томе Сесьяль, видя, сколь неудачным оказалось их предприятие и сколь мрачен конец их пути, обратился к бакалавру с такими словами:

– Сказать по совести, сеньор Самсон Карраско, так нам и надо: нехитро что-нибудь затеять и исполнить, да чаще всего трудненько бывает ноги унести. Дон Кихот – сумасшедший, мы с вами здоровы, он себе целехонек, да еще и посмеивается, а вы – вон какой, ваша милость: избитый и унылый. Теперь давайте подумаем, кто более помешан: тот, который другим и быть не может, либо безумец по собственному желанию.

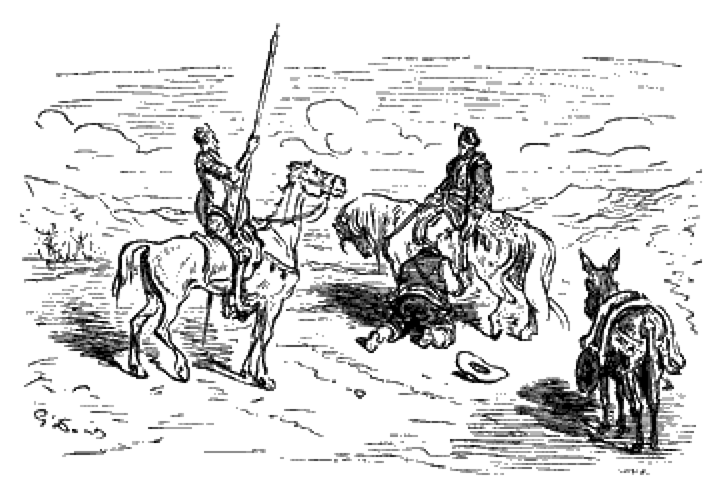
На это ему Самсон ответил так:

– Разница между этими двумя сумасшедшими заключается в том, что безумец поневоле безумцем и останется, безумец же добровольный в любое время может превратиться в человека здорового.

– Коли так, – подхватил Томе Сесьяль, – то я добровольно свихнулся, когда пожелал пойти к вашей милости в оруженосцы, а теперь я также добровольно желаю образумиться и вернуться домой.

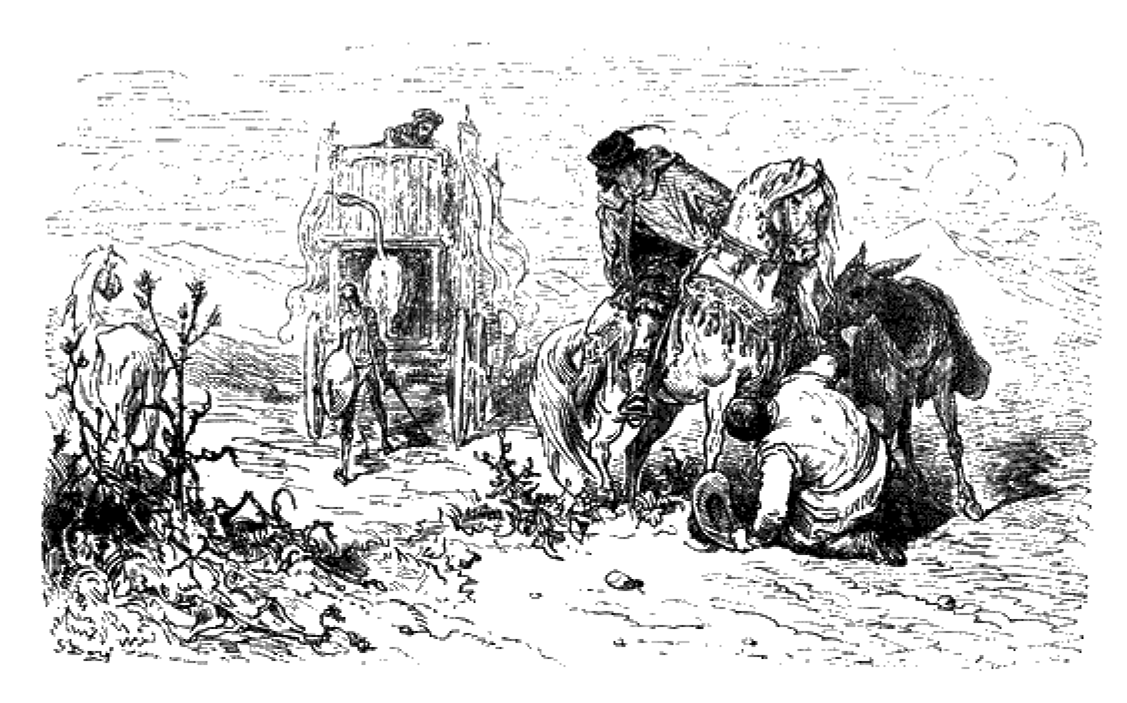
– Это твое дело, – заметил Самсон, – а я, пока не отлуплю Дон Кихота, ни под каким видом домой не вернусь, и теперь я стану его преследовать не с целью привести в разум, но единственно в целях мести, ибо сильная боль в ребрах принуждает меня отказаться от более человеколюбивых намерений.

Продолжая такой разговор, достигли они одного селения, и тут им посчастливилось найти костоправа, который и оказал злосчастному Самсону помощь. Томе Сесьяль покинул его и возвратился домой, Самсон же, оставшись один, принялся обдумывать план мести, и в свое время история наша к нему еще вернется, а теперь ей хочется разделить с Дон Кихотом его радость.



Глава XVI

О том, что произошло между Дон Кихотом и одним рассудительным ламанчским дворянином



Радостный, счастливый и гордый, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свой путь; ему представлялось, что одержанная победа возвела его на степень наиотважнейшего рыцаря своего времени; он считал все приключения, какие только могут ожидать его в будущем, уже завершенными и до победного конца доведенными: он уже презирал и колдунов, и самое колдовство; он уже позабыл и о бесчисленных побоях, которые за время рыцарских его похождений довелось ему принять, и о камне, выбившем ему половину зубов, и о неблагодарности каторжников, и о той дерзости, с какою янгуасцы охаживали его дубинами; словом, он говорил себе, что придумай он только уловку, прием или способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, и он уже не стал бы завидовать величайшей удаче, какая когда-либо выпадала на долю наиудачливейшего странствующего рыцаря времен протекших. Он все еще был занят этими мыслями, когда Санчо сказал ему:

– Как вам это нравится, сеньор? У меня так и стоит перед глазами здоровенный, непомерный нос моего кума Томе Сесьяля.

– Неужели ты и правда думаешь, Санчо, что Рыцарь Зеркал – это бакалавр Карраско, а его оруженосец – твой кум Томе Сесьяль?

– Не знаю, что вам на это ответить, – молвил Санчо, – знаю только, что никто, кроме этого оруженосца, не мог бы сообщить мне такие верные приметы моего дома, жены и детей, лицо же у него, без поддельного носа, совсем как у Томе Сесьяля, а с Томе Сесьялем я, когда жил в деревне, виделся часто, да и дома наши бок о бок, опять же и говорит он точь-в-точь как Томе Сесьяль.

– Давай рассудим хорошенько, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Послушай: ну с какой стати бакалавру Самсону Карраско переодеваться странствующим рыцарем, брать с собой оружие и доспехи и вызывать меня на бой? Разве я его враг? Разве я чем-либо навлек на себя его гнев? Разве я его соперник, разве он вступил на военное поприще и завидует той славе, которую я на этом поприще стяжал?

– А что вы скажете, сеньор, о разительном сходстве этого рыцаря, кто бы он ни был, с бакалавром Карраско, а его оруженосца – с моим кумом Томе Сесьялем? – возразил Санчо. – И если это, по-вашему, волшебство, то почему же волшебники захотели быть похожими именно на эту парочку?

– Все это происки и уловки преследующих меня коварных чародеев, – отвечал Дон Кихот. – В предвидении того, что мне суждено одержать в этой схватке победу, они подстроили так, что побежденный рыцарь сделался похож на моего друга бакалавра, дабы дружеская моя привязанность к нему, встав между острием моего меча и неумолимостью длани моей, умерила правый гнев моего сердца, – им надобно было спасти жизнь тому, кто хитростью и обманом пытался отнять жизнь у меня. И ты, Санчо, в доказательствах не нуждаешься, – ты сам знаешь по опыту, а опыт никогда не лжет и не обманывает, что волшебникам ничего не стоит заменить один облик другим, прекрасный – уродливым, а уродливый – прекрасным: назад тому два дня ты своими глазами созерцал красоту и статность несравненной Дульсинеи во всей их целостности и в полном соответствии истинному ее облику, я же видел пред собой уродливую, грубую, простую сельчанку с тусклыми гляделками и с дурным запахом изо рта, и если порочный волшебник на столь гнусное отважился превращение, то не удивительно, что он же превратил рыцаря в Самсона Карраско, а его оруженосца – в твоего кума, дабы лишить меня чести победителя. Но, как бы то ни было, я утешен, оттого что, несмотря на его обличье, победа все же осталась за мной.

– Один бог знает, где тут правда, – заметил Санчо.

А как Санчо было ведомо, что превращение Дульсинеи состоялось благодаря его собственным плутням и проделкам, то и не мог он быть удовлетворен домыслами своего господина, однако ж возражать не стал, чтобы не проболтаться и самому не раскрыть свой обман.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, их нагнал человек, ехавший следом за ними и по той же самой дороге на очень красивой, серой в яблоках, лошади; на нем был добротного зеленого сукна плащ, отделанный светло-коричневым бархатом, и бархатный берет; легкая сбруя на его кобыле и седло с короткими стременами были темно-лилового и зеленого цвета; на широкой, зеленой с золотом, перевязи висела кривая мавританская сабля, и так же, как перевязь, были у него отделаны полусапожки; шпоры, не позолоченные, а покрытые зеленым лаком, были так начищены и отполированы и так всему его одеянию соответствовали, что казались лучше золотых. Поравнявшись, путник вежливо поздоровался и, дав кобыле шпоры, хотел было проехать мимо, но Дон Кихот окликнул его:

– Любезный сеньор! Коли вы держите путь туда же, куда и мы, и не слишком торопитесь, то сделайте милость, поедемте вместе.

– По правде сказать, – отозвался всадник, – я так быстро проехал из боязни, что общество моей кобылы может взволновать вашего коня.

– Вы, сеньор, – сказал ему на это Санчо, – смело можете натянуть поводья, потому наш конь – самое скромное и благовоспитанное четвероногое на свете. Никогда еще он в подобных обстоятельствах никакого непотребства не учинял, только один-единственный раз повел он себя неприлично, и мы с моим господином заплатили за то сторицей. Повторяю, коли вашей милости угодно, то вы смело можете не спешить: обмажьте вашу кобылу медом – даю голову на отсечение, наш конь на нее даже не покосится.

Путник, натянув поводья, стал с изумлением рассматривать лицо и фигуру Дон Кихота, ехавшего без шлема, потому что шлем вместе с другими пожитками Санчо привязал к передней луке своего седла; но если всадник в зеленом весьма внимательно рассматривал Дон Кихота, то еще более внимательно рассматривал всадника в зеленом Дон Кихот, ибо тот казался ему человеком незаурядным. На вид всаднику в зеленом можно было дать лет пятьдесят; волосы его были чуть тронуты сединой, нос орлиный, выражение лица веселое и вместе с тем важное, словом, как одежда, так и осанка обличали в нем человека честных правил. Всадник же в зеленом, глядя на Дон Кихота Ламанчского, вывел заключение, что никогда еще не приходилось ему видеть человека подобной наружности и с подобною манерою держаться; он подивился и длинной его шее, и тому, что он такой долговязый, и худобе и бледности его лица, и его доспехам, и его телодвижениям, и осанке, всему его облику и наружности, с давних пор в этих краях не виданным. От Дон Кихота не укрылось то, как пристально смотрел на него путник, коего недоумение само уже достаточно красноречиво свидетельствовало об охватившем его любопытстве. Дон Кихот же был человек отменно учтивый и весьма предупредительный, а потому, не дожидаясь каких бы то ни было со стороны путника вопросов, он первый пошел навстречу его желанию и сказал:

– Я бы не удивился, если б вашу милость удивила моя наружность тою необычайностью и своеобразием, какими она отличается, однако же ваша милость перестанет удивляться, как скоро я вам скажу, что я из числа тех рыцарей, что *стяжали вечну славу поисками приключений.* Я покинул родные места, заложил имение, презрел утехи и положился на судьбу, дабы она вела меня, куда ей будет угодно. Я замыслил воскресить из мертвых странствующее рыцарство, и уже много дней, как я, спотыкаясь и падая, то срываясь, то вновь подымаясь, помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю покровительство замужним, сирым и малолетним, то есть занимаюсь тем, чем свойственно и сродно заниматься странствующему рыцарю, и замысел свой я уже более чем наполовину претворил в жизнь. И вот благодаря многочисленным моим доблестным и христианским подвигам я удостоился того, что обо мне написана книга и переведена на все, или почти на все, языки мира. Разошлась моя история в количестве тридцати тысяч книг, и если небо не воспрепятствует, то дело идет к тому, что будет их отпечатано в тысячу раз больше. А чтобы не задерживать долее ваше внимание и выразить все в нескольких словах, а то даже и в одном слове, я вам скажу, что я – Дон Кихот Ламанчский, иначе говоря – Рыцарь Печального Образа, и хотя самовосхваление унижает, мне, однако ж, приходится себя хвалить, разумеется, тогда, когда некому это сделать за меня. Итак, сеньор дворянин, впредь вас не должны удивлять ни этот конь, ни копье, ни щит, ни оруженосец, ни все мои доспехи, ни бледность моего лица, ни необыкновенная моя худоба, ибо теперь вы знаете, кто я и каков мой род занятий.

Сказавши это, Дон Кихот умолк, всадник же в зеленом долго не отвечал, – казалось, он не находил слов; наконец много спустя он заговорил:

– Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоуменному моему виду догадаться о моем желании, однако ж я все еще не могу прийти в себя от изумления, в какое повергла меня встреча с вами, и хотя вы и говорите, сеньор, что я перестану изумляться, узнав, кто вы, но это не так, напротив того: именно теперь, когда мне это известно, я особенно изумляюсь и недоумеваю. Неужели ныне подлинно существуют странствующие рыцари и печатаются истории неложных

рыцарских подвигов? Я не могу поверить, чтобы в наши дни кто-либо покровительствовал вдовам, охранял девиц, оказывал почет замужним, помогал сиротам, и так никогда бы и не поверил, если бы собственными глазами не видел вашу милость. Теперь, слава богу, с выходом в свет истории высоких ваших и истинных подвигов, которая, как вы говорите, уже отпечатана, позабудутся бесчисленные вымышленные истории странствующих рыцарей, – их всюду полным-полно, и они способствуют лишь порче нравов, вредят сочинениям полезным и подрывают доверие к ним.

– Вымышлены истории странствующих рыцарей или же не вымышлены – это еще большой вопрос, – заметил Дон Кихот.

– А кто же может сомневаться, что все эти истории лживы? – спросил путник в зеленом.

– Я первый, – отвечал Дон Кихот, – однако пока что оставим этот разговор, ибо если мы будем ехать вместе и дальше, то я надеюсь с божьей помощью доказать вам, что вы напрасно разделяете ходячее мнение, будто истории странствующих рыцарей нимало не правдивы.

Последние слова Дон Кихота внушили путнику подозрение, что у Дон Кихота не все дома, и он ждал, что дальнейший разговор укрепит его в этой мысли, однако ж, прежде чем снова пуститься в рассуждения, Дон Кихот задал путнику вопрос, кто он таков, ибо о себе, дескать, он уже сообщил, какого он звания и каков его образ жизни. На это всадник в зеленом плаще ответил так:

– Я, сеньор Рыцарь Печального Образа, идальго, уроженец того самого селения, где мы с вами, бог даст, нынче же отобедаем. Я человек более чем среднего достатка, а зовут меня дон Дьего де Миранда. Жизнь свою я провожу в обществе жены, детей и друзей моих. Любимые мои занятия – охота и рыбная ловля, однако ж я не держу ни соколов, ни борзых, но зато у меня есть ручные куропатки и свирепые хорьки. Библиотека моя состоит из нескольких десятков книг, испанских и латинских, есть у меня и романы, есть и про божественное, но рыцарские романы я на порог не пускаю. Я чаще почитываю светские книги, нежели душеполезные, но только такие, которые отличаются благопристойностью, радуют чистотою слога, поражают и приводят в изумление своим вымыслом, – впрочем, в Испании таких немного. Изредка я обедаю у моих соседей и друзей и часто приглашаю их к себе: мои званые обеды бывают чисто и красиво поданы и нимало не скудны; я сам не люблю злословить и не позволяю другим злословить в моем присутствии; не любопытствую, как живут другие, и не вмешиваюсь в чужие дела; в церковь хожу ежедневно; делюсь достоянием моим с бедняками, но добрых своих дел напоказ не выставляю, дабы в сердце мое не проникли лицемерие и тщеславие, эти наши враги, которые исподволь завладевают сердцами самыми скромными; стараюсь мирить поссорившихся, поклоняюсь владычице нашей богородице и уповаю всечасно на бесконечное милосердие господа бога нашего.

С великим вниманием выслушал Санчо рассказ идальго об его жизни и времяпрепровождении и, решив, что это жизнь добродетельная и святая и что человек, который такую жизнь ведет, уж верно, чудотворец, соскочил с осла, мгновенно ухватился за правое стремя всадника и благоговейно и почти со слезами несколько раз поцеловал ему ноги, при виде чего идальго воскликнул:

– Что ты делаешь, любезный? К чему эти поцелуи?

– Не мешайте мне целовать, – отвечал Санчо, – потому, ваша милость, я первый раз в жизни вижу святого, да еще верхом на коне.

– Я не святой, – возразил идальго, – я великий грешник, а вот ты, братец, видно, человек хороший, что доказывает твое простодушие.

Санчо опять сел в седло, поступок же его исторгнул смех из глубин печали его господина и снова привел в изумление дона Дьего. Дон Кихот спросил своего спутника, много ли у него детей, и тут же заметил, что древние философы, истинного бога не знавшие, за величайшее

благо почитали дары природы, дары Фортуны, а также когда у человека много друзей и много славных детей.

– У меня, сеньор Дон Кихот, один сын, – отвечал идальго, – однако ж если б у меня его не было, пожалуй, я был бы счастливее, и не потому, чтобы он был дурен, а потому, что он не так хорош, как мне бы хотелось. Лет ему от роду восемнадцать, шесть лет он пробыл в Саламанке, изучал языки, латинский и греческий. Когда же я нашел, что ему пора заниматься другими науками, то оказалось, что он всецело поглощен наукой поэзии (если только это можно назвать наукой) и отнюдь не склонен посвятить себя ни правоведению, о чем я особенно мечтал, ни царице всех наук – теологии. Я мечтал о том, что он будет украшением нашего рода, ибо в наш век государи щедро награждают ученость добродетельную и общеполезную, ученость же, лишенная добродетели, это все равно что жемчужина в навозной куче. Между тем сын мой целыми днями доискивается, хорош или же дурен такой-то стих Гомеровой *Илиады,* пристойна или же непристойна такая-то эпиграмма Марциала, так или этак должно понимать такие-то и такие-то стихи Вергилия. Словом сказать, ни с кем он не беседует, кроме творений названных мною поэтов, а также Горация, Персия, Ювенала и Тибулла, современных же испанских поэтов он не слишком жалует, но, как ни мало он увлекается поэзией испанской, однако ж в настоящее время мысли его заняты составлением глоссы[69] на четверостишие, которое ему прислали из Саламанки, – должно полагать, для литературного состязания.

На все это Дон Кихот ответил так:

– Дети, сеньор, суть частицы утробы родительской, вот почему, хороши они или же дурны, должно любить их, как любят душу, которая дает жизнь нашему телу. Долг родителей – с малолетства наставить их на путь добродетели, благовоспитанности и доброй христианской жизни, с тем чтобы, придя в возраст, они явились опорою старости родителей своих и гордостью своего потомства. Принуждать же их заниматься той или другой наукой я не почитаю благоразумным, – здесь можно действовать только убеждением, и если школяру не приходится заботиться о хлебе насущном, ибо он такой счастливый, что кусок хлеба обеспечен ему родителями, то мне думается, что родителям надлежит предоставить ему заниматься той наукой, к которой он особую выказывает склонность, и хотя наука поэзии не столь полезна, сколь приятна, однако ж в ее изучении ничего зазорного нет. По мне, сеньор идальго, поэзия подобна нежной и юной деве, изумительной красавице, которую стараются одарить, украсить и нарядить многие другие девы, то есть все остальные науки, и ей надлежит пользоваться их услугами, им же – преисполняться ее величия. Но только дева эта не любит, чтобы с нею вольно обходились, таскали ее по улицам, кричали о ней на площадях или же в закоулках дворцов. Она из такого металла, что человек, который умеет с ней обходиться, может превратить ее в чистейшее золото, коему нет цены. Ему надлежит держать ее в строгости и не позволять ей растекаться в грубых сатирах и гнусных сонетах; ее ни в коем случае не должно продавать, за исключением разве героических поэм, жалостных трагедий или же веселых и замысловатых комедий. Ей не должно знаться с шутами и с невежественною чернью, неспособною понять и оценить сокровища, в ней заключенные. Пожалуйста, не думайте, сеньор, что под чернью я разумею только людей простых, людей низкого звания, – всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни, имя же того, кто обходится с поэзией и обладает ею на указанных мною основаниях, будет окружено славою и почетом у всех просвещенных народов мира. Что же касается того, сеньор, что ваш сын – небольшой охотник до поэзии испанской, то мне кажется, что тут он не совсем прав, и вот почему: великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком, Вергилий же не писал по-гречески, ибо был римлянином. Коротко говоря, все древние поэты писали на том языке, который они всосали с молоком матери, и для выражения высоких своих мыслей к иностранным не прибегали, а посему следовало бы распространить этот обычай на все народы, дабы поэт немецкий не почитал для себя унизительным писать на своем языке, а кастильский и даже

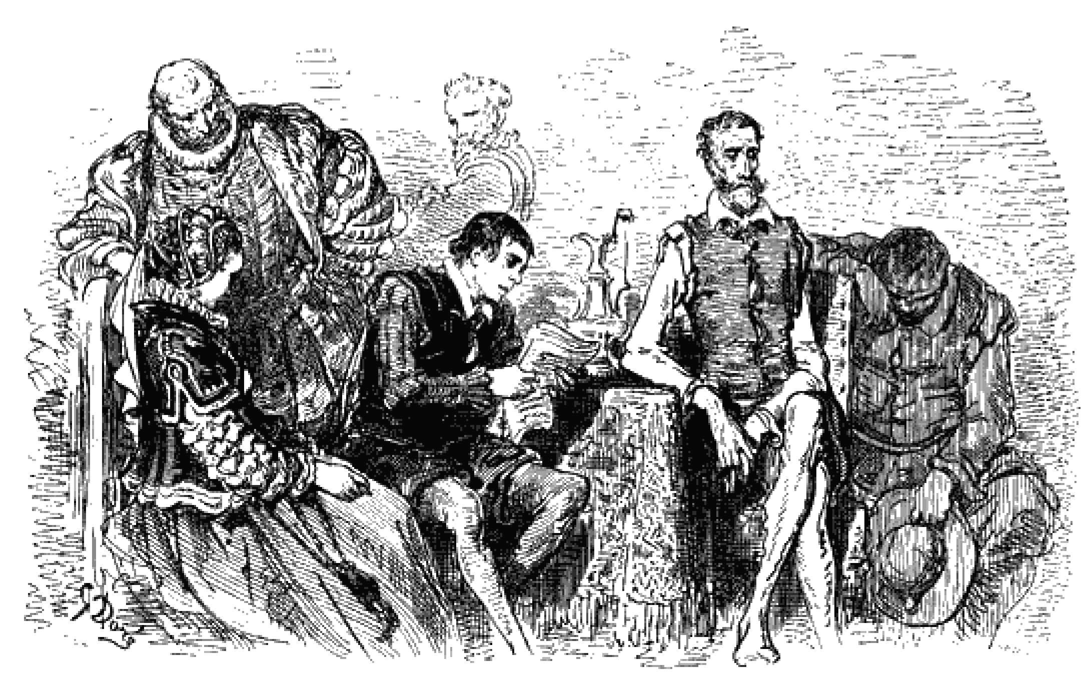
бискайский – на своем. Впрочем, сеньор, мне сдается, что ваш сын не столько против самой поэзии испанской, сколько против тех поэтов, которые, за исключением испанского, никаких других языков и наук не знают, а другие, мол, языки и науки украшали бы и вдохновляли природный их дар и способствовали его развитию. Но и это мнение вашего сына, по-видимому, ошибочно, ибо справедливо было замечено, что поэтами рождаются, – это значит, что поэт по призванию выходит поэтом из чрева матери, и с одною только этою склонностью, коей его наделило небо, без всякого образования и без всякого навыка, он создает такие произведения, которые подтверждают правильность слов: *est Deus in nobis*[70] и так далее. Затем я должен сказать, что прирожденный поэт, вдобавок овладевший мастерством, окажется лучше и превзойдет стихотворца, который единственно с помощью мастерства намеревается стать поэтом, и это оттого, что искусство не властно превзойти природу – оно может лишь усовершенствовать ее, меж тем как от сочетания природы с искусством и искусства с природою рождается поэт совершеннейший. Вывод же из всего мною сказанного, сеньор идальго, тот, что вашей милости не следует препятствовать своему сыну идти, куда его ведет его звезда, ибо если он, должно полагать, школяр добрый и уже благополучно взошел на первую ступень наук, а именно ступень языков, то теперь, обладая таковыми знаниями, он самостоятельно взойдет и на вершину светских наук, которые так же к лицу истинному дворянину, дворянину, что называется, в плаще и при шпаге, так же возвышают его и служат ему к чести и украшению, как митры украшают епископов, а мантии – опытных судейских. Пожурите, ваша милость, своего сына, если он станет писать сатиры, которые задевают чью-либо честь, накажите его, разорвите его писания, но если это будут нравоучения в духе Горация, в коих он с Горациевым изяществом станет клеймить пороки вообще, то похвалите его, ибо поэтам положено писать против зависти и обличать в своих стихах завистников, а равно и против других пороков, не касаясь, однако же, личностей, хотя, впрочем, есть такие поэты, которые ради удовольствия сказать что-нибудь злое готовы отправиться в ссылку на острова Понта.[71] Если поэт целомудрен в жизни, то он пребудет таковым и в своих стихах. Перо есть язык души: какие замыслы лелеет поэт в душе, таковы и его писания, и если короли и вельможи видят, что чудесная наука поэзии в руках людей благоразумных, добродетельных и степенных, то к таким поэтам они проникаются уважением, чтут и награждают их и даже венчают листьями дерева, в которое никогда не ударяет молния, – в знак того, что никто не имеет права обидеть стихотворцев, коих чело подобным венком почтено и украшено.

Речи Дон Кихота удивили всадника в зеленом плаще настолько, что теперь он был уже иного мнения об умственных его способностях. Санчо во время этого разговора, который был не очень ему любопытен, свернул с дороги попросить молока у пастухов, доивших неподалеку овец, а между тем идальго, в восторге от Дон-Кихотовой рассудительности и здравомыслия, только хотел было возобновить разговор, как вдруг Дон Кихот поднял голову и увидел, что навстречу им по дороге едет повозка, расцвеченная королевскими флагами, и, решив, что это, уж верно, какое-нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Вышеупомянутый Санчо, услышав, что его зовут, бросил пастухов, подстегнул серого и примчался к своему господину, с господином же его случилось ужасное и ни с чем не сообразное приключение.



Глава XVII,

из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить



В истории сказано, что, в то время как Дон Кихот кричал Санчо, чтобы он подал ему шлем, Санчо покупал у пастухов творог; настойчивый зов господина сбил его с толку, и он не знал, что с этим творогом делать и в чем его везти; расстаться с ним было жалко, ибо деньги за него были уже уплачены, и по сему обстоятельству порешил он сунуть его в шлем своего господина;

с этими-то славными дарами направился он к Дон Кихоту, дабы узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил:

– Друг мой! Подай мне шлем, – или я мало смыслю в приключениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое приключение, которое долженствует принудить меня и уже принуждает взяться за оружие.

При этих словах всадник в зеленом плаще стал смотреть по сторонам, но так ничего и не увидел, кроме ехавшей навстречу повозки с несколькими флажками; упомянутые флажки навели его на мысль, что это, наверное, везут казну его величества, и он так и сказал Дон Кихоту; Дон Кихот, однако ж, ему не поверил, ибо он твердо верил и держался того мнения, что все, что бы с ним ни случилось, представляет собою приключения и только приключения, а потому так ответил этому идальго:

– Кто к бою готов, тот уж почти одолел врагов. Я ничего не потеряю, коли изготовлюсь: я знаю по опыту, что у меня есть враги видимые и невидимые, но мне не дано знать, когда, где, в какое время и в каком обличье они на меня нападут.

И, обратившись к Санчо, он потребовал шлем, но тот не успел вынуть творог и оттого принужден был подать шлем как есть. Дон Кихот взял шлем и, не посмотрев, есть ли что внутри, с великим проворством надел его на голову; а как творог слежался и отжался, то по всему лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка, каковое обстоятельство привело Дон Кихота в ужас, и он сказал Санчо:

– Что бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг, не то я весь взмокнул от пота. Но если я и впрямь вспотел, то уж, конечно, не от страха, хотя я и не сомневаюсь, что приключение, ожидающее меня, ужасно. Дай мне чем-нибудь отереться, – пот настолько обилен, что я ничего не вижу.

Санчо подал ему платок, мысленно воздавая богу хвалу за то, что его господин не понял, в чем дело. Дон Кихот вытерся и снял шлем, чтобы посмотреть, отчего это стало холодно голове, а как скоро увидел внутри шлема белую кашицу, то поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

– Клянусь жизнью сеньоры Дульсинеи Тобосской, ты, предатель, мошенник и неучтивый оруженосец, положил мне сюда творог.

На это Санчо, напустив на себя совершенное равнодушие, ответил так:

– Коли это творог, так дайте его мне, ваша милость, я его съем... Да нет, пускай его черт съест, – ведь это он, знать, сунул его в шлем. Да разве я осмелюсь запачкать шлем вашей милости? Нашли какого смельчака! По чести вам скажу, сеньор: я своим худым умишком, какой мне от бога дан, смекаю так, что у меня тоже, видно, есть эти самые волшебники, и они меня преследуют, потому как я есть ваше произведение и плоть от вашей плоти, и сунули они туда эту пакость, чтобы вывести вас из терпения и заставить пересчитать мне, как это за вами водится, ребра. Однако ж на сей раз они, честное слово, промахнулись: я полагаюсь на здравый смысл моего господина, – мой господин возьмет в толк, что нет у меня ни творогу, ни молока, ничего похожего, а если б у меня что-нибудь такое и было, то я скорее нашел бы ему место в своем собственном желудке, чем в вашем шлеме.

– И то правда, – заметил Дон Кихот.

Идальго все это наблюдал и всему этому дивился, особливо когда Дон Кихот, вытерев голову, лицо и бороду, вытерев шлем и надев его, вытянулся на стременах и, осмотрев меч и взяв в руки копье, молвил:

– А теперь будь что будет, – у меня достанет мужества схватиться с самим сатаною.

Тем временем повозка с флажками подъехала ближе, и тут оказалось, что, кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровождал. Дон Кихот выехал вперед и молвил:

– Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за стяги?

Погонщик же ему на это ответил так:

– Повозка моя, а везу я клетку с двумя свирепыми львами, которых губернатор Оранский отсылает ко двору в подарок его величеству, флаги же – государя нашего короля в знак того, что везем мы его достояние.

– А как велики эти львы? – осведомился Дон Кихот.

– Столь велики, – отвечал человек, сидевший на передке, – что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки в Испанию не привозили. Я – львиный сторож, много львов перевез на своем веку, но таких, как эти, еще не приходилось. Это лев и львица – лев в передней клетке, а львица в задней, и сейчас они голодные, потому с утра еще ничего не ели, так что, ваша милость, уж вы нас пропустите, нам надобно поскорее добраться до какого-нибудь селения и покормить их.

Дон Кихот же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал:

– Львят – против меня? Теперь против меня – львят? Ну так эти сеньоры, пославшие их сюда, вот как перед богом говорю, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы устрашиться львов! Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой клетки и выпусти зверей, – назло и наперекор тем волшебникам, которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

«Те-те-те! – подумал тут идальго. – Наконец-то добрый наш рыцарь себя показал: верно, от творога у него размягчился череп, а мозг прокис».

В это время к нему приблизился Санчо и сказал:

– Сеньор! Ради создателя, устройте так, чтобы мой господин Дон Кихот не связывался со львами, а то, если только он свяжется, они всех нас разорвут в клочки.

– Неужели твой господин настолько безумен, что ты можешь думать и опасаться, как бы он не связался с такими хищными зверями? – спросил идальго.

– Он не безумен, – отвечал Санчо, – он дерзновенен.

– Я устрою так, что его дерзновение останется при нем, – пообещал идальго.

С последним словом он приблизился к Дон Кихоту, который в это время приставал к сторожу, чтобы тот открыл клетки, и сказал:

– Сеньор кавальеро! Странствующим рыцарям подобает искать только таких приключений, которые подают надежду на благополучный исход, а не таких, которые решительно никакой надежды не подают, ибо смелость, граничащая с безрассудством, заключает в себе более безумия, нежели стойкости. А кроме всего прочего, львы и не помышляют о том, чтобы на вашу милость совершить нападение: их посылают в подарок его величеству, и не должно задерживать их и преграждать им дорогу.

– Это вы, сеньор идальго, подите расскажите своей ручной куропатке и свирепому хорьку, а в чужие дела не вмешивайтесь, – заметил Дон Кихот. – Это мое дело, я сам знаю, натравили на меня этих сеньоров львов или нет.

И, обратясь к сторожу, крикнул:

– Эй ты, такой-сякой, мерзавец из мерзавцев! Если ты сей же час не откроешь клеток, я вот этим самым копьем пришпилю тебя к повозке!

Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено решимости, молвил:

– Государь мой! Будьте настолько любезны, сжальтесь вы надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу мулов и отведу их в безопасное место, а то если львы их растерзают, то мне тогда всю жизнь придется терзаться: ведь мулы и повозка – это все мое достояние.

– О маловер! – вскричал Дон Кихот. – Слезай, распрягай мулов, словом, поступай как знаешь, – сейчас ты увидишь, что напрасно хлопочешь и что все старания твои ни к чему.

Возница спешился и, нимало не медля, распряг мулов, а сторож между тем заговорил громким голосом:

– Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю львов, и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалованье и то, что я имею сверх жалованья. Вы, сеньоры, спасайтесь бегством, прежде нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не тронут.

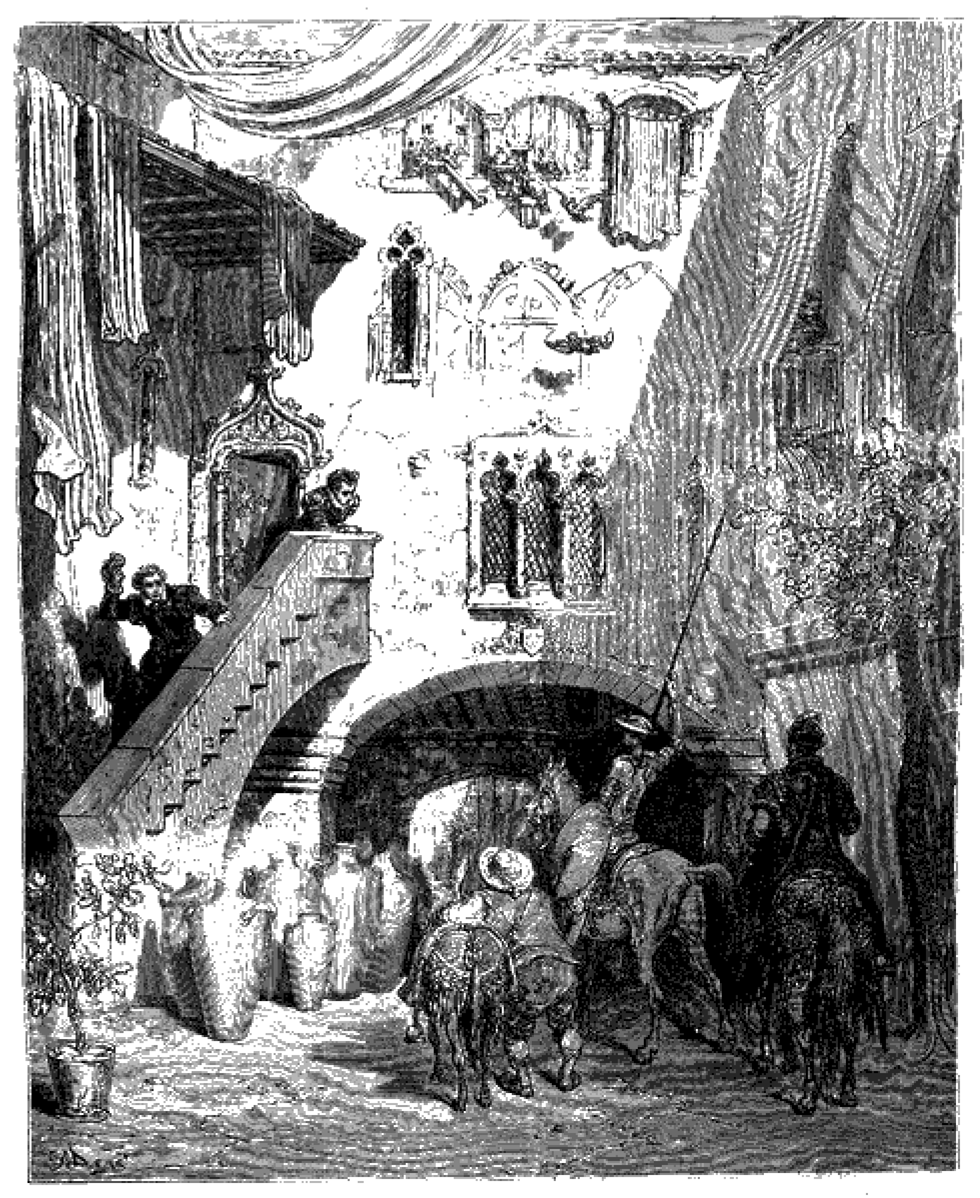
Идальго опять стал отговаривать Дон Кихота от подобного сумасбродства: затевать такое дурачество – это значит, мол, испытывать господне долготерпение. Дон Кихот же ему на это ответил, что он сам знает, как ему поступить. Идальго посоветовал Дон Кихоту хорошенько подумать, ибо, по его, дескать, крайнему разумению, Дон Кихот ошибается.

– Вот что, сеньор, – объявил Дон Кихот, – если ваша милость не желает быть зрителем этой, на ваш взгляд, трагедии, то дайте шпоры вашей кобыле и спасайтесь.

Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы он отказался от этого предприятия, в сравнении с коим приключение с ветряными мельницами и ужасающее приключение с сукновальнями, а равно и все подвиги, которые он на своем веку совершил, это, дескать, только цветочки.

– Поймите, сеньор, – говорил Санчо, – тут нет колдовства, ничего похожего тут нет, сквозь решетку я разглядел коготь всамделишного льва и заключил, что ежели у этого льва такой коготь, то сам лев, уж верно, больше горы.

– Со страху он тебе и с полмира мог показаться, – возразил Дон Кихот. – Удались, Санчо, и оставь меня. Если же я погибну, то ведь тебе известен прежний наш уговор: поспеши к Дульсинее, все прочее сделается само собой.



К этому Дон Кихот прибавил много такого, что отняло у окружающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи. Всадник в зеленом плаще охотно бы ему противостал, но он видел, что Дон Кихот вооружен лучше, и оттого почел безрассудным связываться с сумасшедшим, а что перед ним сумасшедший – в этом он был теперь совершенно уверен; коротко говоря, в то время как Дон Кихот снова приступил к сторожу с угрозами, идальго пришпорил свою кобылу, Санчо – своего серого, возница – своих мулов, и все они старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего господина, ибо на сей раз нимало не сомневался, что быть ему в когтях львиных; он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему вспало на ум снова поступить на службу к Дон Кихоту; впрочем, жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился, что беглецы далеко, он опять начал молить и заклинать Дон Кихота так же точно, как молил и заклинал прежде, но Дон Кихот ему сказал, что он это уже слышал и что пусть, дескать, сторож более себя не утруждает просьбами и заклинаниями, ибо все это напрасно, а пусть лучше, мол, поторопится. Пока сторож возился с первой клеткой. Дон Кихот обдумывал, как благоразумнее вести

сражение – пешим или же на коне, и, поразмыслив, решил, что пешим, ибо львы могли испугать Росинанта. Того ради он соскочил с коня, бросил копье, схватил щит, обнажил меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важною поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала богу, а потом госпоже своей Дульсинее. Надобно заметить, что, дойдя до этого места, автор правдивой этой истории восклицает: «О могучий и выше всяких похвал отважный Дон Кихот Ламанчский, зерцало, в которое могут глядеться все удальцы на свете, новый, второй дон Мануэль Львиный,[72] краса и гордость рыцарей испанских! Где мне взять слова для описания столь страшного подвига, какие я должен подобрать выражения, дабы поздние потомки мне поверили? Есть ли такие похвалы, которые бы тебе не подобали и не подходили, будь они гиперболичное любых гипербол? Пеший, одинокий, бесстрашный, великодушный, с одним лишь мечом, да и то не слишком острым, без «собачки»,[73] и со щитом, да и то не из весьма блестящей и сверкающей стали, ты ожидаешь и высматриваешь двух самых хищных львов, каких когда-либо выращивали дебри африканские. Нет, пусть собственные деяния прославляют тебя, доблестный ламанчец, я же предоставляю им говорить самим за себя, ибо не имею довольно слов, дабы превознести их».

На этом кончается вышеприведенное восклицание автора, и, связав прерванную было нить повествования, он продолжает: едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове и что, из боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальеро, ему не миновать выпустить льва, он настежь распахнул дверцу первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказалось, непомерной, – чудовищный и страховидный лев. Прежде всего лев повернулся к своей клетке, выставил лапы и потянулся всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду; после этого он высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все стороны; при этом вид его и движения могли бы, кажется, навести страх на самоё смелость. Дон Кихот, однако, смотрел на него в упор, – он с нетерпением ждал, когда же наконец лев спрыгнет с повозки и вступит с ним в рукопашную, а он изрубит льва на куски.

Вот до какой крайности дошло его доселе невиданное безумие. Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый, оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам и не обращая внимания на Дон-Кихотово ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова вытянулся в клетке; тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его, чтобы разозлить и выгнать из клетки.

– Этого я делать не стану, – возразил сторож, – ведь коли я его раздразню, так он первым делом разорвет в клочки меня. Пусть ваша милость, сеньор кавальеро, удовольствуется уже сделанным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно, испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца отворена: он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей поры не вышел, стало быть, и до вечера не выйдет. Твердость духа вашей милости уже доказана, – от самого храброго бойца, сколько я понимаю, требуется лишь вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный венок достается ожидавшему.

– И то правда, – молвил Дон Кихот, – закрой, приятель, дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй все, что здесь на твоих глазах произошло, а именно: как ты открыл льву, как я его ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не вышел и снова улегся. Мой долг исполнен, прочь колдовские чары, и да поможет господь разуму, истине и истинному рыцарству, ты же закрой, повторяю, клетку, а я тем временем знаками подзову бежавших и отсутствовавших, дабы они услышали из твоих уст о моем подвиге.

Сторож так и сделал, а Дон Кихот, нацепив на острие копья платок, коим он вытирал лицо после творожного дождя, стал звать беглецов, которые все еще, предводительствуемые идальго, мчались и поминутно оборачивались; как же скоро Санчо увидел, что Дон Кихот машет белым платком, то сказал:

– Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, – ведь он нас кличет.

Все остановились и уверились, что делает знаки не кто иной, как сам Дон Кихот; это их несколько ободрило, они осторожно двинулись обратно, и вскоре до них уже явственно донеслись крики Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице:

– Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь, а ты, Санчо, выдай ему два золотых, один – для него, другой – для сторожа, за то, что я у них отнял время.

– Выдать-то я им с великим удовольствием выдам, – сказал Санчо, – но, однако же, что сталось со львами? Живы они или мертвы?

Тут сторож обстоятельно и с расстановкою принялся рассказывать об исходе схватки, преувеличивая, как мог и умел, доблесть Дон Кихота, при одном виде которого лев якобы струхнул и не пожелал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оставалась открытою; и только после того как он, сторож, сказал этому кавальеро, что дразнить льва и силком гнать из клетки значит испытывать долготерпение божие, а кавальеро, дескать, именно добивался, чтобы льва раздразнили, он неохотно и скрепя сердце позволил запереть клетку.

– Что ты на это скажешь, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны.

Санчо выдал деньги, возница запряг мулов, а сторож поцеловал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и обещал рассказать о славном этом подвиге самому королю, когда приедет в столицу.

– Буде же его величество спросит, кто этот подвиг совершил, скажите – что *Рыцарь Львов,* ибо я хочу, чтобы прежнее мое прозвание, *Рыцарь Печального Образа,* изменили, переменили, заменили и сменили на это, и тут я следую старинному обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или же когда это напрашивалось само собой.

Повозка двинулась своею дорогою, а Дон Кихот, Санчо и всадник в зеленом плаще – своею.

За все это время дон Дьего де Миранда не проронил ни звука, он лишь со вниманием слушал и замечал, как поступает и что говорит Дон Кихот, и казалось ему, что это – здравомыслие сумасшедшего или же сумасшествие, переходящее в здравомыслие. До него еще не дошла первая часть истории Дон Кихота; прочитав ее, он перестал бы удивляться Дон-Кихотовым словам и поступкам, – тогда ему было бы известно, какой именно вид умственного расстройства овладел Дон Кихотом, но он этого не знал и по сему обстоятельству принимал его то за здорового, то за сумасшедшего, ибо говорил Дон Кихот связно, красиво и вразумительно, меж тем как действовал нелепо, безрассудно и неумно. И идальго сам с собой рассуждал: «Это ли не верх безумия – надеть на голову шлем с творогом и вообразить, что волшебники размягчили тебе мозг? И что может быть безрассуднее и нелепее, чем возыметь охоту во что бы то ни стало сразиться со львами?» Дон Кихот же, прервав его размышления и беседу с самим собою, сказал:

– Уж верно, ваша милость, сеньор дон Дьего де Миранда, почитает меня за человека вздорного и помешанного? Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного, ибо поступки мои дают к тому довольно оснований. Но со всем тем я бы хотел, чтобы ваша милость признала, что я не такой помешанный и полоумный, каким, должно думать, кажусь. Любо глядеть, как на широкой арене в присутствии самого короля смелый рыцарь наносит разъяренному быку смертельный удар; любо глядеть, как рыцарь, в блестящие доспехи облаченный, перед взорами дам следует к месту веселого состязания; любо глядеть на всех рыцарей, которые военными и прочими тому подобными упражнениями развлекают и потешают двор своего государя и служат, так сказать, к его чести, но выше всех рыцарь странствующий, который в пустынях, в дебрях, на распутьях, в лесах и на горах – всюду ищет опасных приключений в

надежде на их счастливый и благополучный исход, единственно ради того, чтобы стяжать славу громкую и непреходящую. Повторяю: странствующий рыцарь, в каком-нибудь безлюдном месте подающий руку помощи вдовице, выше придворного рыцаря, ухаживающего за девою городскою. У каждого рыцаря свои обязанности: пусть рыцарь придворный служит дамам, своим нарядом придает двору своего короля еще больше блеску, рыцарей бедных потчует роскошными яствами, затевает состязания, поощряет турниры, обнаруживает великодушие и щедрость, показывается во всем своем великолепии, а самое главное пусть он будет добрым христианином, и тогда он исполнит непременный свой долг; рыцарь же странствующий пусть проникает в самые глухие уголки мира, блуждает в непроходимых дебрях, показывает чудеса храбрости, в пустынных местах, в разгар лета, терпит жгучие лучи солнца, зимою – бешеный ветер и жестокий мороз; да не пугают его львы, да не устрашают чудища, да не ужасают андриаки, ибо главная и прямая его обязанность в том именно и состоит, что за первыми он должен охотиться, на вторых нападать и одолевать всех без изъятья. А как и мне тоже выпало на долю вступить в ряды рыцарства странствующего, то и не могу я не совершать всего того, что, по разумению моему, входит в круг моих обязанностей, и вот почему нападение на львов, на которых я ныне напал, я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее безрассудство, ибо мне хорошо известно, что такое храбрость, а именно: это такая добродетель, которая находится между двумя порочными крайностями, каковы суть трусость и безрассудство. Однако ж наименьшим злом будет, если храбрец поднимется и досягнет до безрассудства, чем если он унизится и досягнет до трусости, и насколько легче расточителю стать щедрым, нежели скупцу, настолько же легче безрассудному превратиться в истинного храбреца, нежели трусу возвыситься до истинной храбрости. И вы мне поверьте, сеньор дон Дьего: коли дело идет о приключениях, то уж тут лучше пересолить, чем недосолить, ибо гораздо лучше звучит: «Такой-то рыцарь безрассуден и дерзновенен», нежели: «Такой-то рыцарь малодушен и труслив».

– Должен признаться, сеньор Дон Кихот, – заговорил дон Дьего, – что все слова и поступки вашей милости взвешены на весах самого разума, и мне думается, что если бы установления и законы странствующего рыцарства были утрачены, то их можно было бы сыскать в сердце вашей милости, будто в нарочно для этого созданном хранилище и архиве. Ну, а теперь прибавим шагу, ведь уж поздно, и поедемте прямо ко мне в имение, и в моем доме вы, ваша милость, отдохнете после затраты если не телесных, то душевных сил, затрата же таковых сил подчас влечет за собою усталость телесную.

– Предложение ваше, сеньор дон Дьего, я почитаю за великую для себя милость и честь, – отвечал Дон Кихот.

Тут они пришпорили коней своих и к двум часам пополудни прибыли в имение дона Дьего, которого Дон Кихот, заметим кстати, прозвал *Рыцарем Зеленого Плаща.*



Глава XVIII

О том, что случилось с Дон Кихотом в замке, то есть в доме Рыцаря Зеленого Плаща, равно как и о других необыкновенных событиях



Дом дона Дьего де Миранда, куда заехал Дон Кихот, был по-деревенски невелик; однако хотя и из грубого камня, а все же над воротами был высечен герб, во дворе виднелся амбар, у самого входа винный погреб, а вокруг него множество бочек, которые, будучи родом из Тобосо, напомнили Дон Кихоту заколдованную и подмененную Дульсинею, и, не думая, что и где говорит, он произнес со вздохом:

О сладкий клад,[74] что я обрел на горе!

Как ты отраден мне когда-то был!

– О тобосские бочки! Вы воскресили в моей памяти сладкий клад великой моей горечи!

Слова эти услышал студент-поэт, сын дона Дьего, – он вместе с матерью вышел приветствовать Дон Кихота, – и необыкновенный вид гостя поразил их обоих; Дон Кихот же, сойдя с Росинанта, с отменною учтивостью направился поцеловать хозяйке руку, а дон Дьего сказал:

– Окажите, сеньора, присущее вам гостеприимство находящемуся перед вами Дон Кихоту Ламанчскому; это странствующий рыцарь, самый отважный и самый просвещенный, какой только есть на свете.

Сеньора, которую звали доньей Кристиной, встретила Дон Кихота крайне радушно и крайне любезно, Дон Кихот же ответил ей весьма остороумно и в самых изысканных выражениях. Почти такими же учтивостями обменялся он и со студентом, который, послушав Дон Кихота, нашел в нем человека рассудительного и остроумного.

Здесь автор подробно описывает дом дона Дьего, описывает все, чем обыкновенно бывает полон дом богатого дворянина-землевладельца, однако ж переводчик этой истории почел за нужное опустить эти и прочие мелочи, ибо к главному предмету они никакого отношения не имеют, между тем вся сила истории в ее правдивости, а не в сухих перечислениях.

Дон Кихота провели в особый покой, Санчо снял с него доспехи, и остался Дон Кихот в шароварах и камзоле из верблюжьей шерсти, усеянном грязными пятнами от доспехов; брыжи у него были, как у студента: ненакрахмаленные и без кружевной отделки; поверх желтых полусапожек он надел провощенные башмаки. Препоясался он добрым своим мечом, висевшим на перевязи из тюленьей кожи (по слухам, Дон Кихот много лет страдал почками),[75] и накинул на себя доброго серого сукна накидку; прежде всего, однако, он вылил себе на голову и на лицо не то пять, не то шесть котлов воды (по части количества котлов показания расходятся), но даже и последняя вода приобрела цвет сыворотки, а все из-за того, что лакомка Санчо купил этот чертов творог, который придал голове его господина ангельскую белоснежность. И вот в вышеописанном уборе, с видом независимым и молодцеватым вошел Дон Кихот в другую комнату, где его поджидал студент, дабы занять разговором, пока накроют на стол; надобно знать, что сеньора донья Кристина намеревалась показать такому благородному гостю, что потчевать она умеет не хуже других.

Меж тем как с Дон Кихота снимали доспехи, дон Лоренсо (так звали сына дона Дьего) улучил минутку и спросил отца:

– Так кто же, скажите, пожалуйста, этот кавальеро, которого ваша милость к нам пригласила? Нас с матушкой все в нем поражает: и его имя, и обличье, и то, что он себя называет странствующим рыцарем.

– Не знаю, что тебе на это ответить, сын мой, – молвил дон Дьего, – одно могу сказать: действия, которые он совершал на моих глазах, под стать величайшему безумцу на свете, речи же его столь разумны, что они уничтожают и зачеркивают его деяния. Поговори с ним, проверь его познания, а как ты человек разумный, то и реши сам по справедливости, в уме он или свихнулся, я же, откровенно говоря, почитаю его скорее за сумасшедшего, нежели за здравомыслящего.

Тут дон Лоренсо отправился, как уже было сказано, занимать Дон Кихота, и во время их беседы Дон Кихот, между прочим, сказал дону Лоренсо:

– Я слышал от вашего батюшки, сеньора дона Дьего де Миранда, о редкостных ваших способностях и разнообразных ваших дарованиях, главное же о том, что вы изрядный поэт.

– Поэт – весьма возможно, – отвечал дон Лоренсо, – но чтобы изрядный – ничего подобного. Правда, я имею некоторое пристрастие к поэзии и люблю читать хороших поэтов,

однако ж всего этого еще недостаточно, чтобы признать меня за изрядного поэта, как отозвался обо мне мой отец.

– Мне нравится ваша скромность, – заметил Дон Кихот, – обыкновенно поэты спесивы и думают, что лучше их нет никого на свете.

– Нет правила без исключения, – заметил дон Лоренсо, – есть подлинно хорошие поэты, которые, однако ж, этого не думают.

– Таких мало, – возразил Дон Кихот. – А скажите, ваша милость, что за стихи сочиняете вы ныне? Ваш батюшка говорил мне, что вы этим обеспокоены и озабочены. Если – глоссу, то по этой части я кое-что смыслю и охотно бы вас послушал, и если вы готовитесь к литературному состязанию, то постарайтесь, ваша милость, получить вторую премию, ибо первая премия неизменно присуждается особам влиятельным или высокопоставленным, вторая же присуждается исключительно по справедливости, – таким образом, третья премия становится второю, а вторая, по тем же соображениям, первою, точь-в-точь как ученые степени в университете. Однако ж со всем тем получить право называться *первым* – это великое дело.

«Пока что он мне не кажется сумасшедшим, посмотрим, что будет дальше», – подумал дон Лоренсо.

А вслух сказал:

– Я полагаю, вы, ваша милость, посещали высшее учебное заведение. Какую же науку вы изучали?

– Науку странствующего рыцарства, – отвечал Дон Кихот. – Она так же хороша, как и наука поэзии, даже немножко лучше.

– Не знаю, что это за наука, – сказал дон Лоренсо, – до сей поры мне не приходилось о ней слышать.

– Это такая наука, – сказал Дон Кихот, – которая включает в себя все или почти все науки на свете; тому, кто ею занимается, надобно быть законоведом и знать основы права дистрибутивного и права коммутативного,[76] дабы каждый получал то, что следует ему и полагается; ему надобно быть богословом, дабы в случае, если его попросят, он сумел понятно и толково объяснить, в чем сущность христианской веры, которую он исповедует; ему надобно быть врачом, в особенности же понимать толк в растениях, дабы в пустынных и безлюдных местах распознавать такие травы, которые обладают способностью залечивать раны, ибо не может же странствующий рыцарь поминутно разыскивать лекаря; ему надобно быть астрологом, дабы уметь определять по звездам, какой теперь час ночи и в какой части света и стране он находится; ему надобно быть математиком, ибо необходимость в математике может возникнуть в любую минуту. Не говоря уже о том, что ему надлежит быть украшенным всеми добродетелями богословскими и кардинальными,[77] и, переходя к мелочам, я должен сказать, что ему надобно уметь плавать, как плавал, говорят, Николас, или, иначе, Николао-рыба,[78] надобно уметь подковать коня, починить седло и уздечку. А теперь возвратимся к предметам высоким. Ему надлежит твердо верить в бога и быть верным своей даме, ему надобно быть чистым в помыслах, благопристойным в речах, великодушным в поступках, смелым в подвигах, выносливым в трудах, сострадательным к обездоленным и, наконец, быть поборником истины, хотя бы это стоило ему жизни. Вот из таких-то больших и малых черт и складывается добрый и странствующий рыцарь; теперь вы сами видите, сеньор дон Лоренсо, такая ли уж пустая вещь та наука, которую изучает и которою занимается рыцарь, и можно ли поставить ее рядом с самыми сложными, какие только в средних и высших учебных заведениях преподаются.

– Если это так, – сказал дон Лоренсо, – то я утверждаю, что эта наука выше всех прочих.

– Что значит: «Если это так»? – спросил Дон Кихот.

– Я хочу сказать, – отвечал дон Лоренсо, – что я все же сомневаюсь, чтобы теперь или когда-либо существовали странствующие рыцари, украшенные столькими добродетелями.

– Сейчас я вам скажу то, что мне уже не раз приходилось говорить, – объявил Дон Кихот, – а именно: большинство людей держится того мнения, что не было на свете странствующих рыцарей, я же склонен думать так: пока небо каким-либо чудом не откроет, что таковые воистину существовали и существуют, всякие попытки их разуверить будут бесплодны, в чем я неоднократно убеждался на деле, а потому я не намерен сейчас тратить время на то, чтобы рассеять заблуждение, в которое ваша милость впала вместе с многими другими людьми. Единственно, что я намерен сделать, это умолить небо, чтобы оно вывело вас из этого заблуждения и внушило вам, сколь благодетельны и сколь необходимы были миру странствующие рыцари времен протекших и сколь полезны были бы они ныне, если бы они еще действовали, однако ж ныне в наказание за грехи людей торжествуют леность, праздность, изнеженность и чревоугодие.

«Вот когда наш гость себя выдал, – подумал тут дон Лоренсо, – однако ж со всем тем это безумие благородное, и с моей стороны глупее глупого было бы рассуждать иначе».

На этом кончился их разговор, оттого что их позвали обедать. Дон Дьего спросил сына, удалось ли ему что-нибудь выяснить касательно умственных способностей гостя. Сын же ему на это ответил так:

– Нашего гостя не извлечь из путаницы его безумия всем лекарям и грамотеям, сколько их ни есть на свете: это безумие, перемежающееся с временными просветлениями.

Все сели обедать, и обед вышел именно такой, каким дон Дьего имел обыкновение потчевать своих гостей, о чем он рассказывал дорогою, а именно: сытный, вкусный и хорошо поданный; но особенно понравилось Дон Кихоту, что во всем доме, точно в картезианской обители, царила необычайная тишина.[79] Когда же все встали из-за стола, вымыли руки и помолились богу, Дон Кихот обратился к дону Лоренсо с настойчивой просьбой прочитать стихи для литературного состязания, на что тот ответил:

– Чтобы не походить на тех поэтов, которые, когда их умоляют прочитать стихи, отнекиваются, а когда никто не просит, готовы вас зачитать ими, я прочту вам мою глоссу, – премию за нее я получить не надеюсь, я написал ее только ради упражнения.

– Один мой приятель, человек просвещенный, полагает, – сказал Дон Кихот, – что сочинять глоссы не стоит труда, по той причине, говорит он, что глосса обыкновенно не выдерживает сравнения с текстом, а в подавляющем большинстве случаев не отвечает смыслу и цели той строфы, которая предлагается для толкования. К тому же правила составления глосс слишком строги: они не допускают ни вопросов, ни *он сказал,* ни *я скажу,* ни образования отглагольных существительных, ни изменения смысла, – все это, равно как и другие путы и ограничения, сковывают сочинителей глосс, что ваша милость, верно, знает сама.

– По правде говоря, сеньор Дон Кихот, – сказал дон Лоренсо, – я все хочу поймать вас на какой-нибудь ошибке и не могу: ваша милость выскальзывает у меня из рук, как угорь.

– Я не понимаю, что означает выражение: «выскальзывает из рук» и что ваша милость хочет этим сказать, – объявил Дон Кихот.

– После я вам объясню, – молвил дон Лоренсо, – а теперь послушайте, ваша милость, заданные стихи и самую глоссу. Вот каковы они:

Если б жить я прошлым мог

И грядущего не ждать

Иль заране угадать

То, что сбудется в свой срок.

*Глосса*Время мчится без оглядки,И Фортуна отнялаТо, что мне на миг столь краткийОт щедрот своих далаНе в избытке, но в достатке,И тебя молю я, рок,У твоих простершись ног:Мне верни былые годы,Минули б мои невзгоды,Если б жить я прошлым мог. Славы мне уже не надо,Не желаю я побед.А хочу одной награды —Возвращенья прежних летМира, счастья и отрады.Перестал бы я сгоратьОт тоски, когда б опятьБыло мне дано судьбоюВ прошлое уйти мечтоюИ грядущего не ждать. Но бесплодно и напрасноСнисхождения проситьТщусь я у судьбы бесстрастной:То, что было, воскреситьИ она сама не властна.Не воротишь время вспять,Как нельзя и обогнатьХод событий непреложный:Отвратить их невозможноИль заране угадать. То надежде, то унынью Предаваться каждый часИ не знать конца кручине —Горше смерти во сто раз.Я безвременной кончинеУж давно б себя обрекИ давно б в могилу лег,Если б смел с судьбой поспоритьИ насильственно ускорить*То, что сбудется в свой срок.*

Когда дон Лоренсо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот вскочил и, схватив его за правую руку, поднимающимся почти до крика голосом произнес:

– Хвала всемогущему богу! Благородный юноша! Вы – лучший поэт во всей вселенной, вы достойны быть увенчанным лаврами, и не на Кипре или же в Гаэте, как сказал один поэт,[80] да простит ему господь, а в академии афинской, если бы таковая еще существовала, и в ныне существующих академиях парижской, болонской и саламанкской! Если судьи лишат вас первой премии, то да будет угодно небу, чтобы Феб пронзил их своими стрелами, а Музы никогда не переступали их порога! Будьте любезны, сеньор, прочтите мне какие-нибудь пятистопные стихи, – я хочу, чтобы предо мной развернулся весь ваш чудесный дар.

Не достойно ли удивления то обстоятельство, что дон Лоренсо, как говорят, был рад похвалам Дон Кихота, хотя и почитал его за сумасшедшего? О сила похвал! Как далеко ты простираешься и сколь растяжимы границы упоительного твоего властительства! Справедливость этого была доказана на деле доном Лоренсо, ибо он уступил просьбе и желанию Дон Кихота и прочитал сонет, предметом своим имеющий предание или повесть о Пираме и Тисбе:

Ломает стену та, из-за кого
Пришлось потом Пираму заколоться,
И вот взглянуть, как щель, зияя, вьется,
Амур примчался с Кипра своего.

Пролом молчит: он узок до того,Что по нему и звук не проберется,Но для Амура путь везде найдется:Ничто не в силах задержать его. Пускай чета, о коей здесь мы тужим,Непослушаньем прогневив судьбу,Жестокому подверглась наказанью, — Она умерщвлена одним оружьем,Она погребена в одном гробу,Она воскрешена в одном преданье.

– Слава богу! – воскликнул Дон Кихот, выслушав сонет дона Лоренсо. – Среди множества нынешних истощенных поэтов я наконец-то вижу поэта изощренного, и этот поэт – вы, государь мой. В этом меня убеждает мастерство, с каким написан ваш сонет.

Несколько дней Дон Кихот наслаждался жизнью в доме дона Дьего, а затем попросил позволения отбыть; он поблагодарил хозяев за их радушие и за тот сердечный прием, который был ему в этом доме оказан, но объявил, что странствующим рыцарям не подобает проводить много времени в неге и праздности, а потому он-де намерен возвратиться к исполнению своего долга и отправиться на поиски приключений, коими эти края, как слышно, изобилуют, и в краях этих он намерен-де пробыть до турнира в Сарагосе, куда он, собственно, и держит путь; однако ж прежде ему надобно проникнуть в пещеру Монтесиноса, о которой столько чудес рассказывают местные жители, а также изучить и исследовать место зарождения и подлинные истоки семи лагун, так называемых лагун Руидеры. Дон Дьего и его сын одобрили благородное решение Дон Кихота и сказали, чтобы он взял из их дома и из их имущества все, что только ему полюбится, а они, мол, рады ему услужить из уважения к его достоинствам, а равно и к благородному его занятию.

Наконец настал день отъезда, столь же радостный для Дон Кихота, сколь печальный и прискорбный для Санчо Пансы, который чувствовал себя превосходно среди домашнего изобилия у дона Дьего и не стремился возвратиться к голодной жизни в лесах и пустынях и к небогатому содержимому своей обыкновенно не весьма туго набитой сумы. Все же он наполнил ее до отказа самым необходимым, а Дон Кихот сказал на прощанье дону Лоренсо:

– Не знаю, говорил ли я вашей милости, а коли говорил, так повторю еще раз: буде ваша милость захочет сократить дорогу и труды при восхождении на недосягаемую вершину Храма Славы, то вам надобно будет только свернуть со стези Поэзии, стези довольно тесной, и вступить на теснейшую стезю странствующего рыцарства, и вы оглянуться не успеете, как она уже приведет вас к престолу императорскому.

Этими словами Дон Кихот окончательно доказал свою невменяемость, а еще больше тем, что он к ним прибавил, прибавил же он вот что:

– Одному богу известно, сеньор дон Лоренсо, горячее мое желание увезти вас с собой и научить, как должно миловать послушных и покорять и подавлять заносчивых, то есть выказывать добродетели, неразрывно связанные с тем поприщем, которое я для себя избрал, но коль скоро этому препятствуют молодые ваши лета и удерживают вас от этого почтенные ваши занятия, то я удовольствуюсь тем, что преподам вашей милости совет: вы прославитесь как стихотворец, если будете прислушиваться более к чужому мнению, нежели к собственному, ибо нет таких родителей, коим их чадо казалось бы некрасивым, в чадах же разумения нашего мы обманываемся еще чаще.

Отец с сыном снова подивились сумбурным речам Дон Кихота, разумным и вздорным попеременно, а также тому, с каким упорством и настойчивостью, несмотря ни на что, стремился он к злоключениям своих приключений, составлявших венец и предел его желаний. После новых изъявлений преданности и взаимных учтивостей, с милостивого дозволения владетельницы замка, Дон Кихот на Росинанте, а Санчо на осле тронулись в путь.



Глава XIX,

в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом, равно как и о других поистине забавных происшествиях



Дон Кихот не так еще далеко отъехал от имения дона Дьего, когда ему повстречались двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов,[81] а с ними два поселянина: все четверо ехали верхами на животных ослиной породы. Один из студентов вез, как можно было заметить, что-то белое, суконное, завернутое вместе с двумя парами шерстяных чулок в зеленое полотно, заменявшее ему дорожный мешок; другой студент не вез

ничего, кроме двух новеньких учебных рапир с кожаными наконечниками. Поселяне же везли с собой другие предметы, которые ясно показывали и давали понять, что их обладатели едут из какого-нибудь большого села: там они все это купили, а теперь возвращаются к себе в деревню. И вот эти самые студенты, а равно и поселяне, подивились Дон Кихоту так же точно, как дивились все, кто впервые с ним сталкивался, и всем им страх как захотелось узнать, что это за человек, столь не похожий на людей обыкновенных. Дон Кихот с ними раскланялся и, узнав, что едут они туда же, куда и он, предложил ехать вместе и попросил придержать ослиц, ибо конь его не мог за ними поспеть; при этом он из любезности объяснил им в кратких словах, кто он таков, каково его призвание и род занятий – что он, дескать, странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Еще он им сказал, что настоящее его имя – Дон Кихот Ламанчский, по прозвищу же он – *Рыцарь Львов.* Для поселян это было все равно, как если бы с ними говорили на языке греческом или же тарабарском, но не для студентов, ибо они живо смекнули, что у Дон Кихота зашел ум за разум; однако ж со всем тем они смотрели на него с почтительным удивлением, и один из них ему сказал:

– Если ваша милость, сеньор рыцарь, по обычаю искателей приключений, не имеет определенного места назначения, то едемте, ваша милость, с нами: вы увидите такую веселую и такую пышную свадьбу, какой ни в Ламанче, ни во всей округе нашей никогда еще не справляли.

Дон Кихот осведомился, не свадьба ли это какого-нибудь владетельного князя, коль скоро студент так ее превозносит.

– Нет, не князя, – отвечал студент, – а поселянина и поселянки, первого богача во всем нашем околотке и красавицы, доселе невиданной. Приготовления к свадьбе делаются необычайные и беспримерные; дело состоит в том, что свадьбу хотят играть на лугу возле невестиной деревни, – невесту, кстати сказать, величают Китерией Прекрасной, а жениха – Камачо Богатым. Ей восемнадцать лет, ему – двадцать два. Пара они отличная, хотя, впрочем, всезнайки, которые любую родословную знают назубок, уверяют, что прекрасная Китерия происходит из лучшей семьи, чем Камачо, но это неважно: богатство любой изъян прикроет. И точно, Камачо тороват: ему пришло на ум завесить всю лужайку шатром из ветвей так, чтобы солнцу нелегко было добраться до муравы. Еще у него приготовлены танцы со шпагами, а также с бубенчиками; среди его односельчан есть лихие танцоры, которые великолепно умеют звенеть и потрясать ими, а о таких, которые похлопывают себя по подметкам, и говорить нечего, – их у него, как слышно, набрана несметная сила. Однако ж останется в памяти эта свадьба не из-за того, о чем я вам рассказал, и не из-за многого другого, о чем я не упомянул, а, по моему разумению, из-за того, как будет себя вести убитый горем Басильо. Басильо – это пастух из той же деревни, что и Китерия, его дом стенка в стенку с домом ее родителей, каковым обстоятельством воспользовалась любовь, чтобы воскресить давно забытую любовную страсть Пирама и Тисбы; надобно знать, что Басильо с малых лет, с самого нежного возраста, испытывал к Китерии сердечное влечение, она же дарила его целомудренною благосклонностью, так что во всей деревне только и разговору было, что о детской любви Басильо и Китерии. Как скоро оба вошли в возраст, отец Китерии порешил не пускать Басильо к себе в дом, а чтобы раз навсегда покончить со всякими подозрениями и опасениями, вознамерился он выдать свою дочь за богача Камачо, выдать же ее за Басильо не заблагорассудил, ибо тот более щедро наделен дарами природы, нежели дарами Фортуны. Однако ж, если говорить положа руку на сердце, без малейшей примеси зависти, то Басильо – самый ловкий парень, какого я только знаю, здорово мечет барру, изрядный борец, в мяч играет великолепно, бегает, как олень, прыгает, как серна, кегли сбивает точно какой волшебник, поет, как жаворонок, гитара у него прямо так и разговаривает, а главное, шпагой он владеет – лучше нельзя.

– По одному этому, – молвил Дон Кихот, – названный вами юноша достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но и, наперекор Ланцелоту и всем, кто вздумал бы тому воспрепятствовать, на самой королеве Джиневре.

– Подите скажите об этом моей жене! – вмешался до сих пор молча слушавший Санчо Панса. – Она стоит на том, что каждый должен жениться на ровне, по пословице: два сапога – пара. А мне бы хотелось, чтобы добрый этот Басильо, который мне уже пришелся по душе, женился на сеньоре Китерии, а кто мешает влюбленным жениться, тем, когда помрут, дай бог царство небесное, место покойное (Санчо хотел сказать нечто противоположное).

– Если бы все влюбленные вступали в брак, – возразил Дон Кихот, – то родители были бы лишены права выбора и права женить своих детей, когда они это почтут приличным. И если бы дочери сами выбирали себе мужей, то одна выскочила бы за слугу своих родителей, а другая – за первого встречного повесу и драчуна, который пленил бы ее своею самоуверенностью и молодечеством. Ведь любовь и увлечение без труда накладывают повязку на очи разума, столь необходимые, когда дело идет о каком-нибудь рискованном шаге, в выборе же спутника жизни весьма легко ошибиться: чтобы брак вышел удачным, нужна большая осмотрительность и особая милость божия. Положим, кто-нибудь желает предпринять далекое путешествие; если он человек благоразумный, то, прежде чем отправиться в дорогу, он подыщет себе надежного и приятного спутника – зачем же не последовать его примеру тем, кому положено вместе идти всю жизнь, до сени смертной, тем паче что спутница ваша делит с вами и ложе, и трапезу, и все остальное, а таковою спутницею и является для мужа его супруга? Жена не есть товар, который можно купить, а после возвратить обратно, сменять или же заменить другим, она есть спутник неразлучный, который не уйдет от вас до тех пор, пока от вас не уйдет жизнь. Это – петля: стоит накинуть ее себе на шею, как она превращается в гордиев узел, и узел сей не развязать, пока его не перережет своею косою смерть. Можно было бы еще долго рассуждать по этому поводу, но меня томит желание знать, что еще сеньору лиценциату осталось досказать про Басильо.

На это бакалавр, которого Дон Кихот величал лиценциатом, ответил так:

– Мне остается досказать лишь вот что: с той поры, как Басильо узнал, что прекрасная Китерия выходит за Камачо Богатого, он уже более не смеется и разумного слова не вымолвит; теперь он вечно уныл и задумчив, говорит сам с собой (явный и непреложный знак того, что он тронулся), ест мало и спит мало, а коли и ест, то одни лишь плоды, спит же он, если только это можно назвать сном, не иначе как в поле, на голой земле, словно дикий зверь, по временам поднимает глаза к небу, по временам уставляет их в землю и застывает на месте, так что, глядя на него, можно подумать, будто перед вами одетая статуя, чье платье треплет ветер. Коротко говоря, по всем признакам он пылает любовью, и мы, его знакомые, все, как один, убеждены, что если завтра прекрасная Китерия скажет Камачо «да», то для Басильо это будет смертным приговором.

– Храни его господь, – молвил Санчо. – Господь посылает рану, господь же ее и уврачует, никто не знает, что впереди, до завтра еще далеко, а ведь довольно одного часа, даже одной минуты, чтобы целый дом рухнул, я видел собственными глазами: дождь идет, и тут же тебе светит солнце, ложишься спать здоровехонек, проснулся – ни охнуть, ни вздохнуть. И кто, скажите на милость, может похвастаться, что вколотил гвоздь в колесо Фортуны? Разумеется, что никто, и между женским «да» и женским «нет» я бы и кончика булавки не стал совать: все равно не поместится. Дайте мне только увериться, что Китерия любит Басильо всей душой и от чистого сердца, и я ему головой поручусь за успех, потому любовь, как я слышал, носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность – богатством, а гной – жемчугом.

– Да замолчишь ли ты наконец, Санчо, окаянная сила? – возопил Дон Кихот. – Ты как начнешь сыпать своими поговорками да присказками, так тебя сам черт не остановит. Скот ты этакий! Ну что ты смыслишь в колесах Фортуны и во всем прочем?

– Э, да вы меня не понимаете, – отвечал Санчо, – а потому и нет ничего удивительного, что изречения мои кажутся вам чушью. Но это неважно: я сам себя понимаю и знаю, что когда я говорил, то никаких особых глупостей не наговорил, а вот вы, государь мой, – вечный сыскал моих речей и даже моих поступков.

– Ты выразиться-то правильно не умеешь, – прервал его Дон Кихот, – побойся ты бога: не *сыскал* должно говорить, а *фискал.*

– Не вступайте вы, ваша милость, со мной в пререкания, – объявил Санчо, – ведь вы же знаете, что воспитывался я не в столице, учился не в Саламанке, откуда ж мне знать, прибавил я букву или пропустил? Ей-богу, честное слово, не к чему заставлять сайягезца говорить по-толедски,[82] да ведь и толедцы не все мастаки насчет правильной речи.

– И то правда, – подхватил лиценциат, – те, которые вечно толкутся в Дубильнях[83] или же на Сокодовере,[84] не могут так же хорошо говорить, как те, что целыми днями разгуливают по соборному двору,[85] а ведь все они толедцы. Чистым, правильным, красивым и вразумительным языком говорят просвещенные столичные жители, хотя бы они и родились в Махалаонде.[86] Я нарочно говорю: *просвещенные,* потому что многих столичных жителей просвещенными назвать нельзя, просвещение же, вошедшее в обиход, это и есть азбука правильной речи. Я, сеньоры, с вашего позволения, изучал каноническое право в Саламанке и могу похвалиться, что выражаю свои мысли ясно, просто и понятно.

– Если б вы и впрямь могли похвалиться, что владеете речью лучше, нежели рапирою, то вышли бы в университете на первое место, а не плелись бы в хвосте, – заметил другой студент.

– Полноте, бакалавр, – возразил лиценциат, – вы держитесь крайне ошибочного мнения, полагая, что ловкость в фехтовании – это пустое дело.

– Это не мое только мнение, а неоспоримая истина, – возразил Корчуэло, – и если вам угодно, чтобы я доказал это на деле, то давайте не откладывать: шпага при вас, у меня в руках сила еще не иссякла, и вместе с немалою моею храбростью она вынудит вас признать, что я не заблуждаюсь. Слезайте с осла и покажите свое искусство: выступку, круги, углы и все такое прочее, я же ласкаюсь надеждою, что вы невзвидите света благодаря моим новым и грубым приемам, в которые я, однако же, верю, как в господа бога, и еще верю, что не родился такой человек, который бы заставил меня показать пятки и которого бы я не заставил подержаться за землю.

– Покажете вы пятки или нет – судить не берусь, – молвил фехтовальщик, – но может статься, что куда вы поставите ногу, там и выроют вам могилу; я хочу сказать, что за свое презрение к фехтованию вы будете уложены на месте.

– Посмотрим, – молвил Корчуэло.

Тут он с великим проворством соскочил с осла и мгновенно выхватил одну из рапир, которые лиценциат вез с собой.

– Нет, так не годится, – вмешался Дон Кихот, – в этом до сих пор еще не разрешенном споре я желаю исполнять обязанности учителя фехтования и судьи.

Тут он сошел с Росинанта и с копьем в руках стал посреди дороги, а тем временем лиценциат шагом бодрым и с видом молодцеватым двинулся навстречу Корчуэло, Корчуэло же, сверкая, как говорится, глазами, направился к нему. Два сопровождавших их поселянина, верхом на ослицах, являлись безмолвными зрителями мрачной этой трагедии. Корчуэло колол и рубил прямо, наискось, обеими руками, – беспрерывно наносимые им удары, докучные, как шмелиный рой, сыпались градом. Он нападал, как разъяренный лев, но то и дело натыкался на кожаный наконечник рапиры лиценциатовой, всякий раз охлаждавшей его боевой пыл, и прикладывался к ней, точно к святыне, хотя и не с таким благоговением, с каким к святыням долженствуют и имеют обыкновение прикладываться. Коротко говоря, лиценциат пересчитал острием своей рапиры все пуговицы на короткой сутане бакалавра и в клочья разодрал ему полы; он дважды сбивал с него шляпу и в конце концов довел до того, что рассвирепевший

бакалавр с досады и со злости схватил свою рапиру за рукоять и швырнул с такой силой, что один из при сем присутствовавших поселян, по роду своих занятий писарь, впоследствии засвидетельствовал, что упомянутая рапира отлетела почти на три четверти мили, каковое свидетельство подтверждало и подтверждает всю очевидность и несомненность того положения, что ловкость побеждает силу.

Корчуэло в изнеможении опустился на землю, Санчо же приблизился к нему и сказал:

– Право, ваша милость, сеньор бакалавр, послушайтесь вы моего совета и вперед никогда не вызывайте драться на рапирах, а вызывайте лучше на борьбу или же метать барру: это вам и по возрасту, и по силам, а про этих, как их называют, *фертовальщиков* я слыхал, что они острие шпаги продевают в игольное ушко.

– Я доволен, что с меня сбили спесь и доказали на деле, как далек я был от истины, – объявил Корчуэло.

С этими словами он встал и обнял лиценциата, и подружились они еще больше, чем прежде, и даже не пожелали дожидаться писаря, который пошел за рапирой: они боялись, что это их очень задержит, и по сему обстоятельству порешили двигаться дальше, чтобы пораньше приехать в деревню Китерии, откуда они все были родом.

Во все продолжение пути лиценциат рассуждал о преимуществах фехтования и приводил столько веских доводов, наглядных примеров и математически точных доказательств, что все удостоверились, какое это большое искусство, упорство же Корчуэло было сломлено.

Уже стемнело; однако ж, когда они подъезжали к деревне, им всем почудилось, будто небо над нею усеяно мириадами ярких звезд. В то же время до них донеслись неясные, тихие звуки различных музыкальных инструментов, как то: рожков, тамбуринов, гуслей, свирелей, бубнов и погремушек, а когда они подъехали ближе, то увидели, что устроенный у въезда в село древесный шатер весь в фонариках, и ветер не задувал их, ибо от ласкового его дуновения даже листья дерев не шевелились. Музыканты увеселяли явившихся на свадьбу гостей, которые там и сям толпились на приветном этом лугу: одни танцевали, другие пели, третьи играли на упомянутых разнообразных инструментах. Казалось, будто на этой лужайке носится сама Радость и скачет само Веселье. Множество людей строило подмостки, чтобы завтра гостям удобнее было смотреть на представление и танцы, коим надлежало быть в этом месте, предуготовленном для свадебного торжества богача Камачо и для погребения Басильо. Дон Кихот не пожелал въехать в селение, как ни уговаривали его крестьянин и бакалавр: более чем достаточным к тому основанием служило, на его взгляд, то обстоятельство, что у странствующих рыцарей было принято ночевать в полях и рощах, но не в селениях, хотя бы и под золоченою кровлею; и того ради свернул он с дороги, к вящему неудовольствию Санчо, в памяти которого был еще жив радушный прием, оказанный ему в замке, то есть в доме у дона Дьего.



Глава XX,

в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого и о происшествии с Басильо Бедным



Светлая Аврора только еще изъявляла согласие, чтобы блистающий Феб жаром горячих лучей своих осушил влажный бисер в золотистых ее кудрях, когда Дон Кихот, расправив члены, вскочил и окликнул оруженосца своего Санчо, который все еще похрапывал; видя, что Санчо спит, Дон Кихот, прежде чем будить его, молвил:

– О ты, счастливейший из всех в подлунном мире живущих, счастливейший, ибо ты спишь со спокойною душою, не испытывая зависти и ни в ком ее не возбуждая, не преследуемый колдунами и не волнуемый ворожбою! Так спи же, говорю я и готов повторить сто раз, ибо

тебя не принуждают вечно бодрствовать муки ревности при мысли о возлюбленной и от тебя не отгоняют сна думы о том, чем ты будешь платить долги и чем ты будешь завтра питаться сам и кормить свою маленькую горемычную семью. Честолюбие тебя не тревожит, тщета мирская тебя не утомляет, ибо желания твои не выходят за пределы забот о твоем осле, заботу же о твоей особе ты возложил на мои плечи: это уж сама природа совместно с обычаем постарались для равновесия возложить бремя сие на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и думает о том, как прокормить слугу, как облегчить его участь, чем его вознаградить. Скорбь при виде того, что небо сделалось каменным и не кропит землю целебною росою, стесняет сердце не слуги, а господина, ибо того, кто служил у него в год плодородный и урожайный, он должен прокормить и в год неурожайный и голодный.

Санчо ничего на это не отвечал, потому что спал, и он бы так скоро и не пробудился, когда бы Дон Кихот кончиком копья не развеял его сон. Наконец он пробудился, сонным и безучастным взглядом обнял окрестные предметы и сказал:

– Если я не ошибаюсь, со стороны этого шатра идет дух и запах не столько нарциссов и тмина, сколько жареного сала. Коли свадьба начинается с таких благоуханий, то, вот вам крест, все здесь будет на широкую ногу и всего будет в изобилии.

– Замолчи, обжора, – сказал Дон Кихот, – поедем-ка лучше на свадьбу, посмотрим, что будет делать отвергнутый Басильо.

– Что хочет, то пускай и делает, – заметил Санчо, – не был бы бедняком, так и женился бы на Китерии. А то ишь ты: у самого хоть шаром покати, а дерево рубит не по плечу. По чести, сеньор, мое мнение такое: что бедняку доступно, тем и будь доволен, нечего на дне морском искать груш. Я руку даю на отсечение, что Камачо может засыпать деньгами Басильо, а коли так, то глупа же была бы Китерия, когда бы променяла наряды и драгоценности, которыми ее, конечно, уже оделил и еще оделит Камачо, на ловкость, с какою Басильо мечет барру и дерется на рапирах. За удачный бросок или же за славный выпад и полкварты вина не дадут в таверне. Коли способности и дарования не приносят дохода, то черт ли в них? А вот ежели судьба надумает послать талант человеку, у которого мошна тугая, так тут уж и впрямь завидки возьмут. На хорошем фундаменте и здание бывает хорошее, а лучший фундамент и котлован – это деньги.

– Ради создателя, Санчо, – взмолился Дон Кихот, – кончай ты свою речь. Я уверен, что если не прерывать рассуждений, в которые ты ежеминутно пускаешься, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон: все твое время уйдет на болтовню.

– Будь у вашей милости хорошая память, – возразил Санчо, – вы должны были бы помнить все пункты соглашения, которое мы с вами заключили перед последним нашим выездом. Один из его пунктов гласит, что мне дозволяется говорить все, что угодно, если только это не порочит ближнего моего и не оскорбляет вашей милости, и, по-моему, до сих пор я помянутого пункта ни разу не нарушил.

– Я не помню такого пункта, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но если даже это и так, то все же я хочу, чтобы ты умолкнул и двинулся следом за мной: ведь музыка, которую мы вчера вечером слышали, снова увеселяет долины, и разумеется, что свадьба будет отпразднована прохладным утром, а не в знойный полдень.

Санчо исполнил повеление своего господина, и как скоро он оседлал Росинанта и серого, то оба сели верхами и неспешным шагом въехали под навес. Первое, что явилось взору Санчо, это целый бычок, насаженный на вертел из цельного вяза и жарившийся на огне, в коем пылала добрая поленница дров, шесть же котлов, стоявших вокруг костра, формою своею не напоминали обыкновенные котлы, скорее это были бочки, способные вместить груды мяса: они столь неприметно вбирали в себя и поглощали бараньи туши, точно это были не бараньи туши, а голуби; освежеванным зайцам и ощипанным курам, висевшим на деревьях и ожидавшим своего погребения в котлах, не было числа; видимо-невидимо битой птицы и всевозможной

дичи было развешено на деревьях, чтобы провялить ее. Санчо насчитал свыше шестидесяти бурдюков вместимостью более двух арроб каждый и, как оказалось впоследствии, с вином лучших сортов; белоснежный хлеб был свален в кучи, как обыкновенно сваливают зерно на гумне; сыры, сложенные, как кирпичи, образовывали целую стену; два чана с маслом поболее красильных служили для жаренья изделий из теста; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший тут же чан с медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они, как на подбор, казались опрятными, расторопными и довольными. В просторном брюхе бычка было зашито двенадцать маленьких молоденьких поросят, отчего мясо его должно было стать еще вкуснее и нежнее. В большом ящике находились пряности всех сортов: видно было, что их покупали не фунтами, а целыми арробами. Словом, свадебное угощение было чисто деревенское, но зато столь обильное, что его хватило бы на целое войско.

Санчо Панса все это разглядывал, все это созерцал и всем этим любовался. Первоначально его манили и соблазняли котлы, из коих он с превеликою охотою налил бы себе чугунок, засим бурдюки пленили его сердце и наконец изделия из теста, поджаривавшиеся сверх обыкновения не на сковородках, а в пузатых чанах. Терпеть долее и поступить иначе было свыше его сил, а потому он приблизился к одному из ретивых поваров и на языке голодного, хотя и вполне учтивого человека попросил позволения обмакнуть в один из котлов ломоть хлеба. Повар же ему на это сказал:

– На сегодня, братец, благодаря богачу Камачо голод получил отставку. Слезай с осла, поищи половник, вылови курочку-другую да и кушай себе на здоровье.

– Я нигде не вижу половника, – объявил Санчо.

– Погоди, – сказал повар. – Горе мне с тобой, экий ты, знать, ломака и нескладеха!

С последним словом он схватил кастрюлю, окунул ее в бочку, выловил трех кур и двух гусей и сказал Санчо:

– Кушай, приятель, подзаправься пока до обеда этими пеночками.

– Мне некуда их положить, – возразил Санчо.

– Так возьми с собой и кастрюльку, – сказал повар, – богатство и счастье Камачо покроют любые издержки.

Пока Санчо вел этот разговор, Дон Кихот наблюдал за тем, как под шатер въезжали двенадцать поселян, все, как один, в ярких праздничных нарядах, верхом на чудесных кобылицах, радовавших глаз роскошною своею сбруей со множеством бубенцов на нагрудниках; стройный этот отряд несколько раз с веселым шумом и гамом прогарцевал по лужайке.

– Да здравствуют Камачо и Китерия! – восклицали поселяне. – Он столь же богат, сколь она прекрасна, а она прекраснее всех на свете.

Послушав их, Дон Кихот подумал: «Можно сказать с уверенностью, что они никогда не видали моей Дульсинеи Тобосской, потому что если б они ее видели, то сбавили бы тон в похвалах этой самой Китерии».

Малое время спустя с разных сторон стали собираться под шатер участники многоразличных танцев и, между прочим, двадцать четыре исполнителя танца мечей, все молодец к молодцу, в одежде из тонкого белоснежного полотна, в головных уборах из добротного разноцветного шелка; один из всадников спросил предводителя танцоров, разбитного парня, не поранился ли кто-нибудь из них.

– Слава богу, до сих пор никто не поранился, все мы живы-здоровы.

И тут, увлекая за собой своих товарищей и выделывая всевозможные колена, он стал до того ловко кружиться, что хотя Дон Кихоту не раз приходилось видеть подобные танцы, однако ж этот понравился ему всех более.

Понравился ему и танец отменно красивых девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать, самое меньшее, четырнадцать лет, а самое большее – восемнадцать; нарядились они в платья зеленого сукна; волосы, в венках из жасмина, роз, амаранта и жимолости, столь золотистые, что могли соперничать с солнечными лучами, у одних были заплетены в косы, у других распущены. Предводителями их были маститый старец и почтенная матрона, не по годам, однако же, гибкие и подвижные. Танцевали они под саморскую волынку, как лучшие в мире танцовщицы, и ноги их были столь же быстры, сколь скромно было выражение их лиц.

За этим последовал другой замысловатый танец, принадлежащий к числу так называемых «разговорных».[87] Исполняли его восемь нимф, разбившихся на две группы: одною группою руководил бог Купидон, другою – бог Расчета; Купидон был снабжен крыльями, луком, колчаном и стрелами, бог Расчета облачен в роскошную разноцветную одежду, сотканную из золота и шелка. На спине у нимф, следовавших за Амуром, на белом пергаменте крупными буквами были начертаны их имена. *Поэзия* — гласила первая надпись. *Мудрость* — вторая, *Знатность* — третья и, наконец, *Доблесть* — четвертая. Таким же образом были означены и те, что следовали за богом Расчета: *Щедрость* — гласила первая надпись, *Подарок* — вторая, *Сокровище* — третья, четвертая же – *Мирное обладание.* Впереди всех двигался деревянный замок, который тащили четыре дикаря, увитые плющом, в полотняной одежде, выкрашенной в зеленый цвет, и все это было столь натурально, что Санчо слегка струхнул. На фронтоне замка и на всех четырех его стенах было написано: *Замок благонравия.* Тут же шли четыре музыканта, превосходно игравшие на рожках и тамбуринах. Танец открыл Купидон, затем, проделав две фигуры, он остановил взор на девушке, показавшейся между зубцов замка, прицелился в нее из лука и обратился к ней с такими стихами:

Я – могучий бог, царящий
В небесах и на земле,
Над пучиной вод кипящей
И в бездонной адской мгле,
Сердце страхом леденящей.
Для меня, чью волю тут,
Как и всюду, свято чтут,
Невозможное возможно,
И от века непреложны
Мой закон, приказ и суд.

Проговорив эти стихи, он пустил стрелу поверх замка и отошел на свое место. После этого вышел вперед бог Расчета и исполнил две фигуры танца; как же скоро тамбурины смолкли, он заговорил стихами:

Купидона я сильнее,
Хоть ему всегда готов
Помогать в любой затее.
Я рождением знатнее
И превыше всех богов.
Я – Расчет. Мне труд смешон.
Без меня ж бесплоден он;
Но невеста так собою
Хороша, что стать слугою
Даже я ей принужден.

Тут бог Расчета удалился, и вместо него появилась Поэзия; проделав по примеру предшественников свои две фигуры, она вперила взор в девушку из замка и сказала:

От Поэзии приветы,
Госпожа, изволь принять.
Я во славу свадьбы этой
Не устану сочинять
Сладкозвучные сонеты
И, коль ты убеждена,
Что гостям я не скучна,
Твой завидный девам жребий
Выше вознесу, чем в небе
Вознесла свой серп луна.

С этими словами Поэзия возвратилась на свое место, а от группы бога Расчета отделилась Щедрость и, исполнив свои фигуры, заговорила:

Щедростью зовут уменье
Так вести себя во всем,
Чтоб сберечь свое именье
И притом не слыть скупцом,
Вызывающим презренье.
Но, дабы тебя почтить,
Я сегодня рада быть
Расточительной безмерно:
Эта слабость – способ верный
Тех, кто любит, отличить.

Так же точно выходили и удалялись и все прочие участницы обеих групп: каждая проделывала свои фигуры и читала стихи, из коих некоторые были грациозны, а некоторые уморительны, в памяти же Дон Кихота (памяти изрядной) остались только вышеприведенные; затем все смешались и начали сплетаться и расплетаться с отменным изяществом и непринужденностью; Амур же всякий раз, когда проходил возле замка, пускал поверху стрелу, а бог Расчета разбивал о стены замка позолоченные копилки. Танцевали довольно долго, наконец бог Расчета достал кошель, сделанный из шкурки большого разношерстного кота и как будто бы набитый деньгами, и швырнул его в замок, отчего стены замка распались и рухнули, а девица осталась без всякого прикрытия и защиты. Тогда к ней со всею своею свитою ринулся бог Расчета и, набросив ей на шею длинную золотую цепь, сделал вид, что намерен схватить ее, поработить и увести в плен, но тут Амур и его присные как будто бы вознамерились ее отбить, и движения эти проделывались под звуки тамбуринов, все танцевали и исполняли фигуры в такт музыке. Наконец дикари помирили враждующие стороны, с великим проворством собрали и поставили стенки замка, девица снова заперлась в нем, и на этом танец окончился, и зрители остались им очень довольны.

Дон Кихот спросил одну из нимф, кто сочинил и разучил с ними этот танец. Нимфа ответила, что это одно духовное лицо из их села, – у него, мол, большой талант на такого рода выдумки.

– Бьюсь об заклад, – сказал Дон Кихот, – что этот бакалавр или же священнослужитель, верно, держит сторону Камачо, а не Басильо, и что у него больше способностей к сочинению сатир, нежели к церковной службе. Впрочем, он так удачно ввел в свой танец даровитость Басильо и богатство Камачо!

Санчо Панса, который слышал весь этот разговор, сказал:

– Кто как, а я за Камачо.

– Одним словом, – заметил Дон Кихот, – сейчас видно, Санчо, что ты мужик, да еще из тех, которые заискивают перед сильными.

– Не знаю, перед кем это я заискиваю, – возразил Санчо, – знаю только, что с котлов Басильо никогда мне не снять таких распрекрасных пенок, какие я снял с котлов Камачо.

Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами, вытащил одну курицу и, с великим наслаждением и охотою начав уплетать ее, молвил:

– А ну его ко всем чертям, этого Басильо, и со всеми его способностями! Сколько имеешь, столько ты и стоишь, и столько стоишь, сколько имеешь. Моя покойная бабушка говаривала, что все люди делятся на имущих и неимущих, и она сама предпочитала имущих, а в наше время, государь мой Дон Кихот, богатеям куда привольнее живется, нежели грамотеям; осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Вот почему я еще раз повторяю, что стою за Камачо: с его котлов можно снять немало пенок, то есть гусей, кур, зайцев и кроликов, а в котлах Басильо дно видать, а на дне если что и есть, так разве одна жижа.

– Ты кончил свою речь, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Должен буду кончить, – отвечал Санчо, – потому вашей милости, как видно, она не по душе, а если б не это, я бы еще дня три соловьем разливался.

– Дай бог, Санчо, чтоб ты онемел, пока я еще жив, – сказал Дон Кихот.

– Дела наши таковы, – заметил Санчо, – что я еще при жизни вашей милости достанусь червям на корм, и тогда, верно уж, совсем онемею и не пророню ни единого слова до самого конца света или, по малой мере, до Страшного суда.

– Если бы даже это так и произошло, – возразил Дон Кихот, – все равно твое молчание, Санчо, не сравнялось бы с тем, что ты уже наговорил, говоришь теперь и еще наговоришь в своей жизни. Притом гораздо естественнее предположить, что я умру раньше тебя, вот почему я не могу рассчитывать, что ты при мне онемеешь хотя бы на то время, когда ты пьешь или спишь, а о большем я уж и не мечтаю.

– По чистой совести скажу вам, сеньор, – объявил Санчо, – на курносую полагаться не приходится, то есть, разумею, на смерть; для нее что птенец желторотый, что старец седобородый – все едино, а от нашего священника я слыхал, что она так же часто заглядывает в высокие башни королей, как и в убогие хижины бедняков. Эта госпожа больше любит выказывать свое могущество, нежели стеснительность. Она нимало не привередлива: все ест, ничем не брезгует и набивает суму людьми всех возрастов и званий. Она не из тех жниц, которые любят вздремнуть в полдень: она всякий час жнет и притом любую траву – и зеленую, и сухую, и, поди, не разжевывает, а прямо так жрет и глотает что ни попало, потому она голодная, как собака, и никогда не наедается досыта, и хоть у нее брюха нет, а все-таки можно подумать, что у нее водянка, потому она с такой жадностью выцеживает жизнь изо всех живущих на свете, словно это ковш холодной воды.

– Остановись, Санчо, – прервал его тут Дон Кихот. – Держись на этой высоте и не падай, – признаться, то, что ты так по-деревенски просто сказал о смерти, мог бы сказать лучший проповедник. Говорю тебе, Санчо: если б к добрым твоим наклонностям присовокупить остроту ума, то тебе оставалось бы только взять кафедру под мышку и пойти пленять свет проповедническим своим искусством.

– Живи по правде – вот самая лучшая проповедь, а другого богословия я не знаю, – объявил Санчо.

– Никакого другого богословия тебе и не нужно, – заметил Дон Кихот, – но только вот чего я не могу уразуметь и постигнуть: коли *начало мудрости – страх господень,* то откуда же у тебя такие познания, если ты любой ящерицы боишься больше, чем господа бога?

– Судите, сеньор, о делах вашего рыцарства и не беритесь судить о чужой пугливости и чужой храбрости, – отрезал Санчо, – по части страха божия я кого хотите за пояс заткну. Засим позвольте мне, ваша милость, полакомиться этими самыми пеночками, а все остальное есть празднословие, за которое с нас на том свете спросят.

И, сказавши это, он с такою беззаветною отвагою ринулся на приступ кастрюли, что, глядя на него, загорелся отвагой и Дон Кихот и, без сомнения, оказал бы ему поддержку, но этому помешали некоторые обстоятельства, о коих придется рассказать дальше.



Глава XXI,

в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие занятные события



В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор, приведенный в главе предыдущей, послышались громкие голоса и великий шум; подняли же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах; теперь они во весь дух мчались навстречу новобрачным, которые с толпою музыкантов и затейников приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей окружных селений, и на всех участниках этого шествия были праздничные наряды. Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул:

– Истинный бог, одета она не по-деревенски, а как столичная модница! Верное слово, на ней не патены,[88] а, если только глаза меня не обманывают, дорогие кораллы, и не куэнское зеленое сукнишко, а самолучший бархат! А белая оторочка, думаете, из простого полота? Ан нет – ей-ей, из атласа! А перстни, скажете, гагатовые? Черта с два, пропади я пропадом, коли это не золотые колечки, да еще какие золотые-то, с жемчужинами, белыми, ровно простокваша; каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то, мать честная! Если только они не накладные, то я таких длинных и таких золотистых отродясь не видывал. А ну-ка попробуйте найдите изъян в стройном ее стане! Да ведь это же ни дать ни взять пальма, у которой ветки осыпаны финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на шее. Клянусь спасением души, это девка бедовая, – такая нигде не пропадет.

Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако ж и он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсинеи Тобосской, он никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо прекрасной Китерии – должно полагать, оттого, что она, как все невесты, убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному неподалеку, на этой же самой лужайке, и украшенному ветками и крытому коврами помосту, где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и танцы; и только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос, произнесший такие слова:

– Остановитесь, люди торопкие и опрометчивые!

При звуках этого голоса и при этих словах все повернули головы и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми, по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него (как это вскоре заметили) был траурный венок из ветвей кипариса, в руке он держал длинный посох. Едва лишь он приблизился, все узнали в нем молодца Басильо и, почуяв, что его появление в такую минуту предвещает недоброе, замерли в ожидании, не постигая, к чему ведут эти выкрики и слова.

Наконец, выбившийся из сил и запыхавшийся, он остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох с наконечником из стали, побледнел, обратил взор на Китерию и заговорил хриплым и прерывающимся голосом:

– Тебе хорошо известно, жестокосердная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти замуж не властна. Вместе с тем для тебя не составляет тайны, что в ожидании той поры, когда время и собственные мои усилия упрочат наконец мое благосостояние, я продолжал соблюдать приличия, чести твоей подобающие, ты же, нарушив свой долг по отношению к доброму моему намерению, желаешь отдать себя в распоряжение другого, хотя должна принадлежать мне, – в распоряжение человека, который настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага, может себе купить. И вот, дабы счастье его было полным (хотя я и не думаю, чтобы он его заслуживал, но, видно, так уж угодно небу), я своими собственными руками устраню препоны и затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги. Много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственною Китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству!

С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю посох, после чего нижняя его часть осталась в земле, и тут оказалось, что это – ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага;

воткнув же в землю один конец шпаги, представлявший собою ее рукоять, Басильо с безумною стремительностью и непреклонною решимостью бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле.

Злая доля Басильо и происшедший с ним прискорбный случай тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь; Дон Кихот, оставив Росинанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился, что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при сем присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым:

– Если б ты пожелала, бессердечная Китерия, в смертный мой час отдать мне свою руку в знак согласия стать моею женою, я умер бы с мыслью о том, что безрассудство мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я достигнул блаженства быть твоим.

На это священник сказал Басильо, что ему должно помышлять о спасении души, а не о плотских прихотях, и горячо молить бога простить ему его грехи и отчаянный его шаг. Басильо объявил, что ни за что не станет исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что просьба его вполне законна и разумна и к тому же легко исполнима и что если сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией как со вдовою доблестного Басильо, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из рук отца:

– Сейчас требуется лишь сказать «да», и выговорить это слово невесту ни к чему не обязывает, оттого что для жениха брачною постелью явится могила.

Камачо все это слышал, и все это приводило его в такое недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать; однако ж друзья Басильо столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала умирающему руку, а иначе, мол, Басильо, безутешным отойдя в мир иной, погубит свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее, принудили его объявить, что если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний будет отдалено лишь на мгновенье.

Тут все подбежали к Китерии и кто мольбами, кто слезами, кто вескими доводами попытались убедить ее отдать руку бедному Басильо, она же казалась бесчувственнее самого мрамора и недвижнее статуи и, по-видимому, не знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ, и так бы и не ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец. Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, смятенная, по виду печальная и томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и по всем признакам собирался умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему, опустилась на колени и без слов, знаками попросила его протянуть ей руку. Басильо открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил:

– О Китерия! Ты пришла доказать, сколь ты сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом, пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет мысль, что я твой избранник, как не в силах я прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном я молю тебя, о роковая звезда моя: если ты просишь у меня руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это будет не из милости и не для того, чтобы снова ввести меня в обман, – нет, признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее как законному своему супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо мной, меж тем как я всегда был с тобой правдив до конца.

Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и окружающие опасались, что еще один такой обморок – и он отдаст богу душу. Китерия, вся воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в руку Басильо и сказала:

– Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю. Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законною твоею супругою и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь по собственному желанию и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствием, которое ты терпишь через поспешное свое решение.

– Я отдаю тебе свою руку, – отвечал Басильо, – не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме, которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаюсь и вверяюсь тебе как твой супруг.

– А я – как твоя супруга, – подхватила Китерия, – все равно, проживешь ли ты много лет или же тебя из моих объятий перенесут в могилу.

– Для тяжелораненого этот парень слишком много разговаривает, – заметил тут Санчо Панса, – скажите ему, чтоб он прекратил объяснения в любви, пусть лучше о душе подумает: мне сдается, что она у него не желает расставаться с телом, а все вертится на языке.

Итак, Басильо и Китерия взяли друг друга за руки, а священник, растроганный до слез, благословил их и стал молиться о упокоении души новобрачного, новобрачный же, как скоро получил благословение, с неожиданною легкостью вскочил и с необычайной быстротою извлек шпагу, для которой ножнами являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием, стали громко кричать:

– Чудо! Чудо!

Однако ж Басильо объявил:

– Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость!



Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и, пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть и ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась, оттого что была особым образом изготовлена. В конце концов священник, Камачо и почти все присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нос. Невесту шутка эта, по-видимому, не огорчила, – напротив, услышав разговоры, что брак ее совершился обманным путем и потому не может считаться действительным, она объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкою в заговоре; Камачо же и его свидетели рассвирепели и, решившись применить оружие, дабы отомстить сопернику, обнажили множество шпаг и ринулись на Басильо, однако в то же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпаг, и сам Дон Кихот верхом на коне, с копьем в руках и как можно лучше заградившись щитом, проложил себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он

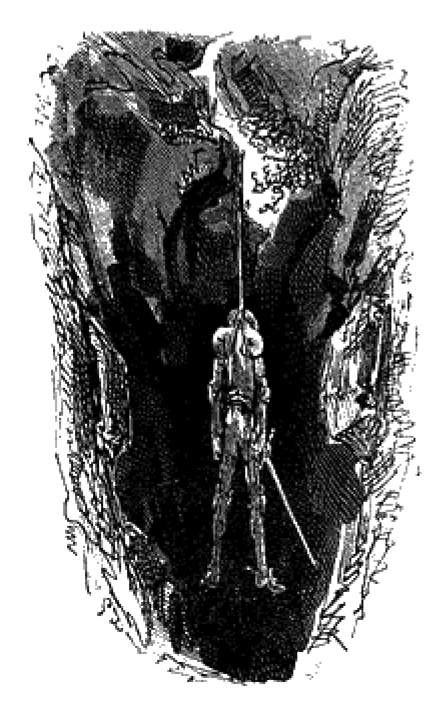
только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил:

– Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война – это одно и то же, и подобно как на войне прибегать к хитростям и ловушкам, дабы одолеть врага, признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать к плутням и подвохам для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо – Китерии: таково было правое и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, *одна-единственная овечка,* и никто не властен отнять ее у него, как бы ни был он могуществен, ибо *что бог сочетал, того человек да не разлучает,* а кто попытается это сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья.

И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим копьецом, что навел страх на всех, кто его не знал; и так глубоко запало в душу Камачо пренебрежение, выказанное к нему Китерией, что он мгновенно выкинул ее из сердца, и потому увещания священника, человека рассудительного и добропорядочного, возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в ножны, и теперь они уже не столько порицали Басильо за его хитроумие, сколько Китерию за ее нестойкость; Камачо же рассудил, что если Китерия еще в девушках любила Басильо, то она и выйдя замуж продолжала бы его любить, и что ему, Камачо, должно благодарить бога за то, что он лишился Китерии, но ни в коем случае не роптать.

Как же скоро Камачо и вся его дружина утешились и смирились, то успокоилась и дружина Басильо, а богач Камачо, чтобы показать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье, как если б это в самом деле была его свадьба, однако ж Басильо, его невеста и все их приверженцы не пожелали на этих празднествах присутствовать и отправились в деревню, где жил Басильо, ибо и у бедняков, если только они люди добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают, почитают и защищают, подобно как у богачей всегда находятся льстецы и прихвостни.

Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла, что это человек достойный и отнюдь не робкого десятка. Один лишь Санчо пал духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном пиру у Камачо, каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь; по сему случаю, удрученный и унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Басильо, покидая котлы египетские,[89] коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле, пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли для него все великолепие и изобилие утраченных благ; и так, задумчивый и хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он вослед за Росинантом.



Глава XXII,

в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом



Великие и многочисленные почести оказывали Дон Кихоту обрученные в благодарность за то, что он принял их сторону, и, в одинаковой мере восхищаясь как его храбростью, так и его мудростью, признавали его за второго Сида в смысле доблести и за второго Цицерона по части красноречия. Добрый Санчо трое суток барствовал за счет молодых, которые, между прочим, объявили, что о притворном ранении прекрасная Китерия предуведомлена не была, что эта затея пришла в голову одному Басильо и он надеялся, что все выйдет именно так, как

оно и случилось на самом деле; впрочем, он оговаривался, что кое-кому из друзей он все же замысел свой поведал, с тем чтобы в нужную минуту они поддержали его предприятие и обман его не разоблачили.

– Нельзя и не должно называть обманом то, что имеет благую цель, – сказал Дон Кихот.

Далее он заметил, что брак двух влюбленных существ есть цель превосходная и что злейшими врагами любви являются голод и вечная нужда, ибо любовь есть непрестанное веселье, восторг и блаженство, особливо в том случае, когда любовник обладает предметом своей любви, и вот тут-то на него и ополчаются ярые его враги: нужда и бедность; и все это он, Дон Кихот, говорит, мол, к тому, чтобы сеньор Басильо перестал упражняться в тех родах искусства, к коим он питает пристрастие, ибо подобные упражнения приносят ему славу, но не приносят денег, и чтобы он постарался нажить себе состояние путями законными и хитроумными, а человек смышленый и работящий всегда такие пути отыщет. Почтенный бедняк (хотя, впрочем, бедняку редко когда оказывают почет) в лице красавицы жены истинным обладает сокровищем, и похитить ее у него – это значит похитить и погубить его честь. Красивую и честную женщину, вышедшую замуж за бедняка, должно венчать лаврами и пальмовыми ветвями, венками победы и торжества. Красота сама по себе покоряет сердца тех, кто ее видит и знает, – словно лакомая приманка, влечет она к себе царственных орлов и других птиц высокого полета, но если с красотою соединяются скудость и нужда, то на нее налетают вороны, коршуны и прочие хищные птицы, и та, что все эти испытания выдержит, по праву может именоваться *венцом для мужа своего.*

– Послушайте, благоразумный Басильо, – продолжал Дон Кихот, – какой-то мудрец утверждал, что на свете есть только одна достойная женщина, и советовал, чтобы каждый думал и считал, что эта единственная достойная женщина и есть его жена, и тогда он будет чувствовать себя спокойно. Я не женат, и до сей поры мысль о женитьбе мне и в голову не приходила, и со всем тем я осмелился бы преподать совет, если б кто-нибудь у меня спросил, как найти себе достойную жену. Прежде всего я посоветовал бы думать более о добром ее имени, нежели о ее достоянии, ибо о женщине добродетельной идет добрая слава не только потому, что она и правда добродетельна, но и потому, что она представляется таковою: ведь чести женщины более вредят вольности и явная распущенность, нежели недостатки тайные. Если ты введешь к себе в дом хорошую жену, то уберечь ее и даже развить ее качества особого труда не составит, а вот если введешь дурную, то исправить ее будет не так-то легко, ибо перейти от одной крайности к другой дело совсем не такое простое. Я не говорю, что это невозможно, но полагаю, что это сопряжено с трудностями.

Санчо все это выслушал и сказал себе: «Когда я говорю что-нибудь умное и дельное, мой господин обыкновенно замечает, что мне остается взять кафедру под мышку, начать расхаживать по всему свету и пленять народ проповедническим искусством, я же про него скажу, что как примется он нанизывать изречения и давать советы, так ему впору не то что одну кафедру взять под мышку, а надеть по две на каждый палец и начать направо и налево проповедовать. Черт его побери, этого странствующего рыцаря, чего он только не знает! Я сначала думал, что он смыслит только в делах рыцарства, – не тут-то было: все его касается, и всюду он сует свой нос».

Так бормотал Санчо, а Дон Кихот услышал его и спросил:

– Что ты бормочешь, Санчо?

– Я ничего не говорю и не бормочу, – отвечал Санчо, – я только подумал, как было бы хорошо, если б я послушал вашу милость до моей женитьбы, – может, я бы теперь говорил: «Развязанному бычку легче облизываться».

– Разве твоя Тереса так уж плоха, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Не очень плоха, но и не очень хороша, – отвечал Санчо, – во всяком случае, не так хороша, как бы мне хотелось.

– Нехорошо, Санчо, дурно отзываться о своей жене, – заметил Дон Кихот, – ведь она мать твоих детей.

– Мы с ней квиты, – возразил Санчо, – она тоже, когда ей припадет охота, дурно обо мне отзывается, особливо когда ревнует, – тут уж хоть святых выноси.

Итак, три дня пробыли они у молодых, и те чествовали их и ублажали, как царей. Дон Кихот попросил лиценциата-фехтовальщика дать им проводника, который довел бы их до пещеры Монтесиноса, ибо он был снедаем желанием проникнуть туда и убедиться на деле, правду ли рассказывают во всем околотке об ее чудесах. Лиценциат сказал, что он пошлет с ними своего двоюродного брата, отличного студента и большого любителя рыцарских романов, и этот студент, мол, весьма охотно доведет их до самого спуска в пещеру, а затем покажет им лагуны Руидеры, славящиеся не только в Ламанче, но и во всей Испании; и еще лиценциат сказал, что Дон Кихот не без приятности может со студентом побеседовать, ибо студент, дескать, сочиняет книги, достойные быть изданными и посвященными вельможам. Вскоре и точно появился студент верхом на жеребой ослице, которой седло было покрыто не то пестрым ковром, не то пестро раскрашенной дерюгой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил серого, набил свою суму, к которой теперь еще присоединилась сума студента, также изрядно набитая, и, помолившись богу и распрощавшись с хозяевами, путники двинулись по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

Дорогою Дон Кихот спросил студента, какого рода и свойства его упражнения, занятия и труды, студент же на это ответил, что занимается он науками светскими, а что упражнения и труды его состоят в сочинении книг, весьма полезных для государства и весьма увлекательных; что одна из его книг называется *О костюмах,* и в ней описываются семьсот три костюма, их цвета, девизы и эмблемы, так что во время празднеств и увеселений придворные, вместо того чтобы выпрашивать у других или же, как говорится, ломать себе голову над костюмами, отвечающими их надобностям и желаниям, могут в его книге сыскать и выбрать себе любой образец, какой им только понравится.

– У меня есть подходящие костюмы и для ревнивого, и для отвергнутого, и для забытого, и для пребывающего в разлуке, и они будут им очень даже к лицу. Еще у меня есть книга, которую я хочу озаглавить *Метаморфозы, или Испанский Овидий*,[90] отличающаяся новизною и своеобразием вымысла: в ней я перелицовываю Овидия на шутовской лад и рассказываю, что такое Хиральда Севильская и Ангел Магдалины,[91] что такое кордовский Каньо де Весингерра,[92] что такое Быки Гисандо, Сьерра Морена, мадридские фонтаны Леганитос и Лавапьес,[93] а также Пьохо, Каньо Дорадо и Приора, и при этом я не скуплюсь на аллегории, метафоры и риторические фигуры, так что книга моя в одно и то же время увеселяет, изумляет и поучает. Еще есть у меня книга, которую я называю *Дополнением к Вергилию Полидору*;[94] в ней речь идет об изобретении разных вещей, и она потребовала от меня больших знаний и большой усидчивости, ибо ряд чрезвычайно важных вещей, о которых умолчал Вергилий, пришлось устанавливать мне, и в своей книге я изящным слогом о том повествую. Вергилий позабыл, например, сообщить нам, кто первый на свете схватил насморк и кто первый прибегнул к втираниям как к средству от французской болезни, а я даю о том наиточнейшие сведения и ссылаюсь более чем на двадцать пять авторов – судите же сами, ваша милость, сколько я положил на эту книгу труда и какую пользу принесет она всем людям.

Санчо, весьма внимательно слушавший рассказ студента, молвил:

– Дай вам бог, сеньор, все ваши книжки отпечатать, а не сумеете ли вы мне сказать, – да, впрочем, как же не суметь, вы ведь все знаете, – кто первый почесал у себя в голове? Я стою на том, что это был наш прародитель Адам.

– Возможно, – согласился студент. – У Адама были и голова, и волосы – это никакому сомнению не подлежит, а когда так, то он, уж верно, иногда почесывался, а ведь он был первый человек на земле.

– Я тоже так думаю, – сказал Санчо, – а теперь скажите на милость, кто был первым на свете акробатом?

– По правде говоря, приятель, – сказал студент, – сейчас я не могу тебе ответить на этот вопрос, он требует особого изучения. Я займусь им у себя дома, – там у меня все книги под рукой, – а когда мы опять увидимся, я сумею дать тебе удовлетворительные объяснения; надеюсь, это не последняя наша встреча.

– Послушайте, сеньор, не трудитесь, – сказал Санчо, – я сам уже догадался. К вашему сведению, первым акробатом на свете был Люцифер: когда его низвергли и сбросили с неба, он кувыркался до самой преисподней.

– Твоя правда, приятель, – подтвердил студент.

Дон Кихот же сказал:

– Этот вопрос и ответ ты не сам придумал, Санчо: где-нибудь ты их слышал.

– Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо, – я уж как начну спрашивать да отвечать, так, ей-же-ей, до завтра не кончу. Для того чтобы спрашивать о чепухе и отвечать вздор, право, нет надобности просить подмоги у соседей.

– Ты сам не понимаешь, Санчо, какую ты умную вещь сказал, – заметил Дон Кихот, – иные тратят много труда, чтобы узнать и выяснить нечто, а когда наконец выяснят и узнают, то оказывается, что это ни для разума нашего, ни для памяти не представляет решительно никакой ценности.

В таких и тому подобных приятных разговорах прошел у них весь день, а на ночь они остановились в небольшой деревне, и тут студент сказал Дон Кихоту, что отсюда до пещеры Монтесиноса не более двух миль и что если он не изменил своему решению в нее проникнуть, то надобно запастись веревками, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься вниз. Дон Кихот объявил, что, хотя бы то была не пещера, но пропасть, он должен добраться до самого ее дна; и для того купили они около ста брасов[95] веревки и на другой день, в два часа пополудни, достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики. Приблизившись к пещере, студент, Санчо и Дон Кихот спешились, после чего первые двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками; и в то время как его опоясывали и стягивали, Санчо обратился к нему с такими словами:

– Подумайте только, государь мой, что вы делаете, не хороните вы себя заживо и не уподобляйтесь бутыли которую спускают в колодец, чтобы остудить. Право, ваша милость, не ваше это дело и не ваша забота исследовать пещеру, которая, наверно, хуже всякого подземелья.

– Вяжи меня и помалкивай, – сказал Дон Кихот, – этот подвиг, друг Санчо, уготован только мне.

Тут вмешался проводник:

– Пожалуйста, сеньор Дон Кихот, будьте начеку и впивайтесь глазами во все, что там, в глубине, вам попадется, – может статься, кое-что я помещу в свою книгу о *Превращениях.*

– Ученого учить – только портить, – заметил Санчо Панса.

После того как Дон Кихота обвязали (и не поверх доспехов, а поверх камзола), он сказал:

– Мы обнаружили неосмотрительность: не взяли с собой колокольчика, – привязать бы его к веревке, и я бы звонил и давал вам знать, что я еще жив и продолжаю спускаться, но коль скоро это невозможно, то я всецело полагаюсь на бога и предаю ему путь мой.

Тут он опустился на колени, вполголоса прочитал молитву, испросил у бога помощи, помолился о благополучном исходе этого, по-видимому, опасного и необычайного приключения, а затем заговорил громко:

– О владычица всех деяний моих и побуждений, светлейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если это возможно, чтобы просьбы и мольбы счастливого твоего обожателя достигли слуха твоего, то невиданною твоею красотою заклинаю – выслушай меня: ведь я ни о чем другом не прошу, кроме как о помощи твоей и покровительстве, в коих я ныне более чем когда-либо нуждаюсь. Я намерен низринуться, низвергнуться и броситься в бездну, которая здесь предо мною разверзлась, броситься единственно для того, чтобы весь мир узнал, что если ты мне покровительствуешь, то нет такого превышающего человеческие возможности подвига, которого я не взял бы на себя и не совершил.

С этими словами он направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и давай крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какового шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо большущих ворон и галок, – летели они тучами, с невероятной быстротой, и в конце концов сшибли Дон Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места.

Наконец он встал и, видя, что из пещеры больше не вылетают ни вороны, ни всякие ночные птицы, как то: летучие мыши, которые вместе с воронами вылетали оттуда, велел студенту и Санчо ослабить веревку, а сам стал спускаться на дно страшной пещеры; перед тем же как ему начать спускаться, Санчо благословил его, перекрестил и сказал:

– Храни тебя господь, божья матерь Скала Франции[96] и Гаэтская троица, цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей! Вперед, первый удалец в мире, стальное сердце, медная длань! Да хранит тебя господь, говорю я, и да выведет он тебя свободным, здравым и невредимым на свет нашей жизни, который ныне ты покидаешь ради этого мрака, куда тебя так и тянет погрузиться.

Почти такие же молитвы и заклинания творил и студент.

Дон Кихот все кричал, чтобы отпускали веревку, и Санчо со студентом мало-помалу ее отпускали; когда же крики, из глубины пещеры исходившие, перестали до них доноситься, то они обнаружили, что все сто брасов веревки уже размотаны, и решились начать втаскивать Дон Кихота наверх, потому что веревка у них кончилась. Однако с полчаса они еще помедлили, по прошествии же указанного срока принялись тянуть веревку, что оказалось для них так легко, словно на ней не было груза, и они пришли к заключению, что Дон Кихот остался в пещере. Санчо при одной этой мысли заплакал горькими слезами и, чтобы разувериться, с удвоенной силой принялся тянуть веревку; и вот, когда они, по их расчетам, выбрали уже около восьмидесяти брасов, то вдруг почувствовали тяжесть, и это их несказанно обрадовало. Наконец, когда оставалось всего только десять брасов, они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо крикнул ему:

– С благополучным возвращением, государь мой! Мы уж думали, что вас там оставили на развод.

Дон Кихот, однако, не отвечал ни слова; как же скоро они его окончательно извлекли, то увидели, что глаза у него закрыты, словно у спящего. Они положили его на землю, развязали, но он все не просыпался; тогда они начали переворачивать его с боку на бок, шевелить и трясти, и спустя довольно долгое время он все же пришел в себя и стал потягиваться, будто пробуждался от глубокого и крепкого сна, а затем, как бы в ужасе оглядевшись по сторонам, молвил:

– Да простит вас бог, друзья мои, что вы лишили меня самой упоительной жизни и самого пленительного зрелища, какою когда-либо жил и какое когда-либо созерцал кто-либо из смертных. В самом деле, ныне я совершенно удостоверился, что все радости мира сего проходят, как тень и как сон, и вянут, как цвет полей. О несчастный Монтесинос! О тяжко раненный Дурандарт![97] О злополучная Белерма! О слезоисточающая Гуадиана, и вы,

злосчастные дочери Руидеры,[98] чьи воды представляют собою слезы, текшие из прелестных ваших очей!

С великим вниманием слушали студент и Санчо слова Дон Кихота, которые, по-видимому, с лютейшею мукою вырывались из глубины его души. Наконец они обратились к нему с просьбой растолковать им смысл речей его и рассказать, что ему в этом аду довелось видеть.

– Вы называете эту пещеру адом? – спросил Дон Кихот. – Не называйте ее так, она подобного наименования не заслуживает, и вы в том уверитесь незамедлительно.

Дон Кихота мучил голод, и он попросил дать ему чего-нибудь поесть. Спутники его расстелили на зеленой травке студентову дерюжку, достали из сумки снедь, уселись втроем и в мире и согласии пообедали и поужинали одновременно. Когда дерюжка была убрана, Дон Кихот Ламанчский объявил:

– Не вставайте, дети мои, и слушайте меня со вниманием.



Глава XXIII

Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса, настолько невероятных и потрясающих, что подлинность приключения сего находится под сомнением



Около четырех часов пополудни солнце спряталось за облака, свет его стал менее ярким, а лучи менее жгучими, и это позволило Дон Кихоту, не изнывая от жары, поведать достопочтенным слушателям, что он в пещере Монтесиноса видел; и начал он так:

– В этом подземелье, справа, на глубине то ли двенадцати, то ли четырнадцати саженей, находится такая впадина, где могла бы поместиться большая повозка с мулами. Слабый свет проникает туда через щели или же трещины, которые уходят далеко, до самой земной поверхности. Углубление это и пространство я приметил, как раз когда, подвешенный и висящий на веревке, я стал уже выбиваться из сил и меня начал раздражать спуск в это царство мрака, спуск наугад, без дороги, а потому я порешил проникнуть в это углубление и немного отдохнуть. Я крикнул вам, чтобы вы перестали спускать веревку, пока я не скажу, но вы, верно, меня не слышали. Подобрав веревку, которую вы продолжали спускать, и сделав из нее круг, иначе говоря бунт, я на нем уселся и, крайне озабоченный, принялся обдумывать, как мне спуститься на дно, коль скоро никто меня теперь не держит; и вот, когда я пребывал в задумчивости и смятении, на меня внезапно и помимо моей воли напал глубочайший сон, а потом я нежданно-негаданно, сам не зная как, что и почему, проснулся на таком прелестном, приветном и восхитительном лугу, краше которого не может создать природа, а самое живое воображение человеческое – вообразить. Я встряхнулся, протер глаза и уверился, что не сплю и что все это наяву со мной происходит. Все же я пощупал себе голову и грудь, дабы удостовериться, я ли это нахожусь на лугу или же оборотень, пустая греза, однако и осязание, и чувства, и связность мыслей, приходивших мне в голову, – все доказывало, что там и тогда я был совершенно такой же, каков я здесь перед вами. Затем глазам моим открылся то ли пышный королевский дворец, то ли замок, коего стены, казалось, были сделаны из чистого и прозрачного хрусталя. Распахнулись громадные ворота, и оттуда вышел и направился ко мне некий почтенный старец в длинном плаще из темно-лиловой байки, волочившемся по земле; сверху плечи и грудь ему прикрывала зеленого атласа лента, какие обыкновенно бывают у наставников коллегий, на голове он носил миланскую черную шапочку; белоснежная борода была ему по пояс; в руках он держал не какое-либо оружие, а всего-навсего четки, коих бусинки были больше, чем средней величины орехи, а каждая десятая бусинка – с небольшое

страусовое яйцо; осанка старца, его поступь, важность и необыкновенная величавость его – все это вместе взятое удивило и поразило меня. Он приблизился ко мне и прежде всего заключил меня в свои объятия, а затем уже молвил: «Много лет, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы ожидаем тебя в заколдованном этом безлюдье, дабы ты поведал миру, что содержит и скрывает в себе глубокая пещера, именуемая пещерою Монтесиноса, куда ты проник, совершив таким образом уготованный тебе подвиг, на который только ты с необоримою твоею отвагою и изумительною стойкостью и мог решиться. Следуй же за мною, досточтимый сеньор, я хочу показать тебе диковины, таящиеся в прозрачном этом замке, коего я – алькайд и постоянный главный хранитель, ибо я и есть Монтесинос, по имени которого названа эта пещера».

Как скоро он мне сказал, что он Монтесинос, я спросил его, правду ли молвят о нем у нас наверху, будто он маленьким кинжалом вырезал сердце из груди близкого своего друга Дурандарта и – как завещал, умирая, сам Дурандарт, – отнес его сердце сеньоре Белерме. Старец ответил, что все это правда, за исключением кинжала, ибо то был не маленький кинжал, а трехгранный стилет, острее шила.

– Верно, это был стилет работы севильца Рамона де Осес, – вмешался тут Санчо Панса.

– Не знаю, – отвечал Дон Кихот, – думаю, что нет: ведь Рамон де Осес жил недавно, а Ронсевальская битва, когда и случилось это несчастье, происходила назад тому много лет, и вообще изыскания эти излишни, они не изменяют и не нарушают истинного хода событий.

– Справедливо, – согласился студент, – продолжайте же, сеньор Дон Кихот, я слушаю вас с величайшим удовольствием.

– А я с не меньшим рассказываю, – подхватил Дон Кихот. – Итак, почтенный Монтесинос повел меня в хрустальный дворец, и там, внизу, в прохладной до чрезвычайности зале, сплошь отделанной алебастром, я увидел гробницу, в высшей степени искусно высеченную из мрамора, на которой, вытянувшись во весь рост, лежал рыцарь, но не из меди, не из мрамора и не из яшмы, как обыкновенно бывает на гробницах, а из самых настоящих костей и плоти; правая его рука (как мне показалось, довольно волосатая и мускулистая, что является признаком недюжинной силы) лежала на сердце. Прежде нежели я успел о чем-либо спросить Монтесиноса, тот, заметив, что я с удивлением рассматриваю лежащего на гробнице, молвил: «Это и есть мой друг Дурандарт, цвет и зерцало всех влюбленных и отважных рыцарей своего времени. Его, как и многих других рыцарей и дам, околдовал Мерлин, французский волшебник, а о Мерлине говорят, будто он сын дьявола, мне же сдается, что сын-то он, может, и не сын, но что он самого дьявола, как говорится, за пояс заткнет. Как и для чего он нас околдовал – ничего не известно, однако ж со временем это узнается, и время это, мне думается, недалеко. Одно меня удивляет: я знаю так же твердо, как то, что сейчас не ночь, а день, что Дурандарт свои дни скончал у меня на руках и что после его смерти я собственными руками вырезал его сердце, и весом оно было, право, фунта в два, – ведь, по мнению естествоиспытателей, у кого сердце большое, тот отличается большею храбростью, нежели человек с маленьким сердцем. А коли все это так и рыцарь этот подлинно умер, то как же он может время от времени стенать и вздыхать, словно живой?»

Тут несчастный Дурандарт с тяжким стоном заговорил:

Монтесинос, брат мой милый!
Я просил тебя пред смертью,
Чтобы у меня, как только
Испущу я вздох последний,
Сердце из груди извлек
Ты кинжалом иль стилетом
И отнес его в подарок

Столь любимой мной Белерме.

Выслушав это, почтенный Монтесинос опустился перед страждущим рыцарем на колени и со слезами на глазах молвил:

«О сеньор Дурандарт, дражайший брат мой! Я уже исполнил то, что ты мне повелел в злосчастный день нашего поражения: с величайшею осторожностью вырезал я твое сердце, так что ни одной частицы его не осталось у тебя в груди, вытер его кружевным платочком, предал твое тело земле, а затем, пролив столько слез, что они омочили мои руки и смыли кровь, обагрившую их, когда я погружал их тебе в грудь, стремглав пустился с твоим сердцем во Францию. И вот тебе еще одно доказательство, милый моему сердцу брат: в первом же селении, встретившемся мне на пути после того, как я выбрался из Ронсеваля, я слегка посыпал твое сердце солью, чтобы не пошел от него тлетворный дух и чтобы я мог поднести его сеньоре Белерме если не в свежем, то, по крайности, в засоленном виде, но сеньору Белерму вместе с тобою, со мною, с оруженосцем твоим Гуадианою, с дуэньей Руидерой и семью ее дочерьми и двумя племянницами и вместе с многими другими твоими друзьями и знакомыми долгие годы держит здесь, в заколдованном царстве, мудрый Мерлин, и хотя более пятисот лет протекло уже с того времени, однако никто из нас доселе не умер, – только нет с нами Руидеры, ее дочерей и племянниц: они так неутешно плакали, что Мерлин, как видно из жалости, превратил их в лагуны, и теперь в мире живых, в частности в провинции Ламанчской, их называют лагунами Руидеры. Семь дочерей принадлежат королю Испании, а две племянницы – рыцарям святейшего ордена, именуемого орденом Иоанна Крестителя. Оруженосец твой Гуадиана, вместе со всеми нами оплакивавший горестный твой удел, был превращен в реку, названную его именем, но как скоро эта река достигла земной поверхности и увидела солнце мира горнего, то ее столь глубокая охватила скорбь от разлуки с тобою, что она снова ушла в недра земли, однако ж река не может не следовать естественному своему течению, а потому время от времени она выходит наружу и показывает себя солнцу и людям. Помянутые лагуны питают ее своими водами, и, вобрав их в себя вместе с многими другими, в нее впадающими, она величаво и пышно катит волны свои в Португалию. Однако ж всюду на своем пути выказывает она грусть и тоску, и нет у нее желания разводить в своих водах вкусных и дорогих рыб, – в отличие от золотого Тахо она разводит лишь колючих и несъедобных. Все же, что я тебе сейчас говорю, о мой брат, я рассказывал тебе неоднократно, а как ты мне не отвечаешь, то я полагаю, что ты мне не веришь или же не слышишь меня, и одному богу известно, как я от этого страдаю. Сегодня я принес тебе вести, которые если и не утишат сердечную твою муку, то, во всяком случае, не усугубят ее. Да будет тебе известно, что пред тобою – тебе стоит лишь открыть очи, и ты это узришь – тот самый великий рыцарь, о котором столько пророчествовал мудрый Мерлин, тот самый Дон Кихот Ламанчский, который вновь и с большею пользою, нежели в века протекшие, возродил в наш век давно забытое странствующее рыцарство, и может статься, что с его помощью и под его покровительством мы будем расколдованы, ибо великие дела великим людям и суждены».

«А коли этого не случится, – слабым и глухим голосом произнес страждущий Дурандарт, – коли этого не случится, то я, о брат мой, скажу тебе так: „Что ж, проиграли так проиграли – валяй сдавай опять“.

И, повернувшись на бок, он снова погрузился в обычное свое молчание и ни слова более не примолвил. Тут послышались громкие вопли и причитания вместе с глубокими стонами и горестными рыданиями. Я обернулся и сквозь хрустальные стены увидел, что в другой зале в два ряда шествуют красавицы девушки, все в траурном одеянии и, по турецкому обычаю, в белых тюрбанах. Шествие замыкала некая сеньора (о том, что это именно сеньора, свидетельствовала горделивая ее осанка), также в траурном одеянии и в длинном, ниспадающем до полу белом покрывале. Тюрбан ее был вдвое выше самого большого тюрбана у любой другой девушки; брови у нее были сросшиеся, нос слегка курносый, рот большой, но губы яркие; когда она время от времени приоткрывала рот, то видно было, что зубы у нее

редкие и не весьма ровные, хотя и белые, как очищенный миндаль; в руках она держала тонкое полотенце, а в нем, сколько я мог разглядеть, было безжизненное и ссохшееся, как мумия, сердце. Монтесинос мне пояснил, что участницы шествия – это служанки Дурандарта и Белермы, которых здесь держат заколдованными вместе с их господами, а та, что шествует позади и держит в руках сердце, завернутое в полотенце, – это, мол, и есть сеньора Белерма: она и ее служанки несколько раз в неделю устраивают подобные шествия и поют или, вернее, поднимают плач над телом и над измученным сердцем Дурандарта. Если же, мол, она показалась мне слегка уродливою или, во всяком случае, не такою прекрасною, как о ней трубит молва, то причиною тому тягостные ночи и еще более тягостные дни, которые проводит она в этом заколдованном замке, о чем свидетельствуют большие круги у нее под глазами и мертвенный цвет лица.

«И бледность, и синяки под глазами, – продолжал Монтесинос, – это у нее вовсе не от месячных недомоганий, обычных у женщин, потому что вот уже сколько месяцев, и даже лет, у нее на подобные недомогания и намека не было, – нет, это от боли, которую испытывает ее сердце при виде другого, вечно пребывающего у нее в руках и воскрешающего и вызывающего в ее памяти беду злосчастного ее возлюбленного, а не будь этого, вряд ли могла бы с нею соперничать по красоте, прелести и изяществу сама великая Дульсинея Тобосская, которая столь широкою пользуется известностью во всей нашей округе, да и во всем мире».

«Ну, уж это вы оставьте, сеньор дон Монтесинос, – прервал я его, – пожалуйста, рассказывайте свою историю, как должно. Известно, что всякое сравнение всегда неприятно, следственно, незачем кого бы то ни было с кем-либо сравнивать. Несравненная Дульсинея Тобосская – сама по себе, а сеньора донья Белерма – также сама по себе была и самою по себе останется, и довольно об этом».

На это он мне сказал:

«Сеньор Дон Кихот! Извините меня, ваша милость. Признаюсь, я дал маху и неудачно выразился насчет того, что сеньора Дульсинея вряд ли могла бы соперничать с сеньорою Белермою, ибо по некоторым признакам я смекнул, что вы – ее рыцарь, так что мне надлежало прикусить язык, а уж коли сравнивать ее, так разве с самим небом».

После того как я выслушал извинения великого Монтесиноса, в груди моей утихло волнение, которое я ощутил, когда мою госпожу стали при мне сравнивать с Белермой.

– А все же я диву даюсь, – заговорил Санчо, – как это вы, ваша милость, не насели на того старикашку, не переломали ему все кости и не выщипали бороду до последнего волоска.

– Нет, друг Санчо, – возразил Дон Кихот, – мне не к лицу было это делать, ибо все мы обязаны уважать старцев, наипаче же старцев-рыцарей и притом заколдованных. Могу ручаться, что в течение всей дальнейшей нашей беседы мы друг друга ничем не задели.

Тут вмешался студент:

– Я не могу взять в толк, сеньор Дон Кихот, как это вы, ваша милость, за такой короткий срок успели столько увидеть в подземелье, о стольких вещах переговорить и разведать.

– Как долго я там пробыл? – осведомился Дон Кихот.

– Немногим более часа, – отвечал Санчо.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот, – там при мне свечерело, а потом я встречал рассвет, и так до трех раз ночь сменялась днем, следственно, по моим расчетам, я целых три дня провел в этих отдаленных и укрытых от нашего взора местах.

– Мой господин, как видно, молвит правду, – объявил Санчо, – коли все это происходило с ним по волшебству, значит, может быть и так: по-нашему это час, а там, внизу, это считается за трое суток.

– Вполне возможно, – согласился Дон Кихот.

– А что вы за это время кушали, государь мой? – спросил студент.

– Маковой росинки во рту не было, – отвечал Дон Кихот, – но я и не почувствовал голода.

– А заколдованные едят? – допытывался студент.

– Нет, не едят и не испражняются, – отвечал Дон Кихот, – хотя, впрочем, существует мнение, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы.

– Ну, а спать-то заколдованные спят, сеньор? – спросил Санчо.

– Разумеется, что нет, – отвечал Дон Кихот, – по крайней мере, за те трое суток, которые я провел с ними, никто из них ни на мгновение не сомкнул очей, и я равным образом.

– Здесь как раз к месту будет пословица, – заметил Санчо: – «Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты». Вы, ваша милость, подружились с заколдованными постниками и полуночниками, стало быть, нечего и удивляться, что вы тоже не ели и не спали, пока с ними водились. Но только вы уж меня простите, ваша милость: господь меня возьми (чуть было не брякнул: черт меня возьми), если я всему, что вы нам тут нарассказали, хоть на волос верю.

– Как так? – воскликнул студент. – Неужто сеньор Дон Кихот станет лгать? Да он при всем желании не успел бы сочинить и придумать такую тьму небывальщин.

– Я не думаю, чтобы мой господин лгал, – возразил Санчо.

– Так что же ты думаешь? – спросил Дон Кихот.

– Я думаю, – отвечал Санчо, – что Мерлин или же другие волшебники, заколдовавшие всю эту ораву, которую вы, ваша милость, будто бы видели и с которою вы там, внизу, проводили время, забили и заморочили вам голову всей этой канителью, о которой вы уже рассказали, и всем тем, что вам осталось еще досказать.

– Все это могло бы быть, Санчо, – возразил Дон Кихот, – однако ж этого не было, – все, о чем я рассказывал, я видел собственными глазами и осязал своими руками. Нет, правда, что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что среди прочих бесчисленных достопримечательностей и диковин, которые мне показал Монтесинос и о которых со временем, в продолжение нашего путешествия, я тебе обстоятельно расскажу, ибо не все они будут сейчас к месту, я увидел трех поселянок? Они прыгали и резвились, словно козочки, и едва я на них взглянул, как сей же час узнал в одной из них несравненную Дульсинею Тобосскую, а в двух других – тех самых поселянок, что ехали вместе с нею и коих мы встретили близ Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знает ли он их, он ответил, что нет, но что, по его разумению, это какие-то заколдованные знатные сеньоры, которые совсем недавно на этом лугу появились, и что это, мол, не должно меня удивлять, ибо в этих краях пребывают многие другие сеньоры как времен протекших, так и времен нынешних, и сеньорам этим чародеи придали самые разнообразные и необыкновенные облики, среди каковых женщин он, Монтесинос, узнал королеву Джиневру и придворную ее даму Кинтаньону, ту самую, чье вино пил Ланцелот,

Из Британии приехав.

Санчо слушал этот рассказ, и ему казалось, что он сейчас спятит или лопнет от смеха; кто-кто, а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсинеи, сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка, и обратился к нему Санчо с такими словами:

– При неблагоприятных обстоятельствах и вовсе уж не в пору и в злосчастный день спустились вы, дорогой мой хозяин, в подземное царство, и не в добрый час повстречались вы с сеньором Монтесиносом, который так вас обморочил. Сидели бы вы, ваша милость, тут, наверху, не теряли разума, какой вам дарован от бога, всех поучали бы и ежеминутно давали советы, а теперь вот и порете чушь несусветную.

– Я тебя хорошо знаю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – а потому не обращаю внимания на твои слова.

– А я – на слова вашей милости, – отрезал Санчо, – хотя бы вы меня изувечили, хотя бы вы меня прикончили за те слова, которые я вам уже сказал и которые намереваюсь сказать, если только из ваших слов не будет явствовать, что вы исправились и взялись за ум. Но пока еще мы с вами не поссорились, скажите, пожалуйста, ваша милость: как, по каким приметам узнали вы нашу хозяйку? Был ли у вас с ней разговор, и о чем вы ее спрашивали, и что она вам отвечала?

– Узнал я ее вот по какой примете, – отвечал Дон Кихот. – На ней было то же самое платье, как и в тот день, когда ты мне ее показал. Я было заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и так припустилась, что ее и стрела бы не догнала. Я хотел броситься за нею и, разумеется, бросился бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя, – это, мол, все равно бесполезно, да и потом мне пора уже было вылезать из пещеры. Еще Монтесинос сказал, что по прошествии некоторого времени он меня уведомит, что мне надобно предпринять, дабы расколдовать его самого, Белерму, Дурандарта и всех остальных. Но из того, что мне пришлось там видеть и наблюдать, особенно меня огорчило следующее: когда Монтесинос вел со мной этот разговор, ко мне неприметно приблизилась одна из двух спутниц злосчастной Дульсинеи и с полными слез глазами, тихим и прерывающимся от волнения голосом молвила:

«Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует вашей милости руки и настоятельно просит ей сообщить, все ли вы в добром здоровье; а как она крайнюю нужду терпит, то и обращается к вашей милости еще с одною покорнейшею просьбою: не соблаговолите ли вы ссудить ей под залог этой еще совсем новенькой юбки, что у меня в руках, шесть или же сколько можно реалов, – она дает честное слово, что весьма скоро вам их возвратит».

Просьба эта удивила меня и озадачила, и, обратясь к сеньору Монтесиносу, я у него спросил:

«Сеньор Монтесинос! Разве заколдованные знатные особы терпят нужду?»

Он же мне на это ответил:

«Поверьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанчский: то, что мы зовем нуждою, встречается всюду, на все решительно распространяется, всех затрагивает и не щадит даже заколдованных, и если сеньора Дульсинея Тобосская просит у вас взаймы шесть реалов и предлагает, сколько я понимаю, недурной залог, то у вас нет оснований ей отказать; без сомнения, она находится в крайне стесненных обстоятельствах».

«Залога я не возьму, – сказал я, – но и требуемой суммы дать не могу, оттого что у меня у самого всего только четыре реала».

Я протянул эти деньги подруге Дульсинеи (те самые деньги, которые ты, Санчо, на днях мне выдал для раздачи нищим, если таковые встретятся нам по дороге) и сказал:

«Передайте, моя милая, госпоже вашей, что ее затруднения терзают мне душу и что я хотел бы стать Фуггером,[99] дабы из таковых затруднений ее вывести. Уведомьте ее также, что из-за того, что я лишен возможности любоваться очаровательной ее наружностью и наслаждаться остроумными ее речами, я не могу и не должен быть в добром здоровье и что я покорнейше прошу ее милость, не соблаговолит ли она повидаться и побеседовать с преданным своим слугою и удрученным рыцарем. И еще скажите ей, что в один прекрасный день до нее дойдет весть, что я дал обет и клятву по примеру маркиза Мантуанского, который, найдя в горах племянника своего Балдуина при последнем издыхании, поклялся отомстить за него, а пока-де не отомстит, обходиться во время трапезы без скатерти, и еще много разных мелочей он к этому присовокупил. Так же точно и я поклянусь никогда не отдыхать и еще добросовестнее, чем инфант дон Педро Португальский,[100] объезжать все семь частей света до тех пор, пока я сеньору Дульсинею Тобосскую не расколдую».

«Вы еще и не то обязаны сделать для моей госпожи», – сказала мне на это девица.

Тут она схватила четыре реала и вместо поклона подпрыгнула на два локтя от земли.

– Боже милосердный! – громогласно возопил тут Санчо. – Статочное ли это дело, чтобы чародеи и волшебные чары вошли на белом свете в такую силу? И как это им удалось превратить ясный ум моего господина в ни с чем не сообразное помешательство? Ах, сеньор, сеньор! Ради создателя, придите вы, ваша милость, в себя, поберегите свою честь и не давайте веры всем этим пустякам, от которых у вас помутился и повредился разум!

– Ты так рассуждаешь, Санчо, оттого что желаешь мне добра, – сказал Дон Кихот, – но как ты в житейских делах еще не искушен, то все, что тебе мало-мальски трудно постигнуть, ты считаешь невероятным. Повторяю, однако ж, что со временем я расскажу тебе еще кое о чем из того, что мне довелось под землею увидеть, и тогда ты поверишь нынешнему моему рассказу, коего правдивость бесспорна и несомненна.



Глава XXIV,

в коей речь идет о всяких безделицах, столь же несуразных, сколь и необходимых для правильного понимания великой этой истории



Переводчик великой этой истории объявляет, что, дойдя до главы о приключении в пещере Монтесиноса, он обнаружил на полях подлинника следующие собственноручные примечания первого автора этой истории Сида Ахмета Бен-инхали:

«Я не могу взять в толк и заставить себя поверить, что с доблестным Дон Кихотом все именно так и происходило, как о том в предыдущей главе повествуется, и вот почему: все приключения, случавшиеся с ним до сих пор, были вероятны и правдоподобны, но приключение в пещере в высшей степени несообразно, и у меня нет никаких оснований признать его истинность. И все же я далек от мысли, чтобы Дон Кихот, правдивейший идальго и благороднейший рыцарь своего времени, мог солгать; он не солгал бы, даже если б весь был изранен стрелами. С другой стороны, повествовал и рассказывал он об этом приключении со всеми вышеприведенными подробностями, и я полагаю, что за такой короткий срок он не мог сочинить всю эту кучу нелепостей; словом, если это приключение покажется вымышленным, то я тут ни при чем, и я его описываю, не утверждая, что оно выдумано, но и не высказываясь за его достоверность. Ты, читатель, понеже ты человек разумный, сам суди обо всем, как тебе будет угодно, мне же нельзя и не должно что-либо к этому прибавлять; впрочем, передают за верное, будто перед самой своей кончиной и смертью Дон Кихот от этого приключения отрекся и объявил, что он сам его выдумал, ибо ему казалось, что оно вполне соответствует тем приключениям, о коих он читал в романах, и вполне согласуется с ними». А дальше Сид Ахмет Бен-инхали говорит следующее:

Студент подивился как дерзости Санчо Пансы, так и долготерпению его господина, и рассудил, что мягкость, которую выказал в сем случае Дон Кихот, объясняется радостью свидания с сеньорою Дульсинеей Тобосскою, хотя бы и заколдованною, потому что, вообще говоря, за такие слова и рассуждения Санчо Пансу следовало бы вздуть, – студенту и правда показалось, что Санчо вел себя со своим господином несколько нахально; обратился же студент к Дон Кихоту с такими словами:

– Признаюсь, сеньор Дон Кихот Ламанчский, я совершил с вашей милостью в высшей степени удачное путешествие, потому что я из него извлек четыре вещи. Во-первых, я познакомился с вашей милостью, что почитаю за великое для себя счастье. Во-вторых, я узнал, что находится в пещере Монтесиноса и откуда произошли Гуадиана и лагуны Руидеры, а это мне нужно для моего *Испанского Овидия,* над которым я теперь тружусь. В-третьих, я удостоверился в древнем происхождении игральных карт – во всяком случае, при Карле Великом они уже были в ходу, что явствует из слов вашей милости, ибо вы сказали, что после длинной речи Монтесиноса Дурандарт, пробудившись, молвил: «Проиграли так проиграли – валяй сдавай опять». А ведь заколдованный не мог бы знать подобные выражения и обороты речи, если бы они еще до того, как его околдовали, не употреблялись во Франции при вышеупомянутом императоре Карле Великом. Справка же эта мне пригодится для другой книги, которую я составляю, а именно: *Дополнение к Вергилию Полидору касательно изобретений во времена древние,* – я склонен думать, что в своем сочинении Вергилий Полидор забыл сказать о картах, а я о них скажу, и это будет иметь большое значение, особливо если я сошлюсь на столь почтенный и достоверный источник, как сеньор Дурандарт. В-четвертых, я получил точные сведения о происхождении реки Гуадианы, а ведь до сих пор оно было неизвестно.

– Вы совершенно правы, ваша милость, – молвил Дон Кихот, – однако ж мне бы хотелось знать, кому вы намерены посвятить свои книги, если только, господь даст, вам позволят их напечатать, в чем я, однако же, сомневаюсь.

– В Испании всегда найдутся сеньоры и гранды, которым их можно было бы посвятить, – отвечал студент.

– Их не так много, – возразил Дон Кихот, – и дело состоит не в том, что они таких посвящений не заслуживают, а в том, что они их не принимают, дабы не почитать себя обязанными вознаграждать как должно авторов за их труд и любезность. Впрочем, я знаю одно

высокопоставленное лицо,[101] которое может заменить всех, кто отказывается от посвящений, и если б я принялся подробно его превосходство описывать, то, пожалуй, не в одном благородном сердце зашевелилась бы зависть, но мы отложим этот разговор до более подходящего времени, а теперь давайте поразмыслим, где бы нам переночевать.

– Неподалеку отсюда находится пустынь, где живет некий пустынник, – сообщил студент. – Говорят, прежде он был солдатом, о нем идет молва, что он добрый христианин, человек мудрый и весьма отзывчивый. Недалеко от пустыни стоит маленький домик, – он сам его и построил, и хотя помещение невелико, однако ж постояльцам есть где расположиться.

– А нет ли случайно у этого пустынника кур? – осведомился Санчо.

– Немногие отшельники обходятся ныне без кур, – отвечал Дон Кихот, – нынешние отшельники нимало не похожи на тех, которые спасались в пустыне египетской и прикрывались пальмовыми листьями, а питались кореньями. Однако ж не поймите меня так, что, отзываясь с похвалою о прежних пустынниках, я не хвалю нынешних, – я лишь хочу сказать, что ныне пустынножительство не сопряжено с такими строгостями и лишениями, как прежде, но из этого не следует, что нынешние пустынники дурны; напротив того, по мне, они все хороши, и если даже взять худший случай, все равно лицемер, притворяющийся добродетельным, меньше зла творит, нежели откровенный грешник.

Продолжая такой разговор, они увидели, что навстречу им кто-то быстро шагает и гонит мула, навьюченного копьями и алебардами. Поравнявшись с ними, путник поклонился и пошел дальше. Дон Кихот же окликнул его:

– Остановитесь, добрый человек! Вы идете, должно полагать, быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

– Я не могу останавливаться, сеньор, – возразил незнакомец, – оружие, которое, как видите, я везу, понадобится завтра же, и я не имею права останавливаться, а засим прощайте. Если же вам угодно знать, зачем я его везу, то, было бы вам известно, я собираюсь ночевать на постоялом дворе близ пустыни, так что если вы едете туда же, то мы встретимся, и я вам расскажу чудеса. А пока еще раз будьте здоровы.

И незнакомец так погнал мула, что Дон Кихот не успел даже спросить, что за чудеса собирается он рассказать. А как Дон Кихот был человек любопытный и жадный до новостей, то и велел он немедленно трогаться и, не заезжая в пустынь, куда его звал студент, ехать ночевать на постоялый двор.

Как сказано, так и сделано: все трое сели верхами, поехали прямиком к постоялому двору и прибыли туда еще засветло. Студент все же предложил Дон Кихоту заехать к пустыннику и промочить горло. Стоило Санчо Пансе это услышать, как он уже поворотил своего серого, и его примеру последовали Дон Кихот и студент, но, видно, злая судьба нарочно для Санчо устроила так, что пустынника на ту пору не оказалось дома, о чем им сообщила послушница, которую они застали в пустыни. Они спросили у нее вина подороже; она ответила, что ее хозяин вина не держит, а вот если им угодно простой воды по дешевой цене, то она с превеликой охотой, дескать, их напоит.

– Если б мне хотелось воды, то по дороге я бы напился из любого колодца, – заметил Санчо. – Ах, свадьба Камачо и дом – полная чаша у дона Дьего! Как часто я буду вас вспоминать!

С тем они и покинули пустынь и поехали на постоялый двор, а немного погодя увидели юношу: он шел впереди, однако ж не весьма быстро, и они нагнали его. Он нес на плече шпагу, а на шпаге – то ли узел, то ли сверток, по-видимому с одеждой: должно полагать, там были шаровары, накидка и несколько сорочек, ибо на нем была лишь куртка из бархата, отдаленно напоминавшего атлас, выпущенная из-под нее рубашка, шелковые чулки и с тупыми носками башмаки, какие носят в столице; на вид он казался лет восемнадцати-девятнадцати, лицо у него было веселое, движения ловкие. Чтобы нескучно было идти, он распевал

сегидильи.[102] Когда те трое его нагнали, он допевал одну из своих сегидилий, и студент запомнил ее наизусть:

Нужда тебя придавит, вот драться и пойдешь.

Не стал бы я солдатом, будь в кошельке хоть грош.

Первым заговорил с ним Дон Кихот; он сказал:

– Вы путешествуете совсем налегке, красавец мой. Куда же это вы? Если вам нетрудно, ответьте, пожалуйста.

Юноша ему на это сказал:

– Путешествую я так налегке, во-первых, из-за жары, во-вторых, по бедности, а иду я на войну.

– Жара – это другое дело, но при чем тут бедность? – спросил Дон Кихот.

– Сеньор! – отвечал юнец. – В узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные с этой курткой. Если я изношу их в пути, то мне не в чем будет щеголять в городе, а купить новые не на что. Потому-то, а также чтоб было попрохладнее, я и путешествую в таком виде, а направляюсь я в расположение пехотных частей, миль за двенадцать отсюда, там меня припишут к какой-нибудь части, а уж оттуда нас на чем-нибудь да переправят в гавань: говорят, вернее всего, погрузка на корабли будет в Картахене. И я предпочитаю пойти на войну и чтоб моим хозяином и господином был сам король, чем служить у какого-нибудь столичного голодранца.

– По всей вероятности, прежняя служба дала вашей милости какие-нибудь льготы? – осведомился студент.

– Если б я состоял на службе у испанского гранда или же у другой знатной особы, я бы, конечно, их получил, – отвечал молодой человек. – Кто служит у хороших господ, те и правда получают льготы: их прямо из людской производят в знаменщики, а то и в капитаны, либо они получают хорошие наградные, а вот я-то на свое несчастье вечно попадал к любителям обивать чужие пороги да ко всяким выскочкам без роду и без племени и состоял у них на прескверных харчах и на таком ничтожном жалованье, что половина его уходила на крахмал для воротничков, и это было бы просто чудо, если б такой слуга – искатель счастья, как я, в конце концов доискался до чего-нибудь путного.

– А скажите на милость, друг мой, – сказал Дон Кихот, – неужели вы так и не выслужили себе ливрею?

– У меня их было две, – отвечал слуга, – но когда послушник, не принявши пострига, уходит из монастыря, с него снимают рясу и возвращают ему прежнее его одеяние, так же точно и мои господа возвращали мне мое платье; покончат, бывало, с делами в столице, соберутся домой и сей же час возьмут у меня ливрею, – ведь давали-то они мне ее, только чтобы пыль в глаза пустить.

– Вот уж, подлинно, *spilorceria*,[103] как говорят итальянцы, – сказал Дон Кихот. – Однако ж со всем тем это великое счастье, что вы покинули столицу с такою доброю целью, ибо нет на свете ничего более почетного и полезного, чем послужить прежде всего богу, а затем своему королю и природному господину, особливо на поприще военном, на котором скорей, нежели на поприще учености, можно если не разбогатеть, то, во всяком случае, прославиться, на что мне уже неоднократно приходилось указывать, и пусть благодаря учености основано больше майоратов,[104] нежели благодаря искусству военному, а все же военные в чем-то, бог их знает – в чем именно, выше ученых, и черт их знает, сколько в них этого самого блеску, которым они и отличаются от всех прочих. Я советую вам хорошенько запомнить то, что я сейчас скажу, ибо это вам будет весьма полезно и послужит утешением в невзгодах, а именно: гоните от себя всякую мысль о могущих вас постигнуть несчастьях, ибо худшее из всех несчастий – смерть, а коль скоро смерть на поле брани – славная смерть, значит, для вас

наилучшее из всех несчастий – это умереть. Доблестного римского императора Юлия Цезаря однажды спросили, какая из всех смертей лучше, – он ответил, что всего лучше смерть внезапная, мгновенная и непредвиденная, и хотя он ответил, как язычник, истинного бога не знающий, все же он хорошо сказал, ибо этим он дал понять, что свободен от слабостей человеческих. Пусть даже во время первой же битвы и схватки грянет орудийный залп или взорвется мина и вы погибнете, – что ж такого? Все равно умирать, ничего не поделаешь. По мнению же Теренция,[105] воин, павший в бою, благороднее спасшегося бегством, и только тот воин прославится, который оказывает полное повиновение всем своим начальникам. И еще примите в соображение, сын мой, что солдату приличнее пахнуть порохом, нежели мускусом, и что если старость застигнет вас на этом благородном поприще, то хотя бы вы были изранены, изувечены и хромы, все равно это будет почтенная старость, и даже бедность вас не унизит, тем более что теперь уже принимаются меры, чтобы старые и увечные воины получали помощь и содержание, ибо нехорошо поступать с ними, как обыкновенно поступают с неграми: когда негры состарятся и не могут более служить, господа дают им вольную и отпускают и, под видом вольноотпущенников выгоняя их из дому, на самом деле отдают в рабство голоду, от которого никто, кроме смерти, освободить их не властен. Вот и все, что я хотел вам сказать, а теперь садитесь на круп моего коня: я довезу вас до постоялого двора, и там вы с нами отужинаете, а завтра поедете дальше, и пошли вам бог счастливый путь, коего заслуживают ваши благие намерения.

Юнец отказался воссесть на круп, но отужинать вместе на постоялом дворе согласился, а Санчо между тем рассуждал сам с собой: «Боже, спаси моего господина! Как же это так выходит: только что человек рассказывал про пещеру Монтесиноса невероятный вздор, а зато сейчас наговорил столько умных вещей? Ну да ладно, там видно будет».

Уже стемнело, когда они добрались до постоялого двора, и, к радости Санчо, Дон Кихот принял его не как обыкновенно – за некий замок, а за самый настоящий постоялый двор. Едва лишь они переступили порог, Дон Кихот спросил хозяина, здесь ли тот человек, который вез алебарды и копья; хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает мула. Студент и Санчо поставили туда же своих ослов, а Росинанту была отведена лучшая кормушка и лучшее место в стойле.



Глава XXV,

в коей завязывается приключение с ослиным ревом и забавное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы



Дон Кихот, как говорится, спал и видел, нельзя ли поскорей послушать и разузнать про чудеса, о которых ему обещал рассказать человек, везший оружие. Он пошел в направлении, указанном ему хозяином, и в самом деле там его отыскал и попросил не откладывать, а непременно сию же минуту поведать то, о чем он его спрашивал дорогою. Человек же ему на это сказал:

– Рассказывать о таких чудесах должно сидя и на досуге. Дайте мне, ваша милость, господин хороший, задать корм моей животине, а потом я вам расскажу такие вещи, что вы диву дадитесь.

– Коли дело только за этим, то я вам сейчас помогу, – молвил Дон Кихот.

И он тут же начал просеивать овес и чистить кормушку, человек же, тронутый подобным смирением, изъявил полную готовность рассказать то, о чем его просили, и, усевшись на скамье у ворот, рядом с Дон Кихотом, и обращаясь к почтенному собранию в лице студента, юного слуги, Санчо Пансы и хозяина постоялого двора, начал свой рассказ так:

– Было бы вам известно, ваши милости, что в четырех с половиной милях отсюда в одном селении случилось так, что у рехидора[106] пропал осел, а всему виной – плутни хитрой девчонки, его служанки, но об этом долго рассказывать, и сколько ни старался рехидор найти осла, все было напрасно. Прошло около двух недель с тех пор, как пропал осел, – так, по крайности, говорят и рассказывают в деревне, – и вот однажды стоит потерпевший рехидор на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор, его односельчанин, и говорит: «Готовь мне, любезный друг, подарок за радостную весть: твой осел отыскался». – «Подарок за мной, любезный друг, и при этом хороший, – молвил тот, – только прежде скажи, где же он отыскался». – «Я его видел нынче утром в лесу, без седла и без всякой упряжи, – сказал другой рехидор, – и до того он отощал, что жалость берет на него глядеть. Хотел было я пригнать его к тебе, да он так одичал и такой стал пугливый, что только я к нему подошел, а уж он наутек и прямо в самую чащу. Ежели хочешь, пойдем поищем вдвоем, только сперва дай мне отвести домой мою ослицу – я сей же час возвращусь». – «Ты меня этим весьма одолжишь, – сказал хозяин осла, – я постараюсь отплатить тебе тою же монетою». Так же точно и с такими же подробностями рассказывают про этот случай все, кому он известен доподлинно. Коротко говоря, два рехидора рука с рукою отправились пешком в лес, однако ж в той части леса и на том месте, где они рассчитывали найти осла, его не оказалось, и хотя они все кругом обыскали,

но он так и не объявился. Наконец, обнаружив, что осла нигде нет, рехидор, который видел его утром, сказал потерпевшему: «Послушай, любезный друг: я придумал одну вещь, теперь мы, вне всякого сомнения, найдем эту тварь, хотя бы она запряталась в глубь земли, а не то что в глубь леса: ведь я чудесно умею реветь ослом, и если только и ты немножко умеешь, то наше дело в шляпе». – «Ты говоришь: немножко, любезный друг? – воскликнул первый рехидор. – Да меня по части рева, истинный бог, никто не перещеголяет, даже сами ослы». – «Сейчас мы это увидим, – молвил второй рехидор. – Я вот как надумал: ты пойдешь по лесу в одну сторону, а я – в другую, и так мы его обойдем кругом и время от времени будем реветь, то ты, то я, а твой осел, если только он в лесу, уж верно, услышит нас и отзовется». На это хозяин осла ему сказал: «Признаюсь, любезный друг, прекрасная эта мысль делает честь твоему великому уму». Тут они по уговору разошлись в разные стороны, и нужно же было случиться так, что заревели они почти одновременно; полагая же, что осел сыскался, ибо каждый из них был обманут ревом другого, они бросились друг другу навстречу, и, увидев второго рехидора, рехидор, потерявший осла, воскликнул: «Неужто, любезный друг, это не осел ревел?» – «Нет, это я ревел», – отвечал тот. «В таком случае, любезный друг, – продолжал хозяин осла, – между тобою и ослом по части рева нет решительно никакой разницы, – я, по крайней мере, никогда не слыхал, чтобы так искусно подражали». – «Эти похвалы и превозношения более подобают и приличествуют тебе, любезный друг, нежели мне, – отозвался тот, кто все это затеял. – Клянусь создателем, ты дашь два очка вперед наилучшему и самому опытному ревуну на свете: звук у тебя высокий, ты выдерживаешь темп и не сбиваешься с такта, ревешь на разные лады и часто их меняешь. Одним словом, я признаю себя побежденным и за то, что ты высоко держал знамя изумительного своего искусства, отдаю тебе пальму первенства». – «Ну так я тебе на это скажу, – молвил хозяин осла, – что отныне я буду себя больше ценить и уважать, буду думать, что и я на что-нибудь гожусь, коли у меня такой дар. Правда, я и сам знал, что реву недурно, однако ж до сих пор мне ни от кого не приходилось слышать, что мой рев – это верх совершенства». – «А я тебе на это вот что скажу, – подхватил второй рехидор, – много редких способностей гибнет на свете и не находит должного себе применения, оттого что люди не умеют пользоваться ими». – «Но ведь наши способности, – возразил потерпевший, – могут сослужить нам службу разве вот в таких случаях, как сегодня да и то дай бог, чтоб они нам помогли». Тут они опять разошлись в разные стороны и принялись реветь; при этом они то и дело ошибались и бежали друг другу навстречу и наконец порешили в качестве условного знака чтобы не было сомнений, что это они ревут, а не осел, реветь два раза подряд. Так, поминутно издавая двукратный рев, облазили они весь лес, а пропавший осел все не откликался. Да и как ему, бедному и горемычному, было откликнуться, коли в конце концов рехидоры нашли его в самой чащобе съеденного волками? И, увидев его, хозяин сказал: «А я-то удивлялся, что он не отзывается, – живой он бы отозвался, чуть только нас заслышал: на то он и осел. Полагаю, однако же, любезный друг, что труды мои по розыску осла, хотя я его и не застал в живых, не пропали даром, ибо зато я слышал преискусный твой рев». – «Коли так, то слава богу, – молвил второй рехидор. – Впрочем, мы с тобой один другого стоим». Так, несолоно хлебавши и только охрипнув, возвратились они к себе в деревню и рассказали друзьям своим, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, причем каждый расхваливал искусный рев другого, так что слух о том прошел и распространился по всем окрестным селениям, а дьявол, который никогда не дремлет, потому он любитель всюду сеять и разжигать раздоры и смуту, распускать сплетни и делать из мухи слона, распорядился и устроил так, что чуть только кто из другого села завидит наших, сейчас давай реветь ослом: это они над рехидорами нашими насмехаются. И мальчишки туда же, – словом сказать, попали мы в лапы и в пасть ко всем чертям ада: ослиный рев перекатывается из села в село, и жителей нашей, ревучей, деревни все распознают так же легко, как распознают негров и отличают их от белых. И так далеко зашла злополучная эта шутка, что осмеянные уже не раз в полном боевом порядке и с оружием в руках ополчались на насмешников, и тогда им все бывает нипочем. Мне думается, мои

односельчане, из ревучей то есть деревни, завтра-послезавтра выступят в поход против другого села, которое в двух милях от нас и которое особенно над нами издевается, и, чтобы нам было с чем выступить, я закупил алебарды и копья. Вот про эти-то чудеса я и обещал вам рассказать, а коли это, по-вашему, не чудеса, то не взыщите: других я не знаю.

На этом добрый крестьянин кончил свой рассказ, и тут во двор вошел человек, на котором все – и чулки, и шаровары, и куртка – было из верблюжьей шерсти, и громко спросил:

– Почтенный хозяин! Можно у вас остановиться? Со мной обезьянка-прорицательница и раек, представляющий освобождение Мелисендры.[107]

– Фу, черт, да ведь это сеньор маэсе Педро! – воскликнул хозяин. – Стало быть, мы нынче вечером повеселимся.

Мы забыли сказать, что у вышеназванного маэсе Педро левый глаз и почти половина щеки были заклеены пластырем из зеленой тафты – признак того, что вся эта сторона его лица была поражена какой-то болезнью. А хозяин между тем продолжал:

– Милости просим, сеньор маэсе Педро! Где же ваша обезьянка и раек? Что-то я их не вижу.

– Они тут, близко, – отвечала верблюжья шерсть, – я пошел вперед узнать, можно ли остановиться.

– Да я бы самому герцогу Альбе отказал, а уж сеньора маэсе Педро пустил, – молвил хозяин. – Везите скорей и обезьянку, и раек, нынче у меня такие постояльцы, которые посмотрят и раек, и фокусы обезьянки и с удовольствием вам заплатят.

– Вот и отлично, а цену я сбавлю, – подхватил пластырь, – пусть только оплатят расходы, я и тем буду доволен. Сейчас пойду схожу за тележкой с куклами и за обезьянкой.

С этими словами он вышел за ворота.

Дон Кихот немедленно обратился к хозяину с вопросом, кто таков маэсе Педро и что это за раек и обезьянка. Хозяин же ему ответил так:

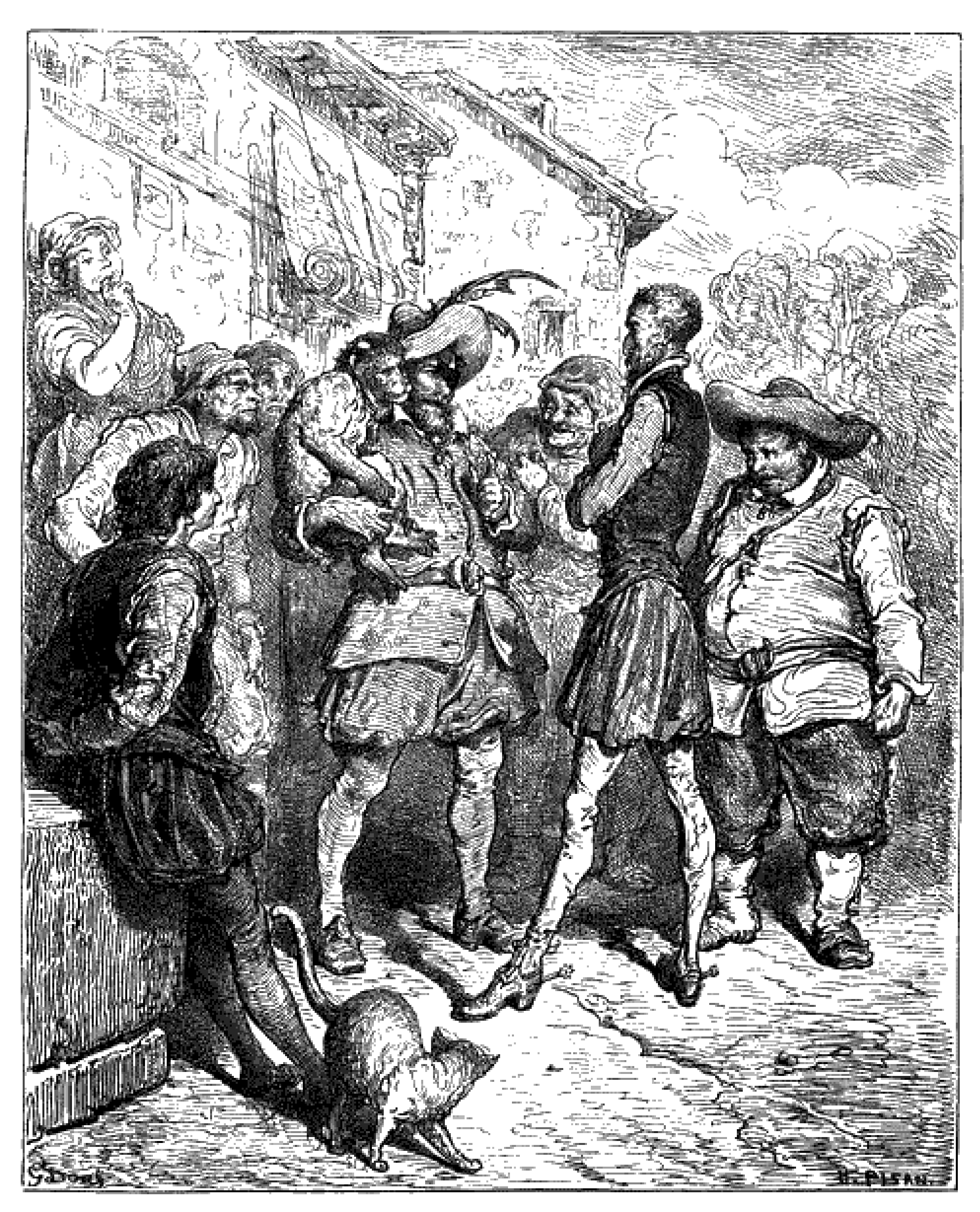
– Это знаменитый раешник, который уже давно разъезжает по арагонской Ламанче и дает представление, как славный дон Гайферос освободил Мелисендру, – должно заметить, что наши края не запомнят столь любопытной и столь ловко разыгранной историйки. Возит он с собой и обезьянку, да такую искусницу, каких редко можно встретить не только среди обезьян, но даже среди людей: когда ее о чем-нибудь спрашивают, она со вниманием слушает, затем вскакивает на плечо к своему хозяину и, нагнувшись к самому его уху, шепчет ответ, а маэсе Педро сейчас же оглашает его. Кстати сказать, прошлое она знает лучше, нежели будущее, и хоть она и не всегда угадывает, а все-таки промахи у нее редки, так что мы все уверены, что в ней сидит черт. Если обезьянка вам ответит, то есть, я хочу сказать, если хозяин ответит за нее после того, как она пошепчет ему на ухо, то за свой вопрос вы должны уплатить два реала, – оттого-то считается, что у маэсе Педро денег куры не клюют. Он человек *galante*,[108] как выражаются в Италии, и *bon compano*,[109] живет в свое удовольствие, говорит за шестерых, пьет за двенадцать – и все за счет своего языка, обезьянки и балаганчика.

Тем временем возвратился маэсе Педро и прикатил тележку, в которой помещался раек и большая бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем, довольно миловидная; и, едва увидев ее, Дон Кихот обратился к ней с вопросом:

– Ну-с, госпожа прорицательница, так как же? Что с нами сбудется? Сейчас вы получите два реала.

Засим он велел Санчо выдать два реала маэсе Педро, а маэсе Педро так за нее ответил и сказал:

– Сеньор! Это животное не дает ответов и ничего не сообщает касательно будущего, вот о прошлом ей кое-что известно и немного – о настоящем.



– Ей-же-ей, – воскликнул Санчо, – я ломаного гроша не дам за то, чтоб мне угадали мое прошлое! Потому кто же знает его лучше, чем я? И платить за то, чтобы мне сказали, что я и сам знаю, это глупее глупого. Но если уж тут знают и настоящее, то вот, пожалуйста, мои два реала, а теперь скажите, ваше высокообезьянство, что поделывает сейчас моя жена Тереса Панса и чем она занимается?

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

– Я не желаю получать вознаграждение вперед, прежде должно его заработать.

Тут он дважды хлопнул себя правой рукой по левому плечу, вслед за тем обезьянка одним прыжком взобралась к нему, нагнулась к его уху и начала быстро-быстро щелкать зубами, а немного погодя другим таким же прыжком очутилась на земле, и тогда маэсе Педро с чрезвычайною поспешностью опустился перед Дон Кихотом на колени и, обнимая его ноги, заговорил:

– Я обнимаю ноги ваши так же точно, как обнял бы Геркулесовы столпы,[110] о бесподобный восстановитель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь Дон

Кихот Ламанчский, чьи заслуги выше всяких похвал, ободрение слабых, опора падающих, рука помощи павшим, оплот и утешение всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо пришел в изумление, студент был растерян, юный слуга поражен, крестьянин из ревущей деревни опешил, хозяин недоумевал – словом, речи раешника ошеломили всех, а он между тем продолжал:

– А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего рыцаря в мире, возрадуйся, ибо добрая жена твоя Тереса в добром здравии, и в настоящее время она чешет лен, а чтобы у тебя не оставалось сомнений, я еще прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, и, чтоб веселей было работать, вина в нем отнюдь не на донышке.

– Этому я охотно верю, – сказал Санчо. – Тереса у меня сущий клад, и, не будь она такой ревнивой, я не променял бы ее даже на великаншу Андадону,[111] а уж на что она была, как говорит мой господин, молодчина и на все руки. И потом еще моя Тереса из тех, у которых нынче густо, а завтра пусто.

– Вот теперь я могу сказать: кто много читает и много странствует, тот много видит и много знает, – вмешался тут Дон Кихот. – Говорю я это вот к чему: какие уверения были бы достаточны, чтобы меня уверить, что есть на свете обезьяны, которые прорицают так, как я только что слышал своими собственными ушами? Ведь я тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорила эта славная тварь, только она меня несколько перехвалила, однако ж, каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно создало меня с душою мягкою и сострадательною, склонною всем делать добро и никому не делать зла.

– Будь я при деньгах, – сказал юный слуга, – я спросил бы госпожу обезьяну, что со мной случится за время будущих моих странствий.

На это маэсе Педро, уже вставший к этому времени с колен, ответил так:

– Я уже вам сказал, что этот зверек не предсказывает будущего, а если б предсказывал, то вам и деньги не понадобились бы, – я бы от любого барыша отказался, только чтоб угодить присутствующему здесь сеньору Дон Кихоту. А теперь, из уважения к нему и чтоб доставить ему удовольствие, я пойду приготовлю раек и безвозмездно позабавлю всех, на постоялом дворе находящихся.

При этих словах хозяин обрадовался чрезвычайно и указал, где лучше всего расставить раек, что в ту же секунду и было сделано.

Дон Кихот был не весьма доволен прорицаниями обезьянки, ибо держался того мнения, что обезьяне не подобает угадывать ни будущее, ни прошедшее, а потому, в то время как маэсе Педро расставлял раек, он отвел Санчо в угол конюшни, чтобы никто не мог слышать его, и сказал:

– Послушай, Санчо: я со вниманием изучал необычайное искусство этой обезьяны и пришел к убеждению, что у маэсе Педро, ее хозяина, конечно, имеется секретный союз с дьяволом, давно обеими сторонами апробированный и вступивший в силу де-факто.

– Ну, ежели колпак-то давно не стиранный, да еще и дьявольский, то, наверно, он очень грязный, – заключил Санчо, – но только какая прибыль маэсе Педро от таких колпаков?

– Ты меня не понял, Санчо: я хотел сказать, что он, вероятно, вступил в соглашение с дьяволом, благодаря чему обезьяна получает эту способность, хозяин же зарабатывает себе на жизнь, а затем, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту душу, ибо врагу рода человеческого только этого и надобно. И навело меня на эту мысль то обстоятельство, что обезьяна угадывает лишь прошедшее и настоящее, а дьявольская премудрость ни на что другое и не распространяется: насчет будущего у дьявола бывают только догадки, да и то не всегда, – одному богу дано знать времена и сроки, и для него не существует ни прошлого, ни будущего, для него все – настоящее. А когда так, то ясно, что устами обезьяны говорит сам дьявол, и я поражаюсь, как это на нее до сих пор не донесли священной инквизиции, не сняли

с нее допроса и не допытались, по чьему внушению она прорицает: ведь я уверен, что она не астролог и что ни она, ни ее хозяин не чертят и не умеют чертить так называемые астрологические фигуры, ныне получившие в Испании столь широкое распространение, что всякие никудышные бабенки, мальчишки на побегушках и самые дешевые сапожники воображают, будто составить гороскоп легче легкого, и своим враньем и невежеством подрывают доверие к этой поразительно точной науке. Мне известно, что некая дама спросила одного такого гороскопщика, будут ли у комнатной ее собачки щенки, и если да, то сколько и какой масти. Сеньор астролог, составив гороскоп, ответил ей, что у собачки родятся три щенка: один зеленый, другой красный, а третий разномастный, при условии, однако ж, если означенная сучка понесет между одиннадцатью и двенадцатью часами дня или же ночи и притом в понедельник или же в субботу, но случилось так, что спустя два дня сучка околела от расстройства желудка, а сеньор прорицатель был признан в этом городке за искуснейшего вещуна, – так величают всех или почти всех прорицателей.

– Со всем тем, – молвил Санчо, – мне бы хотелось, чтоб ваша милость велела маэсе Педро спросить обезьяну, правда ли то, что с вашею милостью происходило в пещере Монтесиноса, – ведь я стою на том, не в обиду вашей милости будь сказано, что все это было наваждение и обман, в лучшем случае – сновидение.

– Весьма возможно, – сказал Дон Кихот, – и я последую твоему совету, хотя и не без некоторых угрызений совести.

В это время за Дон Кихотом зашел маэсе Педро и сказал, что раек в надлежащем порядке и что он просит его милость пойти посмотреть, – раек, мол, стоит того. Дон Кихот поведал ему свое желание и попросил сей же час обратиться к обезьяне с вопросом: во сне случались с ним разные происшествия в пещере Монтесиноса или наяву, ему же, дескать, кажется, что тут было всякое. Маэсе Педро, ни слова не говоря, сходил за обезьяной, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал:

– Послушайте, госпожа обезьяна: этот рыцарь желает знать, правда или нет то, что с ним происходило в так называемой пещере Монтесиноса.

Тут он подал свой обычный знак, обезьяна вскочила к нему на левое плечо и как будто бы что-то пошептала ему на ухо, а затем маэсе Педро объявил:

– Обезьяна говорит, что часть того, чему ваша милость явилась свидетелем и что с вами в указанной пещере произошло, – недостоверно, часть же правдоподобна, и к вышесказанному она ничего больше прибавить не может. Буде же ваша милость желает знать подробнее, то в ближайшую пятницу она вам ответит на все вопросы, а сейчас ее способность угадывать кончилась и раньше пятницы, как она сказала, к ней не вернется.

– А что я вам говорил? – воскликнул Санчо. – У меня в голове не укладывалось, чтобы все, или хотя бы половина того, что вы, государь мой, нарассказали о событиях в пещере, оказалось правдой.

– Будущее покажет, Санчо, – возразил Дон Кихот, – всеразоблачающее время ничего не оставляет под спудом – все вытаскивает на солнышко, даже из недр земли. А теперь довольно об этом, пойдем посмотрим раек доброго маэсе Педро: мне сдается, что он готовит какую-нибудь новинку.

– Какую-нибудь? – воскликнул маэсе Педро. – В моем райке шестьдесят тысяч новинок. Смею вас уверить, сеньор Дон Кихот, что мой раек – одна из самых любопытных вещей на свете, а *когда не верите мне, верьте делам моим.* Итак, мы начинаем, час поздний, а нам немало предстоит еще сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо повиновались и пошли смотреть раек, а раек уже был установлен, открыт, и вокруг него горели восковые свечи, от коих он весь сверкал ярким светом. Маэсе Педро спрятался за сценой, ибо ему надлежало передвигать куклы, а впереди расположился

мальчуган, помощник маэсе Педро, в обязанности коего входило истолковывать и разъяснять тайны сего зрелища и показывать палочкой на куклы.

И вот когда иные обитатели постоялого двора уселись, иные остались стоять прямо против райка, а Дон Кихот, Санчо, юный слуга и студент заняли лучшие места, помощник начал объяснять, а что именно – это услышит или узнает тот, кто послушает мальчугана или же прочтет следующую главу.



Глава XXVI,

в коей продолжается забавное приключение с раешником и повествуется о других поистине превосходных вещах



Умолкли все: тирийцы, и троянцы,[112] – я хочу сказать, что зрители, все до одного, так и смотрели в рот истолкователю балаганных чудес, и вдруг за сценой послышались звуки множества труб и литавр, загрохотали пушки, однако ж вскоре шум прекратился, и тогда мальчик возвысил голос и начал так:

– Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, целиком взята из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст в уста, так что даже малые ребята знают их на память. В ней рассказывается о том, как сеньор дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру, которая находилась в плену у мавров в Испании, в городе Сансуэнье, – так в те времена называлась Сарагоса. Посмотрите, ваши милости: вот и сам дон Гайферос играет в шашки, как о том поется в романсе:

Игрою в шашки тешится Гайферос,[113]

О Мелисендре и не вспоминает.

Но тут появляется другое действующее лицо с короной на голове и скипетром в руке: это император Карл Великий, мнимый отец Мелисендры; осердившись на зятя за бездействие и беспечность, он начинает его отчитывать. Обратите внимание, как он горячится и возмущается: можно подумать, что вот сейчас он стукнет его скипетром по голове, а иные сочинители утверждают, что он и правда ему всыпал, и очень даже лихо. Он долго ему внушал, что если тот не сделает попытки освободить свою супругу, то опозорит себя, а затем будто бы примолвил:

Я сказал, а вам решать.[114]

Теперь вы видите, ваши милости, что император поворачивается к дону Гайферосу спиной и уходит, а теперь смотрите, как дон Гайферос в запальчивости и с Досады швыряет и доску и шашки, велит немедленно подать ему оружие и обращается к своему двоюродному брату Роланду с просьбой дать ему на время меч Дюрандаль,[115] но Роланд не соглашается, а вместо этого изъявляет желание разделить с доном Гайферосом тяжесть этого предприятия, однако ж смельчак с негодованием отказывается от его услуг: он, мол, один сумеет вызволить свою супругу, даже если б она находилась глубоко под землею, и тут он вооружается и сей же час пускается в путь. Теперь, ваши милости, обратите свои взоры вон на ту башню; предполагается, что это одна из башен Сарагосского замка, ныне известного под названием Альхаферии, а дама в мавританском одеянии, которая стоит на балконе, – это и есть несравненная Мелисендра; она часто смотрит отсюда на дорогу, ведущую во Францию, вспоминает Париж, своего супруга и тем утешается в своем заточении. А теперь перед вами новое дело, пожалуй что и неслыханное. Вы видите этого мавра? Вот он, крадучись, втихомолку, приложив палец к губам, приближается сзади к Мелисендре. Ну, а теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы и как она сейчас же начинает отплевываться, вытирает губы рукавом белой своей сорочки, сетует и с горя рвет на себе прекрасные свои волосы, как будто это они повинны в злодеянии. Теперь поглядите вон на того важного мавра, что стоит на галерее: это король Сансуэньи Марсилий; он был свидетелем дерзости мавра, и хотя мавр – его родственник и приближенный, он сей же час велит его схватить, дать ему двести палок и провести по многолюдным улицам города[116]

С приставами впереди[117]

И со стражниками сзади.

Смотрите: вот уже идут приводить приговор в исполнение, а между тем преступление было совершено только что. Это объясняется тем, что мавры в отличие от нас не знают ни содержания под стражей впредь до окончания следствия, ни вручения копии обвинительного акта.



– Малыш, малыш! – вскричал тут Дон Кихот. – Веди свою историю по прямой линии и оставь кривые и поперечные. Для того чтобы вывести истину на свет божий, существует множество следствий и расследствий.

А из-за сцены послышался голос маэсе Педро:

– Мальчик! Не суйся, куда тебя не спрашивают, и слушайся этого сеньора, – так-то будет дело лучше. Знай свою мелодию, а контрапунктом не увлекайся, помни: где тонко, там и рвется.

– Ладно, – сказал мальчуган и продолжал: – Вон тот всадник в гасконском плаще – это и есть дон Гайферос, а вон его супруга: отомщенная за дерзость влюбленного в нее мавра, она с прояснившимся и более спокойным выражением лица выходит на балкон, переговаривается оттуда со своим супругом, полагая, что это некий странник, и обращается к нему с теми самыми словами и речами, которые приводятся в известном романсе, например:

Будете в стране французской,

Про Гайфероса узнайте,

и которые я не собираюсь приводить полностью, ибо многословие обыкновенно вызывает скуку. Достаточно видеть, как Гайферос распахивает плащ, и по тому, какие радостные движения делает Мелисендра, мы сейчас догадываемся, что она его узнала, еще мгновение – и она спускается с балкона, чтобы сесть на коня и умчаться с милым своим супругом. Но – о ужас! – подол ее юбки зацепился за железный выступ балкона, и Мелисендра повисла в воздухе. Но смотрите, как милосердное небо выручает нас в самых опасных положениях: дон Гайферос бросается к ней и, не обращая внимания на то, что ее роскошная юбка может порваться, схватывает ее, одним махом опускает на землю, затем, не медля ни секунды, сажает верхом, по-мужски, на коня и велит ей держаться крепче и, чтобы не упасть, обеими руками обхватить его стан, а то ведь сеньора Мелисендра к такому роду верховой езды не привыкла. Но чу! Это конь заржал от радости, что у него такая благородная и прекрасная ноша: его господин и его госпожа. Вот они поворачивают, выезжают из города и, счастливые и ликующие, направляют путь в Париж. В добрый час, о истинно любящая чета, – не чета всем влюбленным на свете! Возвращайтесь благополучно в желанную вашу отчизну и да не преградит Фортуна счастливого вашего пути! В мире и тишине проводите, на радость друзьям и родственникам, положенные вам дни, и пусть этих дней будет у вас столько же, сколько у Нестора![118]

Тут снова подал голос маэсе Педро:

– Проще, малыш, не пари так высоко, напыщенность всегда неприятна.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

– От взора любопытных, которые обыкновенно все замечают, не укрылось, как Мелисендра спускалась с балкона и садилась на коня, о чем они и донесли королю Марсилию, и король велел сей же час бить тревогу. Глядите, как все это у них быстро: вот уже на всех мечетях ударили в колокола, и город дрожит от звона.

– Ну, уж это положим! – вмешался тут Дон Кихот. – Насчет колоколов маэсе Педро оплошал: у мавров не бывает колоколов, а есть литавры и нечто вроде наших гобоев, а чтобы в Сансуэнье звонили колокола – это явный и невообразимый вздор.

После таких слов маэсе Педро перестал звонить и сказал:

– Не придирайтесь, сеньор Дон Кихот, к мелочам и не требуйте совершенства, – все равно вы его нигде не найдете. Разве у нас сплошь да рядом не играют комедий, где все – сплошная нелепость и бессмыслица? И, однако ж, успехом они пользуются чрезвычайным, и зрители в совершенном восторге им рукоплещут. Продолжай, мальчик, и никого не слушай, пусть в этом моем представлении окажется столько же несообразностей, сколько песчинок на дне морском, – у меня одна забота: набить кошелек.

– Ваша правда, – согласился Дон Кихот.

А мальчуган продолжал:

– Смотрите, сколько блестящей конницы выступает из города и устремляется в погоню за христианскою четою, а трубы трубят, а литавры гремят, а барабаны бьют. Я боюсь, что мавры настигнут беглецов, привяжут к хвосту коня и приведут обратно, – ужасное зрелище!

А Дон Кихот, увидев перед собой всю эту мавританщину и услышав этот грохот, рассудил за благо помочь беглецам; и, вскочив с места, он заговорил громким голосом:

– Пока я жив, я не допущу, чтобы в моем присутствии столь коварно обходились с таким славным рыцарем и неустрашимым любовником, каков дон Гайферос. Стойте, низкие твари! Не смейте за ним гнаться, не то я вызову вас на бой!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил меч, одним прыжком очутился возле балагана и с невиданною быстротою и яростью стал осыпать ударами кукольных мавров: одних сбрасывал наземь, другим отсекал головы, этих калечил, тех рубил на куски и в самый разгар сражения так хватил наотмашь, что, когда бы маэсе Педро не пригнулся, не съежился и не притаился,

Дон Кихот снес бы ему голову с такою же легкостью, как если б она у него была из марципана. Маэсе Педро кричал:

– Остановитесь, сеньор Дон Кихот! Примите в рассуждение, что вы опрокидываете, рубите и убиваете не настоящих мавров, а картонные фигурки! Вот грех тяжкий! Ведь из-за него все мое имущество погибнет и пойдет прахом.

А Дон Кихот по-прежнему щедро расточал удары и наносил их то обеими руками, то плашмя, то наискось. Коротко говоря, он в два счета опрокинул раек и искромсал и искрошил все куклы и все приспособления, король Марсилий был тяжко ранен, а у императора Карла Великого и корона, и голова рассечены надвое. Почтеннейшая публика всполошилась, обезьянка удрала на крышу, студент перепугался, юный слуга струхнул, даже Санчо Пансу объял превеликий страх, ибо, – как он сам уверял, когда буря уже утихла, – он еще ни разу не видел, чтобы его господин так буйствовал. Разбив весь раек наголову, Дон Кихот несколько успокоился и сказал:

– Хотел бы я сейчас посмотреть на тех, которые не верят и не желают верить, что странствующие рыцари приносят людям громадную пользу, – подумайте, что было бы с добрым доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если б меня здесь не оказалось: можно ручаться, что эти собаки теперь уже настигли бы их и причинили им зло. Итак, да здравствует странствующее рыцарство, и да вознесется оно превыше всего, ныне здравствующего на земле!

– Пусть себе здравствует, – дрожащим голосом отозвался тут маэсе Педро, – а мне пора умирать, – я так несчастен, что мог бы сказать вместе с королем Родриго:

Я вчера был властелином[119]

Всей Испании, а ныне

Не владею даже башней.

Еще полчаса, еще полминуты назад я почитал себя владыкою королей и императоров, в моих конюшнях, сундуках и мешках было видимо-невидимо коней и нарядов, а теперь я разорен и унижен, нищ и убог, а главное, у меня больше нет обезьянки, и пока я ее поймаю, у меня, честное слово, глаза на лоб вылезут. И все это из-за безрассудной ярости сеньора рыцаря, а ведь про него говорят, что он ограждает сирот, выпрямляет кривду и творит всякие другие добрые дела, – только на меня одного не распространилось его великодушие, да будет благословен и препрославлен господь бог, сидящий на престоле славы своей. Знать уж, Рыцарю Печального Образа на роду было написано обезобразить моих кукол и опечалить меня самого.

Слова маэсе Педро тронули Санчо Пансу, и он сказал:

– Не плачь, маэсе Педро, и не сокрушайся, а то у меня сердце надрывается. Было бы тебе известно, что мой господин Дон Кихот – христианин ревностный и добросовестный, и если только он поймет, что нанес тебе урон, то непременно пожелает и сумеет уплатить тебе и возместить убытки с лихвою.

– Если б сеньор Дон Кихот уплатил хотя бы за часть перебитых им кукол, то и я остался бы доволен, и совесть его милости была бы чиста, ибо не спасти свою душу тому, кто забрал себе чужое достояние против желания владельца и не вознаградил его.

– То правда, – согласился Дон Кихот, – но мне все же неясно, маэсе Педро, что из вашего достояния я забрал себе.

– Как же не забрали? – воскликнул маэсе Педро. – А эти останки, валяющиеся на этой голой и бесплодной земле, – кто их разбросал и сокрушил, как не грозная сила могучей вашей длани? Чьи же эти тела, как не мои? Чем же я еще кормился, как не ими?

– Теперь я совершенно удостоверился в том, в чем мне уже не раз приходилось удостоверяться, – заговорил Дон Кихот, – а именно, что преследующие меня чародеи

первоначально показывают мне чей-нибудь облик, как он есть на самом деле, а затем подменяют его и превращают во что им заблагорассудится. Послушайте, сеньоры: говорю вам по чистой совести, мне показалось, будто все, что здесь происходит, происходит воистину, что Мелисендра – это Мелисендра, Гайферос – Гайферос, Марсилий – Марсилий, Карл Великий – Карл Великий, вот почему во мне пробудился гнев, и, дабы исполнить долг странствующего рыцаря, я решился выручить и защитить беглецов и, движимый этим благим намерением, совершил все то, чему вы явились свидетелями. Если же вышло не так, как я хотел, то виноват не я, а преследующие меня злодеи, и хотя я допустил оплошность эту неумышленно, однако ж я сам себя присуждаю к возмещению убытков. Скажите, маэсе Педро, сколько вы хотите за сломанные куклы? Я готов сей же час уплатить вам доброю и имеющею хождение кастильскою монетою.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

– Меньшего я и не ожидал от неслыханной христианской доброты доблестного Дон Кихота Ламанчского, истинного заступника и помощника всех неимущих и обездоленных странных людей, а сеньор хозяин и достоименитый Санчо примут на себя обязанности оценщиков и посредников между вашей милостью и мною и установят, сколько стоят или, вернее, сколько могли стоить поломанные куклы.

Хозяин и Санчо согласились, и маэсе Педро тотчас поднял с земли обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал:

– Всякий подтвердит, что короля уже не воскресить, а посему, с вашего дозволения, я хотел бы получить за его смерть, кончину и успение четыре с половиною реала.

– Дальше, – сказал Дон Кихот.

– Вот за эдакую разрубку сверху донизу, – продолжал маэсе Педро, взявши в руки рассеченного императора Карла Великого, – не много взять пять с четвертью реалов.

– И не мало, – ввернул Санчо.

– Нет, не много, – возразил хозяин. – Я, как посредник, предлагаю: для ровного счета пять.

– Дайте ему все пять с четвертью, – сказал Дон Кихот, – на четверть реала больше или меньше – итог нынешнего достопамятного бедствия от этого не изменится. Только кончайте скорее, маэсе Педро, пора ужинать, мне уже хочется есть.

– За эту безносую и одноглазую куклу, которая прежде была прекрасною Мелисендрою, я прошу по совести два реала двенадцать мараведи, – объявил маэсе Педро.

– Черт меня возьми, – сказал Дон Кихот, – если Мелисендра со своим супругом теперь уже, во всяком случае, не миновала границы Франции: их конь, казалось, не бежал, а летел по воздуху. Так что нечего мне всучивать кота за зайца и показывать какую-то безносую Мелисендру, меж тем как настоящая, если все благополучно, напропалую веселится теперь со своим супругом во Франции. Господь каждому воздает от щедрот своих, сеньор маэсе Педро, нам же надлежит ходить дорогой прямою и не кривить душою. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, видя, что на Дон Кихота опять накатило и он взялся за прежнее, и боясь, как бы он не ускользнул от него, повел такую речь:

– Уж верно, это не Мелисендра, а одна из ее служанок. Дайте мне за нее шестьдесят мараведи, и я почту себя удовлетворенным и щедро вознагражденным.

Так он назначал цену и всем прочим поломанным куклам, каковая цена была потом снижена третейскими судьями, и истец и ответчик помирились в конце концов на сорока реалах и трех четвертях; Санчо тут же их выложил, однако маэсе Педро запросил сверх того еще два реала на прожитие, пока он не разыщет обезьяну.

– Дай ему, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если не на прожитие, так на пропитие, а еще двести реалов я дал бы в награду тому, кто мог бы сказать наверное, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос уже во Франции, в родной семье.

– Никто не мог бы дать вам более точных сведений, чем моя обезьяна, – сказал маэсе Педро, – но теперь ее сам черт не поймает. Впрочем, мне думается, что привязанность к хозяину и голод возьмут свое, и ночью она станет меня искать, а утром мы с нею, бог даст, увидимся.

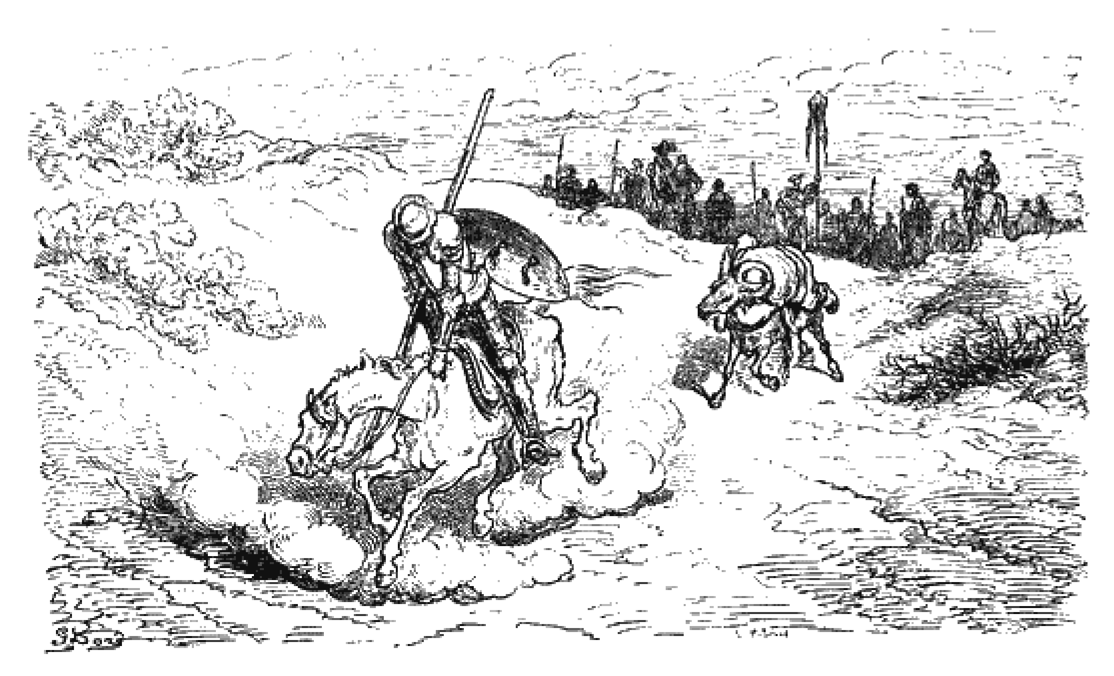
Словом, бой с куклами кончился, и все в мире и согласии поужинали на счет Дон Кихота, коего щедрость была беспредельна.

Еще до рассвета уехал крестьянин с копьями и алебардами, а уже когда совсем рассвело, к Дон Кихоту пришли проститься студент и юный слуга: первый возвращался восвояси, второй намерен был продолжать свой путь, и Дон Кихот дал ему на дорогу двенадцать реалов. Маэсе Педро воздержался от дальнейших препирательств с Дон Кихотом – для этого он слишком хорошо его знал; он поднялся ни свет ни заря и, подобрав останки своего райка и подхватив обезьянку, также отправился искать приключений. Хозяин прежде не был знаком с Дон Кихотом и оттого не мог надивиться как его дурачествам, так и его щедрости. Санчо по распоряжению своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, простившись наконец с хозяином, рыцарь и его оруженосец покинули постоялый двор и тронулись в путь, и до времени мы их оставим, ибо тут уместно будет дать читателю некоторые сведения, необходимые для правильного понимания знаменитой этой истории.



Глава XXVII,

в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал



Сид Ахмет, автор великой этой истории, начинает настоящую главу такими словами: «Клянусь как христианин-католик...», по каковому поводу переводчик замечает, что если Сид Ахмет, будучи мавром (в чем нет оснований сомневаться), клянется как христианин-католик, то это может значить лишь вот что: подобно христианину-католику, который, давая клятву, клянется и должен клясться искренне и говорить только правду, так же точно и он, как если бы он клялся как христианин-католик, будет говорить только правду во всем, что касается Дон Кихота и, в частности, что касается того, кто такие были маэсе Педро и обезьяна-прорицательница, которая своими прорицаниями приводила в изумление все окрестные села. Итак, он говорит, что все, кто читал первую часть этой истории, должны хорошо помнить Хинеса де Пасамонте, которого Дон Кихот в числе других каторжников освободил в Сьерре Морене, за каковое доброе дело эти зловредные и злонравные люди так дурно его отблагодарили и еще хуже ему отплатили. Этот самый Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот назвал Хинесильо де Награбильо, и похитил у Санчо Пансы осла, но в первой части по вине наборщиков выпало объяснение того, каким образом и когда именно он его похитил, отчего многие читатели приходили в недоумение и типографскую ошибку склонны были приписать забывчивости автора. Однако ж на самом деле Хинес выкрал осла из-под спящего Санчо Пансы, применив тот же способ и прием, что и Брунел, который в то время, когда Сакрипант осаждал Альбраку, вытащил у него из-под ног коня, впоследствии же, как о том было сказано, Санчо отобрал осла у Хинеса. Так вот этот самый Хинес, боясь очутиться в руках властей, которые разыскивали его, чтобы наказать за бесконечные мошенничества и преступления, коих числилось за ним столько и коих состав был таков, что он сам написал о них большущий том, – этот самый Хинес положил перебраться в королевство Арагонское, заклеить себе левый глаз и заняться ремеслом раешника, а по этой части, равно как и насчет ловкости рук, был он великий искусник.

У неких христиан, возвращавшихся из берберийского плена,[120] купил он по случаю обезьяну и научил ее по определенному знаку вскакивать к нему на плечо и делать вид, что шепчет ему о чем-то на ухо. И теперь, прежде чем расположиться с обезьяною и балаганчиком в каком-нибудь селе, он в соседнем селе или же вообще у людей осведомленных выспрашивал, что там особенного произошло и с кем именно; все это хорошенько запомнив, он обыкновенно начинал с представления: иной раз покажет одну историйку, в другой раз – другую, но все они были у него потешные, занимательные и пользовавшиеся известностью. После представления

он показывал искусство своей обезьяны, предуведомляя, однако же, зрителей, что она угадывает прошедшее и настоящее, а что насчет будущего она, мол, не мастак. За каждый ответ он взимал два реала, а с некоторых еще дешевле, в зависимости от того, кто задавал вопрос; когда же он заходил к людям, о которых знал всю подноготную, то хотя бы они, не желая платить, ни о чем его не спрашивали, он все равно делал обезьянке знак, а затем объявлял, что она ему сказала то-то и то-то, и попадал как раз в точку. Этим он стяжал себе славу необыкновенную, и все за ним ходили толпой. В иных случаях, будучи человеком находчивым, он придумывал ответы из головы, и ответы весьма подходящие, а как никто к нему не приставал и не придирался, что это, мол, за такая чудесная обезьяна – без промаха и изъяна, то он всем втирал очки и знай себе набивал кошель. Прибыв же на постоялый двор, он тотчас признал Дон Кихота и Санчо Пансу, и благодаря прежнему знакомству с ними для него не составило труда привести в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех прочих обитателей постоялого двора; но это обошлось бы ему недешево, когда бы Дон Кихот, отсекая голову королю Марсилию и уничтожая конницу, как о том было сказано в главе предыдущей, взмахнул мечом чуть ниже.

Вот и все, что требовалось сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Обращаясь же к Дон Кихоту Ламанчскому, должно заметить, что, выехав с постоялого двора, он положил сначала посетить берега реки Эбро и ее окрестности, а затем уже направить путь в город Сарагосу, потому что до турнира оставалось еще много времени. С этой целью он тронулся в путь, и в продолжение двух дней с ним не произошло ничего достойного быть занесенным в летописи, на третий же день, поднимаясь на холм, он услыхал трубный звук, барабанный бой и аркебузные выстрелы. Прежде всего он подумал, что это идут солдаты, и, чтобы посмотреть на них, пришпорил Росинанта и поднялся на верх холма; очутившись же на вершине, он увидел, что у подошвы холма теснится, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных чем попало, как то: копьецами, самострелами, секирами, пиками и алебардами, кое у кого были аркебузы, у многих – круглые щиты. Дон Кихот спустился с холма и подъехал к отряду так близко, что ему хорошо видны были стяги, и он различил их цвета и разобрал украшавшие их эмблемы, из коих одна, обратившая на себя особое его внимание, нарисованная на штандарте или, вернее, на лоскуте белого атласа, весьма натурально изображала маленького ослика с поднятою головою, раскрытою пастью и высунутым языком, – словом, принявшего такое положение и имевшего такой вид, как будто бы он ревет, а вокруг большими буквами было написано следующее двустишие:

Ревели, знать, не без причины

Алькальды на манер ослиный.

Сей отличительный признак навел Дон Кихота на мысль, что собравшийся здесь народ – из села ревущего, и он сказал об этом Санчо и объяснил ему, что написано на штандарте. Дон Кихот еще прибавил, что тот, кто рассказывал ему об этом происшествии, по-видимому, ошибся, утверждая, что ревели ослами два рехидора, а между тем стихи на штандарте гласят, что то были алькальды. Санчо Панса же ему на это сказал:

– Сеньор! Этому не следует придавать особое значение. Очень может быть, что рехидоры, которые тогда ревели по-ослиному, со временем стали алькальдами, а значит, их можно называть и так и этак, тем более что достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел: алькальды или же рехидоры, – важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а зареветь ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего.

Словом, им стало ясно и понятно, что село осмеянное вышло на бой с другим селом, высмеивавшим его, не зная меры и не по-добрососедски.

Дон Кихот двинулся прямо к сельчанам, что для Санчо было весьма огорчительно, ибо не любитель он был такого рода похождений. Отряд, полагая, что это его сторонник, расступился перед Дон Кихотом. Дон Кихот поднял забрало и с видом решительным и независимым

вплотную подъехал к знамени с изображением осла, и тут его окружили военачальники, у коих он вызвал такое же точно удивление, какое вызывал у всех, кто видел его впервые, и удивленно на него уставились. Заметив, что они со вниманием его рассматривают, не заговаривая с ним и ни о чем его не спрашивая, Дон Кихот решился молчанием этим воспользоваться и, нарушив свое собственное, громким голосом заговорил:

– Милостивые государи! Убедительнейше вас прошу не прерывать ту речь, с какою я намерен к вам обратиться, доколе она вам не приестся и не наскучит. Если же наскучит, то мне довольно будет самомалейшего с вашей стороны знака, чтобы наложить печать на уста и придержать язык.

Все объявили, что он волен держать речь и что они охотно его выслушают. Получив дозволение, Дон Кихот продолжал:

– Я, государи мои, странствующий рыцарь, мое поприще есть поприще ратное, мой долг – заступаться за тех, кто в заступлении нуждается, и выручать утесненных. Назад тому несколько дней я узнал о вашем злоключении и о том, что заставляет вас ежеминутно браться за оружие, дабы отметить врагам вашим. И вот, вникнув как должно в суть вашего дела, я пришел к заключению, что согласно правилам о поединке у вас нет оснований почитать себя оскорбленными, ибо частное лицо не может оскорбить целое общество, если только всему этому обществу не брошено обвинение в измене, когда в точности неизвестно, кто именно в измене повинен. Примером тому служит дон Дьего Ордоньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморры, ибо не имел понятия, что в вероломном убийстве короля повинен один лишь Вельидо Дольфос, и потому бросил обвинение всем, и, таким образом, всем надлежало принять на себя ответственность и отплатить за оскорбление. Впрочем, разумеется, сеньор дон Дьего хватил через край и в своем вызове перешел всякие границы, ибо не для чего было вызывать на поединок мертвецов, воду, хлеб, младенцев во чреве матери и всякую мелочь, которая в его вызове значится, ну да уж ничего не поделаешь: расходилась мамаша – ни жив ни мертв папаша, и дядюшке с тетушкой ее не унять. Так вот, стало быть, коль скоро одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство, а тем паче село, то ясно, что незачем мстить за оскорбление, будто бы вам нанесенное, ибо оскорбления-то никакого и нет. Хорошее было бы дело, если бы жители села Ла Релоха[121] поминутно дрались с теми, кто их дразнит часовщиками, а равно и «кастрюльники», «баклажанники», «китоловы», «мыловары» и прочие поселяне, коих клички и прозвища на устах у каждого мальчишки и у всякой мелюзги! Нечего сказать, хорошее было бы дело, если б все эти почтенные граждане обижались на прозвища и мстили, а их шпаги из-за всякого пустяка так и ходили взад-вперед в ножнах, словно выдвижное колено в тромбоне! Нет, нет, сохрани, господи, и помилуй! Мужи благоразумные и государства благоустроенные берутся за оружие, обнажают шпаги и рискуют собою, своею жизнью и достоянием своим только в четырех случаях: во-первых, для защиты нашей католической веры, во-вторых, для защиты собственной жизни, ибо так велит закон божеский и таково наше естественное право, в-третьих, для защиты чести своей, семьи и имущества, в-четвертых, служа королю на бранном поле, когда он ведет войну справедливую, и, если угодно, назовем еще и пятый случай, – его, впрочем, можно считать вторым, – а именно: защита родины своей. К этим пяти основным поводам мы вправе присоединить несколько других, столь же справедливых и разумных поводов, чтобы взяться за оружие, но о тех, кто прибегает к нему из-за какой-то чепухи, которая скорей может служить поводом для смеха и веселого времяпрепровождения, нежели для обиды, можно подумать, что они совершенно лишены здравого смысла. К тому же месть несправедливая (а справедливой мести вообще не существует) противоречит нашей религии, религия же велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас, каковая заповедь представляется трудноисполнимою лишь тем, кто помышляет более о мирском, нежели о божественном, и для кого плоть важнее духа, ибо Иисус Христос, истинный богочеловек, который никогда не лгал и не мог и не может лгать, сказал, давая нам свой закон, что иго его

благо и бремя его легко, а значит, он не мог заповедать нам ничего непосильного. Итак, государи мои, по всем законам божеским и человеческим выходит, что вы должны утихомириться.

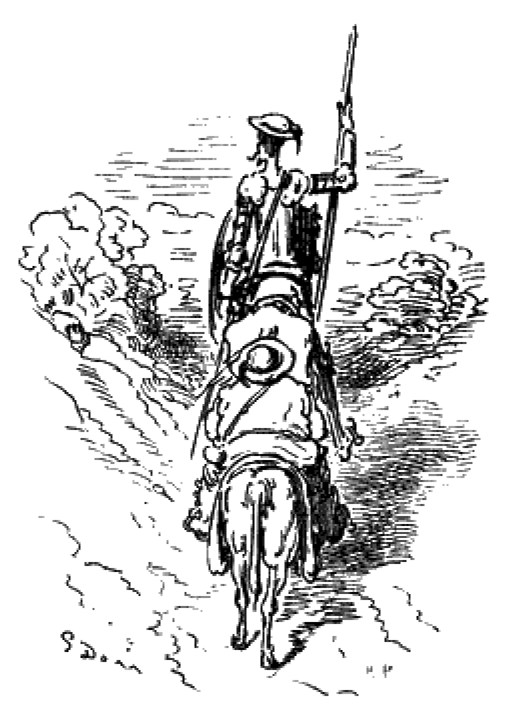
«Пусть меня черти унесут, – сказал тут про себя Санчо, – если мой господин не богослов, во всяком случае, он похож на богослова как две капли воды».

Дон Кихот немного передохнул и, видя, что толпа хранит молчание и намерена слушать его и дальше, хотел было продолжать свою речь, каковую он бы, уж верно, продолжил, когда бы со свойственною ему живостью ума не вмешался Санчо и, видя, что его господин переводит дух, не взял слова вместо него.

– Мой господин Дон Кихот Ламанчский, который одно время называл себя Рыцарем Печального Образа, а ныне именует себя Рыцарем Львов, – весьма образованный идальго, – сказал Санчо, – по части латыни и испанского он любому бакалавру не уступит, во всем, что он говорит и советует, сейчас видно славного воина, и все, как называется, правила-законы поединка он знает назубок, так что вам остается только послушаться его, – ручаюсь, что не прогадаете. Тем более вы сами слышали: из-за одного только ослиного рева обижаться глупо. Помнится, мальчонкой я ревел по-ослиному, когда и сколько мне хотелось, и притом по собственному почину, да так искусно и так похоже, что на мой рев отзывались все ослы, какие только были в деревне, и все-таки меня почитали не за выродка, а за достойного сына своих родителей, людей почтеннейших. Правда, искусству моему завидовали многие деревенские франты, ну да я на них чихал. А коли вам угодно удостовериться, что я не вру, то подождите и послушайте. Ведь это искусство – все равно что плаванье: раз научишься – век не забудешь.

С этими словами он приставил руку к носу и взревел так, что во всех окрестных долинах отозвалось эхо. Но тут один из стоявших подле него поселян, вообразив, что он над ними насмехается, взмахнул дубиной и так его огрел, что не устоял Санчо Панса на ногах и грянулся оземь. Дон Кихот, видя, что с Санчо так дурно обходятся, взял копье наперевес и ринулся на драчуна, но столькие в тот же миг заградили его, что отомстить не представлялось возможным; более того: видя, что градом сыплются камни и что ему грозит великое множество нацеленных на него самострелов и столько же аркебуз, Дон Кихот поворотил Росинанта и во весь его мах помчался прочь от толпы, из глубины души взывая к богу, чтобы он избавил его от опасности, ибо Дон Кихот каждую секунду ждал, что его ранят навылет, и то и дело затаивал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли пуля мимо. Воители, однако ж, удовольствовались зрелищем его бегства и так и не открыли стрельбы. Бедного же Санчо, едва он опамятовался, они положили поперек осла и позволили ему следовать за своим господином, но Санчо был не в состоянии править, и серый сам затрусил вослед за Росинантом, без которого он не мог прожить ни одного мгновения. Дон Кихот между тем отъехал на довольно значительное расстояние, а потом обернулся и, увидев, что Санчо едет за ним, и удостоверившись, что погони нет, решился подождать его.

Воители пробыли там до ночи, а как супостаты их на битву не вышли, то они, радостные и ликующие, возвратились восвояси, и если бы они знали обычаи древних греков, то на этом самом месте непременно сложили бы трофей.[122]



Глава XXVIII

О событиях, которые, как говорит Бен-инхали, станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием



Когда храбрец бежит, значит, он разгадал военную хитрость противника, а мужам благоразумным должно беречь себя для более важных случаев. Справедливость этого положения подтвердилась на примере Дон Кихота. Давши сельчанам полную волю яриться, а рассвирепевшему их отряду – осуществлять недобрые свои намерения, он бросился наутек и, не думая о Санчо и о грозившей ему опасности, скакал до тех пор, пока не почувствовал, что бояться нечего. Санчо, как было сказано, следовал за ним поперек осла. Нагнал он его, будучи уже в полном сознании, и, весь избитый, поколоченный и унылый, свалился с серого к ногам

Росинанта. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, оглядев его с ног до головы и удостоверившись, что тот цел и невредим, довольно сердито заговорил:

– Выбрали же вы время, Санчо, реветь ослом! Откуда вы взяли, что в доме повешенного следует говорить о веревке? И разве дубины – не самый подходящий аккомпанемент для ваших ослиных трелей? Благодарите бога, Санчо, что они перекрестили вас только палкой, а не сотворили *per signum cruces*[123] саблей.

– Я не в состоянии отвечать, – сказал Санчо, – потому у меня такое чувство, будто говорит не язык, а спина. Сядемте верхами, поедемте своей дорогой, и реветь ослом я уж больше не стану, но зато не стану и молчать о том, что странствующие рыцари бегут и оставляют добрых своих оруженосцев на расправу врагам, а те молотят их, словно зерно.

– Отступление не есть бегство, – заметил Дон Кихот. – Надобно тебе знать, Санчо, что смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством, подвиги же безрассудного скорее должны быть приписаны простой удаче, нежели его храбрости. Итак, я признаю, что отступил, но я не бежал, образцом же мне служили многие смельчаки, которые берегли себя для лучших времен, и романы этим полны, но пересказывать их я не стану, ибо и тебе это пользы не принесет, и мне удовольствия не доставит.

Между тем Санчо с помощью Дон Кихота уселся верхом, Дон Кихот сел на Росинанта, и они не спеша двинулись к роще, видневшейся на расстоянии четверти мили. Санчо по временам глубоко вздыхал и тяжко стонал; когда же Дон Кихот осведомился о причине столь мрачного расположения духа, он ответил, что у него отчаянно болит спина от самого кончика позвоночника до затылка – прямо до дурноты.

– Боль эта вызвана, без сомнения, тем, – сказал Дон Кихот, – что дубина, которою тебя ударили, была длинная и прямая, и она охватила все эти участки спины, которые у тебя болят, а если б она пошире взяла, тебе было бы еще больней.

– Клянусь богом, ваша милость разрешила глубокое мое сомнение, да еще в каких прекрасных выражениях все растолковала! – воскликнул Санчо. – Ах ты, будь я неладен, да неужто это такая загадка: отчего у меня болит спина, и требуется еще объяснять, что у меня болят все как есть места, до которых достала дубина? Если б у меня заболела лодыжка, я бы еще, может, призадумался, отчего это она у меня болит, а что у меня болит там, где меня огрели, тут думать да гадать не приходится. Поистине, досточтимый сеньор мой, чужую беду руками разведу, и с каждым днем мне все яснее и яснее становится, что от вашего общества прок невелик: сегодня вы дали меня избить, а потом, опять двадцать пять, начнется подбрасывание на одеяле и прочие детские забавы, нынче я спиной расплатился, а завтра как бы не пришлось расплачиваться глазами. Куда лучше было бы мне, – вот только я сущий варвар, и ничего хорошего от меня не жди, – куда лучше было бы мне, говорю я, вернуться домой, к жене и к деткам, растить их и чем бог пошлет питать, а не плутать следом за вашей милостью по непутевым путям и бездорожным дорогам, мало пивши и совсем ничего не евши. А уж насчет сна и говорить нечего! Отмерьте себе, любезный оруженосец, семь пядей земли, а коли хотите, так еще столько же, тут вы сами себе господин, и располагайтесь со всеми удобствами. Чтоб ему сгореть на костре, чтоб его пепел развеялся по ветру, – я разумею первого человека, который начал городить огород странствующего рыцарства, или уж, по крайности, первого, который пожелал поступить в оруженосцы к таким олухам, какими, наверно, были прежние странствующие рыцари. О теперешних я ничего не говорю: коли ваша милость из их числа, стало быть, я должен относиться к ним с уважением, ибо по части ума и красноречия ваша милость самому черту нос утрет.

– Я охотно побился бы с вами об заклад, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что вот сейчас, когда вы болтаете не переставая, у вас нигде ничего не болит. Говорите, сударь, все, что вам придет в голову и что вертится у вас на языке, – лишь бы у вас ничего не болело, я же безропотно снесу ваши дерзости. Вам не терпится возвратиться домой к жене и детям –

сохрани бог, чтобы я этому препятствовал, деньги мои у вас, высчитайте, сколько дней прошло с того времени, как мы в третий раз выехали из села, прикиньте, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и выдайте себе сами.

– Когда я служил у Томе Карраско, отца бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает, – сказал Санчо, – я зарабатывал два дуката в месяц, не считая харчей, а сколько мне взять с вашей милости – это уж я не знаю, знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у деревенского батрака; ведь и правда: когда мы в батраках, то как бы мы днем ни работали, как бы нам ни приходилось подчас туго, а все-таки вечером мы едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор, как я поступил на службу к вашей милости, я про постель и думать забыл. Если не считать нескольких дней, проведенных у дона Дьего де Миранда, того пиршества, которое я себе устроил из пенок с котлов Камачо, и всего, сколько я наел, напил и наспал в доме Басильо, все остальное время я спал на голой земле, под открытым небом, подвергался всевозможным, как их называют, стихийным бедствиям, питался крохами сыра и корками хлеба и пил воду из ручьев и источников, которые нам попадались в дебрях.

– Признаю, Санчо, что вы говорите истинную правду, – молвил Дон Кихот. – Насколько же, по-вашему, больше, чем Томе Карраско, я должен вам заплатить?

– Я так полагаю, – отвечал Санчо, – что коли ваша милость надбавит по два реала в месяц, то это будет по-божески. Но это – только мое жалованье, а за то, что вы дали слово и обещали ввести меня во владение островом, нужно бы накинуть еще по шести реалов, так что всего-навсего тридцать реалов.

– Отлично, – сказал Дон Кихот, – выехали мы из дому назад тому двадцать пять дней, так вот, Санчо, исходя из той суммы, которую вы себе положили, извольте подвести общий итог, подсчитайте, сколько я вам должен, и, как я уже сказал, уплатите себе собственноручно.

– Э нет, ишь вы какой! – воскликнул Санчо. – Ваша милость очень даже ошибается в своих расчетах, потому за обещанный остров должно считать с того дня, как ваша милость мне его обещала, и по сегодняшний день включительно.

– Сколько же прошло, Санчо, с того времени, как я вам его обещал? – спросил Дон Кихот.

– Если память мне не изменяет, – отвечал Санчо, – уж верно, лет двадцать с хвостиком.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, весело рассмеялся и сказал:

– Да ведь я пробыл в Сьерре Морене и вообще провел в походах около двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров назад тому двадцать лет! Ну так вот что я на это скажу: ты желаешь, чтобы все деньги, которые я сдал тебе на хранение, пошли в счет твоего жалованья, – что ж, если ты этого так хочешь, я тебе их отдам сей же час, бери на здоровье, я предпочитаю остаться нищим, без единого гроша, лишь бы избавиться от такого скверного оруженосца. Но скажи мне, нарушитель установлений, касающихся оруженосцев странствующего рыцарства: где ты видел или же читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря приставал к своему господину: «Сколько вы мне будете платить в месяц?» Погрузись, погрузись, разбойник, негодяй, чудовище, ибо ты именно таков, погрузись, говорю я, в *mare magnum*[124] рыцарских романов, и если тебе попадется, что кто-нибудь из оруженосцев сказал или даже подумал то, что сейчас сказал ты, так можешь вырезать мне эти слова на лбу и вдобавок влепить штук пять хороших щелчков. Итак, подбери поводья и поезжай домой – со мною вместе ты не сделаешь более ни шагу. Вот она, благодарность за мой хлеб! Вот кого я собирался наградить! Вот в ком более скотского, нежели человеческого! Как? В то самое время, когда я намеревался так тебя вознести, чтоб все наперекор твоей жене величали тебя *ваше сиятельство,* ты со мной расстаешься? Как? Ты уезжаешь в то самое время, когда я возымел твердое и бесповоротное решение назначить тебя губернатором лучшего острова в мире? Словом, ты сам когда-то сказал, что некоторых животных медом не кормят. Осел ты есть, ослом ты и будешь, и быть тебе ослом до последнего твоего издыхания, ибо я

уверен, что нить твоей жизни прервется прежде, нежели ты догадаешься и поймешь, что ты скот.

Пока Дон Кихот распекал Санчо, тот не сводил с него глаз и наконец почувствовал такие угрызения совести, что его прошибла слеза, и он упавшим и жалобным голосом заговорил:

– Государь мой! Я сознаю, что мне недостает только хвоста, иначе был бы я полным ослом. Коли вашей милости угодно мне его привесить, то я буду считать, что он висит на месте, и в качестве осла буду служить вам до конца моих дней. Простите меня, ваша милость, и сжальтесь надо мной, – ведь я сущий младенец и худо во всем разбираюсь, и болтаю я много неумышленно: такая уж у меня слабость, а кто грешит да кается, тому грехи отпускаются.

– Я бы удивился, Санчо, если б ты не вставил в свою речь какого-нибудь этакого присловьица. Что ж, коли ты раскаиваешься, то я тебя прощаю, с условием, однако, чтобы впредь ты заботился не только о собственной выгоде, – будь отзывчивее и с бодрою и смелою душою ожидай исполнения моих обещаний, каковое, правда, запаздывает, но коего возможность отнюдь не исключена.

Санчо ответил, что так оно и будет и что он непременно возьмет себя в руки.

Тут они въехали в рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука, – известно, что у этих, равно как и у всех других дерев, ноги всегда бывают, а рук никогда. Санчо провел мучительную ночь, ибо от ночной росы у него еще сильней разболелись отхоленные дубиной места, а Дон Кихот по обыкновению предался своим мечтаниям, однако в конце концов сон смежил вежды обоим, а на заре они двинулись к берегам славного Эбро, и там с ними случилось то, о чем будет рассказано в следующей главе.



Глава XXIX

О славном приключении с заколдованною ладьею



Выехав из рощи, Дон Кихот и Санчо спустя два дня мерным и весьма умеренным шагом добрались до реки Эбро, коей созерцание доставило Дон Кихоту великое удовольствие: он любовался приветными ее берегами, светлыми ее струями, мирным течением полных ее и зеркальных вод, и это увеселяющее взоры зрелище навеяло Дон Кихоту множество отрадных воспоминаний. Особенно живо вспомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса, и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что только часть всех этих происшествий правда, а остальное, мол, обман, он все же склонен был признать их не за обман, а за истину, в противоположность Санчо, который полагал, что все это пустое мечтание. Ехали они, ехали и вдруг заметили лодочку без весел и каких-либо снастей, привязанную к стволу прибрежного дерева. Дон Кихот огляделся по сторонам, но не обнаружил ни одной души; тогда он, недолго думая, соскочил с Росинанта и велел Санчо спрыгнуть с осла и покрепче привязать обоих животных к стволу то ли прибрежного тополя, то ли прибрежной ивы. Санчо осведомился о причине столь скоропалительного спешивания и привязывания. Дон Кихот же ему ответил так:

– Да будет тебе известно, Санчо, что вот эта ладья явно и бесспорно призывает меня и понуждает войти в нее и отправиться на помощь какому-нибудь рыцарю или же другой страждущей знатной особе, которую великое постигло несчастье, ибо это совершенно в духе рыцарских романов и в духе тех волшебников, что в этих романах и рассуждают и действуют: когда кто-нибудь из рыцарей в беде и выручить его может только какой-нибудь другой рыцарь, но их разделяет расстояние в две-три тысячи миль, а то и больше, волшебники сажают этого второго рыцаря на облако или же предоставляют в его распоряжение ладью и мгновенно переправляют по воздуху или же морем туда, где требуется его помощь. Так вот, Санчо, эта ладья причалена здесь с тою же самой целью, и все это такая же правда, как то, что сейчас день, и пока еще не свечерело, привяжи серого и Росинанта – и с богом; я сяду в лодку, даже если меня от этого начнут отговаривать босые братья.

– Коли так, – заговорил Санчо, – и коли ваша милость намерена на каждом шагу делать, можно сказать, глупости, то мне остается только повиноваться и склонить голову – по пословице: «Не пойдешь своему господину наперекор – будет тебе от него на прокорм». Однако для очистки совести осмелюсь доложить, что, по моему разумению, хозяева этой лодки

не какие-нибудь там заколдованные, а просто местные рыбаки: ведь в этой реке водится наилучшая бешенка.

Санчо рассуждал, а сам в это время привязывал четвероногих, к великому своему душевному прискорбию оставляя их под защитой и покровительством волшебников. Дон Кихот ему сказал, чтоб он не огорчался из-за того, что животные остаются якобы на произвол судьбы, ибо тот, кто переправит их самих в столь лонгинквальные области, позаботится и об их животных.

– Я не понимаю, что значит *логикальные,* – сказал Санчо, – отродясь такого слова не слыхивал.

– *Лонгинквальные* – это значит *отдаленные,* – пояснил Дон Кихот, – и не удивительно, что ты этого слова не понял: ты не обязан знать латынь, а ведь есть такие, которые уверяют, что знают ее, на самом же деле понятия о ней не имеют.

– Ну, ладно, привязал, – объявил Санчо. – А теперь что мы будем делать?

– Что будем делать? – сказал Дон Кихот. – Перекрестимся и отдадим якорь, то есть сядем в лодку и перережем причал, коим она прикреплена к берегу.

С этими словами он прыгнул в лодку, Санчо следом за ним, затем была перерезана бечевка, и лодка начала медленно удаляться; и вот когда Санчо увидел, что он уже на расстоянии примерно двух локтей от берега, то в предчувствии неотвратимой гибели задрожал всем телом, но особенно он закручинился, услышав рев осла и увидев, что Росинант из сил выбивается, чтобы сорваться с привязи, и тут он сказал своему господину:

– Осел заревел с тоски по нас, а Росинант старается вырваться на свободу, чтобы потом броситься за нами вдогонку. Будьте спокойны, милые друзья! Я чаю, мы скоро поймем, что покидать вас было чистое сумасбродство, образумимся и вернемся к вам!

И при этом он так горько заплакал, что Дон Кихот в запальчивости и раздражении ему сказал:

– Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из коровьего масла? Разве тебя кто-нибудь преследует, кто-нибудь за тобою гонится, крысиная ты душа, чего тебе недостает, тебе, покоящемуся на лоне изобилия? Может статься, ты шагаешь пеший и босый по Рифейским горам,[125] а не сидишь на скамеечке, будто эрцгерцог, и тебя не уносит спокойное течение прелестной этой реки, откуда мы в скором времени выйдем в открытое море? Э, да мы, кажется, уже вышли в море и проплыли, по крайней мере, семьсот, а то и все восемьсот миль, – будь со мной астролябия,[126] я бы измерил высоту полюса и сказал бы тебе точно, сколько мы с тобой проехали миль. Впрочем, может статься, я в этом ровно ничего не смыслю, но мне кажется, что мы уже проехали или вот-вот проедем линию равноденствия, которая на равном расстоянии от противоположных полюсов пересекает и надвое делит землю.

– А когда мы достигнем этой, как вы ее называете, линии равнодушия, то сколько же мы тогда проедем? – спросил Санчо.

– Много, – отвечал Дон Кихот, – согласно вычислениям Птолемея, величайшего из всех известных нам космографов, поверхность воды и суши на нашей планете равна тремстам шестидесяти градусам, мы же с тобою, достигнув этой линии, проедем как раз половину.

– Вот уж, ей-богу, ваша милость, – молвил Санчо, – нашли кого приводить во свидетели и с кем дружбу водить: с каким-то не то Ни-бе-ни-меем, не то Пустомелей, – сами же вы честите его косоглазым, да еще, если я вас правильно понял, жулябией.

Посмеялся Дон Кихот подобному толкованию имени и рода занятий космографа Птолемея, а также прибора астролябии, и сказал:

– Послушай, Санчо: у тех, которые садятся на корабли в Кадисе и отправляются в Ост-Индию, существует примета, по которой они узнают, что уже миновали упомянутую мною

линию равноденствия: у них разом подыхают вши, сколько бы их ни было, так что потом их на всем корабле ни за какие деньги не сыщешь. А потому, Санчо, поищи-ка у себя на ляжке: коли найдешь какое-нибудь живое существо, то сомнения наши отпадут сами собой, а если не найдешь, значит, мы эту линию уже миновали.

– Нипочем я этому не поверю, – объявил Санчо. – Конечно, я исполню приказание вашей милости, но все-таки не могу взять в толк, зачем нужны такие опыты, коли я собственными глазами вижу, что мы не больше чем на пять локтей отъехали от берега и на два локтя не уклонились в сторону от той точки, где находится наша скотина, потому вон они, Росинант и серый, все на том же месте, и если прикинуть на глазок, как я сейчас делаю, то, ей-ей, мы движемся и продвигаемся вперед муравьиным шагом.

– Ты, Санчо, произведи лучше тот опыт, о котором я тебе говорил, а об остальном не заботься: ведь ты не знаешь, что такое большие круги, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, точки пересечения и расположения светил в небесной и земной сферах. Вот если б ты все это знал или хотя бы даже часть, ты бы отдавал себе полный отчет в том, сколько параллелей мы уже пересекли, сколько знаков видели, сколько созвездий осталось у нас позади и сколько еще остается. И я тебе еще раз говорю: поищи у себя и полови – я убежден, что сейчас ты чище, чем лист белой и гладкой бумаги.

Санчо стал у себя искать и, тихохонько проведя рукой по левой ноге и пощупав под коленкой, поднял голову, взглянул на своего господина и сказал:

– Или этот опыт здесь ни при чем, или мы еще очень далеко от того места, о котором вы говорите.

– Как так? – спросил Дон Кихот. – Разве ты нашел хоть одну?

– Да не одну, а *одних!* – вскричал Санчо.

Тут он стряхнул нечто с пальца и сполоснул руку в воде, между тем лодка медленно скользила по реке, и влекла ее вовсе не какая-нибудь таинственная сила или незримый волшебник, а просто-напросто тихое в ту пору и спокойное течение.

В это самое время глазам их явились большие мельницы, стоявшие посреди реки, и, едва увидев их, Дон Кихот громким голосом сказал Санчо:

– Смотри, смотри! Вон там, друг мой, виднеется то ли город, то ли замок, то ли крепость, в которой, уж верно, находится заключенный рыцарь, а может статься, некая униженная королева, инфанта или принцесса, и вот ради того, чтобы оказать им помощь, я сюда и доставлен.

– О каком, черт побери, городе, о какой крепости и о каком замке вы, государь мой, толкуете? – возопил Санчо. – Разве вы не видите, что это водяные мельницы, на которых мелют зерно?

– Молчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле, – нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсинеи, о ней же все упование мое.

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала продвигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:

– Черти вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размололо в пыль?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – молвил тут Дон Кихот, – что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько страшилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти уроды. Ну, погодите же вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить мукомолам:

– Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице, все равно – какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. Я – Дон Кихот Ламанчский, иначе Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

Сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали неразумные его речи, но так и не поняли их и все пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в воронку, в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустился на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепы, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков. Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких уверток освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

– О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? – воскликнул один из мукомолов. – Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! – сказал себе Дон Кихот. – Стараться просьбами склонить эту сволочь на доброе дело – это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир – клубок козней и противоречивых устремлений. Я же ничего не могу в сем случае поделать».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельницам, молвил:

– Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в это узилище, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столковался с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал им весьма неохотно, заметив при этом:

– Еще одно такое катание в лодочке – и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и все не могли взять в толк, к чему сводились речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим

мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.



Глава XXX

О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей



В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились они к своим четвероногим, особливо Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался,

а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо – в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улепетнуть и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же – серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одеяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники – ее свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

– Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо, не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

– Нашли какого уснастителя! – возразил Санчо. – Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

– За исключением того случая, когда я посылал тебя к сеньоре Дульсинее, – заметил Дон Кихот, – я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере, находясь на службе у меня.

– Ваша правда, – молвил Санчо, – а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

– Я в этом уверен, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

– Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, – это мой господин, а я – его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансою. Так вот этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высокополетному соколичеству и великолепию, и вот, если таковое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

– Поистине, добрый оруженосец, – молвила в ответ сеньора, – ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, – оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но всего более он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не называла, но

это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя – узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

– Скажи, любезный оруженосец: не о твоем ли господине написана книга под заглавием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский* и не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

– Это он и есть, сеньора, – отвечал Санчо, – а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

– Все это меня весьма радует, – объявила герцогиня. – Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала об его посольстве. А как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее об его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним как со странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было подержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями злосчастного Санчо, которого нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те подняли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился – он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

– Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

– Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным, – возразил Дон Кихот. – Даже если б я низринулся на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

– Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! – молвил герцог. – Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

– Нельзя отрицать, напротив, должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слыхал: то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, право, не хуже моей хозяйки, сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

– Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагурящего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя бы несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

– Если добрый Санчо – шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп, – людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо – шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

– И за болтуна, – примолвил Дон Кихот.

– Тем лучше, – подхватил герцог, – великое остроумие с немногословием не уживается. Ну, а сейчас, без лишних слов, милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

– *Рыцарь Львов* должно говорить, ваша светлость, – ввернул Санчо, – кончились все эти образы до безобразы, – теперь только львы.

– Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок, – продолжал герцог, – он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогинею имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту троицу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.



Глава XXXI,

повествующая о многих великих событиях



Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в имении дона Дьего и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

Далее в истории говорится, что еще до того, как все приблизились к летнему дворцу, иначе говоря к замку, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как

должно обходиться с Дон Кихотом, и когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

– Соблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

– Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они или почти все опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И тут он впервые окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Санчо, бросивши серого, увязался было за герцогиней и прошмыгнул в замок, но его начала мучить совесть, что он оставил осла одного, и он приблизился к некоей почтенной дуэнье,[127]также вышедшей встречать герцогиню, и шепнул ей:

– Сеньора Гонсалес, или как вас там величают...

– Меня зовут доньей Родригес де Грихальба, – отвечала дуэнья. – Что тебе надобно, любезный?

Санчо же ей на это ответил так:

– Я бы хотел, чтоб ваша милость сделала мне такое одолжение: вышла за ворота замка, – там стоит мой серый ослик, так вот, будьте любезны, ваша милость, велите поставить его в стойло, а не то так сами поставьте: он у меня, бедняжка, слегка пуглив и ни в коем разе один не останется.

– Если и господин так же учтив, как его слуга, то нас можно поздравить! – заметила дуэнья. – Пошел отсюда, братец, чтоб тебе пусто было – тебе и тому, с кем ты к нам явился, – и ухаживай сам за своим ослом, а дуэньи в этом замке такими делами не занимаются.

– Да ведь я, честное слово, слыхал, – возразил Санчо, – как мой господин, а уж он по части разных историй собаку съел, рассказывал о Ланцелоте, Из Британии прибывшем, что, мол, Фрейлины пеклись о нем, О коне его – принцессы, а уж мой-то осел – не чета лошаденке сеньора Ланцелота.

– Вот что, братец, – молвила дуэнья, – если ты – шут, то прибереги свои шуточки для тех, кому они придутся по вкусу и кто тебе за них заплатит, а от меня ты фигу получишь.

– Вот и отлично, – подхватил Санчо, – по крайности, фига будет очень даже зрелая: ведь по годам-то она, я думаю, как раз ваша ровесница!

– Дрянь паршивая! – воспылав гневом, вскричала дуэнья. – Стара я или молода – в этом я дам отчет богу, а не тебе, мошенник, грязный мужик!

Произнесла она эти слова столь громогласно, что герцогиня ее услышала, оглянулась и, увидев, что у дуэньи глаза налились кровью от злости, спросила, что это значит.

– А то, что этот молодчик, – отвечала дуэнья, – пристал ко мне, чтоб я отвела в конюшню его осла, которого он бросил у ворот, и привел в пример каких-то фрейлин, неизвестно где служивших какому-то Ланцелоту, между тем как дуэньи будто бы ухаживали за его скакуном, и в довершение всего ни за что ни про что обозвал меня старухой.

– Я лично почла бы это за самое тяжкое оскорбление, – заметила герцогиня. И, обратясь к Санчо, примолвила: – Прими в рассуждение, любезный Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и покрывало носит она не по причине преклонных лет, а для вящего почета и по обычаю.

– Не видать мне счастья, если я хотел сказать ей что-нибудь обидное, – заговорил Санчо, – я ей сказал это единственно потому, что уж очень я обожаю моего ослика, и мне показалось, что его можно вверить попечениям только такой сердобольной особы, какова сеньора донья Родригес.

Дон Кихот все это слышал.

– Санчо! Это ли место для подобных разговоров? – сказал он наконец.

– Сеньор! – отвечал Санчо. – Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей нужде: я на этом самом месте вспомнил об осле и на этом самом месте о нем заговорил, а вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил.

Герцог же на это сказал:

– Санчо весьма здраво рассуждает, и не виноват он ни в чем. Ослик будет накормлен досыта, так что Санчо может не беспокоиться: за его любимцем будут ухаживать, как за ним самим.

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихота, ему предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценною парчою и златоткаными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи, – все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилие, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатились со смеху.

Затем прислужницы попросили Дон Кихота раздеться донага, чтобы они могли переменить на нем сорочку, но он этому решительно воспротивился, объявив, что благопристойность так же подобает странствующим рыцарям, как и храбрость. Со всем тем он попросил передать чистую сорочку Санчо и, запершись с ним в другом покое, где находилось роскошно убранное ложе, разделся и переменил сорочку; оставшись же наедине с Санчо, он обратился к нему с такими словами:

– Отвечай, новорожденный шут и исконный дурачина: как ты смел бесчестить и оскорблять почтенную и достойную всяческого уважения дуэнью? Разве ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером, и неужели ты думаешь, что сеньоры, которые оказали нам столь пышный прием, не позаботились бы о наших животных? Ради бога, Санчо, совладай ты с собою и не выставляй на погляденье своей пряжи, а то все догадаются, что ты сработан из грубой деревенской ткани. Помни, греховодник, что господа пользуются тем большим уважением, чем добропорядочнее и благовоспитаннее их слуги, и что одно из главных достоинств, коими принц отличается от остальных людей, состоит в том, что слуги его так же хороши, как и он сам. Горе мне с тобой, никудышный ты человек, неужели ты не понимаешь, что если все признают тебя за грубого мужика и придурковатого шута, то подумают, что я жулик и обманщик? Нет, нет, друг Санчо, остерегайся подобных неприятностей. Кто не знает меры в болтовне и острословии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество. Обуздай свой язык. Обдумывай и взвешивай каждое слово, прежде нежели оно изойдет у тебя из уст, и прими в соображение, что мы попали наконец в такое место, где с помощью господа бога и моей доблести мы приумножим нашу славу и достояние.

Санчо твердо обещал во исполнение господской воли зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хотя одно неуместное и необдуманное слово; можно, дескать, не беспокоиться: никто по его поведению не поймет, что они за люди.



Дон Кихот переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей, и с ними дворецкий, дабы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерилось их собственным духовным убожеством; из числа тех,

которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов, – вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня – справа и слева от него.

При сем присутствовавший Санчо был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину; и когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал:

– Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.

При этих словах Дон Кихот вздрогнул, – по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, все понял и сказал:

– Не бойтесь, государь мой, что я отклонюсь от моего предмета или же брякну что-нибудь совсем неподходящее, – я еще не позабыл давешних советов вашей милости насчет того, как должно говорить, много или мало, хорошо или худо.

– Я этого не помню, Санчо, – сказал Дон Кихот, – говори что хочешь, но только покороче.

– Так вот, – продолжал Санчо, – я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, все равно не даст мне соврать.

– По мне, – отозвался Дон Кихот, – ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать.

– Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.

– Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, – сказал Дон Кихот, – а то он бог знает чего наговорит.

– Клянусь жизнью моего мужа, – сказала герцогиня, – что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.

– Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил, – объявил Санчо. – А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо, и женатый на донье Менсии де Киньонес, дочке дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена святого Иакова, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого назад тому несколько лет в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро... Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что – правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.

– До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, – вмешался духовник, – впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.

– Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты этак не кончишь и через два дня.

– Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, – возразила герцогиня, – напротив, пусть рассказывает, как умеет, хотя бы не кончил и за шесть дней, если же ему и в самом деле столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей жизни.

– Итак, государи мои, – продолжал Санчо, – этого самого идальго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома – рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина.

– Поскорей, братец, – прервал его тут священник, – если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.

– Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать, – отрезал Санчо. – Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идальго, царство ему небесное, – ведь он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...

– Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеке и обойдись без погребения идальго, а то пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.

– Ну так вот, – продолжал Санчо, – собираются они оба садиться за стол, – я их как сейчас вижу...

Великое удовольствие доставляло герцогской чете то приметное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.

– Так вот, – продолжал Санчо, – пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идальго, а идальго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет, однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он – ни за что; наконец идальго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.

У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:

– Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?

– Не знаю, – вмешался Санчо Панса, – мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуску. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.

– А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? – спросил герцог.

– Еще бы не видел! – отвечал Санчо. – А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!

Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:

– Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким ваша светлость себе его представляет, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.

Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:

– Послушайте вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово:

возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче – душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?

Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...

Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.



Глава XXXII

О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных и забавных



Итак, Дон Кихот вскочил, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:

– То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и уважение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашею милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душеспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время, – во всяком случае, порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать-тридцать миль в окружности, чтобы так, с налету, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение – странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестие, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я – рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи – дорогою лукавого лицемерия, четвертые – стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость,

побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь – платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит.

– Ей-богу, здорово сказано! – воскликнул Санчо. – И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправдание, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?

– А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? – спросил духовник.

– Я самый, – отвечал Санчо, – и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь, сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне – губернатором.

– Разумеется, друг Санчо, – прервал его тут герцог, – из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.

– На колени, Санчо! – сказал Дон Кихот. – Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:

– Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.

И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:

– Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, великолепно за себя постояла, и теперь вам уже нет смысла требовать удовлетворения за слова, только кажущиеся обидными, но на самом деле таковыми отнюдь не являющиеся, ибо ваша милость лучше меня знает, что как женщины, так и духовные лица никого обидеть не могут.

– Ваша правда, – заметил Дон Кихот, – и это потому, что тот, кого нельзя обидеть, не может обидеть другого, а как женщины, дети и духовные лица не могут обороняться, если кто-нибудь на них нападет, то и не должны они почитать себя оскорбленными. Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением: оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует, меж тем как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного. Вот вам пример: идет по улице некто, ровно ничего не подозревая, как вдруг на него нападают десять злоумышленников и избивают его палками, он выхватывает шпагу, дабы исполнить свой долг, но численный перевес на стороне противников, и он принужден отказаться от своего намерения, то есть от мести, – такого человека можно назвать обиженным, но не оскорбленным. Поясню ту же самую мысль на другом примере: идет человек, вдруг кто-то сзади к нему подходит, бьет его палкой и, не мешкая ни секунды, убегает, тот бросается за ним, но догнать не может, – так вот, о потерпевшем можно сказать, что его обидели, но не оскорбили, ибо в нанесении оскорбления должно упорствовать. Вот если бы тот, кто, пусть даже сначала из-за угла, накинулся на прохожего с палкой, выхватил, не сходя с места, шпагу

и встретился с ним лицом к лицу, то в сем случае пострадавшего можно назвать и обиженным, и оскорбленным одновременно. Обиженным, потому что на него напали вероломно, оскорбленным, потому что нанесший оскорбление упорствовал в содеянном и не обращался в бегство, а стоял на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитать себя обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, а следовательно, им незачем ни убегать, ни останавливаться, и так же точно обстоит со священнослужителями, ибо и у тех, и у других, и у третьих нет ни оружия, ни доспехов, – обороняться они, естественно, обязаны, но не обязаны на кого бы то ни было нападать. Я только что сказал, что могу почитать себя обиженным, но теперь признаю, что вовсе нет, ибо кого нельзя оскорбить, тот не может нанести оскорбление другому, по каковой причине я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, – я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.

– Это уж наверняка, – подхватил Санчо, – рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что, если б Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человечишки, – крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ними схватиться, сам был бы не рад.

Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки, одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя белоснежными и роскошными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в белых своих руках (а руки у нее и точно были белые) круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Дон Кихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай – мыть не руки, а бороду; того ради он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взметая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится необыкновенное это омовение. Между тем девушка-брадомойка густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.

Присутствовавшие, а их было немало, все как один воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на поларшина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие – посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великим бережением сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:

– А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.

Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово в случае, если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость, но они искупили вину свою тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога.

Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:

– Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.

– Что ты там бормочешь, Санчо? – спросила герцогиня.

– Я вот что говорю, сеньора, – отвечал он, – мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи – век учись, впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете – больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться – это не горе, а одно удовольствие.

– Не кручинься, друг Санчо, – молвила герцогиня, – я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и выстирали.

– Я бы и за одну только бороду спасибо сказал, – возразил Санчо, – пока что этого довольно, а там как господь даст.

– Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? – сказала герцогиня. – Вам надлежит в точности исполнить его желание.

Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.

Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской, – если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожестве, то должно думать, что это – прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:

– Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи? Подобная задача мне не по плечу, это было бы делом, достойным кисти Паррасия,[128] Тиманта[129] и Апеллеса[130] или резца Лисиппова[131] – изобразить ее на полотне или же изваять из мрамора и меди, а дабы восславить ее, потребно красноречие Цицероново и Демосфенское.

– Что значит Демосфенское, сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Я никогда такого слова не слыхала.

– *Демосфенское* красноречие – это все равно что красноречие Демосфена, – отвечал Дон Кихот, – слово же *Цицероново* красноречие происходит от Цицерона, – это два величайших оратора в мире.

– Справедливо, – заметил герцог. – Задав этот вопрос, вы, герцогиня, обнаружили свою неосведомленность. Однако ж со всем тем, сеньор Дон Кихот, вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.

– Я бы, разумеется, сделал такой набросок, – молвил Дон Кихот, – когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что назад тому несколько дней я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы в уродину, из ангела в черта, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из степенной в попрыгунью, из светозарной в исчадье тьмы, одним словом, из Дульсинеи Тобосской в поселянку откуда-нибудь из Сайяго.

– Боже мой! – вскричал тут герцог. – Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей красоту, которой они так восхищались, веселость, которая их развлекала, и благопристойность, которая возвышала их в собственных глазах?

– Кто? – переспросил Дон Кихот. – Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня, и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму – это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы – это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.

– Все это бесспорно, – заметила герцогиня, – но если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она – существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.

– По этому поводу много можно было бы сказать, – возразил Дон Кихот. – Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена, – в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а именно: она – безупречная красавица, величавая, но не надменная, в любви пылкая, но целомудренная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности и, наконец, бесподобная в силу своей родовитости, ибо на благородной крови расцветает и произрастает красота, достигающая более высоких степеней совершенства, нежели у низкого происхождения красавиц.

– Ваша правда, – заметил герцог, – однако ж позвольте мне, сеньор Дон Кихот, высказать ту мысль, на которую меня навела история ваших подвигов: допустим, что Дульсинея действительно существует и живет в Тобосо или же где-нибудь в другом месте и что она так прекрасна, как вы ее изображаете, однако в смысле знатности она не выдерживает сравнения с Орианой, Аластрахареей, Мадасимой и прочими им подобными дамами, о которых мы читаем на каждой странице хорошо известных вам романов.

– На это я вам скажу, – снова заговорил Дон Кихот, – что Дульсинею должно судить по ее делам, что кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает худородный праведник, нежели знатный грешник. Между тем Дульсинея обладает таким гербом, благодаря которому она может стать полновластною королевою: достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить чудеса необыкновенные и если не явно, то, по крайней мере, в скрытом состоянии заключают в себе наивысшее благополучие.

– Я вижу, сеньор Дон Кихот, – заметила герцогиня, – что каждое ваше слово есть плод размышлений долгих, вы, как говорится, смотрите в глубь вещей, и теперь я вполне верю и заставлю поверить всех домашних моих и даже, в случае надобности, самого герцога, моего повелителя, что есть в Тобосо такая Дульсинея, что она здравствует и поныне, что она прекрасна и родовита и что она вполне достойна, чтобы такой рыцарь, каков сеньор Дон Кихот, ей служил, а в моих устах это наивысшая похвала. Одно только обстоятельство все же меня смущает и вызывает несколько недоброжелательное чувство по отношению к Санчо Пансе. Смущает же меня вот что: в упомянутой книге говорится, что Санчо Панса, явившись к сеньоре Дульсинее с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна, и в довершение всего говорится, что зерно было низкого сорта, и это как раз и вызывает у меня сомнение в знатности ее рода.

На это ей Дон Кихот ответил так:

– Государыня моя! Да будет известно вашему величию, что со мной всегда или почти всегда творятся вещи, совершенно не похожие на то, что со странствующими рыцарями обыкновенно случается, кто бы эти события ни направлял: неисповедимая воля рока или же коварство завистливого волшебника. Ведь уже установлено, что все или почти все славные странствующие рыцари обладали какой-либо счастливой особенностью: одного невозможно было заколдовать, других в силу непроницаемости их кожи нельзя было ранить, как, например, славного Роланда, одного из Двенадцати Пэров Франции, – о нем существует предание, что его нельзя было никуда поразить, кроме пятки левой ноги, и никаким другим оружием, кроме острия толстой булавки, так что когда Бернардо дель Карпьо одолел его в Ронсевале, то, удостоверившись, что булат над ним не властен, и вспомнив, как Геркулес умертвил Антея, свирепого великана и якобы сына Земли, он поднял Роланда на руки и задушил. Из этого я делаю вывод, что, может статься, я тоже обладаю какой-нибудь такой особенностью, но только, во всяком случае, не неуязвимостью, – я многократно убеждался на опыте, что кожа у меня нежная и весьма уязвимая, – и не неподвластностью волшебным чарам, ибо однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила, кроме волшебства, не могла бы меня заточить, но коль скоро я все же вышел на свободу, то хочется думать, что никакие новые чары мне уже не повредят, и по сему обстоятельству волшебники, видя, что их козни на меня не действуют, вымещают свою злобу на той, что мне дороже всего: они глумятся над Дульсинеей, ради которой я только и живу на свете, и таким образом пытаются свести меня в могилу, и это дает мне основание полагать, что когда мой оруженосец явился к ней от меня с поручением, то они превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна. Впрочем, как я уже имел случай заметить, то были не зерна, но перлы Востока, и в доказательство того, что это истинная правда, я хочу вам сказать, ваши высочества, что недавно я был в Тобосо, но так и не нашел дворца Дульсинеи, а на другой день она явилась оруженосцу моему Санчо в подлинном своем облике, то есть в облике первой красавицы во всем подлунном мире, а предо мной она предстала в виде невоспитанной, безобразной и не весьма рассудительной сельчанки, хотя на самом деле она вмещает в себе всю мудрость мира. И коль скоро я сам не заколдован и, если вдуматься, не могу быть заколдован, то, следственно, заколдованною, оскорбленною, превращенною, искаженною и подмененною является она, и на ней выместили злобу мои недруги, вот почему я буду всечасно ее оплакивать до той поры, пока она не явится предо мною в первоначальном своем состоянии. Все это я говорю для того, чтобы рассказ Санчо о Дульсинее, просеивающей и провеивающей зерно, никого не смущал: ведь если она предстала подмененною предо мной, то не удивительно, что искаженною явилась она и пред ним. Дульсинея – знатного и благородного происхождения, удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Тобосо, ибо только благодаря несравненной Дульсинее град сей и станет знаменит и прославится в веках, подобно как Трою прославила Елена, а Испанию – Кава, только слава Дульсинеи будет еще громче и доброкачественнее. Еще надобно вам сказать, ваши светлости,

что Санчо Панса – самый уморительный из всех оруженосцев, когда-либо странствующим рыцарям служивших. Простоватость его бывает подчас весьма остроумною, и угадывать, простоват он или же себе на уме, немалое доставляет удовольствие. Некоторые его хитрости обличают в нем плута, иные оплошности заставляют думать, что он глупец. Он во всем сомневается и всему верит. Иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга, – одним словом, я не променял бы его ни на какого другого оруженосца, хотя бы в придачу мне предлагали целый город. И все же я сомневаюсь, стоит ли посылать его управлять островом, который ваше величие ему пожаловало, хотя и вижу в нем известные способности к управлению, – ему бы только хорошенько прочистить мозги, и тогда он управится с любым губернаторством не хуже, чем король с податями. Тем более мы знаем по долгому опыту: для того, чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености, – сколько таких губернаторов, которые и читают-то по складам, а насчет управления – сущие орлы! Важно, чтобы они были преисполнены благих намерений и чтобы они добросовестно относились к делу, советники же и наставники у них всегда найдутся: ведь неученые губернаторы из дворян вершат суд непременно с помощью заседателя. Я бы, со своей стороны, посоветовал Санчо взяток не брать, но и податей не упускать, и еще кое-что я берегу про запас, и в свое время все это будет мною изложено – на пользу Санчо и на благо острова, коим он призван управлять.

Такую беседу вели между собой герцог, герцогиня и Дон Кихот, как вдруг за дверью послышались громкие крики и шум, и вслед за тем в залу ворвался перепуганный насмерть Санчо, у которого вместо салфетки подвязан был мешок со щелочью и который подвергался преследованию множества челядинцев, точнее сказать – поварят и прочих людишек, причем один из них тащил лохань с водой, в которой, судя по ее цвету и не весьма чистому виду, вероятно, мыли посуду; поваренок этот гнался за Санчо по пятам и изо всех сил старался подставить ему лохань под самый подбородок, а другой был одержим стремлением вымыть ему бороду.

– Что это значит, друзья мои? – спросила герцогиня. – Что это значит? Что вы пристали к этому доброму человеку? Вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадомой ответил ей так:

– Этот сеньор не желает мыться, а ведь у нас таков обычай, – сам герцог и его же собственный господин только что мылись.

– Нет, желаю, – в сильном гневе вымолвил Санчо, – но только мне бы хотелось, чтоб полотенца были почище, вода попрозрачнее и чтоб руки у них были не такие грязные: ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтоб его омывали святой водицей, а меня окатывали чертовыми этими помоями. Обычаи разных стран и княжеских палат тогда только и хороши, когда они не причиняют неприятностей, ну, а этот обряд омовения, который здесь установлен, хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и в подобном освежении я не нуждаюсь, а кто посмеет меня мыть или же коснуться волоса на моей голове, то есть бороде, тому я, извините за выражение, башку сворочу на сторону, потому все эти антимонии, то бишь церемонии, с намыливанием больше смахивают на издевательство, чем на уход за гостями.

Видя гнев Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху, однако ж Дон Кихот не пришел в восторг от того, что на Санчо вместо полотенца красовалась грязная тряпка и что кухонная челядь над ним насмехалась, а посему, отвесив их светлостям глубокий поклон в знак того, что желает держать речь, он голосом, исполненным решимости, заговорил, обращаясь ко всей этой шушере:

– Эй вы, милостивые государи! Оставьте парня в покое, ступайте, откуда пришли или же куда вам вздумается! Оруженосец мой не грязнее всякого другого, и эта лоханка – совершенно

неподходящий и унизительный для него сосуд. Послушайтесь моего совета – оставьте его, ибо ни он, ни я подобных шуток не любим.

Санчо подхватил и развил его мысль:

– Так только с бездомными бродягами можно шутить. Не будь я Санчо Панса, коли я это стерплю! Принесите гребенку или что-нибудь вроде этого и поскребите мне бороду, и если найдете в ней что-либо оскорбляющее вашу чистоплотность, то пусть меня тогда «лесенкой» остригут.

Тут, все еще смеясь, заговорила герцогиня:

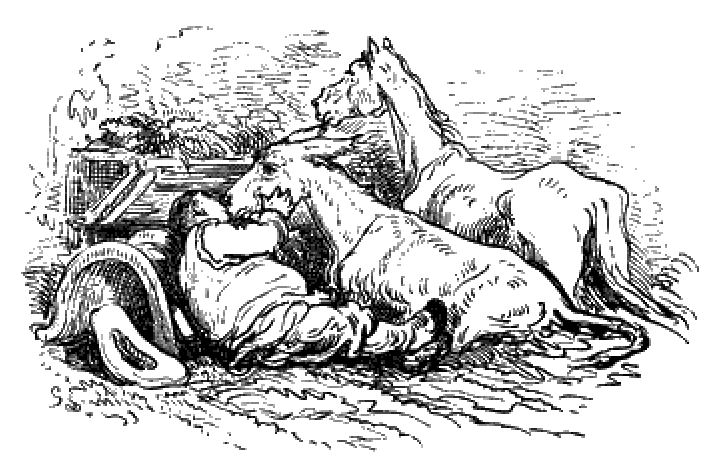
– Санчо Панса прав во всем; что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он – чистый и, по его словам, в мытье не нуждается, и коль скоро обычай наш ему не по душе, то вольному воля. Вы же, блюстители чистоты, поступили необдуманно и опрометчиво, чтобы не сказать – дерзко, предложив такой особе, да еще с такой бородой, вместо таза и кувшина из чистого золота и полотенец немецкой работы какие-то лоханки, деревянные корыта и полотенца для вытирания посуды. Впрочем, вы людишки дрянные и дурно воспитанные и настолько подлы, что не можете скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонных дел мастера, но и сам дворецкий подумал, что герцогиня не шутит, а потому они сняли с Санчо тряпку и, смущенные и отчасти даже пристыженные, оставили его в покое и удалились, Санчо же, видя, что эта довольно грозная, в его представлении, опасность миновала, опустился перед герцогиней на колени и сказал:

– От великих сеньор великие и милости, вы же, ваша светлость, изволили оказать мне такую, что я могу отплатить за нее не иначе как изъявив готовность быть посвященным в странствующие рыцари, чтобы потом до конца дней моих служить столь высокой сеньоре. Я – крестьянин, зовут меня Санчо Пансою, я женат, у меня есть дети, служу я оруженосцем, и если хоть что-нибудь из этого может вашему величию пригодиться, то вам стоит только приказать – и я к услугам вашей светлости.

– Сейчас видно, Санчо, что ты учился быть вежливым в школе самой учтивости, – заметила герцогиня, – сейчас видно, хочу я сказать, что тебя взлелеял на своей груди сеньор Дон Кихот, а он, разумеется, верх учтивости и образец церемоний или же, как ты выражаешься, антимоний. Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один – путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой – светоч для всех верных оруженосцев. Встань, друг Санчо, за свои учтивости ты будешь вознагражден: я попрошу герцога, моего повелителя, чтобы он как можно скорее пожаловал тебе обещанное губернаторство.

На этом разговор кончился, и Дон Кихот пошел отдохнуть после обеда, а герцогиня обратилась к Санчо с просьбою, если только, мол, ему не очень хочется спать, побыть с нею и с ее горничными девушками в весьма прохладной зале. Санчо ответил, что хотя летом он, сказать по совести, привык спать после обеда часиков пять кряду, однако ж, дабы отблагодарить герцогиню за ее доброту, приложит все усилия, чтобы исполнить ее повеление и не спать сегодня вовсе, и с этими словами удалился. Герцог же снова наказал слугам своим обходиться с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и твердо придерживаться того чина, который будто бы соблюдали странствующие рыцари стародавних времен.



Глава XXXIII

О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо, достойной быть прочитанною и отмеченною



Итак, в истории сказано, что Санчо после обеда не отдыхал, что он сдержал свое слово и, пообедав, явился к герцогине, герцогиня же, предвкушая удовольствие послушать его, предложила ему сесть подле нее на низенький табурет, однако же Санчо, как человек в полном смысле слова благовоспитанный, от этой чести отказался, но герцогиня объявила, что он волен сидеть, как губернатор, а говорить, как оруженосец, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сида Руй Диаса Воителя.[132] Санчо пожал плечами и покорно сел, все же дуэньи и горничные девушки герцогини окружили его и, совершенное храня молчание, со вниманием приготовились слушать, однако ж герцогиня заговорила первая и начала так:

– Сейчас мы одни, никто нас не слышит, и мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, явившиеся у меня при чтении недавно вышедшей в свет истории великого Дон Кихота. Одно из этих сомнений заключается в следующем: коль скоро добрый Санчо ни разу Дульсинею не видел, то есть, виновата: *сеньору Дульсинею Тобосскую,* и письма от сеньора Дон Кихота ей не передавал, потому что оно осталось в записной книжке в Сьерре Морене, то как же он позволил себе сочинить за нее ответ и

выдумать, будто он застал ее за просеиванием зерна? Ведь все это ложь и обман и только порочит добрую славу несравненной Дульсинеи, а также роняет достоинство доброго оруженосца и не вяжется с долгом верности.

При этих словах Санчо Панса молча поднялся с табурета, согнулся в три погибели, приставил палец к губам и, заглядывая за все занавески, тихими шагами обошел залу; после этого он снова уселся и объявил:

– Вот теперь, государыня моя, когда я уверился, что никто, кроме присутствующих, нас украдкой не слушает, я безо всякого страха и волнения отвечу на ваш вопрос, а равно и на все, о чем бы вы меня ни спросили. Прежде всего я вам скажу: на мой взгляд, господин мой Дон Кихот – неизлечимо помешанный, хотя иной раз случается ему говорить такие правильные вещи и так вразумительно, что, по моему мнению, да и по мнению всех, кто бы его ни слушал, сам сатана лучше не скажет. Однако ж, если говорить по чистой совести и положа руку на сердце, то я совершенно уверен, что у него не все дома. А уж раз я это забрал себе в голову, то и осмеливаюсь внушать ему такое, что, право, на ногах не стоит, вроде ответа на письмо. А потом это самое, что было неделю назад, – оттого это и в книгу не попало, – насчет заколдованности сеньоры доньи Дульсинеи: ведь я уверил моего господина, что она заколдована, а это же чушь несусветная, сапоги всмятку.

Герцогиня попросила рассказать ей об этой проделке с колдовством, и Санчо рассказал все как было, чем немало потешил слушателей, герцогиня же, продолжая начатый разговор, молвила:

– После того как я выслушала рассказ доброго Санчо, на душу мне пало новое сомнение, и некий голос мне шепчет: «Коль скоро Дон Кихот Ламанчский – сумасшедший, невменяемый и слабоумный, а его оруженосец Санчо Панса про то знает и, однако, продолжает состоять у него на службе, всюду сопровождает его и все еще верит неисполнимым его обещаниям, то, по всей вероятности, он еще безумнее и глупее своего господина. А когда так, то смотри, сеньора герцогиня, как бы ты не просчиталась, доверивши Санчо Пансе управление островом: ведь если он сам с собой не может управиться, то как же он будет управлять другими?»

– Ей-богу, сеньора, – отвечал Санчо, – сомнение это явилось у вас не зря, только скажите вашему голосу, чтоб он говорил погромче, а впрочем, как ему заблагорассудится, – я-то знаю, что говорит он дело: будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, и все тут: мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может. А ежели ваше высоколетство не соизволит пожаловать мне обещанный остров, стало быть, уж это господь бог сотворил меня таким незадачливым, а может, для души моей оно еще выйдет на пользу: я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица: «На беду у муравья крылья выросли», и пожалуй, что Санчо-оруженосец скорее попадет в рай, нежели Санчо-губернатор. Свет не клином сошелся на губернаторстве, да и потом: ночью все кошки серы, и разнесчастный тот человек, у кого до двух часов пополудни маковой росинки во рту не бывает, и так на свете не водится, чтоб у одного брюхо было на целую пядь шире, чем у другого, а набить-то его можно чем хочешь, как говорится: хоть соломою, хоть житом, а вот птичек небесных сам господь кормит и питает, и четыре аршина толстого куэнкского сукна лучше греют, чем четыре аршина тоненького сеговийского, а когда мы приказываем долго жить и нас закапывают в землю, то и принц и чернорабочий бредут по одинаково узкой тропе и тело римского папы занимает столько же места в могиле, сколько и пономаря, хотя тот гораздо выше этого: когда нас опускают в яму, все мы скорчиваемся и скрючиваемся, или, вернее, нас, хочешь не хочешь, скорчивают, скрючивают – и спокойной ночи! И я еще раз говорю: если ваша светлость не захочет пожаловать мне остров, потому как я глуп, то я и не охну и сойду за умника, и ведь я слыхал, что за крестом стоит сам дьявол и не все то золото, что блестит, а ведь вот крестьянина Вамбу оторвали от волов,[133] плугов, ярма и сделали королем испанским,

а Родриго оторвали от парчи, от богатств и утех и швырнули на съедение змеям, если только не врут старинные песни.

– Как так врут? – воскликнула дуэнья донья Родригес, находившаяся в числе слушательниц. – В одном романсе говорится, что короля Родриго живехонького опустили в яму, где кишели жабы, змеи и ящерицы, а через два дня из ямы донесся глухой его и жалобный голос:

Ох, грызут, грызут нещадно

Грешную мою утробу! —

а коли так, если уж королей пожирают всякие гады, то этот сеньор вполне прав, что предпочитает остаться крестьянином.

Герцогиню насмешили простодушные речи дуэньи, рассуждения же и пословицы Санчо привели ее в изумление, и она сказала ему:

– Добрый Санчо, уж верно, знает, что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить даже ценою собственной жизни. Герцог, мой муж и повелитель, хотя и не из странствующих, а все же рыцарь, и того ради сдержит свое слово касательно обещанного острова наперекор зависти и злобе всего мира. Итак, Санчо, воспрянь духом: в один прекрасный день ты будешь возведен на престол своего острова и государства, примешь бразды правления и станешь жить, поживать да добра наживать. Единственно, что я вменяю тебе в обязанность, это как можно лучше управлять своими вассалами: предуведомляю тебя, что все они – люди честные и благородные.

– Насчет того, чтобы управлять по-хорошему, меня просить не нужно, – объявил Санчо. – Душа у меня добрая, и бедняков я жалею, а кто сами месят да пекут, у тех краюхи не крадут, и, бог свидетель, при мне никто карты не передернет, я – старый воробей: меня на мякине не проведешь, я знаю, когда нужно ухо востро держать, и в грязь лицом не ударю, потому я знаю, где собака зарыта, и говорю я все это к тому, что для добрых людей я в лепешку расшибусь, а для дурных – вот бог, а вот порог. И сдается мне, что в управлении страной лиха беда – начало, и, может статься, недельки через две я так наловчусь губернаторствовать, что буду понимать в этом толк побольше, нежели в хлебопашестве, хоть я и хлебопашец от молодых ногтей.

– Твоя правда, Санчо, – заметила герцогиня, – ученым никто не родится, даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к тому, о чем мы только что говорили, а именно к заколдованности сеньоры Дульсинеи: мне представляется несомненным и более чем достоверным, что вся эта затея Санчо, вознамерившегося подшутить над своим господином и внушить ему, будто сельчанка – Дульсинея, а если, мол, он ее не узнаёт, так это потому, что она заколдована, – все это происки кого-нибудь из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота. Ведь мне из верных источников доподлинно и точно известно, что сельчанка, вспрыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская и что добрый Санчо, рассчитывая обмануть другого, сам дался в обман. И это так же не подлежит сомнению, как все то, что нам не дано видеть. К сведению сеньора Санчо Пансы, у нас тут тоже есть свои волшебники, которые нас любят и которые откровенно и правдиво, без уверток и обиняков, докладывают нам, что творится на белом свете. И пусть он мне поверит, что сельчанка-попрыгунья была и есть Дульсинея Тобосская и что она так же заколдована, как мы с вами, и в один прекрасный день она предстанет пред нами в подлинном своем обличье, и тогда Санчо поймет, как он заблуждался.

– Очень может быть, – снова заговорил Санчо, – и теперь уж я готов поверить всему, что мой господин рассказывал про пещеру Монтесиноса: будто бы он там видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом одеянии и наряде, в котором будто бы видел Дульсинею я, когда на меня вдруг нашла блажь ее заколдовать, нашла-то нашла, а обернулось все по-другому, – уж верно, так, как вы, государыня моя, говорите, потому от моего темного умишка нельзя и не должно ожидать, чтоб он в один миг измыслил такую ловкую штуку, да и не настолько,

думается, мой господин невменяем, чтобы мои шаткие и слабые доводы могли уверить его в том, что просто из ряду вон. Но все-таки, сеньора, пусть ваше добродушие не думает, что я человек зловредный: ведь такой чурбан, как я, не обязан видеть насквозь тайные мысли и каверзы распроклятых волшебников, – я все это придумал, чтоб избежать попреков сеньора Дон Кихота, а не затем, чтоб ему повредить, а коли вышло наоборот, то ведь бог там, на небе, *знает сердца наши.*

– И то правда, – заметила герцогиня. – А теперь скажи мне, Санчо, что это ты толковал про пещеру Монтесиноса? Мне весьма любопытно это знать.

Тут Санчо Панса во всех подробностях рассказал о приключении, описанном выше. Герцогиня же, выслушав его, сказала:

– Из этого происшествия можно сделать вот какой вывод: если досточтимый Дон Кихот утверждает, что видел там ту самую сельчанку, которую Санчо видел близ Тобосо, то, разумеется, это и есть Дульсинея, и, следственно, волшебники – народ в высшей степени шустрый и прыткий.

– Вот и я то же говорю, – подхватил Санчо Панса, – коли сеньора Дульсинея Тобосская заколдована, то тем хуже для нее, а я не намерен связываться с недругами моего господина: их, поди, гибель, и все, как на подбор, злющие. Говоря по чистой совести, я видел крестьянку, и за крестьянку ее принял, и за крестьянку ее почитаю, а если это была Дульсинея, то я тут ни сном ни духом, и мне до этого никакого дела нет, иначе я рассержусь. Что это, в самом деле, так и ходят за мной по пятам, и все: «Шу-шу-шу, шу-шу-шу, Санчо сказал то-то, Санчо сделал то-то, Санчо пошел, Санчо пришел», как будто Санчо – это невесть кто, а не тот самый Санчо Панса, про которого весь свет узнал из книжек, – так, по крайности, мне говорил Самсон Карраско, а ведь он в Саламанке всем бакалаврам бакалавр, а такие обыкновенно не врут, разве только им страх как захочется или уж очень понадобится. Так что пусть от меня отстанут, а коли слава обо мне добрая – притом же я слыхал от моего господина, что доброе имя дороже всякого богатства, – то приспособьте мне губернаторство, и вы увидите, каких я чудес натворю, и то сказать: хороший оруженосец не может быть плохим губернатором.

– Все, что сейчас сказал добрый Санчо, – заметила герцогиня, – это изречения Катона или, по малой мере, отрывки из самого Микаэле Веррино, *florentibus occidit annis*.[134] В конце концов, выражаясь его же языком, можно сказать, что плохим плащом частенько укрывается хороший пьяница.

– Верное слово, сеньора, – сказал Санчо, – в жизнь свою не пил я из дурных побуждений – от жажды, правда, случалось, потому ханжества этого самого во мне вот на столько нет: я пью, когда есть охота, а также когда ее нет и когда угощают, чтобы не прослыть ломакой или невежей. Ведь если твой приятель поднимает за тебя стакан, то разве не каменное сердце нужно иметь, чтобы не выпить за него? Но все-таки у меня душа меру знает, тем паче оруженосцы странствующих рыцарей большей частью пьют водичку, потому они все время таскаются по рощам, лесам, лугам, горам и утесам, а в таких местах, хоть тресни, глоточка вина нигде не добудешь.

– Я думаю! – молвила герцогиня. – Ну, а теперь, Санчо, ступай отдохни, потом мы еще более подробно обо всем поговорим и примем меры, чтобы тебе поскорее приспособили, как ты выражаешься, губернаторство.

Санчо опять поцеловал герцогине руки и попросил в виде особого одолжения позаботиться об его сером, ибо это, мол, свет его очей.

– О каком таком сером? – осведомилась герцогиня.

– О моем осле, – отвечал Санчо. – Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно говорю: «серый». Как скоро я вошел к вам в замок, я попросил вот эту самую сеньору дуэнью за ним приглядеть, а она так на меня напустилась, словно я сказал, что она уродина или же старуха, а между тем дуэньям более свойственно и сродно ухаживать за скотиной, нежели

красоваться в хоромах. Господи, до чего ж ненавидел этих особ один идальго, мой односельчанин!

– Верно, какой-нибудь мужлан, – ввернула донья Родригес, – будь он благовоспитанным идальго, он бы таких, как я, на руках носил.

– Ну, полно, перестаньте, – вмешалась герцогиня, – помолчите, донья Родригес, и ты, сеньор Панса, успокойся, – заботы о сером я беру на себя: уж если для Санчо это такая драгоценность, я буду беречь его как зеницу ока.

– Довольно, если вы будете беречь его просто как осла, – возразил Санчо, – мы с моим ослом – люди простые, и мы лучше согласимся, чтоб нас кинжалом пырнули, нежели быть вам в тягость. Правда, мой господин говорит, что в изъявлении учтивости лучше пересолить, чем недосолить, а все-таки, когда речь идет об их ослейшествах, то здесь должно соблюдать меру и держаться середины.

– Возьми-ка ты осла с собой, Санчо, когда отправишься управлять, – сказала герцогиня, – там он у тебя будет в холе, и работать ему не придется.

– А что вы думаете, сеньора герцогиня? – сказал Санчо. – Я сам не раз видел, как посылали ослов управлять, так что если я возьму с собой своего, то никого этим не удивлю.

Слова Санчо снова рассмешили и позабавили герцогиню, и, послав его отдохнуть, она пошла к герцогу, чтобы передать ему весь этот разговор; и между ними двумя было решено и условлено, что они сыграют с Дон Кихотом отличную шутку, и притом совершенно в духе рыцарства; и они, правда, сыграли с ним не одну, а много подобных шуток, весьма уместных и острых, представляющих собою лучшие из приключений, какие только великая эта история в себе содержит.



Глава XXXIV,

в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге



Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансою; и, утвердившись в намерении сыграть с ними шутку, которая отзывала бы и пахла приключением, порешили они, дабы устроить им приключение воистину славное, ухватиться за нить Дон-Кихотова повествования о пещере Монтесиноса (впрочем, герцогиню всего более восхищало простодушие Санчо, которое доходило до того, что он признал за непреложную истину, будто Дульсинея Тобосская заколдована, хотя сам же он выступал в качестве колдуна и сам же все это подстроил); и вот через шесть дней по прибытии Дон Кихота в замок герцог и герцогиня, отдавши слугам надлежащие распоряжения, повезли его на псовую охоту, в коей принимало участие столько загонщиков и выжлятников, сколько может быть разве на королевской охоте. Дон Кихоту предложили охотничий наряд, а равно и Санчо – зеленый, превосходного сукна, однако ж Дон Кихот от наряда отказался, объявив, что скоро ему предстоит возвратиться к суровой походной жизни и что он не имеет возможности возить с собой гардероб и всякие прочие пожитки. Санчо же взял платье в расчете продать его при первом случае.

Итак, в назначенный день Дон Кихот облачился в свои доспехи, а Санчо переоделся и верхом на сером, с которым он не пожелал расстаться, несмотря на то что ему предлагали знатного коня, присоединился к загонщикам; затем вышла разряженная герцогиня, и Дон Кихот, как учтивый и любезный кавалер, не позволил герцогу ей помочь и тотчас же взял ее иноходца под уздцы. Наконец приблизились они к лесу, росшему между двух высоких гор, и, после того как все лазы, стоянки и охотничьи домики были распределены и люди разошлись по разным местам, началась охота и поднялись невообразимый шум, гам и улюлюканье, так что из-за лая собак и звука рогов люди не слышали друг друга.

Герцогиня сошла с коня и, держа в руках острый дротик, стала там, где, сколько ей было известно, имели обыкновение пробегать кабаны. Герцог и Дон Кихот также спешились и стали по правую и по левую ее руку; Санчо же выбрал себе место сзади нее – он так и не слез с осла, коего не решался оставить из боязни, как бы с ним не вышло чего-нибудь худого; и едва лишь герцог, герцогиня и Дон Кихот со многочисленною прислугою спешились и выстроились в ряд, как вдруг прямо на них, весь в пене, щелкая зубами и клыками, вымахнул преогромный кабан, коего травили собаки и гнали выжлятники. При виде его Дон Кихот заградился щитом, выхватил меч и двинулся ему навстречу, герцог с дротиком в руках – за ним, а герцогиня, не удержи ее вовремя герцог, непременно опередила бы их обоих. Один лишь Санчо при виде большущего зверя соскочил с серого, сломя голову пустился бежать и попытался вскарабкаться на высокий дуб, но это ему не удалось; добравшись до середины дерева, он ухватился было за ветку, дабы затем достигнуть вершины, однако ж ему не посчастливилось и не повезло, ибо ветка обломилась, и он полетел вниз, но, зацепившись за сук и не будучи в состоянии достать

ногами до земли, повис в воздухе. Очутившись в таком положении, видя, что зеленое его полукафтанье трещит по всем швам, и вообразив, что если страшный зверь побежит в эту сторону, то непременно его достанет, он начал так громко кричать и так настойчиво звать на помощь, что все те, кто слышал его, но не видел, были уверены, что он в пасти у дикого зверя. Наконец клыкастый кабан, пронзенный множеством дротиков, рухнул; тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики, и увидел, что Санчо вверх ногами висит на дубу, а подле него стоит серый, не захотевший покинуть его в беде; и тут Сид Ахмет Бен-инхали замечает, что вообще редко можно было видеть Санчо Пансу без серого, а серого без Санчо – так велики были их взаимная преданность и дружеская привязанность.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, и как скоро Санчо почувствовал, что он свободен и что под ним твердая почва, то взглянул на порванное свое охотничье полукафтанье, и сердце у него сжалось, ибо он полагал, что такой наряд стоит целого состояния. Тем временем громадную кабанью тушу взвалили на мула, прикрыли ветками розмарина и мирта и, как победный трофей, доставили в обширную палатку, разбитую на лесной поляне; там уже были расставлены столы и приготовлена такая обильная и роскошная трапеза, что по ней одной можно было судить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине дыры на порванном своем платье и сказал:

– Если б мы охотились на зайцев или же на пташек, то я ручаюсь, что мое полукафтанье не имело бы такого вида. Не понимаю, что за удовольствие ожидать зверя, который коли пырнет клыком, так из вас душа вон. Помнится, в одной старинной песне есть такие слова:

Пусть медведями растерзан

Будешь, как Фавила славный.

– Это романс о готском короле, – пояснил Дон Кихот, – его на охоте загрыз медведь.

– Я это и хотел сказать, – продолжал Санчо, – не люблю я, когда вельможи и короли подвергают себя таким опасностям будто бы ради удовольствия, да и удовольствия-то я никакого не нахожу в убийстве ни в чем не повинного животного.

– Нет, Санчо, ты ошибаешься, – возразил герцог, – нет занятия более подходящего и более необходимого для королей и вельмож, нежели псовая охота. Охота – это прообраз войны: на охоте также есть свои военные хитрости, засады и ловушки, дабы можно было без риска для себя одолеть противника. На охоте мы терпим и дикий холод, и палящий зной, презираем и сон, и негу, укрепляем свои силы, упражняем наше тело, чтобы оно сделалось более гибким, – одним словом, это занятие вреда никому не причиняет, а удовольствие доставляет многим, наиболее же ценное свойство псовой охоты заключается в том, что она – не для всех, и это ее отличает от других видов охоты, за исключением, впрочем, соколиной, которая также предназначена только для королей и знатных особ. Итак, Санчо, измени свое мнение, и когда будешь губернаторствовать, то выезжай на охоту, и ты сам увидишь, что это пойдет тебе на пользу.

– Ну уж нет, – возразил Санчо, – губернатор честный – сиди дома, и ни с места. Хорош бы он был: к нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу! Да этак у него все государство развалится! По правде вам скажу, сеньор: охота и всякие иные потехи – это скорей по части бездельников, нежели губернаторов. Я же для препровождения времени по большим праздникам буду играть в свои козыри, а по воскресеньям и в небольшие праздники – в кегли, а все эти охоты да чертохоты – не в моем духе, да и совесть мне этого не позволит.

– Дай бог, Санчо, чтобы так оно и было. На словах-то мы все, как на гуслях.

– Что вы там ни говорите, – возразил Санчо, – а исправному плательщику залог не страшен, и не у того дело спорится, кто до свету встать не ленится, а кому от бога подмога, и ведь не ноги над брюхом начальники, а брюхо над ногами. Я хочу сказать, что если господь

мне поможет и я честно буду исполнять свой долг, то, без сомнения, из меня выйдет орел, а не губернатор, мне палец в рот не клади!

– А, чтоб ты пропал, нечистая сила! – воскликнул Дон Кихот. – Когда же ты, Санчо, заговоришь без пословиц, плавно и связно, как я тебя столько раз учил? А вы, государи мои, лучше не трогайте этого болвана, он вам душу вымотает своими пословицами: у него их не две и не три, а невесть сколько, и приводит он их, дай бог ему здоровья, а заодно и мне, если только я соглашусь его слушать, всегда так вовремя и так кстати, что просто сил никаких нет.

– У Санчо Пансы еще больше пословиц, чем у Командора Греческого,[135] – заметила герцогиня, – и они обладают одним достоинством, которое ставит их ничуть не ниже Командоровых, а именно – краткостью. Мне лично пословицы Санчо даже больше нравятся, несмотря на то что Командоровы удачнее применены и более подходят к случаю.

Беседуя о таких и им подобных занятных вещах, оставили они палатку и отправились в лес, и в осмотре охотничьих домиков и стоянок прошел у них весь день, и неприметно спустилась ночь, однако ж не та ясная и тихая ночь, какие обыкновенно стоят в эту пору, то есть в середине лета; между тем окутавшая предметы полумгла весьма благоприятствовала затее герцога и герцогини, и вот, когда сумерки сгустились, внезапно как бы со всех концов запылал лес, и вслед за тем справа и слева, там и сям послышались звуки множества рожков и других военных инструментов, словно по лесу двигалась неисчислимая конная рать. Сверкание огней и звуки военной музыки ослепили и оглушили всех присутствовавших, даже самих участников заговора. Затем со всех сторон стало доноситься: «Алла ил алла!», как обыкновенно кричат мавры, когда бросаются в бой, звучали трубы и кларнеты, забили барабаны, запели флейты, все почти в одно время, неумолчно и громко, так что только бесчувственный человек мог бы не впасть в бесчувствие при нестройных звуках стольких инструментов. Герцог оцепенел, герцогиня была поражена, Дон Кихот пришел в изумление, Санчо Панса затрясся, даже участники заговора – и те испугались. От страха никто не мог вымолвить слова, и тут перед ними предстал гонец: одет он был чертом, а вместо корнета у него был невероятных размеров, с огромным отверстием рог, издававший хриплые и зловещие звуки.

– Гей, любезный гонец! – окликнул его герцог. – Кто ты таков, куда путь держишь и что это за войско словно бы движется по лесу?

На это гонец громовым и ужасным голосом ответил так:

– Я – дьявол, я ищу Дон Кихота Ламанчского, а по лесу едут шесть отрядов волшебников и везут на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тобосскую. Она едет сюда заколдованная, вместе с храбрым французом Монтесиносом, дабы уведомить Дон Кихота, каким образом можно ее расколдовать.

– Когда б ты был дьявол, как ты уверяешь и как это можно заключить по твоей образине, ты бы уж давно догадался, что рыцарь Дон Кихот Ламанчский – вот он, перед тобой.

– Клянусь богом и своею совестью, я его не заметил, – молвил дьявол, – у меня так забита голова, что главное-то я и упустил из виду.

– Стало быть, этот черт – человек почтенный и добрый христианин, – заметил Санчо, – иначе он не стал бы клясться богом и своею совестью. Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей.

Тут дьявол, не сходя с коня, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал:

– К тебе, Рыцарь Львов (чтоб ты попал к ним в когти!), послал меня злосчастный, но отважный рыцарь Монтесинос и велел передать, чтобы ты дожидался его на том самом месте, где я с тобою встречусь: он везет с собой так называемую Дульсинею Тобосскую и должен тебе поведать, что должно предпринять, дабы расколдовать ее. А как не о чем мне больше с тобой разговаривать, то и незачем мне тут оставаться. Итак, значит, черти – с тобой, такие же точно, как я, а с вами, сеньоры, – добрые ангелы.

Произнеся эти слова, он затрубил в свой чудовищный рог и, не дожидаясь ответа, поворотил коня и исчез.

Все снова пришли в изумление, особливо Санчо и Дон Кихот: Санчо – оттого, что все наперекор истине в один голос твердили, что Дульсинея заколдована, Дон Кихот же – оттого, что он сам не был уверен, точно ли происходили с ним разные события в пещере Монтесиноса. И он все еще занят был этими мыслями, когда герцог спросил его:

– Вы намерены дожидаться, сеньор Дон Кихот?

– А как же иначе? – отвечал Дон Кихот. – Если даже на меня весь ад ополчится, я все равно буду ждать – бесстрашно и неколебимо.

– Ну, а если мне доведется увидеть еще одного черта и услышать другой такой рог, – объявил Санчо, – то я уж буду дожидаться где-нибудь во Фландрии.

Тем временем стало совсем темно, и в лесу замелькали огоньки, подобно как в небе мелькают сухие испарения земли, которые нашему взору представляются падающими звездами. Вслед за тем послышался страшный шум, как бы заскрипели колеса телег, запряженных волами; говорят, будто бы это немолчное и пронзительное скрипение пугает даже волков и медведей. К этому бедствию присоединилось новое, горше прежнего, а именно: присутствовавшим показалось, будто на всех четырех концах леса одновременно происходят стычки и сражения, ибо вон в той стороне раздавался тяжкий и устрашающий грохот орудий, там шла частая стрельба из мушкетов, где-то совсем близко слышались клики бойцов, издали долетали непрекращавшиеся вопли мавров: «Алла ил алла!» Одним словом, корнеты, охотничьи рога, рожки, кларнеты, трубы, барабаны, пушки, аркебузы, а главное, ужасный скрип телег – все сливалось в такой нестройный и потрясающий гул, что Дон Кихоту, дабы не дрогнуть, пришлось собрать все свое мужество, меж тем как Санчо оплошал и без чувств рухнул прямо на юбки герцогини, – та прикрыла его и велела как можно скорее брызнуть ему в лицо водой. Его сбрызнули, и очнулся он как раз в ту минуту, когда показалась одна из повозок на скрипучих колесах.

Повозка тащилась четверкою ленивых волов, покрытых черными попонами; к рогам каждого из них был привязан большой горящий факел из воска, а на самой колеснице было устроено высокое сиденье, на котором расположился маститый старец с длинною, ниже пояса, бородою белее снега, одетый в широкую хламиду из черного холста; колесница была ярко освещена, а потому различить и заметить все, что на ней было, не составляло труда. Обязанности возницы исполняли два безобразных демона, облаченных в такие же холщовые балахоны, и рожи у них были до того мерзкие, что Санчо, едва взглянув, тотчас зажмурился, чтобы больше их не видеть. Как же скоро колесница поравнялась со стоянкой, маститый старец поднялся со своего высокого сиденья и, вытянувшись во весь рост, громогласно возопил:

– Я мудрец Лиргандей![136]

Больше он ничего не сказал, и колесница покатила дальше. Затем показалась другая такая же колесница со старцем на троне; старец подал знак, колесница остановилась, и тогда он не менее торжественно, чем первый, возгласил:

– Я – мудрец Алкиф, искренний приятель Урганды Неуловимой!

И поехал дальше.

Вслед за тем таким же образом подъехала третья колесница, однако же на сей раз на троне восседал не старец, а ражий детина с разбойничьею образиною; подъехав, он поднялся с места, как и те двое, и еще более хриплым и злобным голосом произнес:

– Я – волшебник Аркалай, заклятый враг Амадиса Галльского и всех сродников его!

И поехал дальше. Отъехав немного в сторону, все три колесницы остановились, докучный скрип колес прекратился, в лесу воцарилась совершенная тишина, и тогда послышались звуки музыки, нежные и согласные, отчего Санчо возликовал, ибо почел это за доброе

предзнаменование; и по сему обстоятельству он обратился к герцогине, от которой все это время не отходил ни на один шаг и ни на одно мгновение, с такими словами:

– Сеньора! Где играет музыка, там не может быть ничего худого.

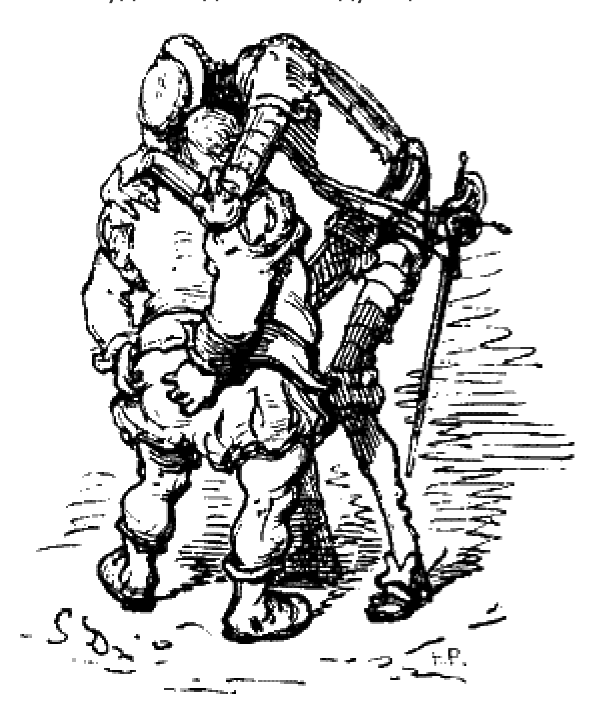
– Так же точно и там, где вспыхивают огоньки и где светло, – отозвалась герцогиня.

Санчо же ей возразил:

– Вспышки – это от пальбы, а свет бывает от костров, вот как сейчас вокруг нас, и они еще отлично могут нас поджарить, а уж где музыка – там, наверно, празднуют и веселятся.

– Это еще неизвестно, – сказал Дон Кихот, слышавший весь этот разговор.

И он оказался прав, как то будет видно из следующей главы.



Глава XXXV,

в коей продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, а равно и о других удивительных происшествиях



Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркою гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три больше прежних; на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяло судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогинею и Дон Кихотом, и в то же мгновение на ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула длинную свою одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся, Санчо струхнул, и даже герцогу с герцогиней стало не по себе. Поднявшись и вытянувшись во весь рост, эта живая Смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так:

Я – тот Мерлин, которому отцом
Был дьявол, как преданья утверждают.
(Освящена веками эта ложь!)
Князь магии, верховный жрец и кладезь
Старинной Зороастровой науки,
Я с временем веду борьбу, стараясь,
Чтоб, вопреки ему, вы не забыли
О странствующих рыцарях, которых

За доблесть я глубоко чтил и чту.
Хоть принято считать, что чародеев,
Волшебников и магов отличает
Завистливый, коварный, злобный нрав,
Я кроток, ласков, к людям благосклонен
И всячески стремлюсь творить добро.

Я пребывал в пещерах Дита[137] мрачных,Вычерчивая там круги, и ромбы,И прочие таинственные знаки.Как вдруг туда проник печальный голосПрекрасной Дульсинеи из Тобосо.Поняв, что превратило колдовствоЕе из знатной дамы в поселянку,Я жалостью проникся, заключилСвой дух в пустую оболочку этойНа вид ужасной, изможденной плоти,Перелистал сто тысяч фолиантов,В которых тайны ведовства сокрыты,И поспешил сюда, чтоб положитьКонец беде, столь тяжкой и нежданной. О ты, краса и гордость тех, кто ходитВ стальных и диамантовых доспехах;Ты, свет, маяк, пример, учитель, вождьТех, кто предпочитает косной лениИ праздной неге пуховых перинКровавый и тяжелый ратный труд!Узнай, о муж, прославленный навекиГеройскими деяньями, узнай,Испании звезда, Ламанчи солнце,Разумный и учтивый Дон Кихот,Что обрести первоначальный обликСладчайшей Дульсинее из ТобосоУдастся, к сожалению, не раньше,Чем Санчо, твой оруженосец верный,По доброй воле под открытым небомТри тысячи и триста раз огреетСебя по голым ягодицам плетьюТак, чтоб зудел, горел и саднил зад.Решенье это, с коим согласилисьВсе, кто в ее несчастии виновен,Я и пришел, сеньоры, объявить.

– Да ну тебя! – вскричал тут Санчо. – Какое там три тысячи, – для меня и три удара плеткой все равно что три удара кинжалом. Пошел ты к черту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, какое отношение имеют мои ягодицы к волшебным чарам! Ей-богу, если только сеньор Мерлин не найдет другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, то пусть она и в гроб сойдет заколдованная!

– А вот я сейчас схвачу вас, дрянь паршивая, – заговорил Дон Кихот, – в чем мать родила привяжу к дереву, и не то что три тысячи триста плетей, а и все шесть тысяч шестьсот влеплю, да так, что, дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз, они все равно не отлепятся. И не смейте возражать, иначе я из вас душу вытрясу.

Но тут вмешался Мерлин:

– Нет, так не годится, на эту порку добрый Санчо должен пойти добровольно, а не по принуждению, и притом, когда он сам пожелает, ибо никакого определенного срока не установлено. Кроме того, бичевание будет сокращено вдвое, если только он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы и увесистая.

– Ни чужая, ни собственная, ни увесистая, ни развесистая, – объявил Санчо, – никакая рука не должна меня трогать. Я, что ли, родил сеньору Дульсинею Тобосскую? Так почему же мне своими ягодицами приходится расплачиваться за ее грешные очи? Вот мой господин уж подлинно составляет часть ее самой, потому он беспрестанно называет ее своей *жизнью, душою, опорой и поддержкой,* и он может и должен отстегать себя ради нее и сделать все, лишь бы только она была расколдована, но чтобы я себя стал хлестать?.. *Abernuntio*.[138]

Только успел Санчо это вымолвить, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина, вскочила, откинула тонкое покрывало, под которым оказалось необыкновенной красоты лицо, и, обращаясь непосредственно к Санчо Пансе, с чисто мужской развязностью и не весьма нежным голосом заговорила:

– О незадачливый оруженосец, баранья твоя голова, дубовое сердце, булыжные и кремневые внутренности! Если б тебе приказали, наглая рожа, броситься с высокой башни на землю, если б тебя попросили, враг человеческого рода, сожрать дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, если б тебя уговаривали зверски зарезать жену и детей кривою и острою саблею, то твое ломанье и отлыниванье никого бы и не удивили, но придавать значение трем тысячам тремстам плетям, в то время как самый скверный мальчишка из сиротского дома ежемесячно получает столько же, – вот что изумляет, поражает, ужасает все добрые души, которые внимают здесь твоим словам, и ужаснет еще всех тех, которые со временем об этом узнают. Уставь, гнусное, бесчувственное животное, уставь, говорят тебе, свои буркалы, как у испуганного филина, на мои очи, подобные сияющим звездам, и ты увидишь, как поток за потоком и ручей за ручьем струятся из них слезы, образуя промоины, канавки и дорожки на прекрасных равнинах моих ланит. Сжалься, прощелыга и зловредное чудовище, над цветущими моими летами, до сих пор еще не перевалившими за второй десяток: ведь мне всего только девятнадцать, а двадцати еще нет, и вот я чахну и увядаю под грубой мужицкой оболочкой, и если я сейчас не кажусь мужичкою, то это благодаря здесь присутствующему сеньору Мерлину, который сделал мне особое одолжение единственно для того, чтобы моя красота тебя тронула, ибо слезы скорбящей красавицы обращают утесы в хлопок, а тигров в овечек. Хлещи же, хлещи себя по мясам, скот немыслимый, пробуди свою удаль, которая направлена у тебя на обжорство и только на обжорство, и возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица. Если же ради меня ты не пожелаешь смягчиться и прийти к разумному решению, то решись хотя бы ради несчастного этого рыцаря, что стоит подле тебя, то есть ради твоего господина, которого душа мне сейчас видна: она застряла у него в горле на расстоянии десяти пальцев от губ и намерена, смотря по тому, каков будет твой ответ – суров ли, благоприятен ли, вылететь из его уст или же возвратиться к нему в утробу.

При этих словах Дон Кихот пощупал себе горло и, обратясь к герцогу, молвил:

– Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа и впрямь застряла у меня в горле, будто арбалетное ядрышко.

– Что ты на это скажешь, Санчо? – спросила герцогиня.

– Скажу, сеньора, – отвечал Санчо, – то же, что и прежде: насчет плетей – *abernuntio.*

– *Abrenuntio* должно говорить, Санчо, ты не так выговариваешь, – поправил его герцог.

– Оставьте меня, ваше величие, – сказал Санчо, – мне сейчас не до таких тонкостей, прибавил я одну букву или же убавил, – я до того расстроен тем, что кто-то будет меня пороть или же я сам себя должен выпороть, что за свои слова и поступки не отвечаю. Хотел бы я знать, однако ж, где это моя госпожа сеньора донья Дульсинея Тобосская слышала, чтобы так просили: сама же добивается от меня, чтобы я согласился себе шкуру спустить, и обзывает меня при этом бараньей головой, скотом немыслимым и ругает на чем свет стоит, так что сам черт вышел бы из терпения. Да что, в самом деле, тело-то у меня каменное, или же меня хоть сколько-нибудь касается, заколдована она или нет? Другая, чтоб задобрить, корзину белья с собой привезла бы, сорочек, платков и полусапожек, хоть я их не ношу, а эта то и знай бранится, – видно, забыла, как у нас говорят: навьючь осла золотом – он тебе и в гору бегом побежит, а подарки скалу прошибают, а у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и синица в руках лучше, чем журавль в небе. А тут еще мой господин, вместо того чтобы меня умаслить и по шерстке погладить – он, мол, тогда станет мягкий, как воск, лепи из него что хочешь, – объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную порцию розг. И пусть все эти прискорбные сеньоры возьмут в толк, что они добиваются порки

не какого-нибудь там оруженосца, а губернатора, – поднимай, как говорится, выше. Нет, прах их побери, пусть сначала научатся просить, научатся уговаривать и станут повежливее, а то день на день не похож, и не всегда человек в духе бывает. Я сейчас готов лопнуть с досады, что мое зеленое полукафтанье в клочьях, а тут еще меня просят, чтоб я дал себя высечь по собственному хотению, а мне этого так же хочется, как все равно превратиться в касика.[139]

– Скажу тебе по чести, друг Санчо, – молвил герцог, – что если ты не сделаешься мягче спелой фиги, то не получишь острова. Разве у меня хватит совести послать к моим островитянам жестокосердного губернатора, чье каменное сердце не тронут ни слезы страждущих девиц, ни мольбы благоразумных, могущественных и древних волшебников и мудрецов? Одним словом, Санчо, или ты сам себя высечешь, или тебя высекут, или не бывать тебе губернатором.

– Сеньор! – сказал Санчо. – Нельзя ли дать мне два дня сроку, чтобы я подумал, как лучше поступить?

– Ни в коем случае, – возразил Мерлин. – Это дело должно быть решено тут же и сию минуту: либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесиноса и снова примет облик крестьянки, либо в том виде, какой она имеет сейчас, ее восхитят в Елисейские Поля, и там она будет ждать, доколе положенное число розог не будет отсчитано полностью.

– Ну же, добрый Санчо, – сказала герцогиня, – наберись храбрости и отплати добром за хлеб, который ты ел у своего господина Дон Кихота, – все мы обязаны оказывать ему услуги и ублажать его за добрый нрав и высокие рыцарские деяния. Дай же, дружок, свое согласие на порку и не празднуй труса: ведь ты сам хорошо знаешь, что храброе сердце злую судьбу ломает.

Вместо ответа Санчо повел с Мерлином такую глупую речь:

– Сделайте милость, сеньор Мерлин, растолкуйте мне: сюда под видом гонца являлся черт и от имени сеньора Монтесиноса сказал моему господину, чтобы тот ждал его здесь, потому он сам, дескать, сюда прибудет и научит, как расколдовать сеньору донью Дульсинею Тобосскую, но до сих пор мы никакого Монтесиноса в глаза не видали.

Мерлин же ему на это ответил так:

– Друг Санчо! Этот черт – невежда и преизрядный мерзавец: я посылал его к твоему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от себя самого. Монтесинос же сидит в своей пещере и, можно сказать, ждет не дождется, чтобы его расколдовали, так что он и рад бы в рай, да грехи не пускают. Если же он у тебя в долгу, либо если у тебя есть к нему дело, то я живо тебе его доставлю и отведу, куда скажешь. А пока что соглашайся скорей на порку, – уверяю тебя, что это будет тебе очень полезно как для души, так и для тела: для души – потому что ты тем самым оказываешь благодеяние, а для тела – потому что, сколько мне известно, ты человек полнокровный, и легкое кровопускание не сможет тебе повредить.

– Больно много лекарей развелось на свете: волшебники – и те лекарями заделались, – заметил Санчо. – Ну, коли все меня уговаривают, хотя сам-то я смотрю на это дело по-другому, так и быть, я согласен нанести себе три тысячи триста ударов плетью с условием, однако ж, что я буду себя пороть, когда мне это заблагорассудится, и что никто мне не будет указывать день и час, я же, со своей стороны, постараюсь разделаться с этим возможно скорее, чтобы все могли полюбоваться красотою сеньоры доньи Дульсинеи Тобосской, а ведь она сверх ожидания, видно, и впрямь красавица. Еще я ставлю условием, что я не обязан сечь себя до крови и что если иные удары только мух спугнут, все-таки они будут мне зачтены. Равным образом, ежели я собьюсь со счета, то пусть сеньор Мерлин, который все на свете превзошел, потрудится подсчитать и уведомить меня, сколько недостает или же сколько лишку.

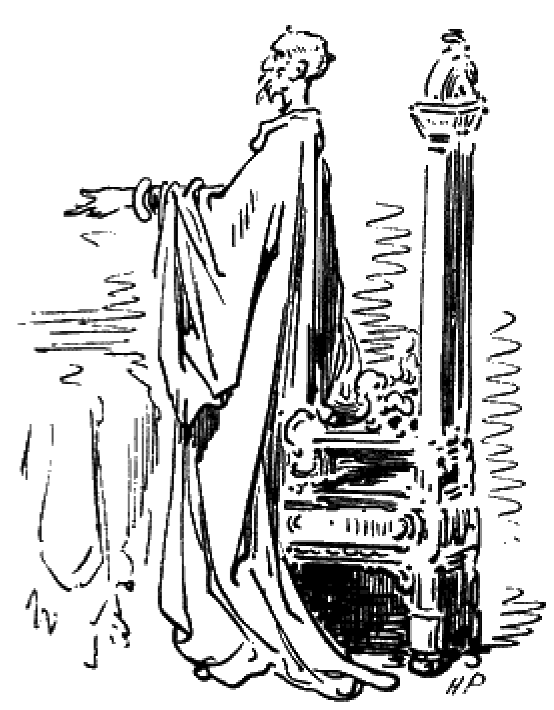
– О лишке уведомлять не придется, – возразил Мерлин, – чуть только положенное число ударов будет отпущено, сеньора Дульсинея внезапно расколдуется и из чувства признательности явится поблагодарить доброго Санчо и даже наградить его за доброе дело.

Так что ни о лишке, ни о недостаче ты не беспокойся, да и небо не позволит мне хотя на волос тебя обмануть.

– Ну так, господи, благослови! – воскликнул Санчо. – Я покоряюсь горькой моей судьбине, то есть принимаю на указанных условиях эту епитимью.

Только Санчо успел это вымолвить, как снова затрубили трубы, снова затрещали бесчисленные аркебузные выстрелы, а Дон Кихот бросился к Санчо на шею и стал целовать его в лоб и щеки. Герцогиня, герцог и все прочие выразили свой восторг, и колесница тронулась с места; и при отъезде Дульсинея отвесила поклон герцогу с герцогиней и особенно глубокий – Санчо.

А между тем на небе все ярче разгоралась заря, радостная и смеющаяся, полевые цветы поднимали головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань ожидавшим их рекам. Ликующая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет – все это, и вместе и порознь возвещало, что день, стремившийся вослед Авроре, обещает быть тихим и ясным. Герцог же и герцогиня, довольные охотою, а равно и тем, сколь остроумно и счастливо достигли они своей цели, возвратились к себе в замок с намерением затеять что-нибудь новое, выдумывать же всякие проказы доставляло им величайшее удовольствие.



Глава XXXVI,

в коей рассказывается о необычайном и невообразимом приключении с дуэньей Гореваной, иначе называемой графинею Трифальди, и приводится письмо, которое Санчо Панса написал жене своей Тересе Панса



У герцога был домоправитель, великий шутник и весельчак: это он исполнял роль Мерлина, он же руководил всем этим приключением, сочинил стихи и подучил одного из пажей изобразить Дульсинею. Немного погодя с помощью своих господ он составил план нового приключения, свидетельствовавший о необыкновенно хитроумной и на редкость богатой его выдумке.

На другой день герцогиня спросила Санчо, начал ли он принятое им на себя покаяние, необходимое для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Санчо ответил, что начал и прошедшей ночью уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем именно он их нанес. Санчо ответил, что рукою.

– Это шлепки, а не бичевание, – заметила герцогиня. – Я убеждена, что подобная мягкость обхождения с самим собой не понравится мудрому Мерлину. Нет уж, добрый Санчо, избери-ка ты для себя плеть с шипами или же с узлами, – так будет чувствительнее: ведь недаром говорит пословица, что и для ученья полезно сеченье, а свободу столь знатной особы, какова Дульсинея, так дешево, такой ничтожной ценой приобрести нельзя. И еще прими в рассуждение, Санчо, что добрые дела, которые делаются вяло и нерадиво, не зачитываются и ровно ничего не стоят.

На это Санчо ответил так:

– А вы дайте мне, ваша светлость, плетку или же веревку, какую получше, и я буду себя стегать, только не очень больно, потому было бы вам известно, ваша милость, что хоть я и простой мужик, а тело у меня не из ряднины, а скорей из хлопчатой бумаги, и калечить себя ради чужой пользы – это не дело.

– В добрый час, – молвила герцогиня, – завтра я выберу плеточку как раз по тебе, и нежной твоей коже она полюбится как родная сестра.

Затем Санчо сказал герцогине:

– К сведению вашей светлости, дорогая моя сеньора, я написал письмо моей жене Тересе Панса и уведомил ее обо всем, что со мной произошло с тех пор, как мы с ней расстались; письмо у меня тут, за пазухой, остается только надписать адрес, и мне бы хотелось, чтобы ваше благоразумие его прочитало, потому мне сдается, что оно написано по-губернаторски, то есть так, как должны писать губернаторы.

– А кто же его сочинил? – осведомилась герцогиня.

– Кто же, как не я, грешный? – сказал Санчо.

– И сам же и написал? – продолжала допытываться герцогиня.

– Какое там, – отвечал Санчо, – я не умею ни читать, ни писать, я могу только поставить свою подпись.

– Ну что ж, посмотрим, – молвила герцогиня, – я уверена, что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности.

Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее:

«Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился; хоть и будет у меня славный остров, но за это не миновать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь, милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно, Тереса, твердое мое решение: тебе надлежит ездить в карете, иначе тебе не подобает, потому ездить как-нибудь по-другому – это для тебя теперь все равно что ползать на карачках.

Ты жена губернатора, смотри же: у тебя все должно быть так, чтобы комар носа не подточил! При сем прилагаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня, – прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот – помешанный разумник и забавный сумасброд и что я ему отличная пара. Побывали мы в пещере Монтесиноса, а мудрый Мерлин на предмет расколдования Дульсинеи Тобосской, которую, впрочем, все ее земляки зовут Альдонсой Лоренсо, выбрал меня: мне надлежит нанести себе три тысячи триста ударов за вычетом тех пяти, что я уже нанес, и тогда она будет совсем расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не говори, а то вынесешь сор из дому – и пойдут кривотолки. Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с величайшим желанием зашибить деньгу, – мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием. Я там огляжусь и тогда отпишу, стоит тебе приезжать или нет. Серый здоровехонек и низко тебе кланяется, а я его ни за что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сеньора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей поцелуй две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выражения – это самая дешевая и ни к чему не обязывающая вещь на свете. Богу было неугодно послать мне еще один чемоданчик с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не огорчайся, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит: говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь, и вот коли так оно и будет, то губернаторство недешево мне обойдется. Впрочем, калекам и убогим подают столько милостыни, что они живут как каноники. Вот и выходит, что не так, так этак, а ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе бог счастья, а меня да хранит он ради тебя.

Писано в этом замке 1614 года июля 20 дня.

Твой супруг, губернатор Санчо Панса».

Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо:

– В двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплоховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть, а между тем вы сами хорошо знаете и не станете отрицать, что когда мой муж, герцог, обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное корыстолюбие, но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются, и алчный правитель творит неправый суд.

– Я совсем не то хотел сказать, сеньора, – заметил Санчо, – и если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно, то мы его в момент разорвем и напишем новое, но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку.

– Нет, нет, – возразила герцогиня, – это хорошее письмо, я хочу показать его герцогу.

Затем они пошли в сад, куда в этот день должен был быть подан обед. Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он пришел от него в совершенный восторг. Обед кончился, убрали со стола, и долго еще после этого герцог и герцогиня наслаждались занятными речами Санчо, как вдруг послышались унылые звуки флейты и глухой, прерывистый стук барабана. Все, казалось, были потрясены этою непонятною, воинственною и печальною музыкою, особливо же Дон

Кихот, – от волнения он не мог усидеть на месте; про Санчо и говорить нечего: от страха он устремился к обычному своему убежищу, то есть под крылышко к герцогине, ибо доносившиеся звуки музыки были воистину и вправду тоскливы и унылы. Среди присутствовавших все еще царило смятение, как вдруг они увидели, что по саду идут два человека в траурном одеянии, столь длинном и долгополом, что оно волочилось по земле; оба незнакомца били в большие барабаны, также обтянутые черною тканью. Рядом с ними шагал флейтист, такой же черный и страшный, как и они. Следом за этою троицею шел человек исполинского телосложения, одетый, вернее сказать, закутанный, в черную-пречерную хламиду с невероятной длины шлейфом. Поверх хламиды его опоясывала и перекрещивала широкая, также черная, перевязь, а на ней висел громадной величины ятаган с черным эфесом и в черных ножнах. Лицо у него было закрыто прозрачною черною вуалью, сквозь которую видна была длиннейшая белоснежная борода. Выступал он в такт барабанам, величественно и чинно. Словом, громадный его рост, важная поступь, черные одежды, а также его свита могли бы привести, да и привели в смущение всех, не имевших понятия, кто он таков.

Итак, с вышеописанною медлительностью и особою торжественностью приблизился он к герцогу, который вместе со всеми прочими ожидал его стоя; приблизившись же, он опустился перед герцогом на колени, но тот наотрез отказался с ним разговаривать, пока он не поднимется. Чудище послушалось и, ставши на ноги, откинуло с лица вуаль, а под нею оказалась преужасная борода, такая длинная, белая и густая, какой доселе не видывал человеческий взор, после чего из объемистой и широкой груди бородача вырвались и полились звуки низкого и сильного голоса, и, уставившись на герцога, бородач произнес такие слова:

– Светлейший и всемогущий сеньор! Меня зовут Трифальдин Белая Борода, я служитель графини Трифальди, иначе дуэньи Гореваны, от которой я и прибыл к вашему величию с посольством, а именно: не соизволит ли ваше высокопревосходительство дозволить и разрешить ей явиться к вам и поведать свою печаль, одну из самых необыкновенных и удивительных, какие только самое мрачное воображение во всем подлунном мире может себе вообразить? Но прежде всего она желает знать, нет ли в вашем замке доблестного и непобедимого рыцаря Дон Кихота Ламанчского, ибо она ради него пришла в ваше государство из королевства Кандайи пешком и натощак, то есть совершила деяние, которое можно и должно почитать за чудо или же за волшебство. Она дожидается у ворот вашей крепости, то бишь летнего замка, и предстанет пред вами, как скоро вы дадите свое согласие. Я кончил.



Тут он кашлянул, обеими руками погладил бороду и с большим достоинством стал ждать ответа. А герцог ответил так:

– Уже давно, любезный Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о несчастье, постигшем ее сиятельство графиню Трифальди, которую волшебники принуждают именовать себя дуэньей Гореваной, а посему, редкостный служитель, попроси ее войти и передай ей, что отважный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чей нрав столь благороден, что от него смело можно ожидать всяческой помощи и защиты, находится здесь. И передай ей еще от моего имени, что если она нуждается и в моем покровительстве, то за этим дело не станет, ибо к тому меня обязывает звание рыцаря, рыцарям же надлежит и подобает покровительствовать всем женщинам, особливо вдовствующим дуэньям, утесняемым и страждущим, а ее сиятельство, должно думать, именно такова и есть.

При этих словах Трифальдин преклонил перед герцогом колена, а затем, подав барабанщикам и флейтисту знак, под ту же самую музыку, под которую он входил в сад, и тою же самою поступью направился к выходу, а присутствовавшие между тем снова подивились наружности его и осанке. Герцог же, обратясь к Дон Кихоту, сказал:

– Итак, славный рыцарь, сумрак невежества и коварства не в силах затмить и помрачить свет доблести и благородства. Говорю я это к тому, что ваше великодушие еще и недели не прожило в моем замке, а из чужедальних краев к вам уже притекают люди – и не в каретах, и не на верблюдах, а пешком и натощак; притекают скорбящие, притекают униженные, верящие, что в могущественнейшей вашей длани они найдут избавление от всех своих горестей и мытарств, и этим вы обязаны великим своим деяниям, молва о которых обежала и облетела все известные нам страны.

– Я бы ничего не имел против, сеньор герцог, – заговорил Дон Кихот, – если бы здесь была сейчас та почтенная духовная особа, которая недавно за столом выказала такое нерасположение и такую ненависть к странствующим рыцарям – пусть бы она теперь воочию удостоверилась, нужны или не нужны упомянутые рыцари людям. По крайней мере, она убедилась бы на деле, что люди, безмерно униженные и доведенные до отчаяния, в важных случаях жизни, когда их постигают бедствия ужасные, идут за помощью не в дома судейских, не в дома сельских псаломщиков, не к дворянину, который ни разу не выезжал из своего имения, и не к столичным тунеядцам, которые любят только выведывать новости, а затем выкладывать и рассказывать их другим, но отнюдь не стремятся сами совершать такие деяния и подвиги, о которых рассказывали бы и писали другие. Выручать в бедах, помогать в нужде, охранять девиц и утешать вдов лучше странствующих рыцарей никто не умеет, и я бесконечно благодарю бога за то, что я рыцарь, и благословляю любые несчастья и испытания, какие на почетном этом поприще мне могут быть посланы. Пусть явится эта дуэнья и попросит у меня, чего только ей угодно: порукой за избавление ее от напастей служат мощь моей длани и непреклонная решимость вечно бодрствующего моего духа.



Глава XXXVII,

в коей продолжается славное приключение с дуэньей Гореваной



Герцог и герцогиня были в восторге, что Дон Кихот принял всю эту их затею за чистую монету, но тут заговорил Санчо:

– Боюсь, как бы сеньора дуэнья не подложила мне свинью по части моего губернаторства. Я слыхал от одного толедского аптекаря – больно речистый был человек, – что куда только сунут свой нос дуэньи, там уж добра не жди. Бог ты мой, до чего же их ненавидел этот самый аптекарь! Из этого я заключаю, что коли все дуэньи – назойливые и наглые, какого бы звания и состояния они ни были, то что же должна собой представлять дуэнья Горевана, как называют эту графиню, настоящая фамилия которой то ли Три Фалды, то ли Три Хвоста? Ведь у нас в деревне фалды хвостами зовут.

– Помолчи, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – эта сеньора дуэнья прибыла ради меня из далеких стран, и потому я не допускаю мысли, чтобы она принадлежала к числу тех дуэний, о которых толковал твой аптекарь, тем более что она – графиня, графини же если и бывают дуэньями, то только при королевах и при императрицах, а у себя дома они – высшая знать, и им прислуживают другие дуэньи.

Тут вмешалась в разговор при сем присутствовавшая донья Родригес.

– В услужении у нашей сеньоры герцогини находятся такие дуэньи, – заметила она, – которые при благоприятном стечении обстоятельств также могли бы быть графинями, но только ведь человек предполагает, а бог располагает. Как бы то ни было, говорить дурно о дуэньях я никому не позволю, особливо о старых девах, – хоть я и не из их числа, а все-таки преимущество дуэньи-девицы перед дуэньей-вдовой для меня ясно и очевидно, и кому вздумается нас, дуэний, стричь, у того ножницы к рукам пристанут.

– Ну, положим, – возразил Санчо, – мой знакомый цирюльник говорит: у дуэний столько есть чего остричь, что уж лучше эту кашу не мешать, хоть она и крутенька.

– Прислужники испокон веков во вражде с нами, – возразила донья Родригес, – они днюют и ночуют в передних, мы у них всегда перед глазами, и оставляют они нас в покое, только когда богу молятся, а все остальное время сплетничают, перемывают нам косточки и чернят наше доброе имя. Нет уж, как они себе хотят, эти чурбаны, а мы назло им будем себе жить да поживать, да еще у важных господ, хотя, впрочем, мы там и голодаем, и прикрываем нежное свое тело, – а у кого оно, может, и не такое уж нежное, – черными хламидами, вроде того как на время праздничной процессии прикрывают и застилают коврами навозные кучи. Честное слово, если бы мне только позволили и вышел подходящий случай, я бы не то что здесь присутствующим, а и всему миру доказала, что дуэнья есть вместилище всех добродетелей.

– Я полагаю, – молвила герцогиня, – что добрая моя дуэнья донья Родригес права, и права вполне, но только сейчас не время вступаться за себя и за других дуэний и оспаривать мнение негодного этого аптекаря, укоренившееся в душе почтенного Санчо Пансы.

На это Санчо сказал:

– С тех пор как мне ударило в голову губернаторство, я уже не страдаю слабостями, присущими слуге, и на всех дуэний на свете мне теперь в высшей степени наплевать.

Спор о дуэньях, вероятно, еще продолжался бы, но в это время снова послышались флейта и барабаны, что возвещало вступление дуэньи Гореваны в сад. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти ей навстречу, потому что она как-никак графиня и знатная особа.

– Раз она графиня, – отвечал за герцога Санчо, – то я положительно утверждаю, что вашим величиям надлежит выйти ей навстречу, но раз она вместе с тем дуэнья, то я полагаю, что вам ни на один шаг не следует сдвигаться с места.

– Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Кто просит? – повторил Санчо. – Я вмешиваюсь потому, что имею право вмешиваться, как оруженосец, обучавшийся правилам вежливости в школе вашей милости, а ведь вы – наиучтивейший и наиблаговоспитаннейший рыцарь, вы всем учтивцам учтивец, и вы же сами говорите, ваша милость: по этой части что пересолить, что недосолить – прок один, и довольно, – кажется, я достаточно ясно выразился.

– Санчо совершенно прав, – заметил герцог, – прежде посмотрим, какова графиня с виду, а затем установим, какие почести ей подобают.

В это время, так же точно, как и в первый раз, вошли барабаны и флейта.

И на этом автор заканчивает краткую сию главу и начинает новую, в которой будет продолжаться то же самое приключение, а оно является одним из наиболее достойных внимания во всей нашей повести.



Глава XXXVIII,

в коей приводится рассказ дуэньи Гореваны о ее недоле



Следом за унылыми музыкантами по саду шли двумя рядами двенадцать дуэний в широких хламидах, по-видимому из весьма плотного сукна, и в белых канекеновых покрывалах, столь длинных, что из-под них видна была лишь каемка хламиды. За ними, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода, шествовала сама графиня Трифальди; на ней было платье из отличной черной байки с таким длинным ворсом, что, если б его завить, каждая ворсинка походила бы на добрую мартосскую горошину.[140] Три конца ее шлейфа, иначе говоря – хвоста (можно назвать его и так и этак), несли, тоже одетые в траур, три пажа, являя собою красивую геометрическую фигуру, образованную тремя острыми углами, под которыми расходились три конца ее шлейфа, и всякий, кто глядел на остроконечный этот шлейф, тотчас догадывался, что потому-то ее и зовут *графиней Трифальди,* то есть графиней *Трех Фалд;* и Бен-инхали подтверждает, что это так и есть, а что настоящая ее фамилия – *графиня Волчуна,* ибо в ее графстве водилось много волков, если же, дескать, в том графстве водились бы во множестве не волки, а лисицы, то она звалась бы *графинею Лисианою,* ибо местный обычай таков, что владетельные князья производят свои фамилии от того предмета или же предметов, какими их владения изобилуют; однако наша графиня, дабы подчеркнуть необычайность своего шлейфа, переменила фамилию *Волчуна* на *Трифальди.*

Графиня шла величавою поступью, равно как и все двенадцать ее дуэний, коих лица были закрыты черною вуалью, и не прозрачною, как у Трифальдина, но до того густою, что сквозь нее ничего нельзя было разглядеть. Как скоро отряд дуэний показался в саду, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали, а за ними и все, кто созерцал медлительное это шествие. Наконец двенадцать дуэний остановились, образовав проход, и между ними, по-прежнему опираясь на руку Трифальдина, прошла Горевана, герцог же, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу. Графиня опустилась на колени и заговорила голосом отнюдь не тонким и не нежным, а скорее грубым и хриплым:

– Благоволите, ваши величия, не воздавать таких почестей вашему покорному слуге, то бишь служанке: ведь я пребываю в горе и из-за этого не могу ответить вам тем же, ибо необыкновенное мое и доселе невиданное несчастье отшибло у меня разум и унесло невесть куда, и, должно полагать, весьма далеко; потому что сколько я ни ищу мой разум, а сыскать так-таки и не могу.

– Вовсе неразумным, сеньора графиня, мы почли бы того, – молвил герцог, – кто с первого взгляда не распознал бы ваших совершенств, которые бесспорно заслуживают наивысших учтивостей и наиторжественнейших церемоний.

Тут он предложил ей руку и усадил ее в кресло рядом с герцогинею, герцогиня же оказала ей не менее любезный прием. Дон Кихот молчал, а Санчо Пансе страх как хотелось увидеть лицо самой Трифальди или же какой-нибудь из многочисленных ее дуэний, но это могло быть только в том случае, если б они по своей доброй воле и хотению сняли вуаль.

Никто не шевелился, все хранили молчание, ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил, и первая нарушила его дуэнья Горевана, поведя такую речь:

– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и все просвещеннейшее общество, что злейшее мое злоключение встретит в доблестнейших сердцах ваших столько же снисхождения, сколь и великодушия и сострадания, ибо злоключение мое таково, что оно способно растрогать мрамор, смягчить алмазы и расплющить булат самых жестоких сердец на свете. Однако, прежде нежели оно достигнет области вашего слуха (слово *уши* мне кажется слишком грубым), я бы хотела знать, находится ли в вашем обществе, кругу и компании безупречнейший рыцарь – Ламанчнейший Дон Кихот и оруженоснейший его Панса.

– Панса здесь, и кихотейший Дон также, – прежде чем кто-либо успел ответить, объявил Санчо, – так что вы, горемычнейшая и дуэньейшая, можете говорить все, что только придет в головейшую вашу голову, мы же всегдайше готовы к услужливейшим вашим услугам.

В это время поднялся Дон Кихот и, обращая свою речь к горюющей дуэнье, молвил:

– Если ваши невзгоды, скорбящая сеньора, оставляют вам хотя бы отдаленную надежду, что сила и доблесть странствующего рыцаря могут вам помочь, то я готов все свои силы, пусть малые и слабые, отдать на служение вам. Я – Дон Кихот Ламанчский, коего назначение – защищать всех обездоленных, следственно, вам нет нужды, сеньора, стараться расположить нас к себе и начинать с предисловий, – говорите напрямик, без околичностей, о своих огорчениях: к вашей повести приклонили слух такие люди, которые сумеют если не выручить вас из беды, то, по крайней мере, разделить вашу скорбь.

При этих словах дуэнья Горевана сделала такое движение, словно желала броситься к ногам Дон Кихота, и она в самом деле бросилась и, пытаясь обнять их, заговорила:

– Я припадаю к вашим стопам и ногам, о непобедимый рыцарь, ибо они суть основание и опора странствующего рыцарства! Я желаю облобызать сии стопы, от чьих шагов теснейшим образом зависит избавление от всех моих бед, о доблестный странствующий рыцарь, коего истинные подвиги затмевают и оставляют позади баснословные подвиги Амадисов, Эспландианов и Бельянисов!

Затем она обратилась к Санчо Пансе и, схватив его за руки, молвила:

– О ты, вернейший из всех оруженосцев, находившихся на службе у странствующих рыцарей в веке нынешнем, а равно и в веках минувших, оруженосец, чьи достоинства безмернее бороды спутника моего Трифальдина, здесь присутствующего! Ты вправе гордиться тем, что служишь великому Дон Кихоту, ибо в его лице ты служишь всей уйме рыцарей, которые когда-либо брались за оружие. Заклинаю тебя неизменными твоими добродетелями: будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он не замедлил вступиться за эту смиреннейшую и незадачливейшую графиню.

Санчо же ей на это сказал:

– Что мои достоинства, сеньора, велики и огромны, как борода вашего оруженосца, – это меня весьма мало трогает. Лишь бы только душа моя перешла в мир иной с бородою и с усами, – вот что мне важно, а до здешних бород мне мало, а вернее сказать, и совсем нет никакого дела. Но только я и без такого умасливанья и клянчанья попрошу моего господина (а я знаю, что он меня любит, особливо теперь, когда я ему нужен для одного дела), чтобы он, в

чем может, оказал вам помощь и покровительство. Выкладывайте нам, ваша милость, свою беду, рассказывайте все по порядку и не беспокойтесь: уж как-нибудь мы с вами столкуемся.

Герцогу и герцогине была известна подоплека этого приключения, и теперь они умирали со смеху и мысленно восторгались сообразительностью графини Трифальди и ее уменьем притворяться, а графиня между тем снова села в кресло и начала свой рассказ:

– В славном королевстве Кандайе,[141] которое находится между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморина, властвовала королева Майнция, вдова короля Архипелага, от какового супруга и повелителя у нее родилась и появилась на свет наследница престола инфанта Метонимия. Упомянутая мною инфанта Метонимия росла и воспитывалась под моим присмотром и надзором, ибо я была старейшею и наиболее знатною дуэньей ее матери. Долго ли, коротко ли, маленькой Метонимии исполнилось четырнадцать лет, и была она так прекрасна, что казалось, будто природа ничего более совершенного создать не могла. И не подумайте, что она не вышла умом! Нет она была такая же умница, как и красавица, а красавица она была первая в мире, была и есть, если только завистливый рок и неумолимые парки не пресекли нить ее жизни. Но нет, не может этого быть: небо не допустит чтобы на земле учинилось подобное злодеяние и чтобы кисть лучшей в мире виноградной лозы была сорвана незрелой. Красота ее, которую не в силах должным образом восславить неповоротливый мой язык, пленила бесчисленное множество владетельных князей, как туземных, так и иностранных, и среди прочих отважился вознести свои помыслы к небу несказанной ее красоты некий простой кавальеро, столичный житель; он полагался на свою молодость и молодечество, на многосторонние свои способности и дарования, на быстроту и тонкость мыслей, ибо надобно вам знать, ваши величия, если только мой рассказ вам еще не наскучил, что гитара у него в руках прямо так и разговаривала, да к тому же он был стихотворец, изрядный танцор и умел мастерить клетки для птиц, так что в случае крайней нужды одними этими клетками мог бы заработать себе на кусок хлеба, – словом, все эти достоинства и дарования могли бы сдвинуть гору, а не то что прельстить нежную деву. Однако все пригожество его и очаровательная приятность, равно как и все дарования его и способности мало что или даже совсем ничего не могли бы поделать с крепостью, которую представляла собой моя воспитанница, если бы этот разбойник и нахал не почел за нужное покорить сначала меня. Этот лиходей и бесстыжий прощелыга задумал прежде всего подкупить меня и задобрить, чтобы я, недостойный комендант, отдала ему ключи от охраняемой мною крепости. Коротко говоря, он затуманил лестью мой разум и покорил мое сердце разными вещицами и безделушками. Но уж никак не могла я устоять и сдалась окончательно, когда однажды ночью, сидя у окна, выходившего в переулок, услыхала я его пение, а пел он, сколько я помню, вот какую песню:

Ранен в сердце я прекрасной[142]

Ненавистницей моей

И – что вдвое тяжелей —

Должен боль терпеть безгласно.

Песня эта показалась мне перлом создания, а голос его – сладким, как мед, и только потом, когда я увидела, как меня подвели эти и им подобные вирши, я пришла к мысли, что поэтов должно изгонять из государств благоустроенных, как это и советовал Платон, – по крайности, поэтов сладострастных, потому что их стихи не имеют ничего общего со стихами о маркизе Мантуанском, которые приводят в восторг и заставляют проливать слезы и детей, и женщин, остроумие же сладострастных поэтов пронзает вам душу, подобно нежным шипам, и опаляет ее, как молния, не прожигая покровов. А затем вот что он еще пел:

Смерть! Конец приуготовь[143]

Мне с такою быстротою,

Чтобы, насладясь тобою,

Благом жизнь не счел я вновь.

И еще в этом вкусе пел он песенки и куплеты, которые чаруют, когда их поют, и приводят в изумление, когда их читают. А что бывает, когда стихотворцы снисходят до того рода поэзии, который в Кандайе был тогда широко распространен и именовался *сегидильей!* Тут уж душа гуляет, тело пускается в пляс, тебя разбирает смех, и чувства приходят в волнение. Вот потому-то я и говорю, государи мои, что подобных стихотворцев с полным правом должно бы ссылать на острова Ящериц.[144] Впрочем, виноваты не они, а те простаки, которые их восхваляют, и те дурынды, которые им верят, и если б я была тою добродетельною дуэньей, какой мне быть надлежало, меня бы не тронули все эти полунощные сочинения, и я бы усомнилась в искренности подобных выражений: «Я живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне, надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь» – и прочих несуразностей в этом же роде, коими полны такие писания. В самом деле, разве рифмачи не сулят своим возлюбленным феникса Аравии, венца Ариадны,[145] коней Солнца,[146] перлов Юга, золота Червонии[147] и бальзама Панкайи?[148] Тут они дают полную волю своим перьям, – ведь им ничего не стоит обещать то, чего они не собираются, да и не могут исполнить. Но зачем же я уклонилась от моего предмета? Увы мне, несчастной! Что за безумие и что за сумасбродство перечислять чужие недостатки, меж тем как мне еще столько остается сказать о моих собственных! Еще раз: увы мне, злосчастной! Ведь меня сгубили не стихи, а собственное мое простодушие; меня сбила с толку не музыка, а мое же собственное легкомыслие; великая моя неопытность и малая осмотрительность проложили дорогу и расчистили путь дону Треньбреньо – так звали помянутого кавальеро. И вот при моем посредстве он не раз и не два проникал в покой к Метонимии, обольщенной не им, а мною самой, проникал на правах законного супруга, ибо хоть я и великая грешница, а все же нипочем, – то есть, виновата, не нипочем, а ни за что не допустила бы, чтобы кто-нибудь, кроме супруга, коснулся ранта на подошве ее башмачков. Нет, нет, ни в коем случае. За какие бы дела я ни взялась, брак всегда будет у меня стоять на первом месте! В этом же деле вся беда заключается в неравенстве положений: дон Треньбреньо – простой дворянин, а инфанта Метонимия, как я уже сказала, – наследница королевского престола. Некоторое время эта интрижка укрывалась и таилась в благоразумии моей осторожности, но затем я поняла, что она не может не открыться, ибо животик у Метонимии по неведомой причине все вздувался и вздувался, и, в ужасе от этого вздутия Метонимиева живота, мы все трое собрались на совещание и порешили, что, прежде нежели злое это дело обнаружится, дон Треньбреньо в присутствии викария попросит руки Метонимии на основании письма, в коем инфанта давала обещание быть его женою и которое я же ей и продиктовала: моя выдумка помогла мне составить его в столь сильных выражениях, что их не разрушила бы и сила Сампсонова. Были приняты надлежащие меры, означенный викарий прочитал письмо и допросил инфанту, инфанта во всем созналась, и тогда он велел ей укрыться в доме некоего почтенного столичного альгуасила.

Тут вмешался Санчо:

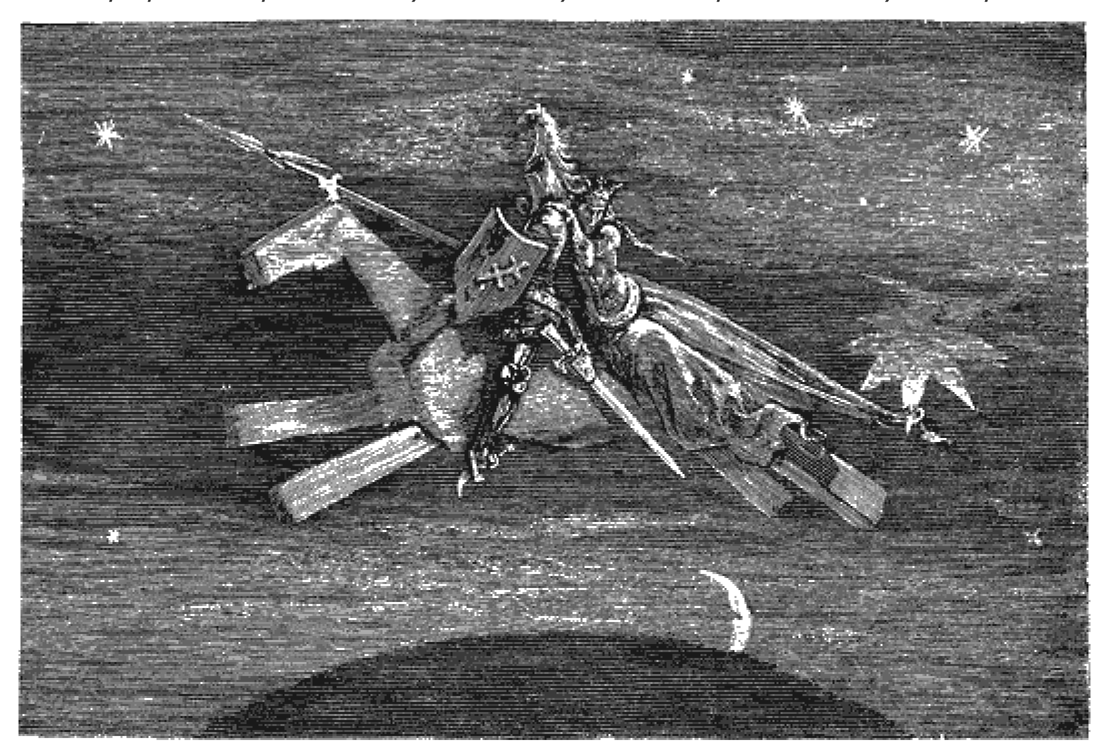
– Раз в Кандайе тоже есть альгуасилы, поэты и сегидильи, то я могу поклясться, что все на свете устроено одинаково. Только вы поторопитесь, ваша милость, сеньора Трифальди: ведь уж поздно, а мне смерть как хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.

– Сейчас, сейчас, – объявила графиня.



Глава XXXIX,

в коей Трифальди продолжает удивительную свою и приснопамятную историю



Каждое слово Санчо Пансы восхищало герцогиню и приводило в отчаяние Дон Кихота; и как скоро Дон Кихот велел ему замолчать, то Горевана продолжала:

– Наконец, после множества вопросов и ответов, удостоверившись, что инфанта твердо стоит на своем, не отступая от первоначального своего решения и не меняя его, викарий решил дело в пользу дона Треньбреньо и отдал ему Метонимию в законные супруги, чем королева

Майнция, мать инфанты Метонимии, была так раздосадована, что спустя три дня мы ее уже схоронили.

– Стало быть, она, наверно, умерла, – заключил Санчо.

– А как же иначе! – воскликнул Трифальдин. – В Кандайе живых не хоронят, а только покойников.

– Бывали случаи, сеньор служитель, – возразил Санчо, – когда человека в обморочном состоянии закапывали в могилу единственно потому, что принимали его за мертвого, и мне сдается, что королеве Майнции надлежало впасть в беспамятство, а вовсе не умирать: ведь пока ты жив, многое можно еще исправить, да и не столь большую глупость сделала инфанта, чтобы так из-за нее убиваться. Выйди она замуж за своего пажа или за какого-нибудь челядинца, – а я слыхал, что с сеньорами вроде нее такое не раз случалось, – вот это уж была бы беда непоправимая, но выйти замуж за дворянина, такого благородного и такого способного, каким его нам здесь изобразили, – ей-богу, честное слово, если это и сумасбродство, то не такое большое, как кажется, потому мой господин, который здесь присутствует и в случае чего меня поправит, всегда говорит, что подобно как из людей ученых могут выйти епископы, так и из рыцарей, особливо ежели они странствующие, могут выйти короли и императоры.

– Твоя правда, Санчо, – подтвердил Дон Кихот, – у странствующего рыцаря, если ему хоть немножко повезет в жизни, есть полная возможность в кратчайший срок стать властелином мира. Но продолжайте, сеньора графиня: по моему разумению, горестный конец этой доселе сладостной истории еще впереди.

– Еще какой горестный! – подхватила графиня. – Столь горестный, что по сравнению с ним редька покажется нам сладкой, а гнилой плод отменно приятным на вкус. Итак, королева скончалась, а вовсе не впала в обморочное состояние, и мы ее схоронили. И только успели мы засыпать ее землей и сказать ей последнее прости, как вдруг *(quis talia fando temperet a lacrymis?)*[149] на могиле королевы верхом на деревянном коне появился великан Злосмрад, двоюродный брат Майнции, лиходей и притом волшебник, и вот, чтобы отомстить за смерть двоюродной сестры, чтобы наказать дона Треньбреньо за дерзость и с досады на распущенность Метонимии, он при помощи волшебных чар заколдовал их всех прямо на могиле: инфанту превратил в медную мартышку, дона Треньбреньо – в страшного крокодила из какого-то неведомого металла, между ними поставил столб, тоже металлический, а на нем начертал сирийские письмена, которые в переводе сначала на кандайский, а затем на испанский язык заключают в себе вот какой смысл: «Дерзновенные эти любовники не обретут первоначального своего облика, доколе со мною в единоборство не вступит доблестный ламанчец, ибо только его великой доблести уготовал рок невиданное сие приключение». Затем он вынул из ножен широкий и огромный ятаган и, схватив меня за волосы, совсем уж было собрался перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я оторопела, язык мой прилип к гортани, я ужасно как волновалась, но все же, сколько могла, пересилила себя и дрожащим и жалобным голосом наговорила ему столько всяких вещей, что в конце концов он отменил суровый свой приговор. Вместо этого он велел привести к нему из дворца всех дуэний, которые в настоящее время находятся здесь, и начал говорить о нашей вине, всячески ее преувеличивая, обличать нравы дуэний, дурные наши повадки и еще более дурные умыслы, переложил мою вину на всех нас, а затем объявил, что намерен заменить для нас смертную казнь казнью длительною, которая будет представлять собою постыдное и непрерывное умирание. И едва успел он договорить, как в ту же самую минуту и мгновенье мы все почувствовали, что на лицах у нас открываются поры и в них вонзаются словно бы острия иголок. Мы поднесли руки к лицу и обнаружили то, что вы сейчас увидите.

При этих словах Горевана и прочие дуэньи откинули с лица вуали, и тут оказалось, что у них у всех растет борода, у кого белокурая, у кого черная, у кого седая, у кого с проседью,

каковое зрелище, видимо, поразило герцога и герцогиню, ошеломило Дон Кихота и Санчо и огорошило всех остальных. А Трифальди продолжала:

– Вот каким образом наказал нас прохвост и негодяй Злосмрад: жесткою щетиною покрыл он мягкую и нежную кожу наших лиц. О, когда бы небу угодно было, чтобы он громадным своим ятаганом отсек нам головы вместо того, чтобы затмевать сияние наших ликов тою шерстью, что нас теперь покрывает! Ведь, если поразмыслить хорошенько, государи мои (о, как бы я хотела, чтобы при этих словах очи мои превратились в два ручья, но неотвязная дума о нашем злосчастии купно с морями слез, которые они до сей поры проливали, их обезводили и сделали сухими, как солома, а потому мне уж как-нибудь без слез обойтись придется), – так вот я и спрашиваю: ну куда денется бородатая дуэнья? Какой отец и какая мать над нею сжалятся? Кто придет ей на помощь? Ведь даже и тогда, когда кожа у дуэньи гладкая, и она применяет всевозможные притирания и мази для лица, и то редко кому она приглянется, а что говорить когда на лице у нее целый лес? О подруги мои, дуэньи! Не в пору родились мы с вами на свет, и не в счастливый миг зачали нас наши родители!

И, сказавши это, она как бы лишилась чувств.



Глава XL

О вещах, имеющих отношение и касательство к этому приключению и к приснопамятной этой истории



Все охотники до таких историй, как эта, должны быть воистину и вправду благодарны Сиду Ахмету, первому ее автору, который по своей любознательности выведал наимельчайшие ее подробности и ярко их осветил, не пропустив даже самых незначительных частностей. Он воссоздает мысли, раскрывает мечтания, отвечает на тайные вопросы, разрешает сомнения, заранее предвидит возражения, одним словом, угадывает малейшие прихоти натуры самой любознательной. О достохвальный автор! О блаженный Дон Кихот! О славная Дульсинея! О забавный Санчо Панса! Много лет здравствовать вам всем и каждому из вас в отдельности – на радость и утешение живущим!

Далее в истории говорится, что как скоро Санчо взглянул на лишившуюся чувств Горевану, то сказал:

– Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех покойных Панса, что я сроду ничего подобного не видывал и не слыхивал и мой господин никогда мне не говорил о таком приключении, да ему и в голову это прийти не могло. Сейчас мне не хочется ругаться, и я только скажу: ну тебя ко всем чертям, волшебник ты этакий и великан Злосмрад! Неужто ты не нашел для этих греховодниц иного наказания, кроме как оборודатить их? Не лучше ль было бы и не больше ли бы это им шло, ежели б ты оттяпал у них верхнюю половину носа, – пусть бы себе гнусавили, – чем отращивать им бороды? Бьюсь об заклад, что им нечем даже заплатить цирюльнику.

– То правда, сеньор, – подтвердила одна из двенадцати дуэний, – у нас нет денег, чтобы заплатить за бритье, а потому некоторые из нас прибегают к такому дешевому средству: мы берем липкий пластырь или же какую-нибудь наклейку, прикладываем к лицу, а затем изо всех сил дергаем, и щеки у нас делаются чистые и гладкие, как донышко каменной ступки. Правда, в Кандайе есть такие женщины, которые ходят по домам и удаляют волосы, подравнивают брови, составляют разные притирания, в коих нуждаются дамы, но мы, дуэньи нашей госпожи, никогда к ним не обращаемся: ведь они нам вовсе не родные сестры и даже не сводные, – они просто-напросто сводни, так что если сеньор Дон Кихот за нас не вступится, то мы и в гроб сойдем бородатыми.

– Я скорее позволю, чтобы мне мою собственную бороду вырвали мавры, нежели вашим бородам позволю расти, – объявил Дон Кихот.

При этих словах Трифальди очнулась и произнесла:

– Во время моего обморока до меня долетел отзвук вашего обещания, доблестный рыцарь, и это он пробудил меня и привел в чувство. Итак, я снова умоляю вас, славнейший из странствующих рыцарей и неукротимейший из сеньоров: претворите в жизнь милостивое ваше обещание.

– За мной дело не станет, – молвил Дон Кихот, – вы только скажите, сеньора, что мне надлежит делать, а мужество мое всегда к вашим услугам.

– Дело состоит вот в чем, – объявила Горевана. – Если идти сушей, то отсюда до королевства Кандайи будет пять тысяч миль или же около того, но если лететь по воздуху и прямиком, то будет всего только три тысячи двести двадцать семь. И вот что еще должно знать: Злосмрад мне сказал, что когда судьба пошлет мне рыцаря-избавителя, то он, Злосмрад, предоставит в его распоряжение верхового коня изрядных статей, без таких изъянов, какие бывают у лошадей наемных, ибо это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прелестную Магелону и которым правят с помощью колка, продетого в его лоб и заменяющего удила, и летит этот конь по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто несут его черти. Согласно древнему преданию, коня того смастерил мудрый Мерлин и отдал на время другу своему Пьеру, и тот совершил на нем долгое путешествие и, как я уже сказала, похитил прелестную Магелону, посадив ее на круп и взвившись с нею на воздух, а кто в это время стоял и смотрел на них снизу вверх, те так и обалдели. Мерлин, однако ж, давал своего коня только тем, кого он любил, или же тем, с кого он за это что-либо получал, и мы ведь не знаем, ездил ли на этом коне еще кто-нибудь после достославного Пьера. Злосмрад раздобыл его силою своих волшебных чар, и теперь он им владеет и разъезжает на нем по всему белому свету: нынче он здесь, завтра во Франции, послезавтра в Потоси.[150] Но самое главное: упомянутый конь не ест, не спит, не изнашивает подков и без крыльев летает по воздуху такою иноходью, что седок может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни единой капли – столь ровный и плавный у того коня ход. Вот почему прелестная Магелона с таким удовольствием на нем путешествовала.

Тут вмешался Санчо:

– Что касается ровного и плавного хода, то мой серый по воздуху, правда, не летает, ну, а на земле он с любым иноходцем потягается.

Все засмеялись, а Горевана продолжала:

– И вот этот самый конь (если только Злосмрад захочет положить конец нашей невзгоде) меньше чем через полчаса после наступления темноты явится сюда, ибо Злосмрад меня предуведомил, что он без малейшего промедления пошлет мне коня: это и будет примета, по которой я догадаюсь, что нашла наконец искомого рыцаря.

– А много народу может поместиться на вашем коне? – осведомился Санчо.

Горевана ответила:

– Двое. Один в седле, другой на крупе, и обыкновенно это – рыцарь и оруженосец, если только нет какой-либо похищенной девицы.

– Любопытно мне знать, сеньора Горевана, как зовут того коня? – спросил Санчо.

– Его зовут, – отвечала Горевана, – не так, как коня Беллерофонта,[151] коему имя было Пегас, не так, как коня Александра Великого, именовавшегося Буцефалом, не так, как коня неистового Роланда, которого звали Брильядором, и не зовут его ни Баярдом, как звали коня Ринальда Монтальванского, ни Фронтином, как звали коня Руджера, ни Боотосом и Перифоем,[152]как звали, кажется, коней Солнца, равно как не зовут его и Орельей, по имени коня, на котором несчастный Родриго, последний король готов, вступил в бой, стоивший ему и жизни и королевства.

– Бьюсь об заклад, – молвил Санчо, – что коли этому коню не было дано ни одного из славных имен столь знаменитых коней, то не носит он также имени коня моего господина – Росинант, которое своею меткостью превосходит все перечисленные вами прозвища.

– То правда, – подтвердила бородатая графиня, – но и ему дано имя весьма подходящее: его зовут Клавиленьо Быстроногий, – *леньо,* то есть кусок дерева, показывает, из чего он сделан, *клави* – это от слова *клавиха,* то есть колок, и намекает это на колок, который у него во лбу, определение же удостоверяет быстроту его бега, так что по части клички он смело мог бы поспорить со знаменитым Росинантом.

– Кличка мне, пожалуй, нравится, – заметил Санчо, – ну, а как же им правят-то: есть у него уздечка или недоуздок?

– Я же сказала, что при помощи колка, – отвечала Трифальди. – Рыцарь, сидящий на нем, поворачивает колок то в одну сторону, то в другую, и конь едет, куда надобно всаднику: то взметнется под облака, то едва не касается копытами земли, а то как раз посредине, каковой средины и должно искать и придерживаться во всех благоразумных предприятиях.

– Я ничего бы не имел против взглянуть на того коня, – молвил Санчо, – но ждать, что я на него сяду, в седло ли, на круп ли, куда бы то ни было, это все равно что на вязе искать груш. Скажите спасибо, что я на сером-то кое-как держусь, и при этом седло у меня мягче шелка, а вы хотите, чтоб я сидел на деревянном крупе безо всякой подушки и подстилки! Черт побери! Не желаю я трястись на таком коне ради того, чтобы кто-то там избавился от бороды: пусть каждый освобождается от нее, как ему заблагорассудится, а я не намерен пускаться с моим господином в столь длительное путешествие. Тем паче для удаления означенных бород я, верно уж, не так нужен, как для расколдования сеньоры Дульсинеи.

– Еще как нужен, друг мой, – возразила Трифальди, – думаю, что без твоего участия у нас ничего не выйдет.

– Караул! – воскликнул Санчо. – Какое дело оруженосцам до приключений, которые затевают господа? Вся слава от них господам, а нам одни хлопоты. Нет, черта с два! И если бы еще авторы историй писали: «Такой-то рыцарь вышел победителем из такого-то и такого-то приключения, и помощь ему в том оказал оруженосец имярек, без чьего участия победа была бы невозможна...» А то ведь они просто-напросто пишут: «Дон Паралипоменон, Рыцарь Трех Звезд, вышел победителем из приключения с шестью чудовищами», про оруженосца же, который принимал во всем этом участие, ни слова, как будто его и на свете не было! Итак, сеньоры, повторяю: мой хозяин пусть себе едет, желаю ему успеха, а я останусь здесь, в обществе сеньоры герцогини, и может статься, что к его приезду дело сеньоры Дульсинеи сдвинется с мертвой точки, потому я намерен в часы досуга и безделья всыпать себе такую порцию плетей, что потом нельзя будет ни лечь, ни сесть.

– Как бы то ни было, милый Санчо, тебе в случае нужды придется сопровождать своего господина, все добрые люди будут тебя об этом просить: нельзя же, чтоб из-за напрасного твоего страха лица этих сеньор остались такими заросшими, – ведь это же просто непристойно.

– Еще раз говорю: караул! – воскликнул Санчо. – Если б надобно было помочь каким-нибудь молодым монастыркам или же девочкам из сиротской школы, то ради этого еще стоило бы претерпеть мытарства, но мучиться из-за того, чтоб избавить от бороды дуэний? Как бы не так! Пусть все до одной разгуливают с бородами, от самой старшей до самой младшей, от первой кривляки и до последней ломаки.

– Ты не любишь дуэний, друг Санчо, – заметила герцогиня, – сейчас видно, что ты ярый сторонник толедского аптекаря. Но, скажу по чести, ты не прав, ибо в моем доме есть примерные дуэньи: вот перед тобой донья Родригес – один вид ее говорит сам за себя.

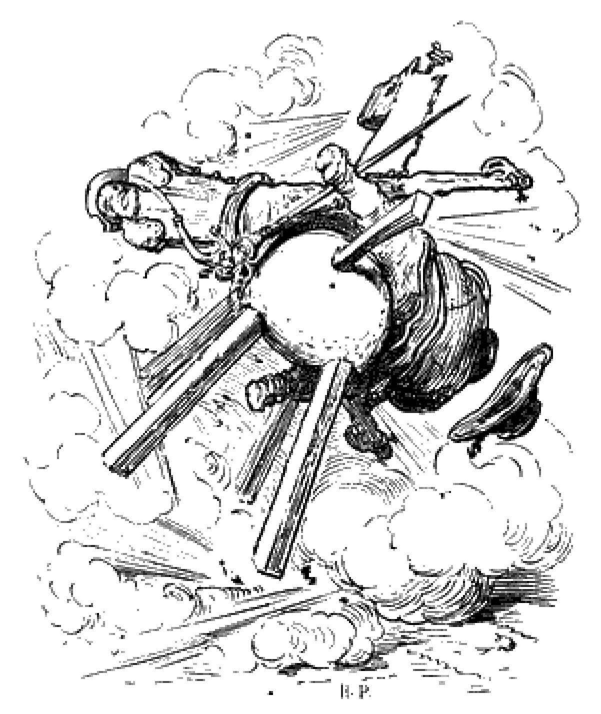
– Даже больше, чем угодно сказать вашей светлости, – подхватила Родригес, – ну да бог правду видит, и какие бы мы, дуэньи, ни были, хорошие или же дурные, бородатые или же безбородые, наши матери произвели нас на свет так же точно, как производят на свет всех

других женщин, и коли господь даровал нам жизнь, стало быть, он знает, зачем, и я уповаю на его милосердие, а не на чью бы то ни было бороду.

– Довольно об этом, сеньора Родригес, – заметил Дон Кихот, – я надеюсь, сеньора Трифальди и вы все, составляющие ее свиту, что небо очами сострадания взглянет на ваше горе, и Санчо исполнит все, что я ему ни прикажу. Скорей бы только являлся Клавиленьо, и я тотчас же вызову на бой Злосмрада; не сомневаюсь, что ни одна бритва не побреет ваши милости с такой быстротой, с какою лезвие моего меча сбреет с плеч голову Злосмрада, – господь терпит злодеев, но до поры до времени.

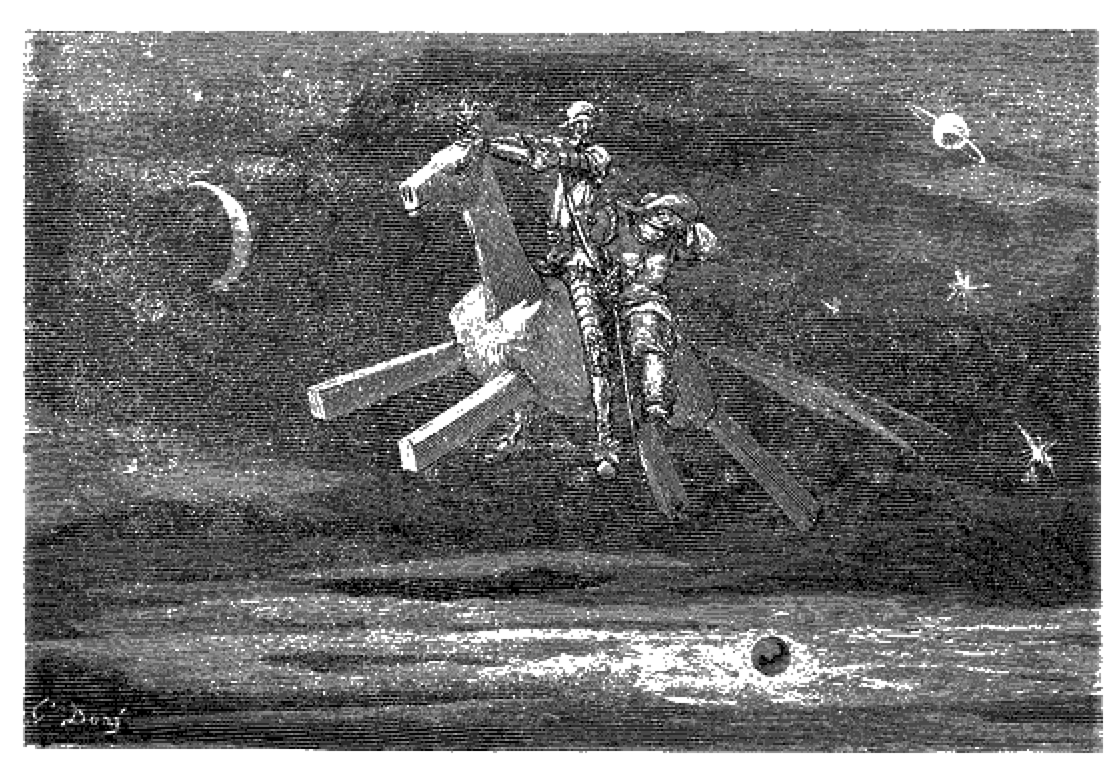
– Ах! – воскликнула тут Горевана. – Пусть приветными очами взглянут на ваше величие, доблестный рыцарь, все звезды горнего мира, да пошлют они вам всяческое благополучие и исполнят дух ваш отвагою, дабы вы соделались щитом и ограждением всего посрамленного и утесненного рода дуэний, презираемого аптекарями, поносимого слугами, обманываемого пажами, и чтоб ей пусто было, той мерзавке, которая во цвете лет, вместо того чтобы пойти в монашки, первая пошла в дуэньи! Несчастные мы, дуэньи! Если бы даже мы со стороны отца вели свое происхождение от самого Гектора троянского, все равно наши сеньоры обращались бы к нам, точно к горничным: «Послушайте, моя милая», как будто от этого они сами становятся королевами! О великан Злосмрад! Хоть ты и волшебник, но все же ты тверд в своих обещаниях, так пошли нам бесподобного Клавиленьо, дабы кончилась наша невзгода, ибо если настанет жара, а щеки наши все еще будут покрыты брадою, то горе нам тогда, горе злосчастным!

Трифальди произнесла это с таким чувством, что на глазах у всех присутствовавших навернулись слезы, даже Санчо – и того прошибла слеза, и мысленно он дал себе слово сопровождать своего господина хотя бы на край света, если от этого будет зависеть удаление шерсти с сих благородных лиц.



Глава XLI

О том, как появился Клавиленьо, и о том, чем кончилось затянувшееся это приключение



Между тем смерклось, то есть настал условленный час, когда надлежало появиться знаменитому коню Клавиленьо, коего опоздание уже начало тревожить Дон Кихота, – ему казалось, что Злосмрад медлит с посылкой коня или потому, что это приключение назначено в удел другому рыцарю, или же что сам Злосмрад не осмеливается вступить с ним в единоборство. Но в это время неожиданно вошли в сад четыре дикаря, увитые зелеными стеблями плюща, а на плечах у них высился громадный деревянный конь. Они поставили его на землю, и тут один из дикарей сказал:

– Пусть воссядет на сие сооружение тот рыцарь, у которого достанет для этого храбрости.

– Только не я, – прервал его Санчо, – во-первых, у меня не достанет для этого храбрости, а во-вторых, я не рыцарь.

А дикарь продолжал:

– Если же у рыцаря есть оруженосец, то пусть он сядет на круп, и пусть оба вверят себя доблестному Злосмраду, ибо за исключением меча Злосмрадова никакой другой меч и ничье коварство не властны причинить им зло. Стоит только повернуть колок, вделанный в шею этого коня, и он перенесет по воздуху и рыцаря и оруженосца туда, где их дожидается Злосмрад, но чтобы от высоты полета у обоих не закружилась голова, им надлежит завязать себе глаза и не снимать повязки, покуда конь не заржет, каковое ржание явится знаком, что путешествие окончилось.

Засим дикари оставили Клавиленьо и чинно направились туда, откуда пришли. Горевана, как скоро увидела коня, почти со слезами обратилась к Дон Кихоту:

– Доблестный рыцарь! Злосмрад исполнил свое обещание: конь – вот он, между тем бороды наши все растут и растут, и каждая из нас каждым волоском бороды своей тебя заклинает остричь ее и сбрить, и того ради тебе надлежит лишь сесть на коня вместе с твоим оруженосцем и положить удачное начало необычайному вашему путешествию.

– Я так и сделаю, сеньора графиня Трифальди, вполне добровольно и по собственному моему хотению, и, чтобы не задерживаться, я даже не возьму подушки для сиденья и не надену

шпор – так сильно во мне желание увидеть вас, сеньора, и всех прочих дуэний с гладкими, лишенными растительности лицами.

– Ну, а я так не сделаю, – объявил Санчо, – ни добровольно, ни принудительно, никак не сделаю. Если же это бритье может быть произведено только после того, как я сяду на круп коня, то мой господин может тогда искать себе в спутники другого оруженосца, а сеньоры дуэньи – другой способ лощить себе лица, а я не колдун, чтобы находить удовольствие в летании по воздуху. Да и что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатора ветер носит? А потом еще вот что: отсюда до Кандайи три тысячи с чем-то миль, и если конь притомится или же великан рассердится, то на возвратный путь мы потратим лет этак шесть, а тогда, стало быть, всякие там острова да разострова мне улыбнутся. И ведь не зря говорится, что промедление опаснее всего, а еще: дали тебе коровку – беги скорей за веревкой, и, да простят мне бороды этих сеньор, хорошо апостолу Петру в Риме, – я хочу сказать, что мне и здесь хорошо: меня в этом доме держат в холе, а от хозяина я ожидаю великой милости, то есть назначения губернатором.

На это герцог ему сказал:

– Друг Санчо! Остров, который я тебе обещал, не принадлежит к числу движущихся или плавучих, корни его столь глубоки, что доходят до самых недр земли, и его в три приема не выкорчевать и с места не сдвинуть. Кроме того, ты знаешь не хуже меня, что добиться назначения на любой высокий пост можно только за большую или меньшую мзду, я же в уплату за губернаторство хочу, чтобы ты отправился вместе со своим господином Дон Кихотом и достославное это приключение завершил и довел до конца. Но возвратишься ли ты верхом на Клавиленьо с той быстротою, какой должно ожидать от его резвости, или же, при неблагоприятном стечении обстоятельств, пробираясь от одной харчевни до другой и от одного постоялого двора до другого, приплетешься и прибредешь пешком, словом, когда и как бы ты ни возвратился, ты найдешь остров на прежнем месте, твои островитяне с прежним нетерпением будут ждать, когда ты начнешь управлять ими, я, со своей стороны, также не изменю своего решения, и ты, Санчо, во всем этом не сомневайся, иначе я почту себя оскорбленным в лучших чувствах, какие я к тебе питаю.

– Довольно, сеньор! – сказал Санчо. – Я бедный оруженосец, и подобные учтивости мне не по чину. Пусть мой господин сядет на коня, потом завяжите мне глаза, помолитесь за меня богу и скажите: когда мы будем лететь там, в вышине, могу ли я поручить себя господу богу и призвать на помощь ангелов?

Трифальди же ему на это ответила так:

– Ты, Санчо, имеешь полное право поручать себя богу и кому угодно: Злосмрад хотя и волшебник, а все-таки христианин, и ворожит он с великою осмотрительностью и великою осторожностью, стараясь ни с кем не связываться.

– Ну, тогда ничего, – молвил Санчо. – Да хранит меня господь и Гаэтская пресвятая троица!

– Со времени достопамятного приключения с сукновальнями, – заметил Дон Кихот, – никогда я еще не видел Санчо в таком страхе, как сейчас, и, будь я столь же суеверен, как другие, его малодушие могло бы сломить мое мужество. Ну-ка, поди сюда, Санчо! С дозволения этих сеньоров я хочу сказать тебе два слова наедине.

И, уведя Санчо под деревья, он схватил его за обе руки и сказал:

– Ты видишь, брат Санчо, что нам предстоит длительное путешествие, бог знает, когда мы возвратимся и будет ли у нас досуг и удобный случай, вот почему мне бы хотелось, чтобы ты сейчас пошел к себе в комнату, будто бы тебе что-то нужно захватить в дорогу, и в мгновение ока влепил себе для начала, в счет трех тысяч трехсот плетей, с тебя причитающихся, хотя бы пятьсот, – что-то, по крайней мере, было бы уже сделано, – а начать какое-нибудь дело – значит уже наполовину его кончить.

– Ей-богу, у вашей милости не все дома! – воскликнул Санчо. – Это мне напоминает пословицу: «Я ребенка донашиваю, а ты с меня девичества спрашиваешь». Мне на голой доске сидеть придется, а ваша милость требует, чтобы я себе задницу отлупцевал? Ей-ей, ваша милость, это вы не подумавши. Давайте-ка лучше брить дуэний, а потом, когда мы вернемся, – вот вам честное слово оруженосца, – я так быстро покончу с моим обязательством, что ваша милость будет ублаготворена, и кончен разговор.

На это ему Дон Кихот сказал:

– Ну что ж, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду надеяться, что ты его исполнишь, – по правде говоря, хоть ты и простоват, а все же ты человек солидный.

– Вовсе я не страховидный, а очень даже благовидный, – возразил Санчо, – впрочем, каков бы я ни был, а слово свое сдержу.

Тут они направились к Клавиленьо, и Дон Кихот, собираясь садиться верхом, сказал:

– Завяжи себе глаза, Санчо, и садись: ведь если за нами посылают из таких далеких стран, то, разумеется, не станут нас обманывать, ибо обманывать тех, кто тебе верит, – это занятие не из весьма доблестных, но хотя бы даже все обернулось по-другому, никакое коварство не сможет помрачить ту славу, которою мы себя покрываем, решаясь на этот подвиг.

– Едемте, сеньор, – молвил Санчо, – бороды и слезы этих сеньор надрывают мне душу, и я куска в рот не возьму, пока не увижу своими глазами, что лица их обрели первоначальную гладкость. Садитесь прежде вы, ваша милость, и завязывайте себе глаза: ведь я поеду на крупе, стало быть, ясно, что, кому ехать в седле, тот должен садиться первым.

– Твоя правда, – согласился Дон Кихот.

Засим он достал из кармана платок и попросил Горевану как можно лучше завязать ему глаза; когда же она это сделала, он вдруг скинул повязку и сказал:

– Если память мне не изменяет, я читал у Вергилия о троянском Палладиуме:[153] то был деревянный конь, которого греки поднесли богине Палладе и внутри которого находились вооруженные воины, впоследствии не оставившие от Трои камня на камне, а потому не худо было бы прежде узнать, что у Клавиленьо в брюхе.

– Узнавать незачем, – возразила Горевана. – Я за него ручаюсь и твердо знаю, что Злосмрад – не какой-нибудь вероломный предатель. Можете, сеньор Дон Кихот, без всяких опасений садиться на коня – даю голову на отсечение, что ничего с вами не случится.

Дон Кихот подумал, что забота о собственной безопасности может разрушить сложившееся о нем мнение как о смельчаке, а потому он без дальних слов сел верхом на Клавиленьо и попробовал колок: оказалось, что колок поворачивается совершенно свободно; а как стремян не было, то ноги у Дон Кихота висели в воздухе, и в эту минуту он живо напоминал фигуру, нарисованную или, вернее, вытканную на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф. Санчо влезал на коня медленно и неохотно, наконец, расположился на крупе поудобнее, но все же нашел, что круп коня совсем не мягкий, а очень даже твердый, и потому обратился к герцогу с просьбой, нельзя ли выдать ему какую ни на есть подушку – ну хотя бы из диванной комнаты сеньоры герцогини или же с кровати кого-нибудь из ее слуг, ибо круп этого коня скорее, дескать, можно назвать мраморным, нежели деревянным. На это Трифальди сказала, что Клавиленьо никакой упряжи и никакого убранства на своей спине не потерпит, – единственный, дескать, выход, это сесть на дамский манер, тогда ему будет мягче. Санчо так и сделал и, попрощавшись со всеми, позволил завязать себе глаза, но потом снова их развязал и, бросив умоляющий взгляд на всех, кто находился в саду, начал со слезами просить их не оставить его в этом испытании своими молитвами и прочитать несколько раз «Pater noster» и несколько раз «Ave Maria», а за это, мол, когда и на их долю выпадет подобное испытание, господь пошлет им человека, который помолится за них. Но тут вмешался Дон Кихот:

– Разве тебя на виселицу ведут, мерзавец, разве тебе пришел конец, что ты вздумал обращаться с подобными просьбами? Разве ты, бессовестное и жалкое создание, не сидишь на том самом месте, на котором восседала прелестная Магелона и с которого она, если верить летописцам, сошла отнюдь не в могилу, а на французский престол? И разве я, сидящий рядом с тобою, уступаю в чем-либо доблестному Пьеру, занимавшему то самое место, которое ныне занимаю я? Ну же, завязывай себе глаза, малодушная тварь, и не показывай виду, что ты боишься, – по крайней мере, в моем присутствии.

– Добро, завязывайте мне глаза, – молвил Санчо. – Не хотят, чтобы я молился богу, не хотят, чтобы другие за меня помолились, – чего же после этого удивляться, что я боюсь, как бы нам не повстречался легион бесов и не потащил нас в Перальвильо?[154]

Оба завязали себе глаза, затем Дон Кихот, удостоверившись, что все в надлежащем порядке, тронул колок, и едва он прикоснулся к нему пальцами, как все дуэньи и все, кто только при сем присутствовал, начали кричать:

– Храни тебя господь, доблестный рыцарь!

– Господь с тобой, бесстрашный оруженосец!

– Вот, вот вы уже взлетели на воздух и теперь разрезаете его быстрее стрелы!

– Вот уже все, кто глядит на вас снизу, дивятся и приходят в изумление!

– Сиди прямо, доблестный Санчо, не качайся! Смотри не упади, а не то твое падение будет горше падения того дерзновенного юноши,[155] который вздумал править колесницею своего отца, то есть Солнца!

Услышав эти выкрики, Санчо прижался к своему господину и, обхватив его руками, молвил:

– Сеньор! Как же это они говорят, что мы уже высоко-высоко, а между тем до нас доносятся их голоса, и при этом до того явственно, что кажется, будто они разговаривают вот здесь, рядом с нами?

– Не обращай внимания, Санчо: все эти происшествия и полеты идут вразрез с обыкновенным течением вещей, вот почему ты все, что угодно, увидишь и услышишь даже за тысячу миль. И не наваливайся – этак ты меня столкнешь. Право, я не возьму в толк, чего ты беспокоишься и чего ты боишься, – я готов поклясться, что ни разу в жизни не приходилось мне ездить на коне, у которого был бы такой плавный ход: кажется, будто мы не двигаемся с места. Рассей, дружище, страх: поверь мне, все обстоит, как должно, и ветер дует попутный.

– Ваша правда, – подтвердил Санчо, – с этой стороны на меня дует такой сильный ветер, что кажется, будто это не ветер, а невесть сколько мехов.

И так оно и было на самом деле: поднимали ветер несколько больших мехов; герцог и герцогиня совместно с домоправителем всесторонне обдумали это приключение, и всякая мелочь была ими возведена на возможную степень совершенства.

Ощутив дуновение, Дон Кихот сказал:

– Я не сомневаюсь, Санчо, что мы уже достигли второй области воздуха,[156] где зарождаются град и снег, а в третьей области зарождаются гром, молния и солнечные лучи, и если мы и дальше будем так быстро ехать, то скоро попадем в область огня, вот только я не знаю, в какую сторону должно повернуть колок, чтобы не взлететь туда, где мы можем сгореть.

Как раз в это время Дон Кихоту и Санчо стало жарко от намотанных на камышовые стебли горящих волокон пакли, а пакля, как известно, легко воспламеняется и легко может быть погашена на расстоянии. Почувствовав жар, Санчо сказал:

– Убейте меня, если мы уже не попали в полосу огня или не приблизились к ней: у меня полбороды обгорело, так что я, сеньор, хочу снять повязку и поглядеть, где мы.

– Не делай этого, – возразил Дон Кихот, – припомни правдивую историю лиценциата Торральбы, которого черти верхом на тростинке, с завязанными глазами подняли на воздух:

через двенадцать часов он прибыл в Рим, спустился на землю на Тор ди Нона, – так называется улица, – явился свидетелем знаменитого разгрома и приступа,[157] а также гибели герцога Бурбонского, а на другое утро уже очутился в Мадриде и рассказал обо всем, что видел. Между прочим, он сообщил, что, когда он летел по воздуху, дьявол велел ему открыть глаза, а когда он открыл их, то ему показалось, будто он так близко от луны, что может схватить ее рукой, на землю же он из боязни головокружения так и не решился взглянуть. Поэтому, Санчо, нам не должно снимать повязки. Кто нам ручался, тот за нас и ответит, и вполне возможно, что мы поднялись и кружим теперь на такой высоте для того, чтобы потом мгновенно низринуться в королевство Кандайское, подобно как сокол или же кречет падают на цаплю с огромной высоты, и хотя нам кажется, что с тех пор, как мы вылетели из сада, не прошло и получаса, однако уверяю тебя, что мы проехали весьма значительное расстояние.

– Ума не приложу, в чем тут дело, – признался Санчо Панса, – одно могу сказать: если сеньоре Наглеоне – или как бишь ее: Магелона? – доставляло удовольствие сидеть на крупе этого коня, значит, вряд ли у нее была уж очень нежная седалищная часть.

Герцог, герцогиня, а равно и все, находившиеся в саду, от слова до слова слышали беседу двух храбрецов и были от нее в совершенном восторге; затем, вознамерившись положить конец этому необычайному и умело разыгранному приключению, они велели поднести к хвосту Клавиленьо горящую паклю, Клавиленьо же был набит трескучими ракетами, и потому он тотчас же с невероятным грохотом взлетел на воздух, а Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, грянулись оземь.

Тем временем бородатый отряд дуэний во главе с Трифальди исчез из сада, все же остальные, как будто бы в обмороке, лежали ниц на земле. Дон Кихот и Санчо сильно ушиблись при падении; когда же они стали на ноги, то огляделись по сторонам и так и обомлели: перед ними был все тот же сад, откуда они выехали, а на земле вповалку лежали люди; но каково же было их изумление, когда в одном углу сада они обнаружили воткнутое в землю длинное копье, к коему были привязаны два зеленых шелковых шнура, на шнурах висел белый гладкий пергамент, а на нем крупными золотыми буквами было написано следующее:

«Достославный рыцарь Дон Кихот Ламанчский завершил и довел до конца приключение с графиней Трифальди, именуемою также дуэньей Гореваной, и со всею ее компанией одним тем, что на приключение это отважился. Злосмрад не имеет к нему более никаких претензий, подбородки дуэний стали гладкими и растительности лишенными, королевская же чета: дон Треньбреньо и Метонимия возвратились в первоначальное свое состояние. Когда же будет завершено оруженосцево бичевание, то белая голубка вырвется из когтей зловонных коршунов, ныне ее терзающих, и очутится в объятиях своего воркующего возлюбленного, ибо так судил мудрый Мерлин, всем волшебникам волшебник».

Прочитав надпись на пергаменте, Дон Кихот ясно понял, что речь идет о расколдовании Дульсинеи, и, возблагодарив небо за то, что ему удалось с таким малым риском совершить столь великое деяние и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэний, которые, впрочем, больше не показывались, приблизился к герцогу и герцогине, но те все еще лежали в забытьи, – тогда Дон Кихот взял герцога за руку и сказал:

– Полно, добрый сеньор, смелей, смелей, все хорошо! Приключение окончилось вполне благополучно, как это ясно показывает надпись на мемориальной колонне.

Герцог, как бы медленно пробуждаясь от глубокого сна, наконец очнулся, герцогиня же и все остальные, лежавшие в саду на земле, последовали его примеру, до того правдоподобно изображая ужас и изумление, что можно было подумать, будто вышеописанные события происходили на самом деле, а не были преискусно разыграны шутки ради. Герцог полуоткрытыми глазами прочитал грамоту, а затем с распростертыми объятиями направился к Дон Кихоту, обнял его и сказал, что такого, как он, славного рыцаря не было от сотворения мира. Санчо между тем искал глазами Горевану: ему хотелось посмотреть, какой вид имеет она

без бороды и соответствует ли красота ее лика стройности ее стана, но ему сказали, что как скоро Клавиленьо, объятый пламенем, рухнул наземь, весь отряд дуэний во главе с Трифальди скрылся, однако перьев на их лицах уже не осталось, – все дуэньи были тщательно выбриты. Герцогиня осведомилась, как себя чувствовал Санчо во время длительного путешествия. Санчо же ей на это ответил так:

– Сеньора! Когда мы пролетали, как объяснил мне мой господин, по области огня, мне захотелось чуть-чуть приоткрыть глаза. Я попросил позволения у моего господина снять повязку, но он не позволил, ну да ведь я ух какой любопытный, только скажи, что это вот запретное и недозволенное, и мне уже не терпится знать. Тихохонько и неприметно приподнял я у самой переносицы платок, который закрывал мне глаза, самую малость приподнял – и глянул вниз, и показалось мне, будто вся земля не больше горчичного зерна, а люди по ней ходят величиной с орешек: стало быть, уж очень мы тогда высоко забрались.

Герцогиня же ему сказала:

– Друг Санчо! Подумай, что ты говоришь, – выходит, что ты видел не землю, а людей, которые по ней ходили: ведь если земля показалась тебе с горчичное зерно, а каждый человек с орешек, то ясно, что один человек должен закрыть собою всю землю.

– Ваша правда, – согласился Санчо, – а все-таки с одного боку она виднелась, и я ее разглядел всю.

– Помилуй, Санчо, – возразила герцогиня, – с одного боку невозможно разглядеть весь предмет, на который ты смотришь.

– Да что там миловать или не миловать, – заметил Санчо, – я одно могу сказать: пора бы вашему величию смекнуть, что летели мы силою волшебства, а значит, и я по волшебству мог увидеть всю землю и всех людей, откуда бы я на них ни смотрел, и если ваша милость этому не верит, то не поверит она и другому, а именно: сдвинул я повязку на брови, гляжу – небо-то вот оно, пяди полторы до него, не больше, и какое же оно, не сойти мне с этого места, государыня моя, огромное! И случилось нам пролетать мимо семи козочек,[158] а ведь я в детстве был у нас в селе козопасом, и вот, клянусь богом и спасением души, увидел я их – и до чего же мне тут захотелось хоть чуточку с ними повозиться!.. Кажется, не доберусь я до них, так сей же час лопну с досады. Ну что ты будешь делать? Вот я, никому ни слова не сказав, особливо моему господину, потихоньку да полегоньку соскочил с Клавиленьо – и провозился с козочками почти три четверти часа, а уж козочки-то – ну прямо цветочки, гвоздики, да и только, и за все это время Клавиленьо не сдвинулся с места и не сделал ни шагу вперед.



– А пока добрый Санчо возился с козочками, чем же был занят сеньор Дон Кихот? – спросил герцог.

Дон Кихот же ему на это ответил так:

– Все эти события и происшествия не подчиняются естественному порядку вещей, а потому рассказ Санчо не должен нас удивлять. О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязку и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Правда, я тотчас почувствовал, что мы пролетаем область воздуха, а затем, что мы приближаемся к области огня, но чтобы мы поднялись еще выше, этого я не думаю, ибо область огня находится между лунным небом и последней областью воздуха, стало быть, не обгоревши, мы не могли достигнуть той небесной сферы, где находятся семь козочек, о которых толковал Санчо, а коль скоро мы не опалены, значит, Санчо или лжет, или грезит.

– Я не лгу и не грежу, – возразил Санчо. – Коли на то пошло, спросите у меня приметы этих козочек, и тогда увидите, правду я говорю или нет.

– Ну так какие же это приметы, Санчо? – спросила герцогиня.

– Две из этих козочек зеленые, – отвечал Санчо, – две красные, две голубые и одна пестрая.

– Это какая-то новая порода, – заметил герцог, – в нашей, земной, области таких цветов не бывает, то есть коз таких цветов.

– Это понятно, – рассудил Санчо, – должна же быть разница между козами небесными и земными.

– А скажи, Санчо, – спросил герцог, – не было ли среди тех коз рогатого козла?

– Нет, сеньор, – отвечал Санчо, – но я слыхал другое: будто до рогов месяца не достать рогами ни одному рогоносцу на свете.

Больше вопросов по поводу путешествия не последовало; видно было, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит.

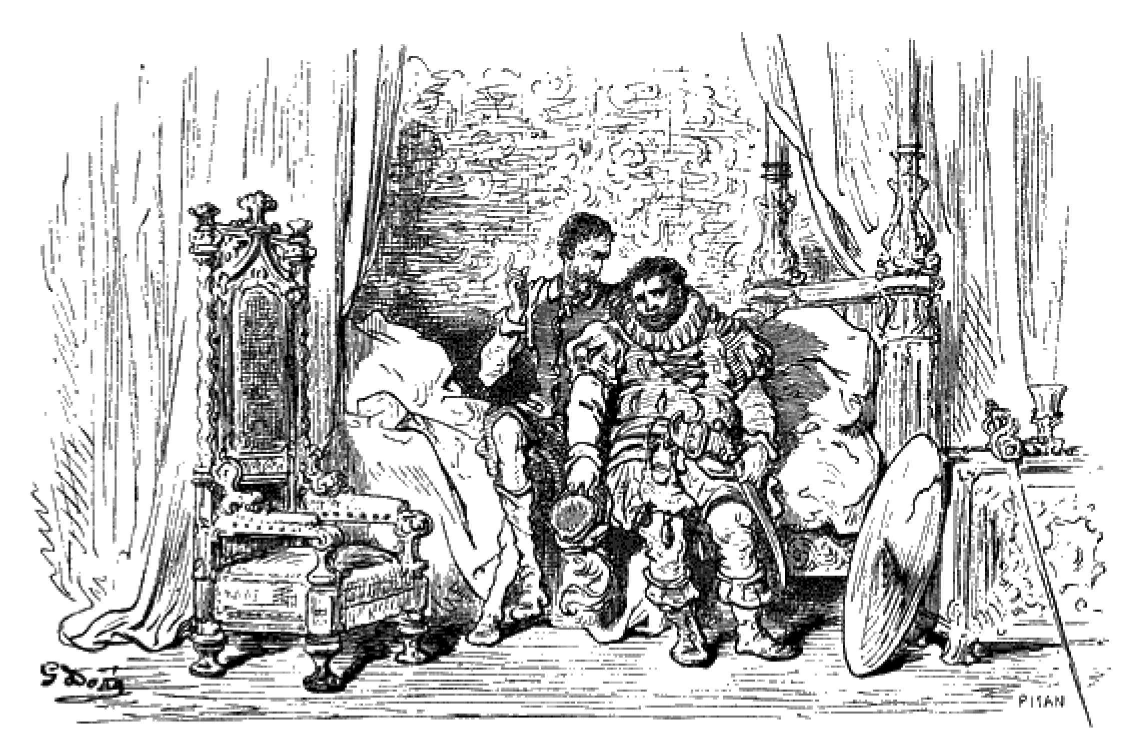
Таков был конец приключения с дуэньей Гореваной, над которым герцог и герцогиня от души смеялись не только тогда, но и во все продолжение своей жизни и о котором Санчо Пансе хватило бы разговоров на несколько столетий, если бы он столько прожил; Дон Кихот же, приблизившись к Санчо, сказал ему на ухо:

– Санчо! Если вы желаете, чтобы люди поверили вашим рассказам о том, что вы видели на небе, то извольте и вы, со своей стороны, поверить моим рассказам о том, что я видел в пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел сказать.



Глава XLII

О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах



Герцог и герцогиня, довольные тем, что приключение с Гореваною так благополучно окончилось, и видя, что шутки их без малейших колебаний принимаются за правду, вознамерились шутить и дальше; того ради герцог указал и отдал распоряжения слугам своим и вассалам, как должно вести себя с Санчо, когда он начнет управлять обещанным островом, а на другой день после полета Клавиленьо объявил Санчо, чтобы он привел себя в надлежащий порядок и был готов занять пост губернатора, ибо островитяне ждут его, дескать, как майского дождичка. Санчо низко ему поклонился и сказал:

– С тех пор как я спустился с неба, и с тех пор как я с поднебесной высоты окинул взглядом землю и увидел, какая она маленькая, мое огромное желание стать губернатором слегка ослабело: в самом деле, что ж тут такого величественного – владеть горчичным зерном, что ж это за высокая должность и что ж это за владычество – управлять полдюжиною людей с орешек ростом? А ведь мне тогда показалось, что на всей земле больше никого и нет. Вот если б вы, ваша светлость, соизволили пожаловать мне малую толику неба, хотя бы этак с полмили, я бы ей обрадовался больше, нежели величайшему острову в мире.

– Послушай, друг Санчо, – заговорил герцог, – я не властен кого бы то ни было наделять ни единым кусочком неба, будь он даже величиною с ноготь, – подобные милости и щедроты могут исходить только от господа бога. Я даю тебе, что могу, а именно самый настоящий остров, круглый и аккуратный, в высшей степени плодородный и обильный, так что если тебе удастся прибрать его к рукам, то при наличии стольких земных благ ты приобретешь и блага небесные.

– Ин ладно, – молвил Санчо, – остров так остров, я постараюсь быть таким губернатором, чтобы назло всем мошенникам душа моя попала на небо. И это я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы, – просто мне хочется попробовать, какое оно, это губернаторство.

– Раз попробуешь, Санчо, язык проглотишь, – заметил герцог – нет ничего слаще повелевать и видеть, что тебе повинуются. Могу ручаться, что когда твой господин сделается императором – а судя по тому, как идут его дела, он будет таковым непременно, – то этого

сана никакими силами у него уже не отнимешь, и в глубине души он будет сожалеть и досадовать, что так поздно стал императором.

– Сеньор! – объявил Санчо. – Я нахожу, что повелевать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

– У нас с тобой, Санчо, вкусы сходятся, и во всем-то ты разбираешься, – заметил герцог, – я надеюсь, что и управлять ты будешь столь же мудро, сколь мудры твои речи. Ну, вот пока и все, помни только, что ты отправишься управлять островом самое позднее завтра, а сегодня вечером тебе выдадут приличное новому твоему званию платье и снарядят в дорогу.

– Пусть одевают как хотят, – сказал Санчо, – я в любом наряде останусь Санчо Пансою.

– И то правда, – согласился герцог, – но все-таки одежда должна соответствовать роду занятий и занимаемой должности: так, например, законоведу неудобно одеваться, как солдат, а солдату – как священник. Ты же, Санчо, будешь одет наполовину как судейский, а наполовину как военачальник, ибо на том острове, который я тебе жалую, в военных такая же нужда, как и в ученых, а в ученых, – такая же, как и в военных.

– Вот по ученой-то части я как раз слабоват, – признался Санчо, – я даже азбуки – и той не знаю. Впрочем, хороший губернатор должен уметь вместо подписи крестик поставить – и ладно. Если же мне выдадут оружие, то с божьей помощью я не выпущу его из рук, доколе не упаду.

– Всегда руководствуйся высокими этими соображениями, Санчо, и ты избежишь ошибок, – заметил герцог.

В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет речь и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и с дозволения герцога увел к себе, дабы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:

– Я возношу бесконечные благодарения богу, друг Санчо, за то, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, на тебя свалилась и на твою долю выпала такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу, и вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени вопреки здравому смыслу уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают спозаранку, выпрашивают, упорно добиваются – и цели своей, однако ж, не достигают, а другой, неизвестно как и почему, сразу получает должность и службу, коей столь многие домогались, и тут кстати и к месту будет привести пословицу, что как, мол, ни старайся, а на все – судьба. По мне, ты – чурбан, и ничего более, ты спозаранку не вставал, допоздна не засиживался, ты палец о палец не ударил, но тебя коснулся дух странствующего рыцарства – и вот ты уже, здорово живешь, губернатор острова. Все это, Санчо, я говорю к тому, чтобы ты не приписывал собственным своим заслугам оказанной тебе милости, – нет, прежде возблагодари всевышнего, который отеческою рукою все направляет ко благу, а затем возблагодари орден странствующего рыцарства, наивысшего благородства исполненный. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего Катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожатаем и путеводною звездою, которая направила бы и вывела тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти, ибо должности и высокие назначения суть не что иное, как бездонная пучина смут.

Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться бога, ибо в страхе господнем заключается мудрость, будучи же мудрым, ты избежишь ошибок.

Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя познать, познание же это есть наитруднейшее из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом, если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты

невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней.

– Справедливо, – согласился Санчо, – но в ту пору я мальчонкой был, а когда подрос маленько, то уж гусей пас, а не свиней. Но только, думается мне, это к делу не идет: ведь не все правители королевского рода.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот, – и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковые в сочетание с благоразумною осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься.

О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признавайся, не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься; вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленное множество людей, в низкой доле рожденных, достигали наивысших степеней и были возводимы в сан первосвященнический или же императорский, чему я мог бы привести столько примеров, что ты устал бы меня слушать.

Помни, Санчо: если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет.

А когда так, то в случае если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоем острове, то не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай – этим ты угодишь богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы.

Если привезешь с собою жену (ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей на долгий срок, пребывают в разлуке с супругами), то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить глупая его и неотесанная жена.

Если ты овдовеешь (что всегда может случиться) и благодаря своему положению составишь себе более блестящую партию, то смотри, как бы новая твоя жена не превратилась в удочку с крючком и не начала приговаривать: «Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая», – истинно говорю тебе, что за все взятки, которые вымогает жена судьи, в день Страшного суда ответит ее муж, и после смерти он в четырехкратном размере заплатит за те побочные статьи дохода, на которые он при жизни не обращал внимания.

Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола: этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников.

Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача.

Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил бедняк.

В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания.

Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда.

Да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие, иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить, а если возможно, то в ущерб доброму твоему имени и даже твоему достоянию.

Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя – в ее вздохах.

Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности.

Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека, достойного жалости, подверженного слабостям испорченной нашей природы, и по возможности, не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако же в наших глазах свойство всеблагости прекраснее и великолепнее, нежели свойство всеправедности.

Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблюдешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неизреченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети твои и внуки будут иметь почетное звание, уделом твоим будет мир и всеобщее благорасположение, а затем, в пору тихой твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится смерть, и нежные, мягкие ручки правнуков твоих закроют тебе очи. Все эти назидания должны послужить к украшению твоей души, а теперь послушай назидания, имеющие своею целью украшение тела.



Глава XLIII

О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе



Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал бы его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений? Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, он начинал нести околесную, только когда речь заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, он выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, а суждения с поступками; что же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное и в рассудительности своей и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы: видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот между тем продолжал:

– Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их, как это делают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук, меж тем как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной птицы: это чудовищное безобразие и нечистоплотность.

Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным: беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа, если только это не нарочитая небрежность и распущенность, в чем, например, подозревали Юлия Цезаря.

Установи с наивозможною точностью, сколь важен твой пост, и если занимаемое тобою положение дозволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько ярки и пышны, сколько приличны и прочны, и распредели их между своими лакеями и нищими, то есть, вместо того чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трех слуг и трех нищих, и тогда у тебя будут слуги и на земле, и на небе: этот новый способ распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных.

Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков.

Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, чтобы можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая напыщенность противна.

За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний.

Не вздумай, Санчо, жевать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было.

– Я не понимаю, что значит *эрутировать,* – объявил Санчо.

Дон Кихот же ему пояснил:

– *Эрутировать,* Санчо, значит рыгать, но это одно из самых грубых слов во всем испанском языке, хотя оно и весьма выразительно, по сему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни и слово «рыгать» заменили словом *эрутировать,* слово же «рыгание» – словом *эрутация,* а что не все пока еще понимают вновь образованные слова, то этого бояться нечего, со временем слова эти войдут в наш обиход и станут всем понятны: язык находится под властью обычая и под властью темного народа, а таким путем он обогащается.

– Честное слово, сеньор, – молвил Санчо, – изо всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это, насчет того, чтобы не рыгать, потому со мной это частенько случается.

– Не «рыгать» должно говорить, Санчо, а *эрутировать,* – поправил его Дон Кихот.

– С сегодняшнего дня стану говорить *эрутировать,* – сказал Санчо, – будьте спокойны, что не забуду.

– Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц, ибо хотя пословицы суть краткие изречения, однако ж ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы, вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями.

– От этого един господь властен меня избавить, – возразил Санчо, – потому в голове у меня больше пословиц, нежели в книжке, и когда я говорю, они вертятся у меня на языке все сразу, толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других, однако ж язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем некстати. Ну, а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства, потому где богато живут, там мигом и на стол подают, кому сдавать, тому уже не тасовать, и кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет, и кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

– Правильно, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Вплетай, нанизывай, накручивай пословицы – никто тебя за язык не держит! Мать с кнутом, а я себе все с волчком! Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну секунду насыпал их целый воз, хотя они и подходят к предмету нашего разговора, как корове седло. Пойми, Санчо: я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту, но если ты громоздишь и нанизываешь их как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой.

Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла, не вытягивай и не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху, и не сиди раскорякой, будто бы едешь на своем сером, ибо по тому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он, – знатный верхоконный или же простой конюх.

Спи умеренно: кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радостей дня; прими в соображение, Санчо, что расторопность есть мать удачи, врагиня же ее, леность, всегда препятствует достижению благой цели.

Последний мой совет, который я тебе сейчас преподам, не относится к украшению тела, и все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в своей памяти, ибо полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущие: итак, никогда не оспаривай знатности чьего-либо рода, во всяком случае, не сравнивай один род с другим, оттого, что при сравнении один род

невольно окажется более знатным, и тот, кого ты унизил, возненавидит тебя, тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит.

Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, долгополого камзола и еще более длинного плаща; о шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобою, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новые наставления, ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел.

– Сеньор! – заговорил Санчо. – Я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым и полезным, но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если представится случай, – это уж я себе втемяшил, но все прочие хитросплетения, вавилоны и закорючки мне не запомнились, и буду я о них помнить, как о прошлогодних тучах, а потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне: правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику – пусть он по мере надобности твердит и напоминает мне об этом.

– Беда мне с тобой! – воскликнул Дон Кихот. – Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать! Надобно тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоты или же если кто левша, то это означает одно из двух: либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи, либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействие ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток; мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, научился подписывать свою фамилию.

– Поставить-то свою подпись я умею, – сказал Санчо. – Когда я был старшиной в нашем селе, я научился выводить буквы наподобие тех, которые ставят на тюках с грузом, и мне говорили, что у меня получалась моя фамилия. А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука, и велю кому-нибудь подписываться за меня: все на свете поправимо, кроме одной смерти, а как я буду там царь и бог, то, стало быть, мое слово – закон. Недаром говорится: у кого папаша алькальд, тот на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там алькальд, а целый губернатор – со мной шутки плохи. Ну-ка, попробуй тронь меня: идешь за шерстью – гляди, как бы самого не обстригли, а кого господь возлюбит, того он на дне моря разыщет, и потом: глупые речи богача сходят за мудрые изречения, а ведь я буду богат, коли буду губернатором, и к тому же я намерен быть губернатором щедрым, а значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме, «сколько имеешь, столько ты и стоишь», – говаривала моя бабушка, с человеком великого достатка ссориться несладко.

– А, чтоб ты пропал, Санчо! – воскликнул тут Дон Кихот. – Шесть тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами! Целый час ты ими сыплешь, а для меня это, как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя низложат твои вассалы, они не потерпят их и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь и как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомнить хотя бы одну пословицу и к месту ее привести – это каторжный труд.

– Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт подери! Вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием? А ведь у меня только и достояния и имущества, что пословицы да пословицы. Вот и сейчас вертится у меня на языке сразу несколько, и до того подходят они к нашему разговору – прямо как все равно по мерке сделаны, но только я вам их не скажу: «За благое молчание все тебя будут звать Санчо».[159]

Дон Кихот же ему на это возразил:

– Ты – Санчо, да не тот: ты не только не благой молчальник, ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на

память и будто бы кстати: я порылся в своей памяти, а ведь она у меня недурная, но так и не мог припомнить ничего подходящего.

– Да что может быть лучше этих пословиц, – сказал Санчо: – «Гляди-поглядывай, под зуб мудрости пальца не подкладывай», и еще: «Скажут тебе: а ну, подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова, – ты рот на замок и молчок», и еще: «Плетью обуха не перешибешь», – ну разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальником, не то взвоешь, все равно как если подложить палец под зуб мудрости, – впрочем, мудрость не обязательна, все дело в коренном зубе. Затем, что бы губернатор ни сказал, перечить ему нельзя, все равно как если тебе скажут: «А ну, подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» А насчет плети и обуха – это и слепому ясно. Вот оно как, а кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить бревно в своем собственном, чтобы про тебя не сказали: «Испугалась покойница убитой», притом же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом.

– Ну уж нет, Санчо, – возразил Дон Кихот, – глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекает по той причине, что на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольно об этом, Санчо: будешь плохо управлять – в ответе ты, а позор на мне. Впрочем, я утешаю себя тем, что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и возможно более благоразумными: я исполнил свой долг и свое обещание. Да поможет тебе бог, Санчо, да управляет он тобою в твоем правлении, и да утишит он мою тревогу, а тревожусь я о том, как бы ты однажды не полетел вместе со всем своим островом вверх пятами, между тем я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты не что иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложу с себя это звание, потому малюсенькая частица моей души, величиною с черный кончик ногтя, мне дороже всего моего тела: останусь-ка я просто-напросто Санчо, и на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора со всеми его куропатками да каплунами, и то сказать: когда мы спим, мы все равны – и начальники, и подначальные, и бедные, и богатые. И если вы, ваша милость, над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы и толкнули меня на губернаторство, а я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине, и если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю как простой Санчо отправиться в рай, нежели губернатором – в ад.

– Ей-богу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – я считаю, что за эти последние твои слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце, а ведь без этого никакая наука впрок не пойдет. Поручи себя господу богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения: я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель – добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желаниям. Теперь пойдем обедать, – полагаю, что хозяева нас уже ждут.



Глава XLIV

О том, как Санчо Панса принял бразды правления и об одном необычайном приключении Дон Кихота в герцогском замке



Говорят, будто из подлинника этой истории явствует, что переводчик перевел эту главу не так, как Сид Ахмет ее написал, написал же ее мавр в виде жалобы на самого себя, что ему вспало, дескать, на ум взяться за такой неблагодарный и узкий предмет, как история Дон Кихота, ибо он поставлен в необходимость все время говорить только о Дон Кихоте и Санчо и лишен возможности прибегать к отступлениям и вводить разные другие эпизоды, более значительные и более занимательные; и еще мавр замечает, что все время следить за тем, чтобы мысль, рука и перо были направлены на описание одного-единственного предмета, и говорить устами ограниченного числа действующих лиц – это труд непосильный, коего плоды не вознаграждают усилий автора, и что, дабы избежать этого ограничения, он в первой части прибегнул к приему вкрапления нескольких повестей, как, например, *Повести о Безрассудно-любопытном* и *Повести о пленном капитане,* которые находятся как бы в стороне от самой истории, между тем другие входящие в нее повести представляют собою случаи, происшедшие

с Дон Кихотом и в силу этого долженствовавшие быть описанными. Далее мавр говорит, что, по его разумению, большинство читателей, коих внимание будет поглощено подвигами Дон Кихота, не захотят его уделить первого рода повестям: они пробегут их второпях, даже с раздражением, и не заметят, сколь изящно и искусно повести эти написаны, каковые их качества означатся со всею резкостью, когда повести будут изданы особо, вне всякой связи с безумными выходками Дон Кихота и глупыми речами Санчо, – вот почему он, автор, порешил-де вместо повестей как отъединенных, так и пристроенных,[160] ввести во вторую часть лишь несколько эпизодов, которые, как ему представляется, вытекают из естественного хода событий, да и те он почитает за нужное изложить сжато, в самых кратких словах; и вот, поелику он, дескать, вводит себя и замыкается в тесные рамки повествования, несмотря на то что у него достало бы уменья, способностей и ума, чтобы описать всю вселенную, он просит не презирать его труд и воздавать ему хвалу не за то, о чем он пишет, а за то, что он о многом не стал писать.

Тут автор снова обращается к своему предмету и говорит, что Дон Кихот в тот самый день, когда он давал Санчо советы, занялся после обеда изложением таковых в письменном виде для того, чтобы потом кто-нибудь мог прочитать их Санчо; не успел он, однако ж, вручить ему эту бумагу, как Санчо ее потерял, и она попала в руки герцога, а герцог прочитал ее герцогине, и оба вновь подивились помешательству и уму Дон Кихота; далее, продолжая свои затеи, они в тот же вечер отправили Санчо со многочисленною свитою в городок, которому надлежало сойти за остров. Проводником же Санчо до места его назначения оказался домоправитель герцога, человек весьма остроумный и большой забавник (впрочем, неостроумных забав не бывает), тот самый, который с вышеописанною приятностью изображал графиню Трифальди; и вот, обладая таковыми свойствами, да еще будучи научен хозяевами, как должно обходиться с Санчо, он блестяще справился со своею задачею. Случилось, однако ж, так, что при первом взгляде на домоправителя Санчо заметил, что он напоминает лицом Трифальди, и, обратясь к своему господину, сказал:

– Сеньор! Я мигом провалюсь в преисподнюю, если ваша милость не признает, что лицо у герцогского домоправителя, вот у этого самого, точь-в-точь как у Гореваны.

Дон Кихот впился глазами в домоправителя и, вглядевшись в него, молвил:

– Тебе незачем проваливаться в преисподнюю, Санчо, ни мигом, ни еще как-либо (я не понимаю, к чему ты это говоришь): лицом домоправитель, точно, похож на Горевану, но из этого не следует, что домоправитель и есть Горевана, ибо отсюда возникло бы величайшее противоречие, а сейчас не время для подобного рода исследований, иначе это заведет нас в безвыходный лабиринт. Поверь, друг мой, что нам надлежит обратиться с жаркою молитвою к богу о том, чтобы он избавил нас от злых колдунов и злых волшебников.

– Но это не шутка, сеньор, – возразил Санчо, – я слышал давеча, как он разговаривал, и мне прямо послышался голос Трифальди. Ну да ладно, я больше говорить про это не стану, но только буду теперь глядеть в оба, не открою ли еще какой приметы, и, может, эта примета усилит мои подозрения, а может, наоборот, рассеет.

– Так и сделай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и уведомляй меня обо всем, что бы ты в рассуждении сего ни обнаружил, а равно и обо всем, что касается твоего губернаторства.

Наконец Санчо выехал; его окружала многочисленная свита; на нем был костюм, какой носят важные судейские; верхняя одежда, весьма широкая, была сшита из рыжеватого с разводами камлота, а на голове у него красовалась такой же материи шапочка; восседал он на муле, а за мулом, по особому распоряжению герцога, шел серый в новенькой шелковой сбруе и соответствующих ослиному его званию украшениях. Время от времени Санчо оглядывался на осла, коего общество доставляло ему такое большое удовольствие, что он не поменялся бы местами с самим императором германским. Прощаясь с герцогом и герцогинею, он поцеловал

им руки, а затем попросил своего господина благословить его, и тот благословил его со слезами. Санчо же принял его благословение, вот-вот готовый расплакаться.

Отпусти же доброго Санчо с миром, любезный читатель, и пожелай ему счастливого пути, – ты еще вдоволь посмеешься, когда узнаешь, как он вел себя в новой должности, а пока узнай, что произошло в эту ночь с его хозяином, и если ты не покатишься со смеху, то, по крайности, как мартышка, оскалишь зубы, ибо приключения Дон Кихота таковы, что их можно почтить только удивлением или же смехом. Словом, в истории далее говорится, что не успел Санчо выехать, как Дон Кихот почувствовал одиночество, и если бы это зависело от него, он, уж верно, отменил бы назначение Санчо и лишил его губернаторства. Герцогиня заметила, что он грустит, и спросила, что тому причиною; если же, мол, это от разлуки с Санчо, то в ее замке есть много служителей, дуэний, горничных девушек, и они исполнят любое его желание.

– Ваша правда, сеньора, – отвечал Дон Кихот, – я чувствую отсутствие Санчо, но не в этом главная причина моей грусти; многочисленные же милости, которые ваша светлость мне оказывает, я принимаю и ценю только как знак вашего ко мне расположения, а что касается всего прочего, то я прошу вашего дозволения и согласия, чтобы в моем покое я пользовался своими собственными услугами.

– Право, не стоит, сеньор Дон Кихот, – заметила герцогиня, – вам будут прислуживать четыре девушки, мои горничные, прекрасные, как цветы.

– Мне они покажутся не цветами, но шипами, ранящими душу, – возразил Дон Кихот. – Ни они, ни кто-либо другой в этом роде ни за что на свете в мой покой не проникнут. Если же вашему величию благоугодно продолжать осыпать меня милостями, коих я, однако же, недостоин, то дозвольте мне самому ухаживать за собою и прислуживать себе при закрытых дверях, дозвольте мне воздвигнуть стену между желаниями моими и моим целомудрием, – я бы не хотел из-за той любезности, какую выказывает ко мне ваша светлость, изменять своим привычкам. Одним словом, скорее я лягу спать одетым, нежели соглашусь, чтобы кто-нибудь меня раздевал.

– Что вы, что вы, сеньор Дон Кихот! – возразила герцогиня. – Клянусь вам, я распоряжусь, чтобы муха не смела проникнуть в ваш покой, а не то что девушка: я не так воспитана, чтобы оскорблять скромность сеньора Дон Кихота, – сколько я понимаю, из многочисленных добродетелей, присущих вам, особенно вас украшает целомудрие. Ваша милость вольна раздеваться и одеваться в полном одиночестве и по своему хотению, как и когда вам вздумается, – никто вам мешать не будет: вы у себя в комнате найдете сосуды, которые могут понадобиться тому, кто спит с запертою дверью и не желает, чтобы какая-либо естественная потребность принудила его отпереть ее. Да живет тысячу веков великая Дульсинея Тобосская, и да прославится имя ее в целом свете, ибо она удостоилась того, что ее полюбил такой бесстрашный и такой целомудренный рыцарь, и да подвигнут благодетельные небеса нашего губернатора Санчо Пансу как можно скорее покончить с бичеванием, дабы весь мир мог снова наслаждаться красотою бесподобной этой сеньоры!

Дон Кихот ей на это сказал:

– По речам вашей высокочтимости сейчас видно, кто их произносит, ибо из уст доброй сеньоры худое слово изойти не может, и похвальное слово вашего величия принесет Дульсинее больше счастья и больше славы, нежели все хвалы, какие только могут воздать ей лучшие витии мира.

– Отлично, сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня, – а теперь пора ужинать: герцог, должно думать, нас уже ждет. Пойдемте отужинаем, ваша милость, и вы можете пораньше лечь спать: вчерашнее ваше путешествие в Кандайю было довольно продолжительным и, вероятно, вас слегка утомило.

– Я не чувствую усталости, сеньора, – возразил Дон Кихот. – Смею уверить ваше высокопревосходительство, что никогда в жизни не приходилось мне ездить на четвероногом

более смирного нрава и у которого был бы такой ровный шаг, как у Клавиленьо, – я не могу взять в толк, что понудило Злосмрада расстаться с таким легконогим и благородным верховым животным и ни за что ни про что сжечь его.

– Можно предположить, – заметила герцогиня, – что Злосмрад раскаялся в том, что причинил горе Трифальди, ее подругам и всем прочим, а равно и во всех тех злодеяниях, которые он, должно полагать, учинил, будучи колдуном и чародеем, и, решившись покончить с орудиями своего ремесла, прежде всего, как главное орудие, сжег Клавиленьо, который не давал ему ни минуты покоя и мчал его из страны в страну, пепел же Клавиленьо и грамота Злосмрада, являющая собою трофей, пребудут вечными памятниками доблести великого Дон Кихота Ламанчского.

Дон Кихот снова поблагодарил герцогиню, затем отужинал и удалился один в свой покой, попросив, чтобы никто не являлся к нему для услуг, – так его пугала мысль, что какая-нибудь случайность побудит и заставит его нарушить обет целомудрия, который он дал владычице своей Дульсинее, ибо добродетель Амадиса, цвета и зерцала странствующих рыцарей, навеки пленила его воображение. Он запер за собою дверь и при свете двух восковых свечей разделся, а когда стал разуваться (о незаслуженное злополучие!), то не он испустил вздох или же еще что-либо, могущее бросить тень на безупречную его благовоспитанность, а у него на чулке спустилось до двух дюжин петель вдруг, так что чулок сделался похож на оконную решетку. Добрый наш сеньор весьма этим огорчился: он с радостью отдал бы сейчас целую унцию серебра за ниточку зеленого шелка, говорю – зеленого, потому что у него были зеленые чулки.

Тут у Бен-инхали вырывается следующее восклицание:

«О бедность, бедность! Не понимаю, что побудило великого кордовского поэта[161] сказать о тебе:

Священный, но неоцененный дар.

Я хоть и мавр, однако ж соприкасался с христианами и отлично знаю, что святость заключается в милосердии, смирении, вере, послушании и бедности, но со всем тем я утверждаю, что человек, который в бедности находит удовлетворение, должен быть во многих отношениях богоподобен, если только это не та бедность, о которой говорится у одного из величайших святых: «Пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся», то есть так называемая нищета духа. Но ты, второй вид бедности (я о тебе сейчас говорю)! Зачем ты преимущественно избираешь своими жертвами идальго и прочих людей благородного происхождения? Зачем принуждаешь их чистить обувь сажей и носить одежду с разнородными пуговицами: шелковыми, волосяными и стеклянными? Зачем их воротники по большей части бывают только разглажены, а не гофрированы?»

Отсюда явствует, что употребление крахмала и гофрированные воротники восходят к глубокой древности.

Бен-инхали продолжает: «Жалок тот дворянин, который дома ест впроголодь, а на улице напускает на себя важность и лицемерно ковыряет во рту зубочисткой, меж тем как он не ел ничего такого, после чего ему требовалось бы поковырять в зубах! Жалок тот, говорю я, у кого честь стыдлива и которому кажется, будто всем издали видно, что башмаки у него в заплатах, шляпа лоснится от пота, накидка обтрепана, а в животе пусто!»

На такие мысли навели Дон Кихота спустившиеся петли, однако ж он утешился, заметив, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, и решил, что завтра наденет их. Наконец он лег, озабоченный и расстроенный, во-первых, тем, что с ним не было Санчо, а во-вторых, непоправимою бедою с чулками, которые он готов был заштопать даже другого цвета шелком, хотя это одна из последних степеней падения, до которой может дойти оскудевший идальго. Он потушил свечи; было жарко, и ему не спалось; он встал с постели и приотворил зарешеченное окно, выходившее в чудесный сад; как же скоро он отворил его, то ему

показалось и послышалось, что в саду гуляют и разговаривают. Он насторожился. В саду заговорили громче, и он различил такие речи:

– Не проси у меня песен, Эмеренсья! Ты же знаешь, что с того самого мгновенья, когда сей путник прибыл к нам в замок и очи мои его узрели, я уже не пою, а только плачу. Кроме того, сон моей госпожи скорее легок, чем крепок, а я за все сокровища в мире не согласилась бы, чтобы нас здесь застали. И хотя бы даже она продолжала спать и не пробудилась, все равно мне не к чему петь, если будет спать и не проснется, чтобы послушать мое пение, сей новорожденный Эней,[162] который прибыл в наши края, видно, для того, чтобы надо мной насмеяться.

– Не бойся, милая Альтисидора, – отвечали ей, – герцогиня и все, кто только есть в замке, разумеется, спят, – не спит лишь властелин твоего сердца и пробудитель твоей души: мне сейчас послышалось, что зарешеченное окно в его покое отворилось, значит, он, верно, не спит. Пой же, бедняжка, под звуки арфы голосом тихим и нежным, а если герцогиня услышит нас, мы скажем, что в комнате душно.

– Не этого я опасаюсь, Эмеренсья, – отвечала Альтисидора, – я бы не хотела, чтобы пение выдало сердечную мою склонность и чтобы люди, не испытывавшие на себе всемогущей силы любви, признали меня за девицу взбалмошную и распутную. Впрочем, будь что будет: лучше краска стыда на лице, чем заноза в сердце.

И тут послышались нежнейшие звуки арфы. При этих звуках Дон Кихот остолбенел, ибо в сей миг ему припомнились бесчисленные приключения в этом же роде: с окнами, решетками и садами, с музыкой, объяснениями в любви и обмороками, словом, со всем тем, о чем Дон Кихот читал в рыцарских романах, способных обморочить кого угодно. Он тотчас вообразил, что одна из горничных девушек герцогини в него влюбилась и что только девичий стыд не позволяет ей признаться в сердечном своем влечении, и, испугавшись, как бы она его не пленила, мысленно дал себе слово держаться твердо; всей душой и всем помышлением отдавшись под покровительство сеньоре Дульсинее Тобосской, он решился, однако ж, послушать пение и, дабы объявить о своем присутствии, притворно чихнул, что чрезвычайно обрадовало девиц: ведь им только того и нужно было, чтобы Дон Кихот их слышал. Итак, настроивши арфу и взявши несколько аккордов, Альтисидора запела вот этот романс:

Ты, что меж простынь голландских

Возлежишь на мягком ложе

Предаваясь дреме сладкой

От заката до восхода;

Ты, храбрейший сын Ламанчи,Рыцарства краса и гордость,Всех сокровищ аравийскихИ прекрасней и дороже! Внемли пеням девы ражей,Но обиженной судьбою.Ибо душу иссушилиЕй твои глаза – два солнца. Опьяненный жаждой славы,Ты лишь скорбь другим приносишь:Ранишь их, а сам лекарствоИм от ран подать не хочешь. Смелый юноша! Ответь,Уж не в Ливии ли знойнойИли на бесплодной Хаке[163] Ты родился, мне на горе? Уж не змеями ли был тыВспоен сызмала и вскормлен,Иль тебя взрастили дебриИ угрюмые утесы? Да, по праву Дульсинея,Дева, налитая соком,Хвастается, что смирилаТигра лютого такого. Пусть Арланса, Писуэрга,Мансанарес, Тахо вольный.И Энарес, и Харама[164] Вечно славят этот подвиг! Чтоб уделом поменятьсяСо счастливицей подобной,Я б отдать не пожалелаЮбку с золотой каймою.

Ах, лежать в твоих объятьяхИль хотя б с тобой бок о бокИ в твоих кудрях копаться,Истребляя насекомых! Но, не стоя этой чести,Буду я вполне довольна,Если ты себе хотя быНоги растереть позволишь. Сколько от меня в подарокПолучал бы ты сорочек,Гребешков, штанов атласныхИ чулок с ажурной строчкой! Сколько редкостных жемчужин,Драгоценных и отборных,Коих за красу и крупностьИменуют «одиночки»! Долго ли, Нерон Ламанчский,На пожар, тобой зажженный,Со своей Тарпейской кручи[165] Будешь ты взирать спокойно? Бог моим словам порукой:Я еще дитя, подросток,И пятнадцать лет мне минетБольше чем через полгода. Всем взяла, всем хороша я:Не хрома, не кривонога;Вслед за мной, пышнее лилий,По земле влачатся косы. Хоть широк мой рот не в меру,Да и малость я курноса,Два ряда зубов-топазовПридают мне облик райский. Голос у меня приятный,Как и сам ты слышать можешь;Росту ж я, чтоб не соврать,Ниже среднего немного. Я, чью красоту ты насмертьРанил взором, как стрелою,Состою при этом замкеИ зовусь Альтисидорой.

На этом пение раненной любовью Альтисидоры окончилось, а для предмета ее страсти, Дон Кихота, настали мгновенья ужасные; тяжело вздохнув, он сказал себе: «Неужели же я такой несчастный странствующий рыцарь, что ни одна девушка при виде меня не может не влюбиться?.. Неужели же так печальна судьба несравненной Дульсинеи Тобосской, что ей не удастся насладиться вполне моею бесподобною верностью?.. Чего вы хотите от нее, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Зачем вы терзаете ее, девушки от четырнадцати до пятнадцати лет? Оставьте ее, бедную, пусть она ликует, пусть она наслаждается и гордится тем счастьем, которое даровал ей Амур, отдав ей во владение мое сердце и вручив ей мою душу. Послушайте, сонм влюбленных в меня: для одной лишь Дульсинеи я – мягкое тесто и миндальное пирожное, а для всех остальных я – кремень; для нее я – мед, а для вас – алоэ; для меня одна лишь Дульсинея прекрасна, разумна, целомудренна, изящна и благородна, все же остальные безобразны, глупы, развратны и худородны, и меня произвела на свет природа для того, чтобы я принадлежал ей, а не какой-либо другой женщине. Пусть Альтисидора плачет или поет, пусть горюет дама, из-за которой меня избили в замке очарованного мавра, – так или иначе я должен принадлежать Дульсинее, и я пребуду непорочным, добродетельным и целомудренным наперекор всем колдовским чарам на свете».

И тут он с силой захлопнул окно и, опечаленный и удрученный, как если бы на него свалилось большое несчастье, лег в постель, где мы его пока и оставим, ибо нас призывает к себе премудрый Санчо Панса, намеревающийся положить славное начало своему губернаторству.



Глава XLV

О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять



О, извечный обозреватель антиподов, всемирный факел, небесное око, сладостный вращатель кувшинов, здесь – Тимбрий, там – Феб, стрелок для одних, врач для других,[166] отец поэзии, изобретатель музыки, ты, вечно восходящее и, вопреки тому, что нам представляется, не заходящее вовек светило! К тебе взываю я, о солнце, с чьей помощью человек рождает человека! К тебе взываю я, да окажешь ты мне свое покровительство и просветишь темноту моего разума, дабы я проследил шаг за шагом историю правления премудрого Санчо Пансы, ибо без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным.

Итак, Санчо со всею своею свитою прибыл в городок, насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших владений герцога. Санчо Пансе сообщили, что остров называется Баратария:[167] быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Пансе дешево. Как скоро губернатор со свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие, а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Одеяние, борода, брюшко и низкорослость

нового губернатора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел, в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведомленных обо всем, а таких было множество. Наконец из собора Санчо Пансу провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал:

– На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай: кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные, он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию или же, напротив, приунывают.

Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене прямо против кресла; а как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так:

– Сеньор! Там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит сия надпись следующее: «Сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, многие ему лета».

– А кого это зовут *дон Санчо Панса?* – спросил Санчо.

– Вас, ваше превосходительство, – отвечал домоправитель, – на наш остров не прибыло никакого другого Пансы, кроме того, который сейчас восседает в этом кресле.

– Ну так запомни, братец, – объявил Санчо, – что я не *дон,* и никто в моем роду не был *доном:* меня зовут просто Санчо Пансою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были Панса, безо всяких этих *донов* да *распродонов.* Мне сдается, что на вашем острове *донов* куда больше, чем камней, ну да ладно, господь меня разумеет, и если только мне удастся погубернаторствовать хотя несколько дней, я всех этих донов повыведу: коли их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы, я отвечу на них, как могу, а горожане хотят – унывают, хотят – не унывают: это их дело.

В это время в судебную палату вошли два человека: один из них был одет крестьянином, другой был одет портным и держал в руках ножницы; он-то и повел речь:

– Сеньор губернатор! Мы с этим сельчанином явились к вашей милости вот из-за чего. Вчера этот молодец пришел ко мне в мастерскую (я, извините за выражение, портной и, слава тебе господи, мастер своего дела), сует мне в руки кусок сукна и спрашивает: «Сеньор! Выйдет мне колпак из этого куска?» Я прикинул, говорю: «Выйдет». Тут, думается мне, он, наверно, подумал, и подумал неспроста, что я, конечно, хочу толику малую сукна у него украсть, – либо это он судил по себе, либо уж такая дурная слава идет про портных, и вот он мне и говорит: погляди, мол, не выйдет ли двух колпаков. Я смекнул, что он обо мне подумал. «Выйдет», – говорю. Он же, утвердившись в первоначальной своей и оскорбительной для меня мысли, стал все прибавлять да прибавлять колпаки, а я все: «Выйдет» да «Выйдет», и, наконец, дошли мы до пяти. Нынче он за ними явился, я ему их выдал, а он отказывается платить за работу да еще требует, чтобы я ему заплатил или же вернул сукно.

– Так ли все это было, братец? – спросил Санчо.

– Да, сеньор, – подтвердил крестьянин, – но только велите ему, ваша милость, показать все пять колпаков, которые он мне сшил.

– С моим удовольствием, – молвил портной.

Нимало не медля, он высвободил из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, и сказал:

– Вот все пять колпачков, которые мне заказал этот человек, и больше у меня, клянусь богом и совестью, ни клочка сукна не осталось, я готов представить мою работу на рассмотрение цеховых старшин.

Количество колпачков и необычность самой тяжбы насмешили всех присутствовавших, Санчо же, немного подумав, сказал:

– Я полагаю, что нам с этим делом долго задерживаться не приходится: решим его сей же час, как нам подсказывает здравый смысл. Вот каков будет мой приговор: портному за работу не платить ничего, крестьянину сукна не возвращать, колпачки пожертвовать заключенным, и дело с концом.

Если нижеследующий приговор по делу о кошельке скотовода вызвал у окружающих удивление, то этот приговор заставил их рассмеяться, однако же все было сделано так, как распорядился губернатор. Засим к губернатору явились два старика; одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь:

– Сеньор! Я дал взаймы этому человеку десять золотых – я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец вижу, что он и не собирается платить долг, ну и стал ему напоминать, а он мало того что не возвращает, но еще и отпирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо взаймы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге, и вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прощу немедленно, вот здесь, перед лицом господа бога.

– Что ты на это скажешь, старикан с посохом? – спросил Санчо.

Старик же ему ответил так:

– Сеньор! Я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму, – опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг.

Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла[168] и объявил, что ему, точно, ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал заимодавцу из рук в руки, заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь, и, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели, Санчо же, увидев его, сказал:

– Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.

– С великим удовольствием, – сказал старик, – нате, сеньор.

И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:

– Ступай с богом, тебе заплачено.

– Как так, сеньор? – спросил старик. – Разве эта палка стоит десять золотых?

– Стоит, – отвечал губернатор, – а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять целым королевством или не гожусь.

И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось десять золотых; все пришли в изумление и признали губернатора за

новоявленного Соломона. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто как бог; притом о подобном случае он, Санчо, слыхал от своего священника, память же у него изрядная, и если б только он не имел привычки забывать как раз то, о чем ему подчас нужно бывает вспомнить, то другой такой памяти нельзя было бы сыскать на всем острове. Наконец старик устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия и движения Санчо, все еще не мог решить: признавать и почитать Санчо за дурака или же за умника.

Тотчас по окончании этой тяжбы в судебную палату вошла женщина, крепко держа за руку мужчину, коего по одежде можно было бы принять за богатого скотовода; она кричала истошным голосом:

– Правосудия, сеньор губернатор, правосудия! Если я не найду его на земле, то пойду искать на небе! Дорогой сеньор губернатор! Этот негодяй напал на меня среди поля и обошелся с моим телом, как с какой-нибудь грязной ветошкой. И что же я за несчастная! Он похитил у меня сокровище, которое я хранила более двадцати трех лет, которое я берегла и от мавров, и от христиан, от своих и от заезжих, я всегда была непоколебима, как дуб, всегда была целенькая, как саламандра в огне или же как платье, что зацепилось за куст, и вот теперь этот молодчик всю меня истискал!

– Вот мы этого голубчика сейчас самого к стене притиснем, – сказал Санчо.

Обратясь к мужчине, он спросил, что может тот сказать и возразить на жалобу этой женщины. Мужчина, весьма смущенный, ответил так:

– Сеньоры! Я бедный свиновод. Нынче утром, продавши нескольких, извините за выражение, свиней, я ехал из вашего города, и продал-то я их в убыток: почти все, что выручил, ушло на пошлины да на взятки. Возвращаюсь к себе в деревню, встречаю по дороге вот эту приятную даму, и тут дьявол, который во все вмешивается и всех будоражит, устроил так, что мы с ней побаловались. Я уплатил ей сколько полагается, а ей показалось мало: как вцепится в меня, так до самого этого дома все и тащила. Она говорит, что я ее изнасиловал, но, клянусь вам и еще готов поклясться, она врет. Я выложил всю как есть правду, – вот чего не утаил.

Тогда губернатор спросил скотовода, нет ли у него при себе серебряных монет; тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около двадцати дукатов. Губернатор приказал ему достать кошелек и, ничего с ним не делая, передать просительнице; скотовод, весь дрожа, исполнил повеление; женщина взяла кошелек, вцепилась в него обеими руками и, кланяясь на все стороны и моля бога о здравии и долгоденствии сеньора губернатора, который так заботится о сирых и беззащитных девицах, вышла из судебной палаты; впрочем, первым ее движением было удостовериться, точно ли в кошельке лежит серебро. Как скоро она удалилась, Санчо обратился к скотоводу (а у того уже слезы лились из глаз и вся душа его и взоры стремились вослед кошельку):

– Добрый человек! Догони эту женщину, не добром, так силой возьми у нее кошелек и приведи опять сюда.

Скотовод не заставил себя долго ждать и упрашивать; он вихрем полетел в указанном направлении. Присутствовавшие в недоумении ожидали, чем кончится эта тяжба, и вот немного погодя мужчина и женщина возвратились, сцепившись и держа друг дружку еще крепче, чем в прошлый раз; у женщины завернулся подол, и было видно, что кошелек она

прижимает к самому животу, а мужчина пытался его вырвать, но это было свыше его сил – столь яростно защищалась женщина и при этом еще орала:

– Взываю к правосудию небесному и земному! Поглядите, сеньор губернатор, ни стыда ни совести нет у этого разбойника: вздумал в городе, на улице, отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала отдать мне.

– Что же, отнял он у тебя кошелек? – спросил губернатор.

– Как бы не так! – воскликнула женщина. – Да я скорей с жизнью расстанусь, нежели с кошельком! Нашли какую малолеточку! Подавайте мне кого другого, а не этого грязнулю несчастного. Никакие клещи и гвоздодеры, никакие отвертки и стамески, никакие львиные когти не вырвут у меня из рук кошелек: легче мою душу из тела вытрясти!

– Она права, – сказал мужчина, – я сдаюсь, признаю себя побежденным, объявляю, что не в силах отнять кошелек, и пусть он остается у нее.

Тогда губернатор сказал женщине:

– Дай-ка сюда кошелек, почтенная и отважная дама.

Она тотчас протянула губернатору кошелек, губернатор же, вернув его мужчине, обратился к весьма сильной, но вовсе не изнасилованной женщине:

– Вот что, милая моя: выкажи ты при защите своего тела хотя бы половину того воинственного духа и бесстрашия, какие ты выказала при защите кошелька, то и Геркулес со всею своею силою не мог бы учинить над тобой насилие. Ступай себе с богом, нет, лучше: ступай ко всем чертям, чтобы ни на самом острове, ни на расстоянии шести миль от него тобой и не пахло, не то получишь двести плетей. Да ну же, убирайся вон, бесстыжая врунья и мошенница!

Женщина перепугалась и с унылым и недовольным видом ушла, а губернатор сказал скотоводу:

– Держи крепче свои деньги, добрый человек, и иди с богом к себе в деревню, но вперед смотри: хочешь, чтоб они у тебя были целы, – с бабами лучше не балуйся.

Скотовод пролепетал слова благодарности и удалился, присутствовавшие же снова подивились решениям и приговорам нового своего губернатора. Все это было занесено в летопись, каковую ее составитель незамедлительно отослал к герцогу, ожидавшему ее с великим нетерпением.

Но тут мы оставим доброго Санчо и поспешим к его господину, смущенному пением Альтисидоры.



Глава XLVI

Об ужасающей кутерьме с колокольчиками и котами, прервавшей объяснения Дон Кихота с влюбленною Альтисидорою



Мы оставили Дон Кихота погруженным в раздумье, коего причиною было пение влюбленной девицы Альтисидоры. С этими мыслями он лег спать, и от них, точно от блох, ему не было ни отдыха, ни сна, а к ним еще примешивалась мысль о спустившихся на чулке петлях; но как время быстролетно и нет на свете такого обрыва, который преградил бы ему путь, то, оседлав ночные часы, оно с великим проворством достигло часа утреннего. Тут Дон Кихот

покинул мягкую перину, облачился нимало не медля в свое одеяние из верблюжьей шерсти и, чтобы скрыть прискорбный изъян на чулке, натянул походные сапоги; сверху он накинул на себя алую мантию, на голову надел зеленого бархата шапочку с серебряными позументами, через плечо перекинул перевязь со своим добрым булатным мечом, взял в руки длинные четки, которые были при нем постоянно, и весьма величественно и торжественно проследовал в гостиную, где герцог и герцогиня, уже вполне одетые, по-видимому, ожидали его. В галерее же, через которую ему надлежало пройти, его дожидалась Альтисидора со своей подругой; и, едва увидев Дон Кихота, Альтисидора притворилась, будто ей дурно, а подруга подхватила ее на руки и с чрезвычайною поспешностью начала расшнуровывать ей корсаж. Дон Кихот все это заметил; приблизившись к девушкам, он сказал:

– Мне ясно, чем вызываются подобного рода обмороки.

– А мне неясно, – сказала подруга. – Альтисидора – самая здоровая девушка в замке, за время нашего знакомства я ни оха, ни вздоха от нее не слыхала. Будь прокляты все странствующие рыцари, какие только есть на свете, если все они столь бесчувственны! Проходите, сеньор Дон Кихот: пока ваша милость будет здесь стоять, до тех пор бедная девочка не придет в себя.

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Распорядитесь, сеньора, чтобы вечером в мой покой принесли лютню: я, сколько могу, утешу страждущую эту девицу, ибо скорое разочарование, наступающее в первоначальную пору любви, – это самое верное средство.

Засим он поспешил удалиться, дабы никто его здесь не застал. Стоило ему скрыться из виду, как лишившаяся чувств Альтисидора очнулась и сказала подруге:

– Непременно нужно отнести ему лютню: по всей вероятности, Дон Кихот намерен усладить наш слух музыкой, и у него это может получиться недурно.

Они тотчас отправились к герцогине, рассказали о своей встрече с Дон Кихотом и о том, что он просит лютню, герцогиня, чрезвычайно обрадовавшись, немедленно сговорилась с герцогом и девушками сыграть с Дон Кихотом веселую, но не злую шутку, и все, предвкушая удовольствие, стали ждать вечера, между тем вечер наступил так же быстро, как быстро наступил этот день, который, кстати сказать, их светлости провели в приятной беседе с Дон Кихотом. И в этот же день герцогиня воистину и вправду послала своего слугу (того самого, что изображал в саду заколдованную Дульсинею) к Тересе Панса с письмом от ее мужа Санчо Пансы и с узлом с одеждой, которую тот оставил для Тересы, и велела этому слуге дать ей потом подробный отчет о своей поездке. Слуга отбыл, а в одиннадцать часов вечера Дон Кихот нашел у себя в комнате виолу;[169] он подтянул струны, затем отворил решетчатый ставень и услыхал, что в саду кто-то гуляет; тогда он быстро перебрал лады, с крайним тщанием настроил виолу, прочистил себе гортань, откашлялся, а затем сипловатым, но отнюдь не фальшивым голосом запел романс, который он сам же предварительно сочинил:

С петель разума срывать

Душу страсть умеет ловко,

Расслабляющую праздность

Применяя вместо лома.

Но работа, и шитье,И домашние заботы —Верное противоядьеОт тревог и мук любовных, Честной девушке, о бракеПомышляющей законном,Скромность служит и приданым,И завидной похвалою. Ведь и странствующий рыцарь,И столичный франт-придворныйБойким только строят куры,А берут в супруги скромниц. Грех считать любовью чувство,Что живет лишь миг короткий,Что при встрече возникает,А при

расставанье блекнет. Это лишь каприз минутный,Что назавтра же проходит,И не может он оставитьВ нашем сердце след глубокий. Кто по старой краске пишет,Тот маляр, а не художник;Там, где страсть жива былая,Места нет для страсти новой. Так мне в душу врезан образДульсинеи из Тобосо,Что никто ее оттудаВытеснить уже не может. В человеке постоянство —Драгоценнейшее свойство:С помощью его влюбленныхДо себя Амур возносит.

Только успел Дон Кихот, которого слушали герцог, герцогиня, Альтисидора и почти все обитатели замка, дойти до этого места, как вдруг с галереи, находившейся прямо над его окном, спустилась веревка с бесчисленным множеством колокольчиков, а вслед за тем кто-то вытряхнул полный мешок котов, к хвостам которых также были привязаны маленькие колокольчики. Звон колокольчиков и мяуканье котов были до того оглушительны, что оторопели даже герцог с герцогиней, которые все это и затеяли, а Дон Кихот в испуге замер на месте; и нужно же было случиться так, чтобы некоторые из этих котов пробрались через решетку в Дон-Кихотов покой и заметались туда-сюда, так что казалось, будто в комнату ворвался легион бесов. Коты опрокинули свечи, горевшие в комнате, и всё носились и носились в поисках выхода; между тем веревка с большими колокольцами беспрерывно опускалась и поднималась. Большинство обитателей замка, не имевших понятия, в чем суть дела, были изумлены и озадачены. Дон Кихот же вскочил, выхватил меч и стал наносить удары через решетку, громко восклицая:

– Прочь, коварные чародеи! Прочь, колдовская орава! Я Дон Кихот Ламанчский, и, что бы вы ни злоумышляли, вам со мною не справиться и ничего не поделать.

Тут он накинулся с мечом на котов, метавшихся по комнате, и начал осыпать их ударами; коты устремились к решетке и выпрыгнули через нее в сад, но один кот, доведенный до бешенства ударами Дон Кихота, бросился ему прямо на лицо и когтями и зубами впился в нос, Дон Кихот же от боли закричал не своим голосом. Услышав крик и тотчас сообразив, в чем дело, герцог и герцогиня поспешили на место происшествия и, общим ключом отомкнув дверь в покой Дон Кихота, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил старается оторвать кота от своего лица. Сбежались люди с огнями и осветили неравный бой; герцог хотел было разнять бойцов, но Дон Кихот закричал:

– Не гоните его отсюда! Дайте мне схватиться врукопашную с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником. Я ему покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

Но кот, не обращая внимания на угрозы, визжал и еще глубже запускал когти; наконец герцог отцепил его и выкинул в окно.

У Дон Кихота все лицо было в царапинах, досталось и его носу, однако ж он весьма досадовал, что ему не дали окончить ожесточенную битву с этим злодеем-волшебником. Принесли апарисиево масло,[170] и сама Альтисидора белоснежными своими ручками перевязала ему раны; и, накладывая повязки, она шептала:

– Все эти беды посылаются тебе, твердокаменный рыцарь, в наказание за суровость и непреклонность твою. Дай бог, чтобы оруженосец твой Санчо позабыл, что ему надлежит бичевать себя, дай бог, чтобы столь горячо любимая тобою Дульсинея так и не вышла из-под власти волшебных чар и чтобы ты ею не насладился и не взошел с нею на брачное ложе – во всяком случае, пока жива я, тебя обожающая.

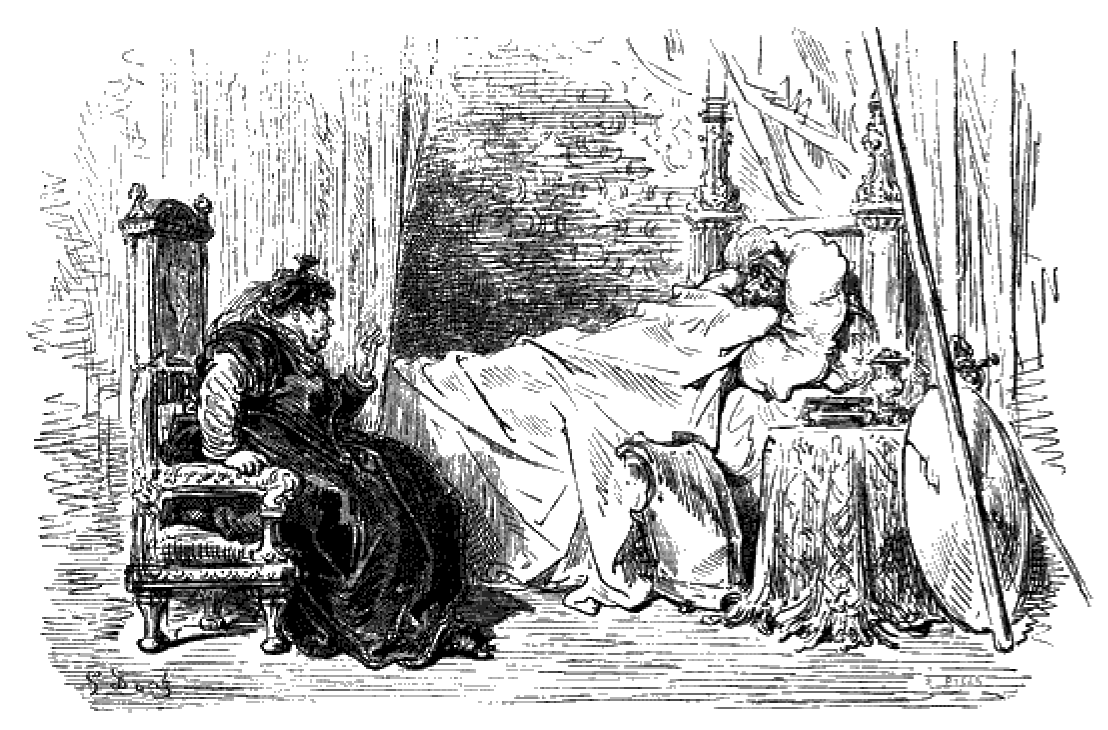
Ничего не ответил ей Дон Кихот, а лишь из глубины души вздохнул; затем он лег на свою кровать и поблагодарил герцогскую чету за оказанную услугу, которая дорога ему, дескать, не потому, что эта орава котов и чародеев с колокольчиками в самом деле нагнала на него страху, а лишь как изъявление доброго намерения их светлостей ему помочь. Герцог и герцогиня

пожелали ему спокойной ночи и удалились; неудачный конец шутки огорчил их, но они не могли предполагать, что приключение это так дорого обойдется Дон Кихоту и причинит ему такую неприятность, Дон Кихоту же оно и в самом деле стоило пятидневного лежания в постели, и за это время с ним случилось новое приключение, еще забавнее предыдущего, однако жизнеописатель Дон Кихота не намерен сейчас об этом рассказывать и спешит к Санчо Пансе, который между тем чрезвычайно усердно и весьма потешно занимался государственными делами.



Глава XLVII,

в коей продолжается рассказ о том, как Санчо Панса вел себя в должности губернатора



В истории сказано, что из залы суда Санчо провели в пышный дворец, в одной из громадных палат коего был накрыт роскошный по-королевски стол; и только Санчо появился в этой палате, как заиграла музыка и навстречу ему вышли четыре лакея, держа все необходимое для омовения рук, каковой обряд Санчо совершил с большим достоинством. Музыка смолкла, и Санчо сел на председательское место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, как не было на скатерти никакого другого прибора. Подле Санчо стал какой-то человек с палочкой из китового уса в руке, – как выяснилось впоследствии, доктор. Со стола сняли богатейшую белую скатерть, накрывавшую фрукты и многое множество блюд со всевозможными яствами. Еще один незнакомец, по виду – духовного звания, благословил трапезу, слуга повязал Санчо кружевную салфетку, а другой слуга, исполнявший обязанности дворецкого, на первое подал ему блюдо с фруктами, однако ж не успел Санчо за него взяться, как к блюду прикоснулась палочка из китового уса, и его тут же с молниеносной быстротой убрали со стола; тогда дворецкий подставил ему другое блюдо. Санчо хотел было его отведать, однако ж прежде чем он к нему потянулся и распробовал, его уже коснулась палочка, и лакей унес его с таким же точно проворством, как и первое. Санчо пришел в недоумение и, оглядев присутствовавших, спросил, что это значит: хотят ли накормить его обедом или выказать ловкость рук. На это человек с палочкой ответил следующее:

– Сеньор губернатор! Так принято и так полагается обедать на всех островах, где только есть губернаторы. Я, сеньор, – доктор, я состою при губернаторах этого острова и получаю за это жалованье, и уж забочусь я о здоровье губернатора пуще, нежели о своем собственном: я наблюдаю за губернатором денно и нощно, изучаю его сложение, дабы суметь излечить его, когда он заболеет, главная же моя обязанность заключается в том, что я присутствую при его обедах и ужинах, позволяю ему есть только то, что найду возможным, и отвергаю то, что, по моему разумению, может причинить ему вред и испортить желудок. Так, я велел убрать со стола блюдо с фруктами, ибо во фруктах содержится слишком много влаги, и еще одно блюдо я также велел убрать, оттого что оно чересчур горячительно и приправлено всякого рода пряностями, возбуждающими жажду, между тем кто много пьет, тот уничтожает в себе и истощает запас первоосновной влаги, а от нее-то и зависит наша жизнеспособность.

– Стало быть, вон то блюдо с жареными куропатками, на вид отменно вкусное, уж верно, не причинит мне никакого вреда.

Но доктор на это сказал:

– Пока я жив, сеньор губернатор к нему не притронется.

– Это почему же? – спросил Санчо.

Доктор ему ответил:

– Потому что учитель наш Гиппократ, светоч и путеводная звезда всей медицины, в одном из своих афоризмов говорит: *Omnis saturatio mala, perdicis autem pessima.* Это значит: «Всякое объядение вредно, объядение же куропатками паче других».[171]

– Ну, коли так, – рассудил Санчо, – выберите мне, сеньор доктор, изо всех кушаний, какие есть на столе, самое полезное и наименее вредное, не колотите по нему палочкой и дайте мне его спокойно съесть, потому, клянусь жизнью губернатора, дай бог мне пожить подольше, я умираю с голоду, и что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и хотите вы этого или не хотите, но, отнимая у меня пищу, вы не только не продлите, а скорей укоротите мой век.

– Ваша правда, сеньор губернатор, – заметил доктор, – а потому я полагаю, что вам не должно кушать вон того рагу из кроликов, ибо оно плохо переваривается. Вот этой телятины, если б только это была не жареная телятина и притом без подливки, вам еще можно было бы отведать, но в таком виде – не советую.

Санчо же сказал:

– А вот там, подальше, стоит большое блюдо, и от него пар валит, – мне сдается, что это олья подрида, а в олью подриду кладут много разных вещей, и я, верно уж, найду себе там что-нибудь вкусное и полезное.

– *Absit!*[172] – воскликнул доктор. – Гоните прочь от себя столь опасные мысли: нет на свете более вредной пищи, чем олья подрида. Пусть ее подают у каноников, у ректоров учебных заведений или же на деревенской свадьбе, но ей не место на обеденном столе губернатора, где все должно быть верхом совершенства и изысканности, не место потому, что простым снадобьям всюду и везде отдают предпочтение перед составными: в простом снадобье ошибиться нельзя, а в составном можно, ибо ничего не стоит перепутать количество веществ, входящих в его состав. Возвращаясь же к тому, что может сейчас скушать сеньор губернатор, если желает сохранить и укрепить свое здоровье, я скажу: сотню вафель и несколько тоненьких ломтиков айвы, – это укрепляет желудок и способствует пищеварению.



Послушав такие речи, Санчо откинулся на спинку кресла, посмотрел на доктора в упор и строгим тоном спросил, как его зовут и где он обучался. Доктор же ему на это ответил так:

– Меня, сеньор губернатор, зовут доктор Педро Нестерпимо де Наука, я уроженец местечка Тиртеафуэра,[173] что между Каракуэлем и Альмодоваром дель Кампо, только чуть поправей, получил же я степень доктора в университете Осунском.

Тут Санчо, пылая гневом, вскричал:

– Ну вот что, сеньор доктор Педро Нестерпимо де Докука, уроженец местечка Тиртеафуэра, или же Учертанарогера, которое останется вправо, если ехать из Каракуэля в Альмодовар дель Кампо, и получивший степень в Осуне: убирайтесь отсюда вон, а не то, ручаюсь головой, я возьму дубину и, начавши с вас, выгоню с острова всех лекарей, какие только здесь есть, по крайней мере, всех тех, которых я признаю за неучей, докторов же умных, толковых и просвещенных я буду беречь, как зеницу ока, и чтить, как святыню. Еще раз повторяю: прочь с глаз моих, Педро Нестерпимо, а не то я схвачу вот это самое кресло, на котором сижу, сломаю его об вашу голову и буду оправдан по суду: я скажу, что убить плохого

лекаря, врага моего государства, – это дело богоугодное. А теперь накормите меня или же отберите губернаторство, потому должность, которая не может прокормить того, кто ее занимает, не стоит и двух бобов.

Видя, что губернатор так расходился, доктор оторопел и порешил бежать хотя бы и к *черту на рога,* но в эту минуту на улице загудел почтовый рожок, дворецкий выглянул в окно, а затем, приблизившись к Санчо, объявил:

– Прибыл гонец от сеньора герцога и, как видно, с важной депешей.

Вошел гонец, потный, встревоженный, и, достав из-за пазухи пакет, вручил его губернатору, Санчо, в свою очередь, тотчас передал его герцогскому домоправителю и велел прочитать адрес; адрес же был таков: «Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, в собственные руки или же в руки его секретаря». Тут Санчо спросил:

– А кто будет мой секретарь?

На это ему один из присутствовавших ответил:

– Я, сеньор: я умею читать и писать, и притом я бискаец.

– Добавление существенное, – заметил Санчо, – коли так, то вы можете быть секретарем у самого императора. Распечатайте пакет и поглядите, что там написано.

Новоиспеченный секретарь повиновался и, прочитав послание, объявил, что это дело секретное. Санчо велел очистить залу, попросив остаться лишь герцогского домоправителя и дворецкого, прочие же, в том числе доктор, удалились, и тогда секретарь огласил письмо следующего содержания:

«Мне стало известно, сеньор дон Санчо Панса, что враги мои и Ваши намерены подвергнуть Ваш остров стремительной ночной атаке, когда именно – не знаю, Вам же надлежит бодрствовать и быть на страже, дабы Вас не застали врасплох. Еще я узнал через моих надежных лазутчиков, что четыре злоумышленника, переодевшись, пробрались на Ваш остров с намерением лишить Вас жизни, ибо мудрость Ваша их пугает. Будьте начеку, подвергайте осмотру посетителей Ваших и отказывайтесь от всех кушаний, которые Вам будут предложены. Если Вы будете находиться в опасности, я окажу Вам поддержку, Вы же действуйте, как Вам подскажет Ваше благоразумие. Писано в нашем замке, августа шестнадцатого дня, в четыре часа утра.

Ваш друг герцог».

Письмо огорошило Санчо, окружающие также, казалось, были изумлены; обратясь же к домоправителю, Санчо сказал:

– Прежде всего нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в тюрьму доктора Нестерпимо, потому если кто и собирается меня убить, так это он, и к тому же смертью медленной и наихудшей, сиречь голодной смертью.

– Полагаю, однако ж, – заметил дворецкий, – что вашей милости не должно притрагиваться ни к одному из кушаний, которые стоят на столе: их готовили монахини, а ведь недаром говорится, что за крестом стоит сам дьявол.

– Согласен, – молвил Санчо, – но все-таки дайте мне пока что краюху хлеба и несколько фунтов винограду: в этом отравы быть не может. В самом деле, не могу же я ничего не есть, тем более мы должны быть готовы к предстоящим боям – значит, нам надобно подкрепиться: ведь желудок питает отвагу, а не отвага желудок. Вы же, секретарь, ответьте сеньору герцогу и напишите, что все, что он приказал, будет исполнено именно так, как он приказал, без малейшего упущения. Передайте также сеньоре герцогине, что я целую ей ручки и прошу не забыть послать нарочного к моей жене Тересе Панса с письмом и узелком от меня: этим она окажет мне большую услугу, а уж я ее потом отблагодарю, чем только смогу. Заодно, чтобы мой господин Дон Кихот Ламанчский не подумал, что я человек неблагодарный, можете вставить, что я целую ему руки, а к этому вы, как добрый секретарь и добрый бискаец, можете

прибавить от себя все, что вам вздумается и заблагорассудится. Ну, а теперь пусть уберут со стола и принесут мне чего-нибудь другого, а уж я справлюсь со всеми лазутчиками, убийцами и волшебниками, какие только нападут на меня и на мой остров.

В это время появился слуга и сказал:

– Тут пришел к вам один проситель, из крестьян, и хочет поговорить с вашей милостью по очень важному будто бы делу.

– Удивительный народ эти просители, – сказал Санчо. – Неужто они так глупы и не понимают, что в это время никто по делу не приходит? Или они воображают, что мы, правители и судьи, не живые люди и что у нас нет определенных часов для удовлетворения естественных наших потребностей, и желают, чтоб мы были каменные? Клянусь богом и честью своей, что если я и впредь буду губернатором (в чем я, однако ж, начинаю сомневаться), то непременно подтяну моих просителей. А уж на сей раз впусти этого человека, только прежде удостоверься, что это не лазутчик и не убийца.

– Нет, сеньор, – возразил слуга, – по-моему, у него душа нараспашку; сколько я понимаю, он сущий теленок.

– Бояться нечего, – заметил домоправитель, – нас здесь много.

– А нельзя ли мне, дворецкий, – спросил Санчо, – раз доктора Педро Нестерпимо здесь нет, съесть чего-нибудь поплотнее и посущественнее, скажем, кусок хлеба с луком?

– Вечером, за ужином, вы наверстаете упущенное за обедом, и ваше превосходительство почтет себя вознагражденным и удовлетворенным, – отвечал дворецкий.

– Дай бог, – сказал Санчо.

В это время вошел весьма благообразный крестьянин: за тысячу миль было видно, что это добрый малый и добрая душа. Прежде всего он осведомился:

– Кто здесь сеньор губернатор?

– Кто же еще, как не тот, кто восседает в кресле? – сказал секретарь.

– Я припадаю к его стопам, – объявил крестьянин.

Опустившись на колени, он попросил губернатора пожаловать ему ручку. Санчо руки не дал, а велел встать и сказать, чего ему надобно.

Крестьянин повиновался и начал так:

– Сеньор! Я крестьянин, уроженец Мигельтурры: это в двух милях от Сьюдад Реаля.

– Ну, еще один Учертанарогера! – воскликнул Санчо. – Говори, братец, я только хотел сказать, что Мигельтурру я очень хорошо знаю: ведь это не так далеко от моей деревни.

– Дело состоит вот в чем, сеньор, – продолжал крестьянин. – По милости божией, я с благословения и соизволения святой римской католической церкви состою в браке. У меня два сына-студента: меньшой учится на бакалавра, а старший – на лиценциата. Я вдовец, потому как жена моя умерла, а вернее, ее уморил негодный лекарь: когда она была беременна, он дал ей слабительного, а если бы господу было угодно, чтобы она разрешилась от бремени благополучно и родила еще одного сына, то я стал бы учить его на доктора, чтоб он не завидовал братьям, бакалавру и лиценциату.

– Выходит так, – заметил Санчо, – что если б твоя жена не умерла, то есть если б ее не уморили, ты не был бы теперь вдовцом.

– Нет, сеньор, ни в коем разе, – подтвердил крестьянин.

– Уже хорошо! – воскликнул Санчо. – Дальше, братец: ведь сейчас время спать, а не делами заниматься.

– Ну так вот, – продолжал крестьянин, – мой сын, который учится на бакалавра, полюбил одну девицу из нашего села по имени Клара Перлалитико, дочку богатея Андреса Перлалитико, и это не фамилия их, не наследственное наименование, а прозвище, потому все в их роду были

паралитики, а чтоб им не так обидно было, их стали звать не Паралитико, а Перлалитико, да, по правде сказать, девушка-то эта и впрямь сущий перл, и ежели поглядеть на нее с правого боку – полевой цветок, да и только. Вот слева она не так хороша собой, потому у нее одного глаза нет: вытек, когда она оспой болела, и хоть рытвин у нее на лице много, и притом глубоких, однако ж вздыхатели ее уверяют, что это не рытвины, а могилы, в которых погребены души ее поклонников. Она такая чистюля, что носик ее из боязни запачкать подбородок прямо, как говорится, на небо смотрит, словно хочет убежать от ротика, и все-таки она очень даже миловидна, потому ротик у нее преогромный, и если б не отсутствие не то десяти, не то двадцати передних и коренных зубов, то она была бы из красавиц красавица. О губках я уж и не говорю: они у нее такие тонкие и такие изящные, что если попробовать растянуть их, то получится целый моток, но только цвета они не такого, как у всех людей: они у нее иссиня-зеленовато-лиловые, – просто чудеса. Вы уж простите меня, сеньор губернатор, что я так подробно живописую наружность девушки, коей рано или поздно суждено стать моей невесткой: я ее люблю, и она мне нравится.

– Живописуй, сколько душе угодно, – сказал Санчо, – я сам охотник до живописи, и если б только я сейчас пообедал, то портрет девушки, который ты нарисовал, был бы для меня наилучшим сладким блюдом.

– Это еще что, – подхватил крестьянин, – самое сладенькое-то у меня к концу припасено. Так вот, сеньор, если б я мог изобразить статность ее и стройность, вы дались бы диву, но это невозможно, оттого что она вся сгорблена и согнута, а колени ее упираются в подбородок, и, однако же, всякий, глядя на нее, скажет, что если б только она могла выпрямиться, то достала бы головою до потолка. И она рада бы отдать руку моему сыну-бакалавру, да не может, потому она сухорукая. Зато ногти у нее длинные и желобчатые, а такие ногти бывают у людей добродушных и ладно скроенных.

– Добро, – молвил Санчо, – но только прими в соображение, братец, что ты ее уже описал с ног до головы. Чего тебе еще надобно? Приступай прямо к делу, без обиняков и околичностей, без недомолвок и прикрас.

– Я прошу вашу милость вот о каком одолжении, – объявил крестьянин, – напишите, пожалуйста, письмо моему будущему свату и упросите его дать согласие на этот брак, – ведь мы и по части даров Фортуны, и по части даров природы ему не уступим: по правде сказать, сеньор губернатор, сын-то ведь у меня бесноватый, не проходит дня, чтобы злые духи раза три-четыре его не терзали, да еще угораздило его как-то свалиться в огонь, и с той поры все лицо у него сморщилось, как пергамент, а глаза маленько слезятся и гноятся. Впрочем, нрав у него ангельский, и не имей он привычки бить себя и лупить кулаками, он был бы просто святой.

– Больше тебе ничего не надобно, человече? – спросил Санчо.

– Надо бы, – отвечал крестьянин, – только боюсь сказать, ну да ладно, была не была, скажу, чтобы ничего не оставалось на сердце. Вот что, сеньор: я хочу попросить вашу милость пожаловать моему сыну-бакалавру триста, а еще лучше – шестьсот дукатов на приданое, то есть, я хотел сказать, на обзаведение собственным хозяйством: ведь молодоженам лучше жить своим домком и от родительской прихоти не зависеть.

– Гляди, не надобно ли тебе еще чего, – сказал Санчо, – не стесняйся и не стыдись.

– Право, я все сказал, – объявил крестьянин.

Только успел он это вымолвить, как губернатор вскочил, схватил кресло, на котором сидел, и возопил:

– Ах ты, такой-сякой, нахал, невежа, деревенщина! Прочь с глаз моих, чтоб духу твоего здесь не было, не то я проломлю и размозжу тебе голову вот этим самым креслом. Ах, сукин сын, негодяй, чертов живописец, нашел время просить у меня шестьсот дукатов! Да где я их тебе возьму, грязный мужик? И почему это я обязан тебе их дарить, даже если б они у меня и были, олух ты этакий, хоть и пролаза? И что мне за дело до Мигельтурры и до всего рода

Перлалитико? Убирайся вон, говорят тебе, иначе, клянусь жизнью сеньора герцога, я приведу угрозу в исполнение! Да и непохоже, чтоб ты был из Мигельтурры, ты просто какой-нибудь прощелыга, которого подослали ко мне черти, дабы ввести во грех. Сам посуди, разбойник: ведь я всего только полтора суток, как губернатор, а ты хочешь, чтоб у меня было шестьсот дукатов?

Дворецкий подал знак крестьянину удалиться, и тот, понурив голову и с видом испуганным, как если бы он точно боялся гнева губернатора, вышел из залы: плут отлично справился со своею ролью.

Но оставим разгневанного Санчо, пожелаем, чтобы на его острове была тишь, гладь да божья благодать, и обратимся к Дон Кихоту, с коим мы расстались в ту самую минуту, когда ему перевязывали на лице раны, нанесенные котами, от каковых ран он оправился лишь спустя неделю, а на неделе с ним случилось приключение, о котором Сид Ахмет обещает рассказать с тою обстоятельностью и правдивостью, с какою он рассказывает обо всех, даже самых незначительных, происшествиях, имеющих касательство к этой истории.



Глава XLVIII

О том, что произошло между Дон Кихотом и дуэньей герцогини доньей Родригес, равно как и о других событиях, достойных записи и увековечения



В глубоком унынии и печали влачил свои дни тяжко раненный Дон Кихот: лицо у него было перевязано и отмечено, но не рукою бога, а когтями кота, – словом, его постигло одно из тех несчастий, коими полна жизнь странствующего рыцаря. Шесть дней не выходил он на люди, и вот однажды ночью, когда он бодрствовал и лежал с закрытыми глазами, помышляя о своих злоключениях и о навязчивости Альтисидоры, ему послышалось, что кто-то отмыкает ключом дверь в его покой, и он тотчас же вообразил, что это влюбленная девица явилась его искушать, дабы он в конце концов нарушил верность своей госпоже Дульсинее Тобосской.

– Нет! – поверив своей выдумке, сказал он себе, однако ж так громко, что его могли услышать. – Не родилась еще на свет такая красавица, ради которой я перестал бы обожать ту, чей образ запечатлен и начертан во глубине моего сердца и в тайниках души моей, хотя бы ты, моя владычица, оказалась превращенною в сельчанку, пропахшую луком, или же в нимфу золотистого Тахо, расшивающую ткани из золотых и шелковых нитей, и куда бы тебя ни заточили Мерлин или же Монтесинос, ты повсюду моя, а я повсюду был и буду твоим.

Не успел он окончить свои речи, как дверь отворилась. Он завернулся с головой в желтое атласное одеяло и стал во весь рост на кровати; на голове у него была скуфейка, на лице и усах повязки: на лице – из-за царапин, а на усах – для того, чтобы они не опускались и не отвисали; и в этом своем наряде он походил на самое странное привидение, какое только можно себе представить. Он впился глазами в дверь, но вместо изнывающей и уже не властной над собой Альтисидоры к нему вошла почтеннейшая дуэнья в белом подрубленном вдовьем покрывале, столь длинном, что оно охватывало и окутывало ее с головы до ног. В левой руке она держала зажженный огарок свечи, а правою защищала от света глаза, скрывавшиеся за огромными очками. Шла она медленно и ступала легко.

Дон Кихот глянул на нее сверху вниз и, рассмотрев ее убранство и уверившись в ее молчаливости, подумал, что это ведьма или же колдунья явилась к нему в таком одеянии, дабы учинить над ним какое-либо злое дело, и начал часто-часто креститься. Призрак между тем приближался; достигнув же середины комнаты, он поднял глаза и увидел, что Дон Кихот торопливо крестится, и если Дон Кихот оробел при виде этой фигуры, то еще больше напугалась незнакомка при виде Дон Кихота: едва ее взоры обратились на него, такого

длинного и такого изжелта-бледного, в одеяле и в повязках, явно его уродовавших, как она тотчас же воскликнула:

– Боже мой! Что это?

Выронив от волнения свечу и оставшись впотьмах, она направилась к выходу, но со страху запуталась в собственных юбках и шлепнулась на пол. Тут Дон Кихот, объятый ужасом, обратился к ней:

– Заклинаю тебя, призрак, или кто бы ты ни был: скажи мне, кто ты, и скажи, чего ты от меня хочешь. Если ты неприкаянная душа, то не таись от меня, и я сделаю для тебя все, что могу, ибо я правоверный христианин и склонен всем и каждому делать добро: ведь для этого-то я и вступил в орден странствующего рыцарства, коего цель – всем благотворить – распространяется и на души, томящиеся в чистилище.

Ошеломленная дуэнья, услыхав, что ее заклинают, смекнула, что Дон Кихот напуган не меньше ее, и заговорила голосом тихим и унылым:

– Сеньор Дон Кихот (если только вы и есть Дон Кихот)! Я не призрак, не видение и не душа из чистилища, как ваша милость, верно, полагает, я дуэнья донья Родригес, приближенная сеньоры герцогини, и пришла я к вашей милости по такому важному делу, в котором только вы, ваша милость, и можете мне помочь.

– Скажите, сеньора донья Родригес, – снова заговорил Дон Кихот, – уж не явились ли вы сюда как сводня? В таком случае знайте, что вы уйдете ни с чем, а причиною тому – несравненная красота моей владычицы Дульсинеи Тобосской. Одним словом, сеньора донья Родригес, если вы обещаете избавить и уволить меня от каких бы то ни было сердечных дел, то можете зажечь свечу и подойти ближе, и мы с вами побеседуем, о чем вам надобно и о чем вам угодно, но только, повторяю, без всяких прельстительных жеманств.

– Чтобы я стала вмешиваться в чьи-то сердечные дела, государь мой? – воскликнула дуэнья. – Плохо же вы меня знаете, ваша милость. Я еще не в столь преклонных летах, чтобы такими пустяками заниматься: слава богу, душа моя и не думает расставаться с телом, и все коренные и передние зубы у меня целехоньки, за исключением двух-трех, которые я застудила, – ведь у нас тут в Арагоне простудиться ничего не стоит. Обождите немного, ваша милость: я только зажгу свечу, мигом возвращусь и расскажу вам о своих огорчениях, – уж вы-то всякому горю сумеете помочь.

Не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, Дон Кихот же, успокоенный и задумчивый, остался ждать ее, однако у него тотчас замелькало множество догадок по поводу этого нового приключения; самая мысль – подвергнуть испытанию верность, в которой он клялся своей госпоже, казалась ему кощунственной, и он стал рассуждать сам с собой: «А что, если хитрый на выдумки дьявол, отчаявшись ввести меня во искушение с помощью императриц, королев, герцогинь, маркиз и графинь, ныне задумал меня совратить с помощью этой дуэньи? Я слыхал много раз и от многих умных людей, что дьявол, где только может, вместо красотки подсовывает дурнушку. А что, если благоприятный случай, уединение и тишина пробудят спящие желания, и я, уже на закате дней, упаду на том самом месте, где до сих пор ни разу не спотыкался? В подобных обстоятельствах лучше бежать, чем ожидать боя. Но нет, видно, я не в своем уме, коли думаю и говорю о таком вздоре: очкастой дуэнье в длинном покрывале не породить и не пробудить нечистого желания в сердце величайшего развратника, какой только есть в мире. Да разве бывают на свете соблазнительные дуэньи? Да разве во всей вселенной есть хоть одна не назойливая, не брюзгливая и не жеманная дуэнья? Ну так прочь же от меня, племя дуэний, никому никакой радости не доставляющее! О, как права была та сеньора, о которой рассказывают, что она в углу своей диванной комнаты посадила двух изваянных дуэний в очках и с пяльцами, как если бы они занимались рукоделием, и это сообщало всей комнате вид не менее чинный, нежели присутствие настоящих дуэний!»

Сказавши это, Дон Кихот спрыгнул с кровати и хотел было замкнуть дверь и не впустить сеньору Родригес, но, когда он приблизился к двери, сеньора Родригес уже входила, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и, увидев, на сей раз уже прямо перед собой, Дон Кихота, перевязанного, закутанного в одеяло, в какой-то не то скуфейке, не то ермолке на голове, она опять испугалась и, отступив шага на два, спросила:

– Я могу считать себя в безопасности, сеньор рыцарь? По-моему, с вашей стороны не очень прилично, что вы встали с постели.

– Об этом же самом мне вас надлежит спросить, сеньора, – объявил Дон Кихот. – Так вот я и спрашиваю: огражден ли я от нападения и насилия?

– Кто же и от кого должен вас ограждать, сеньор рыцарь? – спросила дуэнья.

– Оградить меня должны вы и от вас же самой, – отвечал Дон Кихот. – Ведь и я не из мрамора и вы не из меди, и сейчас не десять часов утра, а полночь, даже, может быть, еще позднее, находимся же мы в более уединенном и укромном месте, нежели та пещера, где вероломный и дерзновенный Эней овладел прекрасною и мягкосердечною Дидоной. Впрочем, дайте мне вашу руку, сеньора, – наилучшим ограждением послужат нам мои целомудрие и скромность, равно как и ваше почтеннейшее вдовье покрывало.

Сказавши это, он поцеловал себе правую руку,[174] а затем взял руку доньи Родригес, которую та протянула ему с такими же точно церемониями.

В этом месте Сид Ахмет делает отступление и клянется Магометом, что с удовольствием отдал бы лучшую из двух своих альмалаф за то, чтобы посмотреть, как эта парочка, взявшись и держась за руки, направлялась от двери к кровати.

Наконец Дон Кихот улегся в постель, а донья Родригес, не снимая очков и по-прежнему держа в руке свечу, села в кресло на некотором расстоянии от кровати. Дон Кихот свернулся клубком и натянул одеяло до подбородка; когда же оба они устроились поудобнее, первым нарушил молчание Дон Кихот.

– Теперь, сеньора донья Родригес, – сказал он, – вы можете излить и выговорить все, что накопилось в истерзанном вашем сердце и наболевшей груди: я буду слушать вас ушами целомудрия и окажу вам помощь делами милосердия.

– Я так и знала, – молвила дуэнья, – от благородного и приветливого вашего облика невозможно было ожидать менее христианского ответа. Так вот в чем состоит дело, сеньор Дон Кихот. Хотя сейчас я сижу перед вашей милостью в этом кресле и нахожусь в королевстве Арагонском, и на мне одеяние всеми презираемой и унижаемой дуэньи, однако ж родом я из Астурии Овьедской и притом происхожу из такой семьи, которая состоит в родстве с лучшими домами той провинции, но горестный мой удел и беспечность родителей моих, совершенно неожиданно, неизвестно как и почему обедневших, привели меня в столицу, в Мадрид, и там мои родители с моего согласия и во избежание горших бед отдали меня в швеи к одной знатной сеньоре, и надобно вам знать, ваша милость, что по части ажурной строчки и белошвейной работы никто меня еще не превзошел. Итак, родители отдали меня в услужение и вернулись обратно, а через несколько лет скончались и, уж верно, теперь на небе, потому что это были добрые и правоверные христиане. Осталась я сиротою, все мое достояние заключалось в скудном жалованье да в тех ничтожных подачках, которые в богатых домах обыкновенно получают служанки, и в это самое время, без всякого с моей стороны повода, меня полюбил наш выездной лакей, мужчина уже в летах, представительный, с густой бородою, а уж какой воспитанный – ну прямо король: это потому, что он горец.[175] Сколько ни старались мы утаить наши встречи, однако госпожа моя о том проведала и во избежание сплетен и пересудов нас поженила с благословения и соизволения святой нашей матери римско-католической церкви, от какового брака родилась у нас дочь, и вот из-за нее-то я и лишилась самого дорогого, что было у меня в жизни, и не потому, чтобы я умерла от родов, – нет, роды у меня были

правильные и наступили вовремя, а потому, что вскоре после этого умер от испуга мой муж; если б я не торопилась, я бы вам и про это рассказала, и вы, уж верно, дались бы диву.

Тут она горько заплакала и сказала:

– Простите, сеньор Дон Кихот, что я с собой не совладала: всякий раз, как я вспоминаю о незадачливом моем муженьке, я не могу удержаться от слез. Боже ты мой, с каким, бывало, важным видом возил он госпожу на крупе могучего мула, черного, как уголь! Тогда ведь не было ни карет, ни носилок, как нынче, – дамы ездили верхом на мулах: впереди выездной лакей, а сзади госпожа. Нет, я непременно должна вам про это рассказать, дабы вы удостоверились в благовоспитанности и ретивости милого моего мужа. Как-то раз стал он сворачивать на улицу святого Иакова в Мадриде, довольно-таки узкую улицу, а навстречу ему алькальд с двумя альгуасилами впереди, и как скоро добрый мой супруг его увидел, то, вознамерившись проводить его, поворотил мула. Госпожа, сидевшая на крупе, вполголоса его спрашивает: «Что ты делаешь, бестолковый? Разве ты не знаешь, что мне не туда?» Алькальд из учтивости натянул поводья и сказал: «Поезжай, братец, своей дорогой, это мне приличествует сопровождать сеньору донью Касильду» (так звали нашу госпожу). Однако супруг мой с обнаженною головою продолжал настаивать на том, чтобы проводить алькальда, тогда госпожа в запальчивости и раздражении вынула из футлярчика толстую булавку, прямо, можно сказать, настоящее шило, и всадила ее в спину моему мужу; тот вскрикнул, сразу весь скорчился и, увлекая за собой госпожу, грянулся оземь. Два лакея бросились поднимать ее, а также алькальд и альгуасилы. Гуадалахарские ворота переполошились, то есть, разумею, не самые ворота, а всякий праздношатающийся люд, который там толчется. Госпожа пошла домой пешком, а мой муж побежал к цирюльнику и сказал, что ему проткнули насквозь все внутренности. Слава об учтивости моего супруга так быстро распространилась, что на улицах за ним стали бегать мальчишки, и вот поэтому, а еще потому, что он был чуть-чуть близорук, госпожа его и рассчитала, и я убеждена, что умер он с горя. Осталась я беспомощною вдовою, с дочкой на руках, а краса моей дочери все прибывала, будто морская пена. В конце концов, как обо мне шла молва, что я великая рукодельница, то сеньора герцогиня, которая тогда только что вышла замуж за сеньора герцога, порешила взять меня с собой в королевство Арагонское, а также и мою дочь, и вот здесь-то, долго ли, коротко ли, дочка моя и подросла, и что же это, я вам скажу, за прелесть: поет, как жаворонок, в танце – огонь, пляшет до упаду, читает и пишет, как школьный учитель, а считает, как купец. О чистоплотности ее я уж и не говорю: проточная вода – и та не чище ее. И будет ей сейчас, если память мне не изменяет, шестнадцать лет пять месяцев и три дня, – может, я только днем ошиблась. Коротко говоря, девочку мою полюбил сын богатого крестьянина, который живет не так далеко отсюда, в одной из деревень, принадлежащих сеньору герцогу. Уж и не знаю, как это у них началось, только стали они миловаться, и он сказал моей дочке, что он на ней женится, а сам обманул ее и не думает исполнять свое обещание. И сеньор герцог об этом знает, потому что я сколько раз ему жаловалась и просила его приказать этому сельчанину жениться на моей дочери, но герцог в одно ухо впускает, в другое выпускает. А все дело в том, что отец обманщика очень богат, дает герцогу денег взаймы, помогает ему кое-когда обделывать делишки, и герцог боится расстроить его и рассердить. Вот я и прошу вас, государь мой, возьмите на себя труд, восстановите справедливость – то ли уговорами, то ли силой оружия: ведь все про вас знают, что вы родились на свет, дабы искоренять неправду, выпрямлять кривду и защищать обойденных. И примите в рассуждение, ваша милость, сиротство моей дочери, ее прелесть и юность, а равно и все ее совершенства, которые я вам только что описала, – клянусь богом и совестью, ни одна из горничных девушек моей госпожи в подметки ей не годится, даже та, которую зовут Альтисидорой: ее все здесь почитают за самую разбитную и пригожую, но и ей мою дочку не перещеголять. Да будет вам известно, государь мой, что не все то золото, что блестит: ведь эта самая Альтисидора берет не столько красотой, сколько самоуверенностью, и развязности в ней куда больше, чем скромности, и притом она не совсем здорова: у нее так

плохо пахнет изо рта, что с ней рядом стоять нельзя. Да взять хоть самое сеньору герцогиню... Нет уж, я лучше помолчу, а то ведь и у стен бывают уши.

– А что такое у сеньоры герцогини, скажите ради бога, сеньора донья Родригес? – спросил Дон Кихот.

– Вы так убедительно меня просите, что я не могу не ответить вам с полною откровенностью, – молвила дуэнья. – Вы знаете, сеньор Дон Кихот, как красива сеньора герцогиня: кожа у нее напоминает отполированный, гладкий клинок, щеки – кровь с молоком, очи как звезды небесные, и ходит-то она – не ходит, а словно летает; можно подумать, что она так и пышет здоровьем, на самом же деле, ваша милость, этим она обязана прежде всего господу богу, а затем двум фонтанелям,[176] которые устроены у нее на ногах, и через которые вытекают все те дурные соки, коими, как уверяют лекари, сеньора герцогиня полна.

– Пресвятая дева! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели у сеньоры герцогини существуют подобные сточные желоба? Я бы не поверил даже, если б мне это сказали босые братья, но коль скоро это утверждает сеньора донья Родригес, значит, так оно и есть. Впрочем, фонтанели на таких ножках, уж верно, источают не дурные соки, но текучую амбру. Право, я прихожу к мысли, что фонтанели – вещь чрезвычайно полезная для здоровья.

Только успел Дон Кихот это вымолвить, как вдруг дверь в комнату с великим шумом распахнулась, донья Родригес от неожиданности выронила свечу, и в комнате стало темно, как говорится – хоть глаз выколи. Вслед за тем несчастная дуэнья почувствовала, как чьи-то руки схватили ее за горло, да с такой силой, что она не успела проронить ни звука, а кто-то другой с великим проворством, не говоря худого слова, поднял ей юбки и чем-то, по-видимому туфлей, так ее отшлепал, что вчуже брала жалость; испытывал к ней жалость и Дон Кихот, однако он даже не пошевелился: он не мог понять, что это такое, и лежал тихо и смирно, боясь, как бы и ему не получить свою порцию. И опасения его были не напрасны, ибо безмолвные палачи, задавши трепку дуэнье (а дуэнья пикнуть не смела), направились к Дон Кихоту и, сдернув с него простыню и одеяло, принялись щипать его, да так часто и так больно, что ему пришлось пустить в ход кулаки, и все это происходило в совершенной тишине. Битва длилась около получаса; засим привидения скрылись, донья Родригес оправила юбки и, оплакивая свое злоключение, вышла из комнаты, не сказав Дон Кихоту ни слова. Дон Кихот же, измученный и исщипанный, растерянный и озадаченный, остался один, и тут мы его покинем, как он ни жаждет узнать, кто же этот злой чародей, который так его отделал. Об этом будет сказано в свое время, а теперь обратимся к Санчо Пансе, как того требует порядок истории.



Глава XLIX

О том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров



Мы оставили великого губернатора в ту самую минуту, когда он сердился и досадовал на крестьянина, живописца и плута, подученного домоправителем, которого, в свою очередь, подучил герцог, и насмехавшегося над Санчо; однако Санчо хоть и был простоват, неотесан и толст, а все же спуску не давал никому, и как скоро тайное совещание по поводу письма герцога окончилось и доктор Педро Нестерпимо возвратился в залу, Санчо объявил всем присутствовавшим:

– Теперь я вполне уразумел, что судьи и губернаторы должны быть сделаны из меди, иначе назойливые посетители прямо доймут: они требуют, чтобы их выслушивали и разбирали

их тяжбы в любой час и во всякое время, они только о своих делах и думают, а там хоть трава не расти, и если несчастный судья не выслушает их и не разберет их тяжбы, потому ли, что не в состоянии это сделать, потому ли, что они явились в неприсутственные часы, они прямо так, с маху, начинают его ругать, сплетничают про него, перемывают ему все косточки и родню-то его в покое не оставят. Глупый проситель, бестолковый проситель! Не торопись, дождись удобного времени и благоприятного случая, тогда и выкладывай, что у тебя за дело, не приходи ни в час обеда, ни в часы сна. Ведь судьи – живые люди и должны отдавать естеству естественный долг, – ко мне, впрочем, это не относится, я своего естества не питаю по милости здесь присутствующего сеньора доктора Педро Нестерпимо Учертанарогеры: он морит меня голодом и уверяет, что смерть и есть жизнь, дай бог ему самому такой жизни, равно как и всей его братии, – я говорю о дурных лекарях, а хорошие заслуживают пальм и лавров.

Все, кто знал Санчо Пансу, дивились его изысканной манере выражаться, не могли понять, откуда это у него, и находили единственное объяснение в том, что высокие посты и должности либо оттачивают ум человеческий, либо притупляют его. В конце концов доктор Педро Нестерпимо из селения Тиртеафуэра, или же Учертанарогера, сказал, что вечером он непременно позволит губернатору поужинать, хотя бы и в нарушение всех предписаний Гиппократовых. Губернатор этим удовлетворился и с великим нетерпением стал ждать, когда наступит вечер и час ужина, и хотя у него было такое чувство, словно время остановилось и с места не двигается, однако долгожданный миг все же настал, и ему подали на ужин тушеную говядину с луком и вареные ножки теленка уже не первой молодости. Санчо отдал всему этому более обильную дань, чем если бы его потчевали миланскими тетерками, римскими фазанами, соррентской телятиной, моронскими куропатками или же лавахосскими гусями, и за ужином он обратился к доктору с такими словами:

– Послушайте, сеньор доктор! Впредь не должно стараться угощать меня тонкими блюдами и изысканными кушаньями, – это только расстроит мой желудок: ведь он привык к козлятине, к говядине, к свинине, к ветчине, к репе и к луку, и ежели вы станете пичкать его всякими придворными блюдами, то они ему не понравятся, и от иных его тошнить будет. Принес бы мне лучше дворецкий так называемой ольи подриды, то есть упрелых овощей, и чем больше в ней этой самой прели, тем приятней от нее запах, и дворецкий может напихать туда и намешать чего угодно, лишь бы только это было съедобное, а я его за это поблагодарю и когда-нибудь награжу, а вот издеваться над собой я никому не позволю, иначе у нас дело на лад не пойдет. Давайте-ка все жить и кушать в мире и согласии. Чего мы с вами не поделили? Я так буду управлять этим островом, чтобы податей не прощать, но и взяток не вымогать, а вы у меня будьте тише воды, ниже травы, потому, должно вам знать, мы за себя постоим и в случае чего натворим чудес. Глядишь, на зверя-то как раз и ловец прибежит.

– Разумеется, сеньор губернатор, – сказал дворецкий, – ваша милость совершенно права, и я от имени всех жителей нашего острова даю обещание, что мы будем служить вам со всем возможным усердием, любовью и добросовестностью, ибо тот мягкий способ правления, коего ваша милость стала придерживаться с самого начала, не дает нам оснований не только сотворить, но даже замыслить что-либо вашей милости неугодное.

– Надеюсь, – заметил Санчо, – дураки бы вы были, если б что-либо подобное сотворили или же замыслили. Стало быть, я еще раз повторяю, не забудьте насчет пропитания для меня и для моего серого, изо всех дел это самое важное и неотложное, а в установленный час мы пойдем с вами в обход: я хочу очистить остров от всякой дряни – от побродяг, лодырей и шалопаев. Надобно вам знать, друзья мои, что праздношатающийся люд в государстве – это все равно что трутни в улье, которые пожирают мед, собранный пчелами-работницами. Я намерен оказывать покровительство крестьянам, охранять особые права идальго, награждать людей добродетельных, а самое главное – относиться с уважением к религии и оказывать почет духовенству. Ну как, друзья? Правильно я говорю или же сбрендил?

– Вы так говорите, сеньор губернатор, – отвечал домоправитель герцога, – что я, право, удивляюсь: такой неграмотный человек, как вы, ваша милость. – сколько мне известно, вы ведь грамоте совсем не знаете, – и вдруг говорит столько назидательных и поучительных вещей, – ни те, кто нас сюда послал, ни мы сами никак не могли от вас ожидать такой рассудительности. Каждый день приносит нам что-нибудь новое: начинается дело с шутки – кончается всерьез, хотел кого-то одурачить – глядь, сам в дураках остался.

Итак, наступил вечер, и с дозволения сеньора доктора Нестерпимо губернатор отужинал. Затем был наряжен дозор; вместе с губернатором отправились в обход домоправитель, секретарь, дворецкий, летописец, коему было поручено заносить деяния Санчо на скрижали истории, и целый отряд альгуасилов и судейских; Санчо с жезлом в руке преважно шествовал посредине. И вот, когда они уже прошли несколько улиц, послышался лязг скрещивающихся сабель; все бросились в ту сторону и увидели, что дерутся всего лишь два человека, каковые, завидев властей, прекратили драку, а один из них воскликнул:

– Именем бога и короля! Что же это за безобразие творится в нашем городе: нападают прямо посреди улицы и грабят при всем честном народе!

– Успокойся, добрый человек, – молвил Санчо, – и расскажи мне, из-за чего вы повздорили. Я – губернатор.

Тут вмешалась противная сторона:

– Сеньор губернатор! Я вам все расскажу возможно короче. К сведению вашей милости, этот господин только что выиграл в игорном доме, вон в том, что напротив, более тысячи реалов, и одному богу известно, каким образом. Я при сем присутствовал и в ряде сомнительных случаев, хотя и против совести, присуждал в его пользу. Он огреб свой выигрыш, и я надеялся, что получу от него магарыч хотя бы в размере одного эскудо: это уж так принято и так заведено – вознаграждать столь важных лиц, каков я, следящих за правильностью ходов, содействующих беззакониям и предотвращающих ссоры, а он спрятал деньги и ушел. Я разозлился, догнал его и в самых нежных и учтивых выражениях попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, а ведь он знает, что я человек честный и что я должности никакой не занимаю и доходов ниоткуда не получаю, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили, но этот мошенник, который в жульничестве самому Каку сто очков вперед даст, а в шулерстве самому Андрадилье,[177] не пожелал мне дать более четырех реалов. Подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая наглость! Честное слово, ваша милость, если б вы не подоспели, я бы у него выигрыш из горла вырвал, я бы его привел в разум!

– А ты что на это скажешь? – спросил Санчо.

Тот ответил, что противная сторона говорит правду и что он, точно, не хотел давать более четырех реалов, потому что это, мол, уже не в первый раз; далее он заметил, что людям, ожидающим магарыча, надлежит быть вежливыми и с веселым видом брать, что дают, торговаться же с теми, кто остался в выигрыше, им не подобает, если только они не вполне уверены, что это шулеры и что их выигрыш – выигрыш нечестный; а что он, игрок, не пожелал одарять вымогателя, это, мол, и есть лучшее доказательство, что он человек порядочный, а не жулик, как уверяет тот, ибо шулеры – вечные данники таких вот соглядатаев, которые знают, что они передергивают карту.

– То правда, – подтвердил домоправитель. – Сеньор губернатор! Мы ждем ваших указаний, что нам делать с этими людьми.

– С этими людьми надобно сделать вот что, – объявил Санчо. – Ты, который выиграл, – все равно, честно, нечестно или не так, не эдак, – ты сей же час выдашь этому драчуну сто реалов, а еще тридцать реалов пожертвуешь на заключенных. Ты же, что должности не занимаешь и доходов не получаешь, а только небо коптишь, бери скорей сто реалов и, самое позднее, завтра утром отправляйся с нашего острова в изгнание на десять лет, а нарушишь

мою волю – будешь отбывать свой срок на том свете, потому я собственноручно повешу тебя на столбе, в крайнем же случае это сделает палач по моему повелению. И ни тот, ни другой не смейте мне перечить, а то я вас!..

Первый противник вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой пошел домой, а губернатор сказал:

– Во что бы то ни стало закрою все эти игорные дома: я так полагаю, что от них вред немалый.

– Вот этот дом, – возразил один из судейских, – вашей милости, во всяком случае, не удастся закрыть: его содержит одно значительное лицо, которое, кстати сказать, в течение года неизмеримо больше проигрывает в карты, нежели получает барыша со своего заведения. Зато на других, низкопробных, притонах ваша милость может показать свою власть: от них и вреда больше, и всякое жулье там так и кишит. Между тем в дома, которые содержат знатные кавальеро и сеньоры, заправские шулеры плутовать ни за что не пойдут, а коль скоро порочная наклонность к картежничеству за последнее время получила всеобщее распространение, то пусть уж лучше игра идет в домах у знати, а не у мастеровых, где обычай таков: заманят в полуночную пору какого-нибудь горемыку и оберут до нитки.

– Вот что, стряпчий, – заметил Санчо, – предмет сей таков, что об нем можно говорить долго, это я и сам знаю.

В это время к ним приблизился полицейский, тащивший за руку какого-то парня, и сказал:

– Сеньор губернатор!! Этот молодчик шел нам навстречу, но, завидев полицию, круто повернулся и бросился наутек – так поступают одни преступники. Я побежал за ним, однако ж, если б он не споткнулся и не полетел, нипочем бы мне его не догнать.

– Ты чего, молодец, бежал? – спросил Санчо.

Парень же ему на это ответил так:

– Сеньор! Полиция имеет обыкновение долго расспрашивать, а мне не хотелось отвечать.

– Чем ты занимаешься?

– Я ткач.

– Что же ты ткешь?

– С дозволения вашей милости, наконечники для копий.

– Ба, да ты шутник! Зубоскальством, стало быть, промышляешь? Добро! А куда это ты направлялся?

– Проветриться, сеньор.

– А где же у вас тут, на острове, проветриваются?

– А где ветер дует.

– Хорошо! Ты за словом в карман не лезешь. Сейчас видно умного малого, но только представь себе, что ветер – это я, и дую я тебе прямо в спину и подгоняю прямо к самой тюрьме. А ну, возьмите его и отведите! Пусть-ка он эту ночку поспит в тюрьме и на сей раз обойдется без проветриванья.

– Ей-богу, ваша милость, вам легче сделать меня королем, нежели заставить спать в тюрьме! – возразил парень.

– Это почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? – спросил Санчо. – Не властен я, что ли, в любую минуту схватить тебя или же отпустить?

– Как ни велика власть вашей милости, – возразил парень, – а все-таки вы меня не заставите спать в тюрьме.

– Как так нет? – вскричал Санчо. – Отведите его в тюрьму – там он живо поймет, что заблуждался, буде же начальник тюрьмы в корыстных целях окажет ему снисхождение и

дозволит хотя на шаг от тюрьмы отойти, я на того начальника наложу пеню в две тысячи дукатов.

– Шутить изволите, – заметил парень. – Не родился еще на свет такой человек, который заставил бы меня спать в тюрьме.

– Говори же, черт ты этакий! – вскричал Санчо. – Да кто тебя, ангел, что ли, выведет из тюрьмы и разобьет кандалы, которые я велю на тебя надеть?

– Вот что, сеньор губернатор, давайте вникнем в суть дела, – с очаровательною приятностью заговорил юноша. – Положим, ваша милость велит препроводить меня в тюрьму, там на меня наденут кандалы и цепи – и под замок, а начальник тюрьмы во избежание суровой кары исполнит ваш приказ и не выпустит меня, – все равно, если я не пожелаю спать и всю ночь не сомкну глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей своей властью принудить меня заснуть, коль скоро я не желаю?

– Разумеется, что нет, – вмешался секретарь, – малый ловко вывернулся.

– Значит, – спросил Санчо, – ты не стал бы спать потому, что тебе просто не хочется, а не для того, чтобы мне противодействовать?

– У меня и в мыслях того не было, сеньор, – отвечал парень.

– Ну, тогда иди с богом, – рассудил Санчо, – иди домой спать, пошли тебе господь приятных снов, я же лишать тебя сна не намерен, но только вперед советую с властями не шутить, а то нарвешься на кого-нибудь, так тебя за такие шуточки по головке не погладят.

Парень удалился, а губернатор продолжал обход, и немного погодя к нему приблизились двое полицейских, которые вели за руки какого-то мужчину и сказали:

– Сеньор губернатор! Этот человек – только на вид мужчина, а на самом деле это переодетая в мужское платье женщина, и притом недурная собой.

Они поднесли к лицу задержанного не то два, не то три фонаря, и фонари осветили лицо девушки лет шестнадцати с небольшим, у которой волосы были собраны под сеткой из золотистых и зеленых шелковых нитей: то была писаная красавица, чистый перл. Ее окинули взглядом с головы до ног и обнаружили, что на ней красные шелковые чулки, подвязки из белой тафты с бисерной и золотой бахромою, шаровары из зеленой с золотом парчи, кафтанчик из той же материи, под ним камзол из великолепной белой, шитой золотом ткани, а на ногах белые мужские башмаки; вместо шпаги за поясом у нее был драгоценный кинжал; пальцы унизаны чудными кольцами. Одним словом, девушка всем понравилась, но никто не знал ее; местные жители объявили, что не имеют понятия, кто она такая, в особенности же были удивлены те, коим было велено дурачить Санчо, ибо это происшествие и эта встреча не были ими подстроены, и они в замешательстве ожидали, чем все это кончится. Санчо опешил при виде такой красавицы и спросил ее, кто она, откуда и что принудило ее надеть на себя это платье. Девушка стыдливо потупила очи и с наискромнейшим видом молвила:

– Сеньор! Я не могу говорить при всех о том, что мне надлежит содержать в глубочайшей тайне. Я только хочу, чтобы вы знали, что я не воровка, не преступница, а просто несчастная девушка, которую ревность вынудила пренебречь приличиями.

При этих словах домоправитель обратился к Санчо:

– Сеньор губернатор! Велите этим людям отойти в сторону, дабы сеньора могла без стеснения говорить все, что ей угодно.

Губернатор отдал приказ; все отошли в сторону, за исключением домоправителя, дворецкого и секретаря. Удостоверившись, что все прочие находятся на почтительном расстоянии, девушка начала так:

– Сеньоры! Я дочь Педро Переса Масорки: он держит на откупе шерсть в нашем городе и часто бывает у моего отца.

– Это что-то не так, сеньора, – заметил домоправитель, – я хорошо знаком с Педро Пересом, и мне известно, что детей у него нет, ни сыновей, ни дочерей, а кроме того, вы говорите, что это ваш отец, и тут же прибавляете, что он постоянно бывает у вашего отца.

– Я тоже обратил на это внимание, – вставил Санчо.

– Видите ли, сеньоры, от волнения я сама не знаю, что говорю, – призналась девушка. – Сказать вам откровенно, я дочь Дьего де ла Льяна, которого ваши милости, верно, хорошо знают.

– Вот это другое дело, – заметил домоправитель. – Я знаю Дьего де ла Льяна – это знатный и богатый идальго, у него сын и дочь, и с тех пор, как он овдовел, никто во всем городе не может сказать, что когда-нибудь видел в лицо его дочь: он держит ее под семью замками и даже солнцу не дает на нее смотреть, но со всем тем молва трубит о необычайной ее красоте.

– То правда, – молвила девушка, – и эта дочь – я. Вы, сеньоры, видели меня и можете увериться сами, лжива или не лжива молва о моей красоте.

Тут девушка горько заплакала, а секретарь приблизился к дворецкому и шепнул ему:

– Вне всякого сомнения, с бедной девушкой что-нибудь важное приключилось, коли она, дочь столь благородных родителей, в этом одеянии и в такую пору бродит по улицам.

– Сомневаться не приходится, – согласился дворецкий, – тем более что слезы ее подтверждают наше предположение.

Санчо употребил все свое красноречие, чтобы утешить ее, и сказал, что она смело может поведать им свои злоключения: они, мол, постараются не на словах, а на деле оказать ей всяческую помощь.

– Вот в чем состоит весь случай, – заговорила она. – Мой отец держал меня взаперти целых десять лет, а как раз столько и прошло с того дня, когда мою матушку опустили в сырую землю. Даже слушать мессу я хожу в нашу домашнюю богато убранную молельню, так что до сих пор я не видела ничего, кроме дневных и ночных небесных светил, не имела представления ни об улицах, ни о площадях, ни о храмах и не видала других мужчин, кроме моего отца, брата и откупщика Педро Переса; откупщик бывает у нас постоянно, и, чтобы не открывать вам, кто мой настоящий отец, мне и пришло в голову выдать себя за дочь откупщика. Это заточение, эта невозможность выйти из дому, хотя бы только для того, чтобы пойти в церковь, уже давно повергают меня в отчаяние: я хочу видеть свет, мне хочется посмотреть, по крайней мере, на мой родной город, и я полагаю, что это желание не противоречит тем приличиям, которые девушкам из хороших семей подобает соблюдать. Когда до меня доходили слухи, что в городе устраиваются бои быков, бранные потехи или что дают какую-нибудь комедию, я забрасывала вопросами моего брата, годом моложе меня, и еще о многом, о многом из того, что мне также не довелось видеть, я его расспрашивала, он же старался как можно лучше мне все объяснить, но его рассказы только усиливали во мне желание видеть все это своими глазами. Однако ж история моей гибели выходит слишком длинной, – словом, я упросила и умолила моего брата... но ах! лучше бы мне не упрашивать и не умолять его...

И тут она снова залилась слезами. Домоправитель же ей сказал:

– Продолжайте, сеньора, и поведайте нам наконец, что такое с вами случилось: ваши речи и ваши слезы приводят нас в недоумение.

– Речи мои теперь будут кратки, зато слезы – обильны, – молвила девушка, – а иных последствий и не могут иметь неразумные желания.

Красота девушки поразила воображение дворецкого, и, чтобы еще раз взглянуть на нее, он снова поднес к ее лицу фонарь и невольно подумал, что по ее щекам катятся не слезы, но бисеринки или же роса лугов и что это даже слишком слабое сравнение: что слезы ее не менее прекрасны, чем перлы Востока, и хотелось дворецкому, чтобы горе ее было не столь велико,

как о том свидетельствовали слезы ее и вздохи. Губернатор между тем досадовал на девушку за то, что уж очень она затягивает свой рассказ; наконец он не вытерпел и попросил не держать их долее в неведении: час, дескать, поздний, а он только начал обход. Тогда она, прерывая свою речь рыданиями и всхлипываниями, заговорила снова:

– Все мое несчастье, все мое злополучие состоит в том, что я упросила брата, чтоб он позволил мне переодеться мужчиной и дал мне свое платье, и чтоб он ночью, когда батюшка заснет, показал мне город. Наскучив моими мольбами, он в конце концов уступил, я надела на себя вот этот самый костюм, он надел мое платье, которое, кстати сказать, очень ему подошло, потому что у него нет еще и признаков бороды и лицом он напоминает прелестную девушку, и вот нынче ночью, вероятно, с час тому назад, мы ушли из дому и, влекомые легкомыслием молодости, обежали весь город и уже собирались домой, как вдруг увидели, что навстречу нам целая гурьба, и тут мой брат мне сказал: «Сестрица! Как видно, это ночной обход: беги со всех ног, что есть силы, за мной, чтобы нас не узнали, а иначе дело плохо». С последним словом он повернул обратно и пустился бежать без оглядки. Я же через несколько шагов со страху упала, и тут ко мне приблизился блюститель порядка и привел меня к вам, и мне сейчас очень стыдно: столько народу на меня смотрит и, верно, думает, что я скверная, взбалмошная девчонка.

– Это и есть, сеньора, все ваше злосчастье? – спросил Санчо. – А как же вы сперва сказали, что уйти из дому вас принудила ревность?

– Больше со мной ничего не приключилось, и оставила я дом не из ревности, а потому, что мне хотелось видеть свет, – впрочем, желание мое не выходило за пределы улиц нашего города.

Что девушка говорила правду истинную, это выяснилось окончательно, когда полицейские привели ее брата, коего один из них настиг в то время, как он убегал от сестры. На нем была только пышная юбка и голубой камки мантилья с золотыми позументами, а головной убор заменяли его же собственные волосы, вившиеся белокурыми локонами и походившие на золотые колечки. Губернатор, домоправитель и дворецкий отвели его в сторону, чтобы их не слышала девушка, и спросили, почему на нем это одеяние, – тогда он, смущенный и растерянный не меньше, чем его сестра, рассказал то же, что и она, и этим чрезвычайно обрадовал влюбленного дворецкого. Губернатор, однако ж, заметил:

– Разумеется, сеньора, это было с вашей стороны чистейшее ребячество, а чтобы рассказать о дерзкой этой выходке, вовсе не требовалось столько слов, слез и воздыхании. Сказали бы только: «Мы, такой-то и такая-то, удрали из родительского дома, чтобы прогуляться, и затеяли мы это единственно из любопытства, а никакого другого намерения у нас не было», – и вся недолга, и нечего было нюнить да рюмить, и то, и се, и пятое, и десятое.

– Ваша правда, – молвила девушка, – однако ж надобно вам знать, ваши милости, что я ужасно как волновалась и не могла держаться в определенных рамках.

– Ну ладно, бог с ними, с этими рамками, – заключил Санчо. – Сейчас мы вас обоих проводим домой, – может статься, отец еще ничего не заметил. Но только вперед не будьте такими ребячливыми и не стремитесь поскорей увидеть свет: девушке честной – за прялкою место, женщина что курочка: много будет бегать – себя погубит, дурочка, – ведь коли женщина желает людей посмотреть, стало быть, есть у нее желание и себя показать. Больше я ничего не скажу.

Юноша поблагодарил губернатора за его любезное намерение проводить их, и все двинулись к их дому, находившемуся невдалеке. Как скоро они к нему приблизились, юнец бросил камешек в решетку окна, в ту же минуту спустилась служанка, которая дожидалась возвращения его сестры и его самого, отворила дверь, и они вошли, прочие же не переставали дивиться их привлекательности и красоте, а равно и обуявшему их желанию во что бы то ни стало видеть свет, хотя бы глухою ночью и не выходя из городишка; впрочем, они все это

объясняли их молодостью. У дворецкого сердце было пронзено, и он вознамерился на другой же день пойти к отцу девушки и просить ее руки: он был уверен, что ему как слуге герцога отказать не решатся. Даже Санчо – и тот стал подумывать, не выдать ли ему за этого юношу свою дочку Санчику, и, умозаключив, что от губернаторской дочки ни один жених не откажется, дал себе слово со временем привести замысел свой в исполнение.

В эту ночь обход острова на сем и кончился, по прошествии же двух дней кончилось и самое губернаторство, а с ним вместе рухнули и разлетелись все планы Санчо, как то будет видно из дальнейшего.



Глава L,

в коей выясняется, кто были сии волшебники и палачи, которые высекли дуэнью и исщипали и поцарапали Дон Кихота, и повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы



Сид Ахмет, добросовестнейший исследователь мельчайших подробностей правдивой этой истории, сообщает, что дуэнья, спавшая с доньей Родригес в одной комнате, слышала, как та, отправляясь к Дон Кихоту, вышла из спальни, и, будучи, подобно всем решительно дуэньям, любительницею все выведать, разузнать и разнюхать, она пошла следом за доньей Родригес, до того осторожно при этом ступая, что добрая Родригес ее не заметила; а как она разделяла общую для всех дуэний страсть к сплетням, то, увидев, что донья Родригес проникла в покой Дон Кихота, мигом очутилась у герцогини и все там разблаговестила. Герцогиня довела все это до сведения герцога и попросила позволения пойти вместе с Альтисидорой узнать, что надобно донье Родригес от Дон Кихота; герцог позволил, и обе женщины с великим бережением и опаскою подкрались на цыпочках к двери Дон-Кихотовой спальни и стали так близко, что им слышен был весь разговор; когда же герцогиня услышала, что Родригес выдала тайну насчет аранхуэсских ее фонтанов,[178] то не выдержала и, обуреваемая гневом и жаждой мщения, вместе с Альтисидорой, испытывавшей те же самые чувства, ворвалась в спальню, и тут они соединенными усилиями расцарапали Дон Кихоту лицо и отшлепали дуэнью уже известным читателю способом; должно заметить, что все оскорбляющее женскую красоту и задевающее самолюбие женщин приводит их в ярость неописуемую и особенно сильно возбуждает их мстительность. Герцогиня рассказала об этом происшествии герцогу, чем немалое доставила ему удовольствие, и, вознамерившись шутить и потешаться над Дон Кихотом и дальше, отправила того самого пажа, который изображал Дульсинею и требовал, чтобы его расколдовали (о чем Санчо Панса за всякими государственными делами успел начисто позабыть), к жене Санчо, Тересе Панса, с письмом от ее мужа, с письмом от себя и с большой ниткой великолепных кораллов в виде подарка.

Далее в истории говорится, что паж, юноша толковый, сообразительный и услужливый, с превеликой охотой поехал в деревню Санчо; подъезжая к деревне, он окликнул женщин, собравшихся во множестве у ручья и полоскавших белье, и спросил, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, который именует себя Дон Кихотом Ламанчским; услышав этот вопрос, одна из девчонок, полоскавших белье, подняла голову и ответила:

– Тереса Панса – это моя мать, помянутый вами Санчо – это мой батюшка, помянутый же вами рыцарь – это наш господин.

– В таком случае, девушка, – молвил паж, – проводи меня к своей матушке: я везу ей письмо и подарок от вышеупомянутого твоего батюшки.

– С превеликим удовольствием, государь мой, – объявила девица, коей на вид можно было дать лет четырнадцать.

Белье она оставила на подругу и, не обувшись и не подобравши волос, как была, босая и растрепанная, подскочила к пажу и сказала:

– Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом – крайний, матушка сейчас дома, и уж очень она убивается, что от батюшки давно нет никаких вестей.

– Зато я привез такие добрые вести, – подхватил паж, – что твоей матушке надобно благодарить бога.

Девчонка вприпрыжку и вприскочку пустилась домой и еще с порога крикнула:

– Матушка! Иди сюда, скорей, скорей! К нам едет какой-то сеньор и везет письма и разные вещицы от моего батюшки.

На крик вышла ее мать, Тереса Панса, в серой юбке, с мотком пряжи в руке. Юбка на Тересе была до того коротка, что казалось, будто ей укоротили ее до неприличного места; еще на ней был лифчик, также серого цвета, и сорочка. Она не производила впечатления старухи, хотя сейчас было видно, что ей пошло на пятый десяток; впрочем, это была крепкая, до сих пор еще статная, здоровая и загорелая женщина; увидев свою дочь и пажа на коне, она спросила:

– Что такое, дочка? Кто этот сеньор?

– Покорный слуга сеньоры доньи Тересы Панса, – отвечал гонец.

Он мигом соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

– Пожалуйте ваши ручки, сеньора донья Тереса, – продолжал паж, – дабы я облобызал их вам как законной собственной супруге сеньора дона Санчо Пансы, верховного губернатора острова Баратарии.

– Ах, государь мой, полно, оставьте! – заговорила Тереса. – Ведь я не придворная дама, я – бедная крестьянка, дочь простого хлебопашца и жена странствующего оруженосца, а вовсе не какого-то там губернатора.

– Ваша милость, – возразил паж, – является достойнейшею супругою наидостойнейшего губернатора, и в доказательство вот вам, ваша милость, письма и подарок.

Тут он достал из кармана нитку кораллов с золотыми застежками и, надев ее на шею Тересе, продолжал:

– Это письмо – от сеньора губернатора, а другое вместе с кораллами просила вам передать сеньора герцогиня, которая и послала меня к вашей милости.

Тереса обомлела, дочка ее также; наконец девочка сказала:

– Убейте меня, если во всем этом не замешан наш господин сеньор Дон Кихот: уж верно, это он пожаловал отцу то ли губернаторство, то ли графство – ведь он ему столько раз его обещал.

– Так оно и есть, – подтвердил паж, – благодаря заслугам сеньора Дон Кихота сеньор Санчо в настоящее время назначен губернатором острова Баратарии, как то будет видно из письма.

– Прочтите мне письмо, ваша честь, – попросила Тереса, – прясть-то я мастерица, а вот насчет чтения – ни в зуб толкнуть.

– Я тоже, – сказала Санчика. – Погодите, я сейчас позову какого-нибудь грамотея: либо самого священника, либо бакалавра Самсона Карраско, – они с радостью придут, им, уж верно, захочется узнать про батюшку.

– Не к чему их звать, – возразил паж. – Я, правда, не умею прясть, зато читать умею и прочту вам письмо.

И он его, точно, прочел от начала до конца, но как оно было уже приведено, то здесь мы его не помещаем, а затем он извлек из кармана письмо от герцогини вот какого содержания:

«Друг мой Тереса! Отличные свойства души и ума супруга Вашего Санчо подвигнули меня и принудили попросить мужа моего герцога, чтобы он назначил его губернатором одного из бесчисленных своих островов. До меня дошли сведения, что это сущий орел, а не губернатор, чему я и, само собой разумеется, мой муж герцог весьма рады. Я горячо благодарю бога, что не ошиблась в выборе губернатора, ибо да будет Вам известно, сеньора Тереса, что хорошие правители редко встречаются на свете, Санчо же так хорошо управляет, что дай бог мне самой быть такой же хорошей.

Посылаю Вам, моя милая, нитку кораллов с золотыми застежками; я бы с большим удовольствием подарила Вам перлы Востока, ну да чем богаты, тем и рады. Со временем мы с Вами познакомимся и подружимся; впрочем, все в воле божией. Кланяйтесь от меня Вашей дочке Санчике и скажите, чтобы она была готова: в один прекрасный день я ее выдам за а какого-нибудь знатного человека.

Я слышала, что края Ваши обильны крупными желудями: пришлите мне десятка два, мне они будут особенно дороги тем, что их собирали Вы; напишите мне подробно, как Вы себя чувствуете и как поживаете; если же в чем-либо терпите нужду, то Вам стоит лишь слово сказать, и все будет по слову Вашему. Засим да хранит Вас господь.

Писано в моем замке.

Любящий Вас друг герцогиня»

– Ах, – вскричала Тереса после того, как письмо было оглашено, – какая же это добрая, простая и скромная сеньора! С такими сеньорами можно жить душа в душу, это не то что наши дворянки, которые воображают, что коли они дворянки, так уж на них чтоб и пылинки не садились, а когда в церковь идут, до того спесивятся – право, подумаешь, королевы; взглянуть на крестьянку – и то уж, кажется, для них позор, а тут смотрите, какая милая сеньора: сама – герцогиня, а меня называет своим другом и пишет ко мне, как к ровне, и за это дай бог ей сравняться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. А желудей, государь мой, я пошлю ее светлости цельную меру, и уж каких крупных: всем на погляденье и на удивленье. А пока что, Санчика, поухаживай за сеньором, пригляди за его конем, принеси из сарая яичек, да сала нарежь побольше – уж попотчуем его по-княжески, он это заслужил: больно хорошие вести нам привез, да и собой хорош, а я той порой сбегаю к соседкам, поделюсь с ними своей радостью, а потом к нашему священнику и к цирюльнику маэсе Николасу – они всегда были друзьями твоему отцу, друзьями и остались.

– Слушаю, матушка, – сказала Санчика, – но только, чур, половину ожерелья мне, – сеньора герцогиня, уж верно, не такая дура, чтобы все ожерелье послать тебе одной.

– Оно все твое будет, дочка, – сказала Тереса, – дай мне только несколько дней его поносить, – у меня, честное слово, сердце прыгает от радости, когда я на него гляжу.

– Вы обе не меньше обрадуетесь, – подхватил паж, – когда заглянете вот в этот дорожный мешок: там лежит отличного сукна кафтан, губернатор только раз надевал его на охоту, а теперь посылает сеньоре Санчике.

– Дай бог, чтобы он служил мне тысячу лет, – молвила Санчика, – а тому, кто его привез, желаю прожить столько же, а коли будет охота, так не одну, а две тысячи лет.

Засим Тереса с ожерельем на шее выскочила из дому и побежала, постукивая пальцами по письмам, словно это был бубен; случайно встретились ей священник и Самсон Карраско, и тут она начала приплясывать и приговаривать:

– Нынче и на нашей улице праздник! Мы теперь губернаторы! Не верите, приведите сюда самую что ни на есть важную птицу из дворянок – я и ей утру нос!

– Что это значит, Тереса Панса? Что это за дурачества и что это за бумаги у тебя в руках?

– Никакие это не дурачества, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, на шее отменные кораллы для чтения «Богородицы», литого золота бусинки – для «Отче наш»,[179] и сама я – губернаторша.

– Бог знает что ты говоришь, Тереса, мы отказываемся тебя понимать.

– А ну, поглядите, – сказала Тереса.

И с этими словами она протянула им письма. Священник прочел их вслух Самсону Карраско, затем они в изумлении переглянулись, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им пойти к ней и посмотреть на гонца: это, мол, не парень, а золото, и привез, дескать, он ей еще один подарок, коему цены нет. Священник снял с ее шеи ожерелье, рассмотрел его со всех сторон и, удостоверившись, что это настоящие кораллы, снова пришел в изумление и сказал:

– Клянусь моим саном, я не знаю, что сказать и что подумать об этих письмах и об этих подарках: я вижу и осязаю настоящие кораллы и вместе с тем читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей два десятка желудей.

– Вот тут и разберись! – заметил со своей стороны Карраско. – Ну что ж, пойдемте познакомимся с посланцем: может статься, он выведет нас из затруднения.

На том они и порешили, и Тереса повела их к себе домой. Когда они вошли, паж просеивал овес для своего коня, а Санчика резала сало для яичницы, чтобы покормить гостя, коего наружность и убранство произвели благоприятное впечатление на священника и бакалавра; они учтиво поклонились ему, он – им, и тогда Самсон спросил, что слышно о Дон Кихоте и о Санчо Пансе: они, дескать, прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и не могут постигнуть, какое такое у Санчо губернаторство, да еще на острове, меж тем как все или почти все острова на Средиземном море принадлежат его величеству. Паж ему на это ответил так:

– Что сеньор Санчо Панса – губернатор, это никакому сомнению не подлежит. Где именно он губернаторствует: на острове или же еще где – в это я не вникал. Довольно сказать, что в его ведении находится город, насчитывающий более тысячи жителей. Что касается желудей, то сеньора герцогиня – такая простая и до того не гордая...

Одним словом, попросить у крестьянки желудей – это она, дескать, ни во что не считает, ей даже случалось посылать в ближнее село с просьбой дать ей на время гребень.

– Надобно вам знать, ваши милости, что даже самые знатные дамы у нас в Арагоне совсем не так чванливы и надменны, как в Кастилии: с людьми они обходятся – проще нельзя.

Во время этого разговора вбежала Санчика и принесла полный подол яиц.

– Скажите, сеньор, – спросила она, – с тех пор как мой батюшка стал губернатором, он, поди, длинные штаны[180] носит?

– Не обратил внимания, – ответил паж. – Должно полагать, длинные.

– Ах, боже мой! – воскликнула Санчика. – Как бы мне хотелось посмотреть на моего батюшку в обтяжных штанах! Вы не поверите: я сызмала сплю и вижу, что у моего батюшки длинные штаны!

– Живы будете, ваша милость, – увидите, – сказал паж. – Клянусь богом, все идет к тому, что если губернаторство вашего батюшки продлится хотя бы два месяца, мы увидим его еще и в дорожной маске.[181]

От священника и бакалавра не могло укрыться, что слуга потешается, однако с его шутками никак не вязались подлинность кораллов и охотничий наряд, который Тереса уже успела им показать, мечта же Санчики их насмешила, а еще пуще нижеследующие речи Тересы:

– Сеньор священник! Сделайте милость, узнайте, не едет ли кто из нашей деревни в Мадрид или же в Толедо: я хочу попросить купить мне круглые, всамделишные фижмы, и чтоб самые лучшие и по последней моде. Право же, я должна по силе возможности блюсти честь своего мужа губернатора. А то в один прекрасный день разозлюсь и сама поеду в столицу, да еще карету заведу, чтоб все было как у людей. У кого муж – губернатор, те – пожалуйста: покупай и держи карету.

– Еще бы, матушка! – воскликнула Санчика. – И дай тебе бог поскорей ее завести, а там пусть про меня говорят, когда я буду разъезжать вместе с моей матушкой, госпожой губернаторшей: «Ишь ты, такая-сякая, грязная мужичка, расселась, развалилась в карете, словно папесса!» Ничего, пусть себе шлепают по грязи, а я – ноги повыше и буду себе раскатывать в карете. Наплевать мне на все злые языки, сколько их ни есть: мне бы в тепло да в уют, а люди пусть что хотят, то плетут. Верно я говорю, матушка?

– Уж как верно-то, дочка! – сказала Тереса. – И все эти наши радости, и даже кое-что еще почище, добрый мой Санчо мне предсказывал, вот увидишь, дочка: я еще и графиней буду, удачи – они уж так одна за другой и идут. Я много раз слыхала от доброго твоего отца, а ведь его можно также назвать отцом всех поговорок: дали тебе коровку – беги скорей за веревкой, дают губернаторство – бери, дают графство – хватай, говорят: «На, на!» и протягивают славную вещицу – клади в карман. А коли не хочешь – спи и не откликайся, когда счастье и благополучие стучатся в ворота твоего дома!

– И какое мне будет дело до того, что обо мне говорят, когда уж я заважничаю и зазнаюсь? – вставила Санчика. – Дайте псу в штаны нарядиться, он с собаками не станет водиться.

Послушав такие речи, священник сказал:

– По-видимому, в семье Панса все так и рождаются с мешком пословиц: я не знаю ни одного из них, кто бы не сыпал присловьями в любое время и при каждом случае.

– Справедливо, – заметил паж. – Сеньор губернатор Санчо также все время говорит пословицами, и хотя не все приходятся к месту, однако же удовольствие доставляют неизменно, и герцог с герцогиней весьма их одобряют.

– Итак, государь мой, – заговорил бакалавр, – вы продолжаете утверждать, что Санчо и точно губернатор и что есть на свете такая герцогиня, которая пишет письма его жене и шлет ей подарки? Между тем, хотя мы и ощупывали эти подарки и читали письма, нам, однако ж, не верится, и мы полагаем, что все это выдумки нашего земляка Дон Кихота: ведь он убежден, что с ним все происходит по волшебству. Так вот мне бы, собственно говоря, хотелось ощупать и потрогать вас, чтобы удостовериться, кто вы таков: призрачный посол или человек с кровью в жилах.

– На это я могу вам только сказать, сеньоры, – отвечал паж, – что я – посол настоящий, что сеньор Санчо Панса подлинно губернатор, что мои господа, герцог и герцогиня, имели возможность пожаловать и в самом деле пожаловали ему губернаторство и что как я слышал, помянутый Санчо Панса управляет им на славу, а уж есть ли тут что-либо сверхъестественное или нет – судите, ваши милости, сами, я же ничего больше не знаю и клянусь в том не чем иным, как жизнью моих родителей, а они у меня еще живы, и я их люблю и почитаю.

– Может, это и так, – сказал бакалавр, – а все же *dubitat Augustinus*.[182]

– Сомневайтесь, если хотите, – заметил паж, – а только все, что я сказал, – правда, и правда всегда всплывет над ложью, как масло над водою, *а когда не верите мне, верьте делам моим.*Пусть кто-нибудь из вас поедет со мной, и глаза его увидят то, чему не верят его уши.

– Нет, уж лучше я поеду, – объявила Санчика. – Посадите меня, сеньор, на круп вашего коня: мне, мочи нет, хочется повидаться с батюшкой.

– Губернаторским дочкам не подобает ездить одним, без великого множества слуг, без карет, без носилок.

– Ей-богу, мне все равно, что верхом на ослице, что в карете, – возразила Санчика. – Вот уж я нисколечко не разборчивая!

– Молчи, дочка, – сказала Тереса, – ты сама не знаешь, что говоришь, сеньор молвил справедливо. Времена меняются: когда отец твой – просто Санчо, так и ты – Санча, а когда он – губернатор, так ты – сеньора. Кажется, я верно рассудила.

– Сеньора Тереса рассуждает даже вернее, чем это ей кажется, – заметил паж. – Дайте же мне поесть и отпустите, я намерен возвратиться еще дотемна.

Тут священник ему сказал:

– Прошу покорно вашу милость со мной откушать, а то сеньора Тереса при всем желании вряд ли сможет как следует попотчевать такого дорогого гостя.

Паж сначала отказался, но в конце концов рассудил, что так будет лучше, и священник повел его к себе, радуясь возможности расспросить гонца на досуге о Дон Кихоте и его деяниях.

Бакалавр предложил Тересе написать за нее ответные письма, однако же ей не хотелось, чтобы бакалавр совался в ее дела, ибо она знала его за насмешника, а посему она отнесла хлебец и пару яичек грамотному церковному служке, и тот написал ей два письма: одно – к мужу, другое – к герцогине, на каковых письмах лежит печатьココ Тересиного благоразумия, и из тех, которые в великой сей истории приводятся, они отнюдь не самые худшие, что будет видно из дальнейшего.



Глава LI

О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях



День сменил ту ночь, в которую губернатор обходил свой остров и которую дворецкий провел без сна, ибо воображение его занимали красота и стройность переодетой девушки, домоправитель же употребил остаток ночи на составление письма к своим господам и довел до их сведения обо всех поступках и словах Санчо Пансы, ибо речения и деяния губернатора одинаково поражали его тою смесью ума и глупости, какую они собой представляли. Наконец сеньор губернатор изволил встать, и по распоряжению доктора Педро Нестерпимо ему было предложено на завтрак немного варенья и несколько глотков холодной воды, каковой завтрак Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; видя, однако ж, что выбор блюд не от него зависит, он, к великому прискорбию своей души и мучению для своего желудка, покорился и проникся доводами Педро Нестерпимо, утверждавшего, что пища умеренная и легкая способствует оживлению умственной деятельности, в чем особенно нуждаются лица, стоящие у кормила власти и занимающие важные посты, которые требуют не столько сил телесных, сколько духовных.

Несмотря на подобную софистику, Санчо испытывал голод, и при этом столь мучительный, что в глубине души проклинал и губернаторство, и даже того, кто ему таковое пожаловал; отведав варенья и не утолив голода, он, однако, снова начал творить суд, и первым явился к нему некий приезжий и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее:

– Сеньор! Некое поместье делится на две половины многоводною рекою. (Прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное.) Так вот через эту реку переброшен мост, и тут же с краю стоит виселица и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья, каковой закон составлен таким образом: «Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет, и кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверялись, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий

человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал: он-де клянется, что пришел затем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу, и ни за чем другим. Клятва сия привела судей в недоумение, и они сказали: «Если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти; если же мы его повесим, то ведь он клялся, что пришел только затем, чтобы его вздернули на эту виселицу, следственно, клятва его выходит не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его». И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком, – они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о возвышенном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела.

Санчо ему на это ответил так:

– Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне, потому я человек скорее тупой, нежели острый, однако ж со всем тем изложи мне еще раз это дело, чтобы я схватил его суть: глядишь, и попаду в цель.

Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение:

– Я, думается мне, решил бы это дело в два счета, а именно: помянутый человек клянется, что пришел затем, чтобы его повесили, если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна и по закону его надлежит пропустить на тот берег, а коли не повесить, то выходит, что он соврал, и по тому же самому закону его должно повесить.

– Сеньор губернатор рассудил весьма толково, – заметил посланный, – лучше понять и полнее охватить это дело просто немыслимо, в этом нет никакого сомнения.

– Так вот я и говорю, – продолжал Санчо, – ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме.

– В таком случае, сеньор губернатор, – возразил посланный, – придется разрезать этого человека на две части: на правдивую и на лживую; если же его разрезать, то он непременно умрет, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены, между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте.

– Послушай, милейший, – сказал Санчо, – может, я остолоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтоб умереть, сколько и для того, чтоб остаться в живых и перейти через мост: ведь если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает его на смерть, а коли так, то вот мое мнение, которое я и прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне: коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его, и для того, чтобы оправдать, как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят, потому делать добро всегда правильнее, нежели зло. И под этим решением я не задумался бы поставить свою подпись, если б только умел подписываться. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал, мне пришел на память один из тех многочисленных советов, которые я услышал из уст моего господина Дон Кихота накануне отъезда на остров, то есть: в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия, и вот, слава богу, я сейчас об этом совете вспомнил, а он как раз подходит к нашему делу.

– Так, – молвил домоправитель, – я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не вынес бы более мудрого решения, нежели великий Панса. На этом мы закончим утреннее наше заседание, и я немедленно распоряжусь, чтобы сеньору губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает.

– Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести, – объявил Санчо. – Дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела – я их живо разрешу.

Домоправитель слово свое сдержал: ему не позволяла совесть морить голодом столь рассудительного губернатора, тем более что по замыслу его господина ему оставалось сыграть

с Санчо последнюю шутку, и на этом он намеревался покончить. И вот случилось так, что, когда Санчо, наевшись вопреки всем правилам и наставлениям доктора Учертанарогеры, вставал из-за стола, явился гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его прежде про себя, и если в письме не окажется ничего секретного, то огласить его. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

– Это письмо можно прочитать вслух, ибо все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, достойно быть начертанным и записанным золотыми буквами. Вот о чем тут идет речь:

«Я ожидал услышать о твоих оплошностях и упущениях, друг Санчо, а вместо этого услышал о твоем остроумии, за что и вознес особые благодарения господу богу, который из праха поднимает бедного, а глупца превращает в разумного. Меня уведомляют, что ты правишь, как настоящий человек, но что, будучи человеком, ты смирением своим напоминаешь тварь бессловесную; и, однако ж, надобно тебе знать, Санчо, что во многих случаях приличествует и даже необходимо ради упрочения своей власти поступать наперекор смирению своего сердца, потому что особе, занимающей видную должность, надлежит поставить себя сообразно высокому своему положению и не слушаться того, что ей подсказывает ее худородность. Одевайся хорошо, потому что и дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. Из этого не следует, что тебе подобает увешиваться побрякушками и франтить и что, будучи судьею, ты обязан наряжаться как военный, – тебе надлежит одеваться, как того требует занимаемое тобою положение, а именно: чисто и опрятно.

Чтобы снискать любовь народа, коим ты управляешь, тебе, между прочим, надобно помнить о двух вещах: во-первых, тебе надлежит быть со всеми приветливым (впрочем, об этом я уже с тобой говорил), а во-вторых, тебе следует заботиться об изобилии съестных припасов, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как голод и дороговизна.

Не издавай слишком много указов, а уж если задумаешь издать, то старайся, чтобы они были дельными, главное – следи за тем, чтобы их соблюдали и исполняли, ибо когда указы не исполняются, то это равносильно тому, как если бы они не были изданы вовсе; более того: такое положение наводит на мысль, что у правителя достало ума и сознания своей власти, чтобы издать указы, но недостало смелости, чтобы принудить соблюдать их, закон же, внушающий страх, но не претворяющийся в жизнь, подобен чурбану, царю лягушек:[183] *вначале он наводил на них страх, но потом они стали презирать его и помыкать им.*

Будь отцом родным для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь ни постоянно суров, ни постоянно мягок – выбирай середину между этими двумя крайностями, в среднем пути и заключается высшая мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки; посещение губернатором таковых мест – вещь чрезвычайно важная: губернатор утешает узников, надеющихся на скорое окончание своих дел, он – пугалище мясников, которые в его присутствии перестают обвешивать, и, по той же причине, он – гроза всех торговок. В случае если ты корыстолюбец, волокита и лакомка (чего я, впрочем, не думаю), то не показывай этого, ибо когда народ и твои приближенные узнают о резко означенной в тебе наклонности, то начнут тебя за это допекать и в конце концов свергнут. Просматривай и пересматривай, продумывай и передумывай те советы и правила, которые я дал тебе в письменном виде накануне твоего отъезда на остров, и коли будешь их соблюдать, то увидишь, какую бесценную помощь окажут они тебе в преодолении тех препятствий и затруднений, которые на каждом шагу перед правителями возникают. Напиши герцогу и герцогине и изъяви им свою признательность, ибо неблагодарность – дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете; между тем от человека, питающего благодарность к своим благодетелям, можно ожидать, что он выкажет благодарность и господу богу, который столько посылал ему и посылает милостей.

Сеньора герцогиня отправила к твоей жене Тересе Панса нарочного с платьем и с подарком от нее самой; ответа ожидаем с минуты на минуту. Я чувствовал себя неважно из-за одного кошачьего переполоха, вследствие коего у меня весьма некстати оказался поцарапанным нос, однако ж в конце концов все обошлось благополучно, ибо если одни волшебники наносят мне повреждения, зато другие за меня вступаются.

Извести меня, имеет ли состоящий при тебе домоправитель что-либо общее с Трифальди, как ты подозревал прежде; вообще уведомляй меня обо всем, что бы с тобой ни случилось: ведь мы живем так близко друг от друга; к тому же я намерен в непродолжительном времени положить конец этой праздной жизни, ибо рожден я не для нее.

Тут у меня вышло одно обстоятельство, из-за которого я, пожалуй, попаду в немилость к их светлостям, и мне это неприятно, но ничего не поделаешь, ибо в конце-то концов мне надлежит считаться не столько с их удовольствием или же неудовольствием, сколько со своим собственным призванием согласно известному изречению: amicus Plato magis amica veritas.[184] Пищу тебе прямо по-латыни, в надежде на то, что за время своего губернаторства ты уже изучил этот язык. Господь с тобой, и да будет ему угодно сделать так, чтобы тебе никогда не пришлось в ком-либо возбуждать сострадание.

Твой друг Дон Кихот Ламанчский».

Санчо слушал с особым вниманием, все присутствовавшие похвалили письмо и нашли, что оно очень умно написано, затем Санчо встал и, позвав секретаря, заперся с ним в своем покое, а как порешил он сей же час, не откладывая, ответить сеньору Дон Кихоту, то и велел секретарю записывать слово в слово все, что он, Санчо, будет ему говорить. Секретарь повиновался, и ответное письмо было составлено следующим образом:

«Я так занят делами, что у меня нет времени ни почесать в голове, ни даже обрезать ногти, и оттого они у меня такие длинные, что хоть кричи караул. Это я Вам пишу, драгоценнейший мой сеньор, чтобы милость Ваша не беспокоилась, что я до сих пор не уведомил Вас, как мне живется на острове; так вот, голодаю я на этом самом острове больше, чем когда мы с Вами вдвоем плутали по лесам и пустыням.

На днях сеньор герцог писал мне и извещал, что к нам на остров пробрались какие-то лазутчики и хотят меня убить, но до сих пор мне удалось обнаружить только одного, некоего лекаря, которому здесь платят жалованье, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. Зовут его доктор Педро Нестерпимо, а родом он не то из Тиртеафуэры, не то из Учертанарогеры: одно имя чего стоит, Ваша милость, поневоле будешь бояться, как бы он тебя не уморил! Он сам про себя говорит, что не лечит болезни, а только предупреждает, лекарство же у него одно: диета да диета, пока больной до того исхудает – в чем только душа держится, как будто истощение не вредней горячки! Словом сказать, он морит меня голодом, а я умираю с досады: ведь я думал, когда собирался губернаторствовать, что буду есть горячее, пить прохладительное, нежить свою плоть на голландских простынях да на пуховиках, а приехал – и стал вести такую строгую жизнь: ну ни дать ни взять отшельник, а как это не по моей доброй воле, то и боюсь я, что в один прекрасный день отправлюсь ко всем чертям.

До сих пор мне еще ни податей не приносили, ни подношений не подносили, и я не могу взять в толк, что бы это значило, потому я здесь кое от кого слыхал, что обыкновенно, когда назначается новый губернатор, то еще до его прибытия на остров жители дарят ему или же ссужают много денег, и что обычай этот существует у всех решительно правителей, а не только у здешних.

Нынче ночью, когда я обходил остров, мне попались прехорошенькая девушка в мужском платье и ее брат в женском одеянии. В девчонку влюбился мой дворецкий и, как он говорит, мысленно уже выбрал ее себе в жены, а парня я и сам не прочь взять себе в зятья; сегодня мы оба пойдем потолкуем насчет этого с их отцом, Дьего де ла Льяна: он идальго и чистокровный христианин, да такой, что лучше нельзя.

Рынки я посещаю, как Ваша милость мне советовала, и вчера при мне одна женщина торговала орехами, будто бы свежими, а я доказал, что свежие орехи она мешает со старыми, пустыми и гнилыми; я велел отдать все эти орехи в сиротскую школу – там разберутся, торговке же воспретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил как должно; к сведению Вашей милости, о торговках в нашем городе идет такая слава, что хуже их никого на свете нет, потому они народ бессовестный, бессердечный и нахальный, и я тоже так думаю: ведь я на них нагляделся в других местах.

Я премного доволен, что сеньора герцогиня написала письмо моей жене Тересе Панса и, как Вы сообщаете, послала ей подарок, и со временем постараюсь отблагодарить ее; поцелуйте ей за меня ручки, Ваша милость, и передайте, что я у нее в долгу не останусь, – в этом она убедится на деле.

Мне бы не хотелось, чтобы у Вас вышли неприятности с герцогом и герцогинею, потому если Ваша милость с ними рассорится, то, конечно, и я на этом пострадаю, и неладно будет, если Вы, уча благодарности меня, сами не выкажете ее по отношению к людям, которые сделали нам столько хорошего и с такой честью приняли нас у себя в замке.

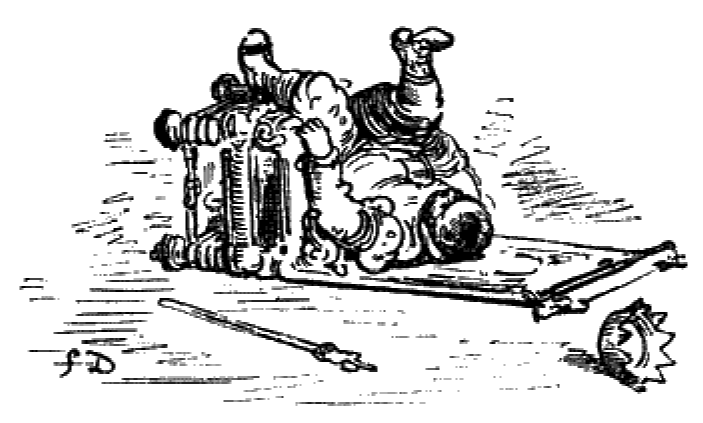
Насчет кошачьей истории я ничего не понял; полагаю, впрочем, что это, уж верно, одна из тех мерзостей, какие обыкновенно чинят Вам злые волшебники. Вы мне все расскажете при свидании.

Хотелось бы мне чего-нибудь послать Вашей милости, да вот не знаю, чего бы, разве клистирных трубок, которые у нас тут, на острове, весьма ловко прикрепляют к пузырям, ну да если мое губернаторство продлится, то я найду, чего Вам послать: своя рука – владыка.

Если придет письмо от моей жены Тересы Панса, то уплатите, Ваша милость, за доставку[185] *и перешлите сюда: мне, мочи нет, хочется узнать, что у меня делается дома, как жена и дети. Засим да хранит Вас господь от зловредных волшебников, а мне да поможет уйти отсюда добром и с миром, в чем я, однако же, сомневаюсь: по всей видимости, придется мне на этом самом острове сложить свои кости – так хорошо меня пользует доктор Педро Нестерпимо.*

Слуга Вашей милости губернатор Санчо Панса».

Секретарь запечатал письмо и немедленно отправил гонца в обратный путь, заговорщики же, дурачившие Санчо, собрались и стали между собой совещаться, как бы это им отправить отсюда самого губернатора, а губернатор провел этот день в принятии мер ко улучшению государственного устроения во вверенной ему области, которую он принимал за остров; так, например, он воспретил розничную перепродажу съестных припасов во всем государстве и разрешил ввоз вина откуда бы то ни было, с тою, однако же, оговоркою, что должно быть указываемо место его изготовления и что цена на него должна быть устанавливаема сообразно с его действительной стоимостью, качеством и маркою, тем же продавцам, которые будут уличены в разбавлении вина водою, а равно и в подделке ярлычков, губернатор положил смертную казнь; он снизил цены на обувь, главным образом на башмаки, стоившие, по его мнению, неимоверно дорого; определил размеры жалованья слугам, которые в своем корыстолюбии не знали удержу; установил строгие взыскания для тех, кто, все равно: днем или же ночью, вздумал бы распевать непристойные и озорные песни; воспретил слепцам петь о чудесах, если только у них нет непреложных доказательств, что чудеса эти подлинно происходили, ибо он держался того мнения, что большинство чудес, о которых поют слепцы, суть чудеса мнимые и только подрывают веру в истинные, и, наконец, придумал и учредил новую должность – должность альгуасила по делам бедняков, не с тем, однако ж, чтобы преследовать их, а с тем, чтобы проверять, подлинно ль они бедны, а то ведь бывает иной раз и так, что калекою прикидывается вор, у коего обе руки целехоньки, и выставляет напоказ мнимые язвы здоровенный пьяница. Одним словом, он ввел столько улучшений, что они до сего времени не утратили в том краю своей силы и доныне именуются «Законоположениями великого губернатора Санчо Пансы».



Глава LII,

в коей рассказывается о приключении с другой дуэньей, тоже Гореваною, или, иначе, Прискорбней, другими словами – с доньей Родригес



Сид Ахмет рассказывает, что, залечив царапины, Дон Кихот пришел к мысли, что его жизнь в этом замке идет вразрез со всем строем рыцарства, и того ради положил испросить у герцогской четы дозволение покинуть сей кров и направить путь в Сарагосу, где не в долгом времени надлежало быть празднествам, а на этих празднествах он надеялся завоевать себе доспехи, каковые в подобных случаях обыкновенно даются в награду. И нужно же было случиться так, что в тот самый день, когда он, сидя за столом вместе с их светлостями, хотел было привести намерение свое в исполнение и попросить дозволения отбыть, двери в большую залу внезапно отворились, и вошли две, как потом выяснилось, женщины, с головы до ног одетые в траур, и тут одна из них, приблизившись к Дон Кихоту, растянулась на полу во весь рост, припала к Дон-Кихотовым стопам и начала испускать до того жалобные, глубокие, душераздирающие стоны, что привела этим в смятение всех, кто видел и слышал ее; и хотя герцог с герцогинею предполагали, что это кто-нибудь из их прислуги затеял сыграть с Дон Кихотом шутку, однако ж и они, видя, как страстно вздыхает, стонет и плачет эта женщина, находились в недоумении и замешательстве, пока Дон Кихот, сжалившись, не поднял ее и не попросил откинуть с заплаканного лица покрывало. Женщина уступила его просьбе, и тогда обнаружилось нечто совершенно неожиданное: под покрывалом оказалось лицо доньи Родригес, герцогской дуэньи, а другая женщина в трауре была ее дочь, та самая, которую обольстил сын богатого сельчанина. Все, кто знал ее, были поражены, а всех больше герцог и

герцогиня: хоть и считали они ее за дурочку и простушку, однако ж никак не могли предполагать, что она способна на такие сумасбродства. Наконец донья Родригес, обратившись к своим господам, молвила:

– Ваши светлости! Соблаговолите разрешить мне поговорить с этим рыцарем, иначе мне не выйти из того затруднительного положения, в котором я очутилась из-за наглости одного бесчестного мужлана.

Герцог объявил, что он согласен и что донья Родригес вольна беседовать с сеньором Дон Кихотом сколько ей угодно. Тогда она, обративши речь свою и взор к Дон Кихоту, заговорила так:

– Назад тому несколько дней, доблестный рыцарь, я рассказывала вам о том, сколь коварно и вероломно обошелся некий злонравный сельчанин с моею дорогою и возлюбленною дочерью, – это она, бедняжка, стоит сейчас перед вами, – вы же обещали мне вступиться за нее и кривду сию выпрямить, и вдруг я слышу, что вы намерены покинуть наш замок ради удачных приключений, каковых я вам от бога желаю. И вот мне бы хотелось, чтобы, перед тем как отсюда удалиться, ваша милость вызвала на поединок распутного деревенщину и принудила его жениться на моей дочери, ибо прежде и раньше, чем он ею натешился, он дал слово вступить с нею в брак, надеяться же на правый суд сеньора герцога – это все равно что на вязе искать груш, а почему оно так – об этом я вашей милости по секрету уже сказала. Засим да хранит господь вашу милость, и да не оставит он и нас.

На эти ее слова Дон Кихот с великою важностью и торжественностью ответил так:

– Добрая дуэнья! Сдержите ваши слезы или, вернее, осушите их и не вздыхайте понапрасну: я берусь помочь вашей дочери, хотя, замечу кстати, было бы лучше, если б она не придавала особой веры обещаниям влюбленных, ибо влюбленные по большей части легки на обещания и весьма тяжелы на исполнение. Итак, если позволит сеньор герцог, я сей же час поеду искать бесчестного этого юношу, разыщу его, вызову на поединок и в случае, если он откажется от своего слова, убью, ибо главная цель моей жизни – прощать смиренных и карать гордецов, другими словами: выручать несчастных и сокрушать жестокосердных.

– Вашей милости не для чего утруждать себя розысками сельчанина, на которого добрая эта дуэнья приносит жалобу, – заметил герцог, – равно как не для чего просить у меня позволения вызвать его на поединок: я считаю, что вы его уже вызвали, и беру на себя передать ему ваш вызов, заставить принять его и явиться в мой замок дать вам удовлетворение, и тут я предоставлю вам обоим удобное место для поединка и позабочусь о том, чтобы все условия, какие в подобных обстоятельствах обыкновенно соблюдаются и должны соблюдаться, были соблюдены, а за собой сохраню право быть вашим судьею, каковое право надлежит сохранять за собой всем владетельным князьям, которые отводят место для поединка в своем имении.

– Коль скоро вы, ваше величие, даете мне такое ручательство, – снова заговорил Дон Кихот, – я с вашего позволения намерен тут же объявить, что на сей раз пренебрегаю теми преимуществами, какие мне предоставляет дворянское мое звание, снисхожу и унижаюсь до низкого звания, в коем рожден обидчик, и, давая ему возможность со мною сразиться, тем самым становлюсь с ним на равную ногу. Итак, хотя его здесь и нет, я все же вызываю его на поединок и обвиняю в том, что он поступил дурно, обманув эту несчастную, которая прежде была девицею, а ныне по его вине перестала быть таковою, вследствие чего ему надлежит исполнить свое обещание стать законным ее супругом или пасть от руки мстителя.

И тут он сорвал со своей руки перчатку и бросил на середину залы, герцог же, подняв ее, объявил, что, как, мол, было уже сказано, он от имени своего вассала вызов этот принимает, что поединку быть спустя шесть дней, местом дуэли он-де назначает площадь перед замком, а что касается рода оружия, то пусть это будут обыкновенные рыцарские доспехи: копье, щит,

кольчуга и прочее тому подобное, причем все снаряжение долженствует быть проверено и осмотрено судьями, так что обман, хитрость и колдовство исключаются.

– Однако ж прежде всего надобно, чтобы достойная эта дуэнья и недостойная эта девица доверили сеньору Дон Кихоту защиту их прав, иначе ничего решительно не получится и самый вызов не приведет ни к чему.

– Я доверяю, – произнесла дуэнья.

– Я также, – в крайнем замешательстве и расстройстве чувств с плачем вымолвила девица.

Итак, герцог отдал надлежащие распоряжения, а затем придумал, как все это устроить, между тем дамы, облаченные в траур, удалились, герцогиня же велела обходиться с ними впредь не как с прислужницами, а как со знатными путешественницами, прибывшими к ней в замок искать защиты; того ради им отвели особые покои и стали за ними ухаживать, как за некими чужестранками, отчего прочие прислужницы приходили в смущение, ибо не могли уразуметь, к чему приведет глупая выходка доньи Родригес и злополучной ее дочери. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время, как бы для пущего веселья и ради увенчания трапезы хорошим концом, в залу вошел паж, отвозивший письмо и подарки супруге губернатора Санчо Пансы, Тересе Панса; их светлости обрадовались его приезду несказанно, ибо им любопытно было знать, каково-то он съездил; когда же они его о том спросили, он заметил, что в кратких словах, да еще при посторонних, этого не расскажешь, и попросил позволения отложить рассказ до того времени, когда он останется с их светлостями наедине, а пока, мол, пусть они позабавятся письмами. И тут он достал два письма и вручил герцогине. На одном из них было написано: «Письмо к сеньоре герцогине – не знаю, как ее звать», а на другом: «Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, дай бог ему прожить дольше, чем мне самой». Герцогине, как говорится, не сиделось на месте – столь сильное любопытство возбуждало в ней письмо Тересы; вскрыв же его и пробежав глазами, она нашла, что его вполне можно прочесть вслух при герцоге и при всех присутствующих, и потому огласила его:

«Большую радость доставило мне, государыня моя, долгожданное письмо Вашей светлости. Нитка кораллов отменно хороша, да и охотничий кафтан моего благоверного ничем не хуже. А что Ваша светлость назначила супруга моего Санчо губернатором, то все наше село очень даже этому радо, хотя все в этом сомневаются, особливо священник, цирюльник маэсе Николас и бакалавр Самсон Карраско, ну, а меня это нимало не трогает: лишь бы так оно все и было, а там пусть себе говорят, что хотят; впрочем, коли уж на то пошло, не будь кораллов и кафтана, я бы и сама не поверила, потому у нас все почитают моего мужа за дуралея, а как он до сей поры ничем, кроме стада коз, не управлял, то и не могут взять в толк, годен ли он управлять еще чем-либо. Помоги ему бог, пусть потрудится на пользу деткам.

А я, любезная моя сеньора, порешила с дозволения Вашей милости, пока счастье само плывет в руки, отправиться в столицу и покататься в карете, чтоб у завистников моих, а завистников у меня теперь множество, лопнули глаза; вот я и прошу Вашу светлость: скажите моему мужу, чтоб он прислал мне сколько-нибудь деньжат, да особенно не скупился, потому в столице расходы велики: один хлебец стоит реал, а фунт мяса – тридцать мараведи, – ведь это просто ужас. А коли он не хочет, чтобы я ехала, то пусть поскорее отпишет, потому меня так и подмывает пуститься в дорогу: подруги и соседки меня уверяют, что коли мы с дочкой, разряженные в пух и прах, важные – не подступись, прикатим в столицу, то скорее я прославлю моего мужа, нежели он меня, потому ведь уж непременно многие станут допытываться: «Что это за сеньоры едут в карете?» А мой слуга в ответ: «Это жена и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратарии»; так и Санчо моему будет слава, и мне почет, и всем хорошо.

Мочи нет, как мне досадно, что желуди нынешний год у нас не родились, но все-таки посылаю Вашей светлости с полмеры; сама по одному желудю собирала в лесу и своими

руками отбирала, да вот беда: покрупней не нашлось, а мне бы хотелось, чтобы они были со страусово яйцо.

Не забудьте, Ваша высокоторжественность, мне отписать, а уж я не премину Вам ответить и отпишу про свое здоровье и про все наши деревенские новости, а пока что молю бога, чтоб он хранил Ваше величие и меня не оставил. Дочка моя Санча и сынок мой целуют Вашей милости ручки.

Слуга Ваша Тереса Панса,

которой больше хочется повидать Вашу милость, нежели писать Вам».

Большое удовольствие доставило всем письмо Тересы Панса, особливо их светлостям, герцогиня же обратилась к Дон Кихоту с вопросом, почитает ли он приличным вскрыть письмо на имя губернатора, которое, казалось ей, обещает быть прелестным. Дон Кихот сказал, что, дабы угодить присутствующим, он сам готов вскрыть письмо и он так и сделал и прочитал следующее:

«Письмо твое, дорогой мой Санчо, я получила и, как истинная христианка, клятвенно тебя уверяю, что чуть с ума не рехнулась от счастья. Право, миленький, как услыхала я, что ты – губернатор, ну, думаю: вот сейчас упаду замертво от одной только радости, а ведь ты знаешь, как это говорится: нежданная радость убивает как все равно большое горе. А дочка твоя Санчика от восторга даже обмочилась. Наряд, который ты мне прислал, лежал передо мной, кораллы, которые мне прислала сеньора герцогиня, висели у меня на шее, в руках я держала письма, гонец был тут же, а мне, однако, чудилось и мерещилось, будто все, что я вижу и до чего дотрагиваюсь, это сон, и ничего больше. И то сказать: кто бы мог подумать, что козопас вдруг станет губернатором острова? Помнишь, дружочек, что говорила моя мать: „Кто много проживет, тот много и увидит"? Это я к тому, что надеюсь увидеть еще больше, если только суждено мне еще пожить. Нет, правда, я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя арендатором либо откупщиком, а кто на таком месте, тот хоть и может угодить к чертям в пекло, коли будет чинить злоупотребления, а без денег все-таки никогда не сидит. Сеньора герцогиня тебе передаст, что мне припала охота съездить в столицу: подумай и отпиши мне, согласен ли ты, а уж я буду там разъезжать в карете и постараюсь тебя не обесславить.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник никак не могут поверить, что ты – губернатор, и говорят, что это наваждение или же колдовство, как и все, что касается твоего господина Дон Кихота, а Самсон говорит, что он тебя разыщет и выбьет у тебя из головы губернаторство, из Дон Кихота же повыколотит его сумасбродство, а я на это только посмеиваюсь и знай поглядываю на нитку кораллов да прикидываю, какое платье выйдет из твоего кафтана для нашей дочки.

Послала я сеньоре герцогине немного желудей – уж как бы мне хотелось, чтоб они были золотые. Если у вас на острове носят жемчужные ожерелья, то несколько таких ожерелий пришли мне.

Новости у нас в селе такие: Беруэка выдала свою дочь за какого-то захудалого маляра, который приехал к нам в село малевать что придется; совет наш заказал ему нарисовать королевский герб над воротами аюнтамьенто,[186] *он запросил два дуката, ему дали их вперед, он с неделю провозился, но так ничего и не нарисовал: мне, говорит, столько разных разностей нарисовать не под силу. Деньги вернул, а жениться все-таки женился: успел пыль пустить в глаза, что он хороший мастер; на самом же деле кисти он теперь забросил, взялся за лопату и ходит себе по полю, словно помещик. А у сына Педро де Лобо – тонзурка, все степени он уж получил и хочет идти в священники, а Мингилья, внучка Минго Сильвато, про это узнала и подала на него жалобу, что он, дескать, обещал на ней жениться; злые языки даже поговаривают, будто она от него забеременела, но он клянется и божится, что ничего подобного.*

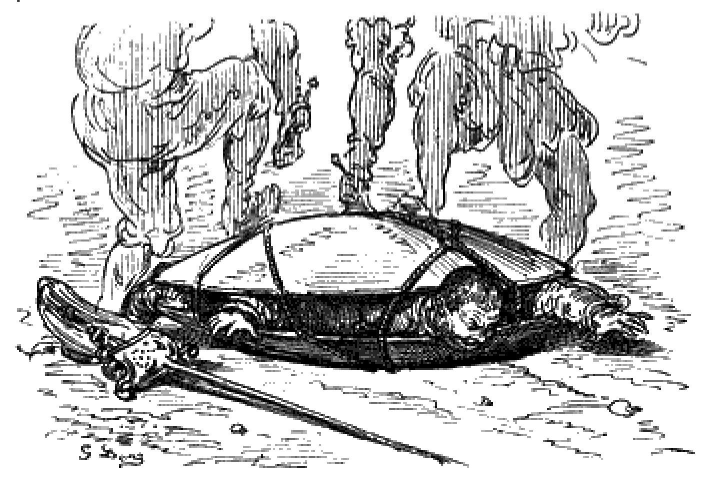
Нынешний год оливки у нас не родились, да и уксусу во всем селе не сыщешь ни капли. Через наше село проходил полк солдат и увел с собой трех девок. Я тебе их не назову, может, они еще вернутся, и замуж их все-таки возьмут, несмотря что они с грешком.

Санчика вяжет кружева, зарабатывает восемь мараведи в день чистоганом и прячет в копилку – собирает на приданое, ну, а как теперь она губернаторская дочка, то и не к чему ей ради этого трудиться: уж ты дашь ей приданое. Фонтан у нас на площади высох; в позорный столб ударила молния, – дай бог, чтоб и всем этим столбам был такой же конец.

Жду ответа на это письмо и решения касательно моей поездки в столицу. Засим пошли тебе господь больше лет жизни, чем мне, или, лучше, столько же, а то не хотелось бы мне оставлять тебя одного на белом свете.

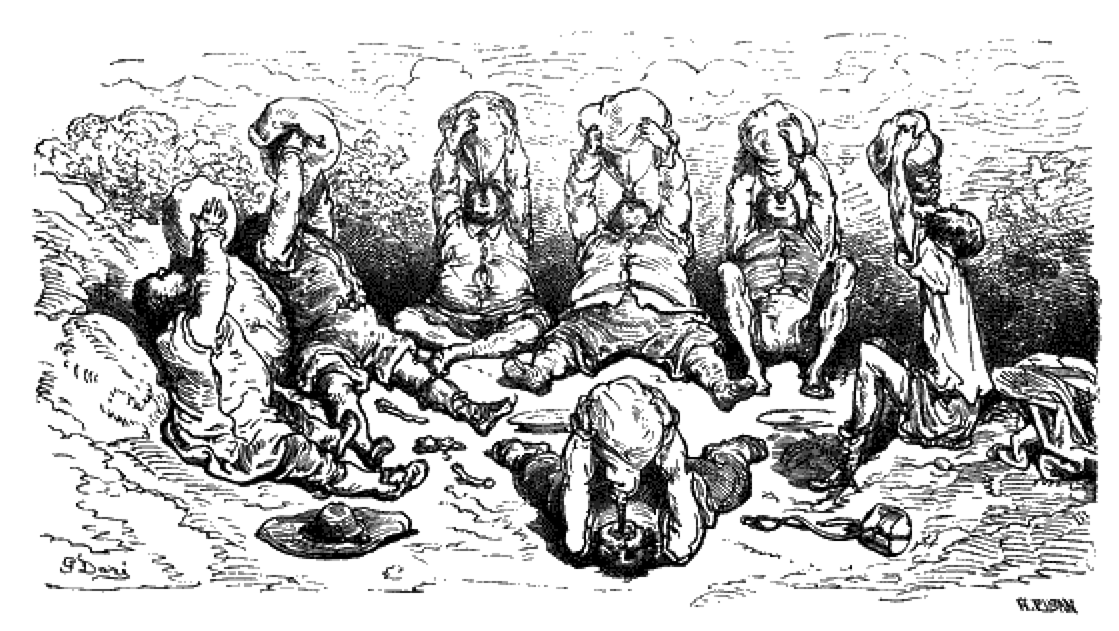
Твоя жена Тереса Панса».

Письма эти вызвали восторг, смех, похвалы и удивление, а тут еще в довершение всего явился гонец, тот самый, с которым Санчо послал письмо к Дон Кихоту, и письмо это также было прочитано вслух, после чего глупость губернатора была поставлена под сомнение. Герцогиня увела к себе гонца, чтобы расспросить, как его принимали в деревне Санчо, и тот, ничего не упустив, подробно изложил все обстоятельства; затем он передал герцогине желуди и сыр, который также ей послала Тереса, полагавшая, что сыр тот – чудо как хорош, еще лучше трончонского. Герцогиня приняла сыр с величайшим удовольствием, и тут мы ее и оставим, дабы рассказать, чем кончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зерцала островных губернаторов.



Глава LIII,

О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы



«Кто думает, что все на земле пребывает в одном и том же состоянии, тот впадает в ошибку; напротив того, нам представляется, что все в мире свершает свой круг, вернее сказать, круговорот: за весною идет лето, за летом осень, за осенью зима, за зимою весна, – вот так и движется время, подобно вращающемуся непрестанно колесу, и только жизнь человеческая легче ветра стремится к концу, надеясь возродиться лишь в иной жизни, никакими пределами не стесненной». Так говорит Сид Ахмет, философ магометанский, и это не удивительно, ибо многие, лишенные светоча веры и ведомые лишь светом натуры, возвышались до понимания скоротечности и непостоянства жизни земной и бесконечности чаемой нами жизни вечной; впрочем, в сем случае автор наш рассуждает об этом применительно к той быстроте, с какою окончилось, рухнуло, распалось, рассеялось, словно тень или дым, губернаторство Санчо.

Упомянутый Санчо в седьмую ночь своего губернаторства, пресыщенный не хлебом и вином, но судебным разбирательством, вынесением приговоров, составлением уложений и изданием чрезвычайных законов, находился в постели, и сон назло и наперекор голоду уже начинал смыкать его вежды, как вдруг послышались столь шумные крики и столь оглушительный звон колоколов, что можно было подумать, будто остров проваливается сквозь землю. Санчо сел на кровати и весь превратился в слух, пытаясь угадать, какова причина столь великого смятения; однако ж он так и не догадался, напротив того: вскоре к шуму голосов и колокольному звону примешались трубный звук и барабанный бой, и тут Санчо окончательно смешался и преисполнился страха и ужаса; он вскочил, надел туфли, ибо пол в спальне был холодный, и, не успев даже накинуть халат или что-нибудь в этом роде, приблизился к двери и увидел, что по коридору бегут более двадцати человек с горящими факелами и обнаженными шпагами; при этом все они громко кричали:

– К оружию, к оружию, сеньор губернатор! К оружию, несметная сила врагов вторглась на наш остров! Мы погибли, если только ваша находчивость и стойкость нас не спасут.

С этими криками, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, пораженного и ошеломленного всем, что он видел и слышал, и, добежав, один из толпы сказал:

– Вооружайтесь, ваше превосходительство, если не хотите погибнуть сами и погубить весь наш остров!

– Да зачем мне вооружаться? – воскликнул Санчо. – Разве я что-нибудь смыслю в вооружении и в обороне? Это дело лучше всего возложить на моего господина Дон Кихота –

он бы в один миг с этим покончил и отразил нападение, а я, грешный человек, в такой кутерьме теряю голову.

– Ах, сеньор губернатор! – воскликнул другой. – Уместна ли подобная беспечность? Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие и доспехи, выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, ибо вам, нашему губернатору, эта честь принадлежит по праву.

– Ладно, вооружайте меня, – молвил Санчо.

В ту же минуту были принесены два щита, на сей предмет заранее припасенные, и приставлены к груди и к спине Санчо прямо поверх сорочки, надеть же еще что-либо ему не позволили; руки ему просунули в нарочно для этого проделанные отверстия, а засим накрепко стянули его веревками, так что он был стиснут и зажат и, не имея возможности согнуть ноги в коленях или же ступить шагу, держался прямо, как палка. В руки ему вложили копье, и, чтобы устоять на ногах, он на него оперся. Когда же он был таким образом облачен в доспехи, ему сказали, чтоб он шел вперед, вел за собой других и поднимал дух войска и что если, дескать, он согласится быть их путеводною звездою, фитилем и светочем, то все окончится благополучно.

– Да как же я, несчастный, пойду, – возразил Санчо, – когда я не могу даже пошевелить коленными чашечками, потому как меня не пускают вот эти доски, которые прямо прилипли к моей коже? Единственно, что вам остается, это взять меня на руки и вставить стоймя или же наискось в какую-нибудь калитку, и я буду ее защищать копьем или же собственным телом.

– Идите, сеньор губернатор, – сказал кто-то из толпы, – вас не пускают не столько доспехи, сколько страх. Совладайте с собой и поторопитесь, а то будет поздно: враг все прибывает, крики усиливаются, опасность возрастает.

В конце концов уговоры и порицания подействовали: бедный губернатор сделал было попытку сдвинуться с места, но тут же со всего размаху грянулся об пол, так что у него искры из глаз посыпались. Он остался лежать на полу, словно черепаха, заточенная и замурованная между верхним и нижним щитом, или словно окорок между двумя противнями, или, наконец, словно лодка, врезавшаяся носом в песок, между тем у насмешников падение его не вызвало ни малейшей жалости, напротив: они потушили факелы и еще громче стали кричать, с еще большим жаром принялись взывать к оружию и, перепрыгивая через бедного Санчо, с такой яростью начали бить мечами по его щитам, что когда бы горемычный губернатор не подобрал ноги и не втянул голову под щиты, то ему бы несдобровать; стесненный и сжатый донельзя, Санчо обливался потом и горячо молился богу, чтоб он избавил его от этой напасти. Одни на него натыкались, другие падали, а кто-то даже взобрался на него и, точно со сторожевой вышки, начал командовать войсками и кричать во всю мочь:

– Эй, наши, сюда! Неприятель больше всего теснит нас с этой стороны! Охраняйте этот вход! Заприте ворота! Загородите лестницы! Тащите сюда зажигательные снаряды, лейте вар и смолу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он старательно перечислял всякую военную утварь, всевозможные орудия и боевые припасы, необходимые для того, чтобы отстоять город, меж тем как сильно потрепанный Санчо все это слушал, терпел и говорил себе: «О господи! Сделай так, чтобы остров как можно скорее был взят, а меня или умертви, или избавь от этой лютой невзгоды!» Небо услышало его мольбы, ибо нежданно-негаданно раздались крики:

– Победа, победа! Неприятель разбит! Сеньор губернатор, а сеньор губернатор! Вставайте, ваша милость! Спешите пожать плоды победы и распределить трофеи, захваченные у неприятеля благодаря твердости и неустрашимости вашего духа!

– Поднимите меня, – слабым голосом молвил измученный Санчо.

Ему помогли встать, и, поднявшись с полу, он сказал:

– Плюньте мне в глаза, если я и впрямь кого-то победил. Не желаю я распределять трофеи, я прошу и молю об одном: кто-нибудь из вас, будьте другом, дайте мне глоточек вина, а то у меня все в горле пересохло, и вытрите меня, а то я весь взмокнул от пота.

Когда же Санчо обтерли, принесли ему вина и сняли с него щиты, он сел на кровать и тут же от страха, волнения и усталости лишился чувств. Наших забавников уже начинала мучить совесть, что забава их оказалась столь для Санчо мучительной, однако Санчо скоро очнулся, и это их утешило. Санчо осведомился, который час; ему ответили, что уже светает. Он ни о чем более не стал спрашивать и, без всяких разговоров, совершенное храня молчание, стал одеваться, присутствовавшие же смотрели на него и не могли взять в толк, какова цель этого столь поспешного одевания. Наконец он оделся и, еле передвигая ноги, ибо он был сильно потрепан и двигался с трудом, направился к конюшне, а за ним последовали все прочие, он же приблизился к серому, обнял его, в знак приветствия поцеловал в лоб и, прослезившись, заговорил:

– Приди ко мне, мой товарищ и друг, деливший со мною труды и горести! В ту пору, когда я с тобой водился и не имел других забот, кроме починки твоей упряжи и поддержания живота твоего, часы мои, дни и ночи текли счастливо, но стоило мне покинуть тебя и взойти на башни тщеславия и гордыни, как меня стали осаждать тысяча напастей, тысяча мытарств и несколько тысяч треволнений.

Произнося такие речи, Санчо одновременно седлал осла, из окружающих же никто его не прерывал. Как скоро он оседлал серого, то с немалым трудом и с немалыми мучениями на него взобрался и, обратясь со словом и речью к домоправителю, секретарю, дворецкому, доктору Педро Нестерпимо и ко многим другим, здесь присутствовавшим, начал так:

– Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне вернуться к прежней моей свободе, дозвольте мне вернуться к прежней моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего моего гроба. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и отсаживать виноград, нежели издавать законы и оборонять провинции и королевства. Апостолу Петру хорошо в Риме, – я хочу сказать, что каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора. Лучше мне досыта наедаться похлебкой, чем зависеть от скаредности нахального лекаря, который морит меня голодом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, а в зимнюю пору накрыться шкурой двухгодовалого барана, но только знать, что ты сам себе господин, нежели под ярмом губернаторства спать на голландского полотна простынях и носить собольи меха. Оставайтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился: я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша с нее ухожу – в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы. А теперь раздайтесь и пропустите меня: я еду лечиться пластырями, а то у меня, поди, ни одного здорового ребра не осталось по милости врагов, которые нынче ночью по мне прошлись.

– Напрасно, сеньор губернатор, – возразил доктор Нестерпимо, – я дам вашей милости питье от ушибов и переломов, и вы сей же час окрепнете и выздоровеете. Что же до пищи, то я обещаю вашей милости исправиться и буду позволять вам отдавать обильную дань чему угодно.

– Нужно было раньше думать! – отрезал Санчо. – Я скорей превращусь в турка, чем отменю свой отъезд. Хорошенького понемножку. Клянусь богом, я и здесь у вас не останусь губернатором и никакого другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, и это так же верно, как то, что на небо без крыльев не полетишь. Я из рода Панса, а Панса, все до одного, упрямцы, и если кто из нас сказал: «нечет», хотя бы на самом деле был чет, так, всему свету назло, и поставит на своем: нечет, да и только. Пускай вот здесь, в конюшне, остаются те самые муравьиные крылышки,[187] которые на беду вознесли меня ввысь

для того, чтобы меня заклевали стрижи и прочие птахи, а мы лучше спустимся на землю и будем по ней ходить попросту – ногами: правда, на ногах у нас вы не увидите кордовских расшитых сапожек, зато в грубых веревочных туфлях у нас недостатка не будет. Всякая ярочка знай свою парочку, дальше постели ног не вытягивай, а теперь дайте мне дорогу: час-то ведь поздний.

На это домоправитель ему сказал:

– Сеньор губернатор! Мы вполне согласны отпустить вашу милость, хотя ваш отъезд весьма для нас огорчителен, ибо рассудительность ваша и христианские поступки таковы, что мы не можем о вас не сожалеть, однако вам должно быть известно, что всякий губернатор, прежде чем выехать из вверенной ему области, обязан представить отчет. Так вот, ваша милость, прежде представьте отчет за десять дней вашего губернаторства, а тогда поезжайте с богом.

– Никто не вправе требовать с меня отчета, – возразил Санчо, – за исключением лица, имеющего на то полномочия от самого сеньора герцога, а я как раз к герцогу и еду и представлю ему отчет по всем правилам. Тем более уезжаю я отсюда голяком, а это самое лучшее доказательство, что управлял я, как ангел.

– Ей-богу, почтенный Санчо прав, – молвил доктор Нестерпимо, – я стою за то, чтобы его отпустить, герцог же будет весьма рад его видеть.

Все к нему присоединились и отпустили Санчо, предложив ему предварительно охрану, а также все потребное для услаждения его особы и для удобств в пути. Санчо сказал, что он ничего не имеет против получить немного овса для серого, а для себя – полголовы сыра и полкаравая хлеба: путь, дескать, недальний, а посему лучших и более обильных запасов довольствия не требуется. Все стали его обнимать, он со слезами на глазах обнял каждого и наконец пустился в дорогу, они же долго еще дивились как его речам, так и непреклонному и столь разумному его решению.



Глава LIV,

в коей речь идет о вещах, касающихся именно этой истории, и никакой другой



У герцога с герцогиней было решено, что вызову, который Дон Кихот бросил их вассалу по вышеуказанной причине, надлежит дать ход, однако парень этот находился на ту пору во Фландрии, куда он бежал, дабы не иметь своею тещею донью Родригес, а потому их светлости положили заменить его одним из своих лакеев, гасконцем по имени Тосилос, предварительно объяснив ему хорошенько, в чем состоят его обязанности. Два дня спустя герцог объявил Дон Кихоту, что противник его приедет через четыре дня, явится на место дуэли в полном рыцарском вооружения и будет утверждать, что девушка плетет небылицу в половину своей бороды, а то и с целую бороду, коли уверяет, что он обещал на ней жениться. Дон Кихот пришел в восторг от таких вестей, дал себе слово выказать на этом поединке чудеса храбрости и почел за великую удачу то, что ему представляется возможность показать их светлостям, до чего доходит доблесть могущественной его длани; того ради, довольный и ликующий, ждал он, когда наконец пройдут эти четыре дня, и такое охватило его нетерпение, что превратились они для него в четыреста веков.

Но не будем препятствовать этим четырем дням проходить (как не препятствуем мы и многому другому) и отправимся вслед за Санчо, который верхом на сером поехал к своему господину, коего общество улыбалось ему более, нежели управление всеми островами на свете, и было у него на сердце и легко, и грустно. Случилось, однако ж, что он еще не так далеко отъехал от острова, недавно находившегося у него в подчинении (кстати сказать, он так и не удосужился выяснить, чем именно он управлял: островом, городом, местечком или же селением), как вдруг увидел, что навстречу ему идут по дороге шесть странников с посохами, из числа тех чужеземцев, которые пением добывают себе милостыню; поравнявшись с ним, они стали в ряд и, все вдруг возвысивши голос, затянули на своем языке что-то такое, чего Санчо не мог понять, за исключением одного только слова, отчетливо ими произносимого, то есть *милостыня,* каковое слово навело Санчо на мысль, что они просят милостыню; а как Санчо, по словам Сида Ахмета, был человек весьма сердобольный, то и вынул он из сумы весь свой запас: полкаравая хлеба и полголовы сыру и отдал им, знаками пояснив, что больше у него ничего нет. Они приняли его подаяние с великою охотою и сказали:

– *Гельте, гельте!*[188]

– Не возьму в толк, чего вам от меня надобно, добрые люди, – молвил Санчо.

Тогда один из паломников достал из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, из чего тот заключил, что они просят у него денег; и, приставив большой палец себе к горлу и растопырив

остальные, Санчо дал им понять, что у него ни черта нет, засим подстегнул серого и поехал дальше; когда же он проезжал мимо паломников, один из них, смотревший на него с великим вниманием, бросился к нему, обхватил его руками и громко на чистом испанском языке заговорил:

– Боже мой! Кого я вижу! Неужто я держу в объятиях дорогого моего друга, милого моего соседа Санчо Пансу? Так, это он, – ведь не сплю же я и не под хмельком.

Санчо Пансу удивило, что его называют по имени, что какой-то чужестранец его обнимает, и как ни всматривался он в чужестранца, молча и с великим вниманием, а все узнать не мог; паломник же, видя его недоумение, молвил:

– Как, друг мой Санчо Панса, неужто ты не узнаешь своего соседа, Рикоте-мориска, деревенского лавочника?

При этих словах Санчо посмотрел на него еще внимательнее, стал припоминать, наконец понял, кто перед ним, и, не слезая с осла, обнял Рикоте за шею и сказал:

– Да какой же черт узнал бы тебя, Рикоте, когда ты эдаким чучелой вырядился? Скажи, пожалуйста, кто это тебя так обасурманил и как у тебя достало смелости возвратиться в Испанию? Ведь тебя могут схватить, узнать, и тогда тебе не поздоровится.

– Коли ты меня не выдашь, Санчо, то я уверен, что в этом одеянии никто меня не узнает, – возразил паломник. – Давай-ка, брат, свернем вон к той тополевой роще, – мои спутники желают там перекусить и отдохнуть, и ты поешь с нами; это все народ смирный, а я тем временем расскажу тебе, что со мной случилось после того, как я по указу его величества ушел из нашего села: ты, верно, слышал, сколь грозен был этот указ для несчастных моих соплеменников.

Санчо принял предложение Рикоте, тот поговорил с другими паломниками, после чего, сильно уклонившись в сторону от большой дороги, все общество двинулось к тополевой роще. Здесь чужеземцы побросали посохи, поснимали свои не то плащи, не то пелерины и остались в одном платье; все это были люди еще молодые и весьма стройные, за исключением Рикоте, человека уже в летах. У всех у них были котомки, и все эти котомки были, по-видимому, туго набиты, – набиты главным образом всякими острыми закусками, на расстоянии двух миль возбуждающими жажду. Паломники разлеглись на земле и прямо на травке, заменившей им скатерть, разложили хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыру и обглоданные кости от окорока: продолжать глодать их было уже бесполезно, но обсасывать никому не возбранялось. Еще выставили они одно черного цвета кушанье, будто бы именуемое *кавьяль,* приготовляемое из рыбьих яиц и столь острое, что его необходимо чем-либо запивать. Также не было здесь недостатка в оливках, впрочем сухих, без всякой приправы, и все же вкусных и соблазнительных. Однако наилучшими растениями пиршественного сего поля оказались шесть фляг с вином, которые были извлечены из всех котомок; даже добрый Рикоте, из мориска превратившийся в немца, и тот достал свою флягу, которая по величине равнялась остальным пяти.

Приступили они к трапезе с великим наслаждением и ели весьма медленно, смакуя каждый кусочек; от каждого блюда подцепляли на кончик ножа самую малость, а мгновение спустя все вдруг поднимали руки и фляги; промачивая себе горло из горлышка фляг, они, не отрываясь, глядели на небо, словно брали его на прицел, а потом, пока содержимое сосудов переливалось в желудки, долго еще покачивали из стороны в сторону головами в знак получаемого наслаждения. Санчо на все это взирал и *нимало не крушился*;[190] напротив того, следуя хорошо известной ему пословице: «Будешь жить в Риме – тянись за другими», он попросил у Рикоте флягу и по примеру прочих с не меньшим удовольствием взял небо на прицел.



Четыре раза давали себя поднимать фляги, но пятого раза состояться не могло, ибо фляги были выцежены на славу и стали суше, чем дрок, что несколько омрачило всеобщее веселье. Время от времени кто-нибудь из сотрапезников пожимал Санчо руку и говорил: «Шпанес и немее – фее отно: топрий тофариш», а Санчо отвечал: «Топрий тофариш, клясться богом!» – и на целый час заливался хохотом, и в это время у него вылетало из головы все, что с ним случилось, пока он был губернатором, ибо на те мгновения и промежутки времени, когда люди едят и пьют, власть забот не распространяется. Далее то обстоятельство, что вино кончилось, послужило началом сна, одолевшего всех чужеземцев, и они улеглись на тех же самых столах и скатертях, за которыми пировали; одни лишь Рикоте и Санчо бодрствовали, оттого что ели всех больше и всех меньше пили; Рикоте отозвал Санчо в сторону, и, оставив чужестранцев погруженными в сладкий сон, они расположились под сенью бука, и тут Рикоте, ни разу не сбившись на свое мавританское наречие, на чистом кастильском языке рассказал о себе следующее:

– Тебе хорошо известно, сосед и друг мой Санчо Панса, как устрашил и ужаснул всех соплеменников моих тот указ,[191] который его величество повелел издать против нас и

обнародовать, – я, по крайней мере, вот до какой степени был напуган: еще не вышел срок, который нам предоставил король для того, чтобы выехать из Испании, а мне казалось, будто я сам и мои дети уже подверглись суровой каре. Я рассудил, и, по моему мнению, совершенно правильно (как рассуждает всякий человек, который знает, что по истечении определенного срока его выгонят из дома, где он живет, и потому начинает заблаговременно подыскивать себе новое помещение), рассудил, говорю я, что мне надобно одному, без семьи, уйти из села и выбрать место, куда бы можно было со всеми удобствами и не так поспешно, как другие, перевезти родных: ведь я отлично понимал, да и все наши старики понимали, что королевский указ – это не пустые угрозы, как уверяли иные, а настоящий закон, который спустя положенное время вступит в силу. И я не мог не верить королевскому указу, ибо знал, какие преступные и безрассудные замыслы были у наших, столь коварные, что только божьим произволением можно объяснить то обстоятельство, что король претворил в жизнь мудрое свое решение, – разумеется, я не хочу этим сказать, что мы все были к этому заговору причастны, среди нас были стойкие и подлинные христиане, но таких было слишком мало, и они не могли противиться нехристям; как бы то ни было, опасно пригревать змею на груди и иметь врагов в своем собственном доме. Коротко говоря, мы наше изгнание заслужили, но хотя со стороны эта кара представлялась мягкою и милосердною, нам же она показалась более чем ужасной. Всюду, куда бы ни забросила нас судьба, мы плачем по Испании: мы же здесь родились, это же настоящая наша отчизна, и нигде не встречаем мы такого приема, какого постигшее нас несчастье заслуживает, но особенно нас утесняют и обижают в Берберии и повсюду в Африке, а ведь мы надеялись, что там-то нас, уж верно, примут с честью и обласкают. Не хранили мы того, что имели, а теперь вот, потерявши, и плачем, и почти всем нам до того хочется возвратиться в Испанию, что большинство из тех, кто, как, например, я, знает испанский язык, – а таких много, – возвращается обратно, бросив на произвол судьбы жен и детей: так мы любим Испанию. И теперь я знаю по себе, что недаром говорится: «Нет ничего слаще любви к отечеству». Ну так вот, покинул я наше село и перебрался во Францию, и хотя нас встретили там радушно, у меня, однако ж, явилось желание посмотреть и другие края. Сначала я побывал в Италии, а потом очутился в Германии, и вот там мне показалось привольнее, оттого что местные жители на разные мелочи не обращают внимания: каждый живет как хочет, ибо почти во всей стране существует свобода совести. Я снял дом в одном местечке близ Аугсбурга, а затем пристал к этим паломникам, которые ежегодно толпами отправляются на поклонение святым местам в Испанию, оттого что Испания – это для них вторая Америка, источник вернейшей наживы и вполне определенного заработка. Они имеют обыкновение обходить всю страну вдоль и поперек, и нет такого местечка, откуда бы они ушли, как говорится, не солоно хлебавши и заработав меньше одного реала деньгами, так что к концу путешествия у них образуется более ста эскудо чистой прибыли, каковые они выменивают потом на золото, а золото вделывают в посохи, либо зашивают в подкладку пелерины, вообще пускаются на какую-нибудь хитрость и, несмотря на заставы и таможни, проносят его через границу. И вот, Санчо, я собираюсь теперь выкопать клад, который я в свое время зарыл в землю, а закопал я его за селом – значит, нет для меня тут никакого риска; потом из Валенсии напишу жене и детям, может статься, и сам съезжу за ними (я знаю, что они в Алжире) и постараюсь переправить их сначала в какую-либо французскую гавань, оттуда в Германию, а уж там как господь даст, – рассудил же я так потому, Санчо, что знаю наверное: дочка моя Рикота и жена моя Франсиска Рикоте – христианки и католички, а я хоть и не католик, все же во мне более христианского, нежели мавританского, и я вечно молю бога, чтобы он открыл мне очи разума и научил, как должно ему служить. Одно меня удивляет: не понимаю, почему мои жена и дочь предпочли выехать в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить по-христиански.

На это Санчо ему сказал:

– Послушай, Рикоте: ведь это не от них зависело, их увез с собой твой шурин Хуан Тьопьейо, а он – умный мавр, и уж он их отвез, должно полагать, в надежное место. И еще я

хочу тебе сказать одну вещь: сдается мне, что зря ты будешь искать свой клад, потому у нас прошел слух, будто у шурина твоего и у жены при таможенном досмотре отобрали много жемчуга и золотых монет.

– Все это вполне вероятно, – заметил Рикоте, – но только я убежден, Санчо, что клада мои родные не трогали: ведь я, боясь, как бы из того не вышло беды, не открыл им, где он зарыт, и вот если ты, Санчо, согласишься пойти со мной и помочь мне выкопать его и спрятать, я дам тебе двести эскудо, – они тебе пригодятся на твои нужды, а мне известно, что ты очень даже нуждаешься.

– Я бы тебе помог, – ответил Санчо, – но я нимало не корыстолюбив, иначе я нынче утром не выпустил бы из рук одной должности, – останься же я на ней, так у меня стены в доме были бы золотые, а через полгода ел бы я на серебре. Да и потом помогать врагам его величества – это, по моему разумению, измена, и оттого не только что за двести эскудо, которые ты мне обещаешь, но если б ты даже чистоганом выложил сейчас передо мной все четыреста, и то бы я с тобой не пошел.

– А от какой должности ты отказался, Санчо? – спросил Рикоте.

– Я отказался от губернаторства на острове, – объявил Санчо, – да еще на таком острове, какого, сказать по чести, днем с огнем не сыщешь.

– А где же этот остров? – осведомился Рикоте.

– Где? – переспросил Санчо. – В двух милях отсюда, и зовется он островом Баратарией.

– Помилуй, Санчо, – возразил Рикоте, – острова бывают среди моря, а на суше никаких островов нет.

– Как так нет? – воскликнул Санчо. – Говорят тебе, друг Рикоте, что нынче утром я оттуда выехал, а еще вчера управлял им, как хотел, будто стрелок – своим луком, однако ж со всем тем я его бросил, потому должность губернатора показалась мне опасной.

– Сколько же ты на губернаторстве заработал? – спросил Рикоте.

– Заработал я вот что, – отвечал Санчо: – Я уразумел, что гожусь управлять разве только стадами и что за богатство, которое можно нажить на губернаторстве, человек платит покоем и сном, и не только сном, но и пищей, потому на островах губернаторы едят мало, особливо ежели при них состоят лекари, которые следят за их здоровьем.

– Я тебя не понимаю, Санчо, – признался Рикоте, – но только кажется мне, что ты порешь дичь: ну кто тебе мог доверить управление островом? Неужто не нашлось на свете людей, более для этого подходящих? Что ты, Санчо, опомнись! Лучше, повторяю, подумай, не пойти ли тебе все-таки со мной и не помочь ли открыть клад, а ведь это и в самом деле клад: так много я там припрятал, и опять повторяю: я дам тебе столько, что ты станешь жить безбедно.

– Я тебе уже сказал, Рикоте, что не желаю, – объявил Санчо. – Скажи спасибо, что я тебя не выдам, а теперь – час добрый, ступай своей дорогой, а я поеду своей: я хорошо знаю, что и с праведно нажитым иногда расстаешься, а с неправедно нажитым беды не оберешься.

– Не хочешь – как хочешь, Санчо, – молвил Рикоте. – Ты мне вот что скажи: когда моя жена, дочь и шурин уезжали, ты был в это время дома?

– Как же, был, – отвечал Санчо, – и могу тебе сказать, что сколько ни было в селе народу, все выбежали поглядеть на твою дочь – до того она пригожа, и все говорили, что такой красавицы на всем свете не сыщешь. А она плакала, обнимала подруг своих, приятельниц и всех, кто подходил к ней проститься, и просила помолиться за нее богу и царице небесной, и таково жалостно это у нее выходило, что даже я – и то всплакнул, а ведь я не сказать чтоб уж очень был плаксивый. И даю тебе слово, что многим хотелось спрятать ее или похитить по дороге, да только боялись нарушить королевский указ.[192] Всех более, однако ж, волновался дон Педро Грегорьо, – ты его знаешь: молодой парень, богатый наследник, – говорят, он твою дочь любил, и с тех пор, как она уехала, он больше к нам в село не показывался, и мы все

думаем, что он поехал следом за ней, с тем чтобы выкрасть ее, однако ж пока о них ни слуху ни духу.

– Я давно уже чуял недоброе, – признался Рикоте, – чуял, что этот дворянин без ума от моей дочери, но я был так уверен в строгих правилах Рикоты, что его любовь нимало меня не тревожила: ты, верно, слышал, Санчо, что мавританки редко, а вернее сказать, никогда, не связывают себя узами любви с чистокровными христианами, у моей же дочери на уме не столько любовь, сколько божественное, и она, думается мне, не обратит внимания на домогательства богатого этого наследника.

– Дай бог, – заметил Санчо, – а то им обоим пришлось бы худо. Ну, а теперь, друг Рикоте, отпусти меня: я хочу засветло приехать к моему господину Дон Кихоту.

– Поезжай с богом, брат Санчо, спутники мои уже шевелятся, и нам также время трогаться в путь.

Тут они обнялись, Санчо взобрался на своего серого, Рикоте оперся на свой посох, и они расстались.



Глава LV

О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах



Санчо из-за встречи с земляком своим Рикоте замешкался в дороге и не успел в тот же день добраться до герцогского замка: он уже был от него в полумиле, когда настала ночь, темная и непроглядная, а как дело происходило летом, то он не чрезмерно этим огорчился и, порешив ждать до утра, свернул с дороги, но такова уж была его горькая и злосчастная доля, что, ища, где бы поудобнее расположиться, он и его серый провалились в глубокое и наимрачнейшее подземелье, находившееся среди неких весьма древних развалин, и во время падения Санчо начал горячо молиться богу, полагая, что лететь ему теперь до самой преисподней. Однако вышло не так, ибо на расстоянии немногим более трех саженей от земной поверхности серый ощутил под собою твердую почву, Санчо же удержался на его спине, не получив не только увечья, но даже и повреждения. Он, затаив дыхание, ощупывал себя, чтобы удостовериться, невредим ли он и нет ли где какой царапины, когда же убедился, что жив и здоров, то долго-долго потом благодарил творца за оказанную милость: ведь до того он был совершенно уверен, что от него останется мокрое место. Засим он ощупал руками стены подземелья, чтобы удостовериться, нельзя ли без посторонней помощи отсюда выкарабкаться; стены, однако ж, оказались гладкие, без малейшего выступа, каковому обстоятельству Санчо весьма опечалился, особливо когда услышал, что серый тихо и жалобно стонет, и стонал он не попусту, не от дурной привычки, а потому, что и в самом деле упал не весьма удачно.

– Ах! – воскликнул тут Санчо Панса. – Сколько неожиданных происшествий на каждом шагу случается с теми, что живут на этом злополучном свете! Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал прислужниками своими и вассалами, нынче будет погребен в яме, и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь? Видно, погибать нам здесь с голодухи, и мне, и моему ослу, если только мы раньше еще не помрем, он – от своих ушибов и увечий, а я – с тоски. Нет уж, мне не будет такой удачи, как моему господину Дон Кихоту Ламанчскому: в пещере этого самого заколдованного Монтесиноса, куда он сошел и спустился, его приняли лучше, нежели в собственном доме, – его, можно сказать, ждали накрытый стол и постеленная постель. Взору его явились в этой пещере прекрасные и умиротворяющие видения, а я здесь увижу, должно полагать, одних

только жаб да змей. Несчастный я человек, вот до чего меня довели вздорные мои затеи! Отсюда уж, – если бог захочет, чтобы меня нашли, – извлекут только мои косточки, гладкие, белые и обглоданные, вместе с костями доброго моего серого, и вот по ним-то, может статься, и догадаются, кто мы такие, – по крайности, догадаются те, которые знают, что Санчо Панса никогда не расставался со своим ослом, а осел – с Санчо Пансою. Опять скажу: горемычные мы с моим ослом! Видно, уж такая наша несчастная доля: не суждено нам умереть на родине, среди своих близких, – ведь если бы там с нами и стряслась беда непоправимая, то все-таки сыскались бы люди, которые нас пожалели бы и в смертный наш час закрыли бы нам глаза. Ах, товарищ и друг мой! Как дурно я тебя отблагодарил за верную твою службу! Прости меня и, как только можешь, умоляй судьбу, чтобы она избавила нас обоих от несносной этой напасти: за это я обещаю возложить тебе на голову лавровый венок, так что ты будешь похож на увенчанного лаврами поэта, и стану выдавать тебе удвоенную порцию овса.

Так сетовал Санчо Панса, осел же слушал его, не говоря ни слова, – в столь затруднительном и бедственном положении находилось несчастное четвероногое. Вся ночь прошла у них в тяжких стонах и слезных жалобах, и наконец настал день, при блеске и сиянии коего Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи совершенно немыслимо, и он снова начал стонать и кричать, полагая, что кто-нибудь да услышит его, но глас его был гласом вопиющего в пустыне, ибо во всей округе некому было его услышать, и тогда Санчо утратил всякую надежду на спасение. Серый по-прежнему лежал навзничь – Санчо Панса еле-еле поднял его, ибо серый с трудом мог держаться на ногах; затем Санчо вынул из дорожной сумы, разделившей его судьбу и совершившей падение вместе с ним, кус хлеба и протянул его ослу, осел же от такового даяния не отказался, а Санчо ему при этом молвил, словно тот в состоянии был его понять:

– С хлебушком нипочем и горюшко.

В это самое время он заприметил в стене подземелья отверстие, в которое, пригнувшись и скорчившись, мог пролезть человек. Санчо Панса бросился к этой стене и, съежившись, проник в отверстие, а проникнув, увидел, что оно длинное и, чем далее, тем становится шире; рассмотреть же отверстие ему удалось благодаря солнечному лучу, который, пробиваясь как бы сквозь крышу, все внутри освещал. Еще он увидел, что далее отверстие все расширяется и переходит во вторую просторную пещеру; увидев же все это, он возвратился к своему ослу, а затем начал камнем прочищать отверстие, и оно так увеличилось, что немного погодя через него легко можно было провести осла; Санчо только этого и нужно было: он взял осла за недоуздок и двинулся подземным ходом вперед в расчете на то, что с другой стороны окажется выход. Порою он шел в полумраке, порою – в полнейшей тьме, и все время – в страхе.

«Боже всемогущий, помоги мне! – говорил он про себя. – Для меня это сущее злоключение, а для господина моего Дон Кихота это, должно полагать, было бы изрядным приключением. Он бы, уж верно, принял эти пропасти и подземелья за цветущие сады и дворцы Гальяны[193] и питал надежду, что за этими мрачными теснинами пред ним откроется цветущий луг, а я, злосчастный, скудоумный и малодушный, я каждую секунду ожидаю, что под ногами у меня внезапно разверзнется новая бездна, еще поглубже этой, и меня поглотит. Беда, когда приходит одна, это еще не беда».

Таким-то образом и в подобных мыслях Санчо прошел, как ему показалось, немногим более полумили и наконец различил слабый свет, похожий на дневной: неведомо откуда пробиваясь, он указывал на то, что путь сей, представлявшийся Санчо путем на тот свет, на самом деле свободен.

Здесь Сид Ахмет Бен-инхали его оставляет и обращается к Дон Кихоту, а Дон Кихот тем временем в радостном волнении ожидал поединка с соблазнителем дочери доньи Родригес, за честь которой, столь вероломно поруганную и опороченную, он намеревался вступиться. Но вот как-то утром Дон Кихот, выехав из замка, чтобы поучиться и поупражняться перед предстоящим сражением, погнал Росинанта карьером или, точнее, коротким галопом,

Росинантовы же копыта очутились возле самого подземелья, и не натяни Дон Кихот изо всех своих сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе, он удержал Росинанта и не свалился; подъехав чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать яму, и в то время, как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики; тут он насторожился и в конце концов уловил и разобрал, что именно из глубины кричали:

– Эй вы, там, наверху! Неужто не найдется среди вас христианина, который меня бы услышал, или сострадательного рыцаря, который смилостивился бы над заживо погребенным грешником, над злополучным губернатором без губернаторства?

Дон Кихоту показалось, что это голос Санчо Пансы, и это его поразило и озадачило; и, сколько мог возвысив голос, он спросил:

– Кто там внизу? Кто это плачется?

– Кому же тут быть и кому еще плакаться, – послышалось в ответ, – как не бедняге Санчо Пансе, за свои грехи и на свое несчастье назначенному губернатором острова Баратарии, а прежде состоявшему в оруженосцах у славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

При этих словах Дон Кихот пришел в совершенное изумление и остолбенел; он вообразил, что Санчо Панса умер и что в этом подземелье томится его душа; и, волнуемый этою мыслью, он заговорил:

– Заклинаю тебя всем, чем только может заклинать правоверный христианин: скажи мне, кто ты таков, и если ты неприкаянная душа, скажи, что я могу для тебя сделать, ибо хотя призвание мое состоит в том, чтобы покровительствовать и помогать несчастным, живущим в этом мире, однако ж я готов распространить его и на то, чтобы вызволять и выручать обездоленных, отошедших в мир иной, если только они сами не властны себе помочь.

– Узнаю по речам моего господина Дон Кихота Ламанчского, – послышалось в ответ, – да и голос, без сомнения, его.

– Да, я тот самый Дон Кихот, коего призвание – вызволять и выручать из бед живого и мертвого, – подтвердил Дон Кихот. – А посему скажи мне, кто ты таков, – ты, приведший меня в недоумение, ибо если ты мой оруженосец Санчо Панса, и ты умер, и тебя не утащили бесы, и по милости божией ты находишься в чистилище, то святая наша матерь римско-католическая церковь знает такие заупокойные молитвы, которые избавят тебя от мук, претерпеваемых тобою ныне, и я, со своей стороны, буду о том хлопотать и готов пожертвовать ради этого своим достоянием. Итак, назови же себя и скажи, кто ты таков.

– Ей-ей, – послышалось в ответ, – клянусь рождением того, кого только милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанчский, назвать захочет, что я оруженосец ваш Санчо Панса и что я за всю мою жизнь ни разу еще не умирал, – мне только пришлось оставить губернаторство по причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, а нынче ночью я свалился в это подземелье вместе с моим серым, – он может это подтвердить: ведь он здесь, налицо.

И что бы вы думали: осел, будто поняв, о чем говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что это отозвалось во всей пещере.

– Превосходный свидетель! – воскликнул Дон Кихот. – Я узнаю его рев, как если б он был моим родным сыном, да и твой голос, милый Санчо, мне также знаком. Погоди, я сейчас поеду в герцогский замок, – он отсюда недалеко, – и приведу с собой людей: они тебя вытащат из этого подземелья, куда ты попал, должно полагать, за грехи.

– Поезжайте, ваша милость, – молвил Санчо, – и, ради господа бога, возвращайтесь скорее: я не могу перенести этой мысли, что я заживо погребен, и умираю от страха.

Дон Кихот с ним расстался и, приехав в замок, рассказал их светлостям о случае с Санчо Пансою, чем привел их в немалое изумление; они тотчас же догадались, что Санчо провалился в одно из отверстий, ведущих в подземный ход, который еще в незапамятные времена был в

тех местах проложен, но они не могли взять в толк, как это Санчо расстался с губернаторством, не уведомив их о своем приезде. Были пущены в дело, как говорится, *веревки и канаты,* и ценою великих усилий множества людей в конце концов удалось извлечь и серого, и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Некий студент посмотрел на Санчо и сказал:

– Вот так следовало бы удалять с должностей всех дурных правителей – точь-в-точь как этого греховодника, вылезшего из глубокой пропасти: он голоден, бледен и, сколько я понимаю, без единого гроша в кармане.

Санчо, послушав такие речи, молвил:

– Назад тому дней восемь или десять я, господин клеветник, вступил в управление островом, который был мне пожалован, и за все это время я даже хлеба – и того вволю не видел. За это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости. Я и взяток не брал, и податей не взимал, а когда так, то, думается мне, я заслужил, чтобы со мной расстались по-другому, ну да человек предполагает, а бог располагает; господь знает, что для нас лучше и что каждому из нас положено, дают – бери, а бьют – беги, а грех да беда всегда рядом, потому сейчас у тебя дом – полная чаша, ан глядь – хоть шаром покати. И довольно об этом: бог правду видит, а я лучше помолчу, хотя мог бы еще кое-что сказать.

– Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, а там пусть себе говорят, что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам – это все равно что загородить поле воротами. Если правитель уходит со своего поста богатым, говорят, что он вор, а коли бедняком, то говорят, что он простофиля и глупец.

– Могу ручаться, – заметил Санчо, – что кого-кого, а меня-то, уж верно, признают за дурака, а не за вора.

Сопровождаемые мальчишками и всяким иным людом, Дон Кихот и Санчо, все еще ведя этот разговор, приблизились к замку, где их уже поджидали в галерее герцог и герцогиня, однако, прежде чем подняться к герцогу, Санчо самолично устроил серого в стойле, ибо, по его словам, серый ночевал в гостинице и ему там было очень плохо, и только после этого поднялся на галерею к герцогской чете и, преклонив пред нею колена, заговорил:

– Сеньоры! Не за какие-либо с моей стороны заслуги, а единственно потому, что такова была воля ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом Баратарией, и как голяком я туда явился, так голяком и удалился. Хорошо ли, плохо ли я управлял – на то есть свидетели: что им бог на душу положит, то они вам и расскажут. Я разрешал спорные вопросы, выносил приговоры и вечно был голоден, оттого что на этом настаивал доктор Педро Нестерпимо, родом из Учертанарогеры, лекарь островной и губернаторский. Ночью на нас напали враги, опасность была велика, но в конце концов островитяне, пошли им господь столько здоровья, сколько в их словах правды, объявили, что благодаря твердости моего духа они своей свободы не отдали и одержали полную победу. Коротко говоря, за это время я взвесил все тяготы и обязанности, с должностью губернатора сопряженные, и пришел к заключению, что плечи мои их не выдержат: эта ноша не для моего хребта и стрелы эти не для моего колчана, вот почему я надумал, прежде чем меня сбросят, самому бросить губернаторство, и вчера утром я покинул остров таким, каким увидел его впервые – с теми же самыми улицами, домами и кровлями, какие были, когда я туда вступил. Ни у кого я не брал взаймы и ни в каких прибылях не участвовал, и хоть я и думал было издать несколько полезных законов, но так и не издал: все равно, мол, никто соблюдать их не будет, значит, издавай не издавай – толк один. Как я уже сказал, покинул я остров безо всякой свиты, – вся моя свита состояла из одного только серого, – дорогой свалился в подземелье, начал оттуда выбираться и наконец нынче утром при свете солнца отыскал выход, но только не слишком удобный, так что, не пошли мне господь сеньора Дон Кихота, я бы там оставался до скончания века. Ну так вот, ваши светлости, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который из тех десяти дней,

что он прогубернаторствовал, извлек только одну прибыль, а именно: он узнал, что управление не то что одним островом, а и всем миром не стоит медного гроша. Приобретя же таковые познания, я лобызаю стопы ваших милостей, а засим, как в детской игре, когда говорят: «Ты – прыг, а я сюда – скок», прыг с моего губернаторства и перехожу на службу к моему господину Дон Кихоту, потому на этой службе мне хоть и страшновато бывает, да зато хлеб-то я, по крайности, ем досыта, а мне – хоть морковками, хоть куропатками – только быть бы сытым.

На сем окончил пространную свою речь Санчо, Дон Кихот же все время боялся, как бы он не наговорил невесть сколько всякой ерунды, но когда Дон Кихот убедился, что Санчо уже кончил, а ерунды наговорил совсем мало, то мысленно возблагодарил бога; герцог между тем обнял Санчо и сказал, что он весьма сожалеет, что Санчо так скоро ушел с должности губернатора, но что он, со своей стороны, примет меры, чтобы в его владениях для Санчо подыскали какую-нибудь другую должность, менее тягостную и более выгодную. Герцогиня также обняла Санчо и велела его накормить, ибо у него был вид человека не весьма бодрого и еще менее упитанного.



Глава LVI

О беспримерном и доселе невиданном поединке между Дон Кихотом Ламанчским, вступившимся за честь дочери дуэньи доньи Родригес, и лакеем Тосилосом



Их светлости с самого начала не раскаивались, что сыграли шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать; когда же к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельнейшим образом доложил почти обо всех словах и поступках, за эти дни губернатором сказанных и совершенных, а в заключение живописал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то они получили от всего этого немалое удовольствие. Засим, согласно истории, настал день поединка, и герцог, несколько раз предупредив лакея своего Тосилоса, как должно обходиться с Дон Кихотом, дабы одолеть его, не убив и не ранив, приказал снять с копий железные наконечники; Дон Кихоту же он пояснил, что по законам христианской веры, которые он-де свято соблюдает, нельзя допустить, чтобы эта битва была сопряжена с таким риском и опасностью для жизни, – хорошо еще, что он, герцог, не чинит препятствий к тому, чтобы сражение состоялось на его земле, и это, мол, уже много: ведь тем самым он нарушает постановление святейшего собора, подобные единоборства воспрещающее, однако чрезмерно жестоких условий боя, и без того уже, дескать, лютого, он не допустит. В ответ Дон Кихот объявил, что его светлость вольна распоряжаться устройством поединка, как ей будет угодно, он же, дескать, согласен на любые условия. Наконец ужасный день настал; по распоряжению герцога на площади перед замком был сооружен обширный помост для судей поединка, а также для обеих истиц, матери и дочери, и со всех окрестных сел и деревень сбежалась огромная толпа поглядеть на необыкновенный бой, в здешних краях ни в былое, ни в теперешнее время невиданный и неслыханный.

Первым появился на арене и поле битвы церемониймейстер; он обошел и осмотрел все место поединка, чтобы удостовериться, нет ли какого подвоха, чего-либо глазу не видного, обо что можно споткнуться и упасть. Затем появились и заняли свои места обе женщины в покрывалах, закрывавших им все лицо; прибытие Дон Кихота на место боя вызвало у них сильное волнение. Не в долгом времени при звуках труб на краю арены показался достославный лакей Тосилос с опущенным забралом, весь закованный в броню, облаченный в непроницаемые и сверкающие доспехи, верхом на могучем коне, под которым дрожала земля; конь его, серый в яблоках, мохноногий, с крутыми боками, был, по-видимому, фризской породы.[194] Доблестный сей боец получил от своего господина герцога точные указания, как ему надлежит вести себя с доблестным Дон Кихотом Ламанчским, и был предуведомлен, что убивать Дон Кихота ни в коем случае не должно, – напротив того, Тосилосу внушено было, чтобы он постарался уклониться от первой же сшибки: тем самым он-де предотвратит

смертельный исход, какового, мол, не избежать, коль скоро они на полном скаку налетят друг на друга. Тосилос объехал арену и, приблизившись к помосту, где восседали обе женщины, некоторое время смотрел, не отрываясь, на ту, что требовала его себе в мужья. Распорядитель, стоявший рядом с Тосилосом, подозвал Дон Кихота, уже въехавшего на арену, и спросил женщин, согласны ли они, чтобы Дон Кихот выступил на их защиту. Они ответили, что согласны и что, как бы Дон Кихот в сем случае ни поступил, все встретит с их стороны одобрение безусловное и безоговорочное. Тем временем герцог с герцогинею заняли места в галерее, выходившей на арену, которую плотным кольцом окружил народ, жаждавший поглядеть на доселе невиданный жестокий бой. По условию поединка в случае победы Дон Кихота его противник должен был жениться на дочери доньи Родригес, в случае же его поражения ответчик почитал себя свободным от данного слова, и никакого другого удовлетворения от него уже не требовалось.

Церемониймейстер поделил между ними солнечный свет и указал каждому его место. Забили барабаны, воздух наполнился звуком труб, от гула застонала земля; зрители испытывали разнообразные чувства: иным становилось страшно, другие не без любопытства ожидали, какова будет развязка – счастливая или же, напротив, неблагополучная. Дон Кихот всецело отдался под покровительство господа бога и сеньоры Дульсинеи Тобосской, и теперь он ждал лишь условного знака, чтобы начать бой, меж тем как лакей наш думал совсем о другом, и сейчас я скажу, о чем именно.

Когда он взглянул на свою врагиню, то, по всей вероятности, она показалась ему прекраснейшею из женщин, каких он когда-либо видел, а тот слепенький мальчик, коего принято у нас называть Амуром, положил не упускать представившегося ему случая овладеть душою лакея и занести ее в список своих жертв; того ради, оставшись незамеченным, он тихохонько подкрался, всадил бедному лакею в левый бок предлинную стрелу, и стрела насквозь пронзила ему сердце; и он мог совершить это беспрепятственно, ибо Амур – невидимка: он входит и выходит куда и откуда хочет, никому не отдавая отчета в своих поступках. И вот знак к началу боя был подан, а лакей наш все еще находился в состоянии восторга, помышляя о красоте той, которая уже успела его пленить, и потому не слыхал звука трубы, Дон Кихот же, напротив, едва услышав этот звук, тотчас бросился вперед и во всю Росинантову прыть помчался на врага; и тогда верный его оруженосец Санчо, видя, что он бросается в бой, громогласно возопил:

– Помоги тебе бог, краса и гордость странствующих рыцарей! Пошли тебе господь победу, ибо правда на твоей стороне!

А Тосилос, хотя и видел, что Дон Кихот мчится прямо на него, однако же ни на шаг не сдвинулся с места – он только громким голосом стал звать распорядителя, и, как скоро распорядитель к нему приблизился, дабы узнать, в чем состоит дело, Тосилос сказал ему:

– Сеньор! Не для того ли устроен поединок, чтобы решить, должен я или не должен жениться на этой девушке?

– Для этого самого, – ответили ему.

– В таком случае, – объявил лакей, – я боюсь угрызений совести, ибо я возьму на душу великий грех, коли буду продолжать биться. Одним словом, я признаю себя побежденным и объявляю, что хочу как можно скорее жениться на этой девушке.

Подивился распорядитель речам Тосилоса, но как он был одним из участников этой затеи, то и не нашелся, что ответить. Дон Кихот, видя, что его противник не двигается ему навстречу, остановился на полпути. Герцог не мог взять в толк, отчего битва не начинается; когда же распорядитель передал ему слова Тосилоса, то это его крайне удивило и возмутило. Тосилос между тем подъехал к помосту и, обратясь к донье Родригес, заговорил громким голосом:

– Сеньора! Я готов жениться на вашей дочери и не намерен добиваться тяжбами и схватками того, чего можно достигнуть миром, не подвергая себя смертельной опасности.

Услышав это, доблестный Дон Кихот объявил:

– Когда так, то я могу считать, что я свободен и не связан более обещанием. Пусть они себе женятся в добрый час, а что господь бог посылает, то и апостол Петр благословляет.

Герцог спустился с галереи и, приблизившись к Тосилосу, молвил:

– Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным и, боясь угрызений совести, вознамерились жениться на этой девушке?

– Так, сеньор, – подтвердил Тосилос.

– Правильно делает, – заметил тут Санчо, – поменьше дерись да почаще мирись.

Тосилос, развязывавший в это время шлем, позвал на помощь, оттого что ему, так долго пребывавшему в столь тесном помещении, нечем становилось дышать. В ту же минуту с него сняли шлем, и взорам присутствовавших открылось и представилось лицо лакея. Тут донья Родригес и ее дочь завопили истошными голосами:

– Чистый обман это! Это чистый обман! Вместо настоящего моего жениха нам подсунули Тосилоса, лакея сеньора герцога! Прошу защиты у бога и короля от такого коварства, чтобы не сказать – подлости!

– Успокойтесь, сеньора, – молвил Дон Кихот, – здесь нет ни коварства, ни подлости, а если и есть, то повинен в том не герцог, а злые волшебники, меня преследующие: позавидовав славе, которую я стяжал себе этою победою, они устроили так, что жених ваш стал похож лицом на человека, коего вы называете лакеем герцога. Послушайтесь моего совета и, невзирая на коварство недругов моих, выходите за него замуж, ибо не подлежит сомнению, что это тот самый, которого вы бы хотели иметь своим мужем.

Герцог, слушая такие речи, чувствовал, что вот сейчас вся его досада выльется в громкий смех.

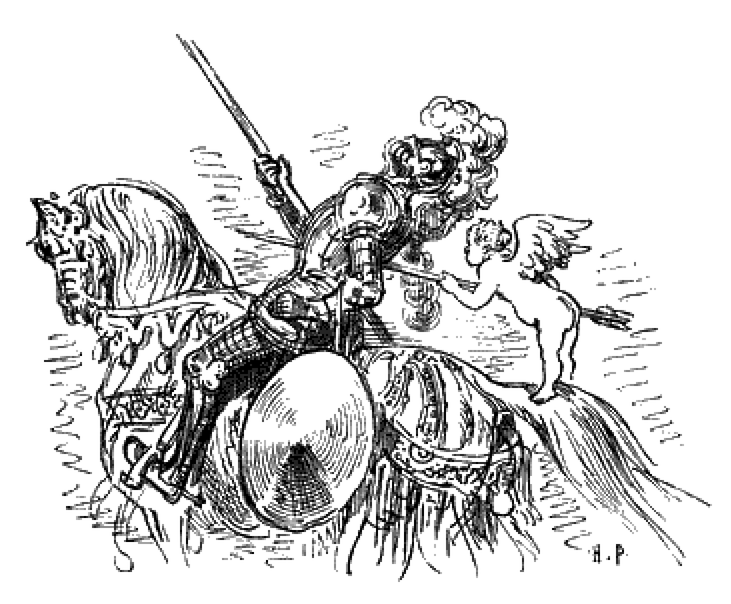
– С сеньором Дон Кихотом творятся такие необыкновенные вещи, – сказал он, – что я готов поверить, что это не один из моих лакеев, а кто-то еще. Впрочем, давайте прибегнем вот к какой хитрости и уловке: отложим свадьбу, с вашего позволения, на две недели, а этого молодчика, который кажется нам подозрительным, будем держать под замком: быть может, за это время к нему вернется прежний его облик, ибо ненависть волшебников к Дон Кихоту вряд ли будет долго продолжаться, тем более что от всех этих коней и превращений они немного выигрывают.

– Ах, сеньор! – воскликнул Санчо. – У этих разбойников такова привычка и таков обычай: подменять все, что имеет касательство к моему господину. Одного рыцаря, которого он не так давно одолел и которого зовут Рыцарем Зеркал, они преобразили в бакалавра Самсона Карраско, нашего односельчанина и большого нашего друга, а сеньору Дульсинею они же обратили в простую мужичку, – вот почему я полагаю, что лакей этот так лакеем и помрет.

Тут заговорила дочка Родригес:

– Кто б ни был тот, кто просит моей руки, я все же ему за это признательна: лучше быть законной женой лакея, чем обманутой любовницей дворянина, – впрочем, тот, кто обманул меня, вовсе не дворянин.

Все эти разговоры и происшествия кончились, однако ж, тем, что Тосилоса лишили свободы, чтобы поглядеть, чем кончится его превращение; все единогласно признали Дон Кихота победителем, хотя многие были огорчены и опечалены тем, что противники в долгожданном этом бою не разрубили себя на части, – так же точно бывают огорчены мальчишки, когда не появляется приговоренный к повешению, оттого что его простил истец или же помиловал суд. Толпа разошлась, герцог и Дон Кихот направились в замок, Тосилоса заключили под стражу, донья же Родригес с дочкой были в совершенном восторге, что, так или иначе, дело кончится свадьбой, а равно и Тосилосу только этого и было нужно.



Глава LVII,

повествующая о том, как Дон Кихот расстался с герцогом, а также о том, что произошло между ним и бойкой и бедовой Альтисидорой, горничной девушкой герцогини



Дон Кихот уже начинал тяготиться тою праздною жизнью, какую он вел в замке; он полагал, что с его стороны это большой грех – предаваясь лени и бездействию, проводить дни в бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для странствующего рыцаря, устраивались хозяевами, и склонен был думать, что за бездействие и праздность господь с него строго взыщет, – вот почему в один прекрасный день он попросил у их светлостей позволения уехать. Их светлости позволили, не преминув, однако ж, выразить глубокое свое сожаление по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо Пансе письмо его жены, и тот, обливая его слезами, сказал себе:

– Кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе у моей жены Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? А все-таки я доволен, что моя Тереса в грязь лицом не ударила и послала герцогине желудей, потому как если б она их не послала, а тут еще я вернулся не в духе, то вышло бы невежливо. Радует меня и то, что подарок этот нельзя назвать взяткой: когда она его посылала, я уже был губернатором, и тут ничего такого нет, если за доброе дело чем-нибудь отблагодарить, хотя бы и пустячком. Да ведь и впрямь: голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушел, и могу сказать по чистой совести, а чистая совесть – это великое дело: «Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился».

Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда, Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями, рано утром, облаченный в доспехи, появился на площади перед замком. С галереи на него глазели все обитатели замка; герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные припасы, и был он рад-радехонек, оттого что герцогский домоправитель, тот самый, который изображал Трифальди, вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые издержки, Дон Кихот же про это еще не знал. И вот, в ту самую минуту, когда все взоры, как уже было сказано, обратились на Дон Кихота, из толпы дуэний и горничных девушек герцогини, на него глядевших, внезапно послышался голос бойкой и бедовой Альтисидоры, которая поразила слух присутствовавших жалобной песней:

О жестокосердый рыцарь!

Отпусти поводья малость,

Не спеши коня лихого

Острой шпорой в бок ужалить.

Не от алчного драконаТы, неверный, убегаешь,Но от агницы, которойИ овцой-то зваться рано. Изверг! Ты обидел деву,Краше коей не видалиНи в лесах своих Венера,Ни в горах своих Диана, Беглец Эней, Бирено беспощадный,[195] Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой! Ты в когтях своих кровавых,Зверь бесчувственный, увозишьСердце той, что так смиренноБыть твоей рабыней жаждет. Ты увозишь – о злодейство!Три косынки и подвязки,Черно-белые в полоску,С ножек гладких, словно мрамор. И еще сто тысяч вздохов,Чье неистовое племя,Будь сто тысяч Трой на свете,Все их разом бы пожрало. Беглец Эней, Бирено беспощадный,Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой! Пусть безжалостен пребудетТвой оруженосец Санчо,Чтоб вовеки ДульсинеяНе сняла с себя заклятья. Пусть за твой поступок низкийВзыщется с нее, несчастной,Ибо часто в этом миреПраведник за грешных платит. Пусть тебе всегда приносятЖажда славы неудачу,Радость – горькое похмелье,Верность – разочарованье. Беглец Эней, Бирено беспощадный,Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой! Пусть от Лондона до Темзы,От Гранады до Атарфе,От Севильи до Марчены[196] Все зовут тебя коварным. Если в «сотню», в «королевство»Иль в «кто первый» дуться сядешь,Пусть нейдут к тебе тузы,Короли не попадают. Если стричь пойдешь мозоли,Пусть тебе их режут с мясом;Если вырвать зуб решиться,Корень пусть в десне оставят.

Беглец Эней, Бирено беспощадный,Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой!

В то время как горюющая Альтисидора вышеописанным образом сетовала, Дон Кихот молча на нее взирал, а затем, обратившись к Санчо, спросил:

– Заклинаю тебя памятью твоих предков, милый Санчо, не скрывай от меня правды. Скажи, не захватил ли ты случайно три косынки и подвязки, о которых толкует влюбленная эта девушка?

Санчо же ему на это ответил:

– Косынки я и правда захватил, а насчет подвязок – ни сном ни духом.

Герцогиня не могла надивиться дерзости Альтисидоры; впрочем, она и прежде знала ее за девицу бедовую, проказливую и разбитную, но все же не представляла себе, что развязность ее дойдет до такой степени, и тем сильнее было удивление герцогини, что об этой шутке Альтисидора ее не предуведомила. Герцог, желая подлить масла в огонь, сказал:

– Сеньор рыцарь! Меня возмущает, что, воспользовавшись гостеприимством, здесь, у меня, вам оказанным, вы решились похитить у моей служанки во всяком случае три косынки, а может быть, даже и подвязки: это свидетельствует о том, что у вас дурные наклонности, и противоречит общему мнению, которое о вас сложилось. Возвратите же ей подвязки, иначе я вызову вас на смертный бой, не страшась, что лихие волшебники изменят или же исказят черты моего лица, как это они сделали с моим лакеем Тосилосом, вступившим с вами в единоборство.

– Господь не попустит, – возразил Дон Кихот, – чтобы я поднял меч на светлейшую вашу особу, которой я столькими обязан милостями. Косынки я возвращу, коль скоро они у Санчо, но насчет подвязок – это немыслимое дело, потому что ни я, ни он их не брали, и если ваша служанка хорошенько у себя посмотрит, то, верно уж, найдет. Я, сеньор герцог, никогда не был вором и, если господь не попустит, не буду таковым до конца моих дней. Девица эта говорит как влюбленная, и она прямо в том признается, я же тут ни при чем, так что мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости, вас же я попрошу изменить свое мнение обо мне и вновь мне позволить продолжать свой путь.

– Счастливого вам пути, сеньор Дон Кихот, – подхватила герцогиня, – дай бог, чтобы до нас доходили одни только добрые вести о ваших подвигах. Поезжайте же с богом, а то чем дольше вы задерживаетесь, тем сильнее разгорается пламень в сердцах дев, что взирают на вас, мою же горничную девушку я накажу так, чтобы впредь она не допускала нескромности ни во взоре, ни в словах своих.

– Дай мне одно только слово сказать тебе, доблестный Дон Кихот! – воскликнула тут Альтисидора. – Прости меня за то, что я обвинила тебя в краже подвязок: клянусь богом и спасением души, они на мне, – это я по рассеянности, вроде того человека, который искал своего осла, сидя на нем верхом.

– А что я вам говорил? – вмешался Санчо. – Нашли какого укрывателя краденого! Ведь при желании я столько мог натащить, пока ходил в губернаторах: там у меня насчет этого было раздолье.

Дон Кихот учтиво поклонился герцогу с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим, засим поворотил Росинанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка и направил путь в Сарагосу.



Глава LVIII,

в коей речь идет о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что они не давали ему передышки



Как скоро Дон Кихот, освободившись и избавившись от заигрываний Альтисидоры, выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства, и тут он повернулся лицом к Санчо и сказал:

– Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!

– А все-таки, – отозвался Санчо, – что бы вы ни говорили, нехорошо это будет с нашей стороны, если мы не почувствуем благодарности за кошелек с двумя сотнями золотых, который мне преподнес герцогский домоправитель: я его, вроде как успокоительный пластырь, ношу возле самого сердца, – мало ли что может быть: ведь не всегда же нам попадаются замки, где за нами ухаживают, случается заезжать и на постоялые дворы, где нас колотят.

В таких и тому подобных разговорах проехали странствующий рыцарь и странствующий оруженосец немногим более мили, как вдруг увидели, что на зеленом лужке, разостлав на земле плащи, закусывают человек десять, одетые по-деревенски. Поодаль виднелось нечто вроде белых простынь, накрывавших предметы, что стояли и возвышались на некотором расстоянии один от другого. Дон Кихот приблизился к закусывавшим и, учтиво поздоровавшись с ними, спросил, что находится под полотном. На это ему один из крестьян ответил так:

– Сеньор! Под полотном находятся лепные и резные изображения святых, коими мы собираемся украсить сельский наш храм. Мы накрыли их полотном, чтобы они не попортились, а несем на плечах, чтобы они не поломались.

– Будьте добры, позвольте мне посмотреть, – сказал Дон Кихот, – уж верно, изображения эти хороши, коли вы несете их с такими предосторожностями.

– Еще бы не хороши! – подхватил другой крестьянин. – Да ведь и стоят они, сказать по чести, немало: каждое из них обошлось нам не меньше, чем в полсотни дукатов. Обождите, ваша милость, сейчас вы сами увидите, что это сущая правда.

С этими словами он, не докончив трапезы, встал и направился к ближайшему изображению, чтобы снять с него покрывало: то была статуя Георгия Победоносца, изображенного так, как его обыкновенно изображают, – верхом на коне, он с грозным видом вонзает копье в пасть дракона, извивающегося у его ног. Вся работа была выполнена, как говорится, на удивление. Дон Кихот же, увидев статую, молвил:

– Сей рыцарь был одним из лучших странствующих рыцарей во всей небесной рати. Звали его святой Георгий Победоносец, и притом он был покровителем дев. Теперь посмотрим другое изображение.

Крестьянин открыл вторую статую: то был святой Мартин верхом на коне, деливший свой хитон с бедняком; и как скоро Дон Кихот увидел его, то сказал:

– Сей рыцарь был также из числа христианских странников, и мне думается, что доброта его была еще выше его доблести; это видно из того, Санчо, что он разрывает свой хитон, дабы половину отдать бедняку. И, уж верно, тогда стояла зима, иначе он отдал бы весь хитон – так он был милосерд.

– Вряд ли, – заметил Санчо. – Должно полагать, он знал пословицу: кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

Дон Кихот рассмеялся и попросил снять еще одно покрывало, под покрывалом же оказалось изображение покровителя Испании: верхом на коне, с окровавленным мечом, он разил и попирал мавров; и, взглянув на него, Дон Кихот сказал:

– Воистину сей есть рыцарь Христова воинства, а зовут его святой Дьего Мавроборец. Это один из наидоблестнейших святых рыцарей, когда-либо живших на свете, ныне же пребывающих на небе.

Затем сняли еще одно полотнище, и тогда взорам открылось падение апостола Павла с коня, изображенное со всеми теми подробностями, с какими обыкновенно изображается его обращение. Все тут было до того натурально, что казалось, будто это сам Христос вопрошает, а Павел ему отвечает.

– Прежде то был самый лютый из всех гонителей Христовой церкви, каких знало его время, а потом он стал самым ярым из всех защитников, какие когда-либо у церкви будут, – сказал Дон Кихот. – Это странствующий рыцарь при жизни своей и это святой, вошедший в обитель вечного покоя после своей смерти, это неутомимый труженик на винограднике Христовом, это просветитель народов, которому школою служили небеса, наставником же и учителем сам Иисус Христос.

Больше изображений не было, а потому Дон Кихот попросил закрыть статуи полотнищами и обратился к носильщикам с такою речью:

– За счастливое предзнаменование почитаю я, братья, то, что мне довелось увидеть эти изображения, ибо святые эти рыцари подвизались на том же самом поприще, что и я, то есть на поприще ратном, и все различие между ними и мною заключается в том, что они были святые и преследовали цели божественные, я же, грешный, преследую цели земные. Они завоевали себе небо благодаря своей мощи, ибо *царство небесное силою берется,* я же еще не знаю, что я завоевываю, возлагая на себя тяготы, – впрочем, если только Дульсинея Тобосская избавится от своих тягот, то мой жребий тотчас улучшится, разум мой возмужает, и, может статься, я перейду на иную стезю, лучшую, нежели та, которою я шел до сих пор.

– В добрый час сказать, в худой помолчать, – присовокупил Санчо.

Подивились носильщики как наружности, так и речам Доя Кихота; не поняли же они и половины того, что он хотел в них выразить. Покончив с едой, они взвалили на плечи статуи, попрощались с Дон Кихотом и пошли дальше.

Санчо снова, точно в первый раз видел своего господина, подивился его учености: он был уверен, что нет на свете таких преданий и таких событий, которых Дон Кихот не знал бы как свои пять пальцев и не держал бы в памяти; обратился же он к Дон Кихоту с такими словами:

– Положа руку на сердце, скажу вам, досточтимый мой хозяин: если то, что с нами сегодня произошло, можно назвать приключением, то это одно из самых приятных и отрадных приключений, какие за все время наших странствований выпадали на нашу долю, – на сей раз дело обошлось без побоев и безо всяких треволнений, нам не пришлось ни обнажать меча, ни молотить землю своими телами, ни голодать. Благодарю тебя, господи, за то, что ты дал мне своими глазами увидеть такое приключение!

– Ты молвил справедливо, Санчо, – заметил Дон Кихот, – прими, однако ж, в рассуждение, что день на день не похож и что счастье изменчиво. То же, что простой народ называет приметами и что не имеет под собой разумных оснований, человеку просвещенному надлежит почитать и признавать всего лишь за благоприятные явления. Иной суевер встанет спозаранку, выйдет из дому, и по дороге встретится ему монах ордена блаженного Франциска, так он, точно увидел грифа,[197] мигом покажет ему тыл – и скорей назад. Какой-нибудь Мендоса рассыплет на столе соль, и по сердцу у него сей же час рассыплется тоска,[198] словно природа обязана предуведомлять о грядущих невзгодах именно такими ничтожными знаками. Между тем просвещенный христианин не станет посредством таких пустяков выведывать волю небес. Сципион[199] прибыл в Африку и, ступив на сушу, споткнулся и упал, и это воинами его было принято за дурное предзнаменование, а он, обнявши землю руками, воскликнул: «Ты не уйдешь от меня, Африка, ибо я держу тебя в своих объятиях!» Так, вот, Санчо, встреча с этими изображениями явилась для меня радостнейшим событием.

– Я тоже так думаю, – согласился Санчо, – мне бы только хотелось знать, ваша милость, отчего это испанцы, когда идут в бой, всегда так призывают на помощь святого Дьего Мавроборца: «Святой Яго, запри Испанию!»[200] Разве Испания была отперта и ее надлежало запереть? В чем тут все дело?

– Экий ты бестолковый, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Пойми, что великому этому рыцарю багряного креста господь повелел быть покровителем и заступником Испании, особливо в годину тех ожесточенных боев, какие вели испанцы с маврами, вот почему, когда испанцам предстоит сражение, они обращаются к этому святому как к своему защитнику и призывают его имя, и многие сами видели его в бою, видели, как он сокрушал, попирал, уничтожал и истреблял полчища агарян,[201] – в доказательство я мог бы привести немало примеров, почерпнутых из правдивых испанских хроник.

После этого Санчо, переменив разговор, сказал своему господину:

– Дивлюсь я, сеньор, до чего ж бесстыжая девка эта Альтисидора, герцогинина служанка. Видно, здорово ранил и прострелил ее этот, как его, Амур, – говорят про него, что он мальчонка слепенький, но хоть и гноятся у него глаза, а пожалуй, что и совсем не видят, все-таки стоит ему нацелиться кому-нибудь в сердце, пусть даже в малюсенькое, и он уж непременно попадет и пронзит его насквозь. Еще я слыхал, будто любовные его стрелы притупляются и ломаются о девичью стыдливость и скромность, ну, а с этой Альтисидорой они скорее заострились, нежели притупились.

– Прими в соображение, Санчо, – заметил Дон Кихот, – что любовь ни с кем не считается, ни в чем меры не знает, и у нее тот же нрав и обычай, что и у смерти: она столь же властно вторгается в пышные королевские чертоги, как и в убогие хижины пастухов, и когда она всецело овладевает душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость: вот почему, утратив стыд, Альтисидора и призналась в своих чувствах, в моей же душе они возбудили не столько жалость, сколько смятение.

– Чудовищная жестокость! Неслыханная бесчеловечность! – воскликнул Санчо. – Доведись до меня, я бы размяк и растаял от первого же ее ласкового словечка. Черт возьми! Что за каменное у вас сердце, что за медная грудь, что за известковая душа! Но только я никак не пойму, что такое в вас-то нашла эта девушка, отчего она размякла и растаяла: какой такой блеск, какую такую молодцеватость, какую такую особую прелесть, и что такое у вас есть в лице, что могло бы прельстить ее, и наконец все ли это вместе взятое или же какая-нибудь отдельная ваша черта? По правде сказать, мне частенько приходилось окидывать вашу милость взглядом от самых пяток до кончиков волос на голове, и всякий раз я находил в вашей милости больше такого, что может скорее отпугнуть, нежели прельстить. Притом же я слыхал, что любят прежде всего и главным образом за красоту, а как ваша милость совсем даже некрасива, то я уж и не понимаю, во что же бедняжка влюбилась.

– Прими в рассуждение, Санчо, – заметил Дон Кихот, – что есть два рода красоты: красота духовная и красота телесная. Духовная красота сказывается и проявляется в ясности ума, в целомудрии, в честном поведении, в доброте и в благовоспитанности, и все эти свойства могут совмещаться и сосуществовать в человеке некрасивом, и если внимание приковывается к этой именно красоте, а не к телесной, то здесь-то и возникает любовь пылкая и наиболее сильная. Я, Санчо, и сам вижу, что некрасив, но я знаю также, что я и не урод, а чтобы хорошего человека можно было полюбить, ему достаточно быть только что не чудовищем, но зато он должен обладать теми свойствами души, которые я тебе сейчас перечислил.

Разговаривая и беседуя таким образом, ехали они не по дороге, а по лесу, и вдруг, совершенно для себя неожиданно, Дон Кихот запутался в зеленых нитях, протянутых меж дерев и образовывавших нечто вроде сетей; не в силах понять, что это такое, он наконец обратился к Санчо:

– Мне думается, Санчо, что случай с этими сетями представляет собой одно из самых необычайных приключений, какие только можно себе вообразить. Убей меня на этом самом месте, если мои преследователи-волшебники не задумали оплести меня сетями и преградить мне путь, по-видимому в отместку за мою суровость с Альтисидорой. Однако ж да будет им известно, что, хотя бы даже их сети были сделаны не из таких вот зеленых нитей, а из твердейших алмазов, и были крепче тех, коими ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса,[202] все равно я порвал бы их так же легко, как если бы они были из морского тростника или из волокон хлопка.

И он уже хотел двинуться вперед и порвать сети, но в это время перед ним внезапно предстали, выйдя из-за дерев, две прелестнейшие пастушки: во всяком случае, одеты они были, как пастушки, с тою, однако ж, разницей, что тулупчики и юбочки были на них из чудесной парчи – впрочем, нет: юбки были из весьма дорогой, шитой золотом тафты. Их локоны, рассыпавшиеся по плечам, золотым своим блеском могли бы поспорить не с чем иным, как с лучами солнца; на голове у каждой красовался венок из зеленого лавра и красного амаранта. По виду им можно было дать, самое меньшее, лет пятнадцать, а самое большее – восемнадцать.

Санчо, глядя на них, изумился. Дон Кихот пришел в недоумение, даже солнце – и то на мгновенье прекратило свой бег, чтобы на них поглядеть, и все четверо совершенное хранили молчание. Наконец первою заговорила одна из пастушек и обратилась к Дон Кихоту с такими словами:

– Остановитесь, сеньор кавальеро, и не рвите сетей, – мы их здесь протянули не с целью причинить вам зло, но единственно для развлечения, а как я предвижу ваш вопрос: что же это за развлечение и кто мы такие, то я вам сейчас вкратце об этом скажу. В одном селении, расположенном в двух милях отсюда, проживает много знати, идальго и богатых людей, и вот мы с многочисленными друзьями и родственниками уговорились целой компанией, с женами, сыновьями и дочерьми, приятно провести здесь время, – а ведь это одно из самых очаровательных мест во всей округе, – и составить новую пастушескую Аркадию, для чего девушки решили одеться пастушками, а юноши – пастухами. Мы разучили две эклоги:[203] одну – знаменитого поэта Гарсиласо,[204] а другую – несравненного Камоэнса,[205] на португальском языке, но еще не успели их разыграть. Мы приехали сюда только вчера, затем, среди зелени, на берегу полноводного ручья, орошающего окрестные луга, разбили палатки, так называемые походные, и вечером же натянули меж дерев сети, чтобы ловить глупых пташек: мы их нарочно пугаем, они от нас улетают – и попадаются в сети. Если же вам угодно, сеньор, быть нашим гостем, то мы примем вас учтиво и радушно, – теперь у нас здесь не должно быть места ни печали, ни скуке.

На этом она окончила свою речь; Дон Кихот же ей ответил так:

– Поистине, прекраснейшая сеньора, самого Актеона не так удивил и поразил вид купающейся Дианы,[206] которую он внезапно узрел, как был ошеломлен я при виде красоты вашей. Я в восторге от ваших увеселений, благодарю вас за приглашение, и если я могу чем-либо быть вам полезен, то стоит вам только сказать – и я весь к вашим услугам, ибо мой долг именно в том и заключается, чтобы на деле доказывать свою признательность и творить добро всем людям без изъятья, особливо же людям благородного сословия, представительницами коего являетесь вы, и, если бы даже эти сети, столь малое пространство занимающие, опутали всю земную поверхность, я и тогда постарался бы отыскать какой-нибудь новый свет, где я мог бы передвигаться, не разрывая их, а чтобы вы не думали, что это – преувеличение, то да будет вам известно, что перед вами не кто иной, как Дон Кихот Ламанчский, если только это имя вам что-нибудь говорит.



– Ах, милая подруга! – воскликнула тут вторая пастушка. – Какие же мы с тобой счастливые! Ты знаешь, кто этот сеньор? Так вот знай же, что это храбрейший из всех храбрецов, самый пылкий из всех влюбленных и самый любезный из людей, если только не лжет и не обманывает нас вышедшая в свет история его подвигов, которую я читала. Я могу ручаться, что спутник его – это некий Санчо Панса, его оруженосец, с шутками которого ничьи другие не могут идти в сравнение.

– Ваша правда, – подтвердил Санчо, – я и есть тот самый оруженосец и тот самый шутник, как ваша милость изволила обо мне выразиться, а этот сеньор – мой господин, тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорится и рассказывается в книжке.

– Дорогая подружка! – воскликнула первая девушка. – Давай уговорим сеньора побыть с нами, – родители наши и наши братья будут ему бесконечно рады. Об его доблести и об его душевных качествах я слышала то же самое, а кроме того, говорят, что он на удивление стойкий и верный поклонник и что дама его – некая Дульсинея Тобосская, которую вся Испания признает первой красавицей.

– Это было бы справедливо, – заметил Дон Кихот, – когда бы ваша несравненная прелесть не принуждала в том усомниться. Не трудитесь, однако, сеньоры, удерживать меня, ибо неотложные дела, сопряженные с прямым моим долгом, не позволяют мне отдыхать где бы то ни было.

В это время к ним приблизился брат одной из девушек, так же точно, как и она, в пастушеском наряде, отличавшемся таким же точно богатством и пышностью; девушки ему сказали, что он видит перед собою доблестного Дон Кихота Ламанчского, а что тот, другой, – его оруженосец Санчо, имена же эти брату девушки были известны оттого, что он читал историю Дон Кихота. Изящный пастушок представился Дон Кихоту и пригласил его в палатку; Дон Кихоту ничего не оставалось делать, как уступить. Тем временем началась охота, и сети наполнились разными пташками: обманутые цветом сетей, они попадали в ту самую ловушку, от которой спасались. Более тридцати человек собралось здесь; и мужчины и женщины – все были в нарядном пастушеском одеянии, и в одну минуту всем стало известно, что два незнакомца – это те самые Дон Кихот и его оруженосец, которых они знали по книге, каковое известие всех весьма обрадовало. Все общество двинулось к палаткам, где уже были накрыты столы, ломившиеся от дорогих и чисто поданных блюд; Дон Кихота усадили на почетное место; все смотрели на него с изумлением. По окончании трапезы Дон Кихот возвысил голос и торжественно заговорил:

– Хотя иные утверждают, что величайший из всех человеческих грехов есть гордыня, я же лично считаю таковым неблагодарность, ибо придерживаюсь общепринятого мнения, что неблагодарными полон ад. Греха этого я, сколько мог, старался избегать, как скоро достигнул разумного возраста; и если я не в силах за благодеяния, мне оказанные, отплатить тем же, то, по крайней мере, изъявляю желание отплатить благодетелю, а когда мне это представляется недостаточным, я всем об его услуге рассказываю, ибо если человек всем сообщает и рассказывает о милости, ему сделанной, значит, он бы в долгу не остался, будь у него хоть какая-нибудь для этого возможность, а ведь известно, что в большинстве случаев дающие по своему положению выше приемлющих: потому-то и господь бог – над всеми, что он есть верховный податель всякого блага, и с дарами божьими не могут сравняться дары человеческие, – их разделяет расстояние бесконечное, скудость же наших средств и ограниченность наших возможностей отчасти восполняются благодарностью. Вот почему и я, проникшись чувством благодарности, но будучи не в состоянии воздать полною мерою за оказанное мне здесь радушие, вынужден держаться в тесных пределах моих возможностей и предложить лишь то, что в моих силах и что мне по плечу, а именно – я обещаю, что, ставши посреди дороги, ведущей в Сарагосу, я два дня подряд буду утверждать, что присутствующие здесь сеньоры, переодевшиеся пастушками, суть прелестнейшие и любезнейшие девушки в мире, за исключением, не в обиду будь сказано всем дамам и кавалерам, меня здесь окружающим, только лишь несравненной Дульсинеи Тобосской, единственной владычицы моих помыслов.

Тут Санчо, с великим вниманием слушавший Дон Кихота, громко воскликнул:

– Найдется ли после этого в целом свете такой человек, который осмелится объявить и поклясться, что мой господин – сумасшедший? Правда, как, по-вашему, сеньоры пастухи: хоть один из сельских священников, самых что ни на есть ученых и умных, мог бы сказать такую проповедь, как мой господин, и хоть один из странствующих рыцарей, особенно славящихся своею отвагою, мог бы пообещать то, что сейчас обещал мой господин?

Дон Кихот повернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал:

– Найдется ли после этого, Санчо, во всем подлунном мире такой человек, который сказал бы, что ты не набитый дурак, да еще с прослойками ехидства и зловредности? Ну кто тебя просит соваться в мои дела и рассуждать, в своем я уме или помешался? Молчи и не смей мне возражать – лучше поди оседлай Росинанта, если он расседлан: мы сей же час отправимся

исполнять мое обещание, а как правда – на моей стороне, то ты заранее можешь считать побежденными всех, кто станет мне прекословить.

И тут он в превеликом гневе и с видимой досадой встал из-за стола, присутствовавшие же в совершенном изумлении не знали, за кого должно принимать его: за сумасшедшего или за здравомыслящего. Сколько ни уговаривали они его не затевать подобного спора, ибо присущее ему чувство благодарности всем хорошо известно и нет ни малейшей надобности в новых доказательствах доблести его духа, – довольно, мол, и тех, какие приводятся в истории его деяний, – однако ж Дон Кихот остался непреклонен: воссев на Росинанта, он заградился щитом, взял в руки копье и выехал на середину большой дороги, проложенной неподалеку от луга. Санчо, верхом на сером, двинулся туда же, а за ним всей гурьбой пастухи и пастушки, жаждавшие поглядеть, чем кончится эта дерзостная и доселе неслыханная затея.

Дон Кихот, выехав, как мы сказали, на середину дороги, огласил окрестности такою речью:

– О вы, путники и странники, рыцари и оруженосцы, пешие и конные, все, кто уже сейчас едет по этой дороге или еще проедет в течение двух ближайших дней! Знайте, что я, Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, остановился здесь, чтобы пред всеми защищать свое мнение: не считая владычицы моей души Дульсинеи Тобосской, нимфы – обитательницы этих рощ и лугов – превосходят всех в красоте и любезности. По сему обстоятельству, кто держится противоположного мнения, тот пусть поспешит, – я буду ждать его здесь.

Дважды повторил он эти слова, и оба раза ни один искатель приключений на них не откликнулся, однако ж судьба, которая все делала к лучшему для него, устроила так, что в скором времени на дороге показалось множество всадников; у большинства из них были в руках копья, и ехали они, сгрудившись и скучившись, с поспешностью чрезвычайной. Только успели бывшие с Дон Кихотом их заприметить, как тот же час повернули обратно и отошли на весьма почтительное расстояние от дороги: они вполне отдавали себе отчет, что если б они стали ждать, то им бы не миновать беды; один лишь Дон Кихот с душою, исполненною бесстрашия, остался на месте, Санчо же спрятался за Росинанта. Между тем отряд конных копейщиков приблизился, и один из них, ехавший впереди, громко крикнул Дон Кихоту:

– Посторонись, чертов сын, а то тебя быки растопчут!

– О негодяй! – вскричал Дон Кихот. – Да мне не страшны никакие быки, хотя бы даже самые дикие из тех, что растит на своих берегах река Харама![207] Признайте, разбойники, все, сколько вас ни есть, что я говорил сейчас сущую правду, иначе я вызову вас на бой.

Погонщик ничего не успел на это ответить, Дон Кихот же не успел бы посторониться, даже если б хотел, оттого что стадо диких быков, которых вместе с прирученными и мирными множество погонщиков и других людей гнало в одно селение, где завтра должен был состояться бой быков, – это самое стадо ринулось на Дон Кихота и Санчо, на Росинанта и серого, всех их опрокинуло и отбросило в сторону. Санчо был сильно ушиблен, Дон Кихот ошеломлен, серый помят, да и Росинанту досталось; впрочем, в конце концов все поднялись на ноги. Дон Кихот же, спотыкаясь и падая, бросился бежать за стадом.

– Погодите, остановитесь, шайка разбойников! – кричал он. – Вас дожидается только один рыцарь, обычай же и образ мыслей этого рыцаря не таков, чтобы, как говорится, для бегущего врага наводить серебряный мост!

Но крики эти не остановили торопких беглецов: они обращали на угрозы Дон Кихота столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи, – остановились вовсе не они, а сам Дон Кихот, оттого что выбился из сил, и, не отомстив за себя, а только еще пуще разгневавшись, он в ожидании Санчо, Росинанта и осла присел на обочине дороги. Немного погодя господин и его слуга снова сели верхами. И, не вернувшись проститься с мнимой и поддельной Аркадией, они, испытывая не столько чувство удовлетворения, сколько чувство стыда, поехали дальше.



Глава LIX,

в коей рассказывается об из ряду вон выходящем происшествии, случившемся с Дон Кихотом и могущем сойти за приключение



От запыленности и утомления, явившихся следствием неучтивости быков, избавил Дон Кихота и Санчо чистый и прозрачный родник, протекавший в прохладной тени дерев, на берегу коего они и расположились, оба сильно потрепанные, предварительно снявши с серого и с Росинанта недоуздок и узду и пустив их пастись. Санчо прибегнул к своей кладовой, то есть к дорожной суме, и достал то, чем, как он выражался, можно было заморить червячка; засим он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымыл лицо, каковое освежение укрепило их ослабевшие силы. Однако ж Дон Кихот был все еще до того раздосадован, что не мог есть, Санчо же не притрагивался к еде только из вежливости и ждал, когда приступит его господин, но, видя, что тот занят своими мыслями и не думает об удовлетворении своей потребности, подумал о том, как бы удовлетворить свою, и, в нарушение всех правил благого воспитания, начал запихивать в рот куски хлеба с сыром.

– Кушай, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – поддерживай свои силы, тебе жизнь дороже, чем мне, а мне предоставь рухнуть под бременем моих дум и под гнетом моих злоключений. Моя жизнь, Санчо, – это всечасное умирание, а ты, и умирая, все будешь питать свою утробу.

А дабы удостовериться, что я прав, обрати внимание на то, каким я изображен в книге, а изображен я доблестным в битвах, учтивым в поступках, пользующимся уважением у вельмож, имеющим успех у девушек. И вот в конце концов, когда я ожидал пальм, триумфов и венков, которые я заработал и заслужил доблестными моими подвигами, по мне нынче утром прошлись, меня истоптали, избили ногами грязные эти и гнусные твари. От этой мысли у меня тупеют резцы, слабеют коренные зубы, немеют руки и совершенно пропадает желание есть, так что я даже намерен уморить себя голодом, то есть умереть самою жестокою из смертей.

– Стало быть, – рассудил Санчо, не переставая быстро-быстро жевать, – ваша милость не одобряет пословицы: «Кто поел всласть, тому и смерть не напасть». Я, по крайности, не собираюсь сам себя убивать, – лучше уж я поступлю, как сапожник, который натягивает кожу зубами до тех пор, пока она не дойдет, куда ему надобно. Так и я: буду себя подпитывать и растяну свою жизнь до установленного ей богом предела, и знайте, сеньор, что нет большего сумасбродства, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость, послушайтесь вы меня: сначала поешьте, а потом немного сосните на этом зеленом травянистом тюфячке – вот увидите, что когда проснетесь, то вам станет чуточку легче.

Дон Кихот нашел, что речи Санчо нимало не глупы, а скорее даже мудры, и потому порешил так именно и поступить, к Санчо же он обратился с такими словами:

– Ах, Санчо! Если б ты согласился совершить для меня то, о чем я тебя сейчас попрошу, мне бы, без сомнения, стало легче и досада моя не была бы столь несносной! Вот в чем состоит дело: пока я, следуя твоему совету, буду отдыхать, ты отойди немного в сторону и, оголившись, хлестни себя Росинантовыми поводьями раз триста-четыреста в счет трех с лишним тысяч ударов, которые ты обязался себе нанести для того, чтобы расколдовать Дульсинею: ведь, право же, сердце надрывается, что бедная эта сеньора по небрежению твоему и нерадению все еще пребывает под властью волшебных чар.

– Насчет этого нужно еще подумать, – возразил Санчо. – Давайте прежде оба поспим, а там как господь даст. Было бы известно вашей милости, что стегать себя так, безо всякой подготовки, – это дело тяжкое, особливо ежели удары падают на тело плохо упитанное и совсем даже не жирное. Пусть же сеньора Дульсинея потерпит, в один прекрасный день я себя исполосую на совесть: ведь пока смерти нет, ты все еще живешь, – я хочу сказать, что я еще жив, а стало быть, непременно исполню обещанное.

Изъявив ему свою признательность, Дон Кихот слегка закусил, Санчо же закусил как следует, после чего оба легли спать, предоставив двум неразлучным спутникам и друзьям, Росинанту и серому, свободно и беспрепятственно пастись на густой траве, которою этот луг был обилен. Проснулись они довольно поздно, нимало не медля сели верхами и поехали дальше, ибо торопились добраться до постоялого двора, который виднелся на расстоянии примерно одной мили. Я говорю – постоялого двора, оттого что так назвал его сам Дон Кихот, изменивший своему обыкновению называть все постоялые дворы замками.

Итак, они приблизились к постоялому двору и спросили, можно ли остановиться. Им ответили, что можно и что им будут предоставлены такие удобства и обеспечен такой уход, каких они не найдут и в Сарагосе. Они спешились, после чего Санчо отнес свои припасы в кладовую, от коей хозяин выдал ему ключ; засим он отвел животных в стойло, задал им корму и, воссылая особые благодарения небу за то, что постоялый двор не показался Дон Кихоту замком, отправился к своему господину за дальнейшими приказаниями, Дон Кихот же сидел на скамье у ворот. Между тем пора было ужинать, и, прежде чем пройти вместе с Дон Кихотом в отведенное им помещение, Санчо спросил хозяина, что он может предложить им на ужин. На это хозяин ответил ему в таком роде: все, что, мол, их душе угодно, что хотят, то пусть, мол, и спрашивают, ибо сей постоялый двор снабжен и птичками небесными, и птицею домашнею, и рыбами морскими.

– Так много нам не требуется, – заметил Санчо, – нас вполне удовлетворит пара жареных цыплят, потому у господина моего натура деликатная и кушает он мало, да и я не какой-нибудь там обжора.

Хозяин сказал, что цыплят он предложить не может, оттого что их у него задрали коршуны.

– Ну так прикажите, сеньор хозяин, зажарить курочку, какую пожирнее, – сказал Санчо.

– Курочку? Ах ты, господи! – вскричал хозяин. – Даю вам слово, я вчера отослал на продажу в город более полсотни кур, а кроме кур, требуйте, ваша милость, чего хотите.

– В таком разе у вас, уж верно, найдется телятина или козлятина, – продолжал Санчо.

– В настоящее время и то и другое кончилось: во всем доме не найдете, – отвечал хозяин, – зато на следующей неделе будет сколько угодно.

– Хорошенькое дело! – заметил Санчо. – Впрочем, я побьюсь об заклад, что коли всего этого у вас нехватка, зато сала и яиц предостаточно.

– Клянусь богом, сеньор проезжающий отличается завидной настойчивостью! – воскликнул хозяин. – Я же вам только что сказал, что у меня нет ни цыплят, ни кур, так откуда же возьмутся яйца? Переведите разговор, если вам угодно, на другие лакомства, но давайте забудем о птичьем молоке.

– К делу, черт побери! – объявил Санчо. – Скажите наконец, сеньор хозяин, что у вас есть, и давайте совсем прекратим этот разговор.

Хозяин на это сказал:

– Что я воистину и вправду могу предложить вам, так это пару коровьих копыт, смахивающих на телячьи ножки, или, вернее, пару телячьих ножек, смахивающих на коровьи копыта; они уже сварены с горохом, приправлены луком и салом, и вид у них такой, словно они хотят сказать: «Скушайте нас! Скушайте нас!»

– Я беру их себе, – объявил Санчо, – и пусть никто к ним не притрагивается; заплачу я за них лучше всякого другого, потому это самое любимое мое блюдо, а будут ли то копыта или ножки – это мне безразлично.

– Никто к ним не притронется, – сказал хозяин, – прочие мои постояльцы всё люди знатные, у них свои повара, экономы и свои припасы.

– Ну, по части знатности никто моего господина не перещеголяет, – возразил Санчо, – вот только служба его не дозволяет ему возить с собой погребцы да припасы: мы располагаемся с ним прямо на лужайке и подкрепляемся желудями или кизилом.

Такую беседу вели между собой Санчо и хозяин постоялого двора; Санчо, однако ж, не захотел ее продолжать и не ответил на вопрос о том, чем занимается и где подвизается его господин. Итак, наступил час ужина, Дон Кихот проследовал в свою комнату, хозяин принес туда заказанное блюдо, и Дон Кихот с весьма решительным видом тотчас к нему приступил. Но в это самое время из соседней комнаты, которая была отделена от этой всего лишь тонкой перегородкой, до слуха Дон Кихота донеслись такие слова:

– Пожалуйста, сеньор дон Херонимо, пока нам не подали ужин, давайте прочтем еще одну главу из второй части *Дон Кихота Ламанчского.*

Услыхав свое имя, Дон Кихот тотчас вскочил, напряг все свое внимание, и слуха его достигнул ответ вышеназванного дона Херонимо:

– Ну к чему нам, сеньор дон Хуан, читать такие нелепости? Ведь у всякого, кто читал первую часть истории *Дон Кихота Ламанчского,* должна пропасть охота читать вторую.

– Со всем тем, – возразил дон Хуан, – прочитать ее не мешает, оттого что нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего. Мне лично больше всего не нравится, что во второй части Дон Кихот разлюбил Дульсинею Тобосскую.[208]

Услышав это, Дон Кихот преисполнился гнева и негодования и, возвысив голос, сказал:

– Всякому, кто осмелится утверждать, что Дон Кихот Ламанчский забыл или же способен забыть Дульсинею Тобосскую, я докажу в единоборстве, на условиях равного оружия, сколь далек он от истины, ибо несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забыта, равно как и Дон Кихот Ламанчский не может впасть в забывчивость: его девиз – постоянство, а его призвание – выказывать свое постоянство без назойливости и не насилуя себя.

– Кто это нам отвечает? – спросили из другой комнаты.

– Кто же еще, как не сам Дон Кихот Ламанчский? – крикнул Санчо. – И он вам сумеет доказать, что он прав во всем, что сказал сейчас, и во всем, что еще когда-нибудь скажет, потому исправному плательщику залог не страшен.

Только успел Санчо вымолвить это, как дверь отворилась и вошли два человека, по виду – кавальеро, из коих один, заключив Дон Кихота в объятия, молвил:

– Ваша наружность удостоверяет ваше имя, имя же ваше не вступает в противоречие с вашей наружностью: вне всякого сомнения, вы, сеньор, и есть подлинный Дон Кихот Ламанчский, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, существующий вопреки и наперекор тому, кто вознамерился похитить ваше имя и развенчать ваши подвиги, а именно автору вот этой самой книги.

Тут он взял у своего приятеля книгу и передал Дон Кихоту; Дон Кихот молча стал ее перелистывать и, весьма скоро возвратив, молвил:

– Я просмотрел немного, однако уже успел заметить три вещи, достойные порицания: это, во-первых, некоторые выражения в прологе; во-вторых, то, что книга написана на арагонском наречии, с пропуском некоторых частей речи; в-третьих, – и это особенно явно выдает невежество автора, – он путается и сбивается с толку в одном весьма важном пункте: он объявляет, что жену моего оруженосца Санчо Пансы зовут Мари Гутьеррес, на самом же деле ее зовут совсем не так: ее зовут Тересой Панса, а кто путает такие важные вещи, от того можно ожидать, что он перепутает и все остальное.

Тут вмешался Санчо:

– Нечего сказать, правдивый повествователь! Хорошо же, значит, осведомлен он о наших делах, коли жену мою Тересу Панса величает Мари Гутьеррес! Возьмите-ка, сеньор, еще разок эту книжку и поглядите, не действую ли в ней и я и не переврано ли там и мое имя.

– Судя по твоим словам, друг мой, ты, верно уж, Санчо Панса, оруженосец сеньора Дон Кихота? – спросил дон Херонимо.

– Да, это я, – подтвердил Санчо, – и горжусь этим.

– Можешь мне поверить, – сказал кавальеро, – что этот новый автор изображает тебя вовсе не таким приятным, каким ты нам кажешься: он выдает тебя за обжору, простака, и притом отнюдь не забавного – словом, нимало не похожего на того Санчо, который описан в первой части истории твоего господина.

– Бог ему судья, – заметил Санчо. – Лучше бы оставил он меня в покое и позабыл обо мне: было бы корыта – свиньи-то найдутся, а мое дело сторона.

Оба кавальеро пригласили Дон Кихота к себе в комнату вместе отужинать: им-де хорошо известно, что на постоялом дворе нельзя найти кушаний, достойных его особы. Дон Кихот по свойственной ему учтивости принял их предложение и отужинал с ними; Санчо благодаря этому получил телячьи ножки в полное свое распоряжение; он сел на почетное место, а к нему присоседился хозяин, который был не меньшим, чем Санчо, охотником до ножек и до копыт.

За ужином дон Хуан спросил Дон Кихота, что слышно о сеньоре Дульсинее Тобосской: не вышла ли она замуж, не родила ли, не забеременела ли, а если осталась непорочной, то хранит ли в своей скромной и целомудренной памяти любовные мечтания сеньора Дон Кихота. Дон Кихот же ему на это ответил так:

– Дульсинея осталась непорочной, мечтания мои – упорнее, чем когда бы то ни было, отношения наши по-прежнему отличаются сдержанностью, прекрасная же ее наружность превращена в наружность грубой сельчанки.

И тут он им рассказал во всех подробностях о том, как сеньора Дульсинея была заколдована, о том, что с ним произошло в пещере Монтесиноса, а равно и о том, что мудрый Мерлин велел сделать, дабы расколдовать Дульсинею, то есть о порке, коей должен был себя подвергнуть Санчо. Изрядно было то удовольствие, какое получали оба кавальеро, слушая рассказ Дон Кихота о необычайных его похождениях, и их приводили в равное изумление как самые его бредни, так и его изящная манера изложения. Они уже совсем готовы были признать его за человека здравомыслящего, как вдруг у него снова начинал заходить ум за разум, и они всё не могли определить, к какому разряду скорее можно его отнести: к разряду людей здравомыслящих или помешанных.

Между тем Санчо тотчас после ужина покинул хозяина, находившегося в состоянии сильного подпития, и, проследовав в соседнюю комнату, объявил:

– Убейте меня, сеньоры, если автор этой книги, которую ваши милости привезли с собой, не желает со мной рассориться. Ну пусть он назвал меня объедалой, так хоть бы уж пьянчугой-то не называл.

– Как же, он и это говорит о тебе, – сказал дон Херонимо, – не помню, правда, в каких именно выражениях, – одно могу сказать, что говорит он о тебе вещи предосудительные, да к тому же еще и неверные, сколько я могу судить по физиономии того доброго Санчо, который находится сейчас передо мной.

– Поверьте, ваши милости, – сказал Санчо, – что в этой истории Санчо и Дон Кихот, должно полагать, изображены совсем не такими, какими нас представил в книге своего сочинения Сид Ахмет Бен-инхали и каковы мы и есть в жизни: мой господин выведен у Сида Ахмета человеком отважным, мудрым и, кроме того, пылким влюбленным, я же – простодушным и забавным, а вовсе не пьяницей и не обжорой.

– Я с тобой согласен, – объявил дон Хуан. – Если б только это было возможно, следовало бы воспретить писать что-либо о великом Дон Кихоте всем, кроме первого его жизнеописателя, Сида Ахмета, подобно как Александр Македонский воспретил изображать себя всем художникам за исключением Апеллеса.

– Пусть меня изображает, кто хочет, – заметил Дон Кихот, – но только пусть не искажает, потому что когда тебя оскорбляют на каждом шагу, так тут невольно потеряешь всякое терпение.

– Нет такого оскорбления, – возразил дон Хуан, – за которое сеньор Дон Кихот не сумел бы отомстить, если только оно не разобьется о щит его терпения, щит же этот, сколько я понимаю, велик и крепок.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи, и сколько ни старался дон Хуан, чтоб Дон Кихот еще разок заглянул в книгу и на сей предмет поразглагольствовал, однако ж упорство Дон Кихота нельзя было сломить: он отговаривался тем, что, в сущности, уже читал ее, что книжка дурацкая и он опасается, как бы автор, случайно узнав, что он, Дон Кихот, держал ее в руках, не обрадовался и не подумал, что он ее читал, от вещей же непристойных и безобразных должно отвращать помыслы, а тем паче взоры. Его спросили, куда именно он направляет путь. Он ответил, что в Сарагосу, для участия в турнире с призами, который в том городе устраивается ежегодно. Дон Хуан заметил, что в этой новой книге рассказывается, как Дон Кихот, или, вернее, кто-то другой под его именем, участвовал на таком турнире в скачках с кольцами – турнире, скудно обставленном, с жалкими девизами и с еще более жалкими нарядами, но зато изобиловавшем всякими глупостями.

– В таком случае, – объявил Дон Кихот, – ноги моей не будет в Сарагосе, – тем самым я выведу на свежую воду этого новоявленного лживого повествователя, и тогда все увидят, что Дон Кихот, которого изобразил он, это не я.

– Отлично сделаете, – заметил дон Херонимо, – тем более что будет еще один турнир, в Барселоне: там сеньор Дон Кихот с не меньшим успехом может выказать свою доблесть.

– Так я и сделаю, – объявил Дон Кихот. – А теперь попрошу у ваших милостей позволения удалиться: мне пора на покой. Еще я прошу вас записать и занести меня в число ваших самых преданных друзей и слуг.

– И меня также, – присовокупил Санчо. – Может, и я на что-нибудь пригожусь.

На этом они расстались: Дон Кихот и Санчо ушли к себе, дон Хуан же и дон Херонимо долго еще дивились этому смешению здравомыслия и безумия, и у них не оставалось сомнений, что они видели настоящих Дон Кихота и Санчо, а не тех, кого описывал арагонский сочинитель.

Наутро Дон Кихот встал пораньше и, постучав в перегородку соседней комнаты, попрощался с кавальеро, у которых он вчера вечером был в гостях. Санчо весьма щедро расплатился с хозяином и посоветовал ему, чтобы он поменьше расхваливал припасы своего заведения или уж получше его таковыми снабжал.



Глава LX

О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону



Утро выдалось прохладное, и день обещал быть точно таким же, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, предварительно осведомившись, какая дорога ведет прямо в Барселону, минуя Сарагосу, – так хотелось ему уличить во лжи нового повествователя, который, как ему говорили, его оболгал. И за целых шесть дней с ним не произошло ничего такого, что заслуживало бы описания, по истечении же таковых его застигла ночь в стороне от большой дороги, в чаще дубового леса, а какие то были дубы, простые или же пробковые, по сему поводу Сид Ахмет против обыкновения не дает точных указаний.

Господин и слуга спешились и расположились под деревьями, после чего Санчо, успевший в тот день хорошенько подзакусить, мгновенно юркнул в ворота сна, зато Дон Кихот, коему не столько голод не давал спать, сколько его думы, никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился в места самые разнообразные. То ему представлялось, будто он находится в пещере Монтесиноса, то чудилось ему, будто превращенная в сельчанку Дульсинея подпрыгивает и вскакивает на ослицу, то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, излагавшего условия и способы расколдования Дульсинеи. Его приводили в отчаяние нерадение и бессердечие оруженосца Санчо, который, сколько Дон Кихоту было известно, нанес себе всего лишь пять ударов, то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бессчетным числом ударов, которые ему еще оставалось себе нанести. И мысль эта привела Дон Кихота в такое беспокойство и раздражение, что он начал сам с собой рассуждать: «Александр Великий разрубил гордиев узел со словами: „Что разрубить, что развязать – все едино“, и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей Азии, следственно, не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием Дульсинеи, если я, вопреки желанию самого Санчо, его отхлещу. Единственное условие этого предприятия заключается в том, чтобы Санчо получил три тысячи с лишним ударов, а коли так, то не все ли мне равно, кто их ему нанесет: он сам или же кто-то другой? Важно, чтоб он их получил, а как это произойдет – меня не касается».

С этою целью, захвативши Росинантову узду и сложивши ее таким образом, чтобы можно было ею хлестать, он приблизился к Санчо и начал расстегивать ему помочи, вернее, одну переднюю пуговицу, на которой только и держались его шаровары. Но едва лишь Дон Кихот дотронулся до Санчо, как с того мгновенно соскочил сон.

– Что это? – спросил Санчо. – Кто меня трогает и раздевает?

– Это я, – отвечал Дон Кихот, – я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку: я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе хотя бы частично выполнить твое обязательство. Дульсинея гибнет, ты никаких мер не принимаешь, я умираю от любви к ней, так вот изволь по собственному желанию снять штаны, ибо мое желание состоит в том, чтобы отсчитать тебе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов.

– Ну уж нет, – отозвался Санчо, – успокойтесь, ваша милость, а не то, истинный бог, я за себя не ручаюсь. Удары, которые я обязался себе отсчитать, должны быть добровольными, а не насильственными, а сейчас мне совсем не хочется себя хлестать. Я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя, когда мне придет охота, и будет с вас.

– Нельзя полагаться на твою любезность, Санчо, – возразил Дон Кихот, – оттого что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и деревенщина, нежное.

И по сему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны; в конце концов Санчо вскочил, бросился на своего господина, сцепился с ним и, давши ему подножку, повалил наземь; засим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так, что Дон Кихот не мог ни повернуться, ни вздохнуть.

– Как, предатель? – кричал Дон Кихот. – Ты восстаешь на своего господина и природного сеньора? Ты посягаешь на того, кто тебя кормит?

– Я не свергаю и не возвожу на престол королей,[209] – отвечал Санчо, – я спасаю себя, потому я сам себе сеньор. Обещайте, ваша милость, вести себя смирно и не приставать ко мне с поркой, тогда я вас освобожу и отпущу, а коли нет, то —

Здесь ты и умрешь, изменни,[210]

Доньи Санчи враг заклятый.

Дон Кихот дал обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив бичевание доброй воле его и хотению. Санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние; когда же он вознамерился прикорнуть под другим деревом, то почувствовал, что кто-то словно коснулся его головы: он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха; он бросился еще к одному дереву, но и тут с ним произошло то же самое. Он позвал на помощь Дон Кихота. Дон Кихот явился, и на вопрос, что случилось и чего он так испугался, Санчо ответил, что здесь все деревья увешаны человеческими ногами. Дон Кихот ощупал деревья и, тотчас догадавшись, что это такое, сказал Санчо:

– Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты осязаешь, хотя и не видишь, принадлежат, разумеется, злодеям и разбойникам, на этих деревьях повешенным: власти, когда изловят их, обыкновенно вешают именно здесь, по двадцать, по тридцать человек сразу. Из этого я заключаю, что мы недалеко от Барселоны.[211]

И точно, предположение Дон Кихота оказалось справедливым.

Когда на небе загорелась заря, путники обратили взоры свои вверх и увидели, что на деревьях гроздьями висят тела разбойников. Между тем становилось все светлее и светлее, и если сначала их ужаснули мертвецы, то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников, которые внезапно их окружили и на каталонском языке приказали им стоять смирно и не двигаться с места до тех пор, пока не прибудет атаман. Дон Кихот был пеш, конь его был разнуздан, копье прислонено к дереву – словом, он был беззащитен, а потому рассудил за благо, приберегая силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельств, сложить руки и склонить голову.

Разбойники поспешили обыскать осла и забрать все, что находилось в переметной суме, а равно и в чемодане, но, к счастью для Санчо, деньги, которые ему подарил герцог, вместе с теми, которые он взял с собой, отправляясь из родного села в поход, были спрятаны у него в поясе. И все же эти люди не преминули бы ощупать его с головы до ног, чтобы удостовериться,

нет ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, когда бы в это самое время не подоспел атаман; ему можно было дать года тридцать четыре, росту он был выше среднего, широк в плечах, с виду сумрачен, лицом смугл. Под ним был могучий конь, одет он был в стальную кольчугу, по бокам у него висели четыре пистолета (такие пистолеты в тех краях носят название кремневиков). Увидев, что его *оруженосцы,* как обыкновенно называют людей, избравших себе таковой род занятий, намереваются грабить Санчо Пансу, он велел не трогать его, и они тотчас повиновались; так был спасен пояс с деньгами. Атаман пришел в изумление при виде копья, которое было прислонено к дереву, щита, лежавшего на земле, и облаченного в доспехи самого Дон Кихота, о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица, точно он был олицетворенная печаль. Приблизившись к нему, атаман заговорил:

– Не печальтесь, добрый человек: вы попали не к какому-нибудь свирепому Озирису,[212] а к Роке Гинарту, который не столько жесток, сколько милосерд.

– Печаль моя, – отвечал Дон Кихот, – вызвана не тем, что я оказался в твоей власти, доблестный Роке Гинарт, коего слава в этом мире не знает предела, но тем, что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоим воинам, меж тем как по уставу странствующего рыцарства, к ордену которого я принадлежу, мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги, быть всечасным стражем самого себя. Да будет ведомо тебе, великий Роке, что, если б воины твои напали на меня, когда подо мною был конь и при мне находились копье и щит, им не так-то легко было бы со мною справиться, ибо я – Дон Кихот Ламанчский, славою о подвигах коего полнится вся земля.

Тут Роке Гинарт догадался, что Дон Кихот прежде всего безумец, а потом уже храбрец, и хотя ему приходилось о нем слышать, однако ж деяниям его он не верил и не допускал мысли, чтобы этакая блажь способна была овладеть человеческим сердцем; и он был чрезвычайно рад этой встрече, ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то, о чем до него издалека доходили слухи; обратился же он к Дон Кихоту с такими словами:

– Доблестный рыцарь! Не гневайтесь и участь свою не почитайте злою: может статься, что в этих-то ухабах извилистый жребий ваш как раз и выпрямится, ибо провидение поднимает падших и обогащает бедных путями необыкновенными, невиданными и неисповедимыми.

Не успел Дон Кихот поблагодарить его, как сзади послышался такой громкий топот, точно скакал табун лошадей, между тем это был только один конь, на котором бешено мчался юноша лет двадцати, в зеленом шелковом камзоле с золотыми позументами, в шароварах и кафтанчике, в шляпе на валлонский манер, с перьями, в узких провощенных сапогах, с золоченою шпагою, кинжалом и шпорами, с маленьким мушкетом в руке и с парою пистолетов у пояса. Роке оглянулся на шум и увидел прекрасного этого всадника, всадник же, приблизившись к нему, заговорил:

– Я приехала к тебе, доблестный Роке, не за тем, чтобы ты избавил меня от моей недоли, но затем, чтобы ты облегчил мою участь. А чтобы разрешить твое недоумение, – я вижу, ты меня не узнаешь, – я тебе сейчас скажу, кто я такая: я Клаудия Херонима, дочь Симона Форте, находящегося в тесной дружбе с тобой и в непримиримой вражде с Клаукелем Торрельясом, который является также и твоим врагом, потому что принадлежит к враждебному тебе лагерю. Ты, конечно, знаешь, что у этого Торрельяса есть сын, дон Висенте Торрельяс, – так, по крайней мере, он звался еще два часа назад. Чтобы сократить повесть о моем горе, я в немногих словах расскажу тебе, какое именно горе причинил мне этот человек. Мы с ним встретились, он изъяснился мне в любви, я ему поверила и, втайне от моего отца, полюбила его: должно заметить, что нет на свете такой женщины, хотя бы она была самых строгих правил и самого скромного поведения, у которой, однако ж, с избытком недостало бы времени, чтобы осуществить и исполнить пламенные свои желания. В конце концов он обещал на мне жениться, я также поклялась быть его супругой, но дальше слов мы, однако, не пошли. И вот вчера я узнала, что, позабыв о своем долге предо мною, он женится на другой и что сегодня

утром надлежит быть их свадьбе, от какового известия кровь бросилась мне в голову и я перестала владеть собой, а как отец мой находится в отъезде, то я смогла надеть на себя вот это самое платье, пустила коня во весь опор, нагнала дона Висенте на расстоянии одной мили отсюда и, не тратя времени на жалобы и не слушая его оправданий, выстрелила из мушкета, а затем еще из обоих этих пистолетов, и, всадив в него, как мне кажется, не менее двух пуль, отворила врата, чрез которые, омытая его кровью, возвратилась ко мне моя честь. С ним остались его слуги, – они не посмели и не смогли защитить его. А я – я поехала к тебе затем, чтобы ты помог мне переправиться во Францию, где у меня есть родные, у которых я найду себе пристанище, и еще я прошу тебя взять под свое покровительство моего отца, чтобы многочисленная родня дона Висенте не осмелилась жестоко мстить ему.

Дивясь статности, пышности наряда, пригожеству, а равно и самому приключению прелестной Клаудии, Роке сказал:

– Послушай, сеньора: прежде надобно удостовериться, подлинно ль умер твой недруг, а потом уж решим, как быть с тобой.

Дон Кихот, со вниманием выслушав рассказ Клаудии и ответ Роке Гинарта, молвил:

– Пусть никто не трудится защищать сеньору, – я беру это на себя. Дайте мне моего коня, оружие и ждите меня здесь: я поеду к этому рыцарю и, живого или мертвого, заставлю его исполнить обещание, данное этой красавице.

– Можете не сомневаться, что так оно и будет, – заметил Санчо, – у моего господина прелегкая рука по части сватовства: на днях он склонил на брак другого такого голубчика, который тоже отрекся от своего слова и изменил своей невесте, и если б только волшебники, преследующие моего господина, не превратили лицо этого человека в лицо лакея, то теперь бы уж эта девушка была замужней женщиной.

Роке Гинарта более занимали мысли о происшествии с прелестной Клаудией, нежели речи господина и слуги, а потому он и не слушал их; велев своим *оруженосцам* отдать Санчо все, что они сняли с серого, и перейти на то место, где они провели минувшую ночь, он вместе с Клаудией поспешил на поиски то ли раненого, то ли убитого дона Висенте. Они прибыли туда, где Клаудия его встретила, и не нашли ничего, кроме следов недавно пролитой крови; однако, оглядевшись по сторонам и заметив, что по склону холма движутся люди, они предположили (каковое их предположение соответствовало истине), что это слуги дона Висенте несут своего господина, то ли мертвого, то ли живого, чтобы вылечить его, а может статься, чтобы предать погребению; путники наши припустили коней за ними вдогонку, а как слуги дона Висенте шли медленно, то им без труда удалось их настигнуть. Слуги несли дона Висенте на руках, и он слабым, прерывающимся голосом молил их оставить его умереть здесь, оттого что боль от ран не позволяла ему двигаться дальше.

Клаудия и Роке, соскочив с коней, приблизились к нему; появление Роке напугало слуг, Клаудия же была потрясена видом дона Висенте; с участливым и вместе суровым выражением лица склонилась она над ним и, взяв его за руку, молвила:

– Если б ты отдал мне свою руку, как было между нами условлено, твой жребий был бы иной.

Раненый кавальеро открыл свои почти уже закрывшиеся очи и, узнав Клаудию, заговорил:

– Я знаю, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты умертвила меня, хотя эта кара мной не заслужена и не вызвана ни намерениями моими, ни моими поступками, ибо я ничем тебя не оскорбил, да и не хотел оскорбить.

– А разве у тебя не было намерения обвенчаться нынче утром с Леонорой, дочерью богача Бальвастро? – спросила Клаудия.

– Разумеется, что не было, – отвечал дон Висенте. – Видно, такая уж моя злая доля, что слуха твоего достигла ложная эта весть и ты из ревности лишила меня жизни, – впрочем,

расставаясь с жизнью на твоих руках и в твоих объятиях, я почитаю удел мой счастливым. А чтобы тебе в том увериться, пожми мою руку и, если хочешь, будь моею супругой, – большего удовлетворения за обиду, которую я будто бы тебе причинил, я дать не могу.

Клаудия сжала ему руку, и при этом у нее самой так сжалось сердце, что она без чувств упала на окровавленную грудь дона Висенте, а у дона Висенте уже началась агония. Роке находился в смятении и не знал, что предпринять. Слуги бросились за водой и сбрызнули дона Висенте и Клаудию. Клаудия очнулась, но дон Висенте уже не пришел в себя, ибо жизнь от него отлетела. Тогда Клаудия, уразумев, что любезного супруга ее уже нет в живых, огласила воздух стенаниями, потрясла небо своими жалобами, распустила волосы и стала их рвать, стала царапать себе лицо, и вся она была полна такой бесконечной скорби и муки, ничего сильнее которой не могла бы испытать ни одна страждущая душа в мире.

– О жестокая и безрассудная женщина! – восклицала Клаудия. – С какою легкостью привела ты преступный свой замысел в исполнение! О бешеная сила ревности! К какому гибельному пределу влечешь ты всех, кто дал тебе приют в своем сердце! О мой супруг! Ты был моим сокровищем, но завистливый рок уготовал тебе вместо брачного ложа могилу!

Столь продолжительны и столь печальны были сетования Клаудии, что слезы навернулись даже на глазах у Роке, который ни при каких обстоятельствах обыкновенно не проливал их. Слуги плакали, Клаудия беспрестанно теряла сознание, и вся эта местность словно превратилась в юдоль плача и обитель горести. Наконец Роке Гинарт велел слугам дона Висенте отнести покойника в деревню его отца, находившуюся неподалеку, и там похоронить. Клаудия сказала Роке, что ее тетка – настоятельница одного из женских монастырей и что она, Клаудия, желает поступить в этот монастырь и там окончить дни свои, ожидая иного жениха, прекраснейшего и бессмертного. Роке одобрил ее намерение, предложил проводить, куда ей надобно, и обещал в случае чего защитить ее отца от родни дона Висенте, а равно и от всех, кто только попытается причинить ему зло. Клаудия наотрез отказалась от проводов и, в самых учтивых выражениях поблагодарив Роке за его готовность помочь ей, вся в слезах с ним простилась. Слуги дона Висенте унесли его тело, а Роке возвратился к своим молодцам. Таков был конец любви Клаудии Херонимы, но что же в том удивительного, коль скоро ткань печальной ее истории была соткана неодолимою и жестокою рукою ревности?

Роке Гинарт встретился со своими *оруженосцами* в условленном месте, с ними был и Дон Кихот: сидя верхом на Росинанте, он держал к ним речь и уговаривал бросить ту жизнь, какую они вели, равно опасную как для души, так и для тела; однако же большинство этой шайки составляли гасконцы, народ грубый и распущенный, а потому речь Дон Кихота оказала на них слабое действие. По приезде своем Роке осведомился у Санчо Пансы, возвращены ли и отданы ли ему все те сокровища и драгоценности, которые были сняты его, Роке Гинарта, людьми с серого. Санчо ответил утвердительно, – не хватает, мол, только трех косынок, таких дорогих, что на них можно выменять три города.

– Что ты, чудак человек, болтаешь? – вмешался один из разбойников. – Косынки у меня, и красная им цена – три реала.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – однако мой оруженосец весьма дорожит ими из уважения к особе, которая мне их подарила.



Роке Гинарт распорядился немедленно возвратить их Санчо, а затем, выстроив людей своих в ряд, велел им выложить одежду, драгоценности, деньги – словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи; он быстро произвел оценку и, переведя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно, ни на йоту не уклонившись от дистрибутивного права и ни в чем против него не погрешив. После того как все были удовлетворены, ублаготворены и вознаграждены, Роке, обратясь к Дон Кихоту, пояснил:

– Если не проявлять такой точности, с ними невозможно было бы ужиться.

На это Санчо заметил:

– Судя по тому, что я сейчас видел, справедливость – такая хорошая вещь, что ее и с ворами соблюдать должно.

Один из *оруженосцев* это услышал и замахнулся на Санчо прикладом своей аркебузы, каковым он, без сомнения, проломил бы ему голову, когда бы Роке Гинарт не остановил его

окриком. Санчо обомлел и дал себе слово не раскрывать рта, пока будет находиться в обществе этих людей.

В это самое время прибежал то ли один, то ли сразу несколько *оруженосцев,* которых ставят, как часовых, на дорогах, чтобы они следили за прохожим и проезжим людом и обо всем докладывали своему главарю, и кто-то из них сказал:

– Сеньор! Невдалеке, на Барселонской дороге, показалось много народу.

Роке его спросил:

– А ты не разглядел, какие это люди: из числа тех, что охотятся за нами, или же из числа тех, за кем охотимся мы?

– Из числа тех, за кем охотимся мы, – отвечал *оруженосец.*

– В таком случае выступайте все, – приказал Роке, – и как можно скорей приведите их сюда, да глядите, чтобы никто из них не ускользнул.

Разбойники ушли, а Дон Кихот, Санчо и Роке стали ждать, кого они приведут, и Роке тем временем обратился к Дон Кихоту с такими словами:

– Необычайными должны были показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, наши похождения, наши приключения, – необычайными и опасными, и это меня не удивляет, я и сам сознаю, что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями, нежели наш. Меня на это толкнула неутолимая жажда мести, а ведь эта жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные: от природы я человек отзывчивый и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей, что я вопреки и наперекор рассудку закоренел в этой своей страсти, а как одна бездна влечет за собой другую и один грех влечет за собою другой, то мстительные мои деяния до того переплелись, что ныне я мщу уже не только за свои, но и за чужие грехи. Однако, по милости божией, я хоть и запутался в лабиринте моего смятения, а все не теряю надежды из него выбраться и достигнуть тихого пристанища.

С удивлением слушал Дон Кихот благие и разумные слова Роке, – прежде он был уверен, что среди тех, кто занимается грабежом, убийством и разбоем, нельзя найти человека, способного здраво рассуждать, и повел он с атаманом такую речь:

– Сеньор Роке! Знание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом, – это уже начало выздоровления: вы, ваша милость, больны, знаете свой недуг, и небо, или, лучше сказать, господь бог, который является нашим врачом, назначит вам лекарства, от коих вы поправитесь, – лекарства, исцеляющие постепенно, но не вдруг и не чудом. К тому же грешники разумные ближе к исправлению, чем неразумные, а как ваша милость выказала в своих речах мудрость, то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей. Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною: я научу вас быть странствующим рыцарем, – странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и злоключений, что, являясь для него покаянием, они приводят его прямо в рай.

Выслушав совет Дон Кихота, Роке усмехнулся и, переменив разговор, рассказал трагическую историю Клаудии Херонимы, чем крайне расстроил Санчо, на которого произвели сильное впечатление красота, смелость и решительность девушки.

Тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух всадников верхом на мулах, двух пеших паломников, карету, в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг, пеших и конных, и, наконец, двух погонщиков, которых взяли себе в услужение всадники. Разбойники оцепили их всех, при этом и побежденные, и победители хранили совершенное молчание, ожидая, что скажет сам Роке

Гинарт, атаман же спросил всадников, что они за люди, куда путь держат и сколько у них с собой денег. На это ему один из всадников ответил так:

– Сеньор! Мы оба – офицеры испанской пехоты, части наши стоят в Неаполе, мы же направляемся в Барселону, откуда, сколько нам известно, должны отойти галеры в Сицилию. Денег у нас не то двести, не то триста эскудо, и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой: ведь солдаты обыкновенно настолько бедны, что о больших сокровищах и мечтать не смеют.

С теми же самыми вопросами обратился Роке к паломникам, – они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих, пожалуй, наберется реалов шестьдесят. Затем Роке осведомился, кто едет в карете, куда именно и сколько везут с собой денег, на что один из конных слуг ответил так:

– В карете едет моя госпожа донья Гьомар де Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею малолетняя ее дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

– Таким образом, – рассудил Роке Гинарт, – у нас здесь всего девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, людей же у меня около шестидесяти. Проверим, сколько придется на брата, а то ведь я счетчик неважный.

Тут грабители дружно воскликнули:

– Много лет здравствовать Роке Гинарту на горе всем негодяям, что ищут его погибели!

Офицеры были, по-видимому, удручены, жена верховного судьи опечалилась, да и паломники отнюдь не возвеселились, узнав, что денежные средства будут у них отобраны. С минуту Роке держал их всех в состоянии мучительной неизвестности, затем, решившись не томить их долее, – а томление было написано на их лицах, – обратился к офицерам и снова заговорил:

– Господа офицеры! Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, шестьдесят эскудо, а у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, так мои люди будут удовлетворены, – ведь вы сами знаете: поп тем и живет, что молитвы поет, – а засим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь: я вам выдам охранную грамоту, чтобы в случае, если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов, разбросанных по всей округе, он вас не трогал, ибо чинить обиды воинам, а равно и женщинам, тем паче – женщинам благородным, не входит в мои намерения.

Офицеры без конца и в самых изысканных выражениях благодарили Роке за то, что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги. Сеньора донья Гьомар де Киньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руки и ноги, но он этому решительно воспротивился, более того: он попросил у нее прощения за ту неприятность, которую он вынужден был причинить ей, ибо того требовало несчастное его ремесло. Супруга верховного судьи велела одному из слуг своих немедленно выдать причитавшиеся с нее восемьдесят эскудо, офицеры же отсчитали шестьдесят. Паломники также готовы были расстаться с жалкими своими грошами, но Роке сказал, чтобы они не беспокоились, а затем, обратясь к своим людям, распорядился:

– Каждый из вас получит из этих денег по два эскудо, остается двадцать: десять из них мы отдадим паломникам, а остальные десять – славному спутнику этого рыцаря, чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение.

Когда Роке подали письменные принадлежности, которые он всюду возил с собой, он составил охранную грамоту на имя главарей всех своих отрядов, а затем, попрощавшись с пленниками, отпустил их с миром, они же не могли надивиться его благородству, величественной наружности и необычности поведения, что делало его похожим скорее на Александра Великого, нежели на знаменитого разбойника. Один из *оруженосцев* заметил на своем гасконско-каталонском наречии:

– Нашему атаману монахом быть, а не разбойником. Если он и дальше будет проявлять такую же щедрость, то пусть делает это за свой, а не за наш счет.

Несчастный произнес эти слова не настолько тихо, чтобы Роке не мог его услышать, – выхватив меч, атаман рассек ему голову надвое и сказал:

– Вот как я наказываю наглецов, которые распускают язык.

Все замерли, и ни один разбойник не посмел проронить ни слова: так боялись они своего атамана.

Роке отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю, в коем уведомлял его о том, что сейчас у него находится достославный Дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько существует рассказов, доводил до его сведения, что это самый занятный и самый здравомыслящий человек на свете и что через несколько дней, а именно в день святого Иоанна Крестителя, он, Роке, доставит его в полном вооружении, верхом на Росинанте, на Барселонскую набережную, а вместе с ним и его оруженосца Санчо Пансу верхом на осле, и просил дать знать об этом своим друзьям Ньярам, чтобы они повеселились; далее Роке признавался, что хотел бы лишить этого удовольствия своих врагов Каделлей, но это-де невозможно, оттого что сумасбродство и благоразумие Дон Кихота, равно как и остроты его оруженосца Санчо Пансы, не могут не послужить развлечением всему свету. Роке отдал это письмо одному из своих *оруженосцев,* и тот, сменив разбойничье платье на крестьянское, пробрался в Барселону и вручил письмо по назначению.



Глава LXI

О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости



Три дня и три ночи провел Дон Кихот в обществе Роке, но, проживи он с ним и триста лет, все равно не уставал бы он с удивлением наблюдать, как живут разбойники: пробуждались они в одном месте, обедали в другом; то вдруг бежали, сами не зная от кого, то неведомо чего ожидали. Спали они на ходу, поминутно прерывая сон и беспрестанно кочуя. Все время они высылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили аркебуз, – впрочем, аркебуз у них было немного, почти все разбойники были вооружены кремневыми пистолетами. На ночь Роке уединялся в укромные места, никому из его людей не известные, ибо многочисленные указы барселонского вице-короля, в коих была оценена голова атамана, держали его в состоянии вечной тревоги и страха; он никому не доверял, он боялся, что его убьют или выдадут властям свои же: воистину жалкая и тягостная жизнь.

Наконец давно не езженными дорогами, глухими и потаенными тропами Роке, Дон Кихот и Санчо вместе с шестью *оруженосцами* добрались до Барселоны. На набережную они прибыли в ночь накануне Иоанна Крестителя, и тут Роке, обняв сперва Дон Кихота, а затем Санчо и только теперь вручив ему обещанные десять эскудо, после долгих взаимных учтивостей удалился.

Роке исчез, а Дон Кихот, как был, верхом на коне, остался ждать рассвета, и точно: не в долгом времени в окнах востока показался ясный лик Авроры, если и не ласкавший слуха человеческого,[213] то, во всяком случае, доставлявший радость цветам и травам; впрочем, в ту же самую минуту слух Дон Кихота и Санчо был приятно поражен доносившимися, по-видимому, со стороны города звуками множества труб и барабанов, звоном бубенчиков и быстро приближавшимися криками людей: «Раздайся! Раздайся!» Место Авроры заступило солнце, и лик его, поболее щита, начал медленно подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и в первый раз в жизни увидели море: оно показалось им огромным и бесконечным, гораздо больше лагун Руидеры, которые они видели в Ламанче. У пристани стояли галеры; тенты на них были спущены, и глаз различал множество вымпелов и флагов, трепетавших на ветру и словно касавшихся воды; с галер неслись звуки рожков, труб и гобоев, и воздух, как вблизи, так и вдали, полнился то нежными, то воинственными мелодиями. Но вот по тихим водам заскользили суда: началось потешное

морское сражение, а в это самое время на берегу несметная сила разряженных всадников, прибывших из города на прекрасных конях, затеяла подобного же рода потеху. На галерах немолчная раздавалась пальба, одновременно палили с городских стен и из фортов: крепостная артиллерия ужасным своим грохотом сотрясала воздух, артиллерия морская ей вторила. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь по временам заволакиваемый дымом из орудий, – все это вызывало и порождало в сердцах людей бурный восторг. Санчо же отказывался понимать, откуда у этих движущихся по воде громадин берется столько ног.

Тем временем всадники с шумными и радостными криками подскакали вплотную к пораженному и ошеломленному Дон Кихоту, и один из них, тот самый, которому писал Роке, обратился к Дон Кихоту и громко воскликнул:

– Милости просим в наш город, зерцало, маяк, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, в каковых ваших качествах нас совершенно убеждают все рыцарские истории! Милости просим, доблестный Дон Кихот Ламанчский, не тот мнимый, поддельный и вымышленный, который действует в иных новейших лживых повестях, но истинный, подлинный и сомнению не подлежащий, такой, каким вас описывает Сид Ахмет Бен-инхали, всем повествователям повествователь!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да всадники и не стали дожидаться ответа: они гарцевали и выкидывали вольты вместе с другими; Дон Кихот же, вокруг которого происходили самые настоящие скачки, обратился к Санчо и сказал:

– Эти люди, по всей вероятности, нас узнали. Бьюсь об заклад, что они прочли не только правдивую повесть о нас, но и ту, которую недавно выдал в свет арагонец.[214]

Всадник, приветствовавший Дон Кихота, снова приблизился к нему и сказал:

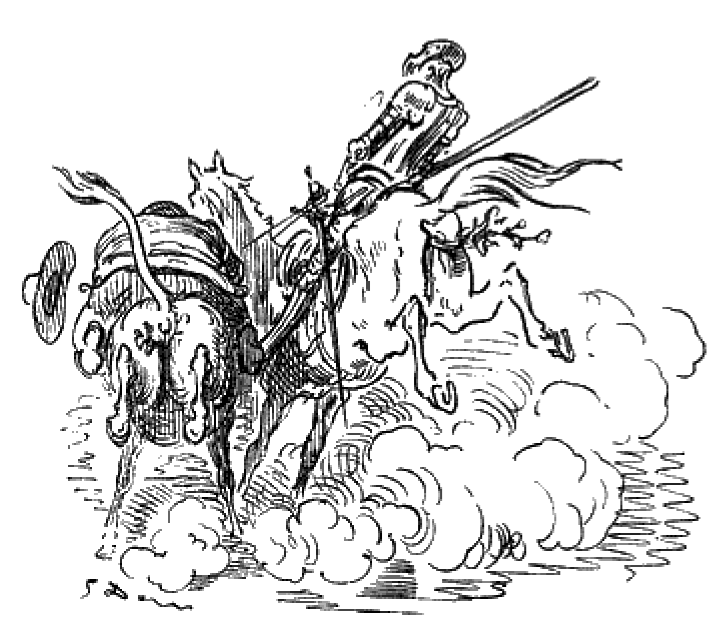
– Сеньор Дон Кихот! Поедемте, ваша милость, с нами: мы покорные ваши слуги и закадычные друзья Роке Гинарта.

Дон Кихот же ему на это ответил так:

– Если верно, что одна учтивость рождает другую, то ваша учтивость, сеньор кавальеро, – это родная сестра, во всяком случае, весьма близкая родственница учтивости самого Роке. Ведите же меня, куда вам заблагорассудится: моя воля есть ваша воля, особливо когда речь идет о том, чтобы вам угодить.

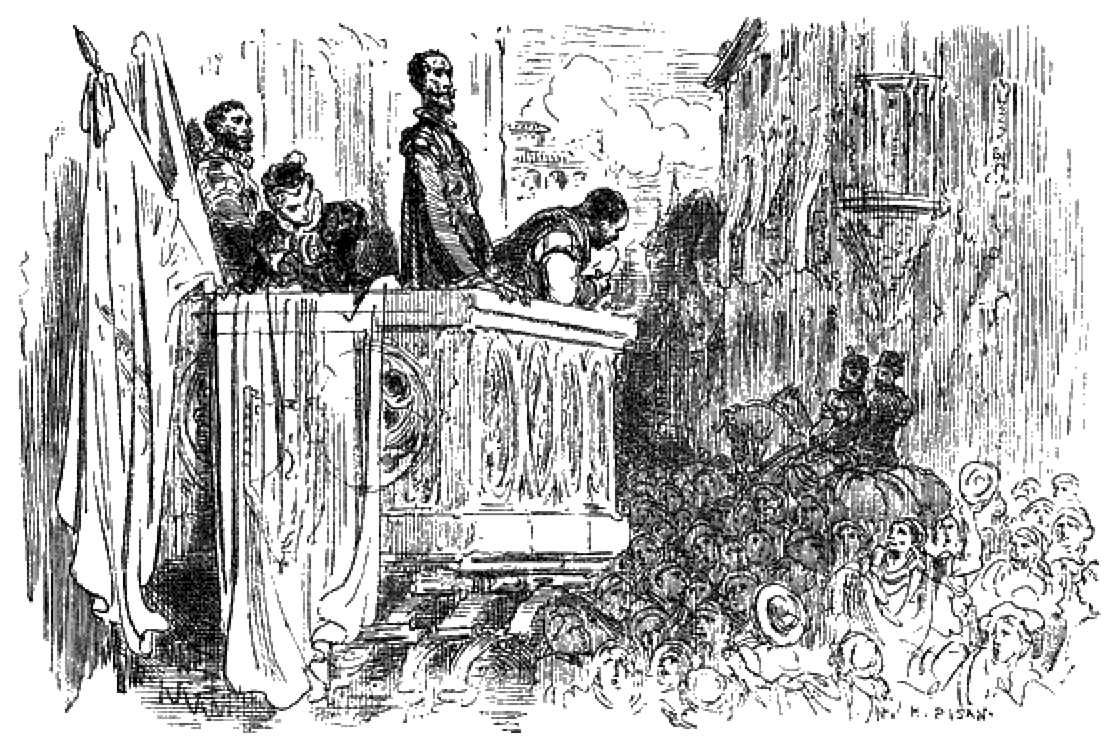
Тот ответил ему не менее любезно, а затем всадники, окружив Дон Кихота со всех сторон, под звуки труб и барабанов вместе с ним направились в город; когда же они в город въезжали, то по наущению злого духа, который только и делает, что сеет зло, двое озорных и дерзких мальчишек, – а мальчишки бывают иной раз лукавее самого лукавого, – пробрались сквозь толпу и, задрав хвосты ослику и Росинанту, сунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почуяв этот новый вид шпор, бедные животные поджали было хвосты, но от этого неприятное ощущение лишь усилилось: они начали отчаянно брыкаться и в конце концов сбросили своих седоков наземь. Дон Кихот, в смущении и замешательстве, поспешил извлечь сей плюмаж из-под хвоста своей клячи, Санчо же пришел на помощь серому. Сопровождавшие Дон Кихота хотели было наказать мальчишек за их предерзость, но это им не удалось, оттого что сорванцы втиснулись в толпу других мальчишек, бежавших следом за ними.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхами и под звуки все той же музыки и все так же торжественно подъехали к дому своего вожатого, большому и великолепному, – одним словом, такому, какими бывают дома богатых кавальеро, и тут мы Дон Кихота и Санчо на время оставим, ибо так хочет Сид Ахмет.



Глава LXII,

повествующая о приключении с волшебной головою, равно как и о прочих безделицах, о коих невозможно не рассказать



Дон Антоньо Морено – так звали хозяина Дон Кихота – был кавальеро богатый и остроумный, любитель благопристойных и приятных увеселений; заманив Дон Кихота к себе в дом, он стал искать способов обнаружить перед всеми его сумасбродство, но только так, чтобы самому Дон Кихоту никакого вреда от того не получилось, ибо шутка, от которой становится больно, это уже не шутка, и никуда не годится то развлечение, от которого бывает ущерб другому. Первым делом он велел снять с Дон Кихота доспехи, а затем, как скоро тот остался в своем узком верблюжьем камзоле, не раз уже нами упомянутом и описанном, вывел его на

балкон, выходивший на одну из самых людных улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, словно на обезьяну. Перед взором Дон Кихота снова загарцевали всадники, и, глядя на них, можно было подумать, что вырядились они так для него одного, а не по случаю праздника. Санчо между тем ликовал: ему представлялось, что он бог весть какими судьбами снова попал то ли на свадьбу к Камачо, то ли в усадьбу к дону Дьего де Миранда, то ли в герцогский замок.

В этот день у дона Антоньо обедали его друзья, и все они обходились с Дон Кихотом, как со странствующим рыцарем, и воздавали ему особые почести, Дон Кихот же, приняв гордый и величественный вид, не помнил себя от восторга. Остроты Санчо были таковы, что все челядинцы, а равно и все его слушатели без исключения, так и смотрели ему в рот. За столом дон Антоньо обратился к Санчо с такими словами:

– Любезный Санчо! До нашего сведения дошло, будто ты великий любитель курника, а также фрикаделек, и будто, когда ты уже сыт по горло, ты прячешь их себе за пазуху про черный день.

– Нет, сеньор, это неправда, – возразил Санчо, – я человек чистоплотный и совсем не такой обжора, – мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, может подтвердить, что бывали времена, когда мы оба по целым неделям пробавлялись пригоршней желудей или орехов. Правда, иной раз, когда мне сулят коровку, я скорей бегу за веревкой: я хочу сказать, что пользуюсь случаем и ем, что дают. Если же вы от кого услышите, что я обжора и неряха, то считайте, что этот человек не угадал, – я бы иначе выразился, да боюсь оскорбить слух столь почтенного общества.

– Не подлежит сомнению, – объявил Дон Кихот, – что умеренность и опрятность Санчо в еде достойны быть отмеченными и запечатленными на меди, дабы сии достоинства его вечно жили в памяти поколений грядущих. Правда, когда он голоден, он бывает слегка прожорлив: в таких случаях он проворно работает челюстями и уплетает за обе щеки, зато по части опрятности он безупречен, более того, в бытность свою губернатором он научился есть на особый манер, – он ел вилкой даже виноград и гранатовые зернышки.

– Как? – воскликнул дон Антоньо. – Санчо был губернатором?

– Да, – отвечал Санчо, – губернатором острова Баратарии. Десять дней я управлял им по своему усмотрению, и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать все правления, какие только есть на свете. Я бежал оттуда, по дороге свалился в подземелье, думал – конец мне, но все-таки чудом спасся.

Дон Кихот во всех подробностях рассказал историю Санчова губернаторства, чем доставил слушателям немалое удовольствие.

После обеда дон Антоньо взял Дон Кихота за руку и провел в дальний покой; единственное украшение этого покоя составлял столик, по виду из яшмы, на ножке из того же камня, а на столике стояла голова, как будто бы бронзовая, напоминавшая бюсты римских императоров. Дон Антоньо несколько раз прошелся с Дон Кихотом вокруг столика и наконец заговорил:

– Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я уверен, что нас никто не слушает и не слышит и дверь сюда заперта, я хочу рассказать вашей милости об одном из самых необычайных приключений, вернее сказать, о таком редком случае, какой только можно себе представить, с условием, однако ж, что все, что я милости вашей поведаю, вы в глубочайшей сохраните тайне.

– Клянусь, – подтвердил Дон Кихот, – и для большей верности готов прикрыть сию тайну каменною плитою, ибо знайте, сеньор дон Антоньо (Дон Кихоту было уже известно его имя), что вы говорите с человеком, у которого уши слушают, но язык не выдает тайн, а потому вы смело можете открыть мне все, что у вас на душе: уверяю вас, что все это будет погребено в бездне молчания.

– Итак, заручившись вашим обещанием, – продолжал дон Антоньо, – я намерен поразить вашу милость тем, что вам предстоит увидеть и услышать, – это несколько облегчит те муки, которые я терплю из-за того, что ни с кем не делюсь моею тайною, ибо далеко не всякому можно ее доверить.

Дон Кихот не мог постигнуть, что означают все эти подходы. Наконец дон Антоньо взял Дон Кихота за руку, провел ею по бронзовой голове, по всему столику и по яшмовой его ножке, а затем сказал:

– Голова эта, сеньор Дон Кихот, была сделана и сработана одним из величайших волшебников и чародеев на свете, если не ошибаюсь, поляком по рождению, учеником того самого знаменитого Эскотильо,[215] о котором рассказывают столько чудес. Помянутый чародей, живя у меня в доме, за тысячу эскудо сделал мне эту голову, обладающую особым свойством и способностью отвечать на все вопросы, какие только задают ей на ухо. Предварительно волшебник чертил фигуры, писал магические знаки, наблюдал звезды, определял точки расположения светил, и в конце концов у него получился перл создания, в чем вы сможете удостовериться не раньше завтрашнего дня, оттого что по пятницам голова молчит, а нынче как раз пятница, так что нам придется подождать до завтра. За это время ваша милость может обдумать свои к ней вопросы, мне же известно по опыту, что в ответах она не лжет.

Дон Кихот подивился такой способности и особенности головы, и ему трудно было поверить словам дона Антоньо, но как до испытания оставалось немного времени, то он предпочел в это не углубляться и лишь выразил дону Антоньо свою признательность за величайшее доверие, какое тот ему оказал. Они вышли из комнаты, дон Антоньо запер дверь на ключ, и они возвратились в залу, где находились прочие кавальеро. В течение этого времени Санчо успел им рассказать множество приключений и происшествий, случившихся с его господином.

В тот же вечер Дон Кихота соблазнили прокатиться по городу, но только упросили его снять доспехи и отправиться в выходном платье и в светло-коричневого сукна плаще, под которым в то время года вспотел бы даже лед. Чтобы Санчо остался дома, слугам велено было занимать его. Дон Кихот восседал не на Росинанте, а на могучем, богато убранном муле, у коего шаг был ровный. К плащу Дон Кихота незаметно для него прицепили сзади пергамент, на котором крупными буквами было написано: *Дон Кихот Ламанчский.* Во все время прогулки надпись эта неизменно привлекала к себе внимание прохожих, – они читали вслух: «Дон Кихот Ламанчский», а Дон Кихот не уставал дивиться: кто, мол, на него ни глянет, всякий узнаёт его и называет по имени, и, обратясь к дону Антоньо, ехавшему с ним рядом, он наконец сказал:

– Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство: всем, кто на этом поприще подвизается, оно приносит всемирную известность и славу. В самом деле, сеньор дон Антоньо, подумайте: в этом городе даже мальчишки – и те меня знают, хотя никогда прежде не видели.

– То правда, сеньор Дон Кихот, – подтвердил дон Антоньо, – подобно как пламя нельзя спрятать или утаить, так точно доблесть не может пребывать в безвестности, та же доблесть, которую выказывают на ратном поле, затмевает все иные доблести и берет верх над ними.

Случилось, однако ж, так, что, когда Дон Кихот с вышеописанною торжественностью ехал по городу, некий кастилец, прочтя на его спине надпись, крикнул:

– Черт бы тебя взял, Дон Кихот Ламанчский! И как это ты сюда добрался, не околев по дороге от бесчисленных ударов, которые на тебя так и сыпались? Ты – безумец, и если б ты безумствовал один на один с самим собой, замкнувшись в своем безумии, это бы еще куда ни шло, но ты обладаешь способностью сводить с ума и сбивать с толку всех, кто только с тобою общается и беседует, – достаточно поглядеть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают.

Поезжай, полоумный, домой, займись хозяйством, заботься о жене и детях и оставь свои бредни, которые только истощают мозг и мутят рассудок.

– Идите-ка, братец, своей дорогой, – сказал дон Антоньо, – и не давайте советов, когда у вас их не просят. Сеньор Дон Кихот Ламанчский – человек вполне благоразумный, да и мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть всегда должно чтить, где бы она ни встретилась. Убирайтесь ко всем чертям и не в свое дело не лезьте.

– А ведь вы, ей-богу, правы, – заметил кастилец, – советовать что-нибудь этому молодцу – все равно что воду в ступе толочь, однако ж со всем тем меня берет досада, что такой ясный ум, который, как я слышал, во всем остальном выказывает этот помешанный, растрачивает себя на странствующее рыцарство. Но только скорей я сам и все мои потомки уберемся ко всем чертям, как изволила выразиться ваша милость, нежели впредь, – проживи я даже больше, чем Мафусаил, – я кому-нибудь преподам совет, хотя бы у меня его и просили.

Советчик пошел дальше; прогулка возобновилась; однако мальчишки и всякий иной люд столь усердно читали надпись, что дон Антоньо в конце концов рассудил за благо снять ее, сделав, впрочем, вид, будто снимает что-то другое.

Наступил вечер; все возвратились домой; дома между тем был затеян бал; надобно заметить, что жена дона Антоньо, сеньора знатная, веселая, красивая и неглупая, пригласила своих приятельниц, дабы они почтили своим присутствием ее гостя и позабавились его доселе невиданными безумными выходками. Приятельницы явились, был подан отменный ужин, а затем, около десяти часов вечера, начались танцы. Среди дам оказались две проказницы и шалуньи: ничем не нарушая правил приличия, они, однако ж, позволяли себе некоторые вольности в придумывании безобидных, но забавных шуток. И вот эти самые шутницы всеми силами старались заставить Дон Кихота танцевать и этим истерзали ему не только тело, но и душу. Нужно было видеть Дон Кихота, высокого, долговязого, тощего, бледного, в узком платье, неловкого и отнюдь не отличавшегося легкостью в движениях! Дамы, как бы украдкой, за ним ухаживали, а он, также украдкой, ухаживания их отвергал; видя, однако ж, что они упорствуют, Дон Кихот громко воскликнул:

– *Fugite, partes adversae!*[216] Оставьте меня в покое, дурные помыслы! С подобными желаниями, сеньоры, идите к другим, ибо королева моих желаний, несравненная Дульсинея Тобосская, требует, чтобы, кроме ее желаний, ничье другое не имело надо мной ни власти, ни силы.



И, сказавши это, еле живой после танцевальных своих упражнений, он опустился среди зала на пол. Дон Антоньо велел отнести его на кровать, и первый, кто бросился Дон Кихоту на помощь, был Санчо.

– Ах ты, шут возьми, до чего ж вы, хозяин, скверно плясали! – воскликнул он. – Неужто вы думаете, что все удальцы непременно должны быть танцорами и все странствующие рыцари – плясунами? Если вы и в самом деле так думаете, то вы ошибаетесь: есть люди, которые скорей убьют великана, нежели исполнят какую-нибудь фигуру танца. Вот если б затеяли пляску, где нужно уметь похлопывать себя по подметкам, тут бы я вас заменил, потому я насчет этого орел, ну, а разные городские танцы – это уж не по моей части.

Такими и им подобными речами Санчо насмешил всех участников бала; он уложил своего господина в постель и укутал его, чтобы танцевальная простуда вышла из него потом.

На другой день дон Антоньо рассудил за благо произвести опыт с волшебною головою и вместе с Дон Кихотом, Санчо, двумя своими приятелями и двумя дамами, теми, которые измучили Дон Кихота на балу и затем остались ночевать у жены дона Антоньо, заперся в

помещении, где находилась голова. Он рассказал им о ее особенности и, взявши с них слово хранить сие в тайне, заметил, что сегодня он впервые намерен испытать способность волшебной головы. За исключением двух приятелей дона Антоньо, никто не знал, в чем здесь загвоздка, а если бы дон Антоньо заранее их в это не посвятил, то и они бы пришли в не меньшее, чем все прочие, изумление, да иначе и быть не могло: с таким тщанием и искусством была сделана эта голова.

Первым нагнулся к уху головы сам дон Антоньо; он спросил ее тихо, но так, однако же, что все его услышали:

– Заклинаю тебя, голова, волшебною силою, в тебе заключенною: скажи мне, какие у меня сейчас мысли?

И голова, не разжимая губ, ясно и отчетливо, так, что все ее расслышали, ответила ему:

– Мыслей я не читаю.

При этих словах все обмерли, особливо когда удостоверились, что во всей комнате, а равно и возле самого столика с волшебною головою, нет живой души, которая могла бы за нее ответить.

– Сколько нас здесь? – снова задал вопрос дон Антоньо.

И было ему на это отвечено так же внятно и так же тихо:

– Здесь находишься ты, твоя жена, двое твоих друзей, две ее приятельницы, а также славный рыцарь, именуемый Дон Кихотом Ламанчским, и его оруженосец, которого зовут Санчо Пансою.

В самом деле, тут было чему вновь подивиться! У всех невольно волосы встали дыбом от страха. А дон Антоньо, попятившись, молвил:

– Этого мне довольно, дабы удостовериться, что человек, который мне продал тебя, о мудрая голова, говорящая голова, отвечающая голова, чудесная голова, меня не обманул! Пусть подходят другие и спрашивают, что им угодно.

Женщины обыкновенно бывают нетерпеливы и любопытны, а потому первою приблизилась к голове одна из двух приятельниц жены дона Антоньо и обратилась к ней с таким вопросом:

– Скажи, голова, что я должна делать для того, чтобы стать красавицей?

Ответ был таков:

– Будь высокодобродетельной.

– Больше у меня вопросов нет, – сказала вопрошавшая.

Затем приблизилась ее подруга и сказала:

– Мне бы хотелось знать, голова, подлинно ль мой муж меня любит.

Ей было отвечено:

– Последи за тем, как он с тобою обходится, и тогда ты все поймешь.

Замужняя дама отошла от головы и сказала:

– Чтобы получить такой ответ, не стоило спрашивать. Это и так ясно, что в обхождении человека выражаются его чувства.

Затем приблизился один из двух друзей дона Антоньо и спросил:

– Кто я таков?

Отвечено ему было:

– Ты это знаешь сам.

– Я тебя не про то спрашиваю, – сказал кавальеро. – Скажи мне, знаешь ли меня ты.

– Да, знаю, – отвечали ему, – ты дон Педро Норис.

– Больше мне ничего и не нужно, этого довольно, чтобы уверить меня, что ты, голова, знаешь все.

Как скоро он отошел, приблизился другой приятель дона Антоньо и задал вопрос:

– Скажи, голова, какие желания у моего старшего сына, наследующего все мое имущество?

– Я уже говорила, – отвечали ему, – что я не отгадчица желаний, однако ж со всем тем могу сказать, что сын твой желает тебя похоронить.

– Точно так, – подтвердил кавальеро, – ты прямо как в воду смотрела.

Больше он ни о чем не стал спрашивать. Приблизилась жена дона Антоньо и молвила:

– Не знаю, голова, о чем тебя и спросить. Одно только я хотела бы знать: долго ли, на радость мне, проживет милый супруг мой.

Ей ответили:

– Долго, потому что крепкое его здоровье и умеренный образ жизни сулят ему долгий век, каковой многие обыкновенно сами себе сокращают своею невоздержностью.

Затем приблизился Дон Кихот и спросил:

– Скажи мне ты, на все отвечающая: явью то было или же сном – все, что, как я рассказывал, со мною случилось в пещере Монтесиноса? Верная ли это вещь – самобичевание Санчо? Произойдет ли на самом деле расколдование Дульсинеи?

– Что касается пещеры, – отвечали ему, – то это не так-то просто: тут всякое было; самобичевание Санчо будет подвигаться вперед исподволь; расколдование Дульсинеи совершится должным порядком.

– Больше мне ничего и не надобно, – заметил Дон Кихот, – как скоро я уверюсь, что Дульсинея расколдована, я сочту, что все удачи, о которых я мог только мечтать, разом выпали на мою долю.

Последним приблизился Санчо, и спросил он вот что:

– Скажи на милость, голова, суждено ли мне еще губернаторствовать? Долго ли я буду вести скудную жизнь оруженосца? Увижу ли я жену и детей?

На это ему ответили так:

– Губернаторствовать ты будешь у себя дома; если возвратишься домой, то увидишь жену и детей, а когда уйдешь со своей службы, то уже не будешь оруженосцем.

– Ну и ответ! – воскликнул Санчо Панса. – Это и я мог бы так ответить. Бездна премудрости, да и только!

– Дубина! – сказал Дон Кихот. – Каких тебе еще ответов нужно? Тебе не довольно, что голова отвечает прямо на поставленный вопрос?

– Довольно-то довольно, – отвечал Санчо, – но все-таки мне бы хотелось, чтобы она яснее выражалась и побольше говорила.

На этом вопросы и ответы окончились, но не прошло то изумление, в которое были приведены все присутствовавшие, за исключением двух друзей дона Антоньо, обо всем решительно осведомленных. Между тем осведомить читателей Сид Ахмет Бен-инхали почел за нужное здесь же, ибо не пожелал держать их долее в неведении и заставлять думать, будто в голове этой заключено нечто колдовское и чрезвычайно таинственное, а потому он объявляет, что дон Антоньо Морено по образцу головы, виденной им в Мадриде, работы некоего резчика, сделал такую же у себя дома, дабы развлекаться самому и поражать людей несведущих; устройство же ее состояло вот в чем. Доска столика сама по себе была деревянная, но расписанная и раскрашенная под яшму, равно как и его ножка, от которой для большей устойчивости расходились четыре орлиные лапы. Голова, выкрашенная под бронзу и напоминавшая бюст римского императора, была внутри полая, так же точно как и доска

столика, в которую голова была до того плотно вделана, что можно было подумать, будто она составляет с доской одно целое. Ножка столика, так же точно полая, представляла собой продолжение горла и груди волшебной головы, и все это сообщалось с другой комнатой, находившейся под той, где была голова. Через все это полое пространство в ножке и доске стола, в груди и горле самого бюста была чрезвычайно ловко проведена жестяная трубка, так что никто не мог бы ее заметить. В нижнем помещении, находившемся непосредственно под этим, сидел человек и, приставив трубку ко рту, отвечал на вопросы, причем голос его, словно по рупору, шел и вниз и вверх, и каждое слово было отчетливо слышно, – таким образом, разгадать эту хитрость было немыслимо. Ответы давал студент, племянник дона Антоньо, юноша сообразительный и находчивый, а как дядя его предуведомил, кого именно он приведет в комнату, где находилась голова, то дать скорые и правильные ответы на первые вопросы для него не составляло труда, а дальше он уже отвечал наугад, однако человек он был догадливый, оттого и попадал в точку. К сему Сид Ахмет прибавляет, что чудодейственное это сооружение просуществовало еще дней десять-двенадцать, а затем по городу распространился слух, что в доме у дона Антоньо имеется волшебная голова, которая отвечает на любые вопросы, и тогда дон Антоньо из боязни, как бы это не дошло до вечно бодрствующих ревнителей благочестия, сам сообщил обо всем сеньорам инквизиторам, они же велели ему забавы сии прекратить, а голову сломать, дабы она не являла соблазна для невежественной черни; однако ж во мнении Дон Кихота и Санчо Пансы голова так и осталась волшебницею, мастерицею по части ответов, каковые, впрочем, более удовлетворили Дон Кихота, нежели Санчо.

Местные кавальеро, желая доставить удовольствие дону Антоньо, а также для того, чтобы угодить Дон Кихоту и предоставить ему возможность начать свои дурачества, порешили устроить через шесть дней скачки с кольцами,[217] однако ж скачки так и не состоялись, о чем будет упомянуто ниже. Дон Кихоту хотелось прогуляться по городу пешком и без всякой торжественности: он боялся, что если поедет верхом, то за ним опять погонятся мальчишки; итак, Дон Кихот и Санчо в сопровождении двух слуг, которых Дон Кихоту дал его хозяин, вышли погулять. Случилось, однако ж, что, проходя по какой-то улице, Дон Кихот поднял глаза и над дверью одного дома увидел вывеску, на которой огромными буквами было написано: *Здесь печатают книги;* это несказанно его обрадовало, потому что до той поры ему еще не приходилось видеть книгопечатню, и у него явилось желание узнать, как в ней все устроено. Он вошел внутрь со всею своею свитою и увидел, что в одном месте здесь тискали, в другом правили, кто набирал, кто перебирал, – одним словом, пред ним открылась картина внутреннего устройства большой книгопечатни. Подойдя к одной из наборных касс, он спросил, для чего она служит; рабочие ему объяснили; он подивился и прошел дальше. Затем он подошел еще к одному рабочему и спросил, чем он занят. Рабочий ему ответил так:

– Сеньор! Вот этот кавальеро, – он указал на человека весьма приятного вида и наружности, в котором было даже что-то величавое, – перевел одну итальянскую книгу на наш язык, а я набираю ее для печати.

– Как называется эта книга? – осведомился Дон Кихот.

Переводчик же ему ответил:

– Сеньор! Итальянское заглавие этой книги – *Le Bagatelle.*

– А чему соответствует на испанском языке слово *le bagatelle?* – спросил Дон Кихот.

– *Le bagatelle,* – пояснил переводчик, – в переводе на испанский язык значит *безделки,* но, несмотря на скромное свое заглавие, книга эта содержит и заключает в себе полезные и важные вещи.

– Я немного знаю по-итальянски, – сказал Дон Кихот, – и горжусь тем, что могу спеть несколько стансов Ариосто. Скажите, однако ж, государь мой (я задаю этот вопрос не для того, чтобы проверять ваши познания, но из чистой любознательности), попадалось ли вам в этом сочинении слово *pignatta?*

– Попадалось, и не раз, – отвечал переводчик.

– Как же ваша милость переводит его на испанский язык? – спросил Дон Кихот.

– А разве есть у него другое значение, кроме *печного горшка?* – молвил переводчик.

– Черт побери! – воскликнул Дон Кихот. – Да вы, однако ж, понаторели в итальянском языке! Готов биться о любой заклад, что там, где по-итальянски стоит слово *piace,* ваша милость переводит *угодно,* слово *piu* вы переводите *больше, su – вверху,* а *giu – внизу.*

– Разумеется, именно так и перевожу, – подтвердил переводчик, – потому что таковы их прямые соответствия на нашем языке.

– Могу ручаться, – сказал Дон Кихот, – что ваша милость не пользуется известностью в свете, ибо свет не умеет награждать изрядные дарования и почтенные труды. Сколько через то погибло способностей! Сколько дарований прозябает в безвестности! Сколько достоинств не обратило на себя должного внимания! Однако ж со всем тем я держусь того мнения, что перевод с одного языка на другой, если только это не перевод с языка греческого или же с латинского, каковые суть цари всех языков, – это все равно что фламандский ковер с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости, и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне, да и потом, чтобы переводить с языков легких, не надобно ни выдумки, ни красот слога, как не нужны они ни переписчику, ни копиисту. Я не хочу этим сказать, что заниматься переводами непохвально; есть занятия куда ниже этого, и, однако ж, мы ими не гнушаемся, хоть и приносят они нам гораздо меньше пользы. Исключение я делаю для двух славных переводчиков: для доктора Кристобаля де Фигероа с его *верным пастухом*[218] и для дона Хуана де Хауреги с его *Аминтою*[219] – столь счастливо исполненными трудами, что невольно задаешься вопросом, где же тут перевод и где подлинник? Скажите, однако ж, ваша милость: вы намерены издать эту книгу на свой счет или же вы запродали ее какому-нибудь книготорговцу?

– Я издаю ее на свой счет, – отвечал переводчик, – и рассчитываю заработать не менее тысячи дукатов на одном только первом ее издании, а выйдет оно в количестве двух тысяч книг и будет распродано в мгновение ока по цене шесть реалов за книгу.

– Нечего сказать, точный расчет! – воскликнул Дон Кихот. – Сейчас видно, что ваша милость понятия не имеет о лазейках и увертках книгоиздателей и о том, как они между собою сплочены. Я вам предрекаю, что когда вы взвалите себе на плечи эти две тысячи книг, то у вас ужасно как станет ломить все тело, особливо если книга ваша по содержанию своему несколько запутана и нимало не занимательна.

– Ну так что же? – возразил переводчик. – Вы хотите, ваша милость, чтобы я отдал ее книгоиздателю, который за право печатания даст мне три мараведи, да еще будет воображать, что облагодетельствовал меня? Я издаю свои книги не для славы, – я и без того известен своими произведениями, – я ищу барыша, потому что слава без барыша не стоит ни кватрина.[220]

– Дай вам бог удачи, – молвил Дон Кихот. Затем он прошел дальше и, обратив внимание на правку одного из листов книги, озаглавленной *Светоч души*,[221] заметил:

– Подобные книги, хотя их не так уж мало издано, необходимо издавать и впредь, ибо грешников на земле много, и великое множество светочей требуется для стольких неозаренных.

Он прошел дальше и увидел, что правят листы еще одной книги; когда же он спросил, как она называется, ему ответили, что это вторая часть *Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского,* сочинение некоего автора, проживающего в Тордесильясе.

– Слыхал я об этой книге, – заметил Дон Кихот. – Признаться сказать, я полагал, что ее уже успели сжечь за ее вздорность, а пепел развеяли по ветру, ну да, впрочем, дождется свинья Мартинова дня.[222] Истории вымышленные только тогда хороши и увлекательны, когда

они приближаются к правде или правдоподобны, истории же, имеющие своим предметом происшествия истинные, тогда только и хороши, когда они правдивы.

И, сказавши это, Дон Кихот с некоторою досадою покинул книгопечатню.

В тот же день дон Антоньо вознамерился показать Дон Кихоту галеры, стоявшие у пристани, отчего Санчо пришел в восторг, ибо он никогда еще на них не бывал. Дон Антоньо уведомил командора, что вечером он прибудет на галеры со своим гостем, славным Дон Кихотом Ламанчским, командор же, как и все жители города, был о нем уже наслышан, а что с Дон Кихотом на галерах случилось, об этом будет рассказано в следующей главе.



Глава LXIII,

повествующая о несчастии, постигшем Санчо Пансу во время осмотра галер, и о необычайном приключении с прекрасною мавританкою



Долго размышлял Дон Кихот об ответе волшебной головы, но от мысли, что это обман, был он, однако ж, далек: все его мысли вертелись вокруг твердого, как ему казалось, обещания головы, что Дульсинея будет расколдована. Он беспрестанно к этому возвращался, и ему

отрадно было надеяться, что исполнение обещания сего не за горами; Санчо же, несмотря на то, что губернаторство было, как мы знаем, ему ненавистно, мечтал снова начать повелевать и приводить других к повиновению, – такая злая доля выпадает всякому человеку, который хоть когда-нибудь властвовал, пусть даже в шутку.

Итак, в тот вечер хозяин дома дон Антоньо Морено и два его приятеля вместе с Дон Кихотом и Санчо отправились на галеры. Едва лишь две такие знаменитости, как Дон Кихот и Санчо, показались на берегу, тот же час по знаку командора, предуведомленного о счастливом этом событии, на всех галерах были убраны тенты и загремели трубы; затем на воду спустили шлюпку, устланную пышными коврами и обложенную красными бархатными подушками, и только успел Дон Кихот шагнуть с берега, как на командорской галере выстрелило палубное орудие, последовали выстрелы и с других галер, а когда Дон Кихот поднимался по трапу штирборта, вся команда приветствовала его, как обыкновенно приветствуют моряки важных особ, прибывающих на галеры, а именно: троекратным «У-у-у!». Начальник (так назовем мы командора, происходившего из семьи родовитых валенсийских дворян) протянул Дон Кихоту руку и обнял его.

– Этот день, – сказал он, – я отмечу белым камнем, ибо он представляется мне одним из счастливейших в моей жизни: сегодня я увидел сеньора Дон Кихота Ламанчского, заключающего и вмещающего в себе всю доблесть странствующего рыцарства.

На это приветствие Дон Кихот, чрезвычайно обрадованный, что ему оказывают столь великие почести, ответил в не менее изысканных выражениях. Все перешли на богато убранную корму и сели на скамьи вдоль бортов; по палубе прошел боцман и свистком подал гребцам команду, означавшую: «Одежду долой!», что и было исполнено тотчас же. При виде столь великого множества обнаженных до пояса людей Санчо оцепенел, в особенности же когда на его глазах так быстро был натянут тент, что казалось, будто все черти, сколько их ни есть на свете, помогали морякам; и, однако, это были еще только цветочки в сравнении с тем, о чем будет речь впереди. Санчо сидел у правого борта, рядом с первым гребцом, как вдруг этот самый гребец, заранее подученный, что он должен делать, схватил его и поднял на руки, между тем вся команда была уже наготове и начеку, и вот бедный Санчо стал перелетать с рук на руки вдоль правого борта с такой быстротой, что у него потемнело в глазах, и он, разумеется, подумал, что его куда-то уволакивают бесы, гребцы же не успокоились до тех пор, пока не совершили переброску Санчо вдоль обоих бортов, и только тогда опустили его на корму. Бедняга был изрядно помят; он задыхался, обливался потом и никак не мог взять в толк, что, собственно, с ним произошло. Дон Кихот, понаблюдав за бескрылым полетом Санчо, спросил у начальника, не принято ли у них устраивать подобные церемонии со всеми, кто в первый раз попадает на галеры; если-де это так, то он обычаю сему следовать не намерен и проделывать подобные упражнения не желает, а буде кто осмелится его схватить, с тем чтобы начать подбрасывать, то он клянется, что душа у этого человека расстанется с телом, и, сказавши это, Дон Кихот встал и взялся за меч.

В эту самую минуту убрали тент и с ужасающим грохотом спустили рею. Санчо почудилось, будто небесный свод обрушился и падает прямо ему на голову, и от страха он спрятал ее между колен. Впрочем, и Дон Кихоту стало слегка страшновато; он тоже вздрогнул, пригнул голову и сделался бледен с лица. Затем команда подняла рею с такой же точно быстротой и с таким же шумом, с каким она ее спускала, и все это моряки проделывали молча, словно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боцман подал знак выбрать якорь, а затем не то с бичом, не то с хлыстом выскочил на середину палубы и принялся стегать гребцов по плечам, и тут галера стала медленно выходить в море. Как скоро Санчо увидел столько движущихся красных ног, за каковые он принимал весла, то заговорил сам с собой:

– Вот это уж и впрямь настоящее волшебство, не чета тому, о котором толкует мой господин. Чем эти несчастные так уж провинились, что их стегают безо всякой пощады? И как

это один человек, который тут ходит да посвистывает, отваживается хлестать столько народу? Вот он где, сущий-то ад, или уж, по малой мере, чистилище.

Дон Кихот, заметив, с каким вниманием следит Санчо за тем, что происходит вокруг, обратился к нему с такою речью:

– Ах, дружище Санчо! Как легко и с каким проворством мог бы ты, когда бы только захотел, обнажиться до пояса, присоединиться к этим сеньорам и расколдование Дульсинеи довести до конца! Кругом столько мук и страданий, что тебе не так тяжко было бы переносить свои. Тем более что, может статься, мудрый Мерлин зачтет тебе каждый удар хлыста, нанесенный столь мощной рукой, за десять из общего числа тех, которые ты еще должен себе нанести.

Начальник хотел было спросить, что это за удары и что это за расколдование Дульсинеи, но в это время вахтенный крикнул:

– С Монжуика[223] подают сигнал, что у берега на весте показалось весельное судно.

Услышав это, начальник выбежал на палубу и крикнул:

– Эй, ребята, не упустите это судно! Верно, нам подают с маяка сигнал о какой-нибудь бригантине алжирских корсаров.

Вслед за тем к командорской галере приблизились остальные три, чтобы узнать, каков будет приказ. Начальник приказал двум галерам выйти в море, а третьей следовать за ним в виду берега, – таким образом, судно от них-де не ускользнет. Гребцы налегли на весла, и галеры понеслись, как на крыльях. Те, что вышли в море, обнаружили примерно в двух милях судно, как можно было определить на глаз – не то двадцативосьми-, не то тридцативесельное, и так потом и оказалось на самом деле; как же скоро судно обнаружило галеры, то, понадеявшись на свою легкость, начало, лавируя, быстро уходить, но уйти ему не удалось, оттого что командорская галера представляла собою одно из самых легких судов, когда-либо выходивших в море, и она с такой быстротой устремилась в погоню, что на бригантине ясно поняли, что спасение невозможно, и тогда арраис, дабы наш командор не разгневался еще пуще, отдал приказ сложить весла и сдаться, однако ж судьба решила иначе: едва лишь командорская галера подошла к бригантине на столь близкое расстояние, что там, наверное, были слышны голоса наших моряков, кричавших корсарам: «Сдавайтесь!», как два пьяных *тораки,* иными словами – два пьяных турка, находившиеся на бригантине вместе с другими своими соотечественниками, выстрелили из мушкетов и убили наповал двух наших моряков, стоявших на баке. После этого командор, поклявшись, что не оставит в живых ни одного человека из тех, кого удастся ему захватить на бригантине, со всею стремительностью атаковал ее, однако ж бригантина ускользнула, пройдя под веслами атаковавшей ее галеры. Галера прошла вперед на довольно значительное расстояние; в то время как она делала поворот, команда бригантины с решимостью отчаяния подняла паруса и снова, на парусах и на веслах, попыталась уйти, однако такое проворство не послужило ей ни к чему, дерзость же погубила ее, ибо, пройдя немногим более полумили, командорская галера снова настигла бригантину и, бросив на нее весла, всех захватила живыми. В это время приблизились две другие наши галеры, а затем все четыре галеры возвратились со своею добычею в гавань, где их ожидала несметная толпа народа, коей любопытно было знать, с чем они возвратятся. Командор стал на якорь близко от берега, и тут он увидел, что на набережной находится сам вице-король города. Командор распорядился послать за ним шлюпку, а также поднять рею и вздернуть на ней арраиса и прочих турок, а было их тридцать шесть человек, и все молодец к молодцу, в большинстве своем мушкетеры. Командор спросил, кто из них арраис; на это один из пленников, оказавшийся испанцем-вероотступником, ответил ему по-кастильски:

– Сеньор! Вот этот молодой человек, что стоит перед тобой, и есть наш арраис.

И с этими словами он указал на одного из самых прекрасных и статных юношей, каких только воображение человеческое способно создать. На вид ему было не более двадцати лет. Начальник обратился к нему:

– Отвечай, неразумный пес, зачем тебе понадобилось убивать моих людей в ту самую минуту, когда ты уже видел, что спастись вам не удастся? Так ли должно обходиться с флагманскими судами? Или ты не знаешь, что безрассудство не есть отвага? Когда человек находится на краю гибели, ему надлежит выказывать беззаветную храбрость, но не безрассудство.

Арраис хотел было ему ответить, однако ж командор в ту минуту не мог его выслушать: он поспешил навстречу вице-королю, который в сопровождении нескольких своих слуг и нескольких горожан уже всходил на галеру.

– Удачная была у вас охота, господин командор! – заметил вице-король.

– В высшей степени удачная, – подтвердил командор, – ваше превосходительство сей же час в том удостоверится, увидев дичь, которую мы развесим на этой рее.

– За что же это вы так? – спросил вице-король.

– За то, – отвечал командор, – что вопреки всем законам и всем правилам и обычаям военных они убили у меня двух лучших моряков, а я поклялся повесить всех, кого захвачу в плен, и в первую очередь этого молодца, арраиса бригантины.

И он указал вице-королю на молодого человека, который со связанными руками и с веревкой на шее ожидал своей смерти. Вице-король взглянул на юношу, и тот показался ему на удивление красивым, стройным и на удивление кротким, так что в эту минуту красота юноши послужила ему наилучшим рекомендательным письмом, а потому у вице-короля явилось желание спасти его от смерти, и он обратился к нему с вопросом:

– Скажи, арраис: ты родом турок, или мавр, или, может статься, ты вероотступник?

Арраис ему, также на кастильском языке, ответил:

– Я не турок, не мавр и не вероотступник.

– Так кто же ты? – спросил вице-король.

– Женщина-христианка, – отвечал юноша.

– Женщина, да еще христианка, в подобной одежде и при таких обстоятельствах? Все это скорее вызывает изумление, нежели внушает доверие.

– Отдалите, сеньоры, миг отмщения, – молвил юноша, – вы не много потеряете, отложив мою казнь до того времени, когда я окончу повесть о моей жизни.

Чье жестокое сердце не смягчилось бы при этих словах хотя бы настолько, чтобы пожелать выслушать печального и горестного юношу? Командор изъявил согласие послушать его рассказ с тем, однако ж, условием, чтобы он не надеялся получить прощение за свою столь явную вину. Испросив дозволение, юноша начал так:

– Я происхожу из того племени, которое скорее заслуживает название несчастного, нежели благоразумного, из племени, ныне ввергнутого в пучину зол: я хочу сказать, что родители мои – мориски. Когда настало тяжелое для моих соплеменников время, мои дядя и тетя увезли меня в Берберию, несмотря на то что я говорила им, что я христианка, а я и точно христианка: не ложная и не притворная, но истинная и правоверная. Напрасно я поведала эту истину людям, которые руководили злополучным нашим изгнанием, даже мои родные – и те не хотели мне верить: они думали, что я нарочно лгу и выдумываю для того, чтобы остаться на родине, и увезли они меня насильно, а не по моей доброй воле. Мать моя – христианка, отец мой, человек благоразумный, – также христианин. Я с молоком матери всосала истинную веру, воспитана была в строгих правилах, и ни в языке, ни в манере держаться у меня, как мне кажется, ничего мавританского не было. По мере того как я укреплялась в своих добродетелях (я признаю эти мои свойства за добродетели), я становилась все миловиднее, – впрочем, я так

и не знаю, подлинно ль я мила собою, – и хотя уединение мое и затворничество было весьма строгим, однако ж, по-видимому, не до такой степени, чтобы не дождался случая меня увидеть некий юный кавальеро, дон Гаспар Грегорьо, старший сын и прямой наследник нашего соседа. О том, как он со мною увиделся, о чем мы с ним говорили, как он потерял из-за меня свое сердце, да и я не сумела уберечь свое, – обо всем этом не стоит рассказывать, в особенности теперь, когда я в страхе ожидаю, что жестокая петля, грозящая мне, обовьется вокруг моего горла, и я прямо перехожу к тому, что дон Грегорьо пожелал разделить со мною мое изгнание. Он отлично знал арабский язык, и это помогло ему смешаться с морисками, ехавшими из других мест, в дороге же он подружился с моими дядей и тетей, с которыми мне пришлось ехать потому, что отец мой, человек благоразумный и предусмотрительный, едва до него дошел слух о первом указе, обрекавшем нас на изгнание, уехал из деревни и отправился искать для нас убежище в других государствах. Он спрятал и закопал в таком месте, которое известно только мне одной, много жемчуга и драгоценных камней, а также некоторое количество денег в крусадах и золотых дублонах. Отец ни под каким видом не велел мне прикасаться к этому сокровищу, даже если нас будут высылать, прежде чем он успеет возвратиться. Я исполнила его повеление и, как я уже сказала, вместе с моими дядей и тетей, а также с другими моими родными и близкими уехала в Берберию, и там мы избрали местом жительства Алжир, иными словами – сущий ад. Алжирский король прослышал о моей красоте, да и молва о моем богатстве также достигла его слуха, и отчасти это вышло к лучшему для меня. Король призвал меня к себе и спросил, из каких мест Испании я родом, а также сколько денег и какие драгоценности я с собой привезла. Я назвала ему родное мое селение и сказала, что деньги и драгоценности там и зарыты, но что их ничего не стоит оттуда извлечь, если только я сама за ними отправлюсь. Все это я сказала ему в надежде, что жадность ослепит его еще сильнее, чем моя красота. Во время нашего разговора ему доложили, что со мною пришел юноша, стройнее и прекраснее которого невозможно себе представить. Я тотчас догадалась, что речь идет о доне Гаспаре Грегорьо, ибо по красоте он не имеет себе равных. При мысли об опасности, грозившей дону Грегорьо, я невольно смутилась: ведь у этих варваров-турок красивый мальчик или же юноша ценится дороже любой женщины, хотя бы то была писаная красавица. Король тотчас же изъявил желание посмотреть на него и велел его привести, а меня спросил, правда ли то, что говорят про этого юношу. Тогда я, как бы по наитию свыше, сказала, что все это так и есть, но что я почитаю за должное уведомить короля, что спутник мой не мужчина, а такая же женщина, как и я, и обратилась к королю с просьбой позволить мне надеть на нее женское платье, дабы красота ее означилась во всем своем совершенстве и дабы она сама без особого смущения могла перед ним предстать. Король сказал, что в другой раз он поговорит со мною о том, как мне съездить в Испанию и добыть зарытые сокровища, а пока отпустил меня с миром. Я переговорила с доном Гаспаром и, предуведомив его об опасности, которой он подвергается как мужчина, вырядила его мавританкою и в тот же вечер повела к королю, – король при виде его пришел в восторг и порешил оставить девушку у себя, с тем чтобы потом подарить ее султану, а чтобы избавить ее от опасности, которая могла бы ей грозить, останься она в его собственном серале, и которая исходила бы не от кого-нибудь, а от него самого, он приказал поселить ее в доме неких знатных мавританок, с тем чтобы они ее опекали и за нею ухаживали, и приказание его было исполнено незамедлительно. Что мы оба тогда испытывали (а я не стану скрывать, что я люблю дона Грегорьо), об этом я предоставляю судить тем, кто знает по себе, что такое разлука с любимым. Король тут же распорядился, чтобы меня отвезли в Испанию на этой бригантине и чтобы меня сопровождали два чистокровных турка: это были те самые турки, которые убили ваших моряков. Еще вместе со мной отправился вот этот испанец-вероотступник (тут девушка указала на человека, с которым командор заговорил прежде других), – о нем мне доподлинно известно, что он тайный христианин и что он намерен остаться в Испании, в Берберию же возвращаться не хочет. Остальная команда состоит из мавров и турок: это все простые гребцы. Двое турок, алчные и наглые, в нарушение приказа – в любой части Испании высадить меня и вероотступника, переодетых в христианское платье,

коим мы запаслись, задумали прежде обследовать побережье и попытаться захватить добычу; они боялись сразу же высадить нас на берег – боялись, как бы в случае чего мы не сообщили властям, что недалеко от берега находится бригантина, если же, мол, вдоль берега несут сторожевую службу галеры, то они ее захватят. Вчера вечером мы заприметили вашу гавань, но в конце концов были обнаружены сами, ибо не подозревали присутствия в море четырех галер, а дальше все происходило на ваших глазах. Итак, дон Грегорьо в женском платье живет среди женщин, рискуя каждую секунду погибнуть, а я стою здесь со связанными руками, ожидая или, вернее, страшась того мгновенья, когда мне придется расстаться с жизнью, хотя она мне и в тягость. Таков, сеньоры, конец печальной моей истории, столь же правдивой, сколь и горестной. Об одном я прошу вас: дайте мне умереть по-христиански, – я уже вам говорила, что не несу вины за то, в чем повинен народ мой.

Тут она умолкла, и глаза ее увлажнились горючими слезами, вызвавшими, в свою очередь, обильные слезы у присутствовавших. Вице-король, растроганный и исполненный сострадания, молча приблизился к ней и собственноручно развязал веревку, связывавшую прелестные руки мавританки.

Между тем, пока мавританка-христианка рассказывала необычайную свою историю, с нее не сводил глаз некий старый паломник, взошедший на галеру вместе с вице-королем; и, едва мавританка окончила свою повесть, он бросился к ее ногами и, обхватив их, воскликнул прерывающимся от вздохов и рыданий голосом:

– О Ана Фелис,[224] несчастная дочь моя! Я твой отец Рикоте, я возвратился за тобою, ибо не могу без тебя жить: в тебе вся душа моя.

При этих словах Санчо широко раскрыл глаза, вскинул голову (меж тем как до того он держал ее опущенною, раздумывая о неудачной своей прогулке) и, взглянув на паломника, узнал в нем того самого Рикоте, которого он повстречал в день своего ухода с поста губернатора, а затем уверился, что мавританка подлинно его дочь, дочка же, свободная от пут, обнимала в эту минуту отца, и слезы ее мешались с его слезами; наконец Рикоте, обратясь к командору и вице-королю, заговорил:

– Это, сеньоры, моя дочь, которой имя находится в противоречии с горькой ее долей. Зовут ее Ана Фелис, фамилию носит она Рикоте, и красотою своею она славится столько же, сколько моим богатством. Я покинул родину, дабы найти приют и кров для всей моей семьи в государствах иностранных, и, сыскав таковой в Германии, вместе с несколькими немцами под видом паломника поехал обратно за дочерью и за великими сокровищами, которые я здесь спрятал. Дочери я не нашел, а нашел сокровища, которые я и взял с собой, ныне же благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, коему вы явились свидетелями, я нашел и самое бесценное мое сокровище, а именно возлюбленную дочь мою. И если ничтожность нашей вины, а равно и слезы мои и моей дочери способны пробиться сквозь непреклонное ваше правосудие к милосердию вашему, то распространите его на нас, ибо мы никогда против вас не злоумышляли и не были причастны к замыслам наших соплеменников, справедливо осужденных на изгнание.

Тут вмешался Санчо:

– Рикоте я хорошо знаю и могу подтвердить, что Ана Фелис подлинно его дочь, а зачем он уехал и опять приехал и что у него было на уме – всю эту канитель я распутывать не стану.

Необычайное это происшествие привело присутствовавших в изумление, командор же рассудил так:

– Слезы ваши, разумеется, не дадут мне сдержать мою клятву: живите, прекрасная Ана Фелис, столько, сколько вам судило небо, те же дерзкие и наглые преступники понесут должную кару.

И он велел немедленно вздернуть на рею двух турок, которые убили его моряков, однако ж вице-король решительно за них вступился на том основании, что это было-де с их стороны

не столько проявлением удали, сколько актом безумия. Командор уступил просьбе вице-короля тем охотнее, что мстить бывает приятно только сгоряча. Затем стали думать, как избавить дона Гаспара Грегорьо от той опасности, которой он подвергался; Рикоте сказал, что ради его спасения он готов пожертвовать более чем на две тысячи дукатов жемчуга и других драгоценностей. Предлагали немало различных способов, однако ж наиболее удачным в конце концов был признан способ, предложенный вышеупомянутым испанцем-вероотступником: он знал, где, как и когда можно и должно высадиться, знал также дом, в коем пребывал дон Гаспар, и вызвался пойти в Алжир на небольшом, хотя бы даже двенадцативесельном, судне с гребцами, набранными из одних христиан. Командор и вице-король усомнились, можно ли положиться на вероотступника и доверить ему христиан, которые будут у него гребцами, однако ж Ана Фелис за него поручилась, а Рикоте обещал выкупить христиан в случае, если они попадут в плен.

После того как замысел этот получил всеобщее одобрение, вице-король покинул галеру; дон Антоньо Морено пригласил к себе мавританку и ее отца, а вице-король, прежде чем покинуть галеру, обратился к дону Антоньо с просьбой принять их с честью и обласкать, он же, мол, для того, чтобы как можно лучше угостить их, готов предложить все, что только есть у него в доме, – так он был очарован и растроган красотою Аны Фелис.



Глава LXIV,

повествующая о приключении, которое принесло Дон Кихоту больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были



Жена Дона Антоньо Морено, рассказывается в истории, чрезвычайно обрадовалась Ане Фелис. Она встретила ее крайне приветливо, ибо Ана Фелис мгновенно пленила ее как своею красотою, так и тонкостью ума (должно заметить, что мавританку природа ни тем, ни другим не обделила), а потом, точно на звон колокола, к дому дона Антоньо начали стекаться все жители города, чтобы полюбоваться на мавританку.

Дон Кихот объявил дону Антоньо, что план освобождения дона Грегорьо, по его разумению, неудачен: он-де не только неудобен, но, напротив того, опасен, и что было бы лучше, если б они послали в Берберию его, Дон Кихота, в полном вооружении и верхом на коне: он бы, уж верно, вызволил дона Грегорьо вопреки всей мавританщине, подобно как дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру.

– Примите в соображение, ваша милость, – заметил на это Санчо, – что сеньор дон Гайферос освободил свою супругу на суше и сушей же переправил ее во Францию, а вот мы, даже если нам и удастся освободить дона Грегорьо, не сумеем переправить его в Испанию, оттого что нам помешает море.

– Кроме смерти, все на свете поправимо, – возразил Дон Кихот, – к берегу пристанет корабль, и если бы даже весь мир захотел чинить нам препятствия, все же мы на тот корабль сядем.

– Ваша милость все это здорово расписывает, и все это у вас идет как по маслу, – заметил Санчо, – но только скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, – нет, я надеюсь на отступника: мне думается, он малый честный и прямодушный.

Дон Антоньо объявил, что в случае, если у вероотступника ничего не выйдет, то они непременно попросят Дон Кихота отправиться в Берберию.

Два дня спустя вероотступник отбыл на легком двенадцативесельном судне с мужественною командою, а галеры еще через два дня направились к берегам Леванта;[225] перед отплытием командор обратился к вице-королю с просьбой уведомить его о том, как произойдет освобождение дона Грегорьо, а равно и о том, что станется с Аной Фелис, и вице-король ему обещал.

Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои доспехи, ибо он любил повторять, что его наряд – это его доспехи, а в лютой битве его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгновение, выехал прогуляться по набережной и вдруг увидел, что навстречу ему едет рыцарь, вооруженный, как и он, с головы до ног, при этом на щите у него была нарисована сияющая луна; приблизившись на такое расстояние, откуда его должно было быть слышно, рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такою речью:

– Преславный и неоцененный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я тот самый Рыцарь Белой Луны, коего беспримерные деяния, уж верно, тебе памятны. Я намерен сразиться с тобою и испытать мощь твоих дланей, дабы ты признал и подтвердил, что моя госпожа, кто бы она ни была, бесконечно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской, и если ты открыто в этом признаешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же – от труда умерщвлять тебя. Если

же ты пожелаешь со мной биться и я тебя одолею, то в виде удовлетворения я потребую лишь, чтобы ты сложил оружие и, отказавшись от дальнейших поисков приключений, удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и, не притрагиваясь к мечу, стал проводить свои дни в мирной тишине и благодетельном спокойствии, ибо того требуют приумножение достояния твоего и спасение твоей души. Буде же ты меня одолеешь, то в сем случае ты волен отсечь мне голову, доспехи мои и конь достанутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе. Итак, выбирай любое и с ответом не медли, потому что я намерен нынче же с этим делом покончить.

Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном Рыцаря Белой Луны, так и причиною вызова, и он строго, впрочем сохраняя наружное спокойствие, ему ответил:

– Рыцарь Белой Луны! О подвигах ваших я доселе не был наслышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятельнейшую Дульсинею Тобосскую; я уверен, что если б вы ее видели, то воздержались бы от подобного вызова, ибо, улицезрев ее, вы тот же час удостоверились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, которая сравнялась бы с Дульсинеей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы заблуждаетесь, вызов же, который вы мне сделали, я на указанных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не откладывая до другого дня. Единственно, на что я не могу согласиться, это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне, ибо мне неизвестно, каковы они и что они собой представляют, – с меня довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе любое место на поле битвы, я выберу себе, а там что господь даст.

В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и уведомили вице-короля как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король, полагая, что это какое-нибудь новое приключение, подстроенное доном Антоньо Морено или же еще кем-либо из барселонских дворян, вместе с доном Антоньо и множеством других кавальеро поспешил на набережную и прибыл туда как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, что за причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил, что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире, и, вкратце повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король приблизился к дону Антоньо и тихо спросил, знает ли он, кто таков Рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихотом. Дон Антоньо ему ответил, что рыцаря он не знает и не знает также, в шутку или по-настоящему вызывает он Дон Кихота на поединок. Ответ дона Антоньо привел вице-короля в замешательство, и он заколебался: позволить или воспретить единоборство; и все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок, а потому отъехал в сторону и сказал:

– Сеньоры кавальеро! Коль скоро у каждого из вас нет иного выхода, кроме как признать правоту своего противника или же умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем, а ваша милость, Рыцарь Белой Луны, на своем, то начинайте с богом.

Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться, и с такою же речью обратился к вице-королю Дон Кихот; затем, всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и под покровительство Дульсинеи (как это он имел обыкновение делать перед началом всякого боя), Дон Кихот снова взял небольшой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разгон, после чего без трубного звука и без какого-либо другого сигнала к бою рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстречу друг другу, но конь Рыцаря Белой Луны оказался проворнее и успел пробежать две трети разделявшего их расстояния, и тут Рыцарь Белой Луны, не пуская в ход копья (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), с такой бешеной силой налетел на Дон Кихота, что тот вместе с Росинантом рискованное совершил падение. Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к его забралу копье, молвил:

– Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете соблюсти условия нашего поединка.

Дон Кихот, ушибленный и оглушенный падением, не поднимая забрала, голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из подземелья, произнес:

– Дульсинея Тобосская – самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял.

– Ни в коем случае, – объявил Рыцарь Белой Луны, – пусть во всей своей целокупности идет по миру слава о красоте сеньоры Дульсинеи Тобосской. Я удовольствуюсь тем, что досточтимый Дон Кихот удалится в свое имение на год, словом, впредь до особого моего распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом схватки.

Все это слышали вице-король, дон Антоньо и многие другие, при сем присутствовавшие, и слышали они также ответ Дон Кихота, который объявил, что коль скоро ничего оскорбительного для Дульсинеи с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовестным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это признание, Рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись вице-королю, поскакал коротким галопом в город.

Вице-король попросил дона Антоньо поехать за ним и во что бы то ни стало допытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и покрытое потом лицо. Росинант же пребывал в столь жалком состоянии, что все еще не мог сдвинуться с места. Санчо, опечаленный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить; у него было такое чувство, будто все это происходит во сне и словно все это сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя побежденным и обязался в течение целого года не браться за оружие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах Дон Кихота меркнет и что его собственные надежды, ожившиеся благодаря недавним обещаниям Дон Кихота, исчезают, как дым на ветру. Он боялся, не повреждены ли кости у Росинанта, и еще он боялся, что у его господина прошло повреждение ума (а между тем какое это было бы счастье!). В конце концов Дон Кихота понесли в город на носилках, которые были сюда доставлены по приказу вице-короля, а за ним последовал и вице-король, ибо ему любопытно было знать, кто таков Рыцарь Белой Луны, который столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.



Глава LXV,

в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны, и повествуется об освобождении дона Грегорьо, равно как и о других событиях



Дон Антоньо Морено поехал следом за Рыцарем Белой Луны, и еще следовали за рыцарем гурьбою и, можно сказать, преследовали его мальчишки до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, дон Антоньо туда вошел; рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу, а за ним дон Антоньо, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальеро от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами:

– Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков, а как мне скрываться не для чего, то, пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки. Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Карраско, односельчанин Дон Кихота Ламанчского, коего помешательство и слабоумие вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления – покой и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться, и вот назад тому месяца три, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись Рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге; у меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть, при этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдается на милость победителя, а потребовать я с него хотел (ведь я уже заранее считал его побежденным), чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправится; однако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он – он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был приведен в исполнение; он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло дурно для меня кончиться, возвратился восвояси, и все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не преминет подчиниться моему требованию. Вот, сеньор, и все, больше мне вам сказать нечего, но только я вас прошу: не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту, кто я таков, иначе не осуществится доброе мое намерение возвратить рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда дело не касается всей этой рыцарской гили.

– Ах, сеньор! – воскликнул дон Антоньо. – Да простит вас бог за то, что вы столь великий наносите урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете! Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от Дон-Кихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродства? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека, столь безнадежно больного. Конечно, нехорошо так говорить, но мне бы хотелось, чтобы Дон Кихот так и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь – и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Пансы, а ведь любая из них способна развеселить самоё меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, – посмотрю, оправдаются ли мои предположения, что из всех ваших стараний, сеньор Карраско, ровно ничего не выйдет.

Карраско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антоньо объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и Самсон Карраско, велев навьючить свои доспехи на мула и не задерживаясь долее ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края, причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон Антоньо передал вице-королю все, что ему рассказал Карраско, от чего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел возможность получать сведения о его безумствах.

Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо, сколько мог, его утешал и, между прочим, сказал ему следующее:

– Выше голову, государь мой! Постарайтесь рассеяться и возблагодарите господа бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют, дом с виду – полная чаша, а зайдешь – хоть шаром покати, так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, и поедемте домой, а поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, доставалось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-нибудь губернаторствовать, но зато меня не покинуло желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому как ваша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бывать королем: вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться.

– Оставь, Санчо! Ведь тебе же известно, что заточение мое и затворничество продлится не более года, а затем я снова возвращусь к почетному моему занятию и не премину добыть себе королевство, а тебе графство.

– В добрый час сказать, в худой помолчать, – заметил Санчо. – Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное.

Во время этого разговора вошел дон Антоньо и с весьма радостным видом воскликнул:

– Добрые вести, сеньор Дон Кихот! Дон Грегорьо и тот вероотступник, который за ним ездил, прибыли в гавань! Да что там в гавань, они уже у вице-короля и с минуты на минуту должны быть в моем доме.

Дон Кихот немного повеселел.

– Откровенно говоря, – сказал он, – я бы ничего не имел против, если бы все вышло не так, потому что тогда мне пришлось бы отправиться в Берберию, и там я силою моей длани освободил бы не только дона Грегорьо, но и всех пленных христиан, сколько их ни есть в Берберии. Но что я, несчастный, говорю? Разве я не побежден? Разве я не повержен? Не у

меня ли отнято право в течение года прикасаться к оружию? Так чего же стоят мои обещания? Чем я могу похвалиться, коли прялка мне теперь более к лицу, нежели меч?

– Полно вам, сеньор! – сказал Санчо. – Живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, сегодня ты меня, а завтра я тебя, из-за всех этих сшибок да перепалок расстраиваться не след, потому кто нынче лежит, тот завтра может встать, если только ему не захочется поваляться в постели, – я хочу сказать: если он не приуныл и для новой драки у него хватает духу. А вам, ваша милость, придется теперь встать, чтобы повидаться с доном Грегорьо: в доме как будто бы поднялась суматоха, значит, он, верно уж, приехал.

И точно, горя желанием как можно скорее свидеться с Аною Фелис, дон Грегорьо, после того как он и вероотступник доложили вице-королю о своем путешествии туда и обратно, вместе с тем же вероотступником поспешил к дому Антоньо; из Алжира дон Грегорьо выехал в женском платье, однако ж дорогою он поменялся платьем с одним бывшим пленником, возвращавшимся вместе с ним, – впрочем, он во всяком наряде невольно вызывал восхищение, приязнь и уважение, ибо красив он был чрезвычайно, лет же ему можно было дать семнадцать-восемнадцать. Рикоте с дочерью вышли ему навстречу, отец – со слезами на глазах, дочь – приличия ради сохраняя наружное спокойствие. Дон Грегорьо и Ана Фелис не бросились друг другу в объятия, оттого что истинное чувство избегает слишком бурных проявлений. Сочетание красоты дона Грегорьо с красотою Аны Фелис произвело на всех присутствовавших впечатление неотразимое. Молчание обоих влюбленных было красноречивее всяких слов, и не уста, но взоры выражали их радостные и безгрешные мысли. Вероотступник рассказал о том, какой хитроумный способ применил он, чтобы освободить дона Грегорьо; дон Грегорьо, в свою очередь, рассказал о том, какой опасности и какому риску он подвергался, живя среди женщин, – рассказал кратко, не вдаваясь в подробности, и в этом проявился его ум, развитый не по летам. Затем Рикоте расплатился с вероотступником и гребцами и щедро их вознаградил. Вероотступник воссоединился с церковью, вновь вступил в ее лоно и, пройдя через покаяние и епитимью, из гнилого ее члена вновь стал здоровым и чистым.

Дня через два вице-король стал держать с доном Антоньо совет, что должно предпринять для того, чтобы Ана Фелис с отцом остались в Испании; и вице-король, и дон Антоньо полагали, что если такая ревностная христианка и ее, видимо, столь благонамеренный отец останутся здесь, то никакого вреда от сего произойти не может. Дон Антоньо вызвался похлопотать за них в столице, куда ему все равно нужно было ехать по своим делам, и при этом намекнул, что в столице с помощью влиятельных лиц и подношений можно сделать многое.

– Нет, в сем случае влиятельные лица, а равно и подарки, не имеют никакого значения, – заметил Рикоте, при этом разговоре присутствовавший. – На высокочтимого дона Бернардино де Веласко,[226] графа Саласарского, которого его величество уполномочил изгнать нас, не действуют ни мольбы, ни обещания, ни подарки, ни человеческое горе. Обыкновенно он сочетает в себе милосердие с правосудием, однако ж, видя, что все тело нашего народа заражено и гниет, он применяет к нему не смягчающую мазь, но каленое железо. Так, выказывая благоразумие, предусмотрительность и усердие и вместе с тем внушая страх, выполняет он сложную и трудную задачу, возложенную на могучие его плечи, и все наши старания, уловки, хитрости и плутни не могли отвести ему глаза, истинные глаза Аргуса,[227] которые он не смыкает ни на мгновение, дабы никто из нас здесь не остался, не притаился и, подобно корню, укрытому под землею, не дал ростков и вновь не распространил ядовитых своих плодов в Испании, ныне уже очищенной, уже свободной от страха, в коем держало ее наше племя. Великое дело задумал достославный Филипп Третий, и необычайную мудрость выказал он, доверив его такому человеку, каков дон Бернардино де Веласко!

– Я приму, однако ж, все зависящие от меня меры, а там уж как бог даст, – объявил дон Антоньо. – Дон Грегорьо поедет со мной и успокоит своих родителей, которым его исчезновение, уж верно, причинило горе, Ана Фелис побудет это время или с моей женой, или

в монастыре, а что касается доброго Рикоте, то я уверен, что сеньор вице-король с радостью приютит его у себя, пока я чего-нибудь добьюсь.

Вице-король согласился со всем, что предлагал дон Антоньо, однако ж дон Грегорьо, узнав об их решении, сначала объявил, что никак не может и не желает оставить донью Ану Фелис, но в конце концов, положив свидеться с родителями, а затем, нимало не медля, возвратиться к донье Ане, сдался на уговоры. Ана Фелис осталась с женою дона Антоньо, а Рикоте перебрался к вице-королю.

Наступил день отъезда дона Антоньо, Дон Кихот же и Санчо тронулись в путь только через два дня, оттого что Дон Кихот все никак не мог оправиться после своего падения. Немало было пролито слез, когда дон Грегорьо прощался с Анною Фелис, немало было сильных движений чувства, рыданий и вздохов. Рикоте предложил дону Грегорьо на всякий случай тысячу эскудо, но тот отказался и занял у дона Антоньо всего только пять, обещав возвратить долг в столице. Наконец уехали эти двое, а затем уже, как было сказано, Дон Кихот и Санчо: Дон Кихот – без оружия, в дорожном одеянии, а Санчо – пешком, оттого что на серого навьючены были доспехи.



Глава LXVI,

в коей излагается то, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит



Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на то место, где он свалился с коня, воскликнул:

– Здесь была Троя! Здесь моя недоля, а не моя трусость похитила добытую мною славу, здесь Фортуна показала мне, сколь она изменчива, здесь помрачился блеск моих подвигов, одним словом, здесь закатилась моя счастливая звезда и никогда уже более не воссияет!

Послушав такие речи, Санчо сказал:

– Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает быть терпеливыми в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеяний, и это я сужу по себе; когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю, потому я слыхал, что так называемая Фортуна – это пьяная и вздорная бабенка и вдобавок еще слепая: она не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает.

– Ты изрядный философ, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты весьма здраво рассуждаешь, не знаю только, от кого ты этому научился. Полагаю, однако ж, не лишним заметить, что никакой Фортуны на свете нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно, но по особому предопределению неба, и вот откуда известное изречение: «Каждый человек – кузнец своего счастья». Я также был кузнецом своего счастья, но я не выказал должного благоразумия, меня подвела моя самонадеянность: ведь я же должен был понять, что тощий мой Росинант не устоит против могучего и громадного коня Рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул, собрал все свое мужество, меня сбросили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог утратить, добродетели, заключающейся в верности своему слову. Когда я был странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственною своею рукою, своими подвигами доказывал, каков я на деле, ныне же, когда я стал обыкновенным идальго, я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову. Итак, вперед, друг Санчо: мы проведем этот год искуса у себя дома, накопим сил за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное.

– Сеньор! – молвил Санчо. – Плестись пешком вовсе не так приятно, я отнюдь не обуреваем страстью к большим переходам. Давайте-ка повесим доспехи на дерево, заместо разбойника, когда же я устроюсь на спине у серого и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать любые переходы, какие только ваша милость потребует и назначит, а чтобы я пешком отмахивал большие расстояния – это вещь невозможная.

– Ты дело говоришь, Санчо, – заметил Дон Кихот, – пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была начертана на трофее Роландовом, состоявшем из его доспехов:

Лишь тот достоин ими обладать,

Кто и Роланду бой решится дать.

– Чудо как хорошо, – заметил Санчо, – и если б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить.

– Нет, – сказал Дон Кихот, – нельзя подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить: «Так-то он платит за верную службу?»

– Совершенная правда, ваша милость, – согласился Санчо. – Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено.

В подобных беседах и разговорах прошел у них весь этот день, равно как и следующие четыре, во все продолжение коих ничто не задерживало их в пути, на пятый же день, достигнув некоего селения, они увидели, что возле постоялого двора собралась толпа: то веселился

народ по случаю праздника. Когда Дон Кихот приблизился к толпе, один из крестьян, возвысив голос, молвил:

– Эти два сеньора только сейчас приехали, никого здесь не знают, давайте попросим кого-нибудь из них рассудить наш спор.

– Я готов, – сказал Дон Кихот, – постараюсь рассудить по справедливости, если только постигну суть вашего спора.

– Дело, господин хороший, состоит вот в чем, – начал крестьянин, – один наш односельчанин, – он у нас толстяк и весит одиннадцать арроб, – вызвал на состязание в беге своего соседа, а тот весит всего только пять. По условию они должны с одинаковым грузом пробежать расстояние в сто шагов. Когда же вызвавшего на состязание спросили, как уравнять грузы, он сказал: пусть, мол, вызванный на состязание, который весит пять арроб, нагрузит на себя шесть арроб железа. Таким, дескать, образом вес толстого и вес худого уравняются: выйдет, что и у того и у другого по одиннадцати арроб.

– Нет, так нельзя, – прежде чем Дон Кихот успел что-нибудь ответить, вмешался Санчо. – Всем известно, что я еще на днях был губернатором и судьею, стало быть, мне и надлежит рассудить вас и вынести решение.

– Вот и отлично, друг Санчо, слово за тобой, – сказал Дон Кихот, – я же сейчас ровно ни на что не годен: в голове у меня все спуталось и смешалось.

Получив дозволение, Санчо обратился к крестьянам с речью, а те сгрудились вокруг него в ожидании приговора и разинули рты.

– Братцы! Требование толстого лишено здравого смысла и даже тени справедливости, потому это уж так заведено и все это знают, что вызванный на поединок имеет право выбирать род оружия, а стало быть, нельзя допустить, чтобы толстый выбирал такое оружие, которое заведомо помешает и не даст худому одолеть. Так вот вам мое мнение: пусть-ка толстый, вызвавший худого, подрежет себя, подчистит, подскоблит, подукоротит и подточит в любой части своего тела, где ему только вздумается и заблагорассудится, и убавит мяса на шесть арроб, после этого в нем останется всего только пять арроб весу, и он сравняется со своим противником и точка в точку к нему подойдет: ведь противник весит как раз столько, – вот тогда пускай себе и бегут на равных условиях.

– Ах ты, чтоб тебе пусто было! – выслушав приговор Санчо, воскликнул один из крестьян. – Этот сеньор рассуждает, как святой, и разрешает споры не хуже любого каноника! Но только вот беда, я могу ручаться, что толстый унцию мяса с себя не срежет, а не то что шесть арроб.

– Пусть лучше совсем не бегают, – заметил другой, – худому не к чему надрываться, а толстому себя кромсать, – половину заклада давайте потратим на вино, пригласим этих сеньоров в хорошую таверну, и крышка делу.

– Благодарю вас, сеньоры, – молвил Дон Кихот, – но я не могу задерживаться ни на секунду: грустные мысли и печальные события принуждают меня быть неучтивым и торопят меня.

С этими словами, дав Росинанту шпоры, он поехал дальше, крестьяне же не могли не подивиться как необычной его наружности, невольно бросавшейся в глаза, так и рассудительности его слуги; надобно заметить, что Санчо они приняли именно за слугу. И один из них молвил:

– Если так умен слуга, каков же должен быть господин! Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то потом попадут прямо в столичные алькальды. Учиться и учиться – вот что нужно, остальное все ерунда; ну, конечно, надобно еще, чтобы тебе порадели и чтобы тебе повезло: глядишь, в один прекрасный день у тебя в руке жезл, а то и митра на голове.

Эту ночь господин и слуга провели в поле, на вольном воздухе и под открытым небом, а на другой день, едучи своею дорогою, заметили, что навстречу идет человек с сумой за плечами и то ли с копьецом, то ли с дротиком в руке – неотъемлемою принадлежностью пешего почтальона; подойдя к Дон Кихоту на более близкое расстояние, прохожий внезапно ускорил шаг и, почти бегом устремившись к нему, поцеловал его в правую ляжку, ибо выше он достать не мог, а затем, чрезвычайно, по-видимому, обрадовавшись, воскликнул:

– Ах, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Как же будет доволен герцог, мой господин, когда узнает, что ваша милость возвращается к нему в летний дворец! Ведь он с сеньорой герцогиней все еще там.

– Я вас не знаю, друг мой, – объявил Дон Кихот, – и так и не буду знать, пока вы мне сами не скажете.

– Сеньор Дон Кихот! – отвечал гонец. – Я Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот самый, который не захотел с вашей милостью биться из-за женитьбы на дочке доньи Родригес.

– Господи боже мой! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели вы и есть тот самый человек, которого волшебники, мои недоброжелатели, обратили, как вы сказали, в лакея, дабы лишить меня чести победителя?

– Полно, досточтимый сеньор! – сказал посланец. – Не было тут никакого волшебства, и нимало я не изменился лицом: выехал я на арену лакеем Тосилосом и таким же точно лакеем Тосилосом с нее удалился. Я порешил жениться без всякого сражения просто потому, что девушка мне приглянулась, однако ж расчеты мои не оправдались: не успела ваша милость выехать за ворота, как герцог, мой господин, велел отсчитать мне сотню розог за то, что я не выполнил распоряжений, которые мне были даны перед боем, и кончилось дело тем, что девица ушла в монахини, донья Родригес переехала в Кастилию, а меня мой господин послал в Барселону с письмами к вице-королю. Коли вашей милости угодно доброго вина, хотя и тепловатого, то у меня с собой тыквенная фляга с крепким вином и несколько ломтиков трончонского сыру, способного вызвать и пробудить жажду в случае, если она заснула.

– Предложение принято, – объявил Санчо. – Всякие церемонии – побоку. А ну, давай выпьем, добрый Тосилос, назло и наперекор всем заморским волшебникам!

– В таком случае, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты величайший чревоугодник в мире и величайший из остолопов, какие только есть на земле, ибо ты не в состоянии постигнуть, что гонец сей заколдован и что это поддельный Тосилос. Оставайся с ним и напихивай свою утробу, а я медленным шагом поеду вперед, чтобы ты мог меня догнать.

Тосилос засмеялся, вынул флягу, извлек сыр, достал хлебец, а затем он и Санчо в мире и согласии уселись на зеленой травке и единым духом справились и покончили со всем содержимым сумы и даже облизали пакет с письмами только потому, что он пропах сыром. Подзакусив, Тосилос сказал Санчо:

– Такой человек, как твой господин, друг Санчо, непременно должен быть сумасшедшим.

– Как так должен? – вскричал Санчо. – Никому он ничего не должен, он за все расплачивается, тем более что монета его – чистое безумие. Я это хорошо вижу и сколько раз ему говорил, да что проку? А уж теперь и подавно: ведь он совсем повредился в уме после того, как его одолел Рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил рассказать, как это произошло, однако ж Санчо ответил, что неудобно заставлять своего господина ждать, – в другой раз, дескать, когда они еще как-нибудь встретятся. Затем, стряхнув крошки с одежды и с бороды, он встал, простился с Тосилосом и, погнав серого вперед, вскоре увидел своего господина, который его дожидался под сенью древа.



Глава LXVII

О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных



Если множество мыслей докучало Дон Кихоту до того, как он потерпел поражение, то еще больше стали они ему докучать после того, как он был повержен. Он дожидался Санчо, как уже было сказано, под деревом, а мысли, словно мухи, слетающиеся на мед, осаждали его и жалили: одни из них вились вокруг расколдования Дульсинеи, другие – вокруг той жизни,

какую ему придется вести в вынужденном его уединении. Наконец приблизился Санчо и начал расхваливать щедрость лакея Тосилоса.

– Неужели ты все еще думаешь, Санчо, что это настоящий лакей? – воскликнул Дон Кихот. – Верно, у тебя вылетело из головы, что ты сам же видел Дульсинею, превращенную и преображенную в сельчанку, а Рыцаря Зеркал – в бакалавра Карраско, а ведь и то и другое – дело рук волшебников, меня преследующих. Лучше скажи мне, не спрашивал ли ты человека, которого ты именуешь Тосилосом, что сталось с Альтисидорою: оплакивала она разлуку со мною или же предала забвению любовные мысли, не дававшие ей покою в моем присутствии?

– Нет, сеньор, я был занят своими мыслями, мне недосуг было спрашивать о пустяках, – возразил Санчо. – Черт побери, ваша милость! Неужто вам сейчас до чужих мыслей, тем паче до любовных?

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – одно дело – любовь, а другое – благодарность. Рыцарь вполне может быть равнодушен, однако ж, строго говоря, он не может быть неблагодарным. Альтисидора, по-видимому, в меня влюбилась, подарила мне, как ты знаешь, три косынки, плакала, когда я уезжал, и, забывши всякий стыд, проклинала меня, бранила, сетовала при посторонних, – все это явные знаки того, что она меня обожала, ибо гнев влюбленных обыкновенно выражается в проклятиях. Я не мог подать ей никаких надежд и не мог одарить ее никакими сокровищами, ибо все надежды мои сопряжены с Дульсинеей, сокровища же странствующих рыцарей, подобно сокровищам нечистой силы, суть призрачны и обманчивы, – единственно, чем я могу отблагодарить Альтисидору, это если я буду хранить о ней память, без ущерба, однако ж, для Дульсинеи, с которой ты, Санчо, кстати сказать, поступаешь дурно, ибо откладываешь самобичевание и умерщвление плоти своей (пусть бы ее пожрали волки), по всей вероятности предпочитая, чтобы она досталась червям на корм, нежели оказала помощь несчастной этой сеньоре.

– Коли уж на то пошло, сеньор, – заговорил Санчо, – я не могу взять в толк, какое отношение имеет порка моей задницы к расколдованию заколдованных? Ведь это все равно что сказать: «Заболела у тебя голова – натри мазью коленки». Я, по крайней мере, могу поклясться, что ни в одной из историй о странствующих рыцарях, какие ваша милость читала, вы не встретили человека, расколдованного благодаря порке. Но все-таки я себя высеку, когда мне придет охота и когда представится для этого удобный случай.

– Дай бог, – молвил Дон Кихот, – и да снизойдет на тебя благодать господня, дабы ты сознал свой долг помочь моей госпоже, а ведь она и твоя госпожа, коль скоро ты мой слуга.

Разговаривая таким образом, ехали они своей дорогой и наконец достигли того места, где их опрокинули быки. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо:

– Вон тот лужок, где мы встретились с разодетыми пастушками и разряженными пастухами, задумавшими воссоздать и воскресить здесь пастушескую Аркадию, каковая мысль представляется мне столь же своеобразной, сколь и благоразумной, и если ты ничего не имеешь против, Санчо, давай в подражание им также превратимся в пастухов хотя бы на то время, которое мне положено провести в уединении. Я куплю овечек и все, что нужно пастухам, назовусь пастухом *Кихотисом,* ты назовешься пастухом *Пансино,* и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам, утоляя жажду текучим хрусталем ключей, светлых ручейков или полноводных рек. Дубы щедро оделят нас сладчайшими своими плодами, крепчайшие стволы дубов пробковых предложат нам сиденья, ивы – свою тень, розы одарят нас своим благоуханием, необозримые луга – многоцветными коврами, прозрачный и чистый воздух напоит нас своим дыханием, луна и звезды подарят нам свой свет, торжествующий над ночной темнотою, песни доставят нам удовольствие, слезы – отраду, Аполлон вдохновит нас на стихи, а любовь подскажет нам такие замыслы, которые обессмертят нас и прославят не только в век нынешний, но и в веках грядущих.

– Ей-богу, мне такая жизнь как раз по нутру, – признался Санчо, – да не только мне – дайте на нас поглядеть бакалавру Самсону Карраско и цирюльнику маэсе Николасу, и они тот же час к нам присоединятся и заделаются пастухами, а там, глядишь, и сам священник припожалует к нашему шалашу: ведь он у нас весельчак и любит разные потехи.

– Мысль верная, – заметил Дон Кихот, – бакалавр Самсон Карраско, если только он вступит в пастушескую нашу общину, – а он, разумеется, вступит, – может назваться пастухом *Самсонино* или пастухом *Карраскoном,* а цирюльник Николае может назваться *Никулосо,* подобно как наш старый Боскан назвался *Неморосо*.[228] Вот только не знаю, какое бы нам имя придумать священнику, впрочем, как производное от его сана, ему можно дать прозвище пастуха *Пресвитериамбро.* Между тем подобрать имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, это проще простого, а как имя моей госпожи одинаково подходит и для пастушки и для принцессы, то и не к чему мне утруждать себя поисками более удачного имени, ты же, Санчо, подбери для своей пастушки какое угодно.

– Я буду звать ее только *Тересоной,* – объявил Санчо, – это как раз подойдет и к ее толщине, и к ее настоящему имени: ведь ее зовут Тересой. Мало того: я еще буду воспевать ее в стихах и тем докажу, что я человек добродетельный и по чужим домам от добра добра не ищу. Священнику во избежание соблазна также не к лицу заводить пастушку, а вот насчет бакалавра – это уж вольному воля.

– Господи ты боже мой, какую жизнь мы будем с тобой вести, друг Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Каких только кларнетов, саморских волынок, тамбуринов, бубнов и равелей мы с тобой не наслушаемся! А что, если к разнообразным этим инструментам примешаются еще звуки альбогов? Словом, у нас будет почти полный набор пастушеских музыкальных инструментов.

– А что такое альбоги? – полюбопытствовал Санчо. – Я сроду про них не слыхал и никогда в жизни не видел.

– Альбоги, – пояснил Дон Кихот, – это металлические предметы, похожие на медные подсвечники; если их ударить один о другой, то, благодаря тому что они полые и внутри пустые, они издают определенный звук, правда, не весьма нежный и мелодичный, но, в общем, скорее приятный для слуха и подходящий к бесхитростным деревенским инструментам, каковы суть волынка и тамбурин. Самое же слово *альбоги* — мавританское, как и все слова в испанском языке, начинающиеся на *al,* например: *almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, alhucema, almacen, alcancia* и некоторые другие, и только три мавританских слова в испанском языке оканчиваются на г, то есть: *borcegui, zaquizami* и *maravedi.* Слова *alheli* и *alfaqui*[229] – слова заведомо арабские, раз что начинаются они на *al,* а кончаются на *i*. Все это я тебе говорю между прочим, – мне это пришло на память в связи со словом *альбоги.* А чтобы мы могли показать себя на новом поприще с наивыгодной стороны, то нам тут окажет существенную помощь вот какое обстоятельство: ведь я, как ты знаешь, отчасти стихотворец, бакалавр же Самсон Карраско – поэт изрядный. О священнике я ничего не могу сказать, однако ж готов биться об заклад, что он балуется стихами. Не сомневаюсь, что грешит этим и маэсе Николас, оттого что все или почти все цирюльники – гитаристы и стихоплеты. Я стану сетовать на разлуку, ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон будет роптать на то, что он отвергнут, священник Пресвитериамбро изберет то, что ему всего более придется по душе, – словом, все выйдет как нельзя лучше.

Санчо же ему на это сказал:

– Я, сеньор, человек незадачливый и, боюсь, не доживу до такой жизни. А каких бы деревянных ложек я наделал, когда бы стал пастухом! Какие бы у нас были гренки, какие сливки, какие венки – словом, всякая была бы у нас всячина, какая только водится у пастухов, так что за умника я, пожалуй что, и не сошел бы, а за искусника – это уж наверняка. Моя дочь Санчика носила бы нам в поле обед. Нет, шалишь, она девчонка смазливая, а среди пастухов

больше хитрецов, нежели простаков, и, чего доброго, она за чем-нибудь одним пойдет, а совсем с другим придет, а то ведь волокитства и нечистых помыслов – этого и в полях, и в городах, и в пастушеских хижинах, и в королевских палатах сколько угодно, стало быть, отойди от зла – сотворишь благо, с глаз долой – из сердца вон, один раз не остережешься – после беды не оберешься.

– Довольно пословиц, Санчо, – сказал Дон Кихот, – любая из них достаточно изъясняет твою мысль. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты был не так щедр на пословицы и чтобы ты знал меру! Впрочем, тебе говори не говори, – как об стену горох: мать с кнутом, а я себе все с волчком!

– А мне сдается, – молвил Санчо, – что про таких, как вы, ваша милость, говорят: «Сказала котлу сковорода: пошел вон, черномазый!» Меня вы ругаете за пословицы, а сами так двоешками и сыплете.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – я привожу пословицы к месту, они у меня приходятся как раз по мерке, ты же не приводишь их, а тащишь и притягиваешь за волосы. Помнится, я тебе уже говорил, что пословицы – это краткие изречения, добытые из опыта, и это плоды размышлений древних мудрецов, пословица же, приведенная не к месту, это не изречение, а благоглупость. Однако довольно об этом, уже стемнело, давай-ка свернем с большой дороги и заночуем где-нибудь поблизости, – утро вечера мудренее.

Они свернули в сторону, и ужин вышел у них поздний и скудный, что весьма огорчило Санчо, коего мысленному взору снова представились все лишения, сопряженные с поприщем странствующего рыцарства и с блужданиями в лесах и горах и лишь по временам сменяющиеся довольством в замках и домах, как, например, у дона Дьего де Миранда, на свадьбе у богача Камачо и в гостях у дона Антоньо Морено, однако ж, приняв в соображение, что как дню, так и ночи бывает конец, Санчо рассудил за благо лечь спать, господин же его порешил бодрствовать.



Глава LXVIII

Об одном свинском приключении, выпавшем на долю Дон Кихота



Ночь была довольно темная; луна, правда, взошла, однако ж находилась не на таком месте, откуда ее можно было видеть: надобно знать, что иной раз госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам, горы же оставляет во мраке и долы во тьме. Дон Кихот отдал дань природе, и первый сон одолел его, зато уж второй ничего не мог с ним поделать, у Санчо же все обстояло по-иному: у него никакого второго сна и быть не могло, оттого что сон его длился беспрерывно, с ночи до утра, что свидетельствовало о добром его здоровье и о его беззаботности. Между тем от Дон Кихота заботы отогнали сон, и, разбудив Санчо, он сказал:

– Меня приводит в изумление, Санчо, беспечный твой нрав: можно подумать, что ты сделан из мрамора или же из прочной меди, ибо и тот и другая недвижны и бесчувственны. Я бодрствую, в то время как ты спишь, я плачу, в то время как ты поешь, я изнуряю себя постом, а ты наедаешься до того, что тебе трудно бывает двигаться и дышать. Доброму слуге подобает делить с господином его невзгоды и, хотя бы для виду, горевать вместе с ним. Обрати внимание, какая тихая стоит ночь, как вокруг нас пустынно, – все это призывает нас перемежать сон бдением. Так будь же добр, встань, отойди в сторонку и, преисполнившись человеколюбия, благодарности и отваги, отсчитай себе ударов триста – четыреста из того общего числа, от которого зависит расколдование Дульсинеи. На сей раз я ограничиваюсь просьбою и мольбою, вторично же схватываться с тобою врукопашную я не намерен, ибо испытал на себе тяжесть твоей руки. А когда ты покончишь с самобичеванием, мы проведем остаток ночи в пении: я буду петь о разлуке, ты – о своей верности, и так мы положим начало тому пастушескому образу жизни, который будем вести у себя в селе.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Я не монах, чтобы вставать среди ночи и начинать умерщвлять свою плоть, тем паче нельзя, думается мне, после розог, когда тебе еще чертовски больно, прямо переходить к пению. Дайте мне поспать, ваша милость, и не приставайте ко мне с поркой, иначе я дам клятву, что никогда не прикоснусь к ворсу на своей одежде, а не только что к своему телу.

– О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Я ли тебя не кормил, я ли не осыпал тебя милостями и не намеревался осыпать ими и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором, благодаря мне у тебя есть все основания надеяться на получение графского титула или же

чего-либо равноценного, и надежды эти сбудутся не позднее, чем через год, ибо *post tenebras spero lucem*.[230]

– Это мне непонятно, – сказал Санчо, – я знаю одно: когда я сплю, я ничего не боюсь, ни на что не надеюсь, не печалюсь и не радуюсь. Дай бог здоровья тому, кто придумал сон: ведь это плащ, который прикрывает все человеческие помыслы, пища, насыщающая голод, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод, умеряющий жар, – словом сказать, это единая для всех монета, на которую можно купить все, это весы и гири, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником. Одним только, говорят люди, сон нехорош: есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика.

– Никогда еще, Санчо, ты столь изысканно не выражался, – заметил Дон Кихот, – теперь я начинаю понимать, сколь справедлива та пословица, которую ты приводил неоднократно: с кем поведешься, от того и наберешься.

– Вот так так, драгоценный мой господин! – воскликнул Санчо. – Теперь уж не я сыплю пословицами, – теперь они у вас так и срываются с языка, почище, чем у меня, – разница, как видно, только в том, что пословицы вашей милости уместны, а мои – невпопад, ну, а если разобраться, то ведь и те и другие – пословицы.

Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч, Санчо же забрался под своего серого, а с боков заградился доспехами и вьючным седлом, и был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух устрашенных, – впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако ж, состояло вот в чем: несколько человек направлялось в этот час на ярмарку и гнало на продажу более шестисот свиней, и вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушил Дон Кихота и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило Санчовы заграждения, сшибло с ног не только Дон Кихота, но в довершение всего и Росинанта и прошлось по рыцарю и по оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их, привели в смятение и повергли наземь седло, доспехи, серого, Росинанта, Санчо и Дон Кихота. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошлись именно свиньи, это было для него теперь очевидно. Дон Кихот, однако ж, ему сказал:

– Оставь их, мой друг: это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи.

– Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей, – подхватил Санчо, – то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучает голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям родными сыновьями или же близкими родственниками, – тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена, но в каком таком родстве состоят Кихоты и Пансы? Ну, ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет.

– Спи, Санчо, – молвил Дон Кихот, – ты рожден для того, чтобы спать, я же, рожденный бодрствовать, в эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале, который я без твоего ведома прошедшей ночью сочинил в уме.

– Мне сдается, что для песенки особенно много дум не требуется, – заметил Санчо. – Пойте себе, ваша милость, сколько хотите, а я посплю, сколько мне удастся.

Вслед за тем, заняв столько места, сколько ему заблагорассудилось, Санчо свернулся клубочком и заснул сном праведника, не нарушаемым ни заботами о долгах и поручительствах, ни душевными горестями. Дон Кихот же, прислонившись к стволу то ли бука, то ли пробкового

дуба (Сид Ахмет Бен-инхали не указывает, какое именно это было дерево), под аккомпанемент собственных вздохов запел:

Когда мне мысль придет
О том, как сильно от любви я стражду,
Я смерти сердцем жажду,
Ее благословляя наперед.

Но на краю могилы,Сей гавани желанной в море мук,Становится мне вдругСмерть так сладка, что умереть нет силы. И воскрешен опятьЯ смертью к жизни, для меня смертельной,И длится бой бесцельный,Где верх ни жизнь, ни смерть не могут взять!

Каждый стих он сопровождал множеством вздохов и довольно обильными слезами, свидетельствовавшими о том, что сердце у него исполнено горечи и разрывается на части при мысли о поражении и о разлуке с Дульсинеей.

Тем временем наступил день, солнце било Санчо прямо в глаза и в конце концов разбудило его, – он потянулся, встряхнулся и расправил свои разнежившиеся члены; засим, определив урон, нанесенный свиньями его запасам, он прежде обругал стадо, а потом и кое-кого повыше. Наконец Дон Кихот и Санчо поехали дальше; когда же день начал клониться к вечеру, то они увидели, что навстречу им движутся человек десять верховых и человек пять пеших. У Дон Кихота сердце запрыгало, а у Санчо екнуло, оттого что люди эти были снабжены копьями и щитами и вид у них был весьма воинственный. Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

– Когда б я мог, Санчо, применить оружие и руки не были б у меня связаны обещанием, то переведаться с этим движущимся на нас полчищем было бы для меня праздником. Впрочем, опасения наши, может статься, излишни.

Всадники между тем приблизились, подняли копья, молча окружили Дон Кихота и, угрожая ему смертью, приставили острия копий к груди его и спине. Один из пеших, приложив палец к губам в знак того, что пленники не смеют пикнуть, взял Росинанта под уздцы и повел его в сторону от дороги, прочие, совершенное храня молчание, следом за человеком, ведшим Росинанта, погнали серого, на котором сидел Санчо, Дон Кихот же несколько раз пытался задать вопрос, куда его влекут и чего хотят от него, но стоило ему раскрыть уста, как острия копий накладывали на них печать. Той же участи подвергался и Санчо: едва он изъявлял желание заговорить, как один из пеших тыкал в него острым концом палки, и не только в него, но и в серого, словно и тот намеревался заговорить. Настала ночь, конные и пешие начали обнаруживать нетерпение, пленники же пришли в еще больший ужас, тем паче что стражники то и знай на них покрикивали:

– Вам не удрать, троглодиты!

– Молчать, эфиопы!

– Не сметь роптать, антропофаги!

– Не сметь стонать, скифы, не сметь таращить глаза, лютые полифемы, кровожадные львы!

К этим они присовокупили еще и другие им подобные наименования, ранившие слух несчастного Дон Кихота и его слуги.

Санчо дорогою рассуждал сам с собой:

«Разве мы *проглотиты?* Разве мы *недотепы* и *бродяги?* Разве мы уж такие *анафемы?* Нет, мне эти названия что-то не нравятся. Нанесло вас, голубчиков, на нашу погибель, этого еще не хватало: пришла беда – отворяй ворота, лишь бы только это приключившееся с нами злоключение не пошло дальше колотушек».

Дон Кихот был ошеломлен; сколько он ни напрягал мысль, а все не мог постигнуть, что это за люди, у которых не сходят с языка бранные слова, – было ясно, что от таких людей должно ждать отнюдь не добра, но великого худа. Наконец, уже около часа ночи, подъехали они к замку, и Дон Кихот сейчас его узнал, ибо то был замок герцога, где он и Санчо еще так недавно гостили.

«Господи помилуй, что же это такое? – подумал Дон Кихот, как скоро уразумел, где он находится. – До сих пор все в этом доме были со мной чрезвычайно любезны и приветливы; впрочем, для побежденных все хорошее превращается в дурное, а дурное – в наихудшее».

Тут Дон Кихот и Санчо въехали в парадный двор замка и увидели, что он богато убран и украшен, отчего их изумление возросло, а страх еще усилился, как это покажет следующая глава.



Глава LXIX

О наиболее редкостном и наиболее изумительном из всех происшествий, какие на протяжении великой этой истории с Дон Кихотом случались



Верховые спрыгнули с коней и, вместе с пешими внезапно подхватив на руки Санчо и Дон Кихота, вошли во двор; кругом всего двора пылало около ста факелов, державшихся на подставках, в галереях же горело более пятисот плошек, так что, хотя ночь была довольно темная, казалось, будто дело происходит днем. Посреди двора возвышался катафалк высотою примерно в два локтя, под широчайшим черным бархатным балдахином, ступеньки вокруг всего катафалка были уставлены белыми восковыми свечами в серебряных канделябрах, числом более ста, а на самом катафалке виднелось тело девушки, столь прекрасной, что даже смерть бессильна была исказить прекрасные ее черты. Голова ее в венке из самых разнообразных душистых цветов покоилась на парчовой подушке, а в руках, скрещенных на груди, она держала желтую пальмовую победную ветвь. Поодаль был воздвигнут помост, на котором стояли два кресла, на креслах же восседали две особы; на головах у них красовались короны, а в руках они держали скипетры, из чего можно было заключить, что это цари, не то настоящие, не то поддельные. По одну и по другую сторону помоста, на который вели несколько ступенек, стояли еще два кресла, и вот люди, взявшие в плен Дон Кихота и Санчо, на эти кресла их и усадили, причем они сами все время молчали и подали знак молчать обоим пленникам; впрочем, Дон Кихот и Санчо хранили бы молчание и без всякого знака, ибо изумление при виде того, что открылось их взору, наложило на их уста печать. Между тем на помост взошли со многочисленною свитою две важные особы, в которых Дон Кихот тотчас узнал своих хозяев, герцога и герцогиню, и сели в роскошные кресла рядом с особами, которые изображали из себя царей. Кто бы всему этому не подивился, особливо если мы прибавим, что в покойнице, лежавшей на катафалке, Дон Кихот узнал прекрасную Альтисидору? Только лишь герцог и герцогиня взошли на помост, Дон Кихот и Санчо встали и низко им поклонились, те же едва им ответили.

В это время появился слуга и, приблизившись к Санчо, накинул на него черной бумазеи мантию с нашитыми на нее полосами в виде языков пламени, затем снял с него шапку и, надев колпак наподобие тех, какие носят осужденные священною инквизицией, шепнул ему, чтоб он помалкивал, иначе ему всунут в рот кляп, а то и вовсе прикончат. Санчо посмотрел на себя и увидел, что он весь объят пламенем, однако боли от ожога он не ощущал, и это его успокоило.

Он снял с головы колпак и, обнаружив, что на нем нарисованы черти, снова надел его и пробормотал:

– Если пламя меня не жжет, стало быть, и черти меня не утащат.

Дон Кихот взглянул на Санчо, и хотя над всеми его чувствами господствовал страх, все же вид Санчо его насмешил. В это время, должно думать из-под катафалка, послышались тихие, ласкающие слух звуки флейт, и благодаря тому, что человеческие голоса к ним не примешивались, ибо здесь безмолвствовало само безмолвие, они были особенно нежны и приятны. Внезапно у изголовья той, что казалась мертвою, вырос прелестный юноша, одетый как римлянин, и голосом чистым и благозвучным, сам себе аккомпанируя на арфе, пропел эти две строфы:

Пока не пробудится жизнь опять

В Алтисидоре, жертве Дон Кихота,

И не решатся дамы траур снять,

И герцогине не придет охота

Своих дуэний снова увидать

В нарядах из шелков, парчи, камлота,

Я буду петь страдалицы удел

Звучней, чем в старину фракиец пел.[231]

И этот долг мой, скорбный, но священный,

Не только на земле исполню я,

Слагать хвалу красе твоей нетленной

Я буду, восхищенья не тая,

И в мрачном царстве мертвецов, где пеной

Вскипает вечно Стиксова струя,

И, внемля мне, замедлит на мгновенье

Свой неустанный бег река забвенья.

– Довольно! – воскликнул тут один из тех, кто изображал из себя царя. – Довольно, дивный певец! Так можно до бесконечности петь о смерти и о прелести несравненной Альтисидоры, не мертвой, как полагают невежды, но живой, – живой, ибо слава о ней гремит, живой, ибо присутствующий здесь Санчо Панса претерпит пытки ради ее воскресения. Итак, о Радамант, вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита, ты, коему известно все, что неисповедимою волею судеб предуказано нам свершить для того, чтобы девицу сию возвратить к жизни, поведай нам это и объяви сей же час, дабы мы елико возможно скорее исполнились радости, которую сулит нам ее оживление.

Только успел судья Минос, Радамантов товарищ, вымолвить это, как Радамант встал и возговорил:

– Гей вы, слуги дома сего, старшие и младшие, великовозрастные и юные! Бегите все сюда и двадцать четыре раза щелкните Санчо в нос, двенадцать раз его ущипните и шесть раз уколите булавками в плечи и в поясницу, ибо от этого обряда зависит спасение Альтисидоры.

Послушав такие речи, Санчо не выдержал и заговорил:

– Черт возьми! Да я скорее превращусь в турка, чем позволю щелкать себя по носу и хватать за лицо! Нелегкая меня побери! Уж будто эта девица так прямо и воскреснет, если меня станут хватать за лицо! До того разлакомились – сил никаких нет: Дульсинею заколдовали – давай меня пороть, чтобы она расколдовалась, умерла Альтисидора, оттого что господь бог послал ей болезнь, – так, чтобы она ожила, необходимо, видите ли, двадцать четыре раза щелкнуть меня по носу, исколоть мне тело булавками и до синяков исщипать мне плечи! Нет уж, держите карман шире, я старый воробей: меня вам на мякине не провести!

– Ты умрешь! – вскричал Радамант. – Смягчись, тигр, смирись, надменный Немврод,[232] терпи и молчи: ведь от тебя не требуют невозможного. И перестань толковать о трудностях этого предприятия: все равно быть тебе отщелкану, быть тебе исколоту булавками и стонать тебе от щипков. Гей, слуги! Исполняйте, говорят вам, мое приказание, а не то, даю честное слово, вы у меня своих не узнаете!

В это время во дворе появились шесть дуэний; шли они вереницею, при этом четыре из них были в очках, а руки у всех были подняты, рукава же на четыре пальца укорочены, дабы руки, как того требует мода, казались длиннее. При одном виде дуэний Санчо заревел, как бык.

– Я согласен, чтоб меня весь род людской хватал за лицо, – воскликнул он, – но чтоб ко мне прикасались дуэньи – это уж извините! Пусть мне царапают лицо коты, как царапали они вот в этом самом замке моего господина, пронзайте мое тело острыми кинжалами, рвите мне плечи калеными клещами, – я все стерплю, чтобы угодить господам, но дуэньям дотрагиваться до меня я не позволю, хотя бы меня черт уволок.

Тут не выдержал Дон Кихот и, обратясь к Санчо, молвил:

– Терпи, сын мой, услужи сеньорам и возблагодари всевышнего, который даровал тебе такую благодатную силу, что, претерпевая мучения, ты расколдовываешь заколдованных и воскрешаешь мертвых.

Между тем дуэньи уже приблизились к Санчо, и Санчо, смягчившись и проникшись доводами своего господина, уселся поудобнее в кресле и подставил лицо той из них, которая шла впереди, дуэнья же влепила ему здоровенный щелчок, сопроводив его глубоким реверансом.

– Не нужна мне ваша учтивость, сеньора дуэнья, и не нужны мне ваши притиранья, – объявил Санчо, – ей-богу, от ваших рук пахнет душистою мазью.

Дуэньи, одна за другой, надавали ему щелчков, прочая же многочисленная челядь его исщипала, но чего Санчо никак не мог снести, это булавочных уколов: он вскочил с кресла и, доведенный, по-видимому, до исступления, схватил первый попавшийся пылающий факел и ринулся на дуэний и на всех своих палачей с криком:

– Прочь, адовы слуги! Я не каменный, таких чудовищных мук мне не вынести!

В это мгновение Альтисидора, по всей вероятности уставшая так долго лежать на спине, повернулась на бок, при виде чего все присутствовавшие почти в один голос воскликнули:

– Альтисидора оживает! Альтисидора жива!

Радамант велел Санчо утихомириться, ибо то, ради чего он пошел на пытки, уже, мол, свершилось.

Дон Кихот, увидев, что Альтисидора подает признаки жизни, тотчас бросился перед Санчо на колени и обратился к нему с такими словами:

– О ты, ныне уже не оруженосец, но возлюбленный сын мой! Урочный час настал, отсчитай же себе несколько ударов из общего числа тех, которые ты обязался себе нанести для расколдования Дульсинеи. Повторяю: ныне целебная сила, коей ты обладаешь, достигла своего предела, и тебе несомненно удастся совершить то благодеяние, которого от тебя ожидают.

Санчо же ему на это сказал:

– Не то, так другое, час от часу не легче! Мало щелчков, щипков да уколов, еще не угодно ли розог! Уж лучше возьмите здоровенный камень, привяжите мне его на шею и бросьте меня в колодец: это будет не намного прискорбнее, нежели отдуваться за чужие горести. Оставьте меня в покое, иначе, ей-богу, я тут все вверх дном переверну!

В это время Альтисидора села на своем катафалке, и вслед за тем послышались звуки гобоев, а к ним присоединились звуки флейт и радостные клики всех присутствовавших:

– Альтисидора жива! Жива Альтисидора!

Герцог с герцогинею встали, за ними поднялись цари Минос и Радамант,[233] и все вместе, в том числе Дон Кихот и Санчо, направились к Альтисидоре, дабы приветствовать ее и помочь сойти с катафалка. Альтисидора же, делая вид, что она еле держится на ногах, поклонилась их светлостям и их величествам, а затем, мельком взглянув на Дон Кихота, заговорила:

– Да простит тебе бог, бесчувственный рыцарь, что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне показалось, более тысячи лет. А тебя, самый отзывчивый из всех оруженосцев, в подлунном мире живущих, я благодарю за то, что ты вернул мне жизнь. С этого дня, друг Санчо, в твое распоряжение поступают полдюжины моих сорочек, дабы ты переделал их для себя; правда, не все они целые, зато все до одной чистые.

Санчо, коленопреклоненный и с обнаженною головою, облобызал Альтисидоре руки. Герцог распорядился взять у него колпак и вернуть шапку, надеть на него куртку, а огненную мантию снять. Санчо стал умолять герцога не брать у него мантию и митру: ему хотелось взять их себе на память о столь необычайном происшествии. Герцогиня ему позволила: он-де знает, что она ему верный друг. Герцог велел всем покинуть двор и разойтись по своим комнатам. Дон Кихота же и Санчо поместили в том самом покое, который они занимали прежде.



Глава LXX,

следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лишних для правильного понимания этой истории



Санчо Пансе пришлось провести эту ночь на низкой кровати в одной комнате с Дон Кихотом, какового обстоятельства он с радостью бы избегнул, если б только мог, ибо знал заранее, что его господин пристанет к нему с разговорами и не даст заснуть, он же был не расположен вести долгую беседу, потому что боль от перенесенных пыток все еще давала себя чувствовать и связывала ему язык, и он предпочел бы проспать эту ночь в шалаше, но только в одиночестве, нежели в роскошном этом помещении, но вдвоем. Страх его оказался не напрасным, и опасения его оправдались, ибо не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему с вопросом:

– Что ты скажешь, Санчо, о нынешних событиях? Велика и властительна сила пренебрежения, выказываемого к тому, кто тебя любит: ты же сам видел, что Альтисидора умерла не от стрел, не от меча или же какого-либо другого оружия, не от смертельного яда, но от суровости и пренебрежения, которые она неизменно встречала во мне.

– Да пусть бы она умирала себе на здоровье, когда и как ей заблагорассудится, а меня оставила бы в покое, – возразил Санчо, – ведь я любви ее не домогался и сроду не выказывал к ней пренебрежения. Я уж вам говорил, что не знаю и никак понять не могу, что общего между исцелением Альтисидоры, девки вздорной, хотя и смекалистой, и истязанием Санчо Пансы. Вот теперь-то я уж совершенно и окончательно удостоверился, что есть на свете волшебники и волшебные чары, и да избавит меня от них господь бог, а то своими силами мне от них нипочем не избавиться. Одним словом, умоляю вас, ваша милость: дайте мне поспать и больше ни о чем меня не спрашивайте, иначе я выброшусь в окно.

– Спи, друг Санчо, – молвил Дон Кихот, – если только булавочные уколы, щипки и щелчки не помешают тебе уснуть.

– Нет мучения более унизительного, нежели щелчки в нос, – заметил Санчо, – особливо когда тебя щелкают дуэньи, пропади они пропадом. И я еще раз прошу вашу милость: не мешайте мне спать, ибо сон есть облегчение мук, испытанных наяву.

– Да будет так, – молвил Дон Кихот. – Господь с тобою.

В конце концов оба заснули, Сид же Ахмет, автор великой этой истории, рассудил за благо именно теперь сообщить и рассказать читателям, что побудило их светлостей предпринять вышеописанную хитроумную затею. Итак, Сид Ахмет уведомляет, что бакалавр Самсон Карраско не забыл, как он во образе Рыцаря Зеркал был побежден и сбит с коня Дон Кихотом,

каковое поражение и падение разрушило и расстроило все его планы, и в надежде на лучший исход решился он еще раз попытать счастья; того ради, разузнав у слуги, который привозил жене Санчо, Тересе Панса, письмо и подарки, где обретается Дон Кихот, бакалавр раздобыл новые доспехи и коня, нарисовал на щите белую луну, навьючил доспехи на мула и взял себе в провожатые не прежнего своего оруженосца Томе Сесьяля, а другого крестьянина, которого ни Санчо, ни Дон Кихот не знали. Прибыв же в этот замок, бакалавр узнал от герцога, какой путь и какое направление избрал Дон Кихот, собираясь на турнир в Сарагосу. Кроме того, герцог ему рассказал, какие шутки сыграли они с Дон Кихотом, придумав, что расколдование Дульсинеи должно совершиться за счет Санчовых ягодиц. В заключение герцог сообщил бакалавру еще и о том, как подшутил над своим господином Санчо, уверив его, что Дульсинея заколдована и превращена в сельчанку, и о том, как супруга его, герцогиня, уверила Санчо, что он-де попал впросак, потому что Дульсинея, точно, заколдована, бакалавр же всему этому немало смеялся и дивился, представив себе как хитрость и простоту Санчо, так и крайнюю степень безумия, выказанную Дон Кихотом. Герцог попросил бакалавра, в случае если он встретится с Дон Кихотом, все равно – одолеет он его или нет, возвратиться в замок и сообщить, чем все это кончилось. Бакалавр так и сделал; он отправился на поиски Дон Кихота, но, не найдя его в Сарагосе, поехал дальше, а затем произошли уже известные нам события. Бакалавр заехал к герцогу, обо всем ему доложил, рассказал, каковы были условия поединка, и прибавил, что Дон Кихот как истый странствующий рыцарь во исполнение данного слова тотчас же направил путь к себе в деревню, с тем чтобы провести там безвыездно целый год, за каковой срок, по мнению бакалавра, Дон Кихот может прийти в разум, а только ради этого он, бакалавр, и затеял все эти превращения, ибо жаль было Самсону Карраско, что помешался человек такого большого ума, как Дон Кихот. На сем бакалавр с герцогом распрощался и, возвратившись к себе в деревню, стал поджидать Дон Кихота, ехавшего следом за ним. Рассказ бакалавра и послужил герцогу поводом для новой забавы, – столь великий охотник был он до всего, что касалось Санчо и Дон Кихота: он всюду и везде, на всех ближних и дальних дорогах, которыми только, по его соображениям, мог ехать обратно Дон Кихот, расставил множество своих слуг, и пеших и конных, дабы они волею или же неволею, в случае если им удастся поймать Дон Кихота, доставили его в замок; и слуги в самом деле его поймали и дали знать о том герцогу, герцог же заранее все обдумал и как скоро получил известие о прибытии Дон Кихота, то велел зажечь во дворе факелы и плошки, а Альтисидору положить на катафалк, сооруженный со всеми вышеуказанными приспособлениями и при этом столь натурально и искусно, что он мало чем отличался от настоящего. И еще Сид Ахмет говорит вот что: он-де стоит на том, что шутники были так же безумны, как и те, над кем они шутки шутили, ибо страсть, с какою герцог и герцогиня предавались вышучиванию двух сумасбродов, показывала, что у них у самих не все дома. Между тем один из наших простаков спал крепким сном, а другой бодрствовал, и в голове у него роились смутные мысли; так их и застал день, при наступлении коего оба живо вскочили с постелей, – должно заметить, что нега пуховиков никогда не прельщала Дон Кихота, все равно, был ли он побежденным или же победителем.

В это время, исполняя прихоть своих господ, в покой Дон Кихота вошла Альтисидора (в представлении Дон Кихота возвращенная от смерти к жизни) с тем же венком на голове, в каком она лежала на катафалке, в тунике из белой тафты, усыпанной золотыми цветами, с распущенными по плечам волосами, опираясь на дорогой, эбенового дерева, посох. Приход Альтисидоры привел Дон Кихота в недоумение и замешательство: он съежился и забрался под одеяла и простыни, язык же ему не повиновался, так что он никак не мог заставить себя приветствовать Альтисидору. Альтисидора села на стул у его изголовья и, глубоко вздохнув, тихим и нежным голосом заговорила:

– Когда знатные женщины или же скромные девицы поступаются своею честью и позволяют своим устам переходить всякие границы приличия и разглашать заветные тайны своего сердца, то это означает, что они доведены до крайности. Я, сеньор Дон Кихот

Ламанчский, принадлежу к числу именно таких девушек: я влюблена, покорена – и отвергнута, однако ж со всем тем я терпелива и добродетельна, и вот из-за того, что я молча сносила все, сердце мое не выдержало, разорвалось, и я лишилась жизни. Назад тому два дня по причине суровости, с какою ты со мной обходился,

Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор,[234]

ты, твердокаменный рыцарь, я умерла, – по крайней мере, все, кто меня видел, приняли меня за мертвую, – и когда бы Амур надо мною не сжалился и не помог мне обрести спасение через страдания доброго этого оруженосца, так бы я на том свете и осталась.

– Лучше бы Амур определил пострадать моему ослу, я бы ему спасибо за это сказал, – вмешался Санчо. – Скажите, однако ж, сеньора, пошли вам бог более податливого возлюбленного, нежели мой господин, что вы на том свете видели? Что творится в аду? Я потому вас об этом спрашиваю, что если кто умирает от отчаяния, то после смерти ада ему не миновать.

– Откровенно говоря, – отвечала Альтисидора, – я, верно, не совсем умерла, потому что в аду мне быть не пришлось: ведь если б я только попала туда, то уж потом не выбралась бы никакими силами. На самом деле я видела лишь, как черти, числом около двенадцати, перед самыми воротами ада играли в мяч, все в штанах и в камзолах с воротниками, отделанными фламандским кружевом, и с кружевными рукавчиками, заменявшими им манжеты и укороченными на целых четыре пальца, чтобы руки казались длиннее. В руках они держали огненные ракетки, но всего более поразило меня то, что вместо мячей они перебрасывались книгами, которые, казалось, были наполнены не то ветром, не то пухом, – право, это что-то изумительное и неслыханное. Однако еще более меня поразило то, что вопреки обыкновению игроков – радоваться при выигрыше или же огорчаться в случае проигрыша – здесь все время шла воркотня, грызня и перебранка.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – черти, играют они или не играют, выигрывают или проигрывают, никогда не бывают довольны.

– Верно, так оно и есть, – согласилась Альтисидора, – но меня поражает еще одна вещь (вернее сказать, поразила тогда): после первого же удара мяч больше не мог подняться на воздух, – он уже никуда больше не годился, так что книги, и старые и новые, то и дело сменяли одна другую, прямо на удивление. Одну совсем-совсем новенькую книжку в богатом переплете они так поддали, что из нее вывалились все внутренности и разлетелись листы. Один черт сказал другому: «Погляди, что это за книжка». Тот ответил: *«Вторая часть истории Дон Кихота Ламанчского,* но только это сочинение не первого ее автора, Сида Ахмета, а какого-то арагонца, который называет себя уроженцем Тордесильяса». – «Выкиньте ее отсюда, – сказал первый черт, – бросьте ее в самую преисподнюю, чтобы она не попадалась мне больше на глаза». – «Уж будто это такая плохая книга?» – спросил второй. «До того плохая, – отвечал первый, – что если б я нарочно постарался написать хуже, то у меня ничего бы не вышло». Они возобновили игру и стали перебрасываться другими книгами, я же, услышав имя Дон Кихота, которого я так люблю и обожаю, постаралась сохранить в памяти это видение.

– Разумеется, это было видение, – молвил Дон Кихот, – второго меня на свете не существует, несмотря на то, что история эта ходит по рукам, ни в чьих руках, впрочем, не задерживаясь, потому что все ей дают пинка. Я не испытываю тревоги, когда мне говорят, что я, будто призрак, брожу во мраке преисподней или по осиянной земле, ибо я не тот, о ком говорится в этой истории. Если б она была хороша, достоверна и правдива, она прожила бы века, если же она плоха, то путь ее от рождения до гроба недолог.[235]

Альтисидора хотела было снова начать корить Дон Кихота, но он прервал ее:

– Уже много раз говорил я вам, сеньора, как я жалею, что вы устремили помыслы ваши на меня, ибо от моих помыслов вы можете ожидать лишь благодарности, но не взаимности. Я рожден для Дульсинеи Тобосской, рок (если только он есть) предназначил меня ей, и полагать,

что какая-либо другая красавица может занять ее место в моей душе, – это вещь невозможная. Пусть же эти мои слова послужат вам достаточным разуверением, дабы вы возвратились в пределы скромности, ибо невозможного ни от кого нельзя требовать.

Тут Альтисидора с напускною досадою и возмущением воскликнула:

– Ах вы, рыба этакая, дерево бесчувственное, финиковая косточка, несговорчивый и упрямый хуже всякого мужика, который как станет на своем, так уж его, проси не проси, с места не сдвинешь! Клянусь богом, если я на вас накинусь, то непременно выцарапаю вам глаза! Вы что же это, разбитый да еще и прибитый, вообразили, будто я умираю от любви к вам? Да ведь все, что вы видели ночью, было устроено нарочно: какое там умирать – я и не охну из-за такого верблюда, как вы.

– Вполне допускаю, – вмешался Санчо, – потому смерть от любви – это же курам на смех: сказать-то влюбленные все могут, но чтобы взаправду – ни один дурак им не поверит.

Во время этого разговора вошел тот самый музыкант, певец и стихотворец, который спел две вышеприведенные строфы, и, низко поклонившись Дон Кихоту, молвил:

– Я прошу вашу милость, сеньор Дон Кихот, считать и числить меня одним из самых преданных ваших слуг, – я давно уже восхищаюсь тем, какая идет о вас слава и какие подвиги вы совершаете.

Дон Кихот же его спросил:

– Скажите, пожалуйста, ваша милость, кто вы таков, дабы мое с вами обхождение соответствовало вашим достоинствам.

Юноша ответил, что он тот самый, который ночью пел похвальные стихи.

– Голос у вас поистине превосходный, – заметил Дон Кихот, – но то, что вы пели, показалось мне не совсем уместным. В самом деле, что общего между стихами Гарсиласо и смертью этой сеньоры?

– Вас это не должно удивлять, ваша милость, – возразил певец, – таков обычай нынешних стихоплетов-недоучек: пишут они о чем угодно и где угодно крадут, не считаясь с тем, сообразуется ли это с их намерением, и о какой бы чепухе они ни пели или ни писали, у них на все припасена отговорка: это, мол, поэтическая вольность.

Дон Кихот хотел что-то сказать, но в это время вошли герцог и герцогиня, и тут между ними произошел долгий и приятный разговор, во время которого Санчо наговорил столько забавного и лукавого, что их светлости вновь подивились как его простоте, так и его остроумию. Дон Кихот попросил позволения уехать в тот же день, оттого что рыцарям побежденным скорее подобает, мол, жить в свиной закуте, нежели в королевских чертогах. Их светлости охотно ему это позволили, герцогиня же спросила, не сердится ли он на Альтисидору. Дон Кихот ей на это ответил так:

– Государыня моя! Да будет вашей милости известно, что весь недуг этой девицы проистекает от безделья, и лучшее от него средство – это честный и постоянный труд. Она только что мне рассказала, что в аду ходят в кружевах; верно, она умеет вязать их, так вот пусть этим и займется, и пока у нее в руках будут мелькать коклюшки, в памяти ее перестанет мелькать образ или же образы тех, в кого она влюблена, и это есть истинная правда, и таково мое мнение, и таков мой совет.

– И мой, – ввернул Санчо, – потому я отродясь не видал кружевницы, которая умерла бы от любви: девушки-труженицы больше думают о том, как бы скорей окончить работу, нежели о сердечных своих делах. Я сужу по себе: когда я копаю землю, я не думаю о моей благоверной, то бишь о Тересе Панса, но это не мешает мне любить ее больше всего на свете.

– Ты справедливо рассудил, Санчо, – заметила герцогиня, – с этого дня я засажу Альтисидору за какую-нибудь белошвейную работу: она у меня на этот счет мастерица.

– В подобном средстве, сеньора, нет никакой необходимости, – возразила Альтисидора, – одной жестокости, с какою со мной обошелся бездомный этот злодей, будет довольно, чтобы я, не прибегая ни к каким искусственным средствам, вычеркнула его из памяти. А теперь, ваше величие, позвольте мне удалиться: я видеть не могу его печальный образ, да какой там печальный образ – просто мерзкое и отвратительное обличье.

– Это мне напоминает известную поговорку, – заметил герцог:

Кто в словах излил обиду,

Тот уже почти простил.

Альтисидора притворилась, будто вытирает слезы платком, а затем, сделав своим господам реверанс, вышла из комнаты.

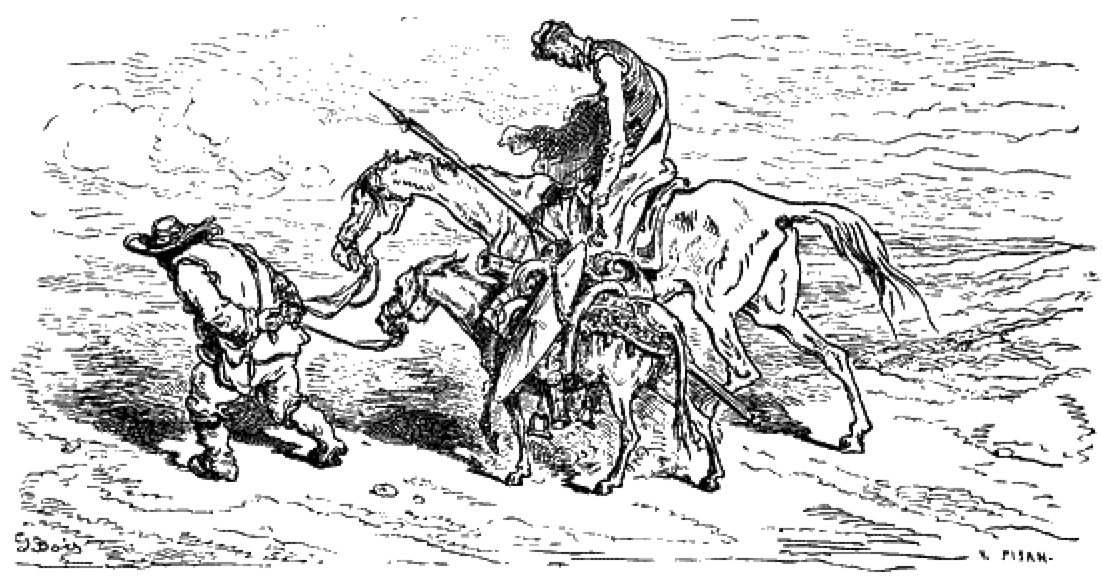
– Горькая твоя доля, бедная ты моя девушка, – молвил Санчо, – уж такая горькая – просто страх, потому напоролась ты на каменную душу и на дубовое сердце. Вот если б ты за мной приударила, то, скажу по чести, внакладе бы не осталась.

Беседа окончилась. Дон Кихот оделся, отобедал с их светлостями и в тот же день отбыл.



Глава LXXI

О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село



Побежденный и теснимый судьбою, Дон Кихот был весьма печален, а в то же время и весьма радостен. Грусть его вызывалась поражением, радость же – мыслью о целебной силе Санчо, которую тот выказал при воскрешении Альтисидоры, хотя, впрочем, Дон Кихоту потребовалось некоторое усилие для того, чтобы убедить себя, что влюбленная девушка была, точно, мертва. Санчо между тем отнюдь не находился в радостном расположении духа: ему грустно было думать, что Альтисидора не сдержала своего слова и не подарила ему сорочек; он беспрестанно к этой мысли возвращался и наконец сказал своему господину:

– Право, сеньор, я, как видно, самый несчастный изо всех врачей, какие только водились на свете: ведь есть же такие лекари, которые уморят больного, а потом все-таки получают за труды, хотя весь-то их труд только в том и состоит, что они пропишут какие-нибудь снадобья, изготовляют же эти снадобья вовсе не они, а аптекари, – одним словом, денежки в кармане, а там уж лекарю на все наплевать. Ну, а я за чужое здоровье расплатился собственной кровью, щелчками, щипками, уколами, розгами и все-таки получил фигу. Да будь они все неладны, попадись мне теперь в руки больной, я сперва потребую: пусть меня хорошенько смажут, – поп, дескать, тем и живет, что молитвы поет, будьте спокойны, господь бог не для того наделил меня целебной силой, чтобы я делился ею с другими задаром.

– Твоя правда, друг Санчо, – согласился Дон Кихот. – Альтисидора весьма дурно с тобою обошлась, не подарив обещанных сорочек, и хотя целебная сила тебе *gratis data*,[236] ибо никакой науки ты не изучал, однако ж ты подвергся мучениям, а это и послужило тебе наукой. Если же ты захочешь платы за порку для расколдования Дульсинеи, то я тебе уплачу сполна, хотя я и не уверен, долженствует ли подобного рода лечение быть оплачено, я даже боюсь, как бы награда не повлияла дурно на действие лекарства. Со всем тем, по моему разумению, попытка не пытка: подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и, нимало не медля, приступай к порке, а после сам же себе уплати наличными, потому что деньги мои у тебя.

Это предложение заставило Санчо выпучить глаза и развесить уши, и, мысленно порешив выпороть себя на совесть, он сказал своему господину:

– Так и быть, сеньор, я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие, с пользою, однако ж, и для себя: из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько ж вы мне положите за каждый удар?

– Когда б я намеревался вознаградить тебя, Санчо, – отвечал Дон Кихот, – сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену.

– Всего должно быть три тысячи триста с лишним ударов, – сказал Санчо, – из них я уже нанес себе пять, остальные за мною, эти пять пусть покроют лишек, значит, давайте считать всего три тысячи триста, так вот, если положить по одному куартильо за каждый удар (а уж меньше я не возьму ни за что на свете), то всего выйдет три тысячи триста куартильо, три тысячи куартильо – это полторы тысячи полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов, триста же куартильо составляют полтораста полуреалов, то есть семьдесят пять реалов, и вот если к семистам пятидесяти реалам прибавить эти семьдесят пять, то получится всего восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и возвращусь домой богатым и довольным, хотя и как следует выпоротым, ну да ведь рыбки захочешь – штаны замочишь.

– О благословенный Санчо! О дражайший Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – После этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней! Если только Дульсинея обретет утраченный облик (а я и не мыслю себе, чтоб могло быть иначе), ее несчастье преобразится в счастье, а мое поражение наиславнейшим торжеством обернется. Итак, Санчо, я жду от тебя ответа, когда ты приступишь к самобичеванию, – для ускорения дела я готов прибавить еще сто реалов.

– Когда? – переспросил Санчо. – Нынче же ночью, можете быть уверены. Постарайтесь, ваша милость, чтобы мы провели эту ночь в поле, под открытым небом, а уж я себя исполосую – только держись!

Вот наконец и настала ночь, которой Дон Кихот дожидался с нетерпением чрезвычайным, ибо ему казалось, будто колеса Аполлоновой колесницы[237] сломались и что день тянется долее обыкновенного: в сем случае он ничем не отличался от всех влюбленных, которые не умеют держать себя в руках. Наконец они въехали в приютную рощу, неподалеку от дороги, и, расседлав Росинанта и серого, растянулись на зеленой травке и поужинали тем, что было припасено у Санчо; засим помянутый Санчо сделал из узды Росинанта и недоуздка серого хлесткий и гибкий бич и отошел шагов на двадцать от своего господина, под сень буков. Заметив, с каким решительным и бесстрашным видом он шагает. Дон Кихот сказал ему:

– Смотри, друг мой: не избивай себя до бесчувствия, устраивай перерывы, не выказывай излишней горячности, иначе ты выдохнешься на полдороге, – я хочу сказать, чтобы ты себя пожалел, иначе ты отправишься на тот свет прежде, нежели достигнешь желанной цели. А дабы ты не пересолил, не недосолил, я стану тут же, рядом, и начну отсчитывать на четках наносимые тобою удары. Засим да поможет тебе господь бог претворить в жизнь благое твое намерение.

– Исправному плательщику залог не страшен, – объявил Санчо, – я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом-то весь смысл чуда и состоит.

Тут он обнажился до пояса и, схватив ременную плеть, начал себя хлестать, а Дон Кихот занялся подсчетом ударов. Санчо уже дошел примерно до восьми ударов, а затем, смекнув, что это дело нешуточное и что цену он взял пустяковую, приостановил самосечение и сказал своему господину, что он продешевил и что каждый такой удар должен стоить не куартильо, а полуреал.

– Продолжай, друг Санчо, – молвил Дон Кихот, – не волнуйся: я заплачу тебе вдвое.

– Коли так, – подхватил Санчо, – господи благослови! Ох, я же себе сейчас и всыплю!

Однако хитрец перестал хлестать себя по спине и начал хлестать по деревьям, что, впрочем, не мешало ему по временам так громко стонать, что казалось, будто вместе с каждым таким стоном из его тела вылетает душа. Между тем у Дон Кихота душа была добрая, и он опасался, как бы тот не уходил себя насмерть, из-за собственного неблагоразумия так и не достигнув своей цели, – вот почему он сказал Санчо:

– Сделай одолжение, друг мой, прерви на сем месте свое занятие: средство это мне представляется чересчур сильным, для него требуется передышка, недаром говорится: Самору долго осаждали, а с налету никогда бы не взяли. Если только я не обчелся, ты уже нанес себе более тысячи ударов, – пока что довольно. Грубо выражаясь, осла нагружай-нагружай – он и не охнет, а перегрузил – издохнет.

– Нет, нет, сеньор, – возразил Санчо, – не желаю я, чтоб про меня говорили: «Денежки получил – и ручки сложил». Отойдите, ваша милость, чуть подальше, дайте я нанесу себе хотя бы еще одну тысячу: мы меньше чем в два приема с этим делом справимся, а кончил дело – гуляй смело.

– Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, бог тебе в помощь, – молвил Дон Кихот, – стегай себя, а я отойду в сторону.

Санчо с таким рвением вновь принялся выполнять свой урок, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной, – до того жестоко он себя бичевал; наконец, изо всех сил хлестнув плетью по стволу бука, он громко воскликнул:

– Здесь погиб Самсон и все филистимляне!

Услышав страшный звук удара и сей жалобный голос. Дон Кихот устремился к Санчо и, выхватив у него перевитой ремень узды, служивший оруженосцу бичом, сказал:

– Судьба не допустит, друг Санчо, чтобы, стараясь мне угодить, ты засек себя до смерти: ты нужен жене и детям, а Дульсинея потерпит до другого раза, я же, уповая на близкий конец этого предприятия, подожду, пока ты соберешься с силами и к общему благополучию его завершишь.

– Коли уж вам, государь мой, так хочется, то пусть будет по-вашему, – согласился Санчо, – только набросьте мне на плечи вашу накидку, а то я вспотел и боюсь простудиться: кто в первый раз себя бичует, тому это очень даже просто.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись в одном камзоле, отдал накидку Санчо, Санчо же проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, и тогда они снова тронулись в путь и прервали его, лишь достигнув селения, расположенного в трех милях от рощи. Остановились они на постоялом дворе, который Дон Кихот именно таковым и признал, но отнюдь не замком с глубокими рвами, башнями, решетками и подъемным мостом; надобно заметить, что со времени своего поражения он стал судить о вещах более здраво, что будет видно из дальнейшего. Его поместили внизу, в комнате, стены которой вместо тисненных золотом кож были по деревенскому обычаю увешаны старыми разрисованными полотнами. На одном из них было грубейшим образом намалевано похищение Елены: дерзкий гость увозит супругу Менелая, а на другом – история Дидоны и Энея: Дидона стоит на высокой башне и машет чуть не целой простыней своему гостю-беглецу, который мчится по морю то ли на фрегате, то ли на бригантине. Дон Кихот приметил, что Елена уезжала не без удовольствия, потому что она тайком хитро улыбалась, а прекрасная Дидона лила слезы величиной с грецкий орех. Разглядывая эти полотна, Дон Кихот сказал:

– Жребий у этих двух сеньор на редкость горестный, ибо им не суждено было жить в наше время, я же несчастнее всех, оттого что не жил в их век: ведь только встреться я с их возлюбленными – и Троя не была бы сожжена, а Карфаген разрушен, – мне довольно было бы убить одного Париса, чтобы предотвратить столько бедствий.

– Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, – что вскорости не останется ни одной харчевни, гостиницы, постоялого двора или же цирюльни, где не будет картин с изображением наших подвигов. Только я бы хотел, чтобы их нарисовал художник получше этого.

– Твоя правда, Санчо, – согласился Дон Кихот, – этот художник вроде Орбанехи, живописца из Убеды, который, когда его спрашивали, что он пишет, отвечал: «Что выйдет». Если, например, он рисовал петуха, то непременно подписывал: «Это петух», чтобы не подумали, что это лисица. Полагаю, Санчо, что такого же точно пошиба должен быть тот живописец или писатель, – в конце концов это все равно, – который выпустил в свет историю новоявленного Дон Кихота: он живописал или писал, что выйдет. А еще он напоминает Маулеона, мадридского стихотворца недавних времен, который, о чем бы у него ни спросили, на все отвечал, не моргнув глазом, и вот однажды его спросили, что значит: *Deum de Deo*, а он ответил: *De donde diere*.[238] Но довольно об этом, скажи мне лучше, Санчо, намерен ли ты в ближайшую ночь отсчитать себе еще одну порцию плетей и желаешь ли ты, чтоб это было под кровом или же под открытым небом.

– Ей-ей, сеньор, – молвил Санчо, – этим заниматься можно где угодно: хочешь – дома, хочешь – в поле. Впрочем, я бы все-таки предпочел под деревьями: у меня такое чувство, будто они со мной заодно и здорово мне помогают.

– Нет, друг Санчо, я передумал, – объявил Дон Кихот, – тебе надобно набраться побольше сил, почему мы и отложим это до возвращения к себе в деревню, а ведь мы приедем, самое позднее, послезавтра.

Санчо сказал, что дело, мол, хозяйское, но что он бы хотел покончить с этим, пока железо еще горячо и пока чешутся руки, ибо промедление часто бывает опаснее всего, и у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и одно «Возьми!» лучше двух посулов, и лучше синица в руках, чем журавль в небе.

– Довольно пословиц, Санчо, ради самого Христа! – взмолился Дон Кихот. – Ты, кажется, снова принимаешься за прежнее: говори просто, ясно, без обиняков, как я уже неоднократно тебя учил – лучше меньше, да лучше.

– Уж и не знаю, что это за незадача, – сказал Санчо, – я без поговорки слова не могу сказать, и всякая поговорка кажется мне словом разумным, однако ж я все старания приложу, чтобы исправиться.

И на этом их разговор временно прекратился.



Глава LXXII

О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свое село



Весь этот день Дон Кихот и Санчо провели в деревне, на постоялом дворе, и ожидали наступления ночи, один – дабы в чистом поле завершить самобичевание, другой – дабы присутствовать при его конце, в коем заключался венец его желаний. Между тем на постоялый двор въехал новый путешественник с тремя или четырьмя слугами, и один из слуг обратился к тому, кого можно было принять за их господина:

– Здесь, сеньор дон Альваро Тарфе, вы можете переждать полуденный зной: в гостинице как будто бы и чисто и прохладно.

Услышав это, Дон Кихот сказал Санчо:

– Знаешь, Санчо, когда я перелистывал вторую часть моей истории, то, по-моему, мне там встретилось имя дона Альваро Тарфе.

– Очень может быть, – заметил Санчо. – Дайте ему спешиться, и тогда мы у него спросим.

Всадник спешился, и хозяйка постоялого двора отвела ему внизу комнату, прямо против комнаты Дон Кихота, также увешанную разрисованными полотнами. Вновь прибывший кавальеро переоделся в летнее платье, вышел в галерею, обширную и прохладную, и, увидев Дон Кихота, который также прогуливался, по галерее, обратился к нему с вопросом:

– Куда, милостивый государь, изволите путь держать?

На что Дон Кихот ему ответил:

– В одно из ближайших сел, откуда я родом. А ваша милость куда направляется?

– Я, сеньор, – отвечал кавальеро, – еду в Гранаду: это моя родина.

– Истинно прекрасная родина! – воскликнул Дон Кихот. – А скажите, будьте любезны, ваша милость, как вас зовут? Я не сумею должным образом изъяснить, как важно мне это знать.

– Меня зовут доном Альваро Тарфе, – отвечал постоялец.

На это Дон Кихот ему сказал:

– Я нимало не сомневаюсь, что ваша милость и есть тот самый дон Альваро Тарфе, который выведен во второй части *Истории Дон Кихота Ламанчского,* недавно преданной тиснению и выданной в свет одним новейшим сочинителем.

– Я самый, – отвечал кавальеро, – Дон Кихот же, главное действующее лицо помянутой истории, был моим ближайшим другом, и это я вытащил его из родного края, во всяком случае, я подвигнул его отправиться на турнир в Сарагосу, куда я собирался сам. Признаться, я оказал ему немало дружеских услуг, и только благодаря мне палач не разукрасил ему спину за чрезмерную дерзость.

– А скажите на милость, сеньор дон Альваро, похож ли я хоть немного на того Дон Кихота?

– Разумеется, что нет, – отвечал постоялец, – положительно ничем.

– А у того Дон Кихота, – продолжал допытываться наш Дон Кихот, – состоял на службе оруженосец Санчо Панса?

– Как же, состоял, – отвечал дон Альваро, – но, хотя он слыл великим шутником, я лично ни одной остроумной шутки от него не слышал.

– Охотно этому верю, – заговорил тут Санчо, – потому шутить не каждый умеет, и этот ваш Санчо, досточтимый сеньор, верно уж, преизрядный плут, тупица, да к тому же еще и негодяй; ведь настоящий-то Санчо Панса – это я, и у меня шутки сыплются чаще дождевых капель; коли угодно вашей милости убедиться на деле, то поживите со мной так примерно годик, и вы сами увидите, что они у меня срываются с языка поминутно и притом в таком количестве и такого рода, что совершенно неожиданно для меня самого все мои слушатели покатываются со смеху. Подлинный же Дон Кихот Ламанчский, славный, отважный, благоразумный влюбленный, искоренитель неправды, оплот малолетних и сирых, прибежище вдовиц, покоритель девичьих сердец, знающий только одну владычицу, Дульсинею

Тобосскую, – вот он, перед вами, и это мой господин, всякий же другой Дон Кихот, а равно и всякий другой Санчо Панса – это все пустые враки.

– Клянусь богом, друг мой, я тебе верю, – воскликнул дон Альваро, – в тех немногих словах, которые ты успел сказать, заключено больше остроумия, нежели во всем, что я слышал от другого Санчо Пансы, а ведь говорит он без умолку! Он больше обжора, чем краснобай, и не столько шутник, сколько просто глупец, и вообще для меня несомненно, что волшебники, преследующие Дон Кихота хорошего, вознамерились преследовать и меня через посредство Дон Кихота плохого. Впрочем, я ничего не понимаю: я могу ручаться, что поместил его на излечение в толедский дом для умалишенных, но теперь я вижу другого Дон Кихота, ничего общего не имеющего с моим.

– Я не знаю, точно ли я хороший, – молвил Дон Кихот, – одно могу сказать, что я и не плохой, в доказательство чего позвольте довести до сведения вашей милости, государь мой дон Альваро Тарфе, что я ни разу в жизни не был в Сарагосе, более того: как скоро я узнал, что вымышленный Дон Кихот участвует в сарагосском турнире, то порешил туда не ездить, чтобы вывести сочинителя за ушко да на солнышко, а проследовал прямо в Барселону – обиталище радушия, приют для чужестранцев, пристанище для бедняков, отчизну храбрецов, город-мститель за утесненных, гостеприимный кров для истинной дружбы, город, единственный по красоте местоположения. И хотя события, которые там со мною произошли, не весьма радостны, напротив того: весьма печальны, меня, однако ж, примиряет с ними то обстоятельство, что я видел самый город. Итак, сеньор дон Альваро Тарфе, это я и есть Дон Кихот Ламанчский, о котором идет слава, а не тот пакостник, который вознамерился присвоить себе мое имя и, приписав себе мои мысли, тем возвысить себя во мнении света. Я взываю к вашей милости, как к истинному кавальеро: не откажите в любезности, объявите местному алькальду, что до сего дня ваша милость никогда меня не видала, что я не тот Дон Кихот, который изображен во второй части, и что оруженосец мой Санчо не тот, которого ваша милость изволила знать.

– Я весьма охотно это сделаю, – сказал дон Альваро, – согласитесь, однако ж, что это вещь неслыханная – быть знакомым с двумя Дон Кихотами и двумя Санчо зараз, чьи имена столь сходны и чьи деяния столь различны. Впрочем, я готов подтвердить, что я не видел того, что видел, и что со мной не происходило того, что произошло.

– Ваша милость, уж верно, заколдована, точь-в-точь как сеньора Дульсинея Тобосская, – рассудил Санчо. – Хорошо, если б я мог расколдовать вашу милость, отсчитав себе три тысячи с лишком плетей, как это я делаю ради нее, – уж для вас-то я бы бесплатно постарался.

– Насчет плетей – это мне что-то невдомек, – признался дон Альваро.

Санчо заметил, что об этом долго рассказывать, но что он, однако, все ему расскажет, если только им по пути. Между тем пришло время обедать; Дон Кихот и дон Альваро отобедали вместе. Тут на постоялый двор случилось зайти местному алькальду и писарю, и к этому самому алькальду Дон Кихот обратился с формальной просьбой: он желает-де, чтобы, в ограждение его, Дон Кихота, прав, здесь присутствующий кавальеро дон Альваро Тарфе перед лицом его милости алькальда засвидетельствовал, что он никогда прежде не знал Дон Кихота Ламанчского, также здесь присутствующего, и что это совсем не тот Дон Кихот, который изображен в вышедшей из печати книге под заглавием *Вторая часть Дон Кихота Ламанчского,* сочинение некоего Авельянеды, уроженца Тордесильяса. Алькальд все это обставил юридически: свидетельское показание было дано с соблюдением всех приличествующих случаю формальностей, чему Дон Кихот и Санчо весьма обрадовались, словно им в самом деле было чрезвычайно важно иметь подобное показание и как будто бы различие между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо и без того не было достаточно резко означено в их поступках и в их речах. Дон Альваро и Дон Кихот долго еще обменивались учтивостями и изъявлениями преданности, и тут великий ламанчец выказал всю свою рассудительность, дон Альваро же Тарфе вынужден был признать, что он в нем ошибался: он

даже близок был к мысли, что он сам заколдован, коль скоро видел своими глазами двух столь различных Дон Кихотов.

Наступил вечер, и оба постояльца одновременно выехали из села, однако ж примерно в полумиле от него дорога расходилась: одна вела в село к Дон Кихоту, другая – туда, куда нужно было дону Альваро. За этот краткий промежуток времени Дон Кихот рассказал дону Альваро о злополучном своем поражении, о заколдованности Дульсинеи и о средстве расколдовать ее и всем этим привел дона Альваро в изумление, а затем дон Альваро, обняв Дон Кихота и Санчо, поехал в одну сторону, Дон Кихот же устремился в другую и провел эту ночь среди дерев, чтобы предоставить возможность Санчо покончить с его епитимьей, каковую Санчо и на сей раз исполнял тем же самым способом, что и прошедшей ночью, то есть в неизмеримо большей степени за счет буковой коры, нежели за счет собственной спины, с которою он до того бережно обходился, что даже муху не могли бы с нее согнать наносимые им удары. Обманутый Дон Кихот ни разу не ошибся в счете и нашел, что вместе со вчерашними общее число плетей достигает трех тысяч двадцати девяти. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше только для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение, и с первыми его лучами Дон Кихот и Санчо поехали дальше, беседуя между собою о том, в каком заблуждении находился дон Альваро и как благоразумно они поступили, взяв у него по всей форме, перед лицом представителя правосудия, свидетельское показание.

Весь этот день, равно как и следующую ночь, они провели в пути, и за это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы описания, за исключением разве того, что ночью Санчо выполнил свой урок, чему Дон Кихот возрадовался несказанно, – он с нетерпением стал ожидать рассвета, оттого что днем, казалось ему, он непременно должен встретить уже расколдованную владычицу свою Дульсинею; и, продолжая свой путь, он не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть: уж не Дульсинея ли это Тобосская, а что Мерлин мог не исполнить своего обещания – это представлялось ему невероятным. Занятый этими мыслями и мечтами, он вместе с Санчо въехал на холм, с вершины коего открывался вид на их родное село, и тут Санчо, опустившись на колени, воскликнул:

– Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего Санчо Пансу: он возвращается к тебе не сильно разбогатевший, но зато лихо исполосованный плетьми. Раскрой объятия и прими также сына своего Дон Кихота: его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы невозможно себе пожелать. Я возвращаюсь при деньгах, потому хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился.

– Полно дурачиться, – сказал Дон Кихот, – дай бог нам счастливо въехать в наше селение, а уж там, на досуге, наша выдумка придет нам на помощь, и мы составим план пастушеской жизни, которую мы намереваемся вести.

Тут они спустились с холма и двинулись по направлению к своему селу.



Глава LXXIII

О знамениях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории



Когда же они въезжали в село, то, по словам Сида Ахмета, Дон Кихот увидел, что возле гумна ссорятся двое мальчишек, из коих один крикнул другому:

– Зря силы тратишь, Перикильо, – больше ты ее никогда в жизни не увидишь!

Тут Дон Кихот сказал Санчо:

– Ты обратил внимание, друг мой, что сказал мальчишка: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь»?

– Ну и что ж такого? – возразил Санчо. – Мало ли что скажет мальчишка!

– Как что ж такого? – воскликнул Дон Кихот. – Разве ты не понимаешь, что если применить эти слова ко мне, то выйдет, что мне не видать больше Дульсинеи?

Санчо только хотел было ему ответить, как вдруг увидел, что по полю бежит заяц, гонимый множеством охотников и борзых собак, и вот этот самый заяц от испуга юркнул и забился под брюхо к серому. Санчо поймал его голыми руками и преподнес Дон Кихоту, но Дон Кихот сказал:

– *Malum signum! Malum signum!*[239] Заяц бежит, за ним гонятся борзые, – не увижу я Дульсинею!

– Странный вы человек, ваша милость, – заметил Санчо. – Предположим, что этот заяц – Дульсинея Тобосская, а борзые, которые его травят, – это лиходеи-волшебники, превратившие ее в сельчанку; она бежит, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, а вы держите ее в объятиях и ласкаете – какая же это дурная примета и в чем же здесь можно видеть дурное предзнаменование?

Двое только что повздоривших мальчишек подошли поглядеть на зайца, и одного из них Санчо спросил, из-за чего у них вышла ссора. На это мальчишка, который сказал: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь», ответил Санчо, что он отнял у своего товарища клетку со сверчками и больше никогда ему не отдаст. Санчо вынул из кармана четыре куарто и вручил их мальчугану, а у него взял клетку и, передав ее Дон Кихоту, молвил:

– Готово дело, сеньор: все эти предзнаменования разрушены и развеяны в прах, хотя, впрочем, к нам с вами они имеют такое же точно касательство, как прошлогодние тучи; это даже и я соображаю, хотя я и не дальнего ума человек. И если память мне не изменяет, я слыхал от нашего священника, что истинным христианам, и к тому же еще людям просвещенным, не подобает придавать значение таким пустякам, да и сами же вы, ваша милость, на днях мне объясняли, что христиане, верящие в приметы, дураки. Стало быть, и нечего нам тут из-за этого мешкать, поедемте дальше, прямо к себе в деревню.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот им его отдал; Дон Кихот и Санчо поехали своей дорогой и при въезде в село увидели, что на лужайке читают молитвы священник и бакалавр Карраско. Надобно знать, что Санчо Панса вместо попоны накрыл серого и перевязанные веревкой доспехи тою самою бумазейною мантией с языками пламени, которую на него надевали в герцогском замке в ночь оживления Альтисидоры. Вдобавок он еще напялил ослу на голову колпак, – словом, такого превращения и такого наряда ни одно животное ослиной породы не знало от сотворения мира.

Священник и бакалавр тотчас узнали обоих путешественников и бросились. к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко их обнял; деревенские же мальчишки своими рысьими, неумолимыми глазами еще издали разглядели колпак на осле, и теперь они, сбежавшись гурьбой, скликали друг друга:

– Эй, ребята, поглядите на *осла Санчо:* он наряднее самого Минго,[240] и на *эту клячу Дон Кихота:* у нее уже теперь все ребра видны!

Наконец, окруженные мальчишками и сопровождаемые священником и бакалавром, Дон Кихот и Санчо въехали в село и направились к дому Дон Кихота, на пороге коего стояли ключница и племянница, уже осведомленные об их приезде. Услышала об этом и супруга Санчо, Тереса Панса; растрепанная, полуодетая, схватив за руку дочку свою Санчику, она побежала встречать мужа; когда же она разглядела, что он не так наряжен, как, в ее представлении, приличествовало губернатору, то сказала ему:

– Что это с тобой, муженек? Возвращаешься домой вроде как пешком и притом еще еле ковыляешь; право, вид у тебя не как у губернатора, а словно ты уже отгубернаторствовал.

– Молчи, Тереса, – сказал Санчо, – по уму встречают – по платью провожают, дай только до дому дойти – уж наслушаешься ты чудес. Я привез денег, это самое главное, и нажил я их собственной смекалкой, а чтобы кого обидеть – боже упаси.

– Давай сюда денежки, любезный муженек, – рассудила Тереса, – а нажиты они могут быть всяко. Как бы ты их ни нажил – этим ты никого не удивишь.

Санчика обняла отца и спросила, что он ей привез: видно было, что ждала она его, как майского дождичка; затем она ухватилась за его пояс, а осла взяла под уздцы, жена с другой стороны взяла Санчо за руку, и все они отправились к себе домой; Дон Кихот между тем остался у себя – на попечении ключницы и племянницы, а также в обществе священника и бакалавра.

Не дав никому опомниться, Дон Кихот тотчас заперся с бакалавром и священником и в кратких словах рассказал им о своем поражении и о том, что он принял на себя обязательство в течение года не выезжать из села, каковое обязательство он-де намерен выполнять буквально, не отступая от него ни на йоту, как подобает странствующему рыцарю, свято соблюдающему свой устав, и что он собирается на этот год стать пастухом и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю своим любовным думам, подвизаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни; и он-де просит священника и бакалавра, если только они не очень заняты и им не помешают более важные дела, к нему присоединиться: он-де намерен приобрести стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы им всем иметь право называться пастухами, а еще, мол, он доводит до их сведения, что главное уже сделано, ибо имена для них он подобрал, и притом весьма подходящие. Священник полюбопытствовал, какие именно. Дон Кихот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом,* бакалавр – пастухом *Карраскономи,* священник – пастухом *Пресвитериамбро,* а Санчо Панса – пастухом *Пансино.* Этот новый предмет Дон-Кихотова помешательства поразил священника и бакалавра, однако ж, дабы он снова, рыцарских ради подвигов, не пустился в странствия и в надежде на то, что за этот год он, может статься, поправится, они эту новую его затею одобрили и, безумную его мысль признав вполне здравою, согласились вместе с ним начать подвизаться на новом поприще.

– И вот еще что, – прибавил Самсон Карраско. – Всем известно, что я знаменитый поэт, так вот я все время буду сочинять стихи в пастушеском, в светском, в каком хотите роде, чтобы нам не скучно было скитаться в дебрях, но важнее всего, государи мои, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он намерен воспевать, и пусть не останется ни одного дерева с самой крепкой корой, на коем мы эти имена не начертали бы и не вырезали, как это принято и как это водится у влюбленных пастухов.

– Все это совершенно верно, – заметил Дон Кихот, – но только мне лично незачем придумывать имя для воображаемой пастушки, когда у меня есть несравненная Дульсинея Тобосская, слава окрестных берегов, украшение наших полей, святилище красоты, верх изящества, – словом, та, которой можно воздать любую хвалу, не опасаясь впасть в преувеличение.

– Ваша правда, – согласился священник, – ну, а уж мы поищем себе пастушек посговорчивей, не тех – так других.

А Самсон Карраско подхватил:

– Если же не найдем, то возьмем имена у тех, которые выведены и изображены в книгах, всеми читанных и перечитанных, – такие имена, как, например, Филида, Амарилис, Диана, Флерида, Галатея и Белисарда; коль скоро они продаются на всех рынках, то почему бы нам не купить их и не приобрести в собственность? Если мою даму или, вернее сказать, пастушку зовут, положим, Аной, то я буду воспевать ее под именем *Анарды,* если Франсиской, то я

назову ее *Франсенией,* если Лусией, то *Лусиндой* и так далее. Если же и Санчо Панса вступит в наше братство, то он может воспевать свою жену Тересу Панса под именем *Тересайны.*

Посмеялся Дон Кихот этому последнему новообразованию, священник же снова выразил полное одобрение почтенному и благородному начинанию Дон Кихота и обещал проводить с ним все то время, какое будет у него оставаться после исполнения непременных его обязанностей. На этом священник и бакалавр с Дон Кихотом распрощались, а перед уходом обратились к нему с просьбой беречь свое здоровье и посоветовали обратить особое внимание на пищу.

Племянница и ключница волею судеб слышали этот разговор, и как скоро священник с бакалавром удалились, они вошли вдвоем к Дон Кихоту, и тут племянница повела с ним такую речь:

– Что это значит, дядюшка? Мы были уверены, что вы возвратились домой навсегда и собираетесь вести мирный и достойный образ жизни, а вас, оказывается, тянет в новые дебри, как поется в песне –

Пастушок, остановись-ка![241]

Ты откуда и куда?

Честное слово, годы ваши не те!

Тут вмешалась ключница:

– Да разве полуденный зной – летом, ночная сырость и вой волков – зимою, разве это для вас, ваша милость? Конечно, нет; это поприще и занятие для людей крепких, закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Уж коли из двух зол выбирать, так лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Право, сеньор, послушайтесь вы моего совета, – ведь я вам его даю не с пьяных глаз, а в здравом уме, и я недаром прожила на свете полвека, – оставайтесь дома, займитесь хозяйством, почаще исповедуйтесь, помогайте бедным, и если это не пойдет вам на пользу, то грех будет на моей душе.

– Полно, дочки, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, как мне надлежит поступить. Уложите меня в постель, ибо я чувствую некоторое недомогание, и помните, что кем бы я ни был: странствующим ли рыцарем, пастухом ли, я вечно буду о вас заботиться, в чем вы и убедитесь на деле.

И тут обе милые дочки (а ведь ключница и племянница и правда были ему как дочки) уложили его в постель и постарались как можно лучше накормить его и угостить.



Глава LXXIV

О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине



Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая, а как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовала совершенно для него неожиданно; может статься, он сильно затосковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели, и все это время его навещали друзья: священник, бакалавр и цирюльник, добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от его изголовья. Друзья, полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихота, а бакалавр все твердил, чтобы он переломил себя, встал с постели и начал вести пастушескую жизнь, на каковой предмет у него, бакалавра, уже, мол, заготовлена эклога почище Саннадзаровых,[242] и что он, бакалавр, уже купил у кинтанарского скотовода на собственные деньги двух славных псов, чтобы сторожить стадо, из коих одного кличут Муругим, а другого Птицеловом. Все это, однако ж, не могло развеять печаль Дон Кихота.

Друзья послали за лекарем; тот пощупал пульс, остался им недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравию грозит, мол, опасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец – они горькими слезами заплакали, точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул:

– Благословен всемогущий бог, столь великую явивший мне милость! Милосердие его воистину бесконечно, и прегрешения человеческие не властны ни ограничить его, ни истощить.

Племянница слушала дядю своего со вниманием, и речи его показались ей разумнее обыкновенного, во всяком случае – разумнее того, что он говорил во время болезни, а потому она обратилась к нему с такими словами:

– О чем это вы толкуете, дядюшка? Кажется, это что-то новое? О каком таком милосердии и о каких человеческих прегрешениях вы говорите?

– О том самом милосердии, племянница, которое в этот миг, невзирая на мои прегрешения, проявил ко мне господь, – отвечал Дон Кихот. – Разум мой прояснился, теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в который его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. Теперь я вижу всю их вздорность и лживость, и единственно, что меня огорчает, это что отрезвление настало слишком поздно и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница: я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди удостоверились, что жил я не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвание сумасшедшего, – пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника маэсе Николаса: я хочу исповедаться и составить завещание.



Племяннице, однако ж, не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь:

– Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный *Добрым.* Ныне я враг Амадиса Галльского и тьмы-тьмущей его потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я по милости божией научен горьким опытом и предаю их проклятию.

Трое посетителей, послушав такие речи, решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему:

– Как, сеньор Дон Кихот? Именно теперь, когда у нас есть сведения, что сеньора Дульсинея расколдована, ваша милость – на попятный? Теперь, когда мы уже совсем собрались стать пастухами и начать жить по-княжески, с песней на устах, ваша милость записалась в отшельники? Перестаньте ради бога, опомнитесь и бросьте эти бредни.

– Я называю бреднями то, что было до сих пор, – возразил Дон Кихот, – бреднями воистину для меня губительными, однако с божьей помощью я перед смертью обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру, а потому шутки в сторону, сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться, а затем – писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своею душою, вот я и прошу вас: пока священник будет меня исповедовать, пошлите за писарем.

Присутствовавшие переглянулись – до того поразил их Дон Кихот, и хотя и не без колебаний, однако же все были склонны придать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка, ибо к вышеприведенным речам он присовокупил еще и другие, столь связные, столь проникнутые христианским духом и столь разумные, что все их сомнения в конце концов рассеялись и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся.

Священник попросил всех удалиться и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой; Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал:

– Алонсо Кихано Добрый, точно, умирает и, точно, находится в здравом уме. Пойдемте все к нему, сейчас он будет составлять завещание.

Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы: из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи, ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь, и после того как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, помолившись богу и соблюдая все, что по христианскому обряду в сем случае полагается, приступил к составлению завещания и начал так:

– *Item*,[243] я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял в оруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали ввиду того, что у нас с ним свои счеты; буде же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе: деньги небольшие, а ему они пригодятся, и уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здравом уме, я пожаловал бы ему, если б мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают.

Тут он обратился к Санчо и сказал:

– Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне.

– Ах! – со слезами воскликнул Санчо. – Не умирайте, государь мой, послушайтесь моего совета: живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека – взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться, вставайте-ка, одевайтесь пастухом – и пошли в поле, как у нас было решено: глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше! Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите все на меня: дескать, вы упали с Росинанта, оттого что я плохо подтянул подпругу, да и потом вашей милости известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого наземь: сегодня его одолели, а завтра – он.

– Разумеется, – сказал бакалавр, – добрый Санчо Панса в рассуждении сего совершенно прав.

– Полно, сеньоры, – молвил Дон Кихот, – новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я – Алонсо Кихано Добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас пользовался, вы же, господин писарь, пишите дальше. *Item,* завещаю все мое достояние здесь присутствующей племяннице моей Антонии Кихано с тем, однако ж, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначаемая мною для иных целей; и прежде всего я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалованье за все то время, что она у меня прослужила, а сверх того прошу выдать ей двадцать дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Карраско, здесь присутствующих. *Item,* желаю, чтобы племянница моя Антония Кихано, буде она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия; если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в сем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела. *Item,* прошу вышепоименованных господ душеприказчиков, если им когда-нибудь доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием *Второй части подвигов Дон Кихота Ламанчского,* передать ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызения совести, что послужил для этого побудительною причиною.

На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь; и в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытье. Весь дом был в тревоге; впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику, да и Санчо Панса себя не забывал: надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того как над Дон Кихотом были совершены все таинства и после того как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот; все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря – умер.

Тогда священник попросил писаря выдать свидетельство, что Алонсо Кихано Добрый, обыкновенно называемый Дон Кихотом Ламанчским, действительно преставился и опочил вечным сном; свидетельство же это понадобилось ему для того, чтобы какой-нибудь другой сочинитель, кроме Сида Ахмета Бен-инхали, не вздумал обманным образом воскресить Дон

Кихота и не принялся сочинять длиннейшие истории его подвигов. Таков был конец хитроумного ламанчского идальго; однако ж местожительство его Сид Ахмет точно не указал, дабы все города и селения Ламанчи оспаривали друг у друга право усыновить Дон Кихота и почитать его за своего уроженца, подобно как семь греческих городов спорили из-за Гомера.[244]

Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить новые эпитафии, ему посвященные, за исключением лишь следующей, сочиненной Самсоном Карраско:

Под плитою сей замшелой

Спит идальго, до того

Телом мощный, духом смелый,

Что бессмертья не сумела

Даже смерть лишить его.

Он по всей стране скитался,

Всем посмешищем служил,

С мненьем света не считался,

Но, хотя безумцем жил,

С жизнью, как мудрец, расстался.

А премудрый Сид Ахмет говорит, обращаясь к своему перу:

«Здесь, на этом крючке и медной проволоке, ты и будешь висеть, перо мое, не знаю, хорошо или же дурно очиненное, и ты будешь жить здесь века и века, если только какие-нибудь дерзновенные и злочестивые сочинители не снимут тебя, дабы осквернить. Однако, прежде нежели они к тебе прикоснутся, предостереги их и произнеси как можно внушительнее:

Прочь, баловники, ступайте

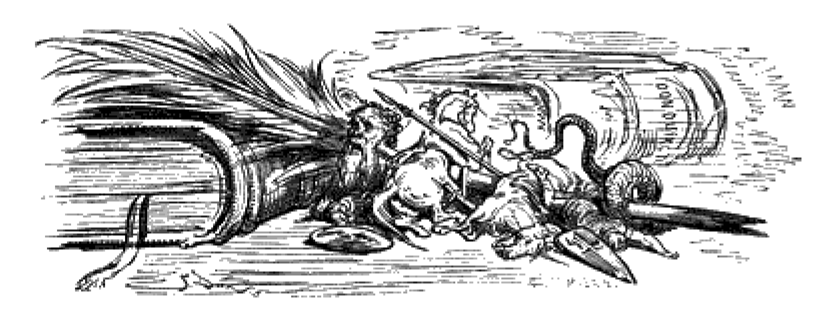
И меня не беспокойте!

Суждено, король, лишь мне

Совершить подобный подвиг.

Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне – описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару – назло и на зависть тому лживому тордесильясскому писаке,[245] который отважился (а может статься, отважится и в дальнейшем) грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря, ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело; и если тебе доведется с ним встретиться, то скажи ему, чтобы он не ворошил в гробу усталые и уже истлевшие кости Дон Кихота и не смел, нарушая все права смерти, перетаскивать их в Старую Кастилию,[246] не смел разрывать его могилу, в которой Дон Кихот воистину и вправду лежит, вытянувшись во весь рост, ибо уже не способен совершить третий выезд и новый поход; а дабы осмеять бесконечные походы бесчисленных странствующих рыцарей, довольно, мол, первых двух его выездов, которые доставили удовольствие и понравились всем, до кого только дошли о них сведения, будь то соотечественники наши или же чужестранцы. Подав сей благой совет недоброжелателю твоему, ты исполнишь христианский свой долг, я же буду счастлив и горд тем, что первый насладился в полной мере, как того желал, плодами трудов своих, ибо у меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах; и вот, благодаря тому что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно». *Vale.*

Конец



Примечания

1

Граф Лемосский (1576–1622) – крупный испанский сановник, в 1610–1615 гг. был вице-королем в Неаполе, затем – председателем Совета по итальянским делам.

2

...комедии, вышедшие из печати до представления на сцене... – Свой сборник драматических произведений, вышедших в том же году, что и вторая часть «Дон Кихота», Сервантес назвал: «Восемь комедий и восемь интермедий, никогда еще не представлявшихся на сцене».

3

...другим Дон Кихотом... – Речь идет о подложной второй части «Дон Кихота», вышедшей в свет в 1614 г. под названием: «Вторая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, содержащая рассказ о его третьем выезде и сочиненная лиценциатом Алонсо Фернандесом де Авельянеда из города Тордесильяса».

4

...император китайский... – Вымысел о послании китайского императора с особой остротой подчеркивает нужду, которую терпел Сервантес в последние годы своей жизни. Этими строками писатель хотел сказать, что у себя на родине он не может рассчитывать на какую-либо помощь.

5

Коллегия – учебное заведение, в котором главным предметом обучения было богословие или правоведение.

6

«Странствия Персилеса и Сихизмунды» – Этот роман вышел в свет после смерти Сервантеса в 1617 г.

7

С божьей помощью *(лат.)*

8

...зачат был в Тордесильясе, а родился а Таррагоне! – Упомянутая подложная вторая часть «Дон Кихота» вышла в свет в Таррагоне, автор же ее назвал себя уроженцем Тордесильяса.

9

...во время величайшего из событий... – то есть в битве при Лепанто между объединенным испано-венецианским флотом и турками (7 октября 1571 г.), которая завершилась поражением турецкого флота. В этой битве Сервантес потерял руку.

10

...не могу я преследовать духовную особу... – Многие комментаторы усматривают в этих словах намек на Лопе де Вега, крупнейшего испанского драматурга (1562–1635). Последний действительно с 1609 г. носил звание служителя инквизиции, а в 1614 г. стал священником.

11

...сеньор мой Двадцать Четыре – то есть член городского совета, один из двадцати четырех членов городской администрации.

12

...в строфах Минго Ревульго... – анонимные куплеты, в которых в форме беседы двух пастухов (Минго Ревульго и Хиля Арребато) подвергаются критике общественные порядки при короле Энрике IV (1454–1474).

13

Ликург – полулегендарный спартанский законодательный мудрец, создатель спартанского государственного строя.

14

Солон – один из крупнейших политических деятелей Древней Греции (638–559 до н. э.), имя которого стало нарицательным для обозначения справедливого и неподкупного законодателя.

15

...султан турецкий с огромным флотом вышел в море... – Побережье Испании в то время находилось под угрозой нападения со стороны турецких корсаров, в особенности испанские владения в Средиземноморском бассейне: Неаполь, Сицилия и Мальта.

16

...ни королю, ни ладье... – термины шахматной игры. Фраза из не дошедшего до нас народного романса, означающая, что в разговоре не упоминают личностей и избегают упоминать даже о таких значительных фигурах, какими являются в шахматной игре король и ладья.

17

Осуна – в этом городе находился университет второстепенного значения, а в Саламанке – самый крупный испанский университет.

18

...распоряжение исходило от архиепископа... – В то время в Испании больницы, сиротские дома, дома призрения и прочие находились в ведении церкви.

19

Родомонт – один из персонажей поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», лихой вояка.

20

...славный андалусский поэт... – Имеется в виду испанский поэт Луис Бараона де Сото (1548–1595), написавший поэму «Слезы Анджелики» (1586) в виде продолжения поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

21

...несравненный кастильский поэт... – Подразумевается Лопе де Вега, написавший поэму «Красота Анджелики» (1602), в которой он развил сюжет поэмы Ариосто.

22

Сакрипант – персонаж рыцарских поэм, один из отвергнутых поклонников Анджелики.

23

Столичные алькальды – Столичными алькальдами в эпоху Сервантеса назывались представители центральной власти в городах, назначавшиеся центральным правительством.

24

Александр – Имеется в виду Александр Македонский.

25

...звался Самсоном... – Самсон (Сампсон), по библейскому преданию, был человек огромного роста и могучего телосложения.

26

Одеяние апостола Петра – одежда так называемого «белого» духовенства, которая ничем не отличалась от одежды студентов того времени.

27

Мафусаил – библейский патриарх, проживший 969 лет. Его имя стало нарицательным для обозначения долголетия.

28

Тостадо – прозвище авильского епископа Алонсо де Мадригаль, умершего в 1450 г. Собрание его сочинений состоит из ста двадцати четырех томов. Его имя стало синонимом плодовитого и скучного писателя.

29

Неточная цитата из Горация: «Случается и Гомеру задремать», то есть и Гомер не свободен от промахов. *(лат.)*

30

Число глупцов бесконечно *(лат.)* (Екклезиаст).

31

...разбойник Брунел. – В XXVII песне «Неистового Роланда» рассказывается о том, как ловкий вор Брунел похитил у Сакрипанта коня тем же способом, каким Хинес де Пасамонте вытащил осла из-под Санчо Пансы.

32

...в Георгиев день надлежит быть наиторжественнейшим состязаниям... – Эти традиционные торжества происходили ежегодно в Сарагосе в память освобождения города от мавров в 1118 г.

33

Десима – десятистишие, редондилья – традиционная испанская стихотворная строфа – четверостишие, в котором первая строчка рифмуется с четвертой, а вторая с третьей.

34

Марисанча – И жену и дочь Санчо Пансы зовут Мари (см. Мари Гутьеррес, гл. VII первой части). Мари – широко распространенное в народе женское имя, которое стало нарицательным для женщины вообще. Таким образом, Мари Гутьеррес означает просто «Гутьеррес». Марисанча – просто «Санча». По установившемуся в Испании обычаю, жена могла сохранить фамилию своего отца (жена Санчо Пансы называет себя Тереса Каскахо), принять фамилию мужа (скажем Тереса Панса) или сделать своей фамилией имя мужа (Тереса Санча). Дети же могли иметь имена, в которых составной частью входило имя отца, а иногда его уменьшительная или женская форма (Марисанча, Санча, Санчика). Полное имя жены Санчо Пансы было: Хуанта-Тереса (имя) Гутьеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу).

35

Уррака – дочь короля Фернандо Кастильского (ум. 1065 г.). Согласно преданию, узнав, что отец лишил ее наследства, она заявила ему, что будет торговать своим телом, а заработанные таким путем деньги отдаст на упокоение души отца.

36

...как поделить между собой солнечный свет... – то есть указать дуэлянтам такие места, чтобы солнечный свет не бил им в глаза.

37

Санбенито – наплечная повязка или накидка желтого цвета с алым крестом, которую надевали на тех, кого инквизиция приговаривала к публичному покаянию.

38

Дом Оттоманов – Отман (или Осман I) – основатель Турецкой (Оттоманской) империи и родоначальник династии Осмаили (1259–1326) прежде, по преданию, был атаманом разбойничьей шайки.

39

Знаменитый кастильский стихотворец – Имеется в виду крупный испанский поэт Гарсиласо де ла Вега (1503–1536). Сервантес приводит строки из его элегии на смерть одного вельможи.

40

...клетки или зубочистки. – Лицам дворянского происхождения возбранялось занятие ремеслами, за исключением нескольких, которые не считались «позорными». К их числу относилось, в частности, производство клеток и зубочисток.

41

Превосходно *(лат.)*

42

...стихи нашего поэта... – Имеется в виду Гарсиласо де ла Вега.

43

Ротонда – Римский Пантеон, храм Юпитера, который служит ныне местом погребения знаменитых людей и королей Италии.

44

Гораций – Имеется в виду Гораций Коклес, который с отрядом римлян защищал мост через Тибр во время войны Рима с Порсеной и оказался отрезанным от римского войска.

45

Муций – В то время, когда Рим был осажден этрусским царем Порсеной, римский юноша Кай Муций отправился с разрешения сената во вражеский стан с целью убить Порсену, но по ошибке убил одного из военачальников. Взятый в плен, он упорно отказывался отвечать на вопросы. Порсена угрожал ему пыткой огнем, но отважный юноша, положив руку на жаровню, заявил, что пытки не страшны тому, кто любит славу.

46

Курций – Согласно преданию, в 362 г. до н. э. под римским форумом внезапно разверзлась земля. Жрецы заявили, что пропасть сомкнется лишь в том случае, если Рим пожертвует лучшим, что у него есть. Юноша Марк Курций отважно бросился на коне, в полном снаряжении, в эту пропасть, и она сомкнулась над ним.

47

Кортес – Знаменитый испанский конкистадор (завоеватель) Эрнандо Кортес (1485–1547), покоритель Мексики. Дон Кихот намекает на следующий эпизод: Кортес, высадившись на берег открытой им земли, наткнулся на отказ экипажа своих кораблей следовать за ним дальше. Тогда он приказал потопить корабли, чтобы отрезать своим спутникам путь к отступлению. «Обходительнейшим» Кортес назван, вероятно, потому что слово «кортес» по-испански означает: вежливый, учтивый, обходительный.

48

Игла святого Петра – обелиск, перевезенный из Египта в Рим по повелению императора Калигулы (37–41 н. э.) и установленный напротив собора св. Петра. Слова Дон Кихота о том, что в нем находится прах Юлия Цезаря, – легенда.

49

Адрианова громада *(лат.)*

50

Мавзол – царь Карий (IV в. до н. э.), в память которого его жена Артемисия воздвигла пышную гробницу – «Мавзолей».

51

В самую глухую полночь... – строка из романса о графе Кларосе.

52

Худо вам пришлось, французы... – начальные стихи одного из популярнейших испанских романсов на тему о битве в Ронсевальском ущелье. (На русский язык романс был переведен Карамзиным в 1789 г.).

53

...петь и про Калаиноса... – В романсе о Калаиносе рассказывается, что мавр Калаинос отправился, по настоянию своей возлюбленной, во Францию, чтобы преподнести ей в приданое головы троих из Двенадцати Пэров Франции. Ему удалось победить Балдуина, но сам он погиб от руки Роланда.

54

Вы – посол, мой друг любезный... – стихи из старинного испанского романса о Бернардо дель Карпьо.

55

...красным... каким пишут о профессорах... – Имеется в виду существовавший в испанских университетах обычай писать крупными красными буквами фамилии тех, кто выдержал испытания на соискание ученой степени.

56

...вновь жаждет горестей моих судьбина... – строка из III эклоги Гарсиласо де ла Вега.

57

Ладья Харона (миф.) – ладья, в которой Харон перевозил тени умерших через реву Стикс, или Ахерон, в ад.

58

Нис и Эвриал – герои «Энеиды» Вергилия: спутники Энея, связанные между собой теснейшей дружбой.

59

Пилад и Орест (миф.) – Орест – сын греческого царя Агамемнона и Клитемнестры. После того как отец Ореста был убит и ему самому угрожала такая же участь, он бежал с помощью своей сестры Электры в Колхиду, где у него завязалась такая тесная и крепкая дружба с сыном колхидского царя Пиладом, что каждый из них готов был пожертвовать жизнью ради другого. Дружба Пилада и Ореста вошла в поговорку.

60

Трости копьями стальными... – стихи из романа испанского писателя Переса де Ита (1544? —1619?) «Гражданские войны в Гранаде». Трости, о которых здесь идет речь, в XVI в. применялись в потешных военных играх, состоявших в том, что всадники, вооруженные тростями, метали их друг в друга, защищаясь щитами.

61

Куму кум подставить ножку... – рефрен народного романса.

62

...от животных люди получили много уроков... – Все приведенные примеры заимствованы Сервантесом из «Естественной истории» Плиния Старшего (23–79 н. э.).

63

Касильдея Вандальская – то есть Андалусская, по имени германского племени вандалов, владевших южной частью Испании. Это имя придумано Сервантесом по аналогии с Дульсинеей Тобосской.

64

Тартесия – от Тартеса, древнего финикийского торгового города в Юго-Западной Испании, в устье р. Гуадалкивир. Тартесия то же, что Андалусия.

65

Севильская великанша Хиральда. – Хиральда – башня Севильского собора, построенная маврами между 1184 и 1196 гг., замечательный памятник арабской архитектуры. В 1568 г. башня была увенчана четырехметровой женской статуей Веры с развернутым знаменем (флюгером) в руке.

66

Быки Гисандо – четыре огромных бесформенных изваяния, находящиеся в окрестностях Гисандо (около г. Авилы).

67

Пропасть Кабра – глубокая пропасть в окрестностях селения Кабра (в Кордовской провинции), которую суеверные люди принимали за один из входов в ад.

68

...два фунта воску – на свечи; наказание, к которому присуждались члены религиозных братств за нарушение устава.

69

Глосса – стихотворение, состоящее из нескольких строф; заключительные строки этих строф составляют отдельную строфу, выражающую главную мысль стихотворения и нередко помещаемую перед ним.

70

Бог внутри нас *(лат.)* (начало стиха из поэмы Овидия «Фасты», кн. VI, 5).

71

Ссылка на острова Понта – намек на римского поэта Овидия Назона (43 до н. э. – 17 н. э.), сосланного императором Августом на побережье Черного моря, которое носило тогда название Понта Эвксинского (Гостеприимного моря).

72

Дон Мануэль Львиный – рыцарь из романа Переса де Ита «Гражданские войны в Гранаде», бесстрашно вошедший в клетку со львами, куда его возлюбленная по неосторожности уронила перчатку. На этот сюжет написана баллада Шиллера «Перчатка».

73

«Собачка» – фабричное клеймо знаменитого толедского оружейника XVI в. Хульяна дель Рей.

74

О сладкий клад... – стихи из X сонета Гарсиласо де ла Вега.

75

...на перевязи из тюленьей кожи (по слухам, Дон Кихот ...страдал почками)... – В эпоху Сервантеса считалось, что перевязь из тюленьей кожи предохраняет от почечных заболеваний.

76

Право дистрибутивное и право коммутативное – термины средневекового права. Дистрибутивное (распределительное) означает распределение благ и наказаний, причитающихся данному лицу сообразно его поступкам; коммутативное (замещающее) означает замену одного наказания другим, обычно в сторону его смягчения.

77

Добродетели богословские и кардинальные – богословские термины. Под богословскими подразумевались такие добродетели, как вера, надежда и милосердие, кардинальными считались основные добродетели, из которых вытекают все остальные, а именно: благоразумие, сила, воздержание и справедливость.

78

Никоало-рыба – легендарный итальянский пловец, получеловек-полурыба.

79

...точно в картезианской обители царила необычайная тишина. – Монахи картезианского ордена соблюдали обет молчания.

80

...как сказал один поэт... – Подразумевается Хуан Баутиста де Вивар, известный в эпоху Сервантеса импровизатор.

81

...двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов... – Одеяние студентов и священников было тогда одинаковым.

82

...не к чему заставлять сайягезца говорить по-толедски... – Язык сайягезцев, то есть уроженцев области Сайяго, считался языком неправильным, язык жителей Толедо, напротив, считался образцом правильной речи.

83

Дубильни – окраина Толедо.

84

Сокодовер – площадь в том же городе, место, где собирался уголовный сброд.

85

Соборный двор – в Толедо служил местом для прогулки «верхов» толедского общества.

86

Махалаонда – небольшое селение близ Мадрида, синоним захолустья.

87

«Разговорный» танец – пантомима, сопровождаемая танцами и пением.

88

Патены – четырехугольные или круглые металлические пластинки с изображением святого, служившие украшением крестьянок.

89

Котлы египетские – Согласно библейскому преданию, евреи, находившиеся в Египте в рабстве и получавшие скудную пищу в «котлах египетских», очутившись в пустыне, пожалели о том, что покинули Египет, где им все же не угрожала голодная смерть.

90

«Метаморфозы, или Испанский Овидий» – Сервантес придумал это название в подражание «Метаморфозам» римского поэта Овидия.

91

Ангел Магдалины – бронзовый флюгер на церкви св. Магдалины в Саламанке.

92

Каньо де Весингерра – канал, в который стекали нечистоты с улицы Потро в Кордове.

93

Фонтаны Леганитос и Лавапьес – фонтаны питьевой воды; Пьохо, Каньо Дорадо, Приора – фонтаны на Прадо, широкой аллее в Мадриде, служившей местом прогулок.

94

«Дополнение к Вергилию Полидору» – Вергилий Полидор (ок. 1470 – ок. 1555), итальянский историк, автор трактата «Об изобретателях».

95

Брас – испанская мера длины (1,57 метра).

96

Божья матерь Скала Франции – Имеется в виду доминиканский монастырь, расположенный между городами Родриго и Саламанка. Гаэтская троица – название храма и монастыря в городе Гаэта, к северу от Неаполя.

97

Монтесинос и Дурандарт – герои старинных испанских романсов, Дурандарт сражался в Ронсевальском ущелье и умер на руках у Монтесиноса. Белерма – его возлюбленная.

98

...слезоисточающая Гуадиана... дочери Руидеры... – С рекой Гуадианой и ее притоками, так называемыми лагунами Рундеры, связана народная легенда, которую Сервантес положил в основу рассказа Дон Кихота о пещере Монтесиноса.

99

Фуггеры – крупнейшие немецкие банкиры, финансировавшие испанских королей под залог серебряных рудников в Орначуэлосе, ртутных копей в Альмадене и т. п., которые они эксплуатировали в течение долгого времени.

100

Инфант дон Педро Португальский – сын португальского короля Жуана I и брат короля Генриха Мореплавателя (1394–1460), неутомимый собиратель географических карт.

101

...одно высокопоставленное лицо... – по-видимому, намек на графа Лемосского, которому Сервантес посвятил вторую часть своего «Дон Кихота».

102

Сегидилья – народно-песенная форма, стихотворение из четырех или семи строк, в которых первая и третья – одиннадцатисложные и не рифмуются, а остальные – пятисложные, заканчивающиеся неполной рифмой (ассонансом), в семистрочной сегидиле пятая и седьмая строки также одиннадцатисложные и не рифмуются. Особый жанр представляют «ламанчские сегидильи» с музыкальным сопровождением и танцами.

103

Скаредность *(ит.)*

104

Основать майорат – то есть положить начало богатству рода. Майоратом называется основная часть наследства, которая вместе с титулом переходила из поколения в поколение к старшему сыну.

105

Теренций – римский комедиограф (ок. 195–159 до н. э.), оказавший большое влияние на развитие западноевропейской драмы.

106

Рехидор – член городского или сельского управления.

107

Освобождение Мелисендры – Мелисендра и Гайферос – герои старинных испанских романсов, в основе которых лежит старофранцузская хроника, приписываемая архиепископу Турпину. Согласно романсам, Мелисендра – дочь императора Карла Великого и невеста его племянника Гайфероса. Накануне свадьбы ее похитили мавры, у которых она находилась в течение многих лет, пока Гайферос не нашел ее и не освободил из плена.

108

Благородный *(ит.)*

109

Правильно: buon compagno – добрый малый *(ит.)*

110

Геркулесовы столпы – горы на обоих берегах Гибралтара, с которыми, по преданию, связан один из двенадцати подвигов Геркулеса.

111

Великанша Андадона – персонаж «Амадиса Галльского», безобразная женщина огромного роста.

112

Умолкли все: тирийцы и троянцы... – начальная строка второй песни «Энеиды» Вергилия в испанском переводе Грегорьо Фернандеса де Веласко.

113

Игрою в шашки тешится Гайферос... – первые строки старинного испанского романса о Гайферосе и Мелисендре.

114

Я сказал, а вам решать... – строка из другого старинного романса на ту же тему.

115

Меч Дюрандаль – меч Роланда, которому во французских хрониках и средневековых поэмах приписывались чудодейственные свойства.

116

...провести по многолюдным улицам города... – Приговоренных инквизицией к публичному бичеванию возили к месту казни по городским улицам верхом на осле обнаженными по пояс; впереди шли глашатаи, сообщавшие о характере преступления и о мере наказания, позади – отряд полицейских.

117

С приставами впереди... – стихи из сатирического «Письма Эскаррамана к Мендес» (1613), принадлежащего перу выдающегося испанского сатирика Франсиско Кеведо (1580–1645).

118

Нестор – один из греческих царей, принимавших участие в осаде Трои и, по преданию, умерший в возрасте 300 лет.

119

Я вчера был властелином... – стихи из старинного романса о последнем готском короле Родриго, при котором на Пиренейский полуостров вторглись арабские племена. На сюжет этого романса Пушкин написал стихотворение «На Испанию родную».

120

...из берберийского плена... – то есть из плена у мавров. Берберией в то время называлась Северная Африка.

121

Название «Ла Релоха» происходит от испанского слова el reloj – часы.

122

...сложили бы трофей. – Трофей – памятник победы, у греков воздвигался на месте победы и украшался захваченными доспехами.

123

Крестное знамение *(лат.)*

124

Великое (безбрежное) море *(лат.)*

125

Рифейские горы – различные авторы древности по-разному представляли себе, где находятся эти горы. Большинство считало, что они расположены на далеком севере.

126

Астролябия – угломерный прибор, употреблявшийся для определения положения небесных светил.

127

Дуэнья – обычно пожилая женщина, чаще всего вдова из обедневшей дворянской семьи, поступавшая в услужение к богатой и родовитой женщине.

128

Паррасий – греческий живописец (вторая половина V в. до н. э.).

129

Тимант – греческий живописец (IV в. до н. э.).

130

Апеллес – выдающийся греческий живописец (вторая половина IV в. до н. э.).

131

Лисипп – греческий скульптор и литейщик (вторая половина IV в. до н. э.).

132

...кресло... Сида Руй Диаса Воителя – мраморное кресло, которое, согласно преданию, Руй Диас (см. примеч. к гл. XIX первой части «Дон Кихота») захватил в числе других трофеев при отвоевании Валенсии у мавров.

133

...крестьянина Вамбу оторвали от волов. – Имеется в виду один из последних готских королей Вамба (672–680), которому народное предание приписывало крестьянское происхождение, хотя он был из высшей знати.

134

Умершего во цвете лет *(лат.)* (цитата из стихотворения итальянского поэта Анджелло Полипиано на безвременную кончину другого итальянского поэта, Микаэле Веррино).

135

Командор Греческий – Имеется в виду командор ордена Сантьяго Фернан Нуньес де Гусман, составитель сборника пословиц, преподаватель греческого языка в университетах, прозванный за это Греческим командором.

136

Лиргандей – наставник Рыцаря Феба и летописец его деяний, персонаж из рыцарского романа «Зерцало князей и рыцарей».

137

Дит (миф.) – то же, что Плутон – бог подземного царства.

138

Правильно: abrenuntio – отрекаюсь: здесь – ни за что *(лат.)*

139

Касик – старшина, вождь у индейцев, в данном случае индеец вообще.

140

Мартосская горошина – Город Мартос (в Андалусии) славился в то время бобовыми культурами.

141

Кандайя – Индокитай; мыс Коморин – мыс южной оконечности Индостана.

142

Ранен в сердце я прекрасной... – стихи итальянского поэта-импровизатора XV в. Серафино Аквилано (1466–1500), пользовавшегося в свое время большой популярностью.

143

Смерть! Конец приуготовь... – стихи испанского поэта Эскриба (конец XV – начало XVI в.).

144

Остров Ящериц – народное название необитаемых островов. «Ссылать на острова Ящериц» аналогично русскому выражению: куда Макар телят на гонял.

145

Венец Ариадны (миф.) – золотой венец, украшенный драгоценными камнями, преподнесенный Дионисом Ариадне. Согласно мифу, Тезей, после того как Ариадна помогла ему выбраться из критского лабиринта при помощи нити, которую она ему дала, изменнически покинул Ариадну на острове Наксосе, где ее нашел Дионис и сделал своей бессмертной супругой.

146

Кони Солнца (миф.) – кони, которые были запряжены в колесницу Феба (Солнца).

147

Червония – В подлиннике – Тибар, что по-арабски означает «золото». Так называли во времена Сервантеса Золотой Берег в Африке.

148

Бальзам Панками – Панкайя – несуществующая страна в Африке, славившаяся ароматными растениями; согласно легенде – родина феникса.

149

Кто, повествуя об этом, мог бы сдержать слезы? *(лат.)* (Стих из «Энеиды» Вергилия.)

150

Потоси – город в Боливии.

151

Беллерофонт (миф.) – сын коринфского царя Главка, победивший трехголовое огнедышащее чудовище Химеру с помощью крылатого коня Пегаса. Когда Беллерофонт захотел подняться на Пегасе на небо, Пегас сбросил его и взлетел один, после чего был превращен в созвездие.

152

Боотос, Перифой (миф.) – Боотос – греческое название созвездия Волопас. Перифой – друг Тезея, спустившийся вместе с ним в подземное царство, чтобы похитить Прозерпину. Здесь Боотос и Перифой названы по ошибке вместо Пирея. и Эо, двух из четырех коней Солнца.

153

Троянский Палладиум (миф.) – изображение богини Паллады, упавшее на Трою и считавшееся залогом неприкосновенности этого города.

154

Перальвильо – место близ города Сьюдад Реаль в Ламанче, где Святое братство казнило преступников.

155

Дерзновенный юноша (миф.). – Имеется в виду Фаэтон, дерзнувший править колесницей отца своего Феба и поплатившийся за это жизнью.

156

...мы уже достигли второй области воздуха... – В своих рассуждениях Дон Кихот исходит из системы мира Птолемея. Согласно этой системе, все тяжелые элементы стремятся к центру мира и скопляются вокруг него, образуя шарообразную массу Земли. Более легкие элементы, как вода, воздух, огонь, последовательными слоями располагаются друг над другом. Кроме четырех элементов, составляющих мир видимый (земля, вода, воздух, огонь), имеется пятый элемент – совершенный эфир, из которого состоят небесные светила.

157

...историю лиценциата Торральбы... явился свидетелем знаменитого разгрома и приступа... – Речь идет о разграблении Рима в мае 1527 г. ландскнехтами Карла V. Солдаты осаждали дома, под звуки флейт убивали всех, кто в них скрывался. Герцог Бурбонский, один из полководцев Карла V, был убит во время этой осады. Солдаты Карла V разъезжали по городу верхом на папских мулах с епископскими митрами на головах и мантиями на плечах, собирались в Ватикане на шутовские конклавы, на одном из которых был низложен папа Климентий VII. Доктор Эухеньо Торральба, узнав об этих бесчинствах, стал о них рассказывать и попал за это в лапы инквизиции, которая, предъявив ему обвинение в колдовстве, приговорила его к сожжению.

158

...мимо семи козочек... – Подразумевается семь звезд в созвездии Тельца.

159

«За благое молчание все тебя будут звать Санчо» – намек на испанскую поговорку: «Кто умеет молчать, того зовут Санчо» (по созвучию слов: «санто» – святой и Санчо).

160

Повести отъединенные и пристроенные – то есть повести, вкрапленные в роман, но не имеющие непосредственного отношения к его повествовательной ткани, как, например, «Повесть о безрассудно любопытном», и повести, связанные с нею, как, например, о Хризостомо и Марселе и т. п.

161

Великий кордовский поэт – испанский поэт Хуан де Мена (1411–1456).

162

...сей новорожденный Эней... – намек на главного героя «Энеиды» Вергилия, который внезапно покинул влюбленную в него Дидону.

163

Хака – горная цепь в Испании.

164

Арланса, Писуэрга, Мансанарес, Тахо, Энарес и Харама – реки в Испании.

165

Со своей Тарпейской кручи... – С Тарпейской скалы в Древнем Риме сбрасывались приговоренные к смерти преступники. По преданию, Нерон с этой скалы любовался пожаром Рима.

166

...обозреватель антиподов... сладостный вращатель кувшинов... Тимбрий... Феб, стрелок для одних, врач для других... – прозвища Феба (Аполлона), бога света, прорицания, медицины и поэзии. Обозреватель антиподов – это прозвище Феба объясняется тогдашними представлениями о неподвижности Земли, вследствие чего считалось, что Солнце, вращаясь вокруг Земли, освещает также и тех, кто живет «внизу», под ногами у людей, находившихся наверху. Вращателем кувшинов Феб назван потому, что солнечное тепло, вызывая жажду у людей, заставляет их прибегать к прохладительным напиткам, которые изготовляются в медных кувшинах, охлаждаемых путем вращения их в каком-нибудь сосуде, наполненном снегом.

167

Баратария – от испанского слова barato, то есть дешевый.

168

Крест губернского жезла – Верхняя часть жезла имела форму креста, который на суде служил для присяги.

169

Виола – музыкальный инструмент вроде скрипки, но с более толстыми струнами и более низким звучанием.

170

Апарисиево масло – оливковое масло с примесью различных лекарств. Лекарство это было настолько дорогостоящим, что вошло в поговорку: «Дорого, как апарисиево масло».

171

В афоризме Гиппократа на самом деле речь идет не о куропатках, а о хлебе.

172

Убрать! *(лат.)*

173

Тиртеафуэра – селение в Толедской провинции. Само слово «Тиртеафуэра» (точнее: tiratefuera) – буквально означает: «пошел вон».

174

...поцеловал себе правую руку... – в знак верности данному слову.

175

...потому, что он горец. – Жители северных горных районов Испании гордились тем, что они первые положили начало реконкисте (отвоеванию территорий, захваченных у них арабами в VIII в.), и считали себя поэтому знатными людьми.

176

Фонтанели – искусственные раны на ногах, с помощью которых во времена Сервантеса врачевали больных, чтобы дать выход «дурным сокам» из тела.

177

Андрадилья – Полагают, что это имя знаменитого в то время шулера.

178

...аранхуэсских ее фонтанов. – Аранхуэс – город в Испании, в 49 километрах от Мадрида, на левом берегу Тахо; был известен своими фонтанами. В тексте игра слов «фонтанель» и «фонтан».

179

...кораллы для чтения «Богородицы», литого золота бусинки – для «Отче наш»... – Подарок герцогини представлял собою четки, которые можно было носить и как ожерелье.

180

Длинные штаны – намек на то, что длинные штаны вместо коротких шаровар могли носить только состоятельные люди.

181

Дорожная маска – суконная маска с отверстиями для глаз, служившая для защиты от холода и пыли во время путешествия.

182

Буквально: Августин сомневается *(лат.)*. Смысл: это еще подлежит сомнению.

183

...подобен чурбану, царю лягушек... – намек на басню римского баснописца Федра «Лягушки, просящие царя», в которой Юпитер в ответ на просьбу лягушек дать им царя бросил им чурбан, но, так как они отнеслись с пренебрежением к такому царю, он послал им дракона, который их всех пожрал.

184

Я дружен с Платоном, но еще более я дружен с истиной (Сервантес дает латинский перевод из «Этики» Аристотеля).

185

...уплатите... за доставку... – В те времена за доставку письма платил получатель.

186

Аюнтамьенто – городской или сельский совет; в данном случае – здание совета.

187

Муравьиные крылышки – намек на пословицу: «На беду у муравья крылья выросли».

188

Гельте – искаженное немецкое слово das Geld – деньги.

189

...черного цвета кушанье, будто бы именуемое кавьяль... – Имеется в виду черная икра.

190

...нимало не крушился... – иронически переосмысленная цитата из романса о Нероне, спокойно взиравшем на пожар Рима.

191

...устрашил и ужаснул... тот указ... – Первый указ об изгнании из Испании морисков (насильственно обращенных в христианство мавров) был опубликован в 1609 г. Он касался морисков, проживавших в Гранаде, Мурсии и Андалусии. Второй указ, от 10 июля 1610 г., затронул морисков Кастилии, Эстремадуры и Ламанчи. Морискам, проживавшим в долине

Рикоте (откуда и был родом друг Санчо Пансы), связанным браками с местным христианским населением, разрешено было остаться, но указом от 19 октября 1613 г. были подвергнуты изгнанию также и они. В течение трех дней мориски под страхом смертной казни должны были сесть на суда и отправиться в Африку, имея при себе только то, что могли унести в руках. Имущество их было конфисковано; не разрешалось брать с собою ни драгоценностей, ни денег. Главным зачинщиком изгнания являлась церковь, которая была заинтересована в том, чтобы усилить в массах религиозный фанатизм и тем самым отвлечь их внимание от преступного правления Филиппа III и его фаворитов.

192

...боялись нарушить королевский указ. – Указ 1609 г. Грозил конфискацией имущества испанцам за оказание помощи и предоставление убежища морискам по истечении срока, назначенного для их высылки из пределов Испании.

193

Дворцы Гальяны – так назывались развалины древнего здания в Толедо, с которым связано множество легенд. Предание приписывает постройку этого дворца отцу мавританской принцессы Гальяны, впоследствии якобы вышедшей замуж за Карла Великого.

194

...конь ...фризской породы. – Имеется в виду порода коней из Фрисланда (Голландия).

195

Беглец Эней, Бирено беспощадный... – намек на то, что Эней, герой «Энеиды» Вергилия, покинул влюбленную в него Дидону, а Бирено, герой «Неистового Роланда» Ариосто, покинул свою возлюбленную Олимпию.

196

Атарфе, Марчена – города в Испании. «Сотня», «королевство», «кто первый» – названия карточных игр.

197

Гриф (миф.) – чудовище с головой орла и туловищем льва.

198

Какой-нибудь Мендоса рассыплет на столе соль, и по сердцу у него сей же час рассыплется тоска... – поговорка, высмеивающая распространенное в некоторых испанских семьях суеверие.

199

Сципион – римский полководец Публий Корнелий Сципион (185–129 до н. э.), воевавший против Карфагена и разрушивший его (146 до н. э.).

200

«Святой апостол Иаков, запри Испанию!» – неправильно истолкованный Санчо старинный боевой клич испанцев в сражениях с маврами: «Santiago, y cierra Espana!» («Святой Иаков с нами – рази, Испания!»). Апостол Иаков считается покровителем Испании. Санчо путает два значения «cerrar»: разить, сокрушать и запирать, замыкать.

201

Агаряне – бытовавшее в то время общее наименование африканских народов.

202

...ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса (миф.). – Согласно мифу, Вулкан, бог кузнечного мастерства, опутал сетью, сделанной из алмазов, свою жену Венеру и Марса, с которым она изменяла ему.

203

Эклога – в эпоху Сервантеса общее определение для различных видов пасторального жанра.

204

Гарсиласо – испанский поэт Гарсиласо де ла Вега.

205

Камоэнс – крупнейший португальский поэт (1524–1580).

206

Актеон, Диана (миф.). – Актеон в наказание за то, что он увидел Диану во время купания, был превращен ею в оленя, после чего его загрызли его же собаки.

207

...мне не страшны никакие быки, хотя бы... самые дикие из тех, что растит на своих берегах река Харама! – Пастбища на берегах реки Харамы якобы обладали, согласно господствовавшим тогда представлениям, свойствами, придававшими особую силу пасшимся на них быкам.

208

Дон Кихот разлюбил Дульсинею Тобосскую. – У Авельянеды, автора подложной второй части «Дон Кихота», герой, утратив всякую надежду на расколдование Дульсинеи, отрекается от нее и присваивает себе прозвище «Рыцаря без любви».

209

Я не свергаю и не возвожу на престол королей... – поговорка, обязанная своим происхождением старинному романсу, в котором рассказывается о том, как испанский король Педро Жестокий (1350–1369) вступил в поединок со своим братом Энрике и был повержен им наземь. Энрике призвал на помощь Бертрана Клакена (Дюгеклена), французского военачальника, в палатке которого все это происходило и который при этом воскликнул: «Я не низлагаю и не возвожу на престол короля, я только помогаю моему господину как верный слуга.

210

Здесь ты и умрешь, изменник... – строки из старинного романса.

211

...мы недалеко от Барселоны. – В те времена Барселона и ее окрестности постоянно подвергались нападениям разбойничьих шаек. Несмотря на ликвидацию феодальных отношений, крупные каталонские землевладельцы, не мирясь с новым положением, продолжали требовать от крестьян выполнения феодальных повинностей. Для борьбы с крестьянами, противившимися феодальной эксплуатации, по указу каталонского вице-короля в 1602 г. была создана милиция под названием «Союз», основной задачей которой была борьба с упомянутыми разбойничьими шайками. Это привело к настоящей гражданской войне, так как милиция, набиравшаяся из народа, нередко обращала свое оружие против сеньоров. Во время развернувшейся гражданской войны одни назывались «ниеррами», а другие – «каделлями». Вожаком одного из таких отрядов был упоминаемый здесь Роке Гинарт, сын крестьянина.

212

Озирис (миф.) – египетский бог, которого Роке Гинарт смешивает с Бузирисом, легендарным сицилийским тираном.

213

...ясный лик Авроры, если и не ласкавший слуха человеческого... – образное выражение. В основе его лежит миф о Мемноне, сыне Авроры, убитом Ахиллесом в Троянской войне. Миф о Мемноне был в дальнейшем связан с колоссальной статуей близ Фив, разрушенной землетрясением. Обломки этой статуи при первых лучах восходящего солнца издавали звук,

похожий на звук лопающейся струны, на основании чего и возникла легенда, будто Мемнон отвечает на приветствие своей матери.

214

...ту, которую недавно выдал в свет арагонец. – Автор подложной второй части «Дон Кихота» Авельянеда выдавал себя за уроженца Тордесильяса, расположенного в Арагоне.

215

Эскотильо – астролог-шарлатан.

216

Сгинь, нечистая сила! *(лат.)*

217

Скачки с кольцами – состояли в том, что всадник на всем скаку старался продеть копье в кольцо, висевшее на ленте.

218

«Верный пастух» – пасторальная стихотворная трагикомедия итальянского поэта Гварини (1537–1612), переведенная на испанский язык Кристобалем Суаресом де Фигероа в 1602 г.

219

«Аминта» – пастораль итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595), переведенная на испанский язык в 1607 г. Хуаном Мартинесом де Хауреги, поэтом и художником, другом Сервантеса.

220

Кватрин – старинная итальянская мелкая монета.

221

«Светоч души» – богословский трактат доминиканского монаха Фелипе де Менесес «Светоч души христианской против слепого неведения». Первое издание вышло в 1556 г.

222

...дождется свинья Мартинова дня. – В испанских деревнях был обычай колоть свиней в Мартинов день (11 ноября).

223

Монжуик – крепость, господствующая над Барселоной.

224

Ана Фелис – «Фелис» буквально означает «счастливая».

225

Левант – название восточной части Пиренейского полуострова.

226

Бернардино де Веласко – главный комиссар кастильской пехоты, отличавшийся большой жестокостью. Ему было поручено наблюдать за выселением морисков.

227

Глаза Аргуса (миф.). – Аргус – стоглазый великан, которому Юнона велела стеречь возлюбленную Юпитера – Ио, превращенную ею в корову.

228

Босхан назвался Неморосо – Неморосо – по-русски «житель леса». Намек на первую и вторую эклоги Гарсиласо де ла Вега, в которых выступают пастухи Салисьо и Неморосо. Во времена Сервантеса считалось, что под именем Неморосо выступает поэт Хуан Боскан (ум. 1542). Согласно изысканиям современных исследователей под именем Неморосо выступает сам Гарсиласо де ла Вега.

229

Испанские слова: almohazs – скребница, almorzar – завтракать, alhombra – ковер, alguacil – альгуасил (полицейский), alhucema – лаванда, almacen – магазин, alcancia – копилка, borcegui – полусапожки, zaquizami – лачуга, maravedi – мараведи (испанская мелкая монета), alheli – левкой, alfaqui – духовная особа у мусульман.

230

После мрака на свет уповаю (из книги Иова) *(лат.)*

231

...в старину фракиец пел... (миф.) – Орфей.

232

Радамант и Минос (миф.) – судьи подземного царства.

233

Надменный Немврод – Согласно библейскому преданию, Немврод, основатель вавилонского царства, соорудил высокую башню с целью добраться до неба, но в наказание за его дерзновенное намерение бог сокрушил башню и смешал языки всех людей, строивших ее.

234

Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор... – строфа из эклоги Гарсиласо де ла Вега.

235

...путь ее от рождения до гроба недолог. – Подложный «Дон Кихот» совершенно не пользовался успехом у современников, он не переиздавался на всем протяжении XVII и первой половины XVIII в.

236

Досталось даром *(лат.)*

237

Колеса Аполлоновой колесницы (миф.). – На колеснице Аполлон, бог Солнца, объезжал небосклон, освещая и согревая землю.

238

Deum de Deo *(лат.)* – бога от бога (из католического символа веры); de donde diere – испанское выражение: была не была.

239

Дурная примета! *(лат.)*

240

...наряднее самого Минго... – намек на наряд Минго Ревульго, описанный в «Куплетах Минго Ревульго» (см. примеч. к прологу второй части «Дон Кихота»).

241

Пастушок, остановись-ка!.. – строки из народной песни.

242

...эклога почище Саннадзаровых... – Джакомо Саннадзаро – итальянский поэт (1456–1530), автор пасторального романа «Аркадия» (1504), оказавшего большое влияние на развитие пасторального жанра в Европе. Прозаический текст этого романа перемежается стихотворными эклогами.

243

А также, кроме того *(лат.)*

244

...семь греческих городов спорили из-за Гомера. – Существует античное двустишие о «семи городах», приписывавших себе честь быть родиной Гомера, о которой доподлинно ничего не известно.

245

Лживый тордесильясский писака – то есть автор подложного «Дон Кихота».

246

...перетаскивать их в Старую Кастилию... – В финале подложной части «Дон Кихота» дается обещание рассказать о приключениях Дон Кихота в Старой Кастилии.
